

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПСИХОЛИНГВИСТИКА В ОЧЕРКАХ И ИЗВЛЕЧЕНИЯХ

ХРЕСТОМАТИЯ

Под общей редакцией **В. К. Радзиховской**

Для студентов высших учебных заведений

Москва

ACADEMA
2003

УДК 159.9(075.8)
ББК 81-93я73
П86

Авторы-составители:

Л.Х.Головенкина — 13 (совместно с *Н.А.Саенковой*); *А.П.Кириянов* — введение (совместно с *В.К.Радзиховской*), 1, 2 (совместно с *В.К.Радзиховской*), 3, 10, 14, послесловие (совместно с *В.К.Радзиховской*); *О.Е.Морозова* — 4;
Т.А.Пекишева — 8; *В. К. Радзиховская* — введение (совместно с *А.П.Кирияновым*), 2 (совместно с *А.П.Кирияновым*), 5—7, 9, 12, 15—20, послесловие (совместно с *А.П.Кирияновым*); *Ж.Ю. Саенкова* — 11;
Н.А.Саенкова — 13 (совместно с *Л.Х.Головенкиной*)

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор *А.Д.Дейкина*;
кандидат филологических наук, доцент *Л. С.Крючкова*;
кафедра теоретической и прикладной лингвистики РГГУ
(зав. кафедрой — кандидат филологических наук, профессор *С. И. Гиндин*)

Психолингвистика в очерках и извлечениях: Хрестоматия:
П86 Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Авт.-сост.
В.К.Радзиховская, А.П.Кириянов, Т.А.Пекишева и др.;
Под общ. ред. *В. К. Радзиховской*. — М.: Издательский центр
«Академия», 2003. — 464 с.

ISBN 5-7695-0959-7

Хрестоматия включает в себя образцы классических трудов, в которых в той или иной мере отразилось развитие психолингвистических идей и становление современной психолингвистики. Системный характер подбора текстов определен синергетическим подходом, направленным на выявление свойств и закономерностей поведения сложных систем. Такой сложной системой является человек и его специфическая — мысле-рече-языковая — деятельность.

Хрестоматия составлена в соответствии с программой учебного курса по психолингвистике и отвечает установленному стандарту гуманитарного образования по психолингвистике.

Может быть интересна аспирантам и преподавателям гуманитарных специальностей.

УДК 159.9(075.8)
ББК 81-93я73

ISBN 5-7695-0959-7

© Составление, вступительные статьи.
*Радзиховская В. К., Кириянов А.П.,
Пекишева Т. А. и др., 2003*
© Издательский центр «Академия», 2003

ВВЕДЕНИЕ. (ПСИХОЛИНГВИСТИКА: ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, ЗНАЧЕНИЕ, ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПЫ)

Выработка правильных принципов — первая обязанность исследователя и первое условие его правильной ориентации в истории научной методологии. Знание этой истории необходимо и полезно постольку, поскольку оно позволяет избежать совершенных ранее другими ошибок, однако в принципе любое исследование должно иметь проспективный характер, а исходный пункт этой проспективности всегда дается *hic et nunc**, поэтому исследование должно определяться факторами, действующими *hic et nunc*; стремление воздействовать на то, что является *hic et nunc*, не может проистекать из поверхностной эрудиции, быть равнодействующей мнений, высказанных в иных условиях и в иное время.

В.Дорошевский

Психолингвистика — научное направление, сложившееся на стыке психологии и лингвистики с целью изучения *речевой деятельности* человека, начиная с этапа ее *рождения* и кончая результатом — фактом *восприятия* произведенной речевой продукции.

Практическая нужда в развитии этого направления велика, поскольку достижения психолингвистики сказываются на результатах всей деятельности человека. Поэтому психолингвистика вводится как учебная дисциплина систематического образования в высшей школе в виде общего курса «Основы психолингвистики» и частных специальных курсов, таких, как «Логопедия», «Риторика», «Культура речи», «Детская речь».

Наименование свое психолингвистика получила сравнительно недавно, в период, когда после дифференциации различных научных направлений, стремящихся максимально точно определить предмет своего изучения и методы его исследования, возникла необходимость в объединении усилий ученых для более глубокого

* Здесь и сейчас, в данном месте и в данный момент (*лат.*)

познания изучаемого объекта и совершенствования методов его исследования адекватно природе явлений. Тогда стали возникать научные направления, развивающиеся на стыке наук: биохимия, биофизика, медицинская география, математическая лингвистика и т.д.

Однако изучение *мысле-рече-языковой* деятельности и ее результата — феномена мысле-рече-языкового образования — имеет многовековую традицию. В историю психолингвистики справедливо входят все, кто шел по пути познания *и мыслительной деятельности человека, и языка как инструмента осуществления человеком познавательно-ориентирующей функции, и речи как способа ее реализации*. В современной системе наук психолингвистика, представляя собой самостоятельное направление как со своим предметом и методами исследования, так и практическими точками приложения, неразрывно связана с психологией, лингвистикой и речеведением.

В этой области совершенствуется (а точнее — самосовершенствуется) в меру своего таланта и возможностей практически каждый человек, внося в эту бесценную копилку свой немаловажный вклад. Так, психолингвистика как знание о мысле-рече-языковой деятельности сохраняется в пословицах и поговорках. Ценные для психолингвистики наблюдения можно найти в высказываниях писателей о своем труде и... в спонтанных высказываниях детей, овладевающих речью, осваивающих язык.

Многотрудно изучение психолингвистики как учебной дисциплины. Необходимая и сложная часть этой работы состоит в изучении классических трудов, составивших фундамент психолингвистики и вошедших в ее золотой фонд. Работа с литературой по психолингвистике требует определенной подготовки читателя и самой его готовности погрузиться в актуальные и теперь проблемы совершенствования человеческой речи. Чтобы постигать науку о мысле-рече-языковой деятельности человека, нужно иметь глубокий интерес к человеку, говорящему и слушающему, нужно задавать вопросы (поставленные программой обучения, преподавателем и собственные) и искать на них ответы. Другими словами, так или иначе нужно иметь субъективные и объективные причины обращения к трудам, способствовавшим становлению и развитию психолингвистики, что направляло бы и организовывало работу по освоению науки о мысле-рече-языковой деятельности.

Данная хрестоматия по истории психолингвистики в этом смысле представляет собой определенную целостную систему. В ней можно проследить становление принципов изучения речевой деятельности, т.е. выявить основы психолингвистики и то, как они нарабатывались человечеством, через призму восприятия выдающихся исследователей.

I. Глубокий подход к человеческой речи прежде всего заключается в понимании ее как составляющей **триединство мысли-речи-языка**. Гармоническое соотношение этих трех составляющих, т. е. адекватное природе явлений соотношение мысли, речи и языка, характеризует психолингвистический подход при изучении речи, языка и мышления.

II. Основополагающим моментом при изучении мысле-речевой деятельности человека и ее результата является понимание, что в основании деятельности и в каждом ее моменте лежит **оценка** — т. е. *сравнение с выбранным эталоном, идеалом*.

III. Фундаментальным при рассмотрении объекта психолингвистики является представление, что система мысле-рече-языковой деятельности и ее результат есть **сложная система**, которая способна к *саморегулированию и саморазвитию*.

Система мысле-рече-языковой деятельности как сложная система необходимо обладает рядом свойств, которые осмысливаются в современной науке с позиции *квантовых представлений* [1 — 4].

1. Сложная саморегулирующаяся система — это всегда **квантовая** система, т. е. система, организованная таким образом, что в ней можно выделить *наименьшие части (порции), которые сохраняют свойства целого*, — **кванты**. О таком научном подходе к анализу психолингвистических реалий писал еще в 1930-х годах Л. С. Выготский: «Психологии, желающей изучить сложные единства, необходимо... найти эти неразложимые, сохраняющие свойства, присущие данному целому как единству, единицы, в которых в противоположном виде представлены эти свойства, и с помощью такого анализа пытаться разрешить встающие перед ними конкретные вопросы» [5, с. 14]. И далее: «Нам думается, что такая единица может быть найдена во внутренней стороне слова — в его значении... значение слова, его обобщение представляет собой акт мышления в собственном смысле слова» [5, с. 15].

Квант системы мысле-рече-языкового действия — это элементарное речевое действие, зафиксированное моделью порождения речи (подобно тому, как предложение — это квант языковой системы, служащий наименьшей единицей синтаксического целого). Как пишет А. А. Леонтьев, психолингвистическая единица, «эта минимальная "клеточка" речевой деятельности, должна нести в себе все основные признаки деятельности: предметность, целенаправленность, мотивированность, иерархическую и фазную организацию» [6, с. 66].

2. Сложная саморегулирующаяся система — это система **открытая**, т. е. *способная реагировать на внешние воздействия*. Мысле-речевая языковая система имеет **вход** и **выход** — через **слово**. Вот почему слово «неотступно представляется нашему уму как нечто центральное во всем механизме языка» [7, с. 143]. И ребенок нащупывает этот вход — секрет языка — в виде внутренней формы слова как

порождающей модели (по А.Ф.Лосеву [8]) и, осознав ее, свободно ориентируется в мире, развивает свою речевую (языковую и мыслительную) способность. Детское протослово *бибика* — это, образно говоря, машина, на которой ребенок въезжает в язык, потому что для него *бибика* — это не только '*машина*' (Девочка двух лет увидела не часто встречающуюся картину: машина на машине — перевозка машин. «*Бибика—бибика!*» — радостно закричала она), но и обозначение любой ситуации, так или иначе связанной с машиной (Смотрит, как папа пишет, — растет строчка. «*Папа бибика*», — шепчет она, наблюдая это священнодействие. Поскользнулась. С досадой: «*Бибика!*» Мать звонит по телефону с работы домой: «*Мама! Бибика—бибика!*» — 'Мама, приезжай быстрее'. Заругали за плохое поведение: «*Э-а, Таня — бибика!*» — 'Таня хорошая'. В фотоателье спрашивают: «Девочка, как тебя зовут?» — Отвечает: «*Таня Бибика*»)*.

3. Сложная саморегулирующаяся система — это **не механическая сумма** составляющих ее квантов: целое — мысле-рече-языковое единство, и каждая его сторона не представляет собой простую механическую сумму его составляющих, при этом количественная характеристика кванта не может быть единственной основой для объяснения его функциональной значимости — важно и необходимо сохранение свойств целого.

Такая система представляет собой систему **иерархически организованных по функциональной значимости квантов** — «единиц» разного уровня, *способных взаимодействовать между собой*: «Если мысль воплощается в слове во внешней речи, то слово умирает во внутренней речи, рождая мысль», — вскрывает сложные взаимоотношения в мысле-рече-языковом единстве Л.С.Выготский [5, с. 354].

Слово как квант мыслительной деятельности и элементарное речевое действие (высказывание) — это кванты разного уровня, взаимодействующие между собой. И высказывание не есть механическая сумма этих квантов, но функционально значимая сумма, несущая, как правило, всегда новое содержание, вновь созданную информацию, преобразующуюся меняющейся действительностью.

4. Система мысле-рече-языкового действия состоит из **динамически разнородных единиц и подсистем**. Разную «силу» имеют слова: «Ведь всякое же слово бесконечно в своих значениях и смысловых оттенках. Всякое человеческое слово также бесконечно разнообразно в степени своего воздействия на воспринимающих это слово» [8, с. 15]. Динамическую неоднородность морфем рассматривает Г. О. Винокур в «Заметках по русскому словообразованию»; в силу динамической неоднородности квантов мысле-рече-язы-

* Примеры из записей детской речи нашей дочери Тани Кирьяновой.

кового действия мы можем понимать друг друга с полуслова и даже без слов.

Пониманием природы этих явлений мысле-рече-языкового действия мы в значительной степени обязаны Н. И. Жинкину. Его заслуга состоит в том, что он показал, что мыслительная и речевая работа совершается человеком не только в слове, не только на языке слов, но «работает весь человек в целом» [9], вступая во взаимодействие с окружающим миром на основе *универсального предметного кода*.

5. Сложные саморегулирующиеся системы — это **нелинейные системы**. Модели мысле-рече-языкового действия, условно определяемые в литературе как «горизонтальная» или «вертикальная» [6], не являются линейными. Так называемая «фазная» («горизонтальная») организация деятельности [6] представляет собой модель речевого действия в соответствии с пониманием модели сознательного действия человека (по А.Н.Леонтьеву [10]), т.е. действия, направленного на выполнение познавательно-ориентирующей функции, на достижение ближайшей и дальнейшей цели. Иерархическая («вертикальная») организация деятельности [6] представляет движение всего механизма мысле-рече-языкового действия как «сложного единства, а не гомогенного и однородного» [5]. «Речь по своему строению не представляет простого зеркального отражения мысли. Поэтому она не может надеваться на мысль, как готовое платье. Речь не служит выражением готовой мысли. Мысль превращается в речь, перестраивается, видоизменяется» [5]. Нелинейность такой системы обусловлена сложностью психической стороны феномена мысле-рече-языковой деятельности, тем, что в ее реализации задействован весь человек как эталонная нелинейная система. Отсюда и результаты этой деятельности: язык как система и речь, организованная по ситуации, также имеют сложную нелинейную организацию.

6. Основное условие обеспечения саморегуляции и саморазвития квантовой системы — это **функциональная самосогласованность**, или **когерентность (скоррелированность, скоординированность)**, всех элементов и подсистем сложной системы, какой является и система мысле-рече-языкового действия.

Речь есть функционально скоординированная по преддицирующей позиции, иерархически организованная по принципу достаточности критерием понятности деятельность человека, реализуемая на основе языкового кода, направленная на осуществление познавательно-ориентирующей функции в процессе разумно-жизненного общения, и **язык** есть кодовая система, функционально скоординированная по преддицирующей позиции, иерархически организованная по принципу достаточности критерием понятности, сложившаяся при осуществлении познавательно-ориентирующей функции в процессе разумно-жизненного общения посред-

ством речи, и **мысль** есть *предципирование*, т. е. действие, стремящееся во всех моментах обеспечить в пределе реализацию логико-синтаксической формулы 'S есть P' ('это есть это') в целях осуществления человеком познавательной-ориентирующей функции.

Для процесса порождения речи важны самосогласованные взаимодействия во всем механизме мысле-рече-языкового действия: долговременной и оперативной памяти, выбора слов, морфемной и слоговой их реализации. В частности, и *грамотное письмо* есть в высшей степени функционально-скоординированное действие и является собою результат самосогласованности механизма мысле-рече-языковой деятельности, ошибки же, как правило, свидетельствуют о частичном его рассогласовании.

7. Сложные саморегулирующиеся системы развиваются путем **преодоления катастроф**. Катастрофа в сложной системе есть такое *неустойчивое* положение в ее состоянии, когда она не может существовать в сложившемся привычном *типе поведения*, в сложившемся режиме действия, функционирования. В настоящее время в таком неустойчивом состоянии пребывает словарь русского языка. Однако слово в речи всегда находится в ситуации если не катастрофической, то весьма близкой к катастрофе, что и наводит на мысль видеть при каждой реализации слова новое слово. Как писал А. А. Потебня, слово «потому служит посредником между людьми и устанавливает между ними разумную связь, что в отдельном лице назначено посредствовать между новым восприятием (и вообще тем, что в данное мгновение есть в сознании) и находящимся вне сознания прежним запасом мысли. Сила человеческой мысли не в том, что слово вызывает в сознании прежние восприятия (это возможно и без слов), а в том, как именно оно заставляет человека пользоваться сокровищами своего прошедшего» [11, с. 122].

Преодоление катастрофы есть творческая стихия мысле-рече-языковой деятельности. Способность преодолевать *катастрофы (кризисы развития)* есть способность обеспечивать эффективное функционирование в меняющихся условиях непрерывно меняющегося мира. Преодоление катастроф в процессе мысле-рече-языковой деятельности происходит благодаря регулирующей функции *внутренней речи*. Важнейшую катастрофу онтогенеза речи Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев характеризовали как процесс **интериоризации**, как механизм преобразования внешних действий в действия внутренние.

8. Деликатность проблемы катастрофы в мысле-рече-языковой деятельности можно усмотреть в том факте, что одна и та же речевая продукция в разных ситуациях может иметь разную интерпретацию и, наоборот, при одном и том же значении могут использоваться разные высказывания. В одной и той же ситуации возможны разные пути развития, применены разные, по А.А.Ле-

онтьеву [6, с. 67—68], стратегии речевого поведения: «...усвоение языка (как родного, так и неродного) бесспорно предполагает выбор и дифференцированное использование различных стратегий овладения речью» [6, с. 68]. Возможность при достижении одного и того же результата идти разными путями — возможность по-разному *квантоваться* — есть **альтернативность путей развития**, являющаяся фундаментальным свойством сложных саморегулирующихся систем. По А. А. Леонтьеву [6], подход к мысле-речевой деятельности и ее результату состоит в понимании, что существует «выбор стратегии речевого поведения» [6, с. 67], допускаются «различные пути оперирования с высказыванием, на отдельных этапах порождения (восприятия) речи» и, по развиваемому здесь подходу, различные пути квантования, что в свою очередь допускает и их различные интерпретации — «психологические модели, построенные на иной теоретической основе» [6, с. 67].

9. **Альтернативность путей развития сложной системы в приложении к психолингвистическим реалиям рассматривалась А. А. Леонтьевым в свете «эвристического принципа» организации речевой деятельности [6, с. 67]. Непредсказуемость развития и результата речевого действия, непредсказуемость выбора стратегии в овладении языком в онтогенезе — все это проявления принципиального свойства квантовых систем, проявления **эвристичности**.**

Выявление в процессе познания рассмотренных фундаментальных свойств сложных саморегулирующихся систем сопряжено с преодолением значительных трудностей психологического и мировоззренческого характера. Идеализация (упрощение, моделирование) объекта познания формирует позицию так называемого классического разума (классического подхода), выявляющего и использующего идеальные, строго определяемые и определенные (в силу идеальности) свойства познаваемых явлений. С точки зрения такой формально строгой определенности, т.е. с позиции классического детерминизма, наука сформировала систему представлений об идеальных свойствах окружающего мира, которые в определенной мере и определенных областях подтверждаются, но в конечном итоге все-таки не подтверждаются полностью практикой, разбиваются по понятиям строгости о правду жизни при более тонком рассмотрении, или, как говорят, при более высоком разрешении. Трудно постичь бесконечность мира (поначалу человек представляет пространство как некую замкнутость относительно себя, конечность пространства — небесную твердь*). Трудно постичь и секрет членораздельной речи, квантованности языковой системы и мыслительного процесса, понять, что разные по

* Внук писателя Н.Носова объяснил дедушке, как он понимает, что такое Крым («Тетя Тамара уехала в Крым»): «*Это такой маленький домик*». — Н. Носов. «Повесть о моем друге Игоре». — М., 1972. — С. 69—70.

величине образования — и фонемы, и морфемы, и слова, и предложения — эти наименьшие единицы языка — одинаково сохраняют свойства целого, т.е. являются квантами (ведь морфемы, слова, предложения имеют значение, а фонемы «только выполняют смылоразличительную функцию», но это как раз и значит, что фонемы имеют значение [Н.И.Жинкин], фонематическое значение. С другой стороны, смылоразличительную функцию выполняют и морфемы, и слова, и предложения, и сам человек [А.Ф.Лосев]).

Идеальные свойства выводятся из жизненной реальности, но реальность много сложнее, богаче и выносливее придуманной «красоты» (надуманного идеала). Судите сами:

	Квантовые свойства, определяющие развитие сложных систем	Идеальные свойства как требование к объекту исследования («мгнове- ние, остановись, ты прекрасно»)
1	Квантовашость , т.е. расчленяемость вследствие формирования <i>наименьших образований, сохраняющих свойства целого</i> . В мысле-рече-языковой деятельности и ее результате: членораздельность речи — языковые формы — кванты мыслительные	Делимость на сколь угодно малые элементы
2	Открытость системы. Система мысле-рече-языкового действия открыта воздействию окружения через <i>слово</i>	Закрытость, замкнутость, завершенность , в каком-то смысле — « элитарность системы » — все это чревато гибелью, вырождением
3	Когерентность , способность квантов интерферировать , взаимодействовать друг с другом, образуя принципиально новое целое, которое не есть сумма его составляющих: слово не есть сумма морфем, предложение не есть сумма слов	Некогерентность: целое есть простая сумма его составляющих
4	Динамическая разнородность элементов. Кванты даже одного уровня динамически разнородны: различают слабые и сильные фонемы, главные и служебные морфемы, разную силу слова	Динамическая однородность по скорости отклика на воздействие
5	Нелинейность отношений квантов в системе. В мысле-рече-языковой деятельности есть <i>порог</i> восприятия, когда насыщение информации превышает возможности воспринимающего, при этом решающим являются	Линейность отношений. Отсутствие порога и насыщения, поступательность и принципиальная понятность

	Квантовые свойства, определяющие развитие сложных систем	Идеальные свойства как требование к объекту исследования («мгновение, остановись, ты прекрасно»)
	<i>не количественные</i> характеристики, <i>но качественные по функциональной целесобразности</i>	элементов, следующих один за другим
6	Самосогласованность элементов саморегулирующейся системы. Мысле-рече-языковая деятельность — функционально скоординированная по предципирующей позиции, т. е. подводимая под формулу отождествления 'это есть это' и отклоняющаяся в той или иной мере от нее, подчиняясь формуле различия 'это не есть это' и осуществляемая на основе языкового кода по функциональной целесобразности	Строгая определенность отношений, операций (компьютерная точность) — это создает неподвижность и, следовательно, неустойчивость к внешним воздействиям
7	Преодоление катастроф как способ саморазвития систем. В онтогенезе путем <i>интериоризации</i> налаживается мысле-рече-языковая деятельность. Переходы от слоговой техники к словесной, от словесной к грамматически оформленной речи — главные катастрофы онтогенеза: состояния, когда система не может существовать в прежнем режиме. Речевой акт меняет ситуацию общения и средства общения, это всегда большая или малая катастрофа	Рутинный ход процессов в системе
8	Альтернативное квантование , возможность по-разному преодолевать катастрофу. Каждый человек идет своим путем, выбирая по своему усмотрению «удобные» ему технологии освоения языковой формы	Движение однозначное , направленное в одну сторону «количественного» роста. Неслучайна критика этой позиции Л. С. Выготским: «...ребенок не маленький взрослый»
9	Эвристичность , непредсказуемость развития — «закономерность случайна», «случайность закономерна»	Строгая закономерность , случайное в принципе исключается, оно возможно лишь как дефект системы

Научный поиск шел в направлении познания предмета, природы явления. Так обнаруживались квантовые свойства и формировалось понимание, что относительная устойчивость явлений обеспечивается их относительной подвижностью. Этот жизненный экспериментальный путь познания природы явлений объединяет ученых, создававших фундамент науки, получившей теперь название психолингвистики. Соответственно вкладу ученых в развитие научного направления, определившего объектом своего исследования мысле-рече-языковую деятельность человека, и построена настоящая хрестоматия. В заключение каждого раздела предлагается ответить на вопросы, направленные на более глубокое освоение текстов в духе принципов современной психолингвистики. В некоторых случаях мы посчитали возможным опустить такие вопросы, в отдельных — предложили задания.

Отбор источников для хрестоматии сделан с учетом содержания учебного курса «Психолингвистика», определенного стандартами для гуманитарных вузов. В этой связи исключение вклада какого-либо из представленных в хрестоматии ученых влечет за собой в процессе освоения программы необходимость дополнительного и специального рассмотрения в учебном курсе соответствующих *проблем*. Значимость для психолингвистики данных источников отражена (из дидактических соображений) заглавиями тех или иных рубрик пособия.

Научное наследие **Б. Спинозы** ценно для психолингвистики тем, что он определил сравнение с эталоном как способ познания мира, показав при этом возможность различения социальных значимых категорий *добра* и *зла*. С изучения такого подхода Б. Спинозы открывается курс психолингвистики в историческом, методологическом и содержательном отношениях, ибо *оценка — сравнение с эталоном* — лежит в основании мысле-рече-языковой деятельности человека.

Трудно переоценить достижения научных трудов **М.В.Ломоносова** в свете складывающейся науки о пользовании языком. Методологически важно показанное у М.В.Ломоносова различение реальных мысле-рече-языковой деятельности и объединение их в одном механизме, глубина детальной разработки феномена мысле-рече-языковой деятельности и широта его рассмотрения: от *термина* и *идей первого, второго и т. д. порядка* до языковых и речевых форм их представления и эффективности речевого действия в риторике; от Разума и Обычая через Моду до Грамматики и Письмен.

В. фон Гумбольдта А. А. Леонтьев назвал предтечей психолингвистики и создателем лингвистики как научной дисциплины. Подход к языку как виду деятельности, представленный в его трудах, составляет методологическую основу психолингвистики.

А.А.Потебня, последователь В. фон Гумбольдта, рассматривал язык как средство объективации мысли. Он создал *теорию внут-*

речной формы слова, в которой представлена неразрывность мысли, речи и языка. Для психолингвистики важны его наблюдения речевой деятельности в условиях билингвизма, а также работы по психопоэтике.

И. А. Бодуэн де Куртенэ — «непосредственный предшественник» [6] психолингвистики — создал важную для нее *теорию фонемы*: важно различать не только *звук* и *букву* (то, что мы слышим и произносим, и то, что мы видим и пишем), но и *фонему* — представление о звуке (то, что мы понимаем). Он — первый лингвист, исследовавший детскую речь: учет его опыта сделал бы, вероятно, современную психолингвистику онтогенеза качественно иной.

Работы **Ф.Ф.Фортунатова** остаются актуальными для психолингвистики сегодняшнего дня в связи с современными исследованиями в области психофонетики.

Ф.де Соссюр, подчеркивая и проводя различие языка и речи, оказал огромное влияние на развитие не только лингвистики, но и психолингвистики XX века [7].

Л.В.Щерба, последователь И.А. Бодуэна де Куртенэ, много писал о различии языка как системы и речевой деятельности, процессах говорения и понимания, социальной ценности языка. Воздействие его работ на развитие идей современной психолингвистики трудно переоценить [6].

А. М. Пешковский наиболее цельно изложил проблему *нормы*, актуальную для лингвистов, специалистов по культуре речи, дефектологов и патопсихолингвистов.

Ж. Пиаже изучал самую скрытую сторону мысле-рече-языковой деятельности — интеллект. Он же и основоположник *онтогенетического* направления в психологии.

Л.С.Выготский назван А.А.Леонтьевым первым психолингвистом. Главная его заслуга в том, что он проник в тайну порождения речи, во всей сложности показал взаимодействие в этом процессе механизмов мыслительного, речевого и языкового действия, разложив его «не по элементам», а «по единицам, сохраняющим свойства целого» (*квантам*).

А.Н.Леонтьев наиболее полно показал процесс освоения умственных действий, который исследовали и Ж. Пиаже, и Л. С. Выготский, как процесс интериоризации.

Исследования **Н.И.Жинкина** стали важным этапом развития современной психолингвистики. Его проникновение в механизмы речи оказалось весьма продуктивным: он открыл секрет *универсального предметного кода*.

Г. Гийом, по праву первый психолингвист в Западной Европе, уже в первой трети XX века создал особую лингвистическую дисциплину — *психосистематику языка*.

В Центральной Европе психолингвистика связана с именем **В. Дорошевского** и его трудами по *познавательной, ориентирующей*

и ложно ориентирующей функциям языка, с его пониманием *предикативности* как свойства языковых форм и языка как явления *биопсихосоциального*.

А.Ф.Лосев, лингвофилософ XX века, важен для психолингвистики своими трудами, имеющими методологическое значение (понятие *предикативности*, формирование *общенаучных понятий*, выявление всеобщих свойств в феномене человек, его язык, речь).

А. А. Леонтьев — «правофланговый» отечественной психолингвистики, исследователь *истории отечественной и зарубежной психолингвистики*, создатель *теории речевой деятельности*, организатор экспериментальных исследований психолингвистики и ее прикладных направлений, в частности *криминалистики* и *судебной психологии*.

А.Р.Лурия, основоположник отечественной нейропсихологии, создал *теорию системной динамической локализации высших психических функций*.

А. К. Михальская — автор современного отечественного учебника по *риторике*, восходящего к классическим трудам отечественной и зарубежной психолингвистики, в частности теории речевых актов Дж. Остина.

Литература

1. *Пригожим И. Р.* От существующего к возникшему. — М., 1985.
2. *Хакен Г.* Синергетика: Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. — М., 1985.
3. *Кирьянов А. П.* Научно-технические проблемы естествознания: Конспект лекций. — М., 1999.
4. *Кирьянов А. П., Радзиховская В. К.* Квантовая парадигма как основа познания общности свойств физических, психических и социальных отношений // Новые технологии: Образование и наука: Сб. науч. тр. — М., 2000. -С. 111-121.
5. *Выготский Л. С.* Мышление и речь. — М., 1996.
6. *Леонтьев А. А.* Основы психолингвистики. — М., 1997.
7. *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. — М., 1977.
8. *Лосев А. Ф.* В поисках построения общего языкознания как диалектической системы // Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. — М., 1989. — Раздел 1. — С. 5—92.
9. *Жинкин Н. И.* Речь как проводник информации. — М., 1982.
10. *Леонтьев А. Н.* Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1977.
11. *Потебня А. А.* Собрание трудов: Мысль и язык. — М., 1999.
12. *Леонтьев А. Н.* Проблемы развития психики. — М., 1972.



1. Б.СПИНОЗА О «ДОБРЕ» И «ЗЛЕ» И СРАВНЕНИИ КАК СПОСОБЕ ПОЗНАНИЯ (К оценке как инструменту в человеческой деятельности)

...Нет разумной жизни без познания, и вещи хороши лишь постольку, поскольку они способствуют человеку наслаждаться духовной жизнью, составляющей познание.

Б. Спиноза

Спиноза Барух (Бенедикт) (1632—1677) — великий философ-материалист из Амстердама, сторонник рационализма и детерминизма — построил собственную философскую концепцию, занимаясь в основном гносеологией и этикой. Ее положения он изложил в своем главном труде «Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей» (1675) [1].

Ядром его учения служит понятие **субстанции**, или **природы**: «Под субстанцией я разумею то, что существует само по себе и представляется через себя...» [1, т. 1, с. 361]. Но, конечно, любой мыслитель в любое время не может обойти проблему бога, и Б. Спиноза ее решает как материалист: «Под богом я разумею существо абсолютно бесконечное, т.е. субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов...» [1, т. 1, с. 361], при этом «...то вечное и бесконечное существо, которое мы назвали богом или природой, действует по той же необходимости, по которой существует...» [1, т. 1, с. 522]. Не может мыслитель обойти и проблему человека, его

места в мире, и здесь Б.Спиноза остается материалистом: субстанция является собой «...общий естественный порядок, часть которого составляет человек» [1, т. 1, с. 567], не создающий при этом в природе «государства в государстве» [1, т. 1, с. 454].

Это лишало, конечно, церковь опоры в ее библейских толкованиях божественного сотворения мира и вызывало ожесточенные гонения на мыслителя, запреты на издание его сочинений, как «содержащих кощунственные и безбожные учения».

Но такой подход к основной проблеме философии и давал опору в дискуссии о смысле и сути существования человека, о системе морально-этических отношений в человеческом обществе, т. е. давал ключ к пониманию сущности человеческой деятельности, которая состоит в осуществлении человеком познавательной и ориентирующей функций. А дела людей опутаны хаосом различных отношений, и хаоса этого избежать невозможно: «...мы различным образом возбуждаемся внешними причинами и волнуемся, как волны моря, гонимые противоположными ветрами, не зная о нашем исходе и судьбе» [1, т. 1, с. 506]. Человеческой деятельности присуща и согласованность телесных и душевных движений, заданных *оценочными* суждениями типа «хорошо/плохо», «истинно/ложно» и т. п. [2]. И эту психофизическую проблему хаоса и гармонии в действиях людей автор «Этики» — выдающийся рационалист — решает с позиций познаваемости мира (то, что мир познаваем, было для Б. Спинозы аксиомой) и с позиций причинно-следственных отношений взаимосвязи необходимости и свободы, при этом свобода понята им как «осознанная необходимость».

И сущность человека, его духа, или души, Б. Спиноза видит в *познавательной* деятельности, потребность в которой и суть которой обусловлены *стремлением к самосохранению* человека в отдельности и человеческого рода в целом: «Стремление сохранить свое существование есть самая сущность вещи; стремление к самосохранению есть первое и необходимое основание добродетели» [1, т. 1, с. 541], при этом существенно, что «желание, возникающее из только удовольствия или неудовольствия, которое относится только к одной из частей тела, а не ко всем, к пользе всего человека не относится» [1, т. 1, с. 571].

И как только высветилась эта путеводная нить Ариадны в хаосе хитросплетений человеческих отношений с ее внутренне обусловленным *вектором социальной значимости*, или *ценности*, то сразу же приобрели особый статус начала (принципа действия механизма, направляющего человеческую деятельность), обеспечивающего самосогласованность действий людей, *оценочные аспекты* во всех сферах человеческой деятельности. Оценочные аспекты — это аспекты *сопоставления, сравнения*. Точнее говоря, сравнение, сопоставление есть *измерение* в широком смысле этого слова. Человек оценивает так или иначе все, что он воспринимает, и, на-

зывая, тоже оценивает. Язык (речь) поэтому также — явление оценки. Собственно лингвистика изучает, как человек измерил мир словом. Каждый язык есть система оценок по выбранной человеком шкале отношений. Никто никогда не может провести измерение абсолютно точно, но только с ошибками, погрешностями или неточностями, однако вполне достаточными для каждой ситуации. В этом-то и состоит реальная точность измерения, оценки, названия, речи. Суть оценки как таковой в том, что она есть измерение с *нормативной погрешностью*.

Оценка есть сознательная деятельность, ориентированная на некоторую цель и состоящая в сравнении оцениваемого с эталоном по тому или иному критерию сравнения, проводимая с достаточной для достижения цели, т.е. нормативной, погрешностью [3, с. 80—81].

Представления о *сравнении* и *нормативе* (организующем сравнение) впервые ввел в анализ оценочных значений Б. Спиноза в своей «Этике». Он понимал норматив (норму) как среднестатистический стандарт (эталон или образец) либо идеализированную модель вида, относительно которых и дается оценка объекта из бесконечного ряда представителей данного рода: «...что касается "добра" и "зла", то они также не показывают ничего положительного в вещах, если их рассматривать самих в себе, и составляют только модусы мышления, или понятия, образуемые нами путем сравнения вещей друг с другом...» [1, т. 1, с. 524].

Понимая, в частности, «добро» и «зло» как средство или **инструмент** содействовать (или, наоборот, препятствовать) приближению к образцу человеческой породы, Б. Спиноза определяет их оценку по критерию *увеличения* и соответственно *уменьшения способности человека* к действию. Тогда очевидно, что колебания в оценке сводятся к зависимости не от изменений во мнениях субъектов, а от изменений *норматива*, а сами оценочные нормы, или нормативы, выступают как результат *социальной практики человека с его беспрестанно меняющимися требованиями и приоритетами*.

Обратим также внимание на один важный и деликатный момент для проблемы оценки. Он состоит в том, что требование сравнения оцениваемого объекта с образцом (эталоном) состоит в установлении оцениваемого объекта по шкале нормативного распределения характерных свойств или параметров в пределах области нормального (нормативного) размытия вблизи выявленного эталона (стандарта). И такой принцип осуществления оценки непосредственно связан, по гениальной догадке Б.Спинозы, с универсальной способностью человека к социально значимому, социально полезному действию.

Литература

1. Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. — М., 1957.

2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. — М., 1999. — Ч. III: Оценка в механизмах жизни и языка.

3. Радзиховская В. К., Кирьянов А. П. Концептуальные аспекты психолингвистики как учебной дисциплины // Психоллингвистика и современная логопедия / Под ред. Л.Б.Халиловой. — М., 1997. — С. 71 —87.

Б.СПИНОЗА

ЭТИКА, ДОКАЗАННАЯ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ И РАЗДЕЛЕННАЯ НА ПЯТЬ ЧАСТЕЙ

(Извлечения)

Часть третья

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ПРИРОДЕ АФФЕКТОВ

Предисловие

Большинство тех, которые писали *об аффектах и образе жизни людей*, говорят как будто не об естественных вещах, следующих общим законам природы, но о вещах, лежащих за пределами природы. Мало того, они, по-видимому, представляют человека в природе как бы государством в государстве: они верят, что человек скорее нарушает порядок природы, чем ему следует, что он имеет абсолютную власть над своими действиями и определяется не иначе как самим собою. Далее, причину человеческого бессилия и непостоянства они приписывают не общему могуществу природы, а какому-то недостатку природы человеческой, которую они вследствие этого оплакивают, осмеивают, презирают или, как это всего чаще случается, ею гнушаются, того же, кто умеет красноречивее или остроумнее поносить бессилие человеческой души, считают как бы божественным.

Однако были и выдающиеся люди (труду и искусству которых мы, сознаемся, многим обязаны), написавшие много прекрасного о правильном образе жизни и преподавшие смертным советы, полные мудрости; тем не менее природу и силы аффектов и то, насколько душа способна умерять их, никто, насколько я знаю, не определил. Правда, славнейший Декарт, хотя он и думал, что душа имеет абсолютную власть над своими действиями, старался, однако, объяснить человеческие аффекты из их первых причин и вместе с тем указать тот путь, следуя которому душа могла бы иметь абсолютную власть над аффектами. Но, по крайней мере по моему мнению, он не выказал ничего, кроме своего великого остроумия, как это я и докажу на

своем месте. Теперь же я хочу возвратиться к тем, которые предпочитают скорее гнушаться человеческими аффектами и действиями или их осмеивать, чем познавать их...

Часть четвертая
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАБСТВЕ
ИЛИ О СИЛАХ АФФЕКТОВ

Предисловие

Человеческое бессилие в укрощении и ограничении аффектов я называю *рабством*. Ибо человек, подверженный аффектам, уже не владеет сам собой, но находится в руках фортуны, и притом в такой степени, что он хотя и видит перед собой лучшее, однако принужден следовать худшему. Я намерен показать в этой части причину этого и раскрыть, кроме того, что имеют в себе аффекты хорошего и дурного. Но, прежде чем приступить к этому, я хочу предпослать несколько слов о *совершенстве и несовершенстве и о добре и зле*.

Кто предложил сделать что-либо и сделал, тот назовет это *совершенным*, и не только он сам, но и всякий, кто верно знает мысль и цель этого произведения или думает, что знает их. Если, например, кто-нибудь увидит какое-либо произведение (я предполагаю его еще неоконченным) и узнает, что цель творца его построить дом, тот назовет этот дом несовершенным, и наоборот — совершенным, как только увидит, что дело доведено до конца, предположенного задумавшим его. Если же кто видит какое-либо произведение, подобного которому он никогда не видал, и не знает мысли его творца, то он, конечно, не может знать, совершенно ли это произведение или нет. Таково, кажется, было первое значение этих слов.

Но после того как люди начали образовывать общие идеи и создавать образцовые представления домов, зданий, башен и т. д. и предпочитать одни образцы вещей другим, то каждый стал называть *совершенным* то, что ему казалось согласным с общей идеей, образованной для такого рода вещей, и наоборот — *несовершенным* то, что казалось менее согласным с составленным для него образцом, хотя бы оно по мысли творца и было вполне законченным. На том же самом основании, кажется, обыкновенно называют совершенными или несовершенными вещи естественные, т. е. те, которые не произведены человеческой рукой: люди имеют ведь обыкновенно образовывать общие идеи как для искусственных вещей, так и для естественных, эти идеи считают как бы образцами вещей и уверены, что природа (которая, по их мнению, ничего не производит иначе, как ради какой-либо цели) созерцает их и ставит себе в каче-

стве образцов. Поэтому когда они видят, что в природе происходит что-либо не совсем согласное с составленным для такого рода вещей образцом, то они уверены, что сама природа оказалась недостаточно сильной или погрешила и оставила эту вещь несовершенной. Таким образом, мы видим, что люди привыкли называть естественные вещи *совершенными* или *несовершенными* более вследствие предрассудка, чем вследствие истинного познания их. В самом деле, мы показали в прибавлении к первой части, что природа не действует по цели; ибо то вечное и бесконечное существо, которое мы называем богом или природой, действует по той же необходимости, по которой оно существует, — мы показали, что по какой необходимости природы оно существует, по той же оно и действует. Таким образом, основание или причина, почему бог или природа действует и почему она существует, одна и та же. Поэтому как природа существует не ради какой-либо цели, так и действует не ради какой-либо цели; но как для своего существования, так и для своего действия не имеет никакого принципа или цели. Причина же, называемая конечной, есть не что иное, как самое человеческое влечение, поскольку оно рассматривается как принцип или первоначальная причина какой-либо вещи. Так, например, когда мы говорим, что обитание было конечной причиной того или другого дома, то под этим мы, конечно, подразумеваем только то, что человек, вследствие того что он вообразил себе удобства жизни в жилище, возымел влечение построить дом. Поэтому обитание, поскольку оно рассматривается как конечная причина, есть не что иное, как такое отдельное влечение, составляющее в действительности причину производящую, на которую смотрят как на конечную вследствие того, что люди обыкновенно не знают причин своих влечений. Ибо, как я уже много раз говорил, свои действия и влечения они сознают, причин же, которыми они определяются к ним, не знают. Что же касается ходячих мнений, будто бы природа обнаруживает иногда недостатки или погрешает и производит вещи несовершенные, то я ставлю их в число тех вымыслов, о которых говорил в прибавлении к первой части.

Итак, *совершенство и несовершенство* в действительности составляют только модусы мышления, именно понятия, обыкновенно образуемые нами путем сравнения друг с другом индивидуумов одного и того же вида или рода. По этой-то причине я и сказал... что под реальностью и совершенством я разумею одно и то же. В самом деле, все индивидуумы природы мы относим обыкновенно к одному роду, называемому самым общим, именно — к понятию сущего, которое обнимает собой абсолютно все индивидуумы природы. Поэтому, относя индивидуумы природы к этому роду, сравнивая их друг с другом и находя, что одни заключают в себе более бытия или реальности, чем другие, мы говорим, что одни *совершеннее* других. Приписывая же им что-либо, заключающее в себе отрицание, как-то: предел, конец, неспособность и т.д., мы называем их

несовершенными вследствие того, что они не производят на нашу душу такого же действия, как те, которые мы называем совершенными, а вовсе не вследствие того, чтобы им недоставало чего-либо им свойственного или чтобы природа погрешила. Ведь природе какой-либо вещи свойственно только то, что вытекает из необходимости природы ее производящей причины; а все, что вытекает из необходимости природы, производящей причины, необходимо и происходит.

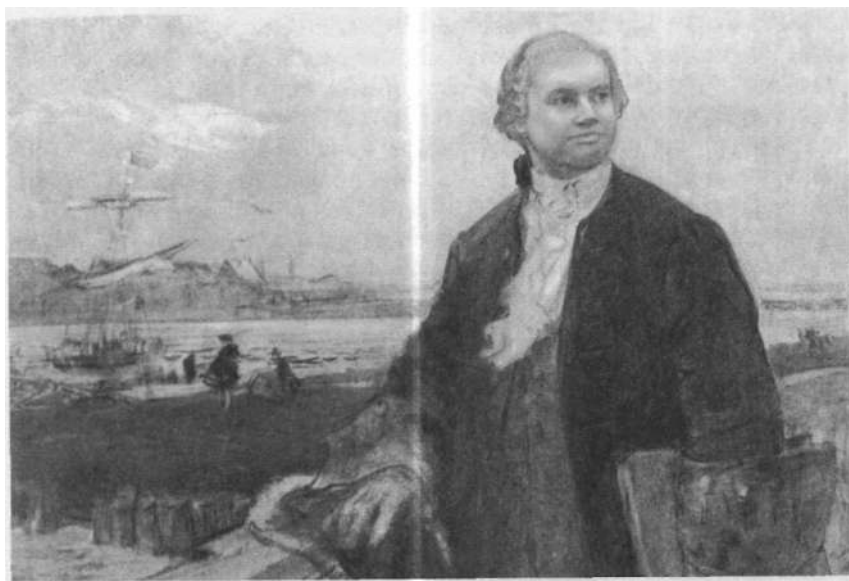
Что касается до *добра и зла*, то они также не показывают ничего положительного в вещах, если их рассматривать самих в себе, и составляют только модусы мышления, или понятия, образуемые нами путем сравнения вещей друг с другом. Ибо одна и та же вещь в одно и то же время может быть и хорошей и дурной, равно как и безразличной. Музыка, например, хороша для меланхолика, дурна для носящего траур, а для глухого она ни хороша, ни дурна.

Но хотя это и так, однако названия эти нам следует удерживать. Ибо так как мы желаем образовать идею человека, которая служила бы для нас образцом человеческой природы, то нам будет полезно удерживать эти названия в том смысле, в каком я сказал. Поэтому под добром я буду понимать в последующем то, что составляет для нас, как мы наверное знаем, средство к тому, чтобы все более и более приближаться к предначертанному нами образцу человеческой природы; под *злом* же то, что, как мы наверное знаем, препятствует нам достигать такого образца. Далее, мы будем называть людей *более* или *менее совершенными*, смотря по тому более или менее приближаются они к этому образцу. Ибо прежде всего следует заметить, что когда я говорю, что кто-либо переходит от меньшего совершенства к большему, и наоборот, то я понимаю под этим не то, что он изменяется из одной сущности или формы в другую (что лошадь, например, исчезает, превращаясь как в человека, так и в насекомое), но что, по нашему представлению, его способность к действию, поскольку она уразумевается через его природу, увеличивается или уменьшается. Наконец, вообще под *совершенством* я буду понимать, как сказал уже, реальность, т. е. сущность всякой вещи, поскольку она известным образом существует и действует безотносительно к ее временному продолжению. Ибо никакая единичная вещь не может быть названа более совершенной вследствие того, что пребывала в своем существовании более времени; так как временное продолжение вещей не может быть определено из их сущности: сущность вещей не обнимает собой известного и определенного времени существования; но всякая вещь, будет ли она более совершенной или менее, всегда будет иметь способность пребывать в своем существовании с той же силой, с какой она начала его, так что в этом отношении все вещи равны...

Печатается по изданию: *Спиноза Б.*
Избр. произв.: В 2 т. — М., 1957.

Вопросы

1. В чем видит Б. Спиноза сущность специфической деятельности человека?
2. Какие свойства сложной системы — человек — видит Б. Спиноза?
3. Как понимает Б. Спиноза категории «зло» и «добро», «совершенство» и «несовершенство»?
4. Какова, с точки зрения Б. Спинозы, роль сравнения в деятельности людей?
5. Как понимает Б. Спиноза оценочное суждение, оценочную операцию?
6. Почему для психолингвистики важен феномен оценочного действия?



2. ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ М.В.ЛОМОНОСОВА

...Что худо, то долго устоять не может. И старое скоро возвратится, ежели оно нового лучше.

М. В. Ломоносов

Михаил Васильевич Ломоносов (1711 — 1765) — выдающийся сын России, великий ученый и мыслитель-материалист, блестящий экспериментатор, неповторимый энциклопедист, сравнимый по масштабу лишь с некоторыми личностями Античности и эпохи Возрождения, профессор химии и член Академии наук в С.-Петербурге (1745), почетный член Академии художеств (1763), член Шведской Академии наук (1760) и Болонской Академии наук (1764), гражданин и демократ-разночинец, основатель Московского университета — вошел в историю России и всего мира как гений в области и естественных, и гуманитарных наук [1].

Наше время с его осознанным квантовым видением вновь открывает для себя Ломоносова. Изучение филологических трудов М.В.Ломоносова [1, т. 7] с позиции квантовых представлений о мысли, речи и языке как сложной саморегулирующейся системе убеждает, что «наш первый университет» был фактически и выдающимся психолингвистом или, если быть более точным, тем,

кого называют предтечей современной психолингвистики. Задолго до получивших мировое признание работ зарубежных и отечественных психолингвистов он проник в тайну механизмов речи, подсмотрел тонкие моменты этой работы.

Психолингвистическая сущность научного наследия М.В.Ломоносова рождена теми же приемами наблюдения и опыта и самим подходом к реалиям духа, коими он привык пользоваться как естествоиспытатель. Социальная значимость его трудов приумножается прагматической установкой его деятельности: он работал с мыслью «о всяком добре любезного отечества». **Познавательная и ориентирующая функции** человеческой деятельности в научном творчестве М.В.Ломоносова представлены в гармонии. Непосредственно проблемам, которые принадлежат к обширному полю знаний, определяемому теперь как психолингвистика, т. е. к проблемам порождения речи и эффективности речевого действия, посвящены его работы по риторике — «Краткое руководство к риторике» и «Краткое руководство к красноречию». Но и другие его труды по филологии — главные из которых «Российская грамматика» (РГ) и «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (ПКЦ) — основаны на глубоком понимании единства явлений психологии («духа и нравов») и лингвистики (слова и языка).

Уже одна художественная миниатюра «Суд российских писем, перед Разумом и Обычаем от Грамматики представленных», увидевшая свет лишь в 1787 году, показывает, как глубоко проник он в тайны **мысле-рече-языковой деятельности**, поняв, что в ее основании лежит **оценка**, а сама эта деятельность и оценка находятся в состоянии **осмысленной** (функционально целесообразной) **подвижности**. В этой пьесе высказаны различные суждения относительно русской графики, здесь в художественной форме по сути дела представлена модель речевого действия. В пьесе участвуют Разум, Сторож, Обычай и Грамматика, а также внесценический образ Моды. Эти литературные персонажи как раз и отражают тот важный факт, что, изучая явление психической деятельности человека — речь, М.В.Ломоносов хорошо понимал механизм речевого действия: соотношение мысли (Разума), речи (Писем) и языка (Грамматики), принцип **движения** этого механизма по **оценке** в силу **изменяемости** приоритетов (во всем виновата госпожа Мода) и **устойчивости** в силу сложившейся нормы (Обычая), как мы сказали бы теперь, **контролирующей функции** мозга (Сторожа).

Глубокое понимание механизмов речевого действия лежит в основании «Краткого руководства к красноречию» (КРкК) — углубленной переработки «Краткого руководства к риторике» (КРкР). В одной из своих реплик госпожа Грамматика в упомянутой нами миниатюре М.В.Ломоносова называет номера: 7, 8, 9, 28, 45. Полагая, что они относятся к КРкК, обратимся к его параграфам в соответствии с нумерацией в реплике Грамматики.

Интересно, что эти параграфы «Краткого руководства к красноречию» раскрывают, в сущности, основные моменты речевого действия. В самом деле, по принятой ныне модели речевого действия — схемы представления о процессе порождения речевой продукции — у Ломоносова намечаются следующие моменты этого процесса:

тема («материя риторическая есть все, о чем говорить можно», — § 7), осмысленная говорящим многократно («учащиеся оному великое будут иметь в своем искусстве вспоможение, ежели они обучены по последней мере истории и нравоучению» — § 7);

моторная программа речи («слово двояко изображено быть может, прозою или поэмою» — § 8; «об одной вещи можно писать прозою и стихами» — § 9);

смысловая программа высказывания («к первому термину... первые идеи присовокупляются: 1) от жизненных свойств... 2) от времени... 3) от подобия... 4) от противного... 5) от несходственно-го... Ко второму термину... первые идеи прилагаются...» — § 28);

грамматическое структурирование («...по предписанным союзам идеи располагать весьма опасно, ибо часто от этого происходят принужденные и ложные рассуждения» — § 45).

Понимание механизма порождения речи высказано в § 45 особенно ясно: «Но... что может то пособить, ежели и расположить союзы, например, *хотя, однако, не токмо, но и*, ежели идеи в них невместны или еще не приписаны?». Таким образом, сначала идет лексическое наполнение, а потом уже его движение, грамматическое наполнение (хотя и бывает, что движение началось, а слово еще не подоспевало, и высказывание срывается).

К достоинствам творчества М.В.Ломоносова в области филологии нужно отнести то, что он, объединяя явления мысли и речи, речи и языка, в то же время четко их и различает. Подход к явлениям мысли, речи и языка с позиции их единства и различения требует как общего философского основания, так и подходящего терминологического аппарата, совместное приложение которых позволяло бы гибко открывать и запускать сложную систему отношений в этом триединстве. М. В.Ломоносов, занимаясь проблемами мысле-рече-языковой деятельности человека (т.е. проблемами «природы духа») и являясь в то же время блестящим естествоиспытателем, не случайно, но вполне естественно и закономерно шел непосредственно от явлений, от наблюдений того, как человек применяет слово, «от собственного долговременного в российском слове упражнения». Своей самостоятельной работой в этой деликатной, весьма чувствительной к внешним воздействиям, области знания — науке о слове — и требующей потому весьма тонкой работы с языком, которым и излагаются мысли о языке, М.В.Ломоносов положил начало терминологии науки о слове. «Словом» он называл и то, что мы теперь так называем, и

язык, и речь в их расширительном толковании, хотя употребляет и термин «язык», а слово называл «речением» и «словом». Если внимательно присмотреться к ситуациям употребления основных лингвистических терминов, получивших по прошествии веков осмысления всеобщее признание, то можно увидеть, что их использование отражает всю сложность триединства мысли-речи-языка, отражает **иерархичность** структуры речемыслительного действия (см., например, КРкК, § 26 — 31). Использование М.В.Ломоносовым системы терминов по отношению к мыслительным, речевым, языковым реалиям определяется сложными отношениями в этом триединстве, вскрытыми, в частности, Н. И.Жинкиным уже в XX веке как кодовые переходы [2].

Общее основание «человеческого слова» («языковой системы и речевой деятельности» по установившейся теперь терминологии Л.В.Щербы [3]) М.В.Ломоносов как материалист видит в «правителе наших действий — разуме». При этом после него «первейшее есть слово, данное ему (человеку. — *Р., К.*) для сообщения с другими своих мыслей» ради «согласного общих дел течения, которое **соединением разных мыслей управляется**» [РГ, § 1] (выделено нами. — *Р., К.*).

Это «соединение разных мыслей» представляет собой центральную и наиболее актуальную проблему психолингвистики. При помощи языка, речи человек сообщает другим понятия, «воображаемые себе способом чувств» (это ли не универсальный предметный код по Н. И.Жинкину?! [2]), и без языка «самое бытие их (людей. — *Р., К.*) тщетно и бесполезно» [РГ, § 1]. «Соединение разных мыслей» — это процесс взаимопонимания («взаимовосприятия») речи, который представляет собой процесс осмысления — вкладывания (втекания) смыслов, т.е. **квантование**. Для эффективности речи, как пишет М. В.Ломоносов, «надлежит обстоятельно знать нравы человеческие, должно самым искусством чрез рачительное наблюдение и философское остроумие высмотреть, от каких представителей и идей каждая страсть возбуждается и изведать чрез нравоучение всю глубину сердец человеческих» [КРкК, § 95].

Познавательно-ориентирующая функция языка и речи [4], связанная с мысле-рече-языковой деятельностью человека, отслеживается М. В.Ломоносовым постоянно и последовательно во всех сторонах и видах ее проявления: «Кто желает быть совершенным ритором, тот должен обучиться всем знаниям» [КРкК, § 2]. Чистота стиля «зависит от основательного знания языка, от частого чтения и от обхождения с людьми, которые говорят чисто. В первом способствует прилежное изучение правил грамматических... во втором — выбирание из книг хороших речений, пословий и пословиц... в третьем — старание о чистом выговоре при людях, которые красоте языка знают и наблюдают» [КРкК, § 165]; «широкое поле или, лучше сказать, едва ли пределы имеющее море»

[РГ, Введение] русского языка, которое, как писал сам ученый, «отважился он измерить», дает основательное знание о мире. Когнитивный аспект изучения языка, выявление языковой картины мира — одно из перспективнейших направлений современной лингвистики. Собственно **языковое** знание, наряду с интуитивным (чувственным) и научным (теоретическим) знанием, как третье знание о мире было выделено И. А. Бодуэном де Куртенэ [5, т. 2, с. 79]. По М.В.Ломоносову, источником языкового знания является непосредственный опыт восприятия, и знания эти были бы «весьма тесно ограничены, если бы каждый человек воображенные себе способом чувств понятия только в собственно в своем уме содержал сокровенны» [РГ, § 2]. Информационная недостаточность, отсутствие новой информации — все это губительно для человека.

Психолингвистика начинается с определения речи как специфической деятельности человека: «...если бы каждый член человеческого рода не мог изъяснить своих понятий другому, то... едва бы не хуже ли были мы диких зверей, рассыпанных по лесам и пустыням» [РГ, § 1]. Проблема сходства и различия деятельности взаимопонимания на основе языкового кода людей и генетически унаследованной формы общения животных остается актуальной и по сей день [5].

М.В.Ломоносов, занимаясь проблемами «человеческого слова», необходимо и закономерно обдумывал, размышлял о том, что представляет собой **речевая способность**, какие условия нужны для того, чтобы эта способность осуществлялась и развивалась: «Сочинитель слова тем обильнейшими изобретениями оное обогатить может, чем быстрейшую имеет силу **совображения**, которая есть *душевное дарование с одною вещью, в уме представленною, купно вообразать другие, как-нибудь с нею сопряженные*» [КРкК, § 23]. Ученый, таким образом, выявил **нелинейность** и вытекающую отсюда **динамическую неоднородность** мыслительного процесса.

В качестве необходимых условий для реализации речевой способности М.В.Ломоносов с поклонением природе всего сущего выделял «слово» и «слух» [РГ, § 3], главные способы проявления мысле-рече-языкового действия — **говорение** и **слушание**. «Правда, что кроме слова нашего можно было бы мысли изображать через разные движения очей, лица, рук и прочих частей тела» [РГ, § 3, а также КРкР, § 138—139]. Современная психолингвистика удерживает этот тезис: «Когда человек говорит или слушает речь, работают не только определенные отделы коры человеческого мозга, артикуляция и слух. Работает весь человек в целом, весь... комплекс, который принимает участие в приеме информации об окружающей действительности» [2]. Вследствие того, что говорение и слушание выделены как главные способы проявления мысле-рече-языкового действия, М.В.Ломоносов специально наставляет, обращает внимание на то, **как** нужно произносить речь: «...ис-

кусные риторы... когда что сильными доводами доказывают и стремительными или нежными фигурами речь свою предлагают, тогда изображают оную купно руками, очами, головою и плечами... Поднятием головы и лица кверху знаменуют вещь великолепную или гордость, голову опустивши показывают печаль и унижение; ею тряхнувши, обращают, стинувши плечи, боязнь, сомнение и отрицание изображают» [КРкР, § 138].

Важным условием осуществления речевого действия, как считает М.В.Ломоносов, является **память**: «Чтобы в произношении не запнуться или и совсем не стать, для того должен ритор речь свою твердо изусть выучить». Более того, здесь намечается проблема взаимодействия долговременной и оперативной памяти. Решение проблемы памяти является основной в реализации мысле-рече-языкового действия: «Тот скорее и больше изусть выучить может, — учит Ломоносов, — кто часто свои и чужие слова изусть учит» [КРкР, § 140].

Какова же роль языка в осуществлении мысле-рече-языковой деятельности? М.В.Ломоносов хорошо осознавал и видел ведущую роль языка — понимание его грамматики — для речевой деятельности человека. Поэтому он и ставит, представляет проблему перед «Разумом от Грамматики»: «Хотя природное знание языка много может, однако грамматика показывает путь доброй натуре» [РГ, § 131]. Грамматика обеспечивает наиболее осмысленную и, следовательно, наиболее эффективную передачу переработанной информации: «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики» [РГ, Введение].

Понимание **оценки** как основания мысле-рече-языковой деятельности органично всему духу научного мышления и методу исследований М.В.Ломоносова. Естествоиспытатель, уникальный теоретик и искусный экспериментатор, он как никто другой понимал ценность и важность **измерения**: он сам «измерил», т.е. оценил, «безбрежное море» русского слова и проверил путем «долговременного в русском слове упражнения» [РГ, Введение]. Измерение есть сравнение с выбранным эталоном, с единицей сравнения. Но что значит оценить что-либо? Оценить и значит провести сравнение отношений.

М.В.Ломоносов выделял оценочную компоненту в филологических исследованиях довольно отчетливо, выводя правила и резюме о том, чему способствует различение стилей: «1) ...великолепные сочинитель мысли сугубо возвысит; 2) будет всяк уметь разбирать высокие слова от подлых и употреблять их по достоинству... 3) ...отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков» [ПКЦ, с. 591]. Разрабатывая теорию трех «штилей» (когда и где какое слово употребить, «чтобы не

опускаться в подлость» и «чтобы слог не казался надутым»), он призывал к «рассудительному употреблению» выявленных им «трех родов речений русского языка» в соответствии с «материей», которая словом человеческим изображается, призывал соблюдать красоту и чистоту стиля.

Ломоносов осознавал общественную значимость разрабатываемой им области знания, именуемой теперь *прагмалингвистикой* (практической психолингвистикой): «Блаженство рода человеческого коль много от слова зависит, всяк усмотреть может» [Посвящение к КРКК]. Практическую ценность своих трудов он видел прежде всего в том, «чтобы другие, увидев возможность, по сей малой стезе в украшении русского слова дерзновенно простирались» [Посвящение к КРКК].

Критерии правильности речи, выведенные им на этой «малой стезе», корреспондируют с критериями языковой нормы по А. М. Пешковскому: «...норма — это то, что было, и отчасти то, что есть» [6] — «...что худо, то долго устоять не может, и старое назад возвратится, ежели оно нового лучше». Но М. В. Ломоносов говорит еще о необходимости правдивости и научной достоверности речи [КРКР, § 117]. Ученый специально пишет главу «Об изобретении доводов» [КРКК, § 73 — 93], в которой он выводит правила, как «должно показать, каким образом предлагаемую материю доказывать, в чем состоит сила и дело всего слова» [КРКК, § 73]. Но «что пособит ритору, ежели он свое мнение и основательно докажет, ежели не употребит способов к возбуждению страстей на свою сторону или не утолит противных» [КРКК, § 94]. И он разрабатывает целую систему обучения эффективному речевому действию, практически предвосхищая и разрешая в определенном смысле актуальную проблему современной психолингвистики — проблему эффективности речевого действия в условиях массовой коммуникации, проблему «силы слова» [7]. Для эмоционального воздействия речи, по Ломоносову, «три вещи наблюдать должно: 1) состояние ритора, 2) состояние слушателя, 3) самое к возбуждению служащее действие и сила красноречия» [КРКК, § 96, 97].

Правдивое слово М. В. Ломоносова чисто, живо и действенно, потому что оно умудрено знанием противоречий, знанием как светлых, так и темных, темных сторон жизни. Он предостерегает, что «охотники до замысловатых предложений» остерегаться должны, «чтобы, за ними излишно гоняючись, не завратясь» [КРКК, § 146]. Но он специально разрабатывает и проблему «вымыслов», ибо «слушатели слова вымыслами восхищаются и позабывают свои возражения на предлагаемую материю» [КРКК, § 149].

Ломоносов ясно видел стратегическое значение науки о «человеческом слове»: «Такие частные, в правдивом слове употребительные вымыслы подобны военным хитростям в сражениях бы-

вающим: ибо как с довольным числом солдат и всякого военного снаряду, с искусством, как употреблять оружие, и с сильным и мужественным на врагов нападением военные хитрости употреблять весьма полезно, так и вымыслы при увеличенном чрез распространения слова, при основательных доказательствах и при движении страстей весьма много способствуют» [КРКК, § 149].

Выявленная в трудах М.В.Ломоносова ценностная ориентация и социальная значимость слова как отражение категории оценки — это его вклад в психолингвистику.

Литература

1. *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений: В 11 т. — М.; Л., 1952. — Т. 7: Труды по филологии.
2. *Жинкин Н. И.* Речь как проводник информации. — М., 1982.
3. *Шерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. — Л., 1974.
4. *Doroszewski W.* Je zyk, myslenie, dzialanie. — Warszawa, 1982.
5. *Бодуэн де Куртене И. А.* Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т. — М., 1963.
6. *Пешковский А. М.* Объективная и нормативная точки зрения на язык // Избранные труды. — М., 1959.
7. *Клаусе Г.* Сила слова. — М., 1967.

М. В. ЛОМОНОСОВ

СУД РОССИЙСКИХ ПИСЬМЕН ПЕРЕД РАЗУМОМ И ОБЫЧАЕМ ОТ ГРАММАТИКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ

Обычай

Что за шум? Сторож, не пускай никого лишних: вить здесь не мостовая. Кто там?

Сторож

Та, сударь, боярыня пришла, которая завсегда в белом¹ платье с черными полосами² ходит и одно слово говорит десятью.

Разум

Никак госпожа Грамматика?

Обычай

Куда какая досада! Она, право, весь день проговорит, да и того на одно правописание не достанет.

В публикации Туманского *алом*.

В публикации Туманского *волосами*.

Разум

На одно правописание? Нет, сударь, она имеет такое особое искусство, что об одной запятой может написать великую книгу.

Обычай

Что ж, сударь, коли так, то нам с нею и в пять лет не исправиться будет. Когда же мне¹ другие важные дела исправлять и о том стараться, чтобы все то, что от меня зависит, удержать и утвердить в прежнем своем добром состоянии? Непостоянная госпожа Мода и ночи не спит, стараясь все то развратить или и вовсе отменить, что я уже давно за благо принял.

Разум

Напрасно для того излишно себя беспокоишь²: что худо, то долго устоять не может. И старое скоро назад возвратится, ежели оно нового лучше.

Сторож

Постой, сударыня: судьям не время.

Грамматика

Дело есть нужное.

Разум

Пусти ее.

Грамматика

Почтенные, почтеннейшие и препочтенные³ господа! Я вам доносила, доношу и буду доносить, что письма письменем гнушаются, письмени от письмене⁴ нет покою, письмена о письменах с письменами вражду имеют и спорят против письмен.

Разум

Мы знаем, сударыня, давно твои спряжения и склонения.

Обычай

Пожалуй, говори, как водится.

Грамматика

Я должна вам представить российские письмена, которые давно имеют между собою великие распри о получении разных важных мест и достоинств. Каждое представляет свое преимущество. Иные

¹ Зачеркнуто *о том стараться*.

² В публикации Туманского *беспокоить*.

³ В публикации Туманского *препочтеннейшие*.

⁴ В публикации Туманского *письмена письменами гнушаются, письменам от письмен*.

хвалятся своим пригожим видом, некоторые приятным голосом, иные своими патронами, а почти все старинною своею фамилиею. Сего междоусобного их несогласия без вашего рассмотрения прекратить невозможно.

Разум

Изволь их перед нас поставить.

Грамм [а тик а]

В каком образе видеть их изволите?

Обычай

Как в каком образе?

Грамм [а тик а]

Ежели вам угодно перекликать их на улице, то станут они для нынешней стужи в широких шубах, какие они носят в церковных книгах, а ежели в горнице пересматривать изволите, предстанут в летнем платье, какое они надевают в гражданской печати. Буде же за благо рассудите, чтобы они пришли к окнам на ходулях, явятся так, [как] их в старинных книгах под заставками писали или как и ныне в Вязьме на пряниках печатают. А когда по их честолюбию в наряде притти позволите, тогда наденут на себя ишпанские¹ парики с узлами, как они стоят у псалмов в начале², а женский пол³ суриком нарумянятся⁴. Буде же хотите, чтобы они явились как челобитчики в плачевном виде, то упадут перед вами, растрепав волосы, как их пьяные подьячие в челобитных⁵ пишут; наконец, если видеть желаете, как они недавно между собою подрались, то вступят к вам сцепившись, как⁶ судьи⁷ одним почерком крепят⁸ указы⁹.

Обычай¹⁰

Покинь, пожалуй, все излишние затеи.

Разум

Прочитай¹¹ сперва роспись.

¹ В публикации Туманского *наденет на себя мужеский пол испанские*.

² Зачеркнуто *изображаются*.

³ Зачеркнуто *киноварью*.

⁴ В публикации Туманского *нарумянятся*.

Зачеркнуто *начерно*.

⁶ Зачеркнуто *их*.

⁷ Зачеркнуто *под указами*.

⁸ Вместо зачеркнутого *подписывают*.

⁹ Зачеркнуто *закрепляют*. В публикации Туманского *приказы*.

¹⁰ Зачеркнуто *Куда с та*.

¹¹ Вместо зачеркнутого *Покажи*.

А. 7. 8. 9. 28. 45.²

Не считая моей древней фамилии, которая из богатого Тира происходит, должно бы мне делать от других отмену и для того, что я стою во-первых у Аполлона³, главного правителя на Парнасе, и начинаю первое лице; однако, не взирая на то, чинят мне великие изневаги⁴, а особливо Он⁵, который рангом⁶, лицом и голосом со мною сравняться не может⁷.

Печатается по изданию: *Ломоносов М. В.*
Поли. собр. соч.: В 11 т. — М.; Д., 1952. —
Т. 7: Труды по филологии.

¹ Зачеркнутое, Б, В.

В публикации Туманского за этими цифрами следует его помета *NB*. Последующее выписано из тетради, заключающей в себе приготовление к продолжению сей пьесы, после чего напечатано *Первый А хвалится первенством в алфавите*: Аполлон, покровитель наук, начинается с А; жалуется на О, что он был у евреев только точкою и ставился при других литерах внизу; когда же греки по рассуждению своих республик малых с великими свертали, то и его с нами сравнили.

О говорит: Я значу вечность, солнцу подобен, меня пишут астрономы и химики, мною означаются воскресные дни, мною великолепен язык славенский, и великая и малая Россия меня употребляет.

Он говорит к Азу: Ты так презрен, что почти никаких российских слов не начинаешь.

Говорит Аз...

Зачеркнуто *всех наук глав[ого?]*.

Вместо зачеркнутого *обиды*.

⁵ В публикации Туманского О.

⁶ Зачеркнуто *персон[ой]*.

Рукопись Ломоносова на этом обрывается. В публикации Туманского, вслед за этим напечатано *Произношение и Правписание также между собою спорят*.

Грамматика. Позволь произвесть их род; всякая буква сказывает о своей породе.

Грамматика говорит Обычаю: Новизну любишь же и ты, так что тупоносые башмаки принимаешь тотчас вместо остроносых и большие обшлага вместо малых; и ты иногда делаешь наперекось, как посадские жены, босы идучи, в руках башмаки носят, а шеголи и в дождик шляпу под пазухой держат.

Б говорит, что вторая персона в статье.

Грамматика. Штраф будет, то первенство надлежит гласным.

Ъ немой место занял, подобие как пятое колесо.

Ь говорит, что Е выгоняет меня из мѣста, владения и наследия, однако я не уступлю; Е недоволен своим селением и веселием, меня гонит из утешения: Е пускай будет довольствоваться женою, а до дѣвиц дела нет.

Шум между литерами. Согласные не смеют говорить без позволения гласных.

Ф жалуется, что 0 отлучает его от философов и от Филис; пускай она остается с своим вокой, 0адеем и 0ирсом.

0 говорит, что я имею первенство перед Ф у 0еофана и у 0еофилакта, и для того в азбуке быть после его невместно.

Г: Я стою в начале грамматики, служу вместо h.

К: Меня нет несчастливее, выгнан и только оставлен в греческих календах; вместо меня уже прибавляется Г: тѣ дому, гь богу.

Н жалуется на И, что оно наряжается часто в его платье.

С и З спорят между собою в предлогах.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО К КРАСНОРЕЧИЮ

(Извлечения)

КНИГА ПЕРВАЯ, В КОТОРОЙ СОДЕРЖИТСЯ РИТОРИКА, ПОКАЗУЮЩАЯ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБОЕГО КРАСНОРЕЧИЯ, ТО ЕСТЬ ОРАТОРИИ И ПОЭЗИИ, СОЧИНЕННАЯ В ПОЛЬЗУ ЛЮБЯЩИХ СЛОВЕСНЫЕ НАУКИ

Вступление¹

§ 1

Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению. Предложенная по сему искусству материя называется речь или слово.

§ 2

К приобретению оного требуются пять следующих средств: первое — природные дарования, второе — наука, третье — подра-

Рит. корр.; Рит. 1748; Соч. 1759 вступлению предшествовало следующее посвящение: Е.и.в., пресветлейшему государю, великому князю Петру Федоровичу, внуку государя императора Петра Великого, высокому наследнику Всероссийския империи, наследнику норвежскому, владеющему герцогу голстейн-шлезавигскому, стормарнскому и дитмарсенскому, графу олденбургскому и делменгорстскому и прочая, милостивейшему государю. Пресветлейший государь, великий князь, милостивейший государь! Блаженство рода человеческого коль много от слова зависит, всяк довольно усмотреть может. Собраться рассеянным народам в общежития, созидать грады, строить храмы и корабли, ополчаться против неприятеля и другие нужные, союзных сил требующие дела производить как бы возможно было, если бы они способа не имели сообщать свои мысли друг другу? Того ради всевышняя премудрость к дарованию разума присовокупила человеку и слова дарование, в котором остроумные люди уже в древние времена приметили, что оное искусством увеличено и тем с вящею пользою употреблено быть может, и для того многое старание и неусыпные труды полагали, чтобы слово свое учением возвысить и украсить, в чем они великие успехи имели и в обществе показывали знатные услуги. В нынешние веки хотя нет толь великого употребления украшенного слова, а особливо в судебных делах, каково было у древних греков и римлян, однако в предложении божия слова, в исправлении нравов человеческих, в описании славных дел великих героев и во многих политических поведениях коль оное полезно, ясно показывает состояние тех народов, в которых словесные науки процветают. Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по ея могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает. И для того нет сомнения, чтобы российское слово не могло приведено быть в такое совершенство, каковому в других удивляемся. Сим обнадежен, предприял я сочинение сего руководства, но больше в таком намерении, чтобы другие, увидев возможность, по сей малой стезе в украшении российского слова дерзновенно простирались...

жание авторов, четвертое — упражнение в сочинении, пятое — знание других наук.

§3

Природные дарования разделяются на душевные и телесные. Душевные дарования, а особливо¹ остроумие и память² к получению сего искусства толь необходимо нужны, как добрая земля к посеянию чистого семени, ибо как семя на неплодной земли, так и учение в худой голове тщетно есть и бесполезно. И для того Аполлоний Алабенденский, славный в древних временах красноречия учитель, по свидетельству Цицеронову, тех, которые от родителей своих к нему в училище присылались, в самом начале учения природную остроту прилежно рассматривал и которых приметил к тому быть неспособных немедленно назад отсылал, чтобы они напрасными трудами себя не изнуряли. Телесные дарования, громкий и приятный голос, долгий дух и крепкая грудь в красноречии, а особливо в произношении³ слова упражняющимся очень надобны; также дородство и осанковатый⁴ вид приличны, ежели слово пред народом говорить должно.

§4

Наука состоит в познании нужных правил, которые показывают подлинный путь к красноречию. Они должны быть, первое, кратки, чтобы не отяготить памяти многим изусту учением, а особливо тем, чему легче можно с примеров научиться, нежели по правилам; второе, порядочны, для того чтобы они были вразумительны и тем к научению способственны; третье, удовольствованы примерами, которые бы показывали самую оных силу для яснейшего их понятия и для способнейшего своих примеров против оных сочинений. Мы будем стараться, чтобы в настоящем нашем предприятии поступить по сим требованиям.

§5

Изучению правил следует подражание авторов, в красноречии славных, которое учащимся едва не больше нужно, нежели самые лучшие правила. Всяк знает, что и в художествах того миновать нельзя, например⁵: кто учится живописству, тот старается всегда иметь у себя лучшие рисунки и картины славных⁶ мастеров и, к ним применяясь, достигнуть совершенства в том художестве. Красноречие коль

Рит. рук. 1747 дарования, а особливо вместо зачеркнутого ум, память.

Рит. рук. 1747 зачеркнуто рассуждение, которое.

Соч. 1759 было добавлено общенародного.

Соч. 1759 сановитый.

⁵ *Рит. рук. 1747; Рит. корр.; Рит. 1748 наприклад.*

⁶ *Соч. 1759 великих.*

много превышает прочие искусства, толь больше требует и подражания знатных авторов. Но о сем пространнее предложено будет на конце сея книги¹ особливо.

§6

Подражание требует, чтобы часто упражняться в сочинении разных слов. От беспрестанного упражнения возрасло красноречие древних великих авторов², которых от того ни старость, ни великая честь и достоинство отвратить не могли. . . . речи, без приготовления пред народом произнесенные, назывались божественными, ибо оне казались быть выше сил человеческих. Того ради надлежит, чтобы учащиеся красноречию старались сим образом разум свой острить чрез беспрестанное упражнение в сочинении и произношении слов, а не полагаться на одне правила и чтение авторов, ежели при всяком случае и о всякой материи готовы быть желают к предложению слова.

§7

Материя риторическая есть все, о чем говорить можно, то есть все известные вещи в свете, откуда явствует, что, ежели кто имеет большее познание настоящих и прешедших вещей, то есть чем искуснее в науках, у того большее есть изобилие материи к красноречию³. Итак, учащиеся оному великое будут иметь в своем искусстве вспоможение, ежели они обучены по последней мере истории и нравовучению.

§8

Слово двояко изображено быть может — прозою или поэмою. Проза есть слово, которого части не имеют точно определенной меры и порядка складов, ни согласия, в произношении точно назначенного, но все речения располагаются в нем таким порядком, какого обыкновенный чистый разговор требует. Поэма состоит из частей, известною мерою определенных, и притом имеет точный⁴ порядок складов по их ударению или произношению. Первым образом сочиняются проповеди, истории, учебные книги, другим составляются гимны, оды, комедии, сатиры и других родов стихи.

§9

Но хотя проза от поэмы для отменного сложения разнится, а потому и в штиле должна быть отлична, однако в рассуждении обще-

¹ Соч. 1759 *сего руководства*.

² Соч. 1759 *витий*.

³ Рит. рук. 1747 *сладкоречию*.

⁴ Рит. рук. 1747 слово *точный* отсутствует. Рит. корр. добавлено слово *точный*.

ства материи весьма с оною сходствует, ибо об одной вещи можно писать прозою и стихами. Итак, оба сии красноречия¹ роды имеют в себе купно обоим общее и особливо каждому отменное.

КРАТКОГО РУКОВОДСТВА К КРАСНОРЕЧИЮ КНИГА I, СОДЕРЖАЩАЯ РИТОРИКУ

§ 1

Риторика есть учение о красноречии вообще. Имя сея науки происходит от греческого глагола *ресо*, что значит: говорю, лью или теку. Оттуду же произведено и речение *рпюр* (ритор), которое хотя на греческом языке значит витию или красноречивого человека и в российский язык в том же знаменовании принято, однако от новейших авторов почитается за именование писателя правил риторических.

§ 2

В сей науке предлагаются правила трех родов. Первые показывают, как изобретать оное, что о предложенной материи говорить должно; другие учат, как изобретенное украшать; третьи наставляют, как оное располагать надлежит, и посему разделяется Риторика на три части — на изобретение, украшение и расположение.

Часть I

О ИЗОБРЕТЕНИИ

Глава первая

О ИЗОБРЕТЕНИИ ВООБЩЕ

§ 3

Изобретение риторическое есть собрание разных идей, пристойных предлагаемой материи. Идеями называются представления вещей или действий в уме нашем; например, мы имеем идею о часах, когда их самих или вид оных без них в уме изображаем; также имеем идею о движении, когда видим или на мысль приводим вещь, место свое беспрестанно переменяющую.

§ 4

Идеи суть простые или сложенные. Простые состоят из одного представления, сложенные из двух или многих, между собою соединенных и совершенный разум имеющих². Ночь, представленная в уме, есть простая идея, но когда себе представишь, что ночью люди

¹ Рит. рук. 1747 *слакоречия*.

² Соч. 1759. Разделение первое, *содержащее*.

после трудов покоятся, тогда будет уже сложенная идея, для того что соединятся пять идей, то есть о дни, о ночи, о людях, о трудах и о покое.

§5

Все идеи изобретены бывают из общих мест риторических, которые суть: 1) род и вид, 2) целое и части, 3) свойства материальные, 4) свойства жизненные, 5) имя, 6) действия и страдания, 7) место, 8) время, 9) происхождение, 10) причина, 11) предыдущее и последующее, 12) признаки, 13) обстоятельства, 14) подобию, 15) противные и несходные вещи, 16) уравнения¹.

§6

Родом называется общее подобие особенных вещей. Такое подобие видим Невы с Двиною, Днепром, Волгою и другими в моря протекающими великими водами и оное называем одним словом — река, которая есть род, а Нева, Двина, Днепр, Волга, Висла и прочие суть виды оног².

§7

Целое есть то, что соединено из других вещей, а части называются оные вещи, которые то составляют, например, город есть целое, а стены, башни, дома, улицы и прочая суть его части.

§8

Свойства материальные суть те, которые чувствительным вещам животным и бездушным приписуются³, как величина, фигура, тягость, твердость, упругость, движение, звон, цвет, вкус, запах, теплота, стужа, внутренние силы.

§9

Жизненные свойства принадлежат к одушевленным вещам, из которых, во-первых, суть главные душевные дарования: понятие, память, соображение, рассуждение, произволение. Второе — страсти: радость и печаль, удовольствие и раскаяние, честь и стыд, надежда и боязнь, упование и отчаяние⁴, гнев и милосердие, любовь и ненависть, удивление и гнушение⁵, желание и отвращение. Третье —

Рит. рук. 1747 *сравнения*.

Соч. 1759 вместо второго предложения *Такое подобие есть милости с любовью, кротостию, благочестием и другими добрыми делами, и оное общим именем называется — добродетель, которое есть род, а милость, любовь, кротость и прочие суть виды*.

³ Рит. рук. 1747 *вещам соединены вместо вещам... приписуются*.

Рит. рук. 1747 *возношение и стыд, надежда и отчаяние, отвага и страх вместо честь... отчаяние*. Рит. корр. исправлено на *честь и стыд, надежда и боязнь, упование и отчаяние*.

⁵ Рит. рук. 1747 *гнушательство*.

добродетели: мудрость, благочестие, воздержание, чистота, милость, тщивость, благодарность, великодушие, терпение, праводушие, незлобие, простосердечие, искренность, постоянство, трудолюбие, дружелюбие, послушание, уклонность, скромность. Четвертое — пороки: безумие, нечестие, роскошь, нечистота, лютость, скупость, неблагодарность¹, малодушие, нетерпеливость, лукавство, злоба, лицемерство и ласкательство, продерзливость, непостоянство, леность, сварливость, упрямство, грубость, самохвальство. Пятое — внешнее состояние: благородие и неблагородие, счастье и несчастье, богатство и убожество, слава и бесславие, власть и безвластие, вольность и порабощение. Шестое — телесные свойства и дарования: возраст, век, пол, сила, красота, здравие, проворность. Седьмое — чувства: зрение, слышание, обоняние, вкушение, осязание.

§ 10

Имя есть свойственное или приложенное. Свойственное² есть, которым что обыкновенно называют, как: небо, Москва, август и прочая. Приложенные имена даются сверх свойственных, что бывает следующим образом: 1) когда имя иностранное с другого языка на природный переведено будет, например: Мельхиседек с еврейского по-русски — царь правды, Андрей с греческого — мужественный, Квинт с латинского — пятый; 2) когда по особливим делам или свойствам дано кому будет проименование, так: Александр от великого мужества назывался великий, Аттила от строгости — бич божий; 3) когда чрез предложение письмен, имя составляющих, будет составлено³ речение, другое знаменование имеющее, например: Рим чрез предложение письмен может назваться мир; 4) когда слово будет взято в знаменовании другой вещи, ежели она сходное⁴ имя имеет, например: речение свет (вселенная⁵) принято будет в знаменовании света, чрез который мы видим; 5) когда к имени приложено будет речение, от которого⁶ оно происходит, например: Владимир назовется⁷ владетель мира.

§ 11

Действие и страдание есть всякая перемена, которую одна вещь в другой производит. Перемену производящее называется действующим, а то, в чем перемена производится, страждущим. Например: *сильный ветер море волнует* — сильный ветер есть действующее, а

¹ Соч. 1759 было добавлено *гордость*.

² Рит. рук. 1747 *Собственное*.

Соч. 1759 *сложено*.

Соч. 1759 *то же*.

⁵ Рит. рук. 1747 было добавлено *мир*.

⁶ Соч. 1759 *разложены будут наречения, из которых вместо приложено... которого*.

⁷ Соч. 1759 *называется*.

море есть страждущее. Самое волнование есть действие в рассуждении ветра, страдание в рассуждении моря. С действием и страданием совокуплены бывають инструменты, вспоможения... удобность или неудобность, возможность или невозможность, пристойность или непристойность, польза или вред, угодность или неугодность, честность или гнусность¹, также действие имеет иногда свое восследование и удачу, а иногда уничтожение свое и неудачу.

§ 12

Время есть указательное и количественное: указательное познается чрез вопрошение когда? Например: *плоды собираются в осень*. Количественное время познается чрез вопрошение коль долго? Например: *Август, цесарь римский, царствовал сорок четыре года*².

§ 13

Место разделяется на одержимое и проходимое. Первое назначается вопрошением где? Например: *остров Сицилия лежит*³ *на Посредиземном море*. Второе показано бывает на вопрошение по чему? Например: *молния блещет по воздуху*. При месте наблюдать должно оно пространство, близость, далекость, вышину, низкость, стороны и прочая, также и наречия и предлоги: *куда, откуда, доколе, вне, внутрь, у, за, пред, против, под, над, около, вплоть, до* и прочие, до места надлежащие. Сюда принадлежит⁴ содержащее и содержимое, например: город есть содержащее, а люди, в нем живущие, — содержимое. Содержимое может иногда быть купно и содержащее, так: река в рассуждении животных и судов, в ней плавающих, есть содержащее, а в рассуждении берегов есть содержимое.

§ 14

Происхождение есть начало, от которого что другое происходит и свое бытие имеет, например: *металлы происходят от земли, мед — от пчел, бесславие и казни — от худых дел*; земля, пчелы и худые дела суть происхождение металлов, меда, худых дел.

§ 15

Причина есть конец, для которого всякая вещь есть или бывает, наприклад⁵: *земледелец пашет землю и насеивает, чтобы полу-*

Рит. рук. 1747 слова *пристойность... гнусность* отсутствуют; Рит. корр. добавлено *честность и гнусность*.

² Рит. рук. 1747 *пятьдесят лет*; Рит. корр. исправлено на *сорок четыре года*.

³ Рит. рук. 1747 *стоит*.

⁴ Рит. рук. 1747 зачеркнуто *вещи, в которых другие включаются*.

⁵ Рит. рук. 1747 зачеркнуто *дождь землю и кропит, и солнце землю согревает (для того чтобы), отчего дерева, травы и плоды произрастают. Кропление дождем и солнечная теплота*.

чить себе хлеб на пищу. Получение хлеба на пищу земледельцу есть причина оранья и засеивания земли.

§ 16

Предыдущее есть что пред вещью необходимо бывает, последующее — что оной последует, так: *весна предходит лету, которому осень последует*; и потому весна есть в рассуждении лета предыдущее, а осень — последующее; так: *младенчество и старость суть мужеского возраста предыдущее и последующее.*

§ 17

Признаком называют что другую вещь показывает, когда она сама чувствам не подвержена. Вещи отдаляются от чувств местом или временем, прошедшим или будущим, и посему признаки суть трех родов: 1) которые показывают вещь настоящую, так: *дым показывает сокровенный огонь, шум дерев изъявляет ветер*; 2) которые показывают вещь будущую, как: *находящие густые тучи предвещают дождь, заря утренняя предсказывает восхождение солнца*; 3) которые объявляют прошедшую вещь: *обагренная кровью Тициева шпага, бледное его лице, отдаление от людей и бег от Семпрониева мертвого тела суть признаки учиненного им убийства.* К сему месту принадлежат пророчества, предзнаменования и свидетельства¹.

§ 18

Обстоятельства суть те вещи, которые хотя с данною вещью не соединены, однако имеют к ней некоторую принадлежность; так, встречающиеся путнику звери, около пути лежащие места, по реке плавающие суда и птицы, пчела, на розе сидящая, суть обстоятельства путника, реки и розы.

§ 19

Подобие риторическое есть снесение² двух вещей в свойствах или действиях. Сердце человека, гневом возмущенного, уподоблено быть может волнуемому морю, скорое течение острых мыслей — стреле. Подобие разделяется на простое и сложенное; в простом сносится только одно свойство или действие одной вещи с одним же свойством или действием другой, как скорость мыслей со скоростью стрелы. В сложенном подобии сносятся два или многие свойства либо действия одной вещи с двумя или многими свойствами либо действиями другой, например: *как подсыхает ветвь, подъеденная от червя, так печалью сокрушенное сердце ослабевает.* Здесь сердце с ветвью, печаль с червем, ослабление с подсыханием сносится.

Рит. рук. 1747 слово *предзнаменование* отсутствует.

Рит. рук. 1747 *снесение* вместо зачеркнутого *сходство*.

§20

Противными называются те вещи, которые вдруг быть не могут вместе, как день и ночь, зной и стужа, богатство и убожество, любовь и ненависть. Несходственные вещи бывают, когда вместо одной противной вещи полагается то, что от ней происходит, например: любить и обидеть (вместо ненавидеть), не бояться неприятеля и от него бегать (вместо бояться), ибо обида от ненависти, а бегство от боязни происходит.

§21

Уравнение есть снесение двух вещей, одну другой за равную, большую или меньшую почитая. Пример первого: *Иулий Цезарь завидовал славе Александра Великого, равно как Александр — славе отца своего Филиппа*. Пример второго: *Фридерик-цесарь несчастливей был в реке Цидне, нежели Александр Великий, ибо сей, умывшись в ней, только разболелся, а оный живота лишился*¹. Пример третьего: *войну удобнее начать, нежели к концу привести*.

§22

Сие описание риторических мест показано здесь вкратце только для одного истолкования оных; употребление и польза их предлагается в следующих главах.

Глава вторая

О ИЗОБРЕТЕНИИ ПРОСТЫХ ИДЕЙ

§23

Сочинитель слова тем обильнейшими изобретениями оное обогатить может, чем быстрейшую имеет силу соображения, которая есть душевное дарование с одною вещию, в уме представленною, купно воображать другие, как-нибудь с нею сопряженные, например: когда представив в уме корабль, с ним воображаем купно и море, по которому он плавает, с морем — бурю, с бурюю — волны, с волнами — шум в берегах, с берегами — камни и так далее. Сие все действуем силою соображения, которая, будучи соединена с рассуждением, называется остроумие.

§24

Отсюда видно, что чрез силу соображения из одной простой идеи расплодиться могут многие, а чем оных больше, тем и в сочинении слова больше будет изобилия. Сие душевное дарование хотя многие имеют от природы велико, однако оно не всегда и не во вся-

¹ Рит. рук. 1747 зачеркнуто *третье удобнее словом изобразить, нежели произнести*.

ком случае надежно, для того вспоможение оно должно здесь предложить некоторые правила.

§25

Материя, сочинителю слова данная, обыкновенно бывает сложенная идея, которая называется тема. Простые идеи, из которых она составляется, называются терминами. Например, сия тема: *неусыпный труд препятствия преодолевает* имеет в себе четыре термина: неусыпность, труд, препятствия и преодоление. Предлоги и другие вспомогательные части слова за термины не почитаются.

§26

От терминов темы произведены быть могут чрез силу соображения (по § 23 и 24) многие простые идеи, которые мы разделяем¹ на первые, вторичные и третичные. Первыми называем² те, которые от терминов темы непосредственно происходят, вторичными, которые от первых, третичными, которые от вторичных идей рождаются. Например, в предложенной (§25) теме неусыпность есть термин, от которого рождаются непосредственно первые идеи: 1) утро, в которое³ неусыпный человек рано встает; 2) вечер и ночь, в которые он не спя в трудах упражняется. Вторичные идеи, которые от первой — утро — происходят, суть: заря, скрывающиеся звезды, восходящее солнце, пение птиц и прочая. Третичные идеи, которые от вторичной — заря — рождаются, суть: багряный цвет, сходство с некоторою округлою дверью и прочая.

§27

Чтобы в собирании первых, вторичных и третичных идей⁴ не по одной соображения силе поступать, для того должно наблюдать следующие правила: 1) все термины, которые тема в себе имеет, написать особливо; 2) к каждому термину приискать первые идеи из мест риторических и приписывать к ним особливо одну от другой в нарочитом расстоянии, чтобы вторичным и третичным места осталось; 3) к первым идеям приискивать и приписывать вторичные, к вторичным, ежели надобно, третичные из тех же мест; 4) ежели которое место в рассуждении какого термина непродуктивно, то можно миновать, как в неусыпности материальные свойства и знаменование имени; 5) должно смотреть, чтобы приисканные идеи приличны были к самой теме, однако не надлежит всегда тех отбрасывать, которые кажутся от темы далековаты, ибо оне иногда, будучи сопряжены по правилам следующия главы, могут составить изрядные и к теме при-

¹ Соч. 1759 *разделяю*.

² Соч. 1759 *называю*.

³ Соч. 1759 *что*.

⁴ Рит. рук. 1747 было добавлено *правильно*.

личные сложенные идеи. Для лучшего изъяснения¹ сих правил предлагаем в пример вышепомянутую тему: *неусыпный труд препятства преодолевает*² с изысканием и присовокуплением к каждому термину идей первых и вторичных из мест риторических. Третичные ради краткости оставляются.

§28

К первому термину — неусыпность — первые идеи присовокупаются: 1) от жизненных свойств — надежда о воздаянии, послушание к начальникам, подражание товарищам, богатство, которого неусыпный желает, или честь, которая его побуждает, 2) от времени — утро, вечер, день, ночь, 3) от подобия — течение реки, которому неусыпность подобна, 4) от противного — леность, 5) от несходственного — гульба. Ко второму термину — труд — первые идеи прилагаются: 1) от жизненных дарований — сила, 2) от действия — начало, середина и конец труда, 3) от последующего — пот, упокоение, 4) от подобия — трудолюбие пчел. К третьему термину — препятства: 1) от жизненных свойств — страх, 2) от времени — зима, война, 3) от места — горы, пустыни, моря. К четвертому термину — преодоление: 1) от жизненных свойств — радость, 2) от предыдущих³ — воспоминание прежних трудностей.

§29

К сим первым идеям присовокупаются вторичные — к надежде: 1) от рода и вида другие страсти, как любовь, желание, 2) от действия — ободрение, 3) от последующего — исполнение, 4) от противных — отчаяние, 5) от подобия — сон. К богатству: 1) от частей — золото, камни дорогие, дома, сады, слуги и прочая, 2) от знаменования имени — что от слова бог происходит, 3) от действия — что друзей много достает, 4) от происхождения — что от своих трудов происходит, 5) от противных — убожество. К чести: 1) от действия — свободный доступ к знатным, 2) от жизненных свойств⁴ — власть, похвала. К утру: 1) от действия — возбуждение людей, скрытие звезд, 2) от частей — заря, восхождение солнца, 3) от обстоятельств — пение птиц. К вечеру: 1) от свойств материальных — темнота, холод, 2) от обстоятельств — роса, звери, из нор выходящие. Ко дню: 1) от материальных свойств — теплота, свет, 2) от обстоятельств — шум, взирание на праздных. К ночи: 1) от жизненных свойств — дремота, 2) от обстоятельств — молчание, луна, звезды. К течению реки: 1) от свойств материальных — быстрина,

¹ Рит. рук. 1747 зачеркнуто (*истолкования*) понятия.

² Рит. рук. 1747 *превосходит*.

³ Соч. 1759 *от последующих*.

⁴ Рит. рук. 1747 слова от *жизненных свойств* отсутствуют; зачеркнуто *от признаков* — ордены.

жидкость, прозрачность, 2) от содержимого¹ — берега, от содержащего² — суда, рыбы, 3) от действия — омытие, напоение. К гульбе: 1) от жизненных свойств — веселие, 2) от времени — весна, ясные дни, 3) от места — сады, луга, 4) от обстоятельств — игры, свидание с приятельми. К силе: от уравнения — Сампсон, Геркулес³. К пчелам: от действия — летание по цветам, собирание меду. К страху: 1) от материальных свойств — бледность, трясение членов, 2) от подобия — трепещущие листья в осень от бури. К зиме: 1) от свойств материальных — снег, мороз, град, 2) от действия — дерева, лишённые листов и плодов, 3) от происхождения — отдаление солнца. К войне: 1) от свойств жизненных — лютость неприятелей, 2) от действия — инструменты, мечи, копья, огонь, разорения, 3) от следующих — слезы разоренных. К горам: 1) от свойств материальных — вышина, крутизна, расселины, пещеры, 2) от обстоятельств⁴ — ядовитые гады, животные, которые в горах бывают. К пустыням: 1) от частей — леса, болота, пески, 2) от жизненных свойств — скука, 3) от обстоятельств — разбойники, звери. К морям: 1) от действия — непостоянство, волнение⁵, 2) от места содержащего — камни, пучины⁶. К радости: 1) от действия⁷ — восклицания, плескания, 2) от подобия — прохлаждение после зноя. К воспоминанию: от обстоятельств — извещение приятелям и увеселение оных, печаль недругов и зависть.

§30

Все сии идеи для яснейшего понятия представляются в следующей таблице:

Термины	Первые идеи	Вторичные идеи
Неусыпность	Надежда	(Другие страсти, любовь, желание), ободрение, исполнение, отчаяние, как сон
	Послушание	
	Подражание	
	Богатство	Золото, камни дорогие, дома, сады, слуги, бог, друзья, от своих трудов, убожество
	Честь	Доступ до знатных, похвала, власть
Утро	Возбуждение, скрытие звезд, заря, восхождение солнца, пение птиц	
Вечер	Темнота, холод, роса, звери, из нор выходящие	

Соч. 1759 от содержащего.

Соч. 1759 от содержимого.

³ Рит. рук. 1747 зачеркнуто к устали 1) от следующих — частое дыхание, 2) от подобия.

Рит. рук. 1747 зачеркнуто трясение земли, которое в гористых.

⁵ Рит. рук. 1747 зачеркнуто от обстоятельств — места, камни.

⁶ Рит. рук. 1747 зачеркнуто жерла.

⁷ Рит. рук. 1747 зачеркнуто смех.

Термины	Первые идеи	Вторичные идеи
Неусып-ность	День Ночь Река Леность Гульба Сила	Теплота, свет, шум, взирание на праздных Дремание, молчание, луна, звезды Быстрина, жидкость, прозрачность, берега, суда, рыбы, омытие, напоение Веселие, весна, ясные дни, сады, луга, игры, свидание Сампсон, Геркулес
Труд	Начало, сере- дина и конец Пот Упокоение Пчелы	Летание по цветам, собирание меда
Препят-ства	Страх Зима Война Горы Пустыни Моря	Бледность, трясение членов, как листья от ветра в осени Мороз, снег, град, деревья, лишённые плодов и листов, отдаление солнца Лютость неприятелей, мечи, копья, огонь, разорение, слезы разоренных Вышина, крутизна, расселины, пещеры, ядовитые гады Лесы, болота, пески, скука, разбойники, звери Непостоянство, волнение, камни, пучины
Преодо-ление	Радость Воспоминание	Восклицания, плески, как прохладения после зноя Извещение приятелям, их увеселение, печаль и зависть недругов

§ 31

В сем примере хотя только первые и вторичные идеи и те из многих мест риторических к терминам приложены, однако ясно видеть можно, что чрез сии правила соображение человеческое иметь может великое вспоможение и от одного термина произвести многие идеи. Для того учащимся риторики должно упражняться часто в приискании оных¹ из риторических мест по данным правилам (§ 27), чтобы им увеличить свою силу соображения, которая в красноречии много может.

§ 32

0 речениях, которые показанным образом собирать должно, не рассуждаем здесь, как еврейские учителя, которые в книге, Зоар

¹ Рит. рук. 1747 зачеркнуто *первых, вторичных и третичных идей.*

называемой, словам без всякого основания приписывают некоторую потаенную силу, от звезд происходящую и действующую в земных существах, и не принимаем их в таком разумении, как Руцелин, некто агличанин, который помянутому древнему раввинскому заблуждению учил нечто подобное в двенадцатом веку, утверждая, якобы в познании имен содержалось познание самых вещей, от чего произошла между учеными новая секта, которой последователи назывались именники (Nominales), и воспоследовали оттуда в Париже у студентов великие распри и кровопролития с теми, которые держались противного мнения и назывались вещественники (Reales). Мы учим здесь собирать слова, которые не без разбору принимаются, но от идей, подлинные вещи или действия изображающих, происходят и как к предложенной теме, так и к самим себе некоторую взаимную принадлежность имеют, что окажется чрез приличное оных сопряжение в следующей главе.

Глава шестая

О ВОЗБУЖДЕНИИ, УТОЛЕНИИ И ИЗОБРАЖЕНИИ¹ СТРАСТЕЙ

§94

Хотя доводы и довольны бывают к удостоверению о справедливости предлагаемая материи², однако сочинитель слова должен сверх того слушателей учинить страстными к оной. Самые лучшие доказательства иногда столько силы не имеют, чтобы упрямого преклонить на свою сторону, когда другое мнение в уме его вкоренилось. Мало есть таких людей, которые могут поступать по рассуждению, преодолев свои склонности. Итак, что пособит ритору, хотя он свое мнение и основательно докажет, ежели не употребит способов к возбуждению страстей на свою сторону или не утолит³ противных?

§95

А чтобы сие с добрым успехом производить в дело, то надлежит обстоятельно знать нравы человеческие, должно самым искусством чрез рачительное наблюдение и философское остроумие высмотреть, от каких представлений и идей каждая страсть возбуждается, и изведать чрез нравоучение всю глубину сердец человеческих. Из сих источников почерпнул Димосфен всю свою силу к возбуждению страстей, ибо он немалое время у Платона учился философии, а особливо нравоучению⁴. Также и Цицерон оттуда же имел чрезвычайную свою

¹ Рит. рук. 1747 слово *изображении* отсутствует.

² Рит. рук 1747 *темы*.

Рит. рук 1747 *утолит* вместо зачеркнутого (*угомонит*) *умягчит*.

⁴ Рит. рук 1747 *нравоучительной*.

власть над сердцами слушателей, которой и самые жестокие¹ нравы не могли противиться. Для сего предлагаются здесь правила к возбуждению страстей, которые по большей части из учения о душе и из нравоучительной философии происходят.

§ 96

Страстию называется сильная чувственная охота или неохота, соединенная с необыкновенным движением крови и жизненных духов, при чем всегда бывает услаждение или скука. В возбуждении и утолении страстей, во-первых, три вещи наблюдать должно: 1) состояние самого ратора, 2) состояние слушателей, 3) самое к возбуждению служащее действие и сила красноречия².

§ 97

Что до состояния самого ратора надлежит, то много способствует к возбуждению и утолению страстей: 1) когда слушатели знают, что он добросердечный и совестный человек, а не легкомысленный ласкатель и лукавец³; 2) ежели его народ любит за его заслуги⁴; 3) ежели он сам ту же страсть имеет, которую в слушателях возбудить хочет, а не притворно их страстными учинить намерен, ибо он тогда не токмо словом, но и видом и движением действовать будет; 4) ежели он знатен пороною или чином; 5) с важностию знатного чина и породы купно немало помогает старость, которой честь и повелительство некоторым образом дает сама натура. Довольно было Августу к внезапному усмирению замешательства, учинившегося между знатными молодыми дворянами, сказать:

Слушайте, молодые люди, старика, которого во младости старики слушали.

§ 98

Нравы человеческие коль различны и коль отменно⁵ людей состояние, того и сказать невозможно. Для того разумный ритор прилежно наблюдать должен хотя главные слушателей свойства, то есть 1) возраст, ибо малые дети на приятные и нежные вещи обращаются и склоннее к радости, милосердию, боязни и к стыду, взрослые способнее приведены быть могут на радость и на гнев, старые перед прочими страстями склоннее к ненависти, к любочестию⁶ и к зависти, страсти в них возбудить и утолить труднее, нежели в молодых; 2) пол, ибо мужеский пол к страстям удобнее склоняется и скорее

¹ Рит. рук 1747 *крепкие*.

Рит. рук. 1747 *самое... красноречия* вместо зачеркнутого 3) *обстоятельства предлагаемой вещи, от которой страсть возбуждается*.

³ Рит. рук. 1747 *льстец*.

⁴ Рит. рук. 1747 было добавлено *к нему* и зачеркнуто *к отечеству*.

⁵ Рит. корр. *отменно* вместо зачеркнутого *разно*.

Рит. рук. 1747 *к чести* вместо зачеркнутого *к честолобию*; Соч. 1759 *к честолобию*.

оние оставляет, но женский пол, хотя на оние еще и скоряе побуждается, однако весьма долго в них остается¹ и с трудом оставляет; 3) воспитание, ибо кто к чему привык, от того отвратить трудно; напротив того, большую к тому же возбудить склонность весьма свободно: спартанского жителя, в поте и в пыли воспитанного, трудно принудить, чтобы он сидел дома за книгами; напротив того, афинеанина едва вызовешь ли от учения в поле; 4) наука, ибо у людей, обученных в политике и многим знанием и искусством важных, надлежит возбуждать страсти с умеренною живностию и с благочинною бодростию, предложениями важного учения исполненными; напротив того, у простаков и у грубых людей должно употреблять всю силу стремительных и огорчительных страстей, для того что нежные и плачевные столько у них действительны, сколько лютна у медведей. При всех сих надлежит наблюдать время, место и обстоятельство. Итак, разумный ритор при возбуждении страстей должен поступать, как искусный боец: уметь в то место, где не прикрыто, а особливо того наблюдать, чтобы тем приводить в страсти, кому что больше нужно, пристойно и полезно.

§99

Сим следует главное дело, то есть самая сила к возбуждению или уголению страстей и действие красноречия. Оно долженствует быть велико, стремительно, остро и крепко, не первым токмо стремлением ударяющее и потом упдающее, но беспрестанно возрастающее и укрепляющееся. Здесь присовокупить должно крепость голоса и напряжение груди. И, таким образом, ежели кто хочет приятную или скучную страсть возбудить, то должен он своим слушателям представить все к предлагаемой вещи принадлежащее добро или зло в великом множестве и скоро одно после другого. К сему требуется, чтобы ритор имел великое остроумие и рачение для изыскания идей, к сему делу пристойных. Буде же он какую-нибудь страсть утолить хочет, то должен слушателям показать, что оного добра или зла в предлагаемой вещи нет, к которому они толь страстны, или по последней мере изъяснить, что оное добро или зло не толь велико, как они думают. Здесь не меньше надлежит употребить силы и стремления в слове, а притом еще надобно больше иметь предосторожности, нежели в первом случае.

§100

Больше всех служат к движению и возбуждению страстей живо представленные описания, которые очень в чувства ударяют, а особливо как бы действительно в зрении изображаются. Глубокомысленные рассуждения и доказательства не так чувствительны, и страсти не могут от них возгореться. <... >

Соч. 1759 в себе удерживает вместо в них остается.

Искусный ритор при возбуждении и утолении страстей должен стараться, как бы подобные случаи так живо слушателям в слове изобразить, чтобы они предлагаемое дело как перед глазами ясно видели.

§101

Сии суть общие правила, учащие возбуждению и утолению страстей. Им следуют правила особливые о знатнейших страстях, которые от риторов чаще других употреблены бывают. Из них мягкие и нежные суть радость, любовь, надежда, милосердие, честь или любочестие¹ и студ². Напротив того, печаль, ненависть, гнев, отчаяние, раскаяние и зависть суть жестокие и сильные страсти. Прочие между сильными и нежными посредственны.

§102

Радость есть душевное услаждение в рассуждении настоящего добра, подлинного или мнимого. Сия страсть имеет три степени. В самом начале производит немалое, однако свободное движение и игранье крови, скакание, плескание, смеяние. Но как несколько утихнет, тогда пременяется в веселие, и последует некоторое распространение сердца, взор приятный и лице веселое. Напоследи, как уже веселие успокоится, наступает удовольствие мыслей и перестают все чрезвычайные в теле перемены³.

§103

К возбуждению радости в слушателях должно представить: 1) что они великое добро или много оно получили, 2) что оное полученное добро есть то, которое они любят, 3) что они того долго искали, 4) притом предложить употребленные на снискание оно труды, попечения и беды, которых воспоминание всегда приятно бывает, 5) упомянуть, что того добра другие желали, но не получили, 6) что неприятели слушателей в том им завидуют и весьма печальны, ибо о печали недругов натурально радуемся, 7) ежели слушатели к приобретению оно добра показали какие заслуги или искусство употребляли, то приложить к тому их похвалу, ибо всяк, слыша себя похваляема, радуется, 8) буде же по случаю или по милости великой особы получили, то должно сказать, что они того достойны, 9) представить, что полученное добро будет долговременно и безопасно.

§104

В сем случае должно употребить предложения, которыми обыкновенно слушатели увеселяются, то есть новые, неслыханные, по-

¹ Соч. 1759 *честолюбие*.

² Соч. 1759 *стыд*.

³ Рит. рук. 1747 *все чрезвычайные перемены перестанут* вместо *перестают... перемены*; Рит. корр. было набрано *перестают все чрезвычайные перемены* и после слова *чрезвычайные* добавлено рукой Ломоносова *в теле*.

лезные, словом чистым, мягким, витиеватым и наподобие весны цветущим. Надлежит высматривать склонность слушателей, чувствами ли они больше увеселяются или разумом; последних хотя и мало бывает, однако для них должно вмещать при возбуждении радости важные и ученые предложения. В рассуждении последних надобно смотреть, чем оне больше увеселяются, и по тому представлять им радость о данной материи¹. <...>

§106

Радости противная страсть есть печаль, которая состоит в жестокой скуке о настоящем зле, и так² происходит она, когда в уме представляется лишение великого добра или терпение великого несчастья. Для того, ежели кто хочет в слушателях печаль возбудить³, то должен он представить, 1) что они великое, нужное и полезное добро потеряли, 2) потеряли то, что они любили, 3) чего толь долго искали, 4) для чего⁴ столько трудов и попечения положено и бед претерплено, 5) потеряли то, что прежде у других с трудом перехватили, 6) что неприятели их о том радуются, 7) что того несчастья давно было должно остерегаться, однако оно небрежением⁵ их учинилось, и что уже о том стараться поздно, 8) представить те времена и места, в которых они добром тем увеселялись, 9) припомнить посторонние обстоятельства, которые, соединившись с потерянным добром, их радость умножали, 10) упомянуть о признаках, которые оное несчастье предвзвещали. <...>

§107

Печали следует утешение, в котором представляются средства, печаль утоляющие. Для сего должно представлять слушателям, 1) что им за потеряние оного добра другое возвратится, равное или еще большее, 2) что от лишения оного будет им честь или вечная слава, 3) что они имеют в той печали себе товарищей, 4) что жизнь человеческая таким переменам подвержена и что большие, знатнейшие и сильнейшие то же часто претерпевают, 5) что в печали великодушные весьма похвально, 6) что печалью и сокрушением потерянного добра возвратить невозможно, 7) особливо должно ободрять надеждою, о чем ниже предлагается. <...>

¹ Рит. рук. 1747 зачеркнуто *Однако не надлежит (пред) показать себя таким человекоугодным, что (высокоумным) для высокоумных высокие чины и чести скупым.*

² Рит. корр. внизу страницы написано рукой Ломоносова 26 марта. *Высмотрев прилежно и речь от речи, где они стоят слиты, расставив, печатать. Ломоносов.*

³ Рит. рук. 1747 зачеркнуто *в первом случае служат почти те же правила, которые предложены к возбуждению радости, только обратным образом, а именно.*

⁴ Рит. корр. *на что исправлено на для чего.*

⁵ Рит. рук. 1747 *несчастьем.*

§108

Любовь есть склонность духа к другому кому, чтобы из его благополучия иметь услаждение. Сия страсть по справедливости назваться может мать других страстей, ибо часто для любви веселимся, плачем, уповаем, боимся, негодуем, жалеем, стыдимся, раскаиваемся и прочая. Любовь сильна, как молния, но без грома пронизывает, и самые сильные ея удары приятны. Когда ритор сию страсть в послушателях¹ возбудит, то уже он в прочем над ними торжествовать может.

§109

Возбуждать любовь к слушателям должен ритор таким образом: 1) представить надлежит, что человек², о котором слово, весьма добродетелен, где добродетели его обстоятельно и живо описать должно, а особливо показать, что он доброго и честного нраву, 2) объявить оного взаимную к ним любовь, ибо мы любящих нас обыкновенно любим, 3) склонность и любовь двоих к одной вещи между ими любовь рождает, для того и сие представлять должно, 4) показывать подобие оного с ними, ибо подобные подобных и любят, 5) сказать, что он купно с ними радуется о счастья, печалится о несчастья, 6) что часто с ними бывал в одних случаях и обстоятельствах, 7) что они получили от него благодеяние или впредь того ожидать должны, 8) что он приятен в обходительстве и ведет себя честно, 9) что их за очи хвалит, 10) что никого не осуждает и не переговаривает, 11) что никогда не злобствует и обид, себе учиненных, не помнит, 12) что гневным уступает, 13) что удивляется знатным их делам, 14) что, в одном с ними деле упражняясь, им же подражает, не для того чтобы их превзойти, но только чтобы им последовать, 15) что открывает им свои тайны и поступает нескрывтно, 16) что в дружбе поступает верно, в очи и за очи, в счастье и несчастье, 17) что их почитает, 18) удостоверить, что его не должно бояться, ибо любовь и боязнь вместе быть не могут, 19) что их сродники и приятели в любви его содержали или содержат, 20) предложить о его искусстве и о науке³. <... >

§110

Сей страсти противна ненависть, которая рождается из многих противных и неприятных свойств или действий, в ком-нибудь примеченных. Посему, ежели кто хочет возбудить против кого-нибудь ненависть, то должен он показать, какие в нем есть недостатки, как он зол, вредителей, нечестив, неправодушен и прочая (смотри § 9).

¹ Рит. рук. 1747; Рит. корр.; Рит. 1748; Соч. 1759 в слушателях.

² Рит. рук. 1747 персона.

³ Рит. рук. 1747 был добавлен еще один пункт *показать, что его любят редко или трудно к люблению склоняются.*

Однем словом, можно предложить все противное тому, что показано к возбуждению любви. <... >

§111

Надежда есть услаждение о получении будущего добра. Движением сея страсти бедные утешаются и ободряются ослабевшие. Ритор, когда оную в ком возбудить хочет¹, то должен он представить², 1) что оное добро получить возможно, 2) что в получении оною хотя есть препятствия и затруднения, однако преодолеть их не весьма трудно, 3) что к получению оною есть довольные способы, 4) что есть примеры, как другие прежде подобным образом то же достали или он и сам прежде сего получал, 5)³ что время, место или обстоятельства к тому способны, 6) что есть признаки божией помощи, на которую уповать должно. <... >

§112

Противная надежде страсть⁴ — боязнь есть скука от⁵ ожидания⁶ приближающегося зла. Итак, ежели⁷ кого в боязнь привести хочешь, то должно представить 1) такие приближающиеся⁸ вещи, от которых смерть приключается, как гром, пожары, наводнения, звери, неприятельские⁹ нападения, язва, мор, трясение земли, бури и прочая или 2) которые великую печаль наводят, как лишение родителей, супругов, детей, богатства, чести, также поношение, наказание, темница, заточение и прочая, 3) сказать, что есть приходящего зла признаки или предзнаменования, как кометы и другие чрезвычайные явления на небе, сновидения и прочая, 4) особливо смотреть¹⁰, чтобы представить опасность в том, кто что¹¹ больше любит, ибо сие место очень мягко¹² и самому легкому движению уступает, 5)¹³ предложить примеры, как другие в том пострадали, 6) что наступающее зло¹⁴ еще не имеет себе подобных, 7) что с ним другие беды соединены, 8) что силы столько не будет оное вытерпеть, 9) что оное зло весьма долго не окончится, 10) что его уже отвратить нельзя, 11) что к тому способствуют те, которые во всем власть имеют и притом

¹ Рит. рук. 1747 *хочет* вместо зачеркнутого *желает*.

² Рит. рук. 1747 *представлять*.

³ Рит. рук. 1747 зачеркнуто *вероятно*.

⁴ Рит. рук. 1747 зачеркнуто *есть*.

Рит. рук. 1747 зачеркнуто (*наступающего*) *будущего зла*.

Рит. рук. 1747 зачеркнуто *приходящего*.

Рит. рук. 1747 зачеркнуто *устрашить*.

⁸ Рит. рук. 1747 слово *приближающиеся* отсутствует.

⁹ Рит. рук. 1747 *неприятелей*.

¹⁰ Рит. рук. 1747 *смотришь*.

Рит. рук. 1747 кто *что* вместо зачеркнутого *слушатели*.

¹² Рит. рук. 1747 *мягко* вместо зачеркнутого *слабо*.

¹³ Рит. рук. 1747 зачеркнуто *вещь, которой боятся*.

Рит. рук. 1747 зачеркнуто *нечаянно велико*.

озлоблены, 12) ежели боязнь состоит в сомнительном получении желаемой вещи, которой также и другие ищут, то предложить, что они к получению оной сильныя и лучшие способы имеют. <... >

§ III

Гневом называется великая скука, нанесенная досадою или обидою и соединенная с ненавистью того, кто обидел. Сия страсть напрягается, когда стыд, раскаяние, страх или отчаяние с нею соединено будет по обстоятельствам¹; в высоком своем степени называется яростию. Когда ритор в ком сию страсть против кого-нибудь возбудить хочет, должен он представить, 1) что ему от того нанесена великая беда, обида или досада, 2) что он притом еще его презирает и осмеяет, 3) что тою учиненною им обидою хвастает, 4) что грозитя еще и впредь больше избидеть, 5) что от него чинятся во всех добрых предприятиях препятствия, 6) или, ежели он подчинен, то показать, что чинятся от него преслушания и пустые отговорки, 7) буде же власть имеет, то сказать, что он незаконно и неправильно повелевает и излишно трудами отягощает или 8) что обида учинилась от того, от кого оной надеяться не можно было по сродству или по дружеству, 9) что оная обида нанесена вместо благодарения за учиненные благодеяния, 10) или, что она касается до тех, кого он любит, 11) что учинена от такого, кто много хуже порою, чином, учением, заслугами или возрастом и летами, 12) что тот, кому нанесена обида, много честнее и достойнее того, кто избидел², 13) что сия обида и другим, которые хуже его, была бы нестерпима, 14) что и меньшей обиды снести невозможно, 15) ежели сему обидчику уступить, то и другие, на него смотря, нападать станут, 16) ежели бы в его силе было, то бы он еще и больше избидел, 17) также на гнев побуждает представление о непочтении, 18) или ежели кто радуется о чьем несчастье, 19) либо кто ругается тем, чего другой с великим трудом достигает, 20) сердимся и на тех, которые нерадостную весть приносят. <... >

§ 114

Гневу противно сожаление или милосердие, которое есть скука для³ несчастья или бедности того, кому мы добра желаем, происходит от любви к тому, кто такое противное состояние терпеть принужден. Итак, для возбуждения сея страсти должно⁴ 1) страждущего⁵ учинить любимым (по § 108), 2) бедное его состояние живо представить, 3) показать, что он такое зло терпит безвинно 4) или

¹ Рит. рук. 1747 зачеркнуто *в высоком своем степени называется яростию. (Кто хочет) Для возбуждения сея страсти должно представить 1) что (обида) от того человека, на которого учинилась великая обида или убыток; 2) что.*

Рит. рук. 1747 зачеркнуто *и заслужил.*

³ Рит. рук. 1747 для вместо зачеркнутого *происшедшее от.*

⁴ Рит. рук. 1747 зачеркнуто *прежде.*

⁵ Рит. рук. 1747 зачеркнуто *привести влюб[овь].*

по последней мере излишно страдает, 5) что с ним родители, жена и дети¹ тоже сносить принуждены, 6) чтобы всяк по себе рассудил, ежели бы ему такое зло приключилось, 7) что он в вине своей признается и сожалеет, 8) что в том прощения просит, а впредь делать того не станет, 9) что он то сделал от нестерпимой досады в гневе, 10) что то учинилось ненарочно и не с умыслу, 11) что лета и возраст, то есть младенчество, молодость или старость к тому привела, 12) что он другой надежды ко спасению не имеет. Сверх сего можно употреблять предложения, противные тем, которыми гнев возбуждается. <...>

§115

Честь или честолюбие² есть услаждение добрым мнением, которое об нас люди имеют. Сия страсть рождается, когда кому честь как нечто особенное и великое представлена бывает³, и после того показывается⁴, что он такую честь⁵ имеет. Итак, ежели понадобится возбудить в ком честолюбие⁶, то надлежит 1) похвалить его поступки и по обстоятельствам, по времени и по месту оные увеличить, 2) в некоторых пристойных вещах можно его предпочтительнее другим, ему равным, 3) упомянуть, что почтение есть самое лучшее награждение великодушия и благородного поведения, 4) что все великие люди честь⁷ и похвалу любили, 5) что без сей страсти не чинились бы на свете знатные предприятия, и великие дела к концу бы не приходили, 6) и для того ничего нет, что бы толь велико и трудно было, чего бы⁸ честолюбивый не мог привести в состояние.

§116

Стыд есть немалая скука от худа, которое кто на себе имеет и которое другим известно. И так происходит он, когда кто о своих недостатках рассуждает или о худых своих поступках, которые людям известны. Посему⁹ для возбуждения сей страсти должно представить, 1) кто что на себе худо имеет или что непристойное сделал, 2) показать, что другие, которые много хуже, того на себе не имеют или не делают, 3) что он от своих предков в том далече остался и еще, может быть, впредь много хуже будет, 4) что об нем другие весьма худое мнение имеют и в том осуждают, 5) что в том ему уже извиниться нельзя, для того что оно дело всем очевидно, 6) и ежели положить, чтобы того никто не знал, то надобно, однако, и своей

¹ Рит. рук. 1747 зачеркнуто *или другие*.

² Рит. рук. 1747 *любочестие*.

³ Рит. рук. 1747 *будет*.

⁴ Рит. рук. 1747 показано.

⁵ Рит. рук. 1747 *такую честь* вместо зачеркнутого *ту*.

⁶ Рит. рук. 1747 *любочестие*; Рит. корр. исправлено на *честолюбие*.

⁷ Рит. рук. 1747 *чести*.

⁸ Рит. рук. 1747 *которого*.

⁹ Рит. рук. 1747 *Итак*; Рит. корр. исправлено на *Посему*.

совести стыдиться, 7) а особливо от того утаиться нельзя, кто знает сердца и помышления человеческие, 8) еще для приведения в больший стыд можно сказать, что про то знают люди разумные и знатные или для своей старости почтенные. <...>

§ 117

Зависть есть скука, которая происходит от благополучия того, кого мы ненавидим¹. Сию страсть хотя не надлежит ритору как человеку, добрым делам и нравам учащему, в слушателях возбуждать, однако способы к движению оных знать надобно тем, которые хотят кого-нибудь описать, в других зависть возбуждающего, или кого завидующего представить. Для себя предлагают, 1) что тот человек (на которого зависть подвигнуть должно), хотя ему (в ком зависть возбуждать надлежит) летами, порою или искусством, либо заслугами равен, или еще и меньше, однако много большее награждение, похвалу или чин имеет, 2) что, хотя он искал богатства, чести или какого-нибудь добра, однако другой у него перехватил, 3) что другой в кратком времени стал толь счастлив, 4) что другого честь — утрата его славы и другого прибыток есть его убыток, 5) что его добро другому достается, 6) что кому он желает несчастья, тому счастье приключилось. <...>

§ 118

Зависти сродна есть ревность и различается от ней в том, что завидующий желает, дабы другой не имел того или такого же добра, какого он желает или имеет, а ревнующий желает только, чтобы и себе получить такое же посильное² добро, какое другой имеет. Посему ревность есть похвальна, а зависть, напротив того, за порок почитается. Кто ревность в ком возбудить хочет, должен представить, 1) что он достоин того же добра, что другой имеет, 2) что ему будет стыдно, ежели он того же не получит, 3) что предки или родители его то же имели, 4) что ревность возводит на высокие степени достоинства, приобретает богатство и бессмертную славу, 5) что ревновать не зазорно такой особе, которая его не хуже или еще и лучше, 6) что к оной особе и другие не хуже его ревность имеют. Противно сей страсти есть презрение и возбуждается противными представлениями вышепоказанным. <...>

§ 119

Раскаяние есть скука, происшедшая от учиненного нами дела, которое мы после за злое почитаем. Итак, рождается оно, когда мы о наших худых поступках рассуждаем; для того, кто сию страсть в другом возбудить хочет, должен 1) предложить обстоятельно все

Соч. 1759 *кто ненавидит* вместо *мы ненавидим*.

Рит. рук. 1747 слово *посильное* отсутствует.

его худые дела, 2) что в сих делах запереться нельзя, для того что всем явны, 3) что он первый такое зло учинил или большее, нежели другие, 4) что от него не надеялись такого злого поступка, 5) что оное злое дело вредит больше ему, нежели другим, 6) что для того все люди от него отвращение имеют, 7) что следствия худых своих дел скоро он чувствовать будет, 8) что очень бы хорошо было, ежели бы то злое дело не учинилось. <...>

§120

Прочие страсти обстоятельно и особливо не предлагаются здесь, для того что 1) возбуждаются оне по большей части чрез вышепоказанные, как желание — чрез возбуждение любви и надежды, отвращение — движением ненависти и боязни, 2) что не толь часто у авторов употребительны. Итак, остается еще упомянуть о смехе и о слезах. Первое происходит от представления таких вещей, которые в себе прекословие заключают, то есть, которые в натуре быть не могут или нравам и обыкновениям человеческим весьма противны и общему понятию странны кажутся, как:

О волк, овец изрядный пастырь! —

о чем смотреть должно в третьей главе вторья части сея книги¹, также и в следующей главе сея части. Возбуждают авторы смех особливо в комедиях, сатирах и эпиграммах, где главное и нужное сего употребление. Но в прозаичном, а особливо в важном слове должно оно остерегаться и не употреблять, как только соединив с некоторою осанкою и удаляясь от подлости. <...>

§121

Слезы слушателей суть похвала риториков, которую, однако, немногие получают, ибо к сему не одно токмо сильное и сердца человеческия преклоняющее красноречие приводит, но не меньше того свойства и вид самого ритора, обстоятельства, время, место и состояние самой предлагаемой материи действует. <...>

§122

Часто и с немалым успехом для движения одной страсти возбуждают риторики другую, как: для радости — надежду или честолюбие², для печали — боязнь или стыд, для милосердия — любовь и прочая. <...>

§123

К утолению страстей служат еще сверх вышепоказанного (§ 99) следующие два правила: 1) каждая страсть имеет себе противную,

Соч. 1759 *второго разделения сея части вместо вторья части сея книги.*
Рит. рук. 1747 *любочестие.*

то для утоления оныя сию возбудить должно, и так противное от противного уничтожится; таким образом, печаль утолить можно возбуждением радости, любовь — возбуждением ненависти и прочая; 2) каждую страсть можно представить силлогизмом и потом одну или и обе посылки опровергнуть, например, кто радуется, тот думает так: Кто такую вещь получил, тот нажил великое добро и посему имеет причину, чтобы радоваться, но я такую вещь получил, следовательно, имею великое добро, и потому мне радоваться должно. Здесь надлежит показать, что в оной вещи нет никакого добра или оно весьма мало, или хотя бы оно подлинно было, однако он того не имеет, или оно ненадежно.

§ 124

Предложенным о движении и утолении страстей правилам следует учение о том, как себя или кого-нибудь другого представить страстным, что весьма нередко употребляют сочинители слова. Немало служит сие и к возбуждению и утолению страстей, ибо кто хочет в одном возбудить любовь или утолить ненависть, тот может представить и описать живо, как другой его любит, или кто хочет солдат своих возбудить к надежде и¹ смелости, тот может изобразить, в какой робости неприятели их находят. Или, возбуждая радость, представить неприятелей печальных...

§ 125

Правила, которые служат к изображению страстных людей, суть те же, по которым страсти возбуждены бывают, и вся разность в том состоит, что сочинитель слова, возбуждая страсти, слушателям показывает и внушает оных причины, а изображаемый страстный человек представляется так, что он свою страсть показывает, изъясняя те же причины, которые его в страсть приводят. Например, чтобы представить кого в радости, то должно сказать, 1) как он тем услаждается, что получил великое добро, 2) а особливо, что он² оное любил и ныне любит, 3) как он в радости воспоминает положенные труды, преодоленные препятства и беды в снискании оногo, 4) как ему то приятно, что он сие добро один получил, хотя и другие то же достать старались, и прочая (смотри § 103). <...>

§ 126

В изображении страстного человека представляют при словах его купно и движение тела, как взгляды, махания и плескания руками, трясение членов³ и прочая, что дает великую живность слову и умножает силу красноречия. <...>

¹ Рит. рук. 1747 слова *надежде* и отсутствуют.

² Рит. корр. внизу страницы рукой Ломоносова написано *Апреля б. Выбрав все, печатать. Ломоносов.*

³ Рит. рук. 1747 было добавлено *скрежетание зубов.*

§127

Весьма возвышается слово смешением страстей, и для того славные авторы нередко представляют одного человека, двумя разными или и противными страстями объятаго. <...>

§128

0 предложенных в сей главе правилах для возбуждения, утоления и изображения страстей может кто подумать, что они не происходят от общего источника изобретения, то есть от мест риторических, как учения, в прочих главах предложенные¹. Правда, что оне имеют свое основание на философском учении о нравах, однако причины, возбуждающие страсти, должно распространять из помянутых мест риторических, например: когда для возбуждения радости представить хочешь полученное великое добро, то можешь с похвалою предложить пространно его части (§ 57), описать лучшие материальные или жизненные свойства (§ 58 и 59), показать знатные его действия (§ 61) и из прочих мест увеличить и доказать его достоинство. И таким образом можешь поступать и в рассуждении прочих правил как при возбуждении, утолении или изображении сея, так и других страстей.

Печатается по изданию: *Ломоносов М. В.*
Поли. собр. соч.: В 11 т. — М.; Л., 1952. —
Т. 7: Труды по филологии.

Вопросы

1. Обращался ли М.В.Ломоносов к проблеме порождения и восприятия речи? Проиллюстрируйте ответ примерами.
2. Какие закономерности речевой деятельности подметил М. В.Ломоносов?
3. Какие свойства человека М. В.Ломоносов выделил как важные для успешного осуществления речевого действия?
4. Как представляет М.В.Ломоносов процесс рождения («изобретения») речи?
5. Как в механизме «изобретения» речи М. В.Ломоносов намечает этап планирования речи?
6. Как Ломоносов выявляет единство мысли, речи и языка?
7. Какое место в механизме мысле-рече-языкового действия занимает, по мысли М.В.Ломоносова, грамматика?
8. Находит ли М. В.Ломоносов в механизме мысле-рече-языкового действия место феномену оценки?
9. Какие технические приемы предлагает М.В.Ломоносов для совершенствования процесса создания речи?
10. Как рекомендует М. В.Ломоносов добиваться эффективности подготовленной речи?

¹ Рит. рук. 1747 зачеркнуто: *Правда, что они не тем же порядком расположены, однако как сами страсти надлежит до риторического места, то есть до жизненных свойств, так и причины, возбуждающие страсти, взяты быть должны из.*



3. ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ГУМБОЛЬДТ О РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель деятельности духовной силы — взаимопонимание... Всякое понимание всегда есть вместе и непонимание, всякое согласие в мыслях — вместе и расхождение.

В. фон Гумбольдт

Вильгельм фон Гумбольдт (1767—1835) — один из величайших людей Германии, выдающийся мыслитель и ученый, политик и гуманист, основоположник теоретического языкознания и основатель Берлинского университета — направил всю мощь своего незаурядного таланта на познание такого исключительно сложного и многостороннего феномена, как речевая деятельность человека.

Изучение работ В. фон Гумбольдта раскрывает необычайную широту и полноту его кругозора в области гуманитарного знания и, конечно же и прежде всего, языкознания. Этот кругозор дал основу как для многих его точных и глубоких наблюдений и выводов, так и для создания его методически выверенной лингвофилософской концепции, которая позволяет заслуженно считать Вильгельма фон Гумбольдта одним из самых выдающихся предшественников **психолингвистики**, определившей как самостоятельное научное направление лишь во второй половине XX столетия.

Знание основных его работ полезно, вне всяких сомнений, для понимания и уяснения тенденций в развитии языкознания и современной психолингвистики и ее методологии.

Важные положения лингвофилософской позиции В. фон Гумбольдта — основания его лингвистических, а в сущности психолингвистических работ [1] — представлены в докладе «О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития» [1, с. 308 — 323], прочитанном в 1820 году в Берлинской академии наук, и в его главном труде «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода» [1, с. 37 — 298], являющемся расширенным теоретическим введением к трехтомнику «О языке кави на острове Ява», опубликованному посмертно (1836—1837). В. фон Гумбольдт — автор и других работ, имеющих интерес для психолингвистики: «О возникновении грамматических форм и их влиянии на развитие идей» (1822), «О буквенном письме и его связи со строением языка» (1824), «О двойственном числе» (1827) и «О связи письма с языком» (1836).

При знакомстве с работами В. фон Гумбольдта нужно знать, что ученого обвиняли во многих грехах идеализма кантианского толка. Но трезвый анализ его научного наследия позволил практически полностью снять эти обвинения. Конечно, пересечение языкознания и теории познания — гносеологии — неизбежно и необходимо. В. фон Гумбольдт — выдающийся сын своего времени — прекрасно знал и «Критику чистого разума» И. Канта [2, т. 3], в которой впервые в истории философии был дан вразумительный ответ на вопрос, как возникают понятия при решающей роли продуктивного воображения благодаря отношениям сознательного и бессознательного, и «Критику способности суждения» [2, т. 4], в которой мир красоты представлен как мир творческого мышления. Им написана работа о философии Канта, «которая, несмотря на обилие работ, написанных о Канте, в определенном смысле и по сей день считается образцовой» [3]. Трудно спорить также и с мыслью, что «одно дело быть знатоком Канта и другое — слепо следовать ему» [1, с. 25]. Да и сам В. фон Гумбольдт имел веские основания идти своим путем и сформулировать лингвофилософскую концепцию, опираясь при этом, конечно же, на все достижения философии. И справедливо писал Г. Г. Шпет [4]: «Чтобы правильно понять и оценить философские основания теорий В. Гумбольдта, нужно не выискивать в них кантианские элементы, а просто поставить его в ряд с такими соотечественниками, как Фихте, братья Шлегели, Шиллер, Гёте, Гегель». В таком же духе пишет и В. И. Постовалова [5]: «Хотя в гумбольдтовской концепции нет прямых заимствований из философских концепций его времени, в ней нашла отражение общая духовная атмосфера Германии XVIII века». Острый ум В. фон Гумбольдта, талант блестящего исследователя, прозорливость выдающегося мыслителя, опирающегося на научную методологию, согласно которой, его же словами, «если мы хотим подглядеть за созидательной работой

творящей природы, мы не должны навязывать ей тех или иных идей, а принимать ее такой, какую она себя являет» [1, с. 50], позволили ему выйти за пределы ограничений философской схоластики и проникнуть в существенные моменты речевой деятельности человека. Короче, говоря словами философа А. В. Гулыги [1, с. 355]: «...он был натуралист в высоком смысле этого слова, то есть мыслитель, отыскивавший естественные причины сущего, исследовавший и отстаивавший природное начало в человеческих установлениях».

Предваряя краткий анализ интересных для нас психолингвистических аспектов в научном наследии В. фон Гумбольдта, отметим прежде всего, что он последовательно отстаивает понимание деятельностного характера феномена мысли, речи и языка, каждый раз подчеркивая идею о тесной их взаимосвязи и функциональном единстве как производных от природы мыслящего человека. С этой точки зрения хрестоматийными представляются практически все вышеупомянутые работы Вильгельма фон Гумбольдта и прежде всего доклад «О сравнительном изучении языков...»* и пункты 12, 14, 15, 20, 21, 22, 34 его главной работы «О различии строения человеческих языков...»**.

Обратимся напрямую к словам автора этих работ. «Я намереваюсь, — пишет В. фон Гумбольдт, — исследовать функционирование языка в его широчайшем объеме — не просто в его отношении к речи и ее непосредственному продукту, набору лексических элементов, но и в его отношении к деятельности мышления и чувственного восприятия... Язык есть орган, образующий мысль. Интеллектуальная деятельность, совершенно духовная, глубоко внутренняя и проходящая в известном смысле бесследно, посредством звука материализуется в речи и становится доступной для чувственного восприятия. Интеллектуальная деятельность и язык представляют собой поэтому единое целое... Нерасторжимая связь мысли, органов речи и слуха обуславливаются первичным и необъяснимым в своей сущности устройством человеческой природы» (И—14, с. 75). И соответственно: «Язык есть не продукт деятельности, а деятельность. Его истинное определение может быть только генетическим. Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли. В строгом смысле это определение пригодно для всякого акта речевой деятельности, но в подлинном и действительном смысле под языком можно понимать только всю совокупность актов речевой деятель-

* При отсылках на него отмечается далее как работа I в круглых скобках () с указанием номера пункта и страниц по сб. [1], например (I—11, с. 312).

** При отсылках на нее отмечается далее как работа II в круглых скобках () с указанием номера пункта и страниц по сб. [1], например (II—12, с. 70).

ности. В беспорядочном хаосе слов и правил, который мы по привычке именуем языком, наличествуют лишь отдельные элементы, воспроизводимые — и притом неполно — речевой деятельностью; необходима все повторяющаяся деятельность, чтобы можно было познать сущность живой речи и составить верную картину живого языка» (II—12, с. 70).

Эти отрывки указывают на признание функциональной целесообразности каждого элемента и момента живой речи и языка в концепции В. фон Гумбольдта как необходимого фактора и условия понимания всех сторон отношений мысли, речи и языка. О глубинной природе взаимосвязи их функциональных отношений говорят и другие его высказывания: «Создание языка обусловлено внутренней потребностью человечества. Язык — не просто внешнее средство общения людей, поддержания общественных связей, но заложен в природе человека и необходим для развития его духовных сил и формирования мировоззрения, а этого человек только тогда сможет достичь, когда свое мышление поставит в связь с общественным мышлением» [1, с. 51]. Созвучны им и слова: «...Акту рассудка, в котором создается единство понятия, соответствует единство слова как чувственного знака, и оба единства должны быть в мышлении и через посредство речи как можно более приближены друг к другу» (I—16, с. 317).

Вывод об основополагающем характере представления о взаимосвязи и единстве отношений мысли, речи и языка для лингво-философской концепции Вильгельма фон Гумбольдта заключим отсылкой методической значимости: «Расчленение языка на слова и правила — это лишь мертвый продукт научного анализа. Определение языка как деятельности духа совершенно правильно и адекватно уже потому, что бытие духа вообще может мыслиться только в деятельности и в качестве таковой» (II—12, с. 70).

Показательно отношение Вильгельма фон Гумбольдта к языку как к живому (в духе его времени) организму: «Он (язык. — *А. К.*) — живой организм, и с ним следует обращаться как с таким» (I—11, с. 312); «Язык можно сравнить с огромной тканью, все нити которой более или менее заметно связаны между собой и каждая — со всей тканью в целом. С какой бы стороны к этому ни подойти, человек всякий раз касается в речи лишь какой-то отдельной нити, но, движимый инстинктом, он постоянно совершает это так, как будто в данный момент ему открыта вся основа, в которую вплетена эта отдельная нить» [1, с. 82]. Но живой организм — это образец и эталон сложной динамической системы, способной к перестройке типа поведения, способной к самоорганизации, саморазвитию и определяемой всеми характерными свойствами и признаками. Этот «же подход с равным успехом применим, разумеется (по мысли В. фон Гумбольдта. — *А. К.*), и к таким главным проявлениям духовной силы человека, как

язык...» [1, с. 51]. И его работы дают огромный фактический материал для иллюстрации на примере языка таких свойств сложных систем, как макроскопичность, квантованность, открытость, нелинейность, функциональная связность или самосогласованность (когерентность) элементов системы, их динамическая неоднородность, способность к перестройкам (или к преодолению катастроф), альтернативность путей развития и эвристичность результата относительно исходного состояния в движении системы в целом.

Приведем некоторые характерные, с нашей точки зрения, примеры, свидетельствующие о полноте и глубине психолингвистического видения в научном творчестве В. фон Гумбольдта речевой деятельности человека.

Так, эпиграф к нашему очерку — это, в сущности, данная им характеристика основного конститутивного свойства языковой системы — *устойчивости/текучести* ее элементов на любом уровне организации (или, нашими словами, *предикативности/абerratивности*, то есть способности элементов языковой системы удовлетворять одновременно и формуле отождествления '*Это есть это*', и формуле различения '*Это есть не это*' со всеми ее оттенками типа '*Это есть не совсем это*' и т.п. [6]; так, мы обращались к творчеству В. фон Гумбольдта и, в частности, к работе «Лаций и Эллада» [1, с. 303 — 306], описывая в свое время квантовое явление предикации/абerrации в языке как сложной макросистеме).

Продолжим наше рассмотрение процессов становления психолингвистики в научном наследии Вильгельма фон Гумбольдта, обнаруживая отличительные признаки сложных динамических систем на языковом материале.

Макроскопичность: «Оно (развитие языка. — А. К.) предполагает относительно большое количество людских масс, которые необходимы для того, чтобы языки могли достичь своей завершенности» (1 — 23, с. 323).

Квантованность: «Господствующим принципом в языке является артикуляция: важное преимущество постоянной и легкой **членимости**; это в свою очередь предполагает **наличие** простых и **далее неделимых элементов**» (1—14, с. 315) (выделено нами. — А. К.); при этом слова «далее неделимых элементов» полностью соотносятся со словом '*квант*' нашего времени.

Открытость: «...язык не является произвольным творением отдельного человека, а принадлежит всегда целому народу... В результате того, что ...народы обмениваются словами и языками, создавая в конечном счете человеческий род в целом, язык становится великим средством преобразования субъективного в объективное, переходя от всегда ограниченного индивидуального к всеобъемлющему бытию» (1—19, с. 318).

Нелинейность: «Язык и духовные способности развиваются не отдельно друг от друга и не последовательно один за другим, а составляют нераздельную деятельность интеллектуальных способностей» [1, с. 67 —68]; «Это очеловечение, как мы замечаем, происходит с нарастающим успехом; больше того, отчасти сама природа процесса, отчасти размах, какой им достигнут, таковы, что дальнейшее совершенствование уже едва ли можно задержать» [1, с. 49]; причем необратимость проявляет себя как один из характерных признаков нелинейности процесса.

Иерархичность как свойство отношений в системе, когда *целое не есть сумма частей*: «Начиная со своего первого элемента, порождение языка — синтетический процесс, синтетический в том подлинном смысле слова, когда синтез создает нечто такое, что не содержалось ни в одной из сочетающихся частей как таковых» (II—22, с. 107); «Речевая деятельность даже в самых своих простейших проявлениях есть соединение индивидуальных восприятий с общей природой человека. Так же обстоит дело и с пониманием. Процесс речи нельзя сравнивать с простой передачей материала. Слушающий так же, как и говорящий, должен воссоздать его посредством внутренней силы и все, что он воспринимает, сводится лишь к стимулу, вызывающему тождественные явления» (II—14, с. 77); «Она (речь. — А.К.) должна свободно переливаться от уст к устами и сопровождаться выражением лица или жестом» (II—14, с. 76); причем отметим, что корреляция здесь с положениями современной психолингвистики просто поразительная.

Когерентность: «В языке нет ничего единичного, каждый отдельный элемент его проявляет себя лишь как часть целого» (I—13, с. 313); «Эта деятельность осуществляется постоянным и однородным образом. Это происходит потому, что она производится одной и той же духовной силой, которая видоизменяется лишь в пределах определенных, не очень широких границ. Цель ее — взаимопонимание. А это значит, что никто не может говорить с другим иначе, чем этот другой при равных обстоятельствах говорил бы с ним. Кроме того, унаследованный материал не просто одинаков: имея единый источник, он передает духовную настроенность говорящих на одном языке» (II—12, с. 71); «Существование языка доказывает, что... бывают творения духа, которые вовсе не передаются от отдельного индивида ко всему обществу, но могут родиться лишь благодаря одновременной самодеятельности всех» [1, с.65].

Динамическая неоднородность элементов динамической системы: «...ведь любое своеобразие может стать таковым только благодаря перевесу какого-то одного, а значит, исключаящего все прочие начала» [1, с. 54]; «Организм языка возникает из присущей человеку способности и потребности говорить: в его формировании

участвует весь народ; культура каждого народа зависит от его особых способностей и судьбы, ее основой является большей частью деятельность отдельных личностей, вновь и вновь появляющихся в народе» (1—10, с. 311).

Преодоление катастроф: «Никогда ни один язык не был достигнут в момент становления его форм» (1 — 3, с. 308); «Язык не может возникнуть иначе как сразу и вдруг, или, точнее говоря, языку в каждый момент его бытия должно быть свойственно все, благодаря чему он становится единым цельным» (1—4, с. 308), причем этот вывод остается актуальным при разрешении всех сложных проблем порождения речи и функционирования языка.

Альтернативность: «Говорящий может выбрать любую из возможностей, и часто употребление поэтического, не свойственного прозе оборота речи не имеет никакого другого воздействия, кроме как настроить душу на то, чтобы не рассматривать язык в качестве знака» (1 — 21, с. 321).

Но природа феномена речевой деятельности человека как сложного, самоорганизующегося действия создала перед В. фон Гумбольдтом и принципиальные трудности, которые выступали как проблемы антиномии относительно несовместимых свойств и понятий с позиций здравого смысла, а точнее, с позиций классического разума, в частности, антиномии объективного и субъективного, индивидуального и общественного, конкретного и абстрактного, частного и всеобщего, антиномии порождения и восприятия речи. Эти проблемы антиномий не поддавались разрешению и послужили основой для последующих оживленных дискуссий и исследований вплоть до наших дней. Среди них особенно интересна работа А. А. Потебни «Мысль и язык» [7], в которой он, обсуждая творчество В. фон Гумбольдта, провел анализ вскрытых им антиномий, касающихся отношений мысли, речи и языка. А. А. Потебня отметил при этом возможную причину таких проблем как отражение того, что при явном единстве и взаимосвязи мысли и языка «область языка далеко не совпадает с областью мысли». Но полное разрешение выявленных В. фон Гумбольдтом антиномий дала современная квантовая парадигма, опирающаяся на признание дуализма для любой динамической квантовой системы, то есть внутренне присущего свойства таких систем обладать одновременно при их функционировании дополнительными (несовместимыми по классическому разумению) элементами и свойствами, связанными самосогласованным взаимодействием, мера которого регулируется так называемыми соотношениями неопределенностей [см. 6].

Конститутивной и жизнеспособной силой языка представляется то, что язык, по мысли В. фон Гумбольдта, схватывает и лепит «мировидение» и духовное качество народа — носителя языка: «...языки являются не только средством выражения уже познан-

ной истины, но и, более того, средством открытия ранее неизвестной. Их различие состоит не только в отличиях звуков и знаков, но и различных самих мировидениях» (1 — 20, с. 319). «Как отдельный звук встает между предметом и человеком, так и весь язык в целом выступает между человеком и природой, воздействующей на него извне и изнутри» (II—14, с. 80). И овладение другим языком есть приобретение нового видения мира: «Освоение иностранного языка можно было бы уподобить завоеванию новой позиции в прежнем видении мира. И только, что мы... переносим на иностранный язык свое собственное миропонимание... и свое собственное представление о языке, мы не осознаем... в полной мере, чего нам здесь удалось достичь» (II—14, с. 80 — 81).

На этих посылках и строит В. фон Гумбольдт свое учение о внутренней форме языка, отражающей особенности национального мировидения и миропонимания, и о внутренней форме слова, в которой находит отражение своеобразие связей звуковой формы слова с понятием, присущее для каждого языка в отдельности. «Связь звуковой формы языка с внутренними языковыми законами придает завершенность языкам... Не от частных, но от совокупности свойств и формы языка исходит... совершенный синтез... продукт духовной силы в момент языкотворчества... Вообще язык часто, но больше всего здесь, в сокровеннейших и необъяснимейших своих приемах, напоминает искусство» (II — 12, с. 71).

В заключение очерка отметим и тот важный момент в психолингвистическом по своей сути творчестве В. фон Гумбольдта, который связан с прагматикой речевой деятельности человека: «Это уже область красноречия, если, правда, понимать под красноречием в самом широком и не совсем обычном смысле такую трактовку языка, согласно которой он оказывает существенное воздействие на отображение объектов или сознательно употребляется для этой цели» (1 — 21, с. 321).

Литература

1. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Предисл. Г. В. Рамашвили, послесл. А. В. Гулыги. — М., 1999.
2. Кант И. Сочинения: В 4 т. — М., 1956. — Т. 3, 4.
3. Тайм Р. Вильгельм фон Гумбольдт. — М., 1899. — С. 96.
4. Шпет Г. Г. Внутренняя форма слов. — М., 1927. — С. 32 — 33.
5. Постовалова В. И. Язык как деятельность: Опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта. — М., 1982. — С. 45.
6. Кирьянов А. П., Радзиховская В. К. Квантовая модель предикативности/абerrативности в языке как отражение когерентности/некогерентности в сложной макросистеме // Оптические поля и оптические методы обработки информации: Межвуз. сб. — М., 1991. — С. 94—100.
7. Потебня А. А. Мысль и язык. — М., 1999. — С. 41.

**О РАЗЛИЧИИ СТРОЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ЯЗЫКОВ И ЕГО ВЛИЯНИИ НА ДУХОВНОЕ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**

(Извлечения)

ФОРМА ЯЗЫКОВ

12. По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее. Даже его фиксация посредством письма представляет собой далеко не совершенное мумиеобразное состояние, которое предполагает воссоздание его в живой речи. Язык есть не продукт деятельности... а деятельность. .. Его истинное определение может быть поэтому только генетическим. Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли. В строгом смысле это определение пригодно для всякого акта речевой деятельности, но в подлинном и действительном смысле под языком можно понимать только всю совокупность актов речевой деятельности. В беспорядочном хаосе слов и правил, который мы по привычке именуем языком, наличествуют лишь отдельные элементы, воспроизводимые — и притом неполно — речевой деятельностью; необходима все повторяющаяся деятельность, чтобы можно было познать сущность живой речи и составить верную картину живого языка. По разрозненным элементам нельзя познать то, что есть высшего и тончайшего в языке; это можно постичь и уловить только в связной речи, что является лишним доказательством в пользу того, что каждый язык заключается в акте его реального порождения. Именно поэтому во всех вообще исследованиях, стремящихся проникнуть в живую сущность языка, следует прежде всего сосредоточивать внимание на истинном и первичном. Расчленение языка на слова и правила — это лишь мертвый продукт научного анализа. Определение языка как деятельности духа совершенно правильно и адекватно уже потому, что бытие духа вообще может мыслиться только в деятельности и в качестве таковой. При неизбежном в языковедении расчленении языкового организма, необходимом для изучения языков, мы даже вынуждены рассматривать их как некий способ, служащий для достижения определенными средствами определенных целей, то есть видеть в них, по сути дела, создание наций...

Как я уже указывал ранее... при изучении языков мы неизменно оказываемся, если мне будет позволено такое выражение, на пол-

пути их истории, и ни один из известных нам народов или языков нельзя назвать изначальным, исходным. Так как каждый язык наследует свой материал из недоступных нам периодов доистории, то духовная деятельность, направленная на выражение мысли, имеет дело уже с готовым материалом: она не создает, а преобразует.

Эта деятельность осуществляется постоянным и однородным образом. Это происходит потому, что она производится одной и той же духовной силой, которая видоизменяется лишь в пределах определенных, не очень широких границ. Цель ее — взаимопонимание. А это значит, что никто не может говорить с другим иначе, чем этот другой при равных обстоятельствах говорил бы с ним. Кроме того, унаследованный материал не просто одинаков: имея единый источник, он передает духовную настроенность говорящих на одном языке. Постоянное и единообразное в этой деятельности духа, возвышающей членораздельный звук до выражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности, и составляет форму языка.

При таком определении форма языка предстает как бы плодом научной абстракции. Было бы, однако, совершенно неправильным рассматривать ее в качестве таковой, то есть как продукт ума, не имеющий реального бытия. В действительности же она представляет собой сугубо индивидуальный порыв... посредством которого тот или иной народ воплощает в языке свои мысли и чувства. Но так как нам не дано наблюдать этот порыв в его единонаправленной целостности, а всегда лишь в конкретно-единичных проявлениях, нам и не остается ничего другого, как сводить единообразие его действия к мертвому обобщенному понятию. Сам по себе этот порыв живителен и един.

Трудность исследования наиболее важных и самых тонких элементов языка состоит в том, что в общей картине языка наше чувство с большей ясностью и убедительностью воспринимает его отдельные и преходящие элементы, но исследователю не удается с достаточной полнотой формулировать воспринятое в четких понятиях. С подобной трудностью предстоит бороться и нам. Характерная форма языка отражается в его мельчайших элементах, и каждый из них тем или иным и не всегда явным образом определяется языковой формой. С другой стороны, едва ли в языке можно найти те пункты, относительно которых можно было бы сказать, что они сами по себе, отдельно взятые, являются решающими для формы. В каждом языке можно обнаружить много такого, что, пожалуй, не искажая сущности его формы, можно было бы представить и иным, — и тогда, чтобы уловить последнюю в чистом виде, нам приходится обращаться к представлению о едином целом. Но в этом случае можно достичь и полностью противоположного результата. Резко индивидуальные черты явственно бросаются в глаза и неотвратимо влияют на чувство. В этом отношении языки можно сравнить с человеческими физиономиями: сравнивая их между собой, живо чувствуешь, что индивидуальность неоспоримо присутствует, подобия очевидны, но

никакие измерения и никакие описания каждой черты в отдельности и в их связи не дают возможности сформулировать их своеобразие в едином понятии. своеобразие физиономии состоит в совокупности всех черт, но зависит и от индивидуального восприятия; именно поэтому одну и ту же физиономию разные люди воспринимают по-разному. Так как язык, какую бы форму он ни принимал, всегда есть духовное воплощение индивидуальной жизни нации, мы должны учитывать это; и как бы мы ни фиксировали, как бы ни выделяли, как бы ни дробили, ни расчленили в языке все то, что в нем воплощено, все-таки многое в нем остается непознанным, и именно здесь скрывается загадка единства и одухотворенной жизненности языка. Ввиду этой особенности языков описание их формы не может быть абсолютно исчерпывающим, но оно достаточно, чтобы получить о языках общее представление. Таким образом, понятие формы открывает исследователю путь к постижению тайн языка, к выяснению его сущности. Пренебрегая этим путем, он непременно проглядит множество моментов, и они останутся неизученными; без объяснения останется и масса фактов, и, наконец, отдельные факты будут представляться изолированными там, где в действительности их соединяет живая связь.

Из всего до сих пор сказанного с полной очевидностью явствует, что под формой языка разумеется отнюдь не только так называемая грамматическая форма. Различие, которое мы обычно проводим между грамматикой и лексикой, имеет лишь практическое значение для изучения языков, но для подлинного языковедческого исследования не устанавливает ни границ, ни правил. Понятие формы языка выходит далеко за пределы правил словосочетания и даже словообразования, если разумеет под последними применением известных общих логических категорий действия, воздействуемого, субстанции, свойства и т. д. к корням и к основам. Фактически образование основ само по себе должно объясняться формой языка, так как без применения этого понятия останется вне определения и сама сущность языка.

Форме противостоит, конечно, материя... но чтобы отыскать материю, соответствующую языковой форме, необходимо выйти за пределы языка. В пределах языка материю можно определять лишь по отношению к чему-то другому, скажем, основы слов — по отношению к склонению. Однако то, что в одном отношении считается материей, в другом отношении оказывается формой. Заимствуя чужие слова, язык может трактовать их как материю, но материей они будут только по отношению к данному языку, а не сами по себе. В абсолютном смысле в языке не может быть никакой неоформленной материи, так как все в нем направлено на выполнение определенной цели, а именно на выражение мысли, причем работа эта начинается уже с первичного его элемента — членораздельного звука, который становится членораздельным благодаря приданию ему формы. Действительная материя языка — это, с одной стороны, звук

вообще, а с другой — совокупность чувственных впечатлений и произвольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка.

Само собой понятно, что, для того чтобы составить представление о форме языка, необходимо обратить особое внимание на реальные свойства его звуков. Исследование формы языка начинается с его алфавита, который должен служить основой при рассмотрении всех его частей. Вообще понятием формы отнюдь не исключается из языка ничто фактическое и индивидуальное; напротив, в него включается только исторически обоснованное, так же, как и все самое индивидуальное. Можно сказать, что, избрав этот путь, мы обеспечиваем исследование всех частных, которые при другом подходе легко проглядеть. .. По самой своей природе форма языка есть синтез отдельных, в противоположность ей рассматриваемых как материя, элементов языка в их духовном единстве. Такое единство мы обнаруживаем в каждом языке, и посредством этого единства народ усваивает язык, который передается ему по наследству. Это же единство должно найти отражение и при описании языка, и только тогда, когда от разрозненных элементов поднимаются до этого единства, получают реальное представление о самом языке. Без такого подхода мы определенно рискуем просто-напросто не понять отдельных элементов в их подлинном своеобразии и тем более в их реальной взаимосвязи.

ПРИРОДА И СВОЙСТВА ЯЗЫКА ВООБЩЕ

14. Я намереваюсь исследовать функционирование языка в его широчайшем объеме — не просто в его отношении к речи и к ее непосредственному продукту, набору лексических элементов, но и в его отношении к деятельности мышления и чувственного восприятия. Рассмотрению будет подвергнут весь путь, по которому движется язык — порождение духа, — чтобы прийти к обратному воздействию на дух.

Язык есть орган, образующий мысль... Интеллектуальная деятельность, совершенно духовная, глубоко внутренняя и проходящая в известном смысле бесследно, посредством звука материализуется в речи и становится доступной для чувственного восприятия. Интеллектуальная деятельность и язык представляют собой поэтому единое целое. В силу необходимости мышление всегда связано со звуками языка; иначе мысль не сможет достичь отчетливости и ясности, представление не сможет стать понятием. Нерасторжимая связь мысли, органов речи и слуха с языком обуславливается первичным и необъяснимым в своей сущности устройством человеческой природы. При этом согласованность между звуком и мыслью сразу же бросается в глаза. Как мысль, подобно молнии или удару грома, сосредоточивает всю силу представления в одном мгновении своей вспышки, так и звук возникает как четко выраженное един-

ство. Как мысль завладевает всей душой, так и звук своей внезапной силой потрясает всего человека. Эта особенность звука, отличающая его от любых других чувственных восприятий, покоится явно на том, что ухо (в отличие от других органов чувств) через посредство звучащего голоса получает впечатление настоящего действия, возникающего в глубине живого существа, причем в членораздельном звуке проявляет себя мыслящая сущность, а в нечленораздельном — чувствующая. Как мысль есть стремление вырваться из тьмы к свету, из ограниченности к бесконечности, так и звук устремляется из груди наружу и находит на диво подходящий для него проводник в воздухе — в этом тончайшем и легчайшем из всех подвижных элементов, кажущаяся нематериальность которого лучше всего к тому же соответствует духу. Четкая определенность речевого звука необходима рассудку для восприятия предметов. Как предметы внешнего мира, так и возбуждаемая внутренними причинами деятельность воздействуют на человека множеством признаков. Однако рассудок... стремится к выявлению в предметах общего. Он сравнивает, расчленяет и соединяет и свою высшую цель видит в образовании все более и более объемлющего единства. Рассудок воспринимает явления в виде определенного единства и поэтому добивается единства и от звука, призванного встать на их место. Однако звук не устраняет воздействий, которые оказывают предметы и явления на внешнее и внутреннее восприятие; он становится их носителем и своим индивидуальным качеством представляет качество предмета таким образом, как его схватывает индивидуальное восприятие говорящего. Вместе с тем звук допускает бесконечное множество модификаций, четко оформленных и совершенно обособленных друг от друга, что не свойственно в такой степени никакому другому чувственному восприятию. Интеллектуальная устремленность человека не ограничивается одним рассудком, а воздействует на всего человека, и звук голоса принимает в этом большое участие. Звук возникает у нас, как трепетный стон, и исходит из нашей груди, как дыхание самого бытия. Помимо языка, сам по себе он способен выражать боль и радость, отвращение и желание; порожденный жизнью, он передает ее в воспринимающий его орган; подобно языку, он отражает вместе с обозначаемым объектом вызванные им ощущения и во все повторяющихся актах объединяет в себе мир и человека, или, говоря иначе, свою самостоятельную деятельность со своей восприимчивостью. Наконец, звуку речи соответствует и вертикальное положение человека, в чем отказано животным. Оно как бы вызвано звуком. В самом деле, речь не может уходить глухо в землю, она должна свободно переливаться от уст к устам и сопровождаться выражением лица или жестом, то есть выступать в окружении всего того, что делает человека человеком.

После этих предварительных замечаний относительно соответствия звука действиям духа мы можем теперь основательней рас-

смотреть связь мышления с языком. Субъективная деятельность создает в мышлении объект. Ни один из видов представлений не образуется только как чистое восприятие заранее данного предмета. Деятельность органов чувств должна вступить в синтетическую связь с внутренним процессом деятельности духа; и лишь эта связь обуславливает возникновение представления, которое становится объектом, противопоставляясь субъективной силе, и, будучи заново воспринято в качестве такового, опять возвращается в сферу субъекта. Все это может происходить только при посредстве языка. С его помощью духовное стремление прокладывает себе путь через уста во внешний мир, и затем в результате этого стремления, воплощенного в слово, слово возвращается к уху говорящего. Таким образом, представление объективируется, не отрываясь в то же время от субъекта, и весь этот процесс возможен только благодаря языку. Без описанного процесса объективации и процесса возвращения к субъекту, совершающегося с помощью языка даже тогда, когда процесс мышления протекает молча, невозможно образование понятий, а следовательно, и само мышление. Даже не касаясь потребностей общения людей друг с другом, можно утверждать, что язык есть обязательная предпосылка мышления и в условиях полной изоляции человека. Но обычно язык развивается только в обществе, и человек понимает себя только тогда, когда на опыте убедится, что его слова понятны также и другим людям. Когда мы слышим образованное нами слово в устах других лиц, то объективность его возрастает, а субъективность при этом не испытывает никакого ущерба, так как все люди ощущают свое единство; более того, субъективность даже усиливается, поскольку представление, преобразованное в слово, перестает быть исключительной принадлежностью лишь одного субъекта. Переходя к другим, оно становится общим достоянием всего человеческого рода; однако в этом общем достоянии каждый человек обладает чем-то своим, особенным, что все время модифицируется и совершенствуется под влиянием индивидуальных модификаций других людей. Чем шире и живее общественное воздействие на язык, тем более он выигрывает при прочих равных условиях. То, что язык делает необходимым в процессе образования мысли, непрерывно повторяется во всей духовной жизни человека: общение посредством языка обеспечивает человеку уверенность в своих силах и побуждает к действию. Мыслительная сила нуждается в чем-то равном ей и все же отличном от нее. От равного она возгорается, по отличному от нее выверяет реальность своих внутренних порождений. Хотя основа познания истины и ее достоверности заложена в самом человеке, его духовное устремление к ней всегда подвержено опасностям заблуждений. Отчетливо сознавая свою ограниченность, человек оказывается вынужденным рассматривать истину как лежащую вне его самого, и одним из самых мощных средств приближения к ней, измерения расстояния до нее является

постоянное общение с другими. Речевая деятельность даже в самых своих простейших проявлениях есть соединение индивидуальных восприятий с общей природой человека.

Так же обстоит дело и с пониманием. Оно может осуществляться не иначе как посредством духовной деятельности, и в соответствии с этим речь и понимание есть различные действия одной и той же языковой силы. Процесс речи нельзя сравнивать с простой передачей материала. Слушающий так же, как и говорящий, должен воссоздать его посредством своей внутренней силы, и все, что он воспринимает, сводится лишь к стимулу, вызывающему тождественные явления. Поэтому для человека естественным является тотчас же воспроизвести понятое им в речи. Таким образом, в каждом человеке заложен язык в его полном объеме, что означает, что в каждом человеке живет стремление (стимулируемое, регулируемое и ограничиваемое определенной силой) под действием внешних и внутренних сил порождать язык, и притом так, чтобы каждый человек был понят другими людьми. Понимание, однако, не могло бы опираться на внутреннюю самостоятельную деятельность, и речевое общение могло быть чем-то другим, а не только ответным побуждением языковой способности слушающего, если бы за различиями отдельных людей не стояло бы, лишь расщепляясь на отдельные индивидуальности, единство человеческой природы. Осмысление слов есть нечто совершенно иное, чем понимание нечленораздельных звуков, и предполагает нечто гораздо большее, чем просто обоюдное вызывание друг в друге звуковых образов и желаемых представлений. Слово, конечно, можно воспринять и как неделимое целое, подобно тому как на письме мы часто схватываем смысл того или иного словосочетания, еще не разобравшись в его буквенном составе; и, пожалуй, вполне возможно, что так действует душа ребенка на первых ступенях понимания. Поскольку, однако, в движение приводится не просто животная способность восприятия, а человеческий дар речи (и гораздо правдоподобней, что даже у ребенка это всегда имеет место, пускай в самом ослабленном виде), постольку и слово воспринимается как членораздельное. В силу членораздельности слово не просто вызывает в слушателе соответствующее значение (хотя, конечно, благодаря ей это достигается с большим совершенством), но непосредственно предстает перед слушателем в своей форме как часть бесконечного целого, языка. В самом деле, членораздельность позволяет, следуя определяющим интуициям и правилам, формировать из элементов отдельных слов, по сути дела, неограниченное число других слов, устанавливая тем самым между всеми этими производными словами определенное родство, отвечающее родству понятий. С другой стороны, если бы в нашей душе не жила сила, претворяющая эту возможность в действительность, мы даже не догадались бы о существовании этого искусного механизма и понимали бы членораздельность не лучше, чем слепой — цвета. Поистине в языке

следует видеть не какой-то материал, который можно обозреть в его совокупности или передать часть за частью, а вечно порождающий себя организм, в котором законы порождения определены, но объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными. Усвоение языка детьми — это не ознакомление со словами, не простая закладка их в памяти и не подражательное лепечущее повторение их, а рост языковой способности с годами и упражнением. Услышанное не просто сообщается нам: оно настраивает душу на более легкое понимание еще ни разу не слышанного; оно проливает свет на давно услышанное, но с первого раза полупонятое или вовсе не понятое и лишь теперь — благодаря своей однородности с только что воспринятым — проясняющееся для окрепшей меж тем душевной силы; оно стимулирует стремление и способность все быстрее впитывать памятью все большую часть услышанного, все меньшей его части позволяя пролетать пустым звуком. Успехи здесь растут поэтому не как при заучивании вокабул — в арифметической прогрессии, возрастающей только за счет усиленного упражнения памяти, — но с постоянно увеличивающейся скоростью, потому что рост способности и накопление материала подкрепляют друг друга и взаимно раздвигают свои границы. Что у детей происходит не механическое выучивание языка, а развертывание языковой способности, доказывается еще и тем, что коль скоро для развития главнейших способностей человека отведен определенный период жизни, то все дети при разных обстоятельствах начинают говорить и понимать внутри примерно одинаковых возрастных пределов с очень небольшими колебаниями. А разве слушающий сумел бы овладеть говоримым просто за счет роста своей собственной, независимо развертывающейся в нем силы, если бы в говорящем и слушающем не таилась одинаковая сущность, лишь раздвоенная на индивидуальное при сохранении взаимной соразмерности их частей, — так что тончайшего, но из самой глубины этой сущности почерпнутого знака, каков членораздельный звук, оказывается достаточно, чтобы служить посредником между индивидами и возбуждать в них согласные душевные движения?

На сказанное здесь кто-то мог бы, пожалуй, возразить, что дети любой национальности, оказавшись, пока они еще не говорят, в среде любого другого, чуждого им народа, развертывают свою способность к речи на языке последнего. Этот неоспоримый факт, скажут нам, ясно доказывает, что язык — просто воспроизведение услышанного и, без всяких оглядок на единство или различие человеческой сущности, зависит только от общения с окружающими. Вряд ли кому, однако, в подобного рода случаях удавалось достаточно тщательно пронаблюдать, с какой трудностью, наверное, здесь преодолевались врожденные задатки и как они в своих тончайших нюансах остались, пожалуй, все-таки непобежденными. Впрочем, даже и без учета всего этого вышеупомянутое явление достаточно исчерпыва-

юще объясняется тем, что человек повсюду одинаков, и способность к языку может поэтому развиваться при поддержке первого попавшегося индивида. Развитие это тем не менее совершается внутри самого человека; только потому, что оно всегда нуждается также и в побуждении извне, оно по необходимости уподобляется как раз тому внешнему влиянию, какое испытывает, причем может ему уподобляться ввиду сходства всех человеческих языков. Но зависимость языков от национального происхождения так или иначе совершенно ясна ввиду их распределения по народам. Это само собой понятно — ведь национальное происхождение обладает огромной властью над всеми проявлениями индивидуальности, а с последней в свою очередь интимнейшим образом связан и всякий отдельный язык. Если бы язык благодаря своему возникновению из глубин человеческого существа не вступал в реальную и сущностную связь с национальным происхождением человека, то разве мог бы язык отечества — равно и для образованных, и для необразованных людей — настолько превосходить чужую речь своей властью над сердцем, лаская наш слух внезапным очарованием при возвращении домой, а на чужбине заставляя тосковать? Дело здесь явно не в его интеллектуальной стороне, не в выражаемых им идеях или чувствах, а именно в том, что всего необъяснимей и индивидуальней — в его звуках; вместе с родным языком мы воспринимаем как бы частичку нашей самости.

При анализе порождений языка представление, будто он просто обозначает предметы, воспринятые сами по себе помимо него, тоже не подтверждается. Больше того, положившись на это представление, мы никогда не постигнем язык во всей глубине и полноте его содержания. Как ни одно понятие невозможно без языка, так без него для нашей души не существует ни одного предмета, потому что даже любой внешний предмет для нее обретает полноту реальности только через посредство понятия. И наоборот, вся работа по субъективному восприятию предметов воплощается в построении и применении языка. Ибо слово возникает как раз на основе этого восприятия; оно есть отпечаток не предмета самого по себе, но его образа, созданного этим предметом в нашей душе. Поскольку ко всякому объективному восприятию неизбежно примешивается субъективное, каждую человеческую индивидуальность, даже независимо от языка, можно считать особой позицией в видении мира. Тем более индивидуальность становится такой позицией благодаря языку, ведь и слово в свою очередь, как мы увидим ниже, становится для нашей души объектом с добавлением собственного смысла, придавая нашему восприятию вещей новое своеобразие. Между этим последним и своеобразием звуков речи внутри одного и того же языка царит сплошная аналогия, и, поскольку на язык одного и того же народа воздействует и субъективность одного рода, ясно, что в каждом языке заложено самобытное мирозерцание. Как отдельный звук встает между предметом и человеком, так и весь язык в целом выступает

между человеком и природой, воздействующей на него изнутри и извне. Человек окружает себя миром звуков, чтобы воспринять в себя и переработать мир вещей. Эти наши выражения никоим образом не выходят за пределы простой истины. Человек преимущественно — да даже и исключительно, поскольку ощущение и действие у него зависят от его представлений, — живет с предметами так, как их преподносит ему язык. Посредством того же самого акта, в силу которого он сплетает... язык изнутри себя, он влетает... себя в него; и каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка. Освоение иностранного языка можно было бы уподобить завоеванию новой позиции в прежнем видении мира; до известной степени фактически так дело и обстоит, поскольку каждый язык содержит всю структуру понятий и весь способ представлений определенной части человечества.

.. Язык как совокупность своих порождений отличается от отдельных актов речевой деятельности... Любой язык в полном своем объеме содержит все, превращая все в звук. И как невозможно исчерпать содержание мышления во всей бесконечности его связей, так неисчерпаемо множество значений и связей в языке. Помимо своих уже оформившихся элементов, язык в своей гораздо более важной части состоит из способов... дающих возможность продолжить работу духа и предначертывающих для этой последней пути и формы. Его элементы, приобретая устойчивую оформленность, образуют в известном смысле мертвую массу, но масса эта несет в себе живой росток бесконечной определенности... Поэтому в каждый момент и в любой период своего развития язык, подобно самой природе, представляется человеку — в отличие от всего уже познанного и продуманного им — неисчерпаемой сокровищницей, в которой дух всегда может открыть что-то еще неведомое, а чувство — всегда по-новому воспринять что-то еще не прочувствованное. Так на деле и происходит всякий раз, когда язык перерабатывается поистине новой и великой индивидуальностью, и чтобы гореть воодушевлением в своем вечно беспокойном интеллектуальном порыве и в дальнейшем развертывании своей духовной жизни, человек нуждается в том, чтобы рядом с областью уже достигнутого перед ним всегда открывалась некая бесконечная и мало-помалу проясняющаяся перспектива. <...>

Эта отчасти устойчивость, отчасти текучесть языка создает особое отношение между языком и поколением, которое на нем говорит. В языке накапливается запас слов и складывается система правил, благодаря чему за тысячелетия он превращается в самостоятельную силу... Язык есть поистине чуждый нам объект, а его воздействие и на самом деле имеет источником нечто отличное от того, на что он воздействует. Ведь язык обязательно должен... принадлежать по меньшей мере двоим, и по существу он — собственность

всего человеческого рода. А поскольку он и в письменности хранит для нашего духа дремлющие мысли, которые можно пробудить, то он превращается в особую область бытия, реализующегося всегда только в сиюминутном мышлении, но в своей цельности от мысли независимого. Оба эти противоположных аспекта, которые мы здесь назвали, — тот факт, что язык и чужд душе и вместе с тем принадлежит ей, независим и одновременно зависим он нее, — реально сочетаются в нем, создавая своеобразие его существа, и нельзя разрешить противоречие между ними так, что-де отчасти он и чужд душе и независим, а отчасти — ни то ни другое. Как раз насколько язык объективно действителен и самостоятелен, настолько же он субъективно пассивен и зависим. В самом деле, нигде, ни даже в письменности у него нет закрепленного места, и его как бы омертвевшая часть должна всегда заново порождаться мыслью, оживать в речи или в понимании, целиком переходя в субъект; и тем не менее самому же акту этого порождения как раз свойственно превращать язык в объект: язык тут каждый раз испытывает на себе воздействие индивида, но это воздействие с самого начала сковано в своей свободе всем тем, что им производится и произведено. Истинное разрешение противоречия кроется в единстве человеческой природы. В том, источник чего, по сути дела, тождествен мне, понятия субъекта и объекта, зависимости и независимости переходят друг в друга. <... >

Если подумать о том, как на каждое поколение народа, формируя его, воздействует все, что усвоил за прошедшие эпохи его язык, и как всему этому противостоит только сила одного-единственного поколения, да и то не в чистом виде, потому что бок о бок живут, смешиваясь друг с другом, подрастающая и уходящая смены, то становится ясно, до чего ничтожна сила одиночки перед могущественной властью языка. Лишь благодаря необычайной пластичности последнего, благодаря возможности без ущерба для понимания воспринимать его формы и благодаря власти, какую все живое имеет над омертвевшей традицией, устанавливается какая-то мера равновесия. Так или иначе, всегда именно в языке каждый индивид всего яснее ощущает себя простым придатком целого человеческого рода. И все-таки каждый со своей стороны в одиночку, но непрерывно воздействует на язык, и потому каждое поколение, несмотря ни на что, вызывает в нем какой-то сдвиг, который, однако, часто ускользает от наблюдения. В самом деле, не всегда изменения касаются самих слов, иногда просто модифицируется их употребление; это бывает труднее заметить там, где нет письменности и литературы. Обратное воздействие одиночки на язык покажется нам более очевидным, если мы вспомним, что индивидуальность того или иного языка (в обычном понимании этого слова) является таковою только в сравнении этого языка с другими, тогда как подлинной индивидуальностью наделен лишь конкретный говорящий. Только в речи индивида язык достигает своей окончательной определенности. Никто

не понимает слово в точности так, как другой, и это различие, пускай самое малое, пробегает, как круг по воде, через всю толщу языка. Всякое понимание поэтому всегда есть вместе и непонимание, всякое согласие в мыслях и чувствах — вместе и расхождение. В том, как язык видоизменяется в устах каждого индивида, проявляется, вопреки описанному выше могуществу языка, власть человека над ним.

15. ... Лишь по способу произношения звука, а не на основе формальных свойств можно описать членораздельный звук. Причина этого кроется не в нашей неспособности, а в его своеобразной природе, ибо он представляет собой не что иное, как сознательное действие создающей его души; звук материален ровно настолько, насколько того требует его внешнее восприятие.

Материальность воспринимаемого на слух звука можно, пожалуй, в какой-то мере отделить от самого звука, чтобы более отчетливо представить его артикуляцию. Мы можем проследить это на примере глухонемых. Слух не открывает возможности общения с ними, однако они учатся понимать речь по движению речевых органов говорящего и по письму, сущность которого целиком определяется артикуляцией. Глухонемые способны говорить, если кто-то корректирует положение и движение их органов речи. Это происходит лишь благодаря присущей также и им артикуляционной способности, проявляющейся в том, что глухонемые благодаря связи собственного мышления с органами речи в общении с другими людьми по одному компоненту — движению их органов речи — учатся узнавать следующий компонент — мысли. Слышимый нами звук они воспринимают по положению и движению органов речи и при чтении письма. Не слыша этого звука, глухонемые воспринимают его артикуляцию зрительно, а также благодаря напряженным усилиям их самих что-либо произнести. Таким образом, в данном случае происходит своеобразное разложение членораздельного звука. Выучиваясь читать и писать на основе знания алфавита и даже говорить, глухонемые не просто идентифицируют представления по знакам или зрительным образам, а действительно понимают язык. Они выучиваются говорить не только потому, что обладают разумом, подобно другим людям, а именно потому, что также владеют языковой способностью, мышлением и органами речи, согласованными друг с другом, равно как и стремлением использовать их во взаимодействии: при этом как одно, так и другое имеет свое основание в человеческой природе, пусть даже в каком-то отношении и ущербной. Разница между ними и нами заключается в том, что их органы речи не подражают образцу готового членораздельного звука, а постигают внешнюю сторону этой деятельности не уготованным самой природой способом, а искусственно. Их пример показывает также, насколько глубока и неразрывна связь между языком и письмом, даже если она не поддерживается слухом.

Сила духа воздействует на артикуляцию и заставляет органы речи воспроизводить звуки в соответствии с формами своей деятельности.

Общая особенность взаимодействия формы деятельности духа и артикуляции заключается в том, что сфера действия как того, так и другого делится на элементы; простое объединение этих элементов образует совокупности, которые в свою очередь стремятся превратиться в части новых совокупностей. К тому же многообразие должно скрепляться в единство, как этого требует мышление.

ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЯЗЫКА

21. Любые преимущества самых искусных и богатых звуковых форм, даже в сочетании с живейшим артикуляционным чувством, будут, однако, не в состоянии сделать языки достойными духа, если ослабнет влияние лучезарных идей, направленных на язык и пронизывающих его своим светом и теплом. Эта внутренняя и чисто интеллектуальная сторона языка и составляет собственно язык; она есть тот аспект... ради которого языковое творчество пользуется звуковой формой, и на эту сторону языка опирается его способность наделять выражением все то, что стремятся вверить ему, по мере прогрессивного развития идей, величайшие умы позднейших поколений. Это его свойство зависит от согласованности и взаимодействия, в котором проявляющиеся в нем законы находятся по отношению друг к другу и к законам созерцания, мышления и чувствования вообще. Однако духовная способность... существует единственно в своей деятельности и представляет собой следующие друг за другом вспышки силы, выступающей во всей своей цельности, хотя и избравшей для себя одноединственное направление. Законы языка суть поэтому не что иное, как колеи, по которым движется духовная деятельность при языкотворчестве, или, привлекая другое сравнение, не что иное, как формы, в которых языкотворческая сила отчеканивает звуки. Нет душевной силы, которая не была бы включена в эту работу; нет в человеческом сердце таких глубин, такой тонкости, такой широты, чтобы они не могли перейти в язык и проявиться в нем. Его интеллектуальные достоинства покоятся поэтому исключительно на упорядоченности, основательности и чистоте духовной организации народов в эпоху образования или преобразования языков и являют собой отображение или даже непосредственный отпечаток этой организации.

Может показаться, что в своих интеллектуальных приемах... все языки должны быть одинаковыми. В сфере звуковых форм вполне понятно их бесконечное, необозримое многообразие, ибо все чувственное и телесно-индивидуальное проистекает из столь многих причин, что возможности его градаций неисчислимы. Но то, что, подобно интеллектуальной сфере языка, опирается только на самодеятельность духа, должно, казалось бы, быть одинаковым, тем более что цели и средства к достижению целей у всех людей одинаковы. И действительно, эта сфера языка обнаруживает большее единообразие. Однако даже в ней по ряду причин возникают значитель-

ные различия. С одной стороны, они вызываются тем, что языкотворческая сила как вообще, так и в обоюдной связи с порождаемыми ею действиями проявляется не в одинаковой степени. С другой стороны, здесь действуют еще и силы, творения которых не могут быть измерены посредством рассудка и чистых понятий. Фантазия и чувство рожают индивидуальные образования... в которых отражается индивидуальный характер нации и в которых, как во всем индивидуальном, разнообразие способов, с помощью которых данное может проявляться во все новых и новых определениях, доходит до бесконечности.

СОЕДИНЕНИЕ ЗВУКА С ВНУТРЕННЕЙ ФОРМОЙ ЯЗЫКА

22. Связь звуковой формы с внутренними языковыми законами придает завершенность языкам, и высшая степень их завершенности знаменуется переходом этой связи, всегда возобновляющейся в одновременных актах языкотворческого духа, в их подлинное и чистое взаимопроникновение. Начиная со своего первого элемента, порождение языка — синтетический процесс, синтетический в том подлинном смысле слова, когда синтез создает нечто такое, что не содержалось ни в одной из сочетающихся частей как таковых. Этот процесс завершается, только когда весь строй звуковой формы прочно и мгновенно сливается с внутренним формообразованием... Благотворным следствием этого является полная согласованность одного элемента с другим, так что ни один из них, так сказать, не затеняет другого. По достижении этой цели ни внутреннее развитие языка не направляется по одностороннему пути, оторвавшись от звукового формотворчества, ни звук, пышно разрастаясь, не возносится над прекрасной потребностью мысли. Напротив, повинувшись внутренним движениям души, подготавливающим момент порождения языка, звук обретает эвфонию и ритм и в противоположность обнаженному, назойливому слоговому брэнчанию с их помощью прокладывает себе новый путь, на котором мысль поистине вдыхает в звук живую душу, но и сам по себе звук, со своей стороны, тоже служит для мысли одухотворяющим началом. <...>

АКТ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОЛАГАНИЯ В ЯЗЫКАХ

Действительно, в грамматическом строе языков есть точки, в которых вышеназванный синтез и порождающая его сила выступают как бы обнаженной и непосредственной и с которыми все остальное в языковом организме по необходимости находится в самой тесной связи. Поскольку синтез, о котором у нас идет речь, есть не каче-

ство и даже, собственно, не действие, но поистине ежемгновенно протекающая деятельность, постольку для него не может быть никакого обозначения в самих словах и уже одна попытка отыскивать такое обозначение свидетельствовала бы об ущербности синтетического акта ввиду непонимания его природы. Реальное присутствие синтеза должно обнаруживаться в языке как бы нематериальным образом, мы должны понять, что акт синтеза, словно молния, прежде, чем мы это заметим, уже успевает озарить язык и, подобно жару из каких-то неведомых областей, сплавляет друг с другом подлежащие соединению элементы. Сказанное слишком важно, чтобы можно было обойтись здесь без иллюстрирующего примера. Когда в том или ином языке корень маркируется с помощью суффикса как субстантив, данный суффикс становится материальным знаком отнесенности данного понятия к категории субстанции. Но синтетический акт, действием которого категоризация происходит в уме непосредственно при произнесении слова, не обозначается в последнем никаким отдельным знаком, хотя о реальности этого акта говорит как взаимозависимость суффикса и корня, так и единство, в которое они слились, то есть здесь происходит своеобразное обозначение — не прямое, но проистекающее из того же духовного устремления.

Подобно тому, как я это сделал в данном конкретном случае, такой акт можно называть, вообще говоря, актом самостоятельного полагания через соединение (синтез). В языке он встречается на каждом шагу. Всего ярче и очевиднее он проявляется при построении предложения, затем при образовании производных слов с помощью флексии или аффиксов и, наконец, при любом сочетании понятия со звуком. В каждом случае путем сочетания создается, то есть реально полагается (актом мысли) как самостоятельно существующее, нечто новое. Дух творит, но в том же творящем акте противопоставляет сотворенное самому себе, позволяя ему воздействовать на себя уже в качестве объекта. Так, отразившись в человеке, мир становится языком, который, встав между обоими, связывает мир с человеком и позволяет человеку плодотворно воздействовать на мир. После этого ясно, почему от мощи синтетического акта зависит жизненное начало, одушевляющее язык во все эпохи его развития.

Если теперь, имея в виду историческую и практическую оценку соответствия языков своему назначению... мы разберем, что именно в языковом строе позволяет судить о мощи синтетического акта, то обнаружатся прежде всего три момента, где этот последний дает о себе знать и где недостаток его изначальной силы проявляется в виде попыток заменить его чем-то другим. <...> Три вышеупомянутых момента — глагол, союз и относительное местоимение.

Печатается по изданию: *Б. фон Гумбольдт. Избр. труды по языкознанию.* — М., 1999.

**О СРАВНИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ЭПОХАМ
ИХ РАЗВИТИЯ**

(Извлечения)

3. Достойным упоминания является то обстоятельство, что еще не было обнаружено ни одного языка, находящегося за пределами сложившегося грамматического строения. Никогда ни один язык не был застигнут в момент становления его форм. Для того чтобы проверить историческую достоверность этого утверждения, необходимо основной своей целью сделать изучение языков первобытных народов и попытаться определить низшее состояние в становлении языка, с тем чтобы познать из опыта хотя бы первую ступень в иерархии языковой организации. Весь мой предшествующий опыт показал, что даже так называемые «грубые» и «варварские» диалекты обладают всем необходимым для совершенного употребления и что они являются теми формами, где, подобно самым высокоразвитым и наиболее замечательным языкам, с течением времени мог выкристаллизоваться весь характер языка, пригодный для того, чтобы более или менее совершенно выразить любую мысль.

4. Язык не может возникнуть иначе как сразу и вдруг, или, точнее говоря, языку в каждый момент его бытия должно быть свойственно все, благодаря чему он становится единым целым. Как непосредственная эманация органической сущности в ее чувственной... и духовной значимости, язык разделяет природу всего органического, где одно проявляется через другое, общее в частном и где благодаря всепроникающей силе образуется целое. Сущность языка беспрерывно повторяется и концентрически проявляется в нем самом; уже в простом предложении, поскольку оно основано на грамматической форме, видно ее завершенное единство, и так как соединение простейших понятий побуждает к действию всю ткань категорий мышления, — где положительное влечет за собой отрицательное, часть — целое, единичное — множество, следствие — причину, случайное — необходимое, относительное — абсолютное, где одно измерение пространства и времени требует другого, где одно ощущение находит себе отклик в другом, близлежащем ощущении, — то, как только достигается ясность и определенность выражения простейшего соединения мыслей, а также соответствующее обилие слов, целостность языка налицо. Каждое высказанное участвует в формировании еще не высказанного или его подготавливает.

5. Таким образом, две области совмещаются в человеке, каждая из них может члениться на обозримое количество конечных элементов и обладает способностью к их бесконечному соединению, где своеобразие природы отдельного выявляется всегда через отноше-

ние его составляющих. Человек наделен способностью как разграничивать эти области — духовно — посредством рефлексии, физически — произносительным членением... — так и вновь воссоединять их части: духовно — синтезом рассудка, физически — ударением, посредством которого слоги соединяются в слова, а из слов составляется речь. Поэтому, как только его сознание настолько окрепло, чтобы в обе области проникнуть с помощью той же силы, которая может вызвать такую же способность проникновения у слушающего, — он овладел уже их целым. Их обоюдное взаимопроникновение может осуществляться лишь одной и той же силой, и ее направлять может только рассудок. Способность человека произносить членораздельные звуки — пропасть, лежащая между бессловесностью животного и человеческой речью, — также не может быть объяснена чисто физически. Сила самоосознания способна четко расчленивать материальную природу языка и выделить отдельные звуки — осуществить процесс, который мы называем артикуляцией. <...>

10. ...Организм языка возникает из присущей человеку способности и потребности говорить: в его формировании участвует весь народ; культура каждого народа зависит от его особых способностей и судьбы, ее основой является большей частью деятельность отдельных личностей, вновь и вновь появляющихся в народе. Организм языка относится к области физиологии интеллектуального человека, культура — к области исторического развития. Анализ организма языка ведет к измерению и проверке области языка и области языковой способности человека; исследование более высокого уровня образования ведет к познанию того, каких вершин человеческих устремлений можно достичь посредством языка. Изучение организма языка требует, насколько это возможно, широких сопоставлений, а проникновение в ход развития культуры — сосредоточения на одном языке, изучения его самых тонких своеобразий — отсюда и широта охвата и глубина исследований. Следовательно, тот, кто действительно хочет сочетать изучение этих обоих разделов языкознания, должен, занимаясь очень многими, различными, а по возможности и всеми языками, всегда исходить из точного знания одного-единственного или немногих языков. Отсутствие такой точности ощутимо сказывается в пробелах никогда не достигаемой полноты исследований. Проведенное таким образом сравнение языков может показать, каким различным образом человек создал язык и какую часть мира мыслей ему удалось перенести в него, как индивидуальность народа влияла на язык и какое обратное влияние оказывал язык на нее. Ибо язык и постигаемые через него цели человека вообще, род человеческий в его поступательном развитии и отдельные народы являются теми четырьмя объектами, которые в их взаимной связи и должны изучаться в сравнительном языкознании. <...>

13. ...Язык следует рассматривать, по моему глубокому убеждению, как непосредственно заложенный в человеке, ибо сознатель-

ным творением человеческого рассудка язык объяснить невозможно. Мы ничего не достигнем, если при этом отодвинем создание языка на многие тысячелетия назад. Язык невозможно было бы придумать, если бы его тип не был уже заложен в человеческом рассудке. Чтобы человек мог постичь хотя бы одно слово не просто как чувственное побуждение, а как членораздельный звук, обозначающий понятие, весь язык полностью и во всех своих взаимосвязях уже должен быть заложен в нем. В языке нет ничего единичного, каждый отдельный его элемент проявляет себя лишь как часть целого. Каким бы естественным ни казалось предположение о постепенном образовании языков, они могли возникнуть лишь сразу. Человек является человеком только благодаря языку, а для того чтобы создать язык, он уже должен быть человеком. Когда предполагают, что этот процесс происходил постепенно, последовательно и как бы поочередно, что с каждой новой частью обретенного языка человек все больше становился человеком и, совершенствуясь таким образом, мог снова придумывать новые элементы языка, то упускают из виду нераздельность человеческого сознания и человеческого языка, не понимают природу действия, рассудка, необходимого для постижения отдельного слова и вместе с тем достаточного для понимания всего языка. Поэтому язык невозможно представить себе как нечто заранее данное, ибо в таком случае совершенно непостижимо, каким образом человек мог понять эту данность и заставить ее служить себе. Язык с необходимостью возникает из человека, и, конечно, мало-помалу, но так, что его организм не лежит в виде мертвой массы в потемках души, а в качестве закона обуславливает... функции мыслительной силы человека; следовательно, первое слово уже предполагает существование всего языка. Если эту ни с чем не сравнимую способность человека попытаться сравнить с чем-либо другим, то придется вспомнить о природном инстинкте... животных и назвать язык интеллектуальным инстинктом разума... Как инстинкт животных невозможно объяснить их духовными задатками, так и создание языка нельзя выводить из понятий и мыслительных способностей диких и варварских племен, являющихся его творцами. Поэтому я никогда не мог представить себе, что столь последовательное и в своем многообразии искусное строение языка должно предполагать колоссальные мыслительные усилия и будто бы является доказательством существования ныне исчезнувших культур. Именно из самого первобытного природного состояния может возникнуть такой язык, который сам есть творение природы — природы человеческого разума. Последовательность, единообразие формы даже при сложном строении несут на себе всюду отпечаток творения этой природы, и суть вопроса вовсе не в трудности создания языка. Подлинная трудность создания языка заключается не столько в установлении иерархии бесконечного множества взаимосвязанных отношений, сколько в непостижимой глубине простого действия рас-

судка, которое необходимо для понимания и порождения языка даже в единичных его элементах. Если это налицо, то само собой приходит и все остальное, этому невозможно научиться, это должно быть изначально присуще человеку. <...>

16. .. Слово еще не исчерпывает языка, хотя является его самой важной частью, так же как индивидуум в живом мире. Безусловно, также далеко не безразлично, использует ли один язык описательные средства там, где другой язык выражает это одним словом; это относится к грамматическим формам, так как последние при описании выступают по отношению к понятию чистой формой и уже не как модифицированные идеи, а как способы модификации, но это относится и к обозначению понятий. Закон членения неизбежно будет нарушен, если то, что в понятии представляется как единство, не проявляется таковым в выражении, и все живое действие отдельного слова как индивида пропадает для понятия, которому недостает такого выражения. Акту рассудка, в котором создается единство понятия, соответствует единство слова как чувственного знака, и оба единства должны быть в мышлении и через посредство речи как можно более приближены друг к другу. Как мыслительным анализом производится членение и выделение звуков путем артикуляции, так и обратно, эта артикуляция должна оказывать расчленяющее и выделяющее действие на материал мысли и, переходя от одного нерасчлененного комплекса к другому, через членение пролагать путь к достижению абсолютного единства. <...>

18. Слово, которое одно способно сделать понятие самостоятельной единицей в мире мыслей, прибавляет к нему многое от себя. Идея, приобретая благодаря слову определенность, вводится одновременно в известные границы. Из звуков слова, его близости с другими сходными по значению словами, из сохранившегося в нем, хотя и переносимого на новые предметы, понятия и из его побочных отношений к ощущению и восприятию создается определенное впечатление, которое, становясь привычным, привносит новый момент в индивидуализацию самого по себе менее определенного, но и более свободного понятия. Таким образом, к каждому значимому слову присоединяются все вновь и вновь вызываемые им чувства, произвольно возбуждаемые образы и представления, и различные слова сохраняют между собой отношения в той мере, в какой воздействуют друг на друга. Так же как слово вызывает представление о предмете, оно затрагивает, в соответствии с особенностями своей природы и вместе с тем с особенностями объекта, хотя часто и незаметно, также соответствующее своей природе и объекту ощущение, и непрерывный ход мыслей человека сопровождается такой же непрерывной последовательностью восприятий, которые по степени и по оттенку определяются прежде всего представляемыми объектами, согласно природе слов и языка. Объект, появлению которого в сознании всякий раз сопутствует такое постоянно повторяющееся впечатление,

индивидуализированное языком, тем самым представляется в модифицированном виде. В отдельном это малозаметно, но власть воздействия в целом основана на соразмерности и постоянной повторяемости впечатления. Характер языка запечатлен в каждом выражении и в каждом соединении выражений, и поэтому вся масса представлений получает свойственный языку колорит.

19. Однако язык не является произвольным творением отдельного человека, а принадлежит всегда целому народу; позднейшие поколения получают его от поколений предшествующих. В результате того, что в нем смешиваются, очищаются, преобразуются способности представлений всех возрастов, каждого пола, сословия, характера и духовного различия данного племени, в результате того, что народы обмениваются словами и языками, создавая в конечном счете человеческий род в целом, язык становится великим средством преобразования субъективного в объективное, переходя от всегда ограниченного индивидуального к всеобъемлющему бытию. Открытие никогда ранее не улавливаемого звукового знака мыслимо лишь при признании происхождения языков, выходящего за пределы всякого человеческого опыта. Там, где человек из поколения в поколение сохраняет какие-либо звуки, обладающие значением, — там он создает из них язык и формирует свой диалект в соответствии с ними. Это заложено в потребности быть понятым, в свойственной каждому языку связности всех частей и элементов, в одинаковости языковых способностей. Даже при собственно грамматических разъяснениях важно твердо помнить, что племенам, которые создавали дошедшие до нас языки, было нелегко их изобретать и, действуя самостоятельно, они только членили и использовали ими обнаруженное. Лишь таким путем можно объяснить появление многих тонких нюансов у грамматических форм. Ведь было бы очень сложно изобретать для них различные обозначения; и обратно, вполне естественно неодинаковым образом употреблять уже существующие различные формы. Преимущественно слова как основные элементы языка перекочевывают от народа к народу. Для грамматических форм возможность перехода более затруднительна, поскольку они ввиду своей тонкой интеллектуальной природы существуют скорее в уме, чем материально, и, выявляя себя, закрепляются в звуках. Между извечно сменяющимися поколениями людей и миром отображаемых объектов существует бесконечное количество слов, которые, если даже они изначально созданы по законам свободы и в таком же виде продолжают употребляться, следует рассматривать как независимые сущности... объяснимые лишь исторически и созданные постепенно посредством объединения усилий природы, человека и событий. Следы слов теряются во тьме предыстории, так что установить начало уже не представляется возможным; их разветвление охватывает все человечество, как бы далеки люди друг от друга ни были: их непрекращающееся действие и постоянное возникновение могло бы

обрести конец только в том случае, если будут истреблены все ныне живущие поколения и разом перерезаны все каналы связи. Пока народы пользуются существовавшими до них элементами языка, пока они вмещиваются в отображение объектов, выражение не безразлично для понятия, и понятия не бывают независимыми от языка. Но зависящий от языка человек оказывает на него обратное воздействие, и поэтому каждый отдельный язык есть результат трех различных, но взаимосвязанных воздействий: реальной природы вещей, поскольку она оказывает влияние на душу... субъективной природы народа, своеобразной природы языка, где инородные... примеси к основной материи языка и все усвоенное языком, первоначально даже свободно созданное, допускают образования по аналогии только в известных пределах.

20. Из взаимообусловленной зависимости мысли и слова явствует, что языки являются не только средством выражения уже познанной истины, но и, более того, средством открытия ранее неизвестной. Их различие состоит не только в отличиях звуков и знаков, но и в различиях самих мировидений. В этом заключается основа и конечная цель всякого исследования языка. Совокупность познаваемого — как целина, которую надлежит обработать человеческой мысли, — лежит между всеми языками и независима от них. Человек может приблизиться к этой чисто объективной сфере не иначе как присущим ему способом познания и восприятия, следовательно, только субъективным путем. Именно там, где достигается вершина и глубина исследования, прекращается механическое и логическое действие рассудка... наиболее легко отделимого от каждого своеобразия, и наступает процесс внутреннего восприятия и творчества, из которого и становится совершенно очевидным, что объективная истина истекает от полноты сил субъективно индивидуального. Это возможно только посредством языка и через язык. Но язык как продукт народа и прошлого является для человека чем-то чуждым; поэтому человек, с одной стороны, связан, но, с другой стороны, обогащен, укреплен и вдохновлен наследием, оставленным в языке ушедшими поколениями. Являясь по отношению к познаваемому субъективным, язык по отношению к человеку объективен, ибо каждый язык есть отзвук общей природы человека. Если же совокупность языков никогда не сможет стать совершенной копией субъективного характера человечества, то они все же непрерывно приближаются к этой цели. Субъективный характер всего человечества снова становится сам по себе чем-то объективным. Первоначальное соответствие... между вселенной и человеком, на котором основывается возможность всякого познания истины, таким образом вновь обретается частично и постепенно на пути ее обнаружения. Ибо объективное является тем, что, собственно, и должно быть постигнуто, и, когда человек через особенности языкового своеобразия приближается к этому, он должен приложить новые усилия для того, чтобы

отделить субъективное и четко вычленив из него объект — пусть даже через смешение одной языковой субъективности с другой.

21. Если сравнить в различных языках способы выражения предметов, не воспринимаемых чувственно, то окажется, что одинаково значимыми будут лишь те, которые, являясь чистыми построениями, не могут содержать ничего другого, кроме того, что в них вложено. Все остальные пересекаются различным образом в лежащей в их центре области (если так можно назвать обозначаемый ими предмет) и имеют разные значения. Выражения для чувственно воспринимаемых предметов в той мере одинаково значимы, в какой в них мыслится один и тот же предмет, но поскольку они выражают различный способ его представления, то они могут расходиться в значениях. Ибо воздействие индивидуального представления о предмете на образование слова определяет, пока такое представление живо, и то, как словом вызывается предмет. Но множество слов возникает из соединения выражений чувственно воспринимаемых и чувственно невоспринимаемых предметов или же из умственной переработки первых, и поэтому все они несут на себе неповторимый индивидуальный отпечаток этой переработки, если даже с течением времени он исчезает у первых. Так как язык одновременно есть и отражение и знак, а не целиком продукт впечатления о предметах и произвольное творение говорящего, то каждый отдельный язык в каждом своем элементе несет на себе отпечаток первого из обозначенных свойств, но распознавание его следа, кроме присущей ему отчетливости, основывается в каждом случае на склонности духа воспринимать слово главным образом как отражение или как знак. Душа... располагая властью абстракции, способна добраться до знака, но она также может, проявив всю свою восприимчивость, ощутить полноту воздействия своеобразного материала языка. Говорящий может выбрать любую из этих возможностей, и часто употребление поэтического, не свойственного прозе оборота речи не имеет никакого другого воздействия, кроме как настроить душу на то, чтобы не рассматривать язык в качестве знака. Если это двоякое употребление языка рассмотреть как две разновидности и попытаться их отграничить более четко, нежели это может иметь место в действительности, то одну из них можно назвать научной, а другую — речевой. Первая является одновременно и деловой, тогда как вторая — повседневной, естественной, ибо свободное общение способствует раскованности восприимчивости духа. Научное употребление в принятом здесь смысле используется лишь в науках, оперирующих чисто логическими построениями, а также в некоторых областях и методах естественных наук; в каждом акте познания, который требует нераздельного действия сил человека, выступает речевое употребление.

Именно от этого вида познания излучается свет и тепло на все другие; только на нем основывается поступательное движение все-

общего духовного образования, и народ, который не ищет и не обретает вершин этого познания в поэзии, философии и истории, лишается благотворного обратного воздействия языка, потому что он по своей вине не питает его более материалом, который один может сохранить в языке свежесть и выразительность, блеск и красоту. Это уже область красноречия, если, правда, понимать под красноречием в самом широком и не совсем обычном смысле такую трактовку языка, согласно которой он оказывает существенное воздействие на отображение объектов или сознательно употребляется для этой цели. В последнем случае красноречие с полным основанием (или без всякого основания) может войти как в научное, так и в деловое употребление. Научное употребление, в свою очередь, должно быть отграничено от конвенционального употребления. Обе разновидности относятся к одному классу, поскольку каждая из них стремится, употребляя своеобразие языкового материала, использовать последний только как знак. Но при научном употреблении язык применяется в той области, где это уместно, что и достигается устранением субъективного характера каждого выражения или, скорее, стремлением настроить душу целиком на объективный лад. Того же принципа придерживается спокойное и рассудительное деловое употребление языка. Конвенциональное употребление переносит трактовку языка в область, где возникает нужда в свободе восприимчивости; оно каждому выражению придает особую по степени и колориту субъективность и стремится вызвать соответствующее настроение у человека. Таким путем слово переходит в область речевого употребления и восстанавливает утраченные красноречие и поэзию. <...>

23. ...С языками происходит то же, что и с людскими характерами, или, если использовать для сравнения более простой пример, — с идеалами богов в изобразительном искусстве, которым в равной мере свойственна и тотальность и индивидуальность, поскольку каждое изображение как одновременное воплощение всех совершенств не является индивидуализированным идеалом с одной определенной стороны. Но не следует рассчитывать на то, что в каком-нибудь языке будут в чистом виде обнаружены такие преимущества, и попытка подобного представления (исторических) различий характеров и языков была бы искажением истинного положения вещей. Можно говорить лишь об известной предрасположенности языка и ее нечетко прослеживаемой направленности. Становление же характера человека, равно как народа и языка (под которым следует понимать не подчинение различных проявлений одному закону, а приближение сущности к какому-либо идеалу), невозможно себе представить, если мы стоим на том пути, направление которого, данное посредством представления об идеале, подразумевает другие направления, со всех сторон исчерпывающие идеал. Состояние народов, к языкам которых это приложимо, является наивысшим и завершающим для племенных различий. Оно предполагает относительно большое количе-

ство людских масс, которые необходимы для того, чтобы языки могли достичь своей завершенности. В основе этого состояния лежит низшее, откуда мы и приходим. Оно возникает из неизбежной разобщенности и разветвленности рода человеческого. Этому состоянию языки обязаны своим происхождением. Оно предполагает множество небольших людских общностей, в которых легче возникнуть языкам, многие из них должны были смешаться и слиться, чтобы возникли богатые и пластичные языки. В обоих состояниях соединилось все то, что было открыто и сохранено на земле поколениями людей; возникая из природных и физических потребностей, оба приобретают в процессе развития высшее духовное назначение.

Печатается по изданию: *В.фон Гумбольдт. Избранные труды по языковедению.* - М., 1999. - С. 308-322.

Вопросы

1. Почему В. фон Гумбольдт писал, что «язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее»? Какое свойство языка, с позиций современных представлений о языке как сложной самоорганизующейся системе, здесь имеется в виду? Какое практическое значение имеет это свойство?

2. Как представлял В. фон Гумбольдт деятельностный характер языка?

3. На каком основании В. фон Гумбольдт проводил различие между языком и речью? Как он представлял их соотношенность?

4. В чем состоит, по мнению В.фон Гумбольдта, цель «духовной», языковой и речевой деятельности человека (или, выражаясь языком нашего времени, мысле-рече-языковой деятельности)?

5. Какова роль, по мнению В.фон Гумбольдта, понятия формы языка в выяснении его сущности? Что значит его выражение: «Форма языка есть синтез отдельных... элементов языка в их духовном единстве»?

6. Как представлял В. фон Гумбольдт соотношение языковой деятельности и «деятельности мышления и чувственного восприятия»? Какое значение придавал он при этом прямохождению человека?

7. Как рассматривал В. фон Гумбольдт процесс общения людей? Почему для успешного познания мира необходимо общение? Что, по его мнению, сложнее: говорить или слушать?

8. Какими фактами онтогенетического развития речи В. фон Гумбольдт доказывал наличие языковой способности? В результате чего, по его мнению, происходит «рост языковой способности»? Используется ли, по мнению В. фон Гумбольдта, языковая способность человеком в полной мере?

9. Почему возникает у человека любовь к родному языку? Как на этот вопрос отвечают В. фон Гумбольдт и современные ученые? Какую роль отводил в этой связи В. фон Гумбольдт освоению иностранного языка?

10. Какое свойство отношений речи, языка и мышления, по мнению В. фон Гумбольдта, вскрывает приведенный им пример овладения глухонемыми «речевым» общением?

11. Почему необходимы, по В. фон Гумбольдту, «согласованность и взаимодействие» в языке? Почему при одинаковости «цели и средств к достижению целей» в языке разных людей получаются разные результаты? Какое свойство «языка как акта духа» видит В. фон Гумбольдт в синтезе функциональных элементов, участвующих в языкотворческом действии, если оценивать результат с позиций современных представлений синергетики?

12. Как, по мнению В. фон Гумбольдта, протекает акт порождения речи, рождения языковых единиц, «акт самостоятельного полагания»?

13. Можно ли думать, что если языки развиваются постепенно, то, в принципе, можно поймать момент рождения какого-нибудь живого языка? Какой ответ на этот вопрос дает В. фон Гумбольдт?

14. Вероятен ли моногенезис языка (т.е. появление одного праязыка для всех племен и народов на заре их «младенчества»)? Как решает эту проблему В. фон Гумбольдт?

15. Почему при исследовании различных языков следует, по В. фон Гумбольдту, «всегда исходить из точного знания одного-единственного или немногих языков»? О каких «измерениях» «области языка и области языковой способности человека» говорит он?

16. Что значит, по В. фон Гумбольдту, подвергать язык не «фрагментарному описанию», а изучать его «во внутренней целостности»? Почему нужно стремиться к такому научному методу исследования языка?

17. О каком свойстве развития языка, описанном во «Введении», говорит следующее высказывание В. фон Гумбольдта: «Чтобы человек мог постичь хотя бы одно слово... как членораздельный звук, обозначающий понятие, весь язык полностью и во всех своих взаимосвязях уже должен быть заложен в нем»?

18. В чем, по В. фон Гумбольдту, «состоит подлинная трудность создания языка»?

19. В результате каких действий человека, как пишет В. фон Гумбольдт, «язык становится великим средством преобразования субъективного в объективное, переходя от всегда ограниченного индивидуального к всеобъемлющему бытию»?

20. Какие особенности пользования языком выявляет В. фон Гумбольдт, исходя из понимания того, что «язык одновременно есть и отражение и знак»?



4. А.А.ПОТЕБНЯ О СООТНОШЕНИИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ

...Язык есть средство не выразить уже готовую мысль, а создавать ее... он не отражение сложившегося мирозерцания, а слагающая его деятельность.

А. А. Потебня

Александр Афанасьевич Потебня (1835—1891) — представитель психологического направления в языкознании, последователь Вильгельма фон Гумбольдта, один из основателей Харьковской лингвистической школы. В круг научных интересов ученого входила не только лингвистика, но и философия, мифология, фольклористика, литературоведение. Имея широкий научный кругозор, блестящий исследовательский талант, А. А. Потебня опередил свое время, высказав множество идей, близких к проблемам современной психолингвистики. Практически все направления этой науки: теория порождения речи и восприятия речи, речевого воздействия, психолингвистика развития, этнопсихолингвистика — так или иначе отражены в трудах ученого.

В центре внимания А. А. Потебни — речевая деятельность говорящего, познающего мир через язык и с помощью языка. Объект его пристального интереса — индивидуально-психический речевой акт, являющийся, по его мнению, творческим процессом (причем не только со стороны говорящего, но и со стороны слушающего). Исследовав процесс восприятия и понимания речи, ученый приходит к выводу о невозможности полного понима-

ния, называет его иллюзией, поскольку говорящий и слушающий вкладывают в слова свой особый, личный смысл. Однако успешное завершение речевого акта возможно, поскольку, как считает А. А. Потебня, существует два значения: 1) ближайшее значение слова, или объективное, народное, которое составляет действительное содержание мысли и отражает один главный признак; 2) дальнейшее значение слова¹, или личное, субъективное, отражающее множество признаков.

Наиболее важны для понимания общей концепции А. А. Потебни его размышления о взаимодействии языка и мышления в процессе речевой деятельности. По мнению ученого, «область языка далеко не совпадает с областью мысли» [1, 41]. Признавая невербальные формы мышления: творческую мысль музыканта, живописца, шахматиста, — он пишет при этом, что «язык есть необходимое условие мысли даже в полном уединении» [1, 30]. Без языка невозможно мышление с помощью понятий; такой тип мышления, по мнению А. А. Потебни, возникает не сразу и проходит в своем развитии несколько стадий: дословесное мышление образами, образное мышление, связанное со словом, мышление с помощью слов. Мышление образами А. А. Потебня называет поэтическим мышлением, мышление понятиями — прозаическим. Переход от образного мышления к прозаическому происходит постепенно; первый творческий акт познания (апперцепция) — сравнение и объяснение того, что уже воспринято. Формирующаяся мысль объективируется в слове. С помощью слов человек познает действительность, другого человека и прежде всего самого себя.

В речевых процессах А. А. Потебня видит повторение первого акта создания языка, при этом ученый проводит параллели между возникновением речи в филогенезе и онтогенезе². В большей мере к диахроническому аспекту относится и учение А. А. Потебни о **внутренней форме**. В процессе познавательно-ориентирующей деятельности человек дает наименования предметам окружающей действительности по какому-то характерному признаку. Внутренняя форма — это этимологическое значение слова. Во внутренней форме ученый увидел одно из наиболее существенных различий, отличающих членораздельную речь человека от междометий и звуков животных.

Часть концепции языка и мышления, непосредственно связанная с учением о внутренней форме, — теория мифа. Миф для А. А. Потебни — особое слово, в котором осуществляется переход от поэтического мышления к прозаическому; миф — словесное

¹ По сути речь идет о психолингвистическом значении слова, связанном с ассоциациями, возникающими у участников речевого акта.

² Эти идеи впоследствии детально разрабатывались Л. С. Выготским.

выражение такой апперцепции, когда субъективному образу приписывается объективное значение.

Грамматические исследования А. А. Потебни — последовательная реализация его психологической (а по сути — психолингвистической) концепции. Исследования по грамматике посвящены семантике языковых единиц и ее эволюции, отражающей развитие человеческого мышления. Части речи — продукт длительного исторического развития, связанный с постепенным изменением сознания. Развитие мышления, как считает ученый, шло параллельно с дифференциацией частей речи. Самой древней частью речи, по мнению А. А. Потебни, было первобытное имя, по способу представления признака похожее на причастие, из которого выделились имя и глагол.

Важное место в грамматических исследованиях А. А. Потебни занимал синтаксис, и это неслучайно, поскольку с помощью синтаксических единиц на уровне связной речи говорящий реализует свою речевую способность. Эволюция типов мышления, по мнению А. А. Потебни, связана с эволюцией типов предложений, проявляющейся в росте предикативности, что обусловлено, как считает ученый, развитием прозаического мышления.

Следуя В. фон Гумбольдту и споря с логиками, А. А. Потебня исследовал в языке не грамматические универсалии, а «дух народа», выраженный в живой речи. А. А. Потебню интересовали различия в языковых картинах мира разных народов; язык для него — индивидуальный способ преобразовать мысль, и у каждого народа, как пишет ученый, «своя преобразовательная машина» [2]. Будучи знатоком славянских языков, А. А. Потебня исследовал семантические противопоставления, связанные с ментальностью славянских народов, психологией, культурными традициями. Интересует его и конкретный говорящий участник речевого акта, будь это ребенок или известный русский поэт.

«...Всякое новое слово есть поэтическое произведение», — пишет А. А. Потебня. И далее: «Обе формы мышления (поэтическая и научная)... постоянно находятся в таком взаимодействии, что первая способствует образованию второй, а вторая, раз образовавшись, усложняет и усложняет образование новых поэтических образов» [2, с. 235].

Многие идеи, высказанные А. А. Потебней, не были поняты его современниками. В конце XX века, когда лингвистика и смежные с ней дисциплины принимают все более антропоцентрический характер, его мысли кажутся удивительно современными.

Литература

1. Потебня А. А. Мысль и язык. — М., 1999.
2. Потебня А. А. Основы поэтики // Вопросы теории и психологии творчества. — Харьков, 1910. — Т. 2. — Вып. 2.

**ПСИХОЛОГИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО
И ПРОЗАИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ***(Извлечения)*

IV

...Зачем человеку слово? Известно, что композиторы могут писать музыку, не играя и не напевая; есть игроки в шахматы, которые играют, не глядя на доску, и даже одновременно ведут несколько партий; но, конечно, помимо особенной способности к тому и другому, в этом случае нужно предположить и продолжительное упражнение: первоначально, чтобы играть в шахматы, нужно иметь перед собой доску, и, чтобы сочинить музыкальный мотив, нужно напевать его. Таким же самым образом для сознательной деятельности мысли нужно иметь перед собой эту мысль как внешний предмет, другими словами, объективировать ее, и тем более это нужно, чем слабее мыслительная сила или, что то же, чем сложнее самая работа мысли. Поэтому можно считать вероятным то наблюдение, что чем первобытнее человек, тем менее возможно для него беззвучное мышление; да и мы сами, если постараемся уловить себя, остановить бессознательное течение нашей мысли, также заметим, что, думая сознательно, а не образами (как во сне), не мечтая, мы в то же время и говорим, хотя и беззвучно.

Итак, слово для самого говорящего есть средство объективировать свою мысль. Это не значит, чтобы слово было средством выражать уже готовую мысль, ибо если бы мысль уже раз была готова, то зачем ее объективировать. Мы бы уже тогда сразу стояли на ступени того шахматиста, который играет, не глядя на доску. Нет, слово есть средство преобразовывать впечатления для создания новой мысли. ... Так как мысль, очевидно, возникает в самом мыслящем лице — хотя и не без влияния на нее других лиц, — то, стало быть, слово и вообще язык нужны прежде всего для самого говорящего. Это положение казалось бы очень простым, но на самом деле только в XIX столетии оно выражено ясно (В. Гумбольдтом) и до сих пор не может считаться популярным, так как есть ученые, которые не видят прямых последствий этой мысли. Как же служит слово для преобразования, так сказать, дословесных элементов мысли? Чтобы ответить на этот вопрос, мы не можем возвращаться к дословесному периоду мысли и говорить о безусловном начале языка — о том, как человек превратился из неговорящего в говорящего. История, как бы широко ее ни понимали, уже застаёт человека говорящим. В ребенке период речи почти незаметно для нас сменяет пери-

од бессловесности, хотя, конечно, на этом поле может быть сделано много наблюдений, и здесь мы могли бы прийти до вероятных заключений и относительно первобытного человечества. Таким образом, можно ответить на предложенный вопрос только на основании наблюдений над тем, что происходит в нас самих, что вносит новое слово в мысль, которая и до того уже пользовалась словом. Чтобы приблизительно судить о том, что могло заключаться в мысли до языка, надо было бы вычестить из наличного состава нашей мысли все, что не дано чувственными восприятиями...

Печатается по изданию: *Потебня А. А.* Психология поэтического и прозаического мышления // Хрестоматия по истории русского языкознания / Под ред. Ф. П. Филина. - М., 1975.

МЫСЛЬ И ЯЗЫК

{Извлечения}

VI

ЯЗЫК ЧУВСТВА И ЯЗЫК МЫСЛИ

...До сих пор, говоря о том, как звук получает значение, мы оставляли в тени важную особенность слова сравнительно с междометием, особенность, которая рождается вместе с пониманием, именно так называемую *внутреннюю форму*. Не трудно вывести из разбора слов какого бы то ни было языка, что слово собственно выражает не всю мысль, принимаемую за его содержание, а только один ее признак. Образ стола может иметь много признаков, но слово *стол* значит только «простланное» (корень — *стл* тот же, что в глаголе *стлать*) и поэтому оно может одинаково обозначать всякие столы независимо от их формы, величины, материала. Под словом *окно* мы разумеем обыкновенно раму со стеклами, тогда как, судя по сходству его со словом *око*, оно значит то, куда смотрят или куда проходит свет, и не заключает в себе никакого намека не только на раму и пр., но даже на понятие отверстия. В слове есть, следовательно, два содержания: одно, которое мы выше называли объективным, а теперь можем назвать ближайшим этимологическим значением слова, всегда заключает в себе только один признак; другое — субъективное содержание, в котором признаков может быть множество. Первое есть знак, символ, заменяющий для нас второе. Можно убедиться на опыте, что, произнося в разговоре слово с ясным этимологическим значением, мы обыкновенно не имеем в мысли ничего, кроме этого значения: *облако*, положим, для нас только

«покрывающее». Первое содержание слова есть та форма, в которой нашему сознанию представляется содержание мысли. Поэтому, если исключить второе, субъективное и, как увидим сейчас, единственное содержание, то в слове останется только звук, т. е. внешняя форма и этимологическое значение, которое тоже есть форма, но только внутренняя. Внутренняя форма слова есть отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль. Этим только можно объяснить, почему в одном и том же языке может быть много слов для обозначения одного и того же предмета, и, наоборот, одно слово совершенно согласно с требованиями языка может обозначать предметы разнородные. Так, мысль о туче представлялась народу под формою одного из своих признаков, именно того, что она вбирает в себя воду или изливает ее из себя, откуда слово *туча* (корень *ту* «пить» и «лить»). <...> Польский язык имел возможность тем же словом *tęcza* (где тот же корень, только с усилением) назвать радугу, которая, по народному представлению, вбирает в себя воду из криницы. Приблизительно так обозначена радуга в слове *радуга* (корень *дуг*, доить, то есть пить и напоять, тот же, что в слове *дождь*); но в малорусском слове *веселка* она названа еще и светящаяся (корень *вас*, светить, откуда *весна* и *веселый*), а еще иначе в малорусском же *красна пани* [1, 91].

IX

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, СУЖДЕНИЕ, ПОНЯТИЕ

Чувственные восприятия представляются наблюдению не одною сплошною массою, а рядом групп; стихии каждой из этих групп порознь находятся между собою в более тесной связи, чем со стихиями других групп. Такое явление не первообразно. Соединение восприятий в отдельные круги есть уже форма, придаваемая душою отдельным восприятиям, и в некотором смысле может быть названо самодеятельностью души, потому что хотя не обнаруживает ее свободы, но столь же зависит от ее собственной природы, сколько от свойства внешних возбуждений. Конечно, слово «самодеятельность» требует здесь некоторого ограничения. Нельзя себе представить таких действий души, которые бы не были вызваны внешними условиями, хотя, с другой стороны, нет и таких, которые бы вполне объяснялись посторонними влияниями. В последнем смысле даже хаотическое состояние восприятий и свойства каждого из них порознь — творчество души; в первом даже самосознание и свобода воли — явления зависимые и несвободные. Однако есть основание видеть более самодеятельности там, где внешние причины не прямо, а только посредством ряда состояний самого существа вызывают такое, а не другое его движение.

Соединение впечатлений в образы, принимаемые нами за предметы, существующие независимо от нас и без нашего участия, — это соединение есть уже дело нашей души, впрочем, не отличающее ее от души животного.

Положим, что зрение в первый раз дает человеку впечатления дерева на голубом поле неба. Небо и дерево составляли бы для него одно разноцветное пространство, один предмет и навсегда остались бы одним предметом, если бы при повторении тех же восприятий не изменялся фон, например, не шаталось дерево от ветру, не завлакивалось небо облаками. Так как все это бывает, то восприятия впечатлений, производимых на глаз деревом, повторяясь каждый раз без заметных изменений или с небольшими, сливаются друг с другом и при воспоминании воспроизводятся всегда разом или в том же порядке, образуют для мысли постоянную величину, один *чувственный образ*, а впечатления неба не сольются таким образом и при воспроизведении будут переменной величиною.

В одно время с впечатлениями зрения могут быть даны впечатления слуха и обоняния, например, я могу, глядя на растение, слышать шум его листьев и чувствовать запах его цветов; но впечатления осязания и вкуса не могут быть вполне одновременны с впечатлением зрения, потому что я, ощупывая предмет, скрываю от глаз обращенную ко мне часть его поверхности и совсем не вижу предмета, который у меня во рту. Самое зрение одновременно представляет нам только то, что разом обхватывается глазом, но вместе с этим глаз и переходит к одной части поверхности, оставляя другую. В таких случаях к одновременности восприятия как основанию ассоциации присоединяется непосредственная последовательность, так, что, например, сначала одновременно получают впечатления точек, составляющих видимую поверхность тела, затем тело осязается, чувствуется его вкус, запах, слышится звук его падения. При этом чувственный образ предмета со многими признаками составит только тогда, когда совокупность этих признаков будет относиться ко всем другим, как в приведенном выше примере выделения комплекса признаков из ряда однородных относятся постоянные впечатления от дерева к переменчивым впечатлениям фона, на котором оно обрисовывается. Противоположность постоянного и изменчивого, образуемая слиянием однородных восприятий, здесь необходима, потому что без нее все восприятия, одновременные и последовательные, составили бы только один ряд, который, пожалуй, можно бы назвать чувственным образом; они постоянно находились бы в том состоянии, в каком, вероятно, находятся в первое время жизни ребенка.

Изолированный ряд восприятий не всегда повторяется в том же порядке, хотя стихии его остаются те же. Сначала, например, можно видеть горящие дрова, потом слышать их треск и чувствовать теплоту или же сначала слышать треск, а потом, уже приблизившись, увидеть пламя и почувствовать теплоту. Это далеко не все равно,

потому что единство чувственного образа зависит не только от тождества составляющих его признаков, но и от легкости, с какою один признак воспроизводится за другим. Если несколько раз дан был ряд признаков одного образа в порядке *a, b, c, d, e*, вслед затем еще раз получится признак *a*, то он легко вызовет в сознании все следующие за ним; но если упомянутый ряд начнется с конца, то признак *e* сам по себе или вовсе не произведет признаков *d, c* проч., или — гораздо медленнее. Слова «Отче наш» напомним нам всю молитву, но слово «лукавого» не заставит нас воспроизводить ее наизусть (от нас, избави и проч.), точно так, как признак *e* не даст нам целого образа *a, b, c, d, e*. Хотя *e* могло повторяться столько же раз, сколько и *a*, но это последнее по своему влиянию на все остальные будто господствует над всем образом. Если бы основания ассоциации, положенные рядом *a, b, c...* (в котором смежные члены *ab, bc* теснее связаны, чем удаленные друг от друга *a e*), при каждом повторении образа заменялись новыми (*bac, cab...*), то, так сказать, господство передних членов, например *a*, над всеми остальными было бы уничтожено, и каждый мог бы с такою же быстротою воспроизводить все остальные. На деле, однако, бывает иначе, и это зависит сколько от того, что при восприятии не исчерпываются все сочетания признаков, столько и от другой причины. В самом кругу изолированного образа при новых восприятиях одни черты выступают ярче от частого повторения, другие остаются в тени. При слове «золото» нам приходит на мысль цвет, а вес, звук могут вовсе не прийти, потому что не всякий раз при виде золота мы взвешивали его и слышали его звук. Образование такого же центра в изолированном кругу восприятий мы можем предположить и до языка. В чем же после этого будет состоять излишек силы творчества человеческой души, создающей язык, сравнительно с силою животного, знающего только нечленораздельные крики или вовсе лишенного голоса? Ответ на это был уже отчасти заключен в предшествующем.

Внутренняя форма есть тоже центр образа, один из его признаков, преобладающий над всеми остальными. Это очевидно во всех словах позднейшего образования с ясно определенным этимологическим значением (*бык* — ревуший, *волк* — режущий, *медведь* — едящий мед, *пчела* — жужжащая и проч.), но не встречается, кажется, противоречия и в словах ономато-поэтических, потому что чувство, вызвавшее звук, есть такая же стихия образа, как устранимый от содержания колорит есть стихия картины. Признак, выраженный словом, легко упрочивает свое преобладание над всеми остальными, потому что воспроизводится при всяком новом восприятии, даже не заключаясь в этом последнем, тогда как из остальных признаков образа многие могут лишь изредка возвращаться в сознание. Но этого мало. Слово с самого своего рождения есть для говорящего средство понимать себя, апперцепировать свои восприятия. Внутренняя форма кроме фактического единства образа дает еще знание

этого единства; она есть не образ предмета, а образ образа, то есть *представление*.

Конечно, знание того, что происходит в душе, и притом такое несовершенное знание, сводящее всю совокупность признаков к одному, может показаться весьма малым преимуществом человека, хотя сравнительно с бессознательным собиранием признаков в один круг это знание есть самодеятельность по преимуществу; но можно думать, что именно только как представление образ получает для человека тот высокий интерес, какого не имеет для животного, и что только представление вызывает дальнейшие, исключительно человеческие преобразования чувственного образа.

Прежде чем говорить о влиянии представления на чувственный образ, следует прибавить еще одну черту к сказанному выше об апперцепции: ее отличие от простой ассоциации, с одной стороны, и слияния — с другой, и ее постоянная двучленность указывают на ее тождество с формой мысли, называемую *суждением*. Апперципируемое и подлежащее объяснению есть субъект суждения, апперципирующее и определяющее — его предикат. Если, исключив ассоциацию и слияние как простейшие явления душевного механизма, назовем апперцепцию, которая кажется уже не страдательным восприятием впечатлений, а самодеятельным их толкованием, — назовем ее первым актом мышления в тесном смысле, то тем самым за основную форму мысли признаем суждение. Впрочем, от такой перемены названий было бы мало проку, если бы она не вела к одному важному свойству слова.

Представление есть известное содержание нашей мысли, но оно имеет значение не само по себе, а только как форма, в какой чувственный образ входит в сознание; оно — только указание на этот образ и вне связи с ним, то есть вне суждения, не имеет смысла. Но представление возможно только в слове, а потому слово независимо от своего сочетания с другими, взятое отдельно в живой речи, есть выражение суждения, двучленная величина, состоящая из образа и его представления. Если, например, при восприятии движения воздуха человек скажет: «Ветер!» — то это одно слово может быть объяснено целым предложением: это (чувственное восприятие ветра) есть то (то есть тот прежний чувственный образ), что мне представляется веющим (представление прежнего чувственного образа). Новое апперципируемое восприятие будет субъектом, а представление, которое одно только выражается словом, будет заменой действительного предиката. При понимании говорящего значение членов суждения переменится: услышанное от другого слово *бу* вызовет в сознании воспоминание о таком же звуке, который прежде издавался самим слушающим, а через этот звук — его внутреннюю форму, то есть представление, и, наконец, самый чувственный образ быка. Представление останется здесь предикатом только тогда, когда слушающий сам повторит только что услышанное слово. Впрочем, такое повторение

неизбежно в малоразвитом человеке. «Человеку, — говорит Гумбольдт, — врождено высказывать только что услышанное», и, без сомнения, молчать, понимая, труднее, чем давать вольный выход движению своей мысли. Так, дети и вообще малограмотные люди не могут читать про себя: им нужно слышать результат своей умственной работы, будет ли она состоять в простом переложении письменных знаков в звуки или же и в понимании читанного. Непосредственно истинным и действительным на первых порах кажется человеку только осязаемое чувствами, и слово имеет для него всю прелесть дела.

Дитя сначала говорит только отрывистыми словами, и каждое из этих слов, близких к междометиям, указывает на совершившийся в нем процесс апперцепции, на то, что оно или признает новое восприятие за одно с прежним, узнает знакомый предмет (ляля! мама!) или сознает в слове образ желаемого предмета (папа, то есть хлеба). И взрослые говорят отдельными словами, когда поражены новыми впечатлениями, вообще когда руководятся чувством и неспособны к более продолжительному самонаблюдению, какое предполагается связною речью. Отсюда можно заключить, что для первобытного человека весь язык состоял из предложений с выраженным в слове одним только *сказуемым*. Опасно, однако, упускать из виду мысль Гумбольдта, что не следует приурочивать термины ближайших к нам и наиболее развитых языков (например, *сказуемое*) к языкам, далеким от нашего по своему строению. Мысль эта покажется пошлюю тому, кто сравнит ее с советом не делать анахронизмов в истории, но поразит своей глубиной того, кто знает, как много еще теперь (не говоря уже о 20-х годах) филологов-специалистов, которые не могут понять, как может быть язык без глагола. Говорят обыкновенно, что «первое слово есть уже предложение». Это справедливо в том смысле, что первое слово имело уже смысл, что оно не могло существовать в живой речи в том виде, составляющем уже результат научного анализа, в каком встречается в словаре; но совершенно ошибочно думать, что предложение сразу явилось таким, каково в наших языках.

Язык есть средство понимать самого себя. Понимать себя можно в разной мере; чего я в себе не замечаю, то для меня не существует и, конечно, не будет мною выражено в слове. Поэтому никто не имеет права влагать в язык народа того, чего сам этот народ в своем языке не находит. Для нас предложение немислимо без подлежащего и сказуемого; определяемое с определительным, дополняемое с дополнительным не составляют для нас предложения. Но подлежащее может быть только в именительном падеже, а сказуемое невозможно без глагола; мы можем не выражать этого глагола, но мы чувствуем его присутствие, мы различаем сказательное (предикативное) отношение («бумага бела») от определительного («белая бумага»). Если б мы не различали частей речи, то тем самым мы бы не находили разницы между отношениями подлежащего и сказуемого, определяемого и определения, дополняемого и дополнения, то есть

предложения для нас бы не существовало. Очевидно, дитя и первобытный человек не могут иметь в своем языке предложения уже потому, что не знают ни падежей, ни лиц глагола, что говорят только отдельными словами. Но эти слова, сказал Беккер, — глаголы, сказуемые, существенная часть предложения. Это не верно: «цаца!» «ляля!» «папа!» — названия не действий, а предметов, узнаваемых ребенком; в этих словах может слышаться требование, и в таком случае они скорее могли бы быть переведены нашими дополнительными.

... Первобытное слово представляло только возможность позднейшего развития известного рода значений и грамматических категорий. ... Как зерно растения не есть ни лист, ни цвет, ни плод, ни все это взятое вместе, так слово вначале лишено еще всяких формальных определений и не есть ни существительное, ни прилагательное, ни глагол.

.. Мы оставим в стороне вопрос об образовании грамматических категорий, входящий в область истории отдельных языков, и ограничимся немногими замечаниями о свойствах слова, которые предполагаются всяким языком и должны служить дополнением к сказанному выше о слове как средстве сознания единства образа.

Уже в прошлом столетии замечено было, что слово имеет ближайшее отношение к обобщению чувственных восприятий и что в бессловесности животных следует искать объяснения, почему им недоступны ни общие идеи (во французском, самом общем смысле этого слова), ни зависимость от них усовершенствованность человека. Впрочем, и тогда и теперь весьма многими значение языка для развития мысли понимается очень неудовлетворительно, например таким образом: «язык служит пособием при отвлечении, потому что он обозначает только отвлеченное и должен обозначать только это; в противном случае он был бы бесполезен, так как число слов было бы не меньше числа восприятий». Слово принимается здесь как знак готовой мысли, а не как ее орган, не как средство добывать ее из рудников своей души и придавать ей высшую цену. Без ответа остаются также вопросы: составляет ли отвлеченное исключительную принадлежность человека, и если нет, то какой особенный смысл придает слово человеческому отвлечению?

Образование в душе восприятий, преобладающих над другими, и связанное с этим бессознательное объединение чувственного образа всегда предполагает устранение из сознания значительного числа впечатлений, которые мы назвали фоном чувственного образа, и есть первообраз позднейшего процесса отвлечения или абстракции. Не трудно найти доказательства, что чувственный образ, на котором мы сосредоточились, который мы выделили из всего прочего, включает в себе далеко не все черты, переданные нам чувствами, точно так как портрет отсутствующего лица, написанный по одному воспоминанию, изображает далеко не все особенности лица, действовавшие некогда на глаз и бывшие в сознании живописца. Бессознательное слияние нескольких образов, полученных в разное время, в

один было бы совершенно невозможно, если бы эти образы, всегда сложные, удерживались душою в одинаковой полноте, а не постоянно разлагались посредством отпадения отдельных частей, не связанных для нас известными отношениями. Это слияние, встречающееся тем меньше препятствий, чем меньше особенностей образов удержалось в памяти, есть уже обобщение. Совокупность мыслимого мною во время и после такого слияния, даже без моего ведома, относится уже не к одному предмету, а к нескольким и тем самым превращается в более-менее неопределенную схему предметов. Подобные схемы необходимо предположить в животном, многие действия коего не могут быть объяснены одними физиологическими побуждениями. Собака лает на нищего и не лает на человека, одетого, как ее господин, например в студенческое платье; не обнаруживает ли она этим, что в ней составилось две схемы людей, различно одетых, — схемы, не заключающие в себе частных отличий, и что новые впечатления, относясь то к одной, то к другой из этих схем, лишаются на время своих особенностей, которые, однако, по всей вероятности, остаются в душе? Если животное узнает привычную пищу, избегает знакомой опасности, если оно вообще способно не только руководиться указаниями инстинкта, но и пользоваться своею опытностью, в чем не может быть сомнения, то это дается ему только способностью обобщать чувственные данные. Минуя слово «обобщение», с которым многие не без основания соединяют мысль об исключительно человеческой деятельности души, мы можем выразить это и таким образом: то, что мы обозначаем отрицательно отсутствием способности целиком и без изменений удерживать сложившиеся в душе сочетания восприятий, есть положительное свойство души, необходимое в экономии и человеческой и животной жизни.

Умственная жизнь человека до появления в нем самосознания нам так же темна, как и душевная жизнь животного, и потому мы всегда принуждены будем ограничиться только догадками о несомненно существующих родовых различиях между первоначальными обнаружениями этой жизни в человеке и в животном. Но несомненно, что, в то время как животное не идет далее смутных очерков чувственного образа, для человека эти очерки служат только основанием, исходною точкою дальнейшего творчества, в бесчисленных произведениях коего, например в понятиях бога, судьбы, случая, закона и проч., только научный анализ может открыть следы чувственных восприятий. Понятно, что в человеке есть сила, заставляющая его особенным, ему только свойственным образом видоизменять впечатления природы; легко также принять, что точка, на которой становится заметною человечность этой силы, на которой обобщение получает неживотный характер, есть появление языка; но что же именно прибавляет слово к чувственной схеме? Что бы оно ни прибавляло, это нечто должно быть существенным условием позднейшего совершенствования мысли, иначе сам язык будет не нужен.

Выше мы назвали слово средством сознания единства чувственного образа; здесь мы прибавим только, что слово есть в то же время и средство сознания общности образа. Здесь, как и в других случаях, сознанию того, что уже существует, можем приписать могущество пересоздавать это существующее, но не создавать его, не творить из ничего. Человек не изобрел бы движения, если б оно не было без его ведома дано ему природой, не построил бы жилья, если б не нашел его готовым под сенью дерева или в пещере, не сложил бы песни, поэмы, если б каждое его слово не было, как увидим ниже, поэтическим произведением; точно так слово не дало бы общности, если б ее не было до слова. Тем не менее есть огромное расстояние между произвольным движением и балетом, лесом и колоннадою храма, словом и эпосею, равно как и между общностью образа до слова и отвлеченностью мысли, достигаемую посредством языка.

Нам кажется верным, что если неговорящее дитя узнает свою мать и радостно тянется к ней, то оно имеет уже, так сказать, отвлеченный ее образ, то есть такой, который хотя и относится к одному предмету, но не заключает в себе несходных черт, данных в разновременных восприятиях этого предмета (например, мать могла быть в разное время в разных платьях, могла стоять, ходить, сидеть, когда смотрел на нее ребенок). Присоединим к этому слово. Дитя разные восприятия матери называет одним и тем же словом *мама*; восприятия одной и той же собаки, но в разных положениях, и разных собак, различных по шерсти, величине, формам, вызывают в нем одно и то же слово — положим, *цюця*.

Новые апперципируемые восприятия будут переменчивыми субъектами, коих предикат остается настолько неизменным, что постоянно выражается одним и тем же словом. Ребенок рано или поздно заметит, что среди волнения входящих в его сознание восприятий, из коих каждая группа или лишена известных стихий, находящихся в другой, или имеет в себе такие, каких не заключает в себе другая, остается неподвижным только звук и соединенное с ним представление, и что между тем слово относится одинаково ко всем однородным восприятиям. Таким образом, полагается начало созданию категории субстанций, вещи самой по себе, и делается шаг к познанию истины. Действительное знание для человека есть только знание сущности: разнообразные признаки *a*, *b*, *c*, *d*, замечаемые в предмете, не составляют самого предмета *A* ни взятые порознь (потому что, очевидно, цвет шерсти собаки и проч. не есть еще собака), ни в своей совокупности, во-первых, потому, что эта совокупность есть сумма, множественность, а предмет есть для нас всегда единство; во-вторых, потому, что *A*, как предмет, должно для нас заключать в себе не только сумму известных нам признаков $a + b + c$, но и возможность неизвестных $x + y...$ должно быть чем-то отличным от своих признаков и между тем объединяющим их и условливающим их существование. В слове как представлении единства и общности

образа, как замене случайных и изменчивых сочетаний, составляющих образ, постоянным представлением (которое, припомним, в первобытном слове не есть ни действие, ни качество), человек впервые приходит к сознанию бытия темного зерна предмета, к знанию действительного предмета.

При этом следует помнить, что, конечно, такое знание не есть истина, но указывает на существование истины где-то вдали и что вообще человека характеризует не знание истины, а стремление, любовь к ней, убеждение в ее бытии.

Апперципируя в слове восприятие, вновь появившееся в сознании, и произнося только одно слово, имеющее значение предиката, человек уничтожает первоначальное безразличие членов апперцепции, особым образом оттеняет важнейший из этих членов, именно предикат, делая его вторично предметом своей мысли.

Чтобы видеть, чего недостает такому неполному господству языка, в чем несовершенство мысли, которая высказывается только отрывистым словом, довольно сравнить такое единичное живое слово с сочетанием слов. «Цюця!» значит: вновь входящий в мое сознание образ есть для меня та сущность, которую я таким-то образом (посредством такой-то внутренней формы) представляю в слове *цюця*; предмет сам по себе еще не отделен здесь от своих свойств и действий, потому что эти последние заключаются и в новом восприятии и в апперципирующем его образе. Не то уже в сложном предложении первобытного языка, соответствующем нашему «собака лает»; здесь не только в слове сознана сущность собаки, но и явственно выделен один из признаков, темною массой облекающих эту сущность. Если отдельное слово в речи есть представление, то сочетание двух слов можно бы, следуя Штейнталю, назвать представлением представления...; если одинокое представление было первым актом разложения чувственного образа, то фраза из двух слов будет вторым, построенным уже на первом. Это можно видеть из того, что атрибут, созданный посредством слова, в свою очередь получает субстанциальность и может стать средоточием круга атрибутов, так что, например, только тогда, когда со словом, объединяющим весь круг признаков образа собаки, соединится другое слово, обозначающее только один из этих признаков (собака *лает*), только тогда и в самом признаке *лая* могут открыться свои признаки. Но каким образом слово из предиката становится субъектом, из обозначения всей совокупности признаков посредством одного — обозначением одного только признака? На это не находим у Штейнталю удовлетворительного ответа. Он говорит только, что наступает пора, когда-слово, бывшее до того предикатом, «становится субъектом изменчивых признаков, которые получают силу предикатов. Только тогда слово (как субъект) получает значение субстанции предмета, и предмет отделяется от своих деятельностей и свойств. Тогда и восприятия этих изменчивых свойств и деятельностей возбуждают интерес детской

души и рефлектируются в звуках»... Он говорит вслед за тем, что первобытный человек *создает* такие звуки; но это невозможно: по его собственной теории, как мы ее понимаем, слово может быть первоначально только полным безразличием деятельности и качества, с одной, и предмета, с другой стороны, но никак не обозначением качества или действия самих по себе; не может быть прямого перехода от такой простой апперцепции, как, например («это», то есть новое восприятие «есть»), «мама!», к такой, где «мама» есть уже субъект предиката, означающего отвлеченное действие или качество. Нам, стоящим на степени развития своего языка, весьма трудно, говоря о далеком прошедшем, отделаться от того, что внесено в нашу мысль этим языком. Если даже из сказуемого «идет» отделим все формальные определения, делающие из него третье лицо глагола настоящего времени, и оставим одно, только коренное и, той тогда нам будет казаться, что это *и* не обнаруживает особенного сродства ни с одним кругом восприятий и безразлично указывает на свойство или действие, которое может одинаково встретиться во всяком из них, что поэтому уже при самом своем рождении оно было результатом слияния восприятий движения, взятых из разных чувственных образов. Это так кажется потому, что к самому началу языка мы относим ту всестороннюю связь языка между его корнями, которая на деле может быть только следствием продолжительных усилий мысли. Можно, однако, если не ошибаемся, сделать некоторые поправки в этом взгляде и указать приблизительно на то значение, какое имело первоначальное соединение двух слов.

Обыкновенно отличают суждения аналитические от синтетических. В первых предикат есть только явственное повторение момента, скрытого в субъекте, так что все суждение представляется разложением одной мысленной единицы, например «вода бежит», «золото желто», то есть вода + течение, золото + желтизна даны уже в неразрешенном в суждении чувственном образе воды, золота; во вторых предикат по отношению к субъекту есть нечто новое, немислимое непосредственно в этом последнем, но связанное с ним посредством рядом мыслей, например «сумма углов в треугольнике равна двум прямым» или «часы похожи на людей» (где между соединяемыми членами часы + сходство с людьми есть среднее, например, и часы и люди летом ходят медленнее, чем зимою). Не думая изглаживать разницу между этими суждениями, можно заметить, что даже в строго синтетических суждениях, в коих соединение членов есть следствие умозаключения, можно видеть разложение одного круга мыслей, потому что должна же в самом субъекте заключаться причина, почему он требует именно такого предиката, и, наоборот, предикат должен указывать на необходимость соединения с тем, а не другим субъектом. Если прибавим к этому, что синтетическое суждение, как предполагающее более усилий ума, должно появиться позже, что должно было быть время исключительно-

го господства аналитических суждений из непосредственно чувственного восприятия, то согласимся, что вообще «предложения и суждения не сложены из двух представлений или понятий, но чувственный образ — следовательно, единство — есть первое, а суждение есть уже разложение этого единства»... Однако с точки зрения языка нужно прибавить, что такое разложение чувственного образа может осуществиться только посредством соединения его с другою подобною единицею, так что в суждении, насколько оно выражено сочетанием не менее двух слов, можно видеть не только разложение единицы, но и появление единства из двойственности. Отношение этого к вопросу о первоначальном значении предложения поясним немногими примерами. Предположим, что слово *вода* есть привычное сказуемое для входящих в сознание и требующих апперцепции чувственных восприятий воды, — сказуемое, которое не означает еще исключительно предмета, но представляет сознанию весь чувственный образ воды посредством признака *течь* (ср. латинское *id-us* — мокрый, влажный, греческое γ8-ор и русское собственное имя реки Уды). Последовательно будет принять, что и наши слова *светить*, *светлый*, очищенные от формальных частиц и возведенные к первобытной форме, означали определенный образ как безразличную совокупность субстанции и атрибутов посредством признака *светить*. В первообразе предложения «вод(а) свет(ла)» составные части еще не теряют свойств, принадлежавших им, когда они употреблялись только порознь. Если в новом восприятии воды глаз поражен ее прозрачностью или отражением в ней солнечного света, то это восприятие сначала все же апперципируется словом *вода* (причем произойдет суждение, соответствующее нашему: «(это) вода!»), но вслед за тем вызовет в сознании совершенно другой образ и вторично апперципируется связанным с этим последним словом свет(ла). Обозначивши новое восприятие через *x*, первое входящее в сознание слово через *a*, второе через *b*, можем выразить весь процесс таким образом: $x = a = b$; но *x* не выражается словом и не сознается, а потому для сознания остается только *a — b*. Смысл предложения будет: представляемое мною в слове *вода* действует на меня так или есть для меня то, что представляемое мною в слове *свет(ла)*. Точно так слово *зеленый* в старину не только имело менее определенное значение, чем то, какое мы придаем ему теперь, не только означало светлый цвет вообще, но и, без сомнения, явственно обнаруживало связь с определенным чувственным образом светлого предмета, хотя нельзя сказать, с каким именно. Чувственный образ звука, цвета есть сам в себе противоречие, потому что мы видим не один цвет, а цветной предмет, и даже звук, которого действительный источник может от нас скрываться, мы приурочиваем к тому предмету, со стороны коего он слышен. Названия некоторых цветов еще и теперь явственно указывают на чувственные образы, из коих они выделены: как *голубой* есть цвет *голубя*, *соловой* — соловья,

польское *niebieski* — цвет *неба*, так и *зеленый* сначала мыслился не отдельно, как качество, а в чувственном образе, который обнимал предмет, действие и качество и обозначался, положим, словом *гар* или *гр* (ср. малорусское *грянный, зеленый*, и обычный переход *г* в *з*, *р* в *л*). Когда слово это соединилось со словом *трава* (внутренняя форма коего, видная в корне *тру(ти)*, есть, жрать, откуда *о-тру-та* и *о-трав-а*), то тем самым сознавалось и отношение двух до того раздельных чувственных образов, и предложение «трава зелена» значило: «то, что я представляю *снедью*, значит для меня то, что я представляю *светлым*». Мы не можем себе представить первоначального предложения иначе как в виде явственного для говорящего сравнения двух самостоятельно сложившихся чувственных образов, и по этому поводу напомним сделанное выше определение слова вообще как средства апперцепции или, что то же, средства сравнения. В языке нет собственных выражений, и чем более точному анализу подвергнем мы слово, тем более сходства обнаружит оно с символическими выражениями позднейшей народной поэзии, с тою, конечно, разницею, что последние в общей массе будут гораздо сложнее и отвлеченнее первобытных искомым речений.

Согласившись видеть сравнения в первобытных предложениях, вместе с тем мы должны будем принять их несовершенство и недостаточность для целой мысли. Как бы ни было прекрасно сравнение, но оно заставляет нас думать о многом, что вовсе не составляет необходимой принадлежности мыслимого субъекта, оно нас развлекает или, лучше сказать, само есть отсутствие той сосредоточенности, без которой нет строгого мышления. Положим, что сравнение старых супругов с двумя пнями без отпрысков (сербская «Као два одејена паша») говорит нам о сиротстве, бездетности; но этот предикат непосредственно присоединяется к субъекту и заставляет нас перейти от человека к дереву, жизнь которого, в сущности, совершенно отлична от человеческой, присоединяет к мысли о бездетной старости человека много такого, что, с нашей точки зрения, не должно бы заключаться в этой мысли. То же следует сказать о первоначальном значении предложений «вода светла», «травазелена»: они еще слишком напоминали случайную ассоциацию восприятий, хотя уже не были ею в действительности. Ответ на возникающий отсюда вопрос о средствах, какими мысль достигает той степени отвлеченности, которая дает нам возможность принимать сравнения за собственные выражения и непосредственно, не думая о постороннем, находить в субъекте известные признаки, — ответ на это найдется, если сообразим следующее. Сказуемое в предложении «трава зелена», рассматриваемое отдельно от подлежащего, есть для нас не цвет известного предмета, а зеленый цвет вообще, потому что мы *забыли* и внутреннюю форму этого слова и тот определенный круг признаков (образ), который доводился ею до сознания; точно так и подлежащее *трава* дает нам возможность без всяких фигур присоеди-

нить к нему известное сказуемое, потому что для нас это слово обозначает не «служашее в пищу», а траву вообще как субстанцию, готовую принять всякий атрибут. Такое *забвение* внутренней формы может быть удовлетворительно выведено из многократного повторения процесса соединения слов в двучленные единицы. Чем с большим количеством различных подлежащих соединялось сказуемое *зеленый*, тем более терялись в массе других признаки образа, первоначально с ним связанного. Способность забвения и здесь, как при объединении чувственного образа до появления слова, является средством оттенить и выдвинуть вперед известные черты восприятий. Но оставляемое таким образом в тени не пропадает даром, потому что, с другой стороны, чем больше различных сказуемых перебывало при слове *трава*, тем на большее количество суждений разложился до того нераздельный образ травы. Субстанция травы, очищаясь от всего постороннего, вместе с тем обогащается атрибутами.

Всякое суждение есть акт апперцепции, толкования, познания, так что совокупность суждений, на которые разложился чувственный образ, можем назвать аналитическим познанием образа. Такая совокупность есть *понятие*.

Потому же, почему разложение чувственного образа невозможно без слова, необходимо принять и необходимость слова для понятия. Мы еще раз приведем относящееся сюда место Гумбольдта, где теперь легко будет заметить важную черту, дополняющую только что сказанное о понятии. «Интеллектуальная деятельность, вполне духовная и внутренняя, проходящая некоторым образом бесследно, в звуке речи становится чем-то внешним и осязаемым для слуха... Она (эта деятельность) и сама по себе (независимо от принимаемого здесь Гумбольдтом тождества с языком) заключает в себе необходимость соединения со звуком: без этого *мысль не может достигнуть ясности, представление* (то есть по принятой нами терминологии чувственный образ) *не может стать понятием*»... Здесь признается тождественность *ясности* мысли и *понятия*, и это верно, потому что образ как безыменный конгломерат отдельных актов души не существует для самосознания и *уясняется* только по мере того, как мы раздробляем его, превращая посредством слова в суждения, совокупность коих составляет понятие. Значение слова при этом обуславливается его чувственностью. В ряду суждений, развивающемся из образа, последующие возможны только тогда, когда предшествующие объективированы в слове. Так, шахматному игроку нужно видеть перед собою доску с расположенными на ней фигурами, чтобы делать ходы, сообразные с положением игры; как для него сначала смутный и шаткий план уясняется по мере своего осуществления, так для мыслящего — мысль, по мере того как выступает ее пластическая сторона в слове и вместе как разматывается ее клубок. Можно играть и не глядя на доску, причем непосредственное чувственное восприятие доски и шашек заменяется воспо-

минанием; явление это только потому принадлежит к довольно редким, что такое крайне специализированное мышление, как шахматная игра, лишь для немногих есть дело жизни. Подобным образом можно думать без слов, ограничиваясь только более-менее явственными указаниями на них или же прямо на самое содержание мыслимого, и такое мышление встречается гораздо чаще (например, в науках, отчасти заменяющих слова формулами) именно вследствие своей большей важности и связи со многими сторонами человеческой жизни. Не следует, однако, забывать, что уметь думать по-человечески, но без слов дается только словом и что глухонемой без говорящих или выученных говорящими учителями век оставался бы почти животным.

С ясностью мысли, характеризующей понятие, связано другое его свойство, именно то, что только понятие (а вместе с тем и слово как необходимое его условие) вносит идею законности, необходимости, порядка в тот мир, которым человек окружает себя и который ему суждено принимать за действительный. Если уже, говоря о человеческой чувственности, мы видели в ней стремление, объективно оценивая восприятия, искать в них самих внутренней законности, строить из них систему, в которой отношения членов столь же необходимы, как и члены сами по себе, то это было только признанием невозможности иначе отличить эту чувственность от чувственности животных. На деле упомянутое стремление становится заметным только в слове и развивается в понятии. До сих пор форму влияния предшествующих мыслей на последующие мы одинаково могли называть суждением, апперцепцией, связывала ли эта последняя образы или представления и понятия; но, принимая бытие познания, исключительно свойственного человеку, мы тем самым отличали известный род апперцепции от простого отнесения нового восприятия к сложившейся прежде схеме. Здесь только яснее скажем, что собственно человеческая апперцепция — суждение, представления и понятия — отличается от животной тем, что рождает мысль о необходимости соединения своих членов. Эта необходимость податлива: пред лицом всякого нового сочетания, уничтожающего прежние, эти последние являются заблуждением; но и то, что признано нами за ошибку, в свое время имело характер необходимости, да и самое понятие о заблуждении возможно только в душе, которой доступна его противоположность. Когда Филипп сказал Нафанаилу: «Мы нашли Того, о Ком писал Моисей в Законе, .. Иисуса, сына Иосифова, из Назарета», и, когда Нафанаил отвечал ему: «Может ли что путное быть из Назарета», он, как сам потом увидел, ошибался; но очень неполное понятие о человеке родом из Назарета было *для него* готовою нормою, с которою необходимо должно было сообразоваться все, что будет отнесено к ней впоследствии. Такие примеры на каждом шагу в жизни. Не останавливаясь на таких однородных с упомянутым случаях, как употребление руководящих нашим мнением понятий кацапа, хохла, цыгана, жида, Собакевича, Манилова, мы заметим, что и там, где нет

клички, нет ни явственной похвалы, ни порицания, *общее* служит, однако, законом *частному*. Если известная пословица «Курица не птица, прапорщик не офицер» предполагает знание, какова *должна быть* настоящая птица, настоящий офицер, то определяющее понятие или слово в простом утверждении «это — птица» или «птица!» должно тоже содержать в себе закон объясняемого, хотя в выражении «птица», в котором один член апперцепции — еще чувственное восприятие, не получившее обделки, необходимой для дальнейших успехов мысли, этот закон — еще только в зародыше. Таким законодательным схемам подчиняет человек и все свои действия.

Произвол, собственно говоря, возможен только на деле, а не в мысли, не на словах, которыми человек объясняет свои побуждения. Самодур, врасплох принужденный к ответу, на чем он основывает свою дурь, скажет: «Я так хочу», отвергая всякую меру своих действий, сошлется, однако, на свое я как на закон. Но он сам не доволен своим ответом и сделал его только потому, что не нашел другого. Кажется трудным представить себе «*sic volo*», сказанное не в шутку, но без гнева. В недалеком от него, но более спокойном «такой уж у меня нор» слышится извинение и более явственное сознание необходимости, с какою из известных нравственных качеств вытекают те, а не другие действия. Чаще произвол ищет оправдания вне себя, в мысли, что «на том свет стоит» и т. п., причем ясно выступает сознание закона отдельных явлений. Как сами себя осуждаем за «*sic volo*», так вчуже то, для чего не можем приискать закона, что «ни рак, ни рыба», тем самым становится для нас достойным порицания.

Из сказанного можно видеть, чего мы не предполагаем в соответствующих человеческим формам душевной деятельности животных. Если собака обнаруживает радость при стуке тарелок или если отогнанная гуртовщиком скотина ревет, не встречая знакомых предметов, если птица с криком кружится над разоренным гнездом, то в первом случае произошло нечто вроде положительного суждения (новое восприятие *есть* сумма прежних, то есть сливается с ними), в двух других — нечто вроде суждения отрицательного (новое не есть прежнее, то есть не сливается со входящим в сознание прежним). Но нигде нет внутреннего единства между членами сочетания, потому что нигде один член не является законом, который бы управлял другим. Внутреннее единство, противоположное механичности сочетания, тождественно для нас с сознанием необходимости или случайности. Это единство сводится на отношение между предметом и его признаком, субстанцией и атрибутом или акциденцией. В животном мы потому же отрицаем сознание необходимости, почему не приписываем ему вообще способности критически относиться к механическому течению своих восприятий, почему не предполагаем в нем разложения чувственных данных на предметы и признаки...

Слово не есть, как и следует из предыдущего, внешняя прибавка к готовой уже в человеческой душе идее необходимости. Оно есть

вытекающее из глубины человеческой природы средство создавать эту идею, потому что только посредством него происходит и разложение мысли. Как в слове впервые человек сознает свою мысль, так в нем же прежде всего он видит ту законность, которую потом переносит на мир. Мысль, вскормленная словом, начинает относиться непосредственно к самим понятиям, в них находит искомое знание, на слово же начинает смотреть как на посторонний и произвольный знак и предоставляет специальной науке искать необходимости в целом здании языка и в каждом отдельном его камне.

Столь же важную роль играет слово и относительно другого свойства мысли, нераздельного с предшествующим, именно относительно стремления всему назначать свое место в системе. Как необходимость достигает своего развития в понятии и науке, исключаящей из себя все случайное, так и наклонность систематизировать удовлетворяется наукою, в которую не входит бессвязное. Путь науке уготовляется словом. «Нередко, — говорит Аотце, — кажется, будто мы не вполне знаем известный предмет, свойства коего мы исследовали со всех сторон, полный образ коего мы уже составили, если не знаем его имени. По-видимому, только звук слова мгновенно рассеивает эту тьму, хотя этот звук ничего не прибавляет к содержанию, хотя далеко не всегда слово объясняет предмет указанием его места в ряду других или в объеме высшего понятия» (сочетания вроде наших: *трость — дерево, кит — рыба, немецкое Wallfisch, Rennthir — довольно редки*). «Ботанизирующей молодежи доставляет удовольствие узнавать латинские названия растений», или, чтобы взять более знакомый нам пример, мы заботливо узнаем у ямщика имя встречной деревушки, хотя что же нам дает, по-видимому, собственное имя? «Нам мало восприятия предмета; чтобы иметь право на бытие, этот предмет должен быть частью расчлененной системы, которая имеет значение сама по себе, независимо от нашего знания. Если мы не в силах действительно определить место, занимаемое известным явлением в целом природы, то довольствуемся одним именем. Имя свидетельствует нам, что внимание многих других покоилось уже на встреченном нами предмете; оно ручается нам за то, что общий разум... по крайней мере, пытался уже и этому предмету назначить определенное место в единстве более обширного целого. Если имя и не дает ничего нового, никаких частных предметов, то оно удовлетворяет человеческому стремлению постигать объективное значение вещей, оно представляет незнакомое нам чем-то не безызвестным общему мышлению человечества, но давно уже постановленным на свое место. Потому-то произвольно данное нами имя не есть имя; недостаточно назвать вещь как попало: она действительно должна так называться, как мы ее зовем; имя должно быть свидетельством, что вещь принята в мир общепризнанного и познанного и, как прочное определение вещи, должно ненарушимо противостоять личному произволу»... Все выписанное здесь кажется

вполне справедливым и напоминает мысль Гумбольдта: «Sprechen heisst sein besonderes Denken an das allgemeine anknüpfen» — говорить — значит связывать свою личную узкую мысль с мышлением своего племени, народа, человечества. Нам остается только прибавить, что только в ту пору, когда человеку стала более-менее доступна научная система понятий, слово на самом деле вносит в мысль весьма мало; первоначально же оно действительно дает новое содержание, указывая на отношения мыслимой единицы к ряду других. В этом можно убедиться, например, из всякого разумного, основанного на языке, мифологического исследования. В известные периоды живость внутренней формы дает мысли возможность проникать в прозрачную глубину языка; слово, обозначающее, положим, старость человека, своим сродством со словами для дерева указывает на миф о происхождении людей из деревьев, по-своему связывает человека и природу, вводит, следовательно, мыслимое при слове *старость* в систему своеобразную, не соответствующую научной, но предполагаемую ею.

Указанные до сих пор отношения понятия к слову сводятся к следующему: слово есть средство образования понятия, и притом не внешнее, не такое, каковы изобретенные человеком средства писать, рубить дрова и проч., а внутреннее самую природу человека и незаменимое; характеризующая понятие ясность (раздельность признаков), отношение субстанции к атрибуту, необходимость в их соединении, стремление понятия занять место в системе — все это первоначально достигается в слове и прообразуется им так, как рука прообразует всевозможные машины. С этой стороны слово сходно с понятием, но здесь же видно и различие того и другого.

Понятие, рассматриваемое психологически, то есть не с одной только стороны своего содержания, как в логике, но и со стороны формы своего появления в действительности, одним словом — как деятельность, есть известное количество суждений, следовательно, не один акт мысли, а целый ряд их. Логическое понятие, то есть одновременная совокупность признаков, отличённая от агрегата признаков в образе, есть фикция, впрочем, совершенно необходимая для науки. Несмотря на свою длительность, психологическое понятие имеет внутреннее единство. В некотором смысле оно заимствует это единство от чувственного образа, потому что, конечно, если бы, например, образ дерева не отделился от всего постороннего, которое воспринималось вместе с ним, то и разложение его на суждения с общим субъектом было бы невозможно; но как о единстве образа мы знаем только через представление и слово, так и ряд суждений о предмете связывается для нас тем же словом. Слово может, следовательно, одинаково выражать и чувственный образ и понятие. Впрочем, человек, некоторое время пользовавшийся словом, разве только в очень редких случаях будет разуместь под ним чувственный образ, обыкновенно же думает при нем ряд отношений: легко предста-

вить себе, что слово *солнце* может возбуждать одно только воспоминание о светлом солнечном круге; но не только астронома, а и ребенка или дикаря оно заставляет мыслить ряд сравнений солнца с другими приметами, то есть понятие, более или менее совершенное, смотря по развитию мыслящего, — например, солнце меньше (или же многим больше) земли; оно колесо (или имеет сферическую форму); оно благодетельное или опасное для человека божество (или безжизненная материя, вполне подчиненная механическим законам) и т.д. Мысль наша по содержанию есть или образ, или понятие; третьего, среднего между тем и другим, нет; но на пояснении слова понятием или образом мы останавливаемся только тогда, когда особенно им заинтересованы, обыкновенно же ограничиваемся одним только словом. Поэтому мысль со стороны формы, в какой она входит в сознание, может быть не только образом или понятием, но и представлением или словом. Отсюда ясно отношение слова к понятию. Слово, будучи средством развития мысли, изменения образа в понятие, само не составляет ее содержания. Если помнится центральный признак образа, выражаемый словом, то он, как мы уже сказали, имеет значение не сам по себе, а как знак, символ известного содержания; если вместе с образованием понятия теряется внутренняя форма, как в большей части наших слов, принимаемых за коренные, то слово становится чистым указанием на мысль, между его звуком и содержанием не остается для сознания говорящего ничего среднего. Представлять значит, следовательно, думать сложными рядами мыслей, не вводя почти ничего из этих рядов в сознание. С этой стороны значение слова для душевной жизни может быть сравнено с важностью буквенного обозначения численных величин в математике или со значением различных средств, заменяющих непосредственно ценные предметы (например, денег, векселей), для торговли. Если сравнить создание мысли с приготовлением ткани, то слово будет ткацкий челнок, разом проводящий уток в ряд нитей основы и заменяющий медленное плетенье... Поэтому несправедливо было бы упрекать язык в том, что он замедляет течение нашей мысли. Нет сомнения, что те действия нашей мысли, которые в мгновение своего совершения не нуждаются в непосредственном пособии языка, происходят очень быстро. В обстоятельствах, требующих немедленного соображения и действия, например при неожиданном вопросе, когда многое зависит от того, каков будет наш ответ, человек до ответа в одно почти неделимое мгновение может без слов передумать весьма многое. Но язык не отнимает у человека этой способности, а напротив, если не дает, то по крайней мере усиливает ее. То, что называют житейским, научным, литературным тактом, очевидно, предполагает мысль о жизни, науке, литературе, — мысль, которая не могла бы существовать без слова. Если бы человеку доступна была только бессловесная быстрота решения и если бы слово как условие совершенствования было нераздельно с

медленностию мысли, то все же эту медленность следовало бы предпочесть быстроте. Но слово, раздробляя одновременные акты души на последовательные ряды актов, в то же время служит опорой врожденного человеку стремления обнять многое одним нераздельным порывом мысли. Дробность, дискурсивность мышления, приписываемая языку, создала тот стройный мир, за пределы коего мы, раз вступивши в них, уже не выходим; только, забывая это, можно жаловаться, что именно язык мешает нам продолжать творение. Крайняя бедность и ограниченность сознания до слова не подлежит сомнению, и говорить о несовершенствах и вреде языка вообще было бы уместно только в таком случае, если бы мы могли принять за достояние человека недосыгаемую цель его стремлений, божественное совершенство мысли, примиряющее полную наглядность и непосредственность чувственных восприятий с совершенною одновременностью и отличностью мысли.

Слово может быть орудием, с одной стороны, разложения, с другой — *сгущения* мысли единственно потому, что оно есть представление, то есть не образ, а образ образа. Если образ есть акт сознания, то представление есть познание этого сознания. Так как простое сознание есть деятельность, не посторонняя для нас, а в нас происходящая, обусловленная нашим существом, то сознание сознания или *есть* то, что мы называем самосознанием, или полагает ему начало и ближайшим образом сходно с ним. Слово рождается в человеке невольно и инстинктивно, а потому и результат его, самосознание, должно образоваться инстинктивно. Здесь найдем противоречие, если атрибутом самосознания сделаем свободу и намеренность.

Если бы в то самое мгновение, как я думаю и чувствую, мысль моя и чувство отражались в самосознающем я, то действительно упомянутое противоречие имело бы полную силу. На стороне я как объекта была бы необходимость, с какою представления и чувства, сменяя друг друга, без нашего ведома образуют те или другие сочетания; на стороне я как субъекта была бы свобода, с какою это внутреннее око то обращается к сцене душевной жизни, то отвращается от нее. Я сознающее и я сознаваемое не имели бы ничего общего: я как объект нам известно, изменчиво, усовершеннимо; я как субъект неопределимо, потому что всякое его определение есть содержание мысли, предмет самосознания, не тождественный с самосознающим я; оно неизменно и неусовершеннимо, по крайней мере неусовершеннимо понятным для нас образом, потому что предикатов его, в коих должно происходить изменение, мы не знаем. Допустивши одновременность сознаваемого и сознающего, мы должны отказаться от объяснения, почему самосознание приобретает только долгим путем развития, а не дается нам вместе с сознанием.

Но опыт показывает, что настоящее наше состояние не подлежит нашему наблюдению и что замеченное нами за собою принадлежит уже прошедшему. Деятельность моей мысли, становясь сама пред-

метом моего наблюдения, изменяется известным образом, перестает быть собою; еще очевиднее, что сознание чувства — следовательно, мысль — не есть это чувство. Отсюда можно заключить, что в самосознании душа не раздвояется на *сознаваемое* и чисто *сознающее* я, а переходит от одной мысли к мысли об этой мысли, то есть к другой мысли, точно так, как при сравнении от сравниваемого к тому, с чем сравнивается. Затруднения, встречаемые при объяснении самосознания, понятого таким образом, те же, что и при объяснении простого сравнения. Говоря, что *сознаваемое* в процессе самосознания есть прошедшее, мы сближаем его отношение к *сознающему* я с тем отношением, в каком находится прочитанная нами первая половина периода ко второй, которую мы читаем в данную минуту и которая, дополняя первую, сливается с нею в один акт мысли. Если я говорю: «Я думаю то-то», то это может значить, что я прилаживаю такую-то свою мысль, в свое мгновение поглощавшую всю мою умственную деятельность, к непрерывному ряду чувственных восприятий, мыслей, чувств, стремлений, составляющему мое я; это значит, что я апперципирую упомянутую мысль своим я, из которого в эту минуту может находиться в сознании очень немного. Апперципирующее не есть здесь неизменное чистое я, а, напротив, есть нечто очень изменчивое, нарастающее с общим нашим развитием; оно не тождественно, не однородно с апперципируемым, подлежащим самосознанию; можно сказать, что при самосознании данное состояние души не отражается в ней самой, а находится под наблюдением другого его состояния, то есть известной более или менее определенной мысли. Так, например, спрашивая себя, не проронил ли я лишнего слова в разговоре с таким-то, я стараюсь дать отчет не чистому я и не всему содержанию своего эмпирического я, а только одной мысли о том, что следовало мне говорить с этим лицом, — мысли, без сомнения, связанной со всем моим прошедшим. Так, у психолога известный научный вопрос, цель, для которой он наблюдает за собою, есть вместе и наблюдающая, господствующая в то время в его сознании частица его я. Рассматривая самосознание с такой точки, с которой оно сходно со всякою другою апперцепцией, можно его вывести из таких ненамеренных душевных действий, как апперцепция в слове, то есть представление.

Доказывая, что представление есть инстинктивное начало самосознания, не следует, однако, упускать из виду, что содержание самосознания, то есть разделение всего, что есть и было в сознании, на я и не-я, есть нечто постоянно развивающееся, и что, конечно, в ребенке, только что начинающем говорить, не найдем того отделения себя от мира, какое находит в себе развитый человек. Если для ребенка в первое время его жизни все, приносимое ему чувствами, все содержание его души есть еще нерасчлененная масса, то, конечно, самосознания в нем быть не может, но есть уже необходимое условие самосознания, именно невыразимое чувство непосредствен-

ной близости всего находящегося в сознании к сознающему субъекту. Некоторое понятие об этом чувстве взрослый человек может получить, сравнивая живость ощущений, какими наполняют его текущие мгновения жизни, с тем большим или меньшим спокойствием, с каким он с высоты настоящего смотрит на свое прошлое, которого он уже не чувствует своим, или с равнодушным отношением человека ко внешним предметам, не составляющим его личности. На первых порах для ребенка еще все — свое, еще все — его я, хотя именно потому, что он не знает еще внутреннего и внешнего, можно сказать и наоборот, что для него вовсе нет своего я. По мере того как известные сочетания восприятий отделяются от этого темного грунта, слагаясь в образы предметов, образуется и самое я; состав этого я зависит от того, насколько оно выделило из себя и объективировало *не-я*, или, наоборот, от того, насколько само выделилось из своего мира: все равно, скажем ли мы так или иначе, потому что исходное состояние сознания есть полное безразличие я и *не-я*. Ход объективирования предметов может быть иначе назван процессом образования взгляда на мир; он не выдумка досужих голов; разные его степени, заметные в неделимом, повторяет в колоссальных размерах история человечества. Очевидно, например, что, когда мир существовал для человечества только как ряд живых, более или менее человекообразных существ, когда в глазах человека светила ходили по небу не в силу управляющих ими механических законов, а руководясь своими соображениями, — очевидно, что тогда человек менее выделял себя из мира, что мир его был более субъективен, что тем самым и состав его я был другой, чем теперь. Можно оставаться при успокоительной мысли, что наше собственное мирозерцание есть верный снимок с действительного мира, но нельзя же нам не видеть, что именно в сознании заключались причины, почему человеку периода мифов мир представлялся таким, а не другим. Нужно ли прибавлять, что считать создание мифов за ошибку, болезнь человечества значит думать, что человек может разом начать со строго научной мысли, значит полагать, что мотылек заблуждается, являясь сначала червяком, а не мотыльком?

Показать на деле участие слова в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе, есть основная задача истории языка; в общих чертах мы верно поймем значение этого участия, если приняли основное положение, что язык есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее, что он не отражение сложившегося мирозерцания, а слагающая его деятельность. Чтоб уловить свои душевные движения, чтобы осмыслить свои внешние восприятия, человек должен каждое из них объективировать в слове и слово это привести в связь с другими словами. Для понимания своей и внешней природы вовсе не безразлично, как представляется нам эта природа, посредством каких именно сравнений стали ощутительны для ума отдельные ее стихии, на-

сколько истинны для нас сами эти сравнения, — одним словом, не безразличны для мысли первоначальное свойство и степень забвения внутренней формы слова. Наука в своем теперешнем виде не могла бы существовать, если бы, например, оставившие ясный след в языке сравнения душевных движений с огнем, водою, воздухом, всего человека с растением и т. д. не получили для нас смысла только риторических украшений или не забылись совсем; но тем не менее она развилась из мифов, образованных посредством слова. Самый миф сходен с наукою в том, что и он произведен стремлением к объективному познанию мира.

Чувственный образ, исходная форма мысли, вместе и субъективен, потому что есть результат нам исключительно принадлежащей деятельности и в каждой душе слагается иначе, и объективен, потому что появляется при таких, а не других внешних возбуждениях и проецируется душою. Отделять эту последнюю сторону от той, которая не дается человеку внешними влияниями и, следовательно, принадлежит ему самому, можно только посредством слова. Речь нераздельна с пониманием, и говорящий, чувствуя, что слово принадлежит ему, в то же время предполагает, что слово и представление не составляют исключительной, личной его принадлежности, потому что понятное говорящему принадлежит, следовательно, и этому последнему...

Печатается по изданию: *Потебня А. А.* МЫСЛЬ И ЯЗЫК // *Потебня А. А.* Эстетика и поэтика. — М., 1976.

ИЗ ЗАПИСОК ПО РУССКОЙ ГРАММАТИКЕ. Т. I, II

(Извлечения)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

.. Я указываю начинающему говорить ребенку на круглый матовый колпак лампы и спрашиваю: «что это такое?» Ребенок много раз видал эту вещь, но не обращал на нее внимания. Он ее не знает, так как сами по себе следы впечатлений не составляют знания. Я хочу не столько того, чтобы он дополнил впечатления новыми, сколько того, чтобы он объединил прежние и привел их в связь со своим запасом сознанных и приведенных в порядок впечатлений. На мой вопрос он отвечает «арбузик». Тут произошло познание посредством наименования, сравнение познаваемого с прежде познанным. Смысл ответа таков: то, что я вижу, сходно с арбузом.

Назвавши белый стеклянный шар арбузом, ребенок не думал приписывать этому шару зеленого цвета коры, красной середки с та-

ким-то узором жилок, сладкого вкуса; между тем под арбузом в смысле плода он разумел и эти признаки. Из значения прежнего слова в новое вошел только один признак, именно шаровидность. Этот признак и есть знак значения этого слова. Здесь мы можем назвать знак и иначе: он есть общее между двумя сравниваемыми сложными мысленными единицами, или основание сравнения. <...>

...Что такое «значение слова»? Очевидно, языкознание, не уклоняясь от достижения своих целей, рассматривает значение слов только до известного предела. Так как говорится о всевозможных вещах, то без упомянутого ограничения языкознание заключало бы в себе, кроме своего неоспоримого содержания, о котором не судит никакая другая наука, еще содержание всех прочих наук. Например, говоря о значении слова *дерево*, мы должны бы перейти в область ботаники, а по поводу слова *причина* или причинного союза — трактовать о причинности в мире. Но дело в том, что под значением слова вообще разумеются две различные вещи, из коих одну, подлежащую ведению языкознания, назовем ближайшим, другую, составляющую предмет других наук, — дальнейшим значением слова. Только одно ближайшее значение составляет действительное содержание мысли во время произнесения слова. Когда я говорю *сиджу за столом*, я не имею в мысли совокупности отдельных признаков сидения, стола, пространственного отношения за и пр. Такая совокупность или понятие может быть передумана лишь в течение ряда мгновений, посредством ряда умственных усилий и для выражения своего потребует много слов. Я не имею при этом в мысли и живого образа себя в сидячем положении и стола, образа, подобного тому, какой мы получаем, например, когда, закрывши глаза, стараемся мысленно изобразить себе черты знакомого лица. Несмотря на такое отсутствие во мне полноты содержания, свойственной понятию и образу, речь моя понятна, потому что в ней есть определение места и мысли, где искать этой полноты, определение, достаточно точное для того, чтобы не смешать искомого с другим. Такое определение достигается первоначально посредством представления, а затем и без него, одним звуком. Пустота ближайшего значения, сравнительно с содержанием соответствующего образа и понятия, служит основанием тому, что слово называется формой мысли.

Ближайшее значение слова, одно только составляющее предмет языкознания, формально вовсе не в том смысле, в каком известные языки, в отличие от других, называются формальными, различающимися вещественное и грамматическое содержание. Формальность, о которой здесь идет речь, свойственна всем языкам, все равно, имеют ли они грамматические формы или нет. Ближайшее, или формальное, значение слов вместе с представлением делает возможным то, что говорящий и слушающий понимают друг друга. В гово-

рящем и слушающем чувственные восприятия различны в силу различия органов чувств, ограничиваемого лишь родовым сходством между людьми. Еще более различны в них комбинации этих восприятий, так что когда один говорит, например, *это не клен* (дерево), то для другого вещественное значение этих слов совсем иное. Оба они думают при этом о различных вещах, но так, что мысли их имеют общую точку соприкосновения: представление (если оно есть) и формальное значение слова. Для обоих в приведенном примере отрицательная частица имеет одинаковый смысл, именно такой, какой в отрицательных сравнениях: это клен, но в то же время и не клен, т.е. не обыкновенный клен и не черноклен. Для обоих словом *не клен* назначено для татарского клена одно и то же место в мысли подле обыкновенного клена и черноклена, но в каждом это место заполнено различно. Общее между говорящим и слушающим условлено их принадлежностью к одному и тому же народу. Другими словами, ближайшее значение слова *н а р о д н о*, между тем дальнейшее у каждого различное по качеству и количеству элементов лично. Из личного понимания возникает высшая объективность мысли, научная, но не иначе, как при посредстве народного понимания, т.е. языка и средств, создание коих условлено существованием языка. Таким образом, область языкознания народно-субъективна. Она соприкасается, с одной стороны, с областью чисто личной, индивидуально-субъективной мысли, с другой — с мыслью научной, представляющей наибольшую в данное время степень объективности. <...>

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЧАСТИ РЕЧИ

1. Когда говорится, что «первое слово есть уже предложение», то под «предложением» бессознательно разумеется не то, что носит это название в формальных языках, а п с и х о л о г и ч е с к о е (не логическое) суждение при помощи слова. Такое первое слово (ср. выше) или, что то же, первобытное предложение есть акт апперцепции, т.е. сравнения и объяснения того, что уже раз воспринято; оно связывает две мысленные единицы: объясняемое (психологический субъект) и объясняющее (психологический предикат), и в этом смысле оно двучленно, без чего самое сравнение и объяснение немислимо. Но подлежащее такого предложения [нерасчлененное восприятие внешнего (образа), сопровождаемое личным ощущением, или только это последнее] есть еще не выраженный словом бессознательный вопрос, обращенный к дальнейшей деятельности мысли. Словесно выражается в таком предложении только представление объясняемого, объясняющее, иначе — сказуемое первобытного предложения, по формуле: *x* (нечто не выраженное словом, существование чего в говорящем было до той поры ему не известно) — *a* (напр., *мама!*). Сочетание двух таких первообразных сказуемых,

в котором одно стало объясняемым, другое объясняющим, двучленно со стороны словесного выражения, но четырехчленно по своей психологической подкладке, как выражение двух апперцепции. Таким образом, словесное выражение подлежащего апперцепции непервообразно. Первообразное словесно-одночленное предложение, иначе — первообразное слово языка, каков язык начинающих говорить детей, предикативно. Это свойство остается за отдельным словом, как выражением апперцепции, навсегда (напр., *Эй! Сюда! Пора!* и пр.), но с прибавкой того, что дано языку тысячами лет развития. Первообразное слово-предложение, устанавливая общность признака между *хиа*, объясняемым и объясняющим, не относит ни того, ни другого ни к какому общему разряду: под «мама!» детского языка не мыслится ни субстанция, ни ее атрибут, ни ее действие. Между тем простейшее предложение наших языков заключает уже в себе грамматическую форму; оно появляется в языке вместе с нею. Образование и изменение грамматических форм, составляющих формальное (грамматическое) содержание предложения, есть другое название для изменения самого предложения, т. е. того ближайшего целого, в коем совершается жизнь этих форм. Понимая язык как деятельность, невозможно смотреть на грамматические категории, каковы глагол, существительное, прилагательное, наречие, как на нечто неизменное, раз навсегда выведенное из всегдашних свойств человеческой мысли. Напротив, даже в относительно небольшие периоды эти категории заметно меняются. Некоторые из таких изменений я старался представить. .. Здесь укажу только, что, напр., личный глагол... многочисленных языков, каков русский, сложен по строению, предполагает не менее чем двучленное первобытное предложение, но неизмеримо удален от такого, а само собою и от одночленного первобытного предложения, чистою формальностью заключенных в нем отношений к лицу, не говоря уже о других, возникших позднее категориях, каковы, напр., в слав. яз. совершенность и несовершенность и степени длительности. Глагол как сказуемое не мог остаться прежним, одержавши такие победы над именем, как образование неопределенного наклонения, позднее — прошедшего на -ль из имени, получивши возможность определяться вновь возникшими частями речи, как наречия отыменные и деепричастия. Глагольность предложения, степень его единства с течением времени изменяются. Точно так отвлечение, которое называем «и м я», в жизни языка представляет изменчивое множество признаков. Степень атрибутивности и предикативности имени и его противоположности глаголу изменяется. И вообще в языке, не только говоря *a priori* («все течет»), не может быть, но и *a posteriori* нет ни одной неподвижной грамматической категории. Но с изменением грамматических категорий неизбежно изменяется и то целое, в котором они возникают и изменяются, именно предложение подобно тому, так неизбежно форма

устойчивой кучи зависит от формы вещей (напр., кирпичей, ядер), из коих она складывается, как неизбежно форма и определение общества изменяется вместе с развитием особей. Кто определил бы предложение, напр., русского яз. как словесное выражение психологического суждения, сказал бы так же мало, как тот, который бы определил Сократа как особь зоологического вида *homo sapiens* или нынешнее государство, церковь и т. п. как человеческое стадо...

Печатается по изданию: *Потебня А. А.*
Из записок по русской грамматике. — М.,
1958. - Т. I-II.

ИЗ ЗАПИСОК ПО ТЕОРИИ СЛОВЕСНОСТИ

[Извлечения]

Чем сложнее то, что намерены сказать другим, тем явственнее для нас различие и одновременность двух моментов речи: первого, когда обдумываем и говорим для себя, и второго, когда говорим другим. То же различие, только менее ощутительное, и в простейшем слове.

Поэтому можно отдельно рассматривать: 1) действие речи на самого говорящего и 2) действие ее на слушающего и понимающего, *понимание*. А так как элементы слова и словесного произведения тождественны, то так же раздельно можно рассматривать и действие словесного (в частности поэтического, вообще художественного) произведения на самого автора и на понимающего.

Действие слова на самого говорящего. Мир является нам лишь как ход изменений, происходящих в нас самих. Задача, исполняемая нами, состоит в непрерывном разграничении того, что мы называем своим я и всего прочего *не-я*, мира в более тесном смысле. Познание своего я, есть другая сторона познания мира, и наоборот.

Но как возможно самопознание, когда я есть непрерывное течение, когда познаваемое в мгновение познания уже ушло, уже неуловимо? <...>

Непосредственное самопознание невозможно. Первообразное невольное действие, предполагаемое самопознанием, состоит в том, что непрерывно утекающее состояние нашего я оставляет более ощутительный след в членораздельном звуке. Воспроизведение звука облегчает, впрочем, всегда неточное воспроизведение мысли. Звук становится намеком, *знаком прошедшей мысли*. В этом смысле *слово объективирует мысль*, ставит ее перед нами, служит тем *делом*, без которого невозможно самопознание, как первоначально, до приобретения навыка, невозможно считать, не указывая на считаемые вещи или не передвигая их, невозможно играть в шахматы, не передвигая шашек.

Слово делит непрерывное течение восприятий на отдельные акты и таким образом создает объекты мысли, подлежащие действию других таких же.

Понимание происходит следующим образом. Произнося слово «корова», говорящий думает следующее: то, что я вижу, представляется мне рогатым. Таким образом, требующее объяснения новое, чисто личное восприятие через посредство представления, признака, общего ему с прежним запасом мысли, объясняется этим последним. Следующий получает от этого процесса только звуки: «корова», которые будят в нем отношение к комплексу мысли, который он сам объективировал в подобных звуках. Суждение, происходящее в нем при понимании этого слова, таково: «Эти звуки значат нечто, представляемое рогатым». Допустим, что оба они видят предмет, о котором идет речь, и что понимание облегчено жестами, указанием со стороны говорящего. При этом окажется, что чувственное восприятие «корова» в том и другом различны; что объясняющие комплексы в том и другом различны еще более, ибо разница их состава зависит не только от различия прежних восприятий, но и от различия сочетаний, в которые вошли эти восприятия с другими. Общим между говорящим и слушающим, понимающим окажется только звуки и представление, а в случае затемнения представления (рогатый) — только звуки. ... При понимании мысль говорящего не передается слушающему; но последний, понимая слово, создает свою мысль, занимающую в системе, установленной языком, место, сходное с местом мысли говорящего...

Думать при слове именно то, что думает другой, значило бы перестать быть самим собою. Поэтому понимание в смысле тождества мысли в говорящем и слушающем есть такая же иллюзия, как и та, в силу коей мы принимаем собственные ощущения за внешние предметы.

Тем не менее наше слово действует на других. Оно устанавливает между замкнутыми в себе личностями связь, не уравнивая их содержания, а, так сказать, «настраивая их гармонически»...

В процессе понимания сказываются те же основные черты слова, что и в речи. «Речь и понимание суть лишь разные стороны одного и того же явления»... Таким образом, рассмотрение процесса понимания служит новым подтверждением того, что язык мыслим только как средство (или, точнее, система средств), видоизменяющее создания мысли; что его невозможно было бы понять как выражение готовой мысли, ибо будь оно таково, оно имело бы значение только для своего создателя или для тех, которые с ним сговорились (что имеет место относительно условных знаков), или же, что невозможно, понимание состояло бы в передаче мысли, а не в ее возбуждении...

Печатается по изданию: *Потебня А. А.*
Из записок по теории словесности // *Потебня А. А.* Эстетика и поэтика. — М., 1976.

ЯЗЫК И НАРОДНОСТЬ

... Человек, говорящий на двух языках, переходя от одного языка к другому, изменяет вместе с тем характер и направление течения своей мысли, притом так, что усилие его воли лишь изменяет колею его мысли, а на дальнейшее течение ее влияет лишь посредственно.

Ф. И. Тютчев служит превосходным примером того, как пользование тем или другим языком дает мысли то или другое направление, или, наоборот, как в предчувствии направления, которое примет его мысль в следующее мгновение, человек берется за тот или другой из доступных ему языков. Два рода умственной деятельности идут в одном направлении, переплетаясь между собою, но сохраняя свою раздельность, через всю его жизнь, до последних ее дней. Это, с одной стороны, поэтическое творчество на русском языке, с другой стороны — мышление политика и дипломата, светского человека в лучшем смысле этих слов — на французском.

...22 года его почти безвыездного пребывания за границей, говорит его биограф, «он почти не слышит русской речи, а по отъезде Хлопова (бывшего крепостного дядьки Тютчева, взаимно связанного с ним тесной дружбой. — *А.П.*) и совсем лишается того немногого, хотя и благотворного соприкосновения с русскою бытовою жизнью, которое доставляло ему присутствие его дядьки в Мюнхене. Его первая жена ни слова не знала по-русски, так же как и вторая, выучившаяся русскому языку уже по переселении в Россию (и собственно для того, чтобы понимать стихи своего мужа). Следовательно, самый язык его домашнего быта был чуждый. С русскими путешественниками беседа происходила, по тогдашнему обычаю, всегда по-французски; по-французски же исключительно велась и дипломатическая корреспонденция и его переписка с родными»¹.

«По собственному его признанию, он тверже выражал свою (прозаическую) мысль по-французски, нежели по-русски, свои письма и статьи писал исключительно на французском языке и, конечно, на девять десятых более говорил в своей жизни по-французски, чем по-русски». А между тем стихи у Тютчева творились *только по-русски*. Значит, из глубочайшей глубины его духа была ключом у него поэзия, из глубины, недостижимой *даже для его собственной воли*, — из тех тайников, где живет наша первообразная природная стихия, где обитает самая правда человека. «Стихи у него не были плодом *труда*, хотя бы и вдохновенного, но все же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов... Он их не писал, а только записывал» (Акс). Лучшие созданы мгновенно.

Тютчев представляет поучительный пример не только того, что различные языки в одном и том же человеке связаны с различными

¹ Аксаков И. С. Биография Ф.И.Тютчева. — М., 1886.

областями и приемами мысли, но и того, что эти различные сферы и приемы в одном и том же человеке разграничены и вещественно. Во время предсмертной болезни, с половиною тела, пораженной параличом, Тютчев почти до смерти сохранял способность к блестящей французской речи и живой интерес к политике. Раз, после продолжительного обморока, первыми словами его были: «Какие последние новости из Хивы?» Между тем власть над стихом и чувство стихотворной меры оставили его гораздо раньше. Он порывался слагать стихи, но ничего не выходило.

Знание двух языков в очень раннем возрасте не есть обладание двумя системами изображения и сообщения одного и того же круга мыслей, но раздвояет этот круг и наперед затрудняет достижение цельности мирозерцания, мешает научной абстракции. Если язык школы отличен от языка семейства, то следует ожидать, что школа и домашняя жизнь не будут приведены в гармоничные отношения, но будут сталкиваться и бороться друг с другом. Ребенок, говорящий: «du pain» к родителям и гувернантке и (тайком) «хлебца» к прислуге, имеет два различные понятия о хлебе.

Когда два лица, говорящие на одном языке, понимают друг друга, то содержание данного слова у обоих различно, но представление настолько сходно, что может без заметного вреда для исследования приниматься за тождественное. Мы можем сказать, что говорящие на одном языке при помощи данного слова рассматривают различные в каждом из них содержания этого слова под одним углом, с одной и той же точки зрения. При переводе на другой язык процесс усложняется, ибо здесь не только содержание, но и представление различны.

Печатается по изданию: *Потебня А. А. Язык и народность // Потебня А. А. Эстетика и поэтика.* — М., 1976.

ОСНОВЫ ПОЭТИКИ¹ (1910) **(Влияние грамматики на мышление)**

(Извлечения)

.. Мир существует для нас в виде нашего я, в виде непрерывного течения наших личных ощущений, переживаний. Это непрерывное течение, между прочим, объективируется, внешне обнаруживается в членораздельном звуке. Только при помощи этого объекта мы можем припомнить, восстановить нашу прошедшую мысль. Язык, следовательно, явление очень субъективное. Самое существенное для нас в данном случае то, что слово не есть средство выражать гото-

¹ См.: *Потебня А. А. Основы поэтики // Вопросы теории и психологии творчества.* — Харьков, 1910. — Т. 2. — Вып. 2.

вую мысль; оно есть средство преобразовывать впечатления, делать их предметом познания вновь; оно есть средство создания новой мысли. Это основное положение уясняет нам, зачем нам нужна поэзия.

Когда говорят, членораздельный звук ассоциируется с прежней мыслью, это значит — он дает возможность ее воспроизводить, он влечет за собой мысль из глубины прошедшего и, вводя ее вновь в сознание, видоизменяет ее. Главная функция языка как системы слов — видоизменение мысли. Оставляя в стороне частности, обратим внимание на суть дела. Только при помощи языка созданы каждым европейским народом грамматические категории (существительное, прилагательное, глагол), которые вне языка нигде не существуют и которые, как показывает сравнительное языкознание, в различных языках различны. Что же такое эти категории? Это рамки, в которые втискивается содержание мысли нерасчлененной, не препарированной. Представьте себе, что вам дали готовые рамки, в которые должны вставить картины; конечно, не обойдется без того, чтобы вам не пришлось урезать эти картины. Нечто подобное наблюдается и в языке: оттого, каковы грамматические категории, зависит наше мышление, его общий характер, полнота и глубина; от различия этих категорий самое содержание мысли различно у разных народов, сродных между собою и находящихся в одних и тех же климатических и иных условиях. Возвращаясь к сравнению души человека с водомером, в котором вода в известный промежуток времени поворачивает звучащее колесо, мы можем сравнить души разных народов с такими водомерами, различно делящими струю восприятий, протекающую сквозь них.

Возьмем, например, впечатления зрения. Без сомнения, каждый народ получает одинаковые цветовые впечатления, и, однако ж, в количестве названий мы увидим громадное различие. У великороссов, например, существует до шестидесяти названий, по крайней мере, для мастей лошадей, и все они существенно различаются между собой; в других языках, в немецком например, их гораздо меньше. Что это значит? Если мы представим себе материально струю восприятий определенной длины, то один язык делит ее на три части, другой — на пять, десять и более. И это заключение не априорно, так же как и утверждение, что грамматические категории различны в разных языках. Относительно последнего достаточно указать, что содержание глагола в славянских языках отлично от некоторых других уже в том отношении, что глагол, например русского языка, выражает степени длительности, совершенности и несовершенности. Некоторые явления один язык игнорирует (для некоторых цветов, например, нет совершенно названий), а другой нет. Язык поэтому настраивает весь механизм мысли особым, так сказать, индивидуальным образом. Вот почему перевод с одного языка на другой есть всегда «переложение своими словами», изменяющее его содержа-

ние, в особенности если произведение поэтическое. При переводе поэтического произведения остаются лишь общие очертания, а содержание мысли изменяется более чем в копии, писанной карандашом с картины масляными красками; там отвлекаются краски, остаются лишь переходы света и тени, общие очертания; при переводе трудно и подчас невозможно удержать и эти очертания. *

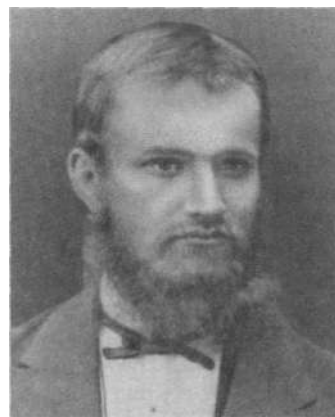
Одним словом, язык, уже на основании одного этого наблюдения, не просто средство выразить мысль, а индивидуальный способ преобразовывать ее, и у каждого народа своя, так сказать, преобразовательная машина...

Печатается по изданию: *Потебня А. А.* Основы поэтики // Хрестоматия по истории русского языкознания / Под ред. Ф. П. Филина. — М., 1973.

Вопросы

1. Как определяет А. А. Потебня роль слова в формировании мысли?
2. Почему для формирования понятия, по мысли А. А. Потебни, необходимо слово?
3. Как прослеживает А. А. Потебня единство мысли, речи и языка при рассмотрении проблемы происхождения и развития языка?
4. Как понимает А. А. Потебня механизм отношения мысли, речи и языка к действительности?
5. Что говорит А. А. Потебня об изменении соотношения мысли-речи-языка и действительности в онтогенезе и филогенезе?
6. Что открывает нам в феномене мысле-рече-языкового образования выявление А. А. Потебней внутренней формы слова?
7. Какие законы восприятия выявляет А. А. Потебня при рассмотрении процесса формирования внутренней формы слова?
8. Какие факты, приведенные А. А. Потебней, обнаруживают действие законов восприятия (избирательности, устойчивости и предвосхищения результатов)?
9. Какое основное явление апперцепции (восприятия), организующее явление мысли, речи и языка, вскрывает А. А. Потебня?
10. Чем обеспечивается успех восприятия речи? Каковы пределы восприятия речи? При каких условиях, указанных А. А. Потебней, восприятие речи затрудняется?
11. Почему ближайшее значение слова А. А. Потебня определяет как всеобщее («народное»), а дальнейшее — как «личное»?
12. Какие закономерности развития языка как сложной системы подметил А. А. Потебня?
13. Чем определяется, по материалам А. А. Потебни, динамическая неоднородность системы восприятия речи?
14. Как в процессе речи, в понимании А. А. Потебни, осуществляется акт познания?
15. На основе какого акта, по представлению А. А. Потебни, происходит формирование языковых форм (слова)?

16. Как лексическое и грамматическое соотносятся, по мнению А. А. Потебни, с мыслительной деятельностью?
17. Какие особенности мыслительного действия при двуязычии отмечает А. А. Потебня?
18. Какие особенности понимания (восприятия) речи как текучего объекта отмечает А. А. Потебня?
19. Как А.А. Потебня показывает действие познавательно-ориентирующей функции языка?
20. Как объясняет А. А. Потебня невозможность непосредственно наблюдать собственную мыслительную деятельность?
21. Как выделяет А.А.Потебня в своем иллюстративном материале момент контроля за исполнением речевого действия?
22. Как объясняет А.А. Потебня соотношение слова и вещи?
23. Почему, по наблюдениям А.А. Потебни, осознается субъективное содержание мысли говорящего?
24. Почему высказанная мысль, по мнению А.А. Потебни, «не убавляет умственной способности говорящего»?
25. О каких процессах психики человека говорят приведенные А. А. Потебней факты: «композиторы могут писать музыку, не играя и не напевая; игроки в шахматы играют... не глядя на доску, и даже ведут несколько партий...»?



5. И.А.БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ О ПСИХИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ И ЯЗЫКОВОМ ЗНАНИИ

Что отличает человека от животного? То, что человек может мыслить теоретически.

И.А.Бодуэн де Куртенэ

Иван Александрович (Ян Игнацы Нечислав) Бодуэн де Куртенэ (1845—1929) — языковед, профессор университетов в Петербурге, Казани, Тарту, Кракове, с 1918 года в Варшаве; создатель Казанской лингвистической школы, предтеча Пражской фонологической школы, член *Polskiej Akademii Umiejętności* (главной польской научной организации того времени), член Петербургской Академии наук; основатель и издатель журнала «*Race Filologiczne*» (1925), один из создателей Польского общества языковедов, автор более 300 научных работ [см. 1].

Научное наследие И.А.Бодуэна де Куртенэ, будь то теоретические труды или наработки методических приемов исследования языка, наблюдений над речью, имеет непреходящее значение для развития языкознания. «Языковедение, — резюмировал ученый, — насколько оно принадлежит к числу наук, должно стремиться к самым широким обобщениям, соблюдая, конечно, при этом все условия точности и осмотрительности индуктивного метода» [1, с. 7]. Примером такой образцовой работы с языковым материалом могут быть, в частности, его кропотливые многолетние наблюдения над детской речью — систематические записи речи его пятерых детей, отдельные на каждого ребенка. Здесь целая

лаборатория по изучению детской речи, результаты работы которой представлены и сохранены в 473 тетрадях (всего 13 336 страниц рукописи). Этот труд И.А.Бодуэна де Куртенэ не знает аналога в мире [см. 3].

И.А.Бодуэн де Куртенэ считал, что только «непосредственное наблюдение заслуживает действительно названия научного, что только оно дает нам возможность изучать язык вообще, его жизнь и законы развития, бросает яркий свет на его прошедшее, о котором мы не можем иметь ни малейшего понятия, если имеем дело не с живыми звуками, а с мертвыми буквами, которые неизвестно как звучали в эпоху своего начертания» [1, с. 9].

Главное для психолингвистики открытие И. А. Бодуэна де Куртенэ — интерпретация фонемы и анализ фонологических явлений. Глубокое проникновение ученого в языковой материал, понимание сути функционирования языковой системы заставляет и нас теперь различать не только звук и букву, но и «представление» о звуке, которое возникает у нас по функциональной целесообразности при восприятии слова (морфемы), благодаря чему мы и понимаем слово (речь), даже если не все представляющие его звуки будут реализованы. Фонема — это то, что мы **понимаем, воспринимаем**. Витольд Дорошевичский называет И. А. Бодуэна де Куртенэ автором «самого элементарного и благодаря этому самого основного лингвистического понятия, каковым является понятие **чередования**» [1, с. 24]. «История каждой формы, — пишет он, — история ее **специализации по объему и функции**; эта же специализация является результатом чередования данной формы с другими формами» [1, с. 24] (везде выделено мною. — *В. Р.*).

Для психолингвистики важно проникновение в механизм языковых изменений; И. А. Бодуэн де Куртенэ «понял динамический характер взаимоотношения индивидуальных и социальных факторов эволюции языка...» [1, с. 24—25]. Вот как он описывает процесс фонетического разветвления индоевропейских языков. «В восточной (индо-иранско-албанско-балтийско-славянской) группе произошло перемещение вперед всей, так сказать, языковой клавиатуры, т. е. перемещение вперед обеих локализаций, обоих рядов: задний (глубокий) передвинулся слегка вперед (напр. k, g в польских kogo, wilk, krotki, krew... gora, biegas... gonis, garnek, snieg, wylogi, w^hgorz...), а менее глубокий стал переднеязычным (славянские s, z, возникшие из k, g, gh, напр., в польских stoma, stowo, dziesi^hc, oset... znac, brzoza, ziarno... wioz^h, zima, zielony...). В западной же (греко-итало-кельтско-германской) группе более передняя локализация продолжала оставаться в границах заднеязычной области, локализация же глубокая подверглась лабиализации, причиной которой являлось, как можно полагать, то, что между нервами, приводящими в движение мышцы губ, и нервами, приводящими в движение мышцы задней части языка, суще-

ствует известная связь, известная зависимость: приводя в движение или хотя бы лишь иннервируя губы, мы одновременно вызываем некоторое беспокойство в задних, глубоких частях языка, и, наоборот, приводя в движение или хотя бы лишь иннервируя задние, глубокие части языка, мы одновременно вызываем известное беспокойство в губах. Вследствие этого губные звуки речи бывают обыкновенно в известной степени также заднеязычными, заднеязычные же звуки речи бывают обыкновенно также в известной степени губными» [1, с. 25].

Исследования И. А. Бодуэна де Куртенэ создают прочную основу для формирования этнопсихолингвистики — *научного направления, изучающего национально-культурную специфику речевого общения, национально-культурную вариативность мысле-рече-языковой деятельности*. Во время неоднократных экскурсий по юго-западным славянским землям он приобретает брошюры о приметах, предсказаниях и суевериях. В работе «Из источников народного мировоззрения и настроения» (1908) ученый пишет: «Напрасно мы относимся с пренебрежением к этого рода произведениям печати. Ведь они-то и являются обильными источниками эпидемических психосоциальных болезней, они сообщают своеобразный отпечаток воображению многочисленных читателей, они воспитывают и поддерживают известные социальные чувства, руководящие междучеловеческим общением... Некоторые из них представляют весьма ценный материал для диалектолога; все же они заслуживают внимания со стороны психолога, социолога, фольклориста, историка и т.д.» [1, с. 16].

В теоретическом отношении научное творчество настолько серьезно и точно организовано, что как ни далеко оно отстоит от нашего времени, но созвучно современному сложному состоянию мировоззрения, освещающего поиск в области психолингвистики, — знанию о мысле-рече-языковой деятельности человека. И.А.Бодуэн де Куртенэ сам периодически подводит итоги своей работы. В частности, в статье «Некоторые из общих положений, к которым довели Бодуэна его наблюдения и исследования явлений языка» [1, с. 348 — 350] он излагает принципы исследования языковых явлений, наработанные им к этому времени, которые в значительной мере согласуются с основными положениями современного представления о мире как сложной самоорганизующейся системе.

Сложившееся к настоящему времени *научное направление междисциплинарного характера, изучающее сложные саморегулирующиеся системы*, каковыми являются и Земля, и человек, и его язык, получило название синергетика, т. е. наука о системах, в которых происходит «содействие», «совместное действие». «Для Бодуэна, — отмечает В.Дорошевский [1, с. 28], — было характерно не только стремление к обобщениям в пределах языкознания — он считал

общее языкознание единственным языкознанием в полном смысле этого слова (см. "Historia językoznawstwa...", § 130), — но и стремление к общефилософскому охвату и синтезу проблем отдельных научных дисциплин... В "Истории языкознания" он писал: "Мы принципиально признаем сегодня единство наук и необходимость единообразного (jednostajnego) общего всем мировоззрения. Надо добавить, что необходимость однородного и в одинаковой степени обязательного для всех областей мысли мировоззрения признавалась выдающимися мыслителями всех времен"».

Научное наследие И. А. Бодуэна де Куртенэ актуально, потому что адекватно синергетическому подходу к явлениям языка, речи и мыслительной деятельности человека.

1. Понимание языка как составляющего триединство мысли-речи-языка: «Нет и не может быть в речи человеческой или языке ни одного явления, которое не было бы вместе с тем и психическое» [1, т. 1, с. 348]; «Причиной, двигателем всех изменений языка является стремление к удобству, стремление к облегчению в трех областях языковой деятельности: в области произношения (фонации), в областях слушания и воспринимания (аудиции) и, наконец, в области языкового мышления (церебрации)» [1, т. 1, с. 348].

2. Понимание языка как членораздельной, т. е. **квантованной**, системы, которая находится в состоянии осмысленной подвижности: «Нет неподвижности в языке... В языке происходит вечное перемещение мест сцепления **далее неделимых языковых единиц**. То известная единица языка увеличивается за счет другой, то, наоборот, известная единица лишается известной части своего состава в пользу другой» (выделено мною. — В. Р.) [1, т. 1, с. 349].

3. Развитие системы происходит путем преодоления **катастрофы**: «Одна единица исчезает, другая рождается» [1, т. 2, с. 349].

4. Понимание **динамической неоднородности** составляющих сложную систему: «Род человеческий, как существ общественных и одаренных языком, происходил много раз в различных местах и в разное время» [1, т. 1, с. 350]. В этом сложном вопросе о происхождении языка ученый дистанцируется от идеи родословной языкового древа, что можно иллюстрировать и методологической сентенцией Н. Крушевского — непосредственного ученика И. А. Бодуэна де Куртенэ: «...Не сравнение родственных слов, а родственных явлений и не в родственных языках, а при родственных условиях — заслуживает прежде всего названия сравнительного изучения языка в истинно научном значении этого слова» [1, с. 18]. Тем самым дается простор для выявления **нелинейности** как основного свойства языковой системы.

5. В полемике о развитии речи в онтогенезе И. А. Бодуэн де Куртенэ выявляет свойства сложной системы феномена мысле-рече-языкового образования: помимо нелинейности системы и **иерархического** характера ее устройства (динамической неоднородно-

сти) он подчеркивает ее творческий, **эвристический** характер, по необходимости — по **функциональной целесообразности** — приходящий в самосогласованное состояние по отношению к окружению: «Ребенок не повторяет вовсе в сокращении языкового развития целого племени, но, напротив того, ребенок захватывает и будущее... и только впоследствии пятится, так сказать, назад, все более и более приравливаясь к нормальному языку окружающих» [1, т. 1, с. 349-350].

* * *

А. А. Леонтьев

И.А.БОДУЭН де КУРТЕНЭ

Чрезвычайно важно для истории науки — и не только для истории — провозглашенное Бодуэном положение о необходимости различать бессознательное течение и сознательное регулирование языковых процессов. Эту сторону его общелингвистической концепции, отмеченную впервые акад. Л. В. Щербой и подробно проанализированную В.П.Григорьевым¹, мы считаем необходимым затронуть здесь лишь частично.

Проблема сознательного и бессознательного в языке ставилась Бодуэном в двух различных аспектах. Первый из этих аспектов связан с его общим представлением о структуре языка, мышления и более широко — с его психологической концепцией, на которой мы остановимся ниже. Здесь мы должны отметить, во-первых, резкий протест Бодуэна против отождествления психики и сознания [1, т. 2, с. 58 и 66], во-вторых, введенное им понятие постепенной «автоматизации языковых функций» [1, т. 2, с. 316].

Чрезвычайно интересно в этом плане (но, к сожалению, до сих пор почти не обращало на себя внимания исследователей) различие Бодуэном «трех главных уровней силы и самостоятельности гласных фонем русского языкового мышления». Оно «диктуется тем общим соображением, что в русском произношении... произносимое слово является стройным, единым целым, в котором одна господствующая часть, одно господствующее произносительное место (слог с «ударением») подчиняет себе все остальные. Это господствующее произносительное место сосредоточивает на себе произносительное внимание и вследствие этого ослабляет точность исполнения остальных произносительных мест» [1, т. 2, с. 263]... Всего имеется три уровня, соответствующих различной степени автоматизма. «Гласным фонемам высшего уровня свойственно самое богатое разнообразие психического характера, разнообразие в психическом центре, т. е. высшая ступень обособленности и оп-

¹ См.: *В.П.Григорьев. И.А.Бодуэн де Куртенэ и интерлингвистика // И.А.Бодуэн де Куртенэ (К 30-летию со дня смерти): Сб. статей. — М., 1960.*

ределенности именно с этой точки зрения...» На среднем уровне это разнообразие меньше, а на низшем «разнообразии психическое нисходит до минимума, но зато появляется разнообразие исполнения... В этом кроются для будущего русского языкового мышления зародыши новых самостоятельных фонем» [1, т. 2, с. 266].

Второй из этих аспектов значительно более важен, так как касается проблемы сознательного регулирования «языковой жизни». Если тезис о бессознательном и подсознательном характере языкового мышления сам по себе не оригинален, то здесь Бодуэн, по-видимому, является первооткрывателем.

Впервые проблема сознательного регулирования была поставлена в работе «Август Шлейхер», где подвергается сомнению мнение Шлейхера, что «язык совершенно независим от воли человека». Однако собственное мнение Бодуэна («влияние сознания и целесообразности нельзя отвергать и в языке») в этой работе почти не аргументировано. Зато развернут тезис о консервативном влиянии литературного языка, в дальнейшем неоднократно встречающийся у Бодуэна. Он гласит: «Литература влияет на язык консервативно... между тем как лишённые ее говоры... изменяются гораздо скорее, нежели так называемые литературные языки. При литературных языках участвуют сознание и целесообразность, чтобы упрочить свои мысли и быть понятным для всевозможно большей массы; при чисто народных говорах этого нет»¹.

В дальнейшем проблема сознательного и бессознательного затрагивается в большинстве теоретических работ Бодуэна. Так, в статье «Некоторые общие замечания о языковедении и языке» указывается, что влияние сознания «однообразит формы языка и по-своему совершенствует его» [1, т. 1, с. 58]. Особенно важны соображения, высказанные в известной статье «К критике международных языков» и ее русском варианте «Вспомогательный международный язык». «Язык ее есть ни замкнутый в себе организм, ни неприкосновенный идол, он представляет собой орудие и деятельность» [1, т. 2, с. 140]; а человек вправе и даже обязан целенаправленно совершенствовать свои орудия, если «известные продукты стихийных процессов» не будут «соответствовать целям, которые мы ставим себе сознательно» [1, т. 2, с. 151].

Поэтому, говорит Бодуэн, «так как язык неотделим от человека и постоянно сопровождает его, человек должен владеть им еще

¹ Этот тезис, в котором еще совсем недавно досужие критики видели чуть не требование закрыть школы, нашел прямое фактическое подтверждение с помощью теории информации. «Первые ориентировочные подсчеты показали, что энтропия определенных типических звуковых синтагм в связи с изменениями в фонетической системе русского языка постепенно уменьшается, но темп этих уменьшений на протяжении последних веков становится медленнее» (М. Панов. О развития русского языка в советском обществе // Вопросы языкознания. — 1962. - № 3. - С. 3).

более полно, сделать его еще более зависимым от своего сознательного вмешательства, чем это мы видим в других областях психической жизни» [1, т. 2, с. 140].

* * *

Для Бодуэна человеческий язык есть «язык, состоящий из случайных символов, связанных самым различным образом»... т.е. пользуясь современными терминами, система знаков.

Человеческий язык коренным образом отличается от языка животных тем, что языковый знак («символ») случаен, не мотивирован в синхронном плане, но только в генетическом. Недаром «основная сущность человеческого языка» — отсутствие в нем «необходимости, непосредственности и неизменности» [1, т. 1, с. 209], свойственных «языку» животных, т.е. как раз то, что считал характерным для языкового знака и де Соссюр.

Проблема специфики человеческого языка по сравнению с языком животных вообще очень занимала Бодуэна, как и его предшественников — Гумбольдта и особенно Штейнталя, у которых взяты многие соображения Бодуэна по этому вопросу. Подробно эта проблема рассмотрена в работе «Человеческий язык». Вот что пишет Бодуэн: «...звуки, издаваемые животными, самой природой соответствующих животных организмов предназначены для того, чтобы выразить именно то, что они в действительности выражают. Они должны выразить как раз то чувство, как раз то представление, какие они выражают в действительности — именно путем непосредственного чувственного впечатления. И этим их задача исчерпывается.

Между тем все слова, принадлежащие собственно человеческому языку, отличаются способностью принимать все новые значения, причем их генезис, источник их значения обычно совершенно забывается. Сами по себе они не говорят ни о чувстве, ни о способности воображения; они что-то означают лишь потому, что они ассоциированы с известным рядом значений. Характер необходимости им совершенно чужд... Итак, подавляющая часть слов человеческого языка — лишь случайно возникшие символы... И как раз эта случайность есть характерная черта языка» [1, т. 1, с. 261 — 262].

Таким образом, в отличие от «звуковых жестов» (Lautgebarde), «слова человеческого языка... ни в коем случае не являются просто знаками известных конкретных проявлений, но представляют собой абстракции, которым прямо не соответствует во внешнем мире ничего непосредственно чувственного» [1, т. 1, с. 262].

* * *

...Прежде всего Бодуэн заявляет, что «должен признать зависимость психических процессов от физиологического субстрата. Без мозга нет психических явлений» [1, т. 2, с. 56]. «Все психиче-

ские явления существуют только с живым мозгом и вместе с живым мозгом исчезают» [1, т. 2, с. 65]. При этом в виду имеются не только сознательные, произвольные движения: «сознание нельзя отождествлять с психическим движением. Сознание — это только огонек, освещающий отдельные стадии этого движения» [1, т. 2, с. 66]. Этим Бодуэн сразу противопоставляет свое понимание как пониманию субъективно-идеалистическому («чтобы не было никаких недоразумений»), так и точке зрения Гельмгольца, работы которого, если судить по приводимой им библиографии, он знал¹. Но главное, что резко отличает Бодуэна от Гельмгольца, да и от психологов «опытной школы», — это правильное, совершенно современное понимание соотношения индивидуального и исторического опыта, о котором мы уже говорили выше; не только «все множество рецептивных и исполнительных навыков», но и «все множество представлений вообще... передается путем языкового общения»... а по наследству индивид «получает только потенциальную возможность и способность овладения языком»².

Язык в самом широком значении этого слова — это «универсальный рефлекс духа на внешние раздражения», а мысль и язык суть «первые проявления реакции одухотворенного мозга на внешние раздражения»³. Более того, будучи дарвинистом, Бодуэн решительно заявлял: «Если признать прогресс и эволюционность в развитии физиолого-биологического мира, то и психичность как "продукт мозга" надо считать последней ступенью развития, протекающего до сих пор в мире живых существ. Эта последняя ступень развития связана со способностью реакции на раздражения внешнего мира» [1, т. 2, с. 65].

Мысль эта повторяется Бодуэном неоднократно: «...церебрация, т.е. мозговой процесс, унаследованный и приобретенный путем зоологического развития и под влиянием окружения...» [1, т. 1, с. 144].

Как вообще представлял себе Бодуэн физиологический субстрат психических явлений? Констатируя, что «общественные индивидуумы... взаимно воздействуют друг на друга»⁴, он добавляет:

«Следующие условия делают это для них возможным:

1) существование нервов как психических органов человека и животных вообще;

¹ Бодуэн де Куртенэ И.А. Подробная программа лекций в 1877/78 учебном году. — Казань—Варшава, 1881. — С. 69—70.

² Baudouin de Courtenay J. Zarys historii je_zykoznawstwa czyli linguistyki (glottologii). - W., 1909. - С 89.

³ Т. II, с. 66. Выражения «дух», «одухотворенный» отнюдь не должны вводить нас в заблуждение. Ни о каком имманентном «духе» Бодуэн, конечно, не думал. Чаще всего, употребив слово «душа» (почти всегда в кавычках), он ставил запятую и добавлял «мозг».

⁴ ...За этими словами следует пояснение: «в духовном и психическом отношении» (!).

2) деление этих нервов прежде всего на нервы моторные, управляющие движениями мускулов, и на нервы сенсорные, чувственные, служащие для приема чувственных впечатлений;

3) существование нервного центра, или мозга, в котором происходит процесс соединения представлений и который регулирует ответственность и соразмерность деятельности обоих видов нервов: нервов познания и нервов движения...» [1, т. 1, с. 223].

Особенно для нас важно, в чем, по Бодуэну, сказывается регулирующая функция мозга. «Все произносительные явления сводятся к рефлексам, точнее — к ассоциациям многих рефлексов. Но что вызывает эти рефлексы?.. Двигательная инициатива может исходить здесь или "снаружи", или "изнутри"... У лягушки, даже лишенной мозговых полушарий, голосовые рефлексы может вызывать экспериментатор... Подобным же образом произносительный процесс можно было бы вызывать чисто рефлекторным путем, возбуждая нервы с помощью внешних раздражителей. Но разве это был бы язык в собственном значении этого слова?.. При подлинном языке... мы всегда можем констатировать внутреннюю инициативу "души", инициативу центробежную» [1, т. 2, с. 59]. Вообще «рефлекторный аппарат подвергается двустороннему воздействию: с одной стороны — воздействию физических, с другой — психических факторов» [1, т. 2, с. 58].

Но есть ли между этими факторами существенная, принципиальная разница, если психика есть продукт реакции на внешние раздражения? По-видимому, основная специфика психических факторов заключается для Бодуэна в том, что здесь внешние влияния как бы пропущены через мозг, опосредованы системно организованной психикой человека и, в частности, системно организованным языковым мышлением. Иначе говоря, мозг выступает в представлении Бодуэна как орган, задерживающий и преобразующий внешние воздействия в свете индивидуального и (через его посредство) исторического опыта. Это — развитие высказанной еще в начале 60-х годов мысли Сеченова, что «самый общий характер нормальной работы головного мозга... есть несоответствие между возбуждением и вызываемым им действием — движением»¹. <...>

Том «Ученых записок» Казанского университета за 1877 г. открывается замечательной речью профессора Николая Осиповича Ковалевского «Как смотрит физиология на жизнь вообще и "психическую" — в особенности», произнесенной «в торжественном годовом собрании Императорского Казанского университета 5 ноября 1876 г.»... Интересно, что завершается она следующими сло-

¹ Ковалевский Н. О. Как смотрит физиология на жизнь вообще и «психическую» в особенности // Ученые записки Императорского Казанского университета. - 1877. - XLIV. - № 1. - С. 42.

вами: «Мерительными способами боролась физиология с витализмом в физических явлениях жизни организма и поборолла ненаучную, лишь прикрывавшую человеческое познание гипотезу. Мерительными способами ей суждено рассеять мрак, господствующий в понимании психических процессов.

Первые лучи света в этом темном царстве уже блеснули. Надо только настойчивый труд — и язык чисел раскроет перед нами таинственную работу головного мозга...»¹.

Как же крепко запали в память Бодуэна эти слова, если много лет спустя, в статье «Количественность в языковом мышлении», он продолжал мечтать о создании «наивысшей математики», которая «овладеет также психическими и психическо-социальными явлениями», и думал, что «как только такая математика появится, настанет время для настоящих законов психо-социального мира вообще и прежде всего языкового мира — законов, достойно занимающих место рядом с законами точных наук» [1, т. 2, с. 324].

Печатается по изданию: *Леонтьев А. А.* Язык, речь, речевая деятельность. — М., 1969.

Литература

1. *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т. / Предисловия В. В. Виноградова и В. Дорошевского. — М., 1963. — Т. 1, 2.
2. *Chmura-Klekotowa M.* Wstęp Boudaina de Courtenay. Spostrzezenia nad jezykiem dziecka. — Wroslaw, 1974.

И.А. БОДУЭН де КУРТЕНЭ

О ПСИХИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

...Ставя вопрос, я заявляю, чтобы не было никаких недоразумений, что признаю, ибо должен признать, зависимость психических процессов от физиологического субстрата. Без мозга нет психических явлений. Если погибнет мозг индивида, — погибнет и его душа,

¹ *Ковалевский Н. О.* Как смотрит физиология на жизнь вообще и «психическую» в особенности // Ученые записки Императорского Казанского университета. - 1877. - XLIV. - № 1. - С. 42.

т. е. погибнут все психические явления, подлежащие наблюдению и зависящие от данного мозга.

Но признать эту зависимость мы можем только вообще. Отдельных конкретных связей не обнаружено до сих пор ни путем исследования, ни путем математической дедукции.

В таком случае, что же остается нам?

Неужели, не имея возможности поставить явления, зависящие от психической жизни, на физико-физиологическую основу, мы уже не имеем права претендовать на научность в этой области? Должны ли мы отказаться от объяснения на основе очевидных связей, ассоциаций представлений?

А только ассоциации причинно обуславливают эти явления.

Неужели мы должны обрекать себя на наивную психологию¹, опирающуюся на анимизм и персонификацию и соответствующую самой низшей ступени развития умственных способностей человека?

Неужели из-за невозможности причинно связать языковые явления со всемирной физической энергией языковед должен довольствоваться наивно-легендарными объяснениями возникновения языка и его дальнейших судеб, а особенно — его разнообразия?

Мы признаем взаимную зависимость физиологической стороны мозга вместе с продолжением в ней непрерывной физической энергии, с одной стороны, и мышления вместе с языком, с другой.

1) С одной стороны, мышление и язык зависят от мозга. Известно влияние алкоголя и других ядов, влияние болезней, старости, физического истощения на твердость мышления и владения языком.

Результатом обветшания мозга являются забывание и неспособность владеть языком. Фактом является также наследственность мозга и наследственность способностей, в том числе языковых.

2) С другой стороны, очевидно, умственное развитие совершенствует мозговую субстанцию.

Но так мы можем утверждать только a priori, путем логического рассуждения. У нас нет до сих пор в этой области точных исследований, основанных на наблюдении.

Итак, вообще мы можем понимать психичность как церебрационность.

Это две координаты, два параллельные, а точнее — равнобежные, одновременные, движения. Однако, что касается того, каким образом осуществляется эта равнобежность, мы ничего еще не знаем.

Самого психического напряжения мы не можем измерить, не можем применить к нему количественное мышление, так как не можем еще его объективизировать.

¹ Вроде, например, утверждений, что «человек состоит из тела и разумной души» и что составными частями души являются «разум, свободная воля, память и совесть».

В таком случае, можем ли мы заменить измерение психического напряжения измерением сопутствующих ему физиологических и физических явлений?

Ведь точно так же мы не можем прямо измерить химическую энергию, но должны только ввести соответствующий ей термический, тепловой эквивалент.

Может быть, нечто подобное удалось бы использовать для измерения психических явлений, прежде всего языковых?

Вот в том-то и дело, что нет.

То, что может сойти за такие психические явления, измеряемые с помощью физиологических эквивалентов, относится к сфере столь простых, элементарных колебаний, чувственных впечатлений и т. п., что исследования, предпринятые в этой области, можно считать лишь самым первым шагом, самой первой попыткой.

При этом такие исследователи ошибаются, подводя язык под понятие «высказываний» (Aussagen), свидетельствующих якобы об изменении психических состояний исследуемого лица.

Чтобы язык мог стать таким «высказыванием», или Aussage, в значении психофизической терминологии, он должен быть понят, т. е. должен быть церебрационно, или психически, упорядочен, в то время как другие «высказывания», например, судороги, выражения лица, жесты, даже возгласы, вызываемые ощущениями, — говорят непосредственно, сами собой.

Интересно, большой ли эффект дал бы язык исследуемого лица, если бы это был какой-нибудь иностранец с языком, непонятным для исследователя, например, для поляка — венгр или китаец, в то время как другие «высказывания» венгра или китайца будут иметь такое же значение для наблюдения, как и высказывания поляка.

Наконец, я должен еще раз отметить ошибочность отождествления психики с сознанием.

Психично не то, что является сознательным, а то, что может быть осознано как представление, понятие или группа представлений и понятий. <...>

Из различных сторон языковых явлений обратим здесь внимание на следующие:

- 1) на церебрационное, психическое существование языка,
- 2) на общение и воздействие друг на друга индивидов, объединенных посредством языка,
- 3) на возникновение индивидуального языка,
- 4) на филогенетическое становление языка,
- 5) на исторические изменения в языке.

Рассмотрим детальнее каждую из названных сторон языковой жизни.

- 1) Человеческий язык, человеческая речь существует только в мозгу, только в «душе» человека, а основная жизнь языка заключается в ассоциации представлений в самых различных направлениях:

- a) в направлении делимости предложений и слов на их составные морфологические части, или морфемы;
- b) в направлении физического и психического подчеркивания некоторых частей мыслимого и произносимого слова;
- c) в направлении представлений структуры языка, т. е. структуры предложений и слов;
- d) в направлении ассоциации собственно языковых представлений с внеязыковыми.

2) Общение и взаимное воздействие индивидов, объединенных посредством языка, основано на том, что говорящие индивиды вызывают у слушающих индивидов — посредством ощущений от физических стимулов — некоторые языковые представления в их ассоциации. То, что при этом слышится и что вызывает ощущения, — это еще не язык, это только знаки того, что дремлет в мозгу, наделенном языком. Процесс языкового общения заключается в освобождении потенциальной языковой энергии.

Так, например, в данную минуту мы общаемся с помощью языка, хотя и только односторонне. В моем мозгу, в моей «душе» приводятся психически в движение некоторые сгруппированные и упорядоченные ассоциации представлений, а эти осознанные ассоциации представлений воздействуют возбуждающе на мои нервы, руководя движениями соответствующих мышц. Как результат физиологической работы мышц возникают акустические явления — звуки, из которых в определенном порядке составляются задуманные мною слова и предложения. Ощущения, полученные от этих акустических рядов, вызывают в «душах» слушателей соответственно сложные фонетические представления, ассоциированные со свойствами им языковыми и внеязыковыми представлениями; осознание этих ассоциаций и есть понимание говорящего, т. е. одностороннее выявление постоянного языкового общения.

3) Индивидуальный язык у детей возникает вследствие целого ряда, вернее, целых рядов воздействий со стороны окружающих ребенка индивидов, принадлежащих к одному языковому коллективу. Конечным результатом этого воздействия является возникновение в «душе» нового члена данного языкового коллектива языковых ассоциаций, более или менее соответствующих ассоциациям, существующим в «душах» окружающих индивидов. Разумеется, здесь речь может идти только о приблизительном подобии, а никак не о тождестве.

Подобный процесс имеет место при изучении так называемых «иностраных» языков индивидами, уже владеющими языком.

4) Филогенетическое становление языка, т. е. возникновение языка, или речи, у всего человеческого рода, мы должны представить себе прежде всего как результат рефлексов мозга, или «духа», на раздражения внешнего мира.

При превращении дочеловека, еще не обладающего языком, в человека — носителя языка... ощущения, вызываемые внешним ми-

ром, были так сильны, что действовали сначала как бы на все чувства и приводили в движение все органы чувств и все члены тела, способные двигаться. Это вызывало рассеивание жизненной энергии, энергии физиологической, во все стороны: часть этой энергии поглощало движение мускулов, часть ее уходила на зрительные ощущения, часть — на акустические. Сумма вырабатываемой при этом теплоты и электричества была тогда несравненно большей, чем при современных языковых процессах, которым сопутствуют тепловые и электрические явления в минимальных, почти неуловимых размерах.

Постепенно происходило устранение работы других органов за счет усиления фонационно-акустической, или произносительно-слуховой, стороны. Язык многих чувств становился постепенно языком одного чувства — языком акустическим, а вернее — языком двух чувств, т. е. не только слуховым (с точки зрения слушающего), но и чувственно-осознательным (с точки зрения говорящего).

Очевидно, что, поскольку настоящий язык — явление насковзь психическое, постольку и все эти проявления первоначального языка, как и процессы, которые постепенно привели к устранению других работ и чувств и к почти исключительному господству произносительно-слуховой стороны, — все эти проявления и процессы должны быть заменены их психическими эквивалентами.

Этот процесс устранения из области языкового общения движения разных органов, а также зрительных и других ощущений, и сведения его почти исключительно к произносительным функциям и слуховым ощущениям — одно из проявлений экономии труда, свойственной всякому биологическому и психическому развитию.

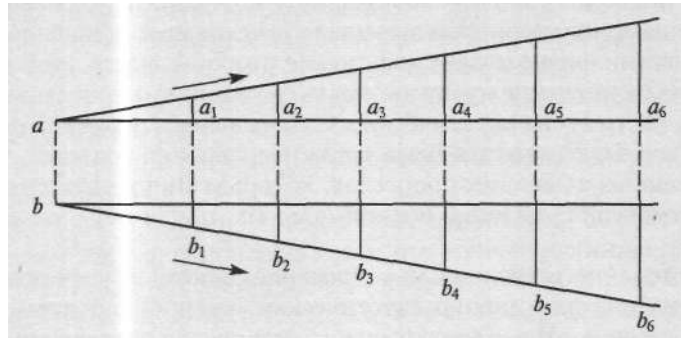
«Человечение» языка, т. е. движение множества языковых представлений в ходе исторического развития в направлении, взятом еще на заре приобщения дочеловеческих и человеческих масс к языку, стало дальнейшим продолжением этого упрощения языка и сведения его преимущественно к произносительной работе и слуховой перцепции.

5) Исторические изменения в народном и племенном языке происходят также в психической сфере.

Само церебрационное существование языка служит причиной изменений, так как связано с кумуляцией, с постепенным усилением ощущений и зависимых от них представлений.

Во всех составных частях языка мы можем констатировать места более сильные и более слабые. При этом сильные места становятся все более сильными, а места слабые — все более ослабляются, так что различие между ними постоянно растет. Происходит это во всех направлениях: в направлении произношения, в направлении фонетического и психического подчеркивания слов, в направлении структуры слов, в направлении различной интенсивности психической ассимиляции слов, т. е. влияния так называемой «аналогии», в направлении семантических ассоциаций и т. д.

Графически это можно показать следующим образом:



Пусть a и b означают два языковых представления неодинаковой интенсивности. <...>

Эти два неодинаково усиливающихся языковых представления становятся в конце концов столь различными, что одно из них кажется по сравнению с другим бесконечно малым, как, например, блеск свечи при солнечном свете или как месяц, который видим под утро, при восходе солнца, а днем, при полном блесне солнца, затемнен.

Такое исчезновение одного из языковых представлений, затемненного вследствие несравненно большего роста другого представления, лишь очень редко происходит в индивидуально-языковом развитии обособленного мозга. Но взаимное общение индивидов, составляющих данный языковой коллектив, значительно увеличивает разницу интенсивности отдельных однородных представлений.

Произносительная работа, вызванная более сильными представлениями, является источником более сильных ощущений и вызывает у слушающих индивидов представления исключительной интенсивности. Зато произносительная работа, вызванная более слабыми, тусклыми представлениями, становится источником и более слабых, чрезвычайно слабых ощущений, а иногда даже не вызывает никаких ощущений; такая слабость отнюдь не способствует возникновению соответствующих представлений в мозгу слушающих и воспринимающих индивидов.

К каким результатам приводит односторонняя кумуляция языковых ощущений, лучше всего видно на языке детей; повторение же некоторых изменений, свойственных детскому языку, в целом ряде поколений приводит к заметным результатам в народно-племенном языке.

Для объяснения позволю себе повторить здесь из предшествующей лекции примеры изменений, как минутных, случайных, так и исторических, но во всяком случае являющихся следствием психических процессов:

1) Минутные изменения — «перестановки» и т. п., например: *kran staju* вместо *stan kraju* «положение страны», *angielje koloriskie* вместо *kolonje angielskie* «английские колонии» и т. д. (ср. аналогично: «петушка и кукух» вместо «кукушка и петух». — *B.P.*).

2) Морфологическое уподобление одних форм другим на психической основе, т. е. под влиянием ассоциации представлений по сходству, например: вместо старых *siestrz-e czel-e, scieni-e* и т. п. появились новые *siostrz-e, czol-e, sciani-e* по «анalogии» с такими формами, как *siostr-a, czol-o, scian-a*.

3) Только благодаря активной ассоциации представлений может проявляться так называемая «народная этимология», т. е. подведение слов, этимологически непонятных и лишенных морфолого-семасиологической делимости, под живые и семантически выразительные корни, например: *roze-gw-a* вместо *rezergw-a* «резерв»; *bilet-yn* вместо *biuletyn* «бюллетень».

4) Только ассоциация с внеязыковыми представлениями может придавать словам вроде «консерватор», «социалист», «атеист» и т. п. способность вызывать у некоторых людей чувства гнева, отвращения, ненависти и т. д.

Конечно, кроме языка, также «правильное» чтение и письмо, связанное не только с произношением, но и с семантическими представлениями, происходит единственно путем ассоциации представлений.

1) При одинаковом звучании польские слова *moze* «может» и *morze* «море», *buk* «бук» и *bog* «бог», *mur* «стена» и *mor* «мор», или французские *beau* и *bau*, *veau*, *vauх* и *vaut*, *sent*, *sans* и *cent* и т. п. различаются на письме и в графическом восприятии (т. е. при чтении) только благодаря различным их ассоциациям с внеязыковыми представлениями.

2) При одинаковом написании может иметь место различное чтение, в зависимости от значения, благодаря ассоциациям с представлениями связей между словами и с представлениями языкового окружения.

Известно, например, сербское предложение, состоящее из четырех слов, одинаково написанных и однако различных по акценту: *gore gore gore*.

Литовский глагол *supus* имеет три значения и три различных по акценту произношения, в соответствии с различием ассоциаций с внеязыковыми представлениями.

Во всех этих случаях, как в области языка, так и в области письма, единственно возможное объяснение — объяснение с помощью гипотезы об ассоциациях представлений.

Если же допустить, что ассоциации являются только результатом работы мозга, только функцией мозга, или что они осуществля-

ются только сознательно, то надо отказаться на этой почве от всякого объяснения, от всякого научного мышления.

Принимая здесь ассоциацию представлений как самостоятельный процесс, происходящий вне сферы как физической энергии, так и физиологических функций, мы опираемся на очевидность, на непосредственное наблюдение. Понимание же мышления как чисто физиологического явления — это гипотеза, ничего в данном случае не объясняющая.

В то же время гипотеза об ассоциациях представлений объясняет любые подобные вышеприведенным языковые состояния и изменения, а этого нам должно быть достаточно.

Если со временем и обнаружится связь с динамическими изменениями или химическими изменениями в нейронах (нервных клетках), или связь с изменениями физической энергии — тем лучше. Тогда результаты обеих сфер исследований будут готовы для объединения их в одну общую научную систему.

... Еще несколько замечаний в связи с лекцией г. Козловского.

1) Г. Козловский противопоставлял естественные науки, науки о внешнем мире, наукам «гуманитарным».

Здесь я позволю себе решительно высказаться против термина «гуманитарные науки». Термин этот возник на фоне ограниченности средневековых понятий и обязан своим появлением филологам, охваченным манией величия, для которых «человек начинается только от грека».

«Гуманитарные» науки — это просто науки психические, а поскольку психика свойственна по меньшей мере всем животным, постольку эти науки можно с равным правом называть хотя бы «азинарными науками» и во всяком случае анималистическими; самое же подходящее название — термин «психические науки».

Если признавать прогресс и эволюционность в развитии физиолога-биологического мира, то и психичность как «продукт мозга» надо считать последней ступенью развития, протекшего до сих пор в мире живых существ. Эта последняя ступень развития связана со способностью реакции на раздражения внешнего мира.

Тому, что существует вне мозга, т. е., собственно говоря, вне психики человека (и животного), свойственна своя закономерность — закономерность естественных наук в широком значении этого слова. То, что существует и движется в мозгу, а собственно говоря — в психике, обладает другой закономерностью — закономерностью психических наук.

Все психические явления существуют только с живым мозгом и вместе с живым мозгом исчезают.

Иными словами: все науки как таковые психичны, но их закономерность, их сущность — различна:

а) центростремительность по отношению к мозгу определяет естественные науки,

б) центробежность по отношению к мозгу определяет науки психические, точнее говоря — психико-социальные.

Первым проявлением реакции одухотворенного мозга на внешние раздражения является мысль и язык, т. е. язык в самом широком значении этого слова, как универсальный рефлекс духа на внешние раздражения.

Как я уже упомянул выше, этот первобытный язык был языком двигательного-мимико-оптического, при сопровождении этих движений явлениями теплоты и электричества. Постепенно исключилось то, что было избыточным и, как язык в точном значении этого слова, возник, с точки зрения внешних проявлений, язык произносительно-слуховой, т. е. фонационно-аудиционный (фонационно-акустический).

2) Сознание нельзя отождествлять с психическим движением. Сознание — это только огонек, освещающий отдельные стадии этого «движения», этой последовательности изменений. <...>

Психические процессы бессознательны, но они могут быть осознаны, в то время как об осознании процессов, происходящих во «внешнем» мире, как физико-химическом, так и физиолого-биологическом, — не может быть и речи.

3) Если принимать потенциальную энергию, то следует принять также и потенциальную осознаваемость, а потенциальная осознаваемость фактически равна бессознательности.

Печатается по изданию: *Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т. — М., 1963. — Т. 2. — С. 56-66.*

ЯЗЫК И ЯЗЫКИ

{Извлечения}

Я з ы к и я з ы к и (в лингвистическом смысле) — в значении речи человеческой. Это название применяется в русском языке переносно, метафорически, причем главный, видимый орган произношения, язык, берется в значении процесса, в значении деятельности и всей совокупности речи. Подобным же образом речь человеческая названа и в разных других языках, т. е. у разных других племен и народов: по-гречески *у́л(оаса)*, по-латыни *lingua*, по-французски *langue* или *langage*, по-итальянски *lingua* или *linguaggio*, по-английски рядом с *language* тоже *tongue*, по-немецки рядом со *Sprache* тоже *Zunge* (напр. *deutsche Zunge*), по-польски *j^zyk*, по-чешски *jazyk*, по-сербо-хорватски и по-славински *jezik*, по-литовски рядом с *kalba* тоже *liezuvis*, по-латышски рядом с *waloda* тоже *mehle* (*mele*), по-

эстонски keel, по-мадьярски nyelv и т. д. Очевидно, эти и им подобные названия могли явиться только в эпоху полного, так сказать, «человечества» языка, когда язык стал для человека главным орудием произношения. В первобытном состоянии человечества, когда произношение было локализовано глубже, преимущественно в гортани, подобное распространение названия «языка» на речь человеческую вообще вряд ли могло произойти. <...>

В языке, или речи человеческой, отражаются различные мировоззрения и настроения как отдельных индивидов, так и целых групп человеческих. Поэтому мы в праве считать язык особым знанием, т. е. мы в праве принять третье знание, з н а н и е я з ы к о в о е , рядом с двумя другими — со знанием интуитивным, созерцательным, непосредственным, и знанием научным, теоретическим. В каждом языке мы можем выделять и определять наслоения и пережитки различных мировоззрений, или следовавших друг за другом в порядке хронологическом, или же отражающих собою различные стороны явлений природы и общественной жизни (наслоения религиозные, метафизические, общественные, юридические, естественно-исторические и т. д.). В тесной связи с мышлением язык может воздействовать на него или ускоряюще, или замедляюще, или усиливающим, или же подавляющим образом. Некоторые звуковые образования отражают физические отношения всего мира или же социальные (общественные) отношения человечества. Сюда принадлежат прежде всего так называемые падежи (casus) имен, из которых одни обозначают отношения пространственные и, путем метафоры, тоже временные, другие — взаимные отношения между людьми и, путем метафоры, тоже между другими существами. К падежам пространственно-временным или локально-хронологическим принадлежат: Locativus вообще, Albativus (*от лес-а*> с т-ого времен-м), Elativus (*из лес-у, из год-а в год*), Allativus (*к лес-у, к эт-ому времени*), Inessivus (*в лес-у, в год-у или в год-е*), Superessivus (*на стол-е, на эт-ой эпох-е*), Subessivus (*под стол-ом*), Sublativus (*под стол*), Superlativus (*на стол*), Abessivus (*вдали от город-а*), Instrumentalis (НОЖ-ОЖ, рук-ой...) и т. д. Падежами общественного происхождения являются: Genetivus (поле крестьянин-а, власть цар-я), в связи с местоимениями притяжательными (*мой, твой, наш, чей...*), Dativus (отц-у, дочер-у), Accusativus (бить раб-а, гнать собак-у, купить хлеб...). Мы отмечаем в языке также применение закона перспективы или эгоцентризма. Согласно этому «закону», по мере удаления от места, на котором мы сами находимся или на котором себя чувствуем, различия между предметами становятся все меньшими и все более исчезают; более отдаленное ассимилируется, и поглощается более близкое. Отсюда множество, состоящее из одного только 1-го лица (я) и из других лиц единственно только 2-х (*ты*) и 3-х (*он, она*), воспринимается как 1-е лицо множественного числа (*мы*); множество же, состоящее хотя бы только из одного 2-го лица

(ты), в соединении со многими 3-ми лицами, воспринимается как 2-е лицо множественного числа (вы). Обозначив с помощью n коэффициент любой, произвольной многократности, мы можем выразить это в следующих формулах:

$$\text{мы} = \text{я} + n. \text{ты} + n. \text{он} + n. \text{она};$$

$$\text{вы} = n. \text{ты} + n. \text{он} + n. \text{она}.$$

В вербальной (глагольной) области эгоцентризм проявляется между прочим в том, что усиленное (потенцированное) настоящее время обнимает собою не только настоящее, но вместе с тем прошлое и будущее, т. е. оно равносильно вечности и беспредельности; так, например, *птицы летают* значит, что они *летают* не только теперь, но всегда *летали* и всегда *будут летать*. Эти и подобные случаи относятся к области субъективного эгоцентризма. Эгоцентризм объективированный, эгоцентризм общественный, массовый (стадный), эгоцентризм учреждений и господствующих воззрений на взаимные отношения, с одной стороны — между людьми и другими существами, с другой — между разными группами и классами человеческого общества, отражается, например, в различной генерации языковых форм, т. е. в разнообразии категорий так называемого грамматического рода, конечно в тех языках, которым свойственно различение грамматических «родов» не только с точки зрения физиологической, с точки зрения различения двух полов и отсутствия пола (род мужской, женский, «средний»), но также с точки зрения биологической, с точки зрения различия между живыми (оживленными, одушевленными, олицетворенными) и не живыми (неоживленными, неодушевленными, неолицетворенными) существами (род «животный» и «неживотный») и, наконец, с точки зрения социальной, общественной, с точки зрения различия между властителями и собственниками, с одной стороны, управляемыми и считающимися собственностью — с другой. В случае слития в одно сложное представление — представление множественного числа — роды женский и средний ассимилируются и поглощаются родом мужским, род «неживотный» ассимилируется и поглощается родом «животным». Родом с общественной точки зрения привилегированным, т. е. пользующимся большими преимуществами (лица мужского пола как властители, как центры общественных организаций и учреждений), поглощаются другие роды, менее в этом отношении привилегированные. У русских это сказывается более на письме, нежели в языке. Сюда относится, например, преобладание именительного множественного прилагательных на *ые (ие)*, когда одной части предметов, обнимаемых этою общею формой, было бы свойственно в отдельном употреблении окончание *-ья (-ия)* (например, *добрые сыновья, добрыя дочери, добрыя дети, но добрые сыновья и дочери*). Нечто подобное замечается в употреблении форм местоимений и

числительных: *они* и *он*, *одни* и *один*. Но вообще в русском языке это мало заметно. Из других славянских языков указанный объективированный эгоцентризм последовательно осуществляется в языке польском: *dobrzy* (хорошие, добрые), *wysocy* (высокие), *ci* (те), *chodzili* (ходили), *wialali* (звали), когда эти прилагательные, местоимения и глагольные отыменные формы относятся к лицам мужского рода; когда же они относятся к предметам и существам женского и среднего рода, равно как и к животным мужского рода, тогда употребляются формы *dobrze*, *wysokie*, *te*, *chodzili*, *wolary*. Если в состав представляемой поляками множественности, состоящей хотя бы из многих миллионов предметов, животных и лиц второй категории, попадает лишь один представитель первой категории, т. е. лишь одно лицо мужского пола, тогда все это представление получает отпечаток принадлежности к первой категории и являются возможными только формы: *dobrzy*, *wysocy*, *ci*, *chodzili*, *worali*. В семитических языках род действительный, активный, передающий (*agens*, обозначающий самцов) пользуется преимуществом над родом страдательным, воспринимательным (*resipiens*), обнимающим не только предметы безродные, но и все существа женского рода.

Если язык следует считать особым родом *знания*, то он вместе с тем может представляться, с одной стороны, *действием*, *делом*, с другой — *вещью*, *предметом* внешнего мира. И то, и другое является результатом как длинной, непрерывной цепи ассоциаций по известному сходству в представлении и вызываемом через него настроении, так и смещения понятий, лежащего в основании нашего безкритичного, не аналитического, сбивчивого, сонно-бодрствующего мышления. Зародыш отождествления языка с действием, с делом, замечается, между прочим, в различии впечатления, испытываемого, с одной стороны, от похвалы и одобрения, с другой — от осуждения и порицания. Оскорбление словом, обида, клевета считаются более или менее равносильными оскорблению действием: за них полагается ответственность, дальнейшим последствием которой может быть наказание. Воззрение на язык как на действие сказывается, между прочим, в следующих русских поговорках: «Не ножа бойся, а языка», «От одного слова да на век ссора», «Бритва скребет, а слово режет», «Слово пуше стрелы разит», «За худые слова слетит и голова», «Слово слову розь: словом господь мир создал, словом Иуда предал господу» и т. п. Можно также вспомнить «государево слово и дело» в московском государстве. Более трезвый взгляд на вещи и различение понятий сказывается в поговорках, относящихся скептически к действительной силе слова и языка. Таковы, между прочим: «Языком и лаптя не сплетешь», «Не спеши языком, да не ленись делом», «Не спеши языком, торопись делом», «Языком болтай, да рукам воли не давай». Сознание большего веса письма и его превосходства над языком слышимым сказывается в поговорках: русской — «Что написано пером, не вы-

рубишь топором» и латинской — «Verba volant, scripta manent». Это было обусловлено громадной интенсивностью впечатления, произведенного на человечество в эпоху изобретения письма. Наконец, предметом, вещью слово как составная часть языка является в поговорках: «Слово — воробей, вылетит, не поймаешь», «Плевка не перехватишь, слова не воротишь», «Он за словом в карман не полезет», «Он меня так и закидывал словами» и т.д. При таком воззрении на язык не мудрено, что в первую минуту, не спохватившись сразу, можно было поверить рассказу француза, уверявшего, что в 1812 г. в России вследствие сильного мороза слова не доходили до уха слушателя, но мерзли на полпути. Воззрение на язык как на предмет внешнего мира со всеми тремя измерениями вызвало утверждение, что язык есть «организм». Все подобные преувеличения оценки языковой деятельности в разных областях общественной жизни восходят к тому моменту в жизни человечества, когда находящийся во рту язык начал действовать не только как орган разных физиологических функций (питания, очищения, лизания и т.п.), но и как орган, создающий звуки, производящие впечатление, запоминаемые и ассоциируемые со значением. Когда рычание полости гортани заменилось «артикулованными» звуками полости рта, причем языку пришлось играть первенствующую роль, громадная важность этого исторического момента подействовала на человечество столь внушительно, что вызвала целый ряд недоразумений и подчас чудовищное смешение понятий. Язык как речь человеческая отличил человека от животных. Слова получили громадную силу... и повели к идолопоклонству, к жертвоприношениям... к борьбе за «идеи», за «знамена», за «престиж». Каждое субстантивированное слово было снабжено душой, могло стать «ангелом», «заступником», даже «богом». Ассоциация представления предмета с представлением его названия повела к созданию психического, идейного эквивалента этого предмета, и этот эквивалент предмета был сочтен за его «душу». Вошли в обиход, например, «неумолимая, жестокая смерть, похищающая отца у семьи», «дух общества», «дух времени», «дух языка», — все результаты языкового мышления, объективизации языковых ассоциаций. Появились разные идола, Молохи, в жертву которым обезличенный и автоматически, по внушению предков, все одно и то же повторяющий человек приносит иногда свое счастье, свою независимость, свою жизнь, самого себя. Родились «святые слова», языковые «табу», прикосновение к которым считается святотатством и кощунством. Справедливо заметил Мультатули¹, что «миром управляют слова» (слово «мир» сужено здесь до значения человеческого общежития). Если язык в значении речи человеческой состоит из живых существ, каковыми являются отдельные слова, совмещающие в себе идею и самого предмета, и его названия, то

Мультатули — голландский писатель XIX в. — Прим. ред.

отсюда, в порядке экономического мышления, прямой выход, что слова и язык вообще имеют известную ценность и даже составляют драгоценность, со всеми последствиями обмена, спроса и предложения на всемирном рынке. Следовательно, слова молитвы могут заменять жертву более положительную, и чем больше этих слов, чем чаще они повторяются, тем более ценною становится эта жертва. Эта повело к молитвенному колесу или к ротационной (вращающейся) машине буддистов, с написанною на ней молитвой: тут графически изображенное и уже окончательно объективированное слово столько раз приносится в жертву, сколько оборотов совершает вращающееся колесо. Благодаря двойной ассоциации — ассоциации по смежности языка во рту и языка речи, ассоциации по сходству между человеческим и вообще животным языком и между языками пылающего огня — явилось представление языков бога «Огня» как посредников между молящимися жертвоприносителями — людьми — и жертвоприемателями — богами. Огонь посредством своих языков уносит в высшее пространство жертвы и мольбы и заявляет богам о желаниях смертных. Вообще название речи человеческой «языком» и присвоение языку той особенной силы и значения, на которые только что было указано, является следствием смешения понятий, ассоциационного перенесения понятия власти и руководства с центра языкового процесса на главное его орудие — правда, главное, но только орудие. При этом забывается о мозговом центре как руководителе речи человеческой. Признавая язык третьим знанием, знанием языковым, мы должны помнить, что только незначительная частичка наличных особенностей и различий физического и общественного мира обозначается в данный момент в речи человеческой. В одном языке отражаются одни группы внеязыковых представлений, в другом — другие. То, что некогда обозначалось, лишается со временем своих языковых экспонентов; с другой стороны, особенности и различия, ранее вовсе не принимаемые в соображение, в более поздние эпохи развития того же языкового материала могут получить вполне определенные экспоненты (таково, например, различие формальной определенности и неопределенности существительных, свойственное нынче романскому языковому миру, но чуждое состоянию латинского языка). Известные эпохи жизни языка благоприятствуют обнаружению одних сторон человеческой психики в ее отношении к внешнему миру, другие — обнаружению других сторон; но в каждый момент жизни каждого языка дремлют в зачаточном виде такие различия, для которых недостает еще особых экспонентов. Это столь метко Бреалем названные *idees latentes du langage* (потаенные языковые представления).

Одним из вопросов, более всего задевающим любопытство не столько, может быть, специалистов-языковедов, сколько мыслящей публики, является вопрос о начале языка, о происхождении языка в роде человеческом и об его начальном развитии. Следует разли-

чать двоякого рода начало языка: каждовременное начало индивидуального языка и начало языка филогенетическое, начало языка во всем человеческом роде. Условия того и другого совершенно различны; каждый ребенок наследует у предков языковое предрасположение, языковые способности и находит сразу людей кругом него говорящих, находит готовую языковую среду, возбуждающе на него действующую. Ни того, ни другого не было в зачаточной стадии человеческого языка вообще, т. е. в то время, когда зарождался первобытный язык. При начале развития индивидуального языка в каждой особи, начинающей говорить, происходит два параллельных процесса: 1) упражнение фонационных органов без связи со значением, без ассоциации с внеязыковыми представлениями; 2) упражнение в ассоциациях путем ориентировки в общем положении и путем выделения известных слов из сцепления других слов, с ними соединенных. Индивидуальный язык рождается и возникает вместе с мозгом, вместе с психикой каждого отдельного человека; хотя человек говорит не сразу, но он приносит с собою способность говорить, а затем, под влиянием окружающих, происходит постепенное развитие и рост данного индивидуального языка. Что касается языков племенных и национальных, то начало каждого из них восходит к зачаткам развития человеческого языка вообще. Как естественно-историческая родословная каждого человека является весьма древнею, ибо восходит не только к эпохе перерождения «долюдей» в людей, но еще дальше, к эпохе возникновения первых органических существ, точно так же, например, русский язык в своей непрерывной преемственности восходит к той отдаленной эпохе, когда лингвистические предки нынешних русских только что начинают говорить, т. е. с этой точки зрения становятся людьми. Всякий племенной или национальный язык исчезает или вследствие этнографической денационализации, т. е. принятия другого языка, или же просто вследствие прекращения существования индивидов, составляющих данное племя или народ. Различные гипотезы о способе возникновения или о начале племенных и национальных языков можно свести к трем главным воззрениям: 1) человеческому языку свойственно божественное начало и своим возникновением он обязан откровению; 2) человеческий язык является изобретением человека и сложился путем общественного договора; 3) человеческий язык произошел путем эволюции, путем постепенного, бессознательного, естественного, произвольного развития, путем восхождения от более низких ступеней человеческого развития к ступеням более высоким. Два первые воззрения, уже оставленные в серьезной науке, противоречат опыту и теоретическому человеческому мышлению. Первое воззрение обязано своим происхождением народным преданиям и легендам; лишив эти предания и легенды их подвижности и обрекши их на неподвижность, оно искало везде определенного мастера, виновника, создателя. Представители второго

воззрения принимали уже готовое человеческое общество (например, общество XVIII столетия), представляли себе как бы членов парламента, собравшихся для совещания о самом целесообразном устройстве совместной общественной жизни, и, не владея еще языком, рассуждавших, между прочим, о создании языка. Не подлежит ни малейшему сомнению, что в применении ко всем общественным учреждениям и функциям, в том числе и к языку, подобный общественный договор является лишенным всякого смысла. Единственно только третье воззрение на начало языка отличается признаками научности и находится в связи с биологическими и антропологическими гипотезами эволюционного характера. Подобным образом смотрели на происхождение языка уже некоторые философы древности — грек Эпикур и его поклонник, римский поэт Лукреций. При догадках о начале языка в роде человеческом некоторые ученые старались извлекать известные выводы из наблюдений над «языком животных», равно как и над языками «диких племен». Между тем, хотя в самом деле многим видам животных, не только с более высокою организацией (собакам, кошкам, мышам, бобрам и т. д.), но и стоящим на более низкой биологической ступени (муравьям, пчелам и т. п.), и свойственно нечто вроде языка, т. е. какие-то средства взаимного понимания, какие-то ассоциации знаменательных представлений с представлениями движений и впечатлений собственного организма, однако, с одной стороны, эти ассоциации являются более или менее постоянными и неизменяемыми, вроде различных произвольных жестов, обнаруживающих настроение, а не ассоциациями случайными, символическими (изменяющимися во времени и в пространстве), с другой стороны, насколько животными действительно издаются знаменательные звуки, эти звуки, как было указано выше, состоят из звуков по преимуществу гортанных и нечленораздельных (неартикулованных), т. е. лишены способности переходить от одних положений органов речи к другим, лишены свойства колебаться лишь в области известных, строго определенных минимумов и максимумов. Точно так же исследования «языка» обезьян не внесли света в вопрос о возникновении языка в роде человеческом. Что касается языка «диких» племен, то прежде всего следует ответить на два вопроса: 1) насколько данное состояние языка известного народа, считаемого «диким», является на самом деле состоянием первобытным? 2) является ли эта самая «дикость» действительно первобытною дикостью, и не представляет ли она, может быть, только следствие регресса, «одичания»? Рассматривая вопрос о начале языка в роде человеческом, необходимо принять во внимание, что хождение на четвереньках, сжимая и сдавливая легкие, стесняя развитие гортани, исключает возможность говорить по соображениям чисто механическим и физиологическим. Поэтому-то птицы, хотя вообще по части интеллигенции уступающие четвероногим, могут, путем подражания, приобретать известную лов-

кость в произнесении групп членораздельных (артикулованных) человеческих звуков. Для животных четвероногих это недоступно, хотя некоторые их виды (особенно собаки, с давних пор привыкшие к общению с людьми) обнаруживают более, нежели птицы, сметливость в п о н и м а н и и слов человеческого языка. Стоящие на высшей ступени биологического развития разновидности четвероруких, или обезьян, хотя и не всегда ходят на четвереньках, но производят только звуки гортанные, носовые и целортовые (т. е. действуя гортанью с ее голосовыми связками, пропуская воздух в нос и сообщая известную форму всей полости рта), без следа локализации, свойственной речи человеческой. Стоя на двух ногах, человек может смотреть прямо перед собою, может поднять голову вверх, получить космические впечатления от свода небесного во всем его разнообразии, от солнца и других небесных светил. Это стало для него неисчерпаемым источником все новых воздействий мира внешнего на все более совершенствующийся перцепционный и языко-моторный, языко-рефлекторный аппарат человеческого организма, во всей его психо-физической сложности. Ассоциация представлений движений и произведений собственного организма с представлениями впечатлений от внешнего мира или с представлениями внеязыковыми происходила в двух направлениях: 1) в направлении центробежном, равносильном с обнаруживанием чувствований (боли, радости, удивления, испуга и т. д.); 2) в направлении центростремительном, под влиянием все более обильных ощущений и впечатлений, получаемых от внешнего мира. Вообще в состав первобытного языка входили следующие элементы: 1) так называемые междометия в строгом смысле этого слова, испускаемые под влиянием чувств более или менее сильных (все равно, возбуждались ли эти чувства процессом внутри собственного организма, или же через воздействие окружающего мира). Эти междометия происходили путем простых физиологических рефлексов и носили на себе отпечаток непосредственности и необходимости. Такой отпечаток свойствен до сих пор нашим *ах! ой! о! у! ха! ха-ха-ха!* и т. п. Это была лирическая или чувствительная сторона первобытного языка; 2) звуки природы, слышимые человеком, побуждали его к подражанию, требовавшему обыкновенно целого ряда неудачных попыток, прежде чем собственным голосом можно было вызвать акустическое ощущение и впечатление, тождественное или отождествляемое с ощущением и впечатлением, получаемым от данного звука природы. Это была эпическая, или описательная, сторона первобытного языка; 3) известные неслуховые, неакустические явления могли, однако, производить впечатление в нервном центре (в мозгу) или в главном впечатлительно-чувствительном вместилище, сливавшееся с соответственными акустическими впечатлениями. Это была аналогия и гармония впечатлений акустических, получаемых от чувства слуха, с впечатлениями неакустическими, получаемыми от других чувств, равно как и с известными

ми настроениями. Отсюда ассоциация представления, образовавшегося от повторявшихся неакустических впечатлений известного рода, с представлением, вызванным через впечатления акустические; 4) к таким ассоциациям можно было доходить путем случайного совпадения впечатлений от известных внезапно замечаемых явлений с представлениями возгласов, издаваемых в виду этих явлений. Таким образом, подобный возглас мог сделаться «названием» данного неожиданного явления; 5) наконец, могли иметь место просто случайные ассоциации при взаимном общении членов человеческого общества. Какой-нибудь из индивидов, составлявших это общество, хотел дать понять другим, что он нечто заметил (например, какое-то животное, пищу, члена вражеской орды и т.п.), и произносил для этого различные звуки. Ряд издаваемых им звуков мог проходить без последствий, пока, наконец, в известный момент, по произнесении известного звука, напряженно слушавшие поняли, в чем дело, и этот момент произвел на всех участников этого своеобразного разговора столь могущественное впечатление, что представление произнесенного тогда звука ассоциировалось с представлением разгаданного и понятого явления в одно неразрывное целое, как «слово» и его «значение». Три первых рода, или класса, составных частей, или элементов, первобытного (отчасти и более позднего) языка, как происходившие путем рефлексов и вообще простой мобилизации нервов, имели характер большей или меньшей необходимости, подобно возгласам и звукам, служившим средствами взаимного общения животных; два последних класса принадлежат к категории «символов», сложившихся путем случайных ассоциаций. Подобным образом дело обстоит и с различными обычными жестами и движениями. Одни из них являются чисто рефлексивными, необходимыми, и ежечасно воспроизводятся сами собою; таковы, например, сверкание глаз в гневе, защитительное движение рукою ввиду угрожающей опасности и т. п. Другие произошли «случайно», вследствие известных условий общественной жизни, и затем передавались путем традиции. Таково, например, наклонение головы в знак подтверждения и поддакивания или же как проявление вежливости при встрече со знакомыми; оно является пережитком покорного подставления головы для того, чтобы ее отрубили или наложили на нее ошейник раба. В первобытном относительно языка состоянии человечества, при взаимном общении между собою люди не только испускали звуки, но совершали движения всем телом, делали самые разнообразные гримасы и т. д. Таким образом, избыток сильно возбужденной разговорной или изъяснительной энергии мог свободно уходить наружу; вместе с тем это давало возможность действовать одновременно и на другое чувство, являющееся по преимуществу источником обогащения нашего знания, т. е. на зрение. Пережитки этого сочетания жестов с акустическою речью мы можем наблюдать до сих пор у людей, жестикулирующих во время речи; искусные ораторы созна-

тельно прибегают к помощи жестов. Кроме того, существует особый оптический язык, язык жестов, в особенности же движений пальцев (у глухонемых, у так называемых американских индейцев). В этом оптическом языке, как и в языке акустическом, некоторые жесты произошли непосредственно, путем рефлексов, другие же ассоциировались случайно со значением. Почему, однако, у людей слышащих и у значительного большинства человеческих племен первоначальный оптически-акустический язык обратился со временем в один акустический? Почему исчезли или, по крайней мере, значительно уменьшились работы и впечатления моторно-оптические, остались же, все более усиливаясь, работы органов речи и впечатления акустические? Главною причиной этой эволюции было стремление к сбережению труда организма как со стороны деятельной, языко-производительной, так и со стороны страдательной, языко-воспринимающей. При действии разными органами и при рассеивании внимания в разных направлениях потреблялось без нужды слишком много физиологического и психического труда. Но почему оптика уступила место акустике? Оптические явления и работы нуждаются в свете, все равно, естественном или искусственном. Передача света совершается по прямым линиям и не проходит сквозь преграды, вроде хотя бы самой обыкновенной доски. Явления и работы акустического характера обходятся без света, нуждаются только в воздухе и в упругих телах, а их волны расходятся во все стороны. Поэтому при «естественном подборе» одержали верх акустические средства речи человеческой. Из предшествующего явствует, что язык, или речь человеческая, в самом тесном смысле этого слова развилась постепенно из той сложной зародышной психически-физиологической деятельности, которая с течением времени дифференцировалась: 1) на язык говоримый, по своим физиологическим последствиям принадлежащий к акустике, т. е. действующий на слух; 2) на пение, равным образом действующее на слух; 3) на эмоциональные движения, действующие по преимуществу на зрение. Если же взять язык в самом обширном смысле этого слова, как вообще средство общения людей между собою, то тогда наряду с живою слышимую речью и с видимыми жестами получим третье видоизменение языка — «язык», видимый на письме. <...>

С вопросом о начале языка тесно связан вопрос моногенезиса или же полигенезиса рода человеческого по отношению к языку, т. е. вопрос: все ли языки мира происходят от одного первобытного, или же было много первобытных языков? Начало речи человеческой — полигенетическое. Первоначально образовалось множество самых разнообразных языков, и только впоследствии это бесконечное разнообразие постепенно уменьшалось, путем ли истребления одних людских сборищ другими, или же путем взаимного сближения и уподобления. То же самое относится к индивидуальным языкам. В одной и той же семье, состоящей из нескольких детей, каж-

дому ребенку в зачатках его языкового развития может быть свойствен совсем особый язык, совсем особый говор. Но, благодаря одинаковой семейной среде и одинаковым условиям общественного языкового обмена различия между этими индивидуальными говорами постепенно сглаживаются и исчезают. Одним из научных заблуждений является отождествление языков с расою. Лингвистические предки известного племени могли принадлежать к совершенно другой расе. Лучшим доказательством этому служат, во-первых, негры, говорящие теперь в Америке по-французски или же по-английски, во-вторых — лица семитического происхождения, говорящие на самых разнообразных европейских языках. Между расою и конкретным языком нет ни малейшей связи. Мы наследуем от предков только языковые способности, языковое предрасположение вообще, и, может быть, минимальные наклонности к языковому развитию в том или другом направлении. Китайский или японский ребенок в русской среде становится русским по языку, и наоборот; но в известных мелких особенностях произношения даже через несколько поколений может сказываться происхождение известного индивида, чуждого данному племени. Еще до сих пор даже в языках очень далеко подвинувшихся повторяются иногда попытки первобытного языкового творчества, т.е. применение «новых», «выдуманных» слов для более рельефной, более выразительной передачи мысли. Даже при самом тщательном этимологическом расследовании нельзя найти «родства» для таких слов ни в своем собственном языке, ни в языках ему «родственных» или же находившихся к нему в отношении исторического взаимодействия путем предания, по прямой линии исторической преемственности, или путем заимствования. Относительно формы и строения подобные слова подчиняются господствующим морфологическим типам. Картинность, дикая поэзия, которую можно считать характеристическим признаком творческого периода языка, повторяется ныне в разных тайных и полутайных языках, о которых было сказано выше. Первичные «слова» языка были словами неопределенной формы (*mots vagues*), вроде нынешних неизменяемых словечек *бух, бултых, цап, цап-царап, щёлк, хап, фырк, шастъ, трах* и т. д. или же вроде более уже морфологически расчлененных безличных глаголов: *светлеет, гремит, мерещится, заволокло* и т. п. В таких словах продолжается по настоящее время один из древнейших слоев языкового творчества. Только впоследствии подобные общие слова развивались в различных направлениях, производя из себя имена рядом с глаголами, существительные рядом с прилагательными и т. д., причем эти различные функции могли быть или выражаемы с помощью особых морфологических показателей (*бел-ый, бел-изна, бел-еть, лет-еть*, лет, летучий; пыл, пыл-кий, пыл-ать и т. п.), или же только добываемы из связи с другими словами, как это имеет место по преимуществу в китайском языке и в значительной мере тоже в английском. Строго

говоря, только индивидуальному языку свойственно развитие, языку же племенному — история, как развитие прерываемое. История племенного языка может быть его историей, внешней или же внутренней. Внешняя история совпадает с историей судеб племени, говорящего на данном языке. Внутренняя история языка складывается из эволюции языковых представлений. В состав внешней истории языка входит, с одной стороны, распад языка на несколько разновидностей, с другой — смешение языков, их взаимное влияние и управление (исчезновение различий между ними). Языковую отрасль или же языковую семью составляют все те языки, которые предположительно можно свести к одному, некогда общему языку, точнее — к одному общему языковому состоянию; иначе говоря, языковая семья представляет собрание всех исторически родственных языков и их диалектических разновидностей. Так, например, русское языковое семейство составляют все русские говоры, не только нынешние, но тоже прошедшие и будущие, славянская языковая семья или славянская языковая отрасль равняется, в том же смысле, сумме всех славянских языковых разновидностей, ариевропейская (индоевропейская языковая семья) — всех ариевропейских языковых разновидностей. К известным языковым отраслям или семействам могут принадлежать не только целые, неделимые языки, но тоже некоторые их части и составные элементы. Так, например, русский язык, причисляемый как целое к славянской языковой семье, своими словами, усвоенными из германских языков, входит в состав германского языкового семейства. Некоторые языки даже в целом не могут считаться членами одной только языковой семьи, но должны быть причислены по крайней мере к двум. Английский язык, относящийся по преимуществу к германской группе или семье, значительной частью своих составных элементов принадлежит к романской языковой семье. Армянский язык причисляется к ариевропейской отрасли, но с тем же правом он может считаться принадлежащим к другой какой-то языковой отрасли, вроде тюрко-татарской. Аналогии с этим представляют известные индивидуальные языковые состояния. Человек, говорящий на нескольких языках, тем самым как бы принадлежит к нескольким языковым отраслям или семействам. Говоры или диалекты известного языкового общества, считаемого однородным, иначе говоря, языковой области, составляющей по отношению к языку одно сплошное целое, делятся и группируются в двух направлениях: 1) в направлении «горизонтальном», географически, топографически, как говоры разных местностей; 2) в направлении «вертикальном», в виде «наслоений», т. е. как разнообразные видоизменения того же местного говора по классам общества, по занятиям и образу жизни, по сословиям и т. п. Вообще разнообразие языков может быть рассматриваемо с трех точек зрения: 1) в отвлечении от географических и хронологических различий, с точки зрения общественных наслоений, как языки раз-

ных возрастов (дети, взрослые, старики), полов, сословий, классов общества; 2) в отвлечении от социологии и хронологии, с точки зрения географии и топографии, как разнообразие местных говоров и племенных языков; 3) в отвлечении от социологии и географии, с точки зрения хронологии, как разнообразие языковых состояний, следующих одно за другим во временной последовательности. Между всеми говорами, свойственными известной языковой области или известной языковой территории, особое место отводится прежде всего выросшему на той же почве письменному или литературному языку. Живым источником такого языка является обыкновенно говор известной части народа, известного класса, преобладающего в каком-либо отношении и имеющего перевес над прочими в церкви, в управлении, в торговле и т. п. Почти всегда такой литературный язык образуется искусственно, под влиянием родственных языков. Так, например, итальянский литературный язык, сложившийся с легкой руки Данта, никогда не был «живым» говором, никто на нем не говорил; он произошел литературным путем, под влиянием латинского языка. Немецкий литературный язык родился прежде всего в саксонских канцеляриях, под преобладающим влиянием того же латинского языка. Русский литературный язык обязан своим происхождением церковнославянскому языку. В древнейшем литературном польском языке не трудно заметить сильное влияние языков чешского, немецкого и латинского. Вследствие взаимного влияния членов того же семейства или же другой небольшой группы людей происходит смешение индивидуальных языков; вследствие же взаимного влияния племен и народов происходит смешение языков племенных. Это смешение может быть разных степеней, начиная с минимума, т. е. с соприкосновения к другим племенам без всякого видимого следа в собственном языке, и кончая максимумом, т. е. языковой денационализацией, принятием чужого языка вместо своего прежнего. Между этими двумя крайностями стоят смешанные языки, с перевесом на стороне то того, то другого языка, или с равным, одинаковым, участием обоих источников во вновь образовавшейся языковой смеси. Вообще мы можем различать следующие главные виды языкового смешения: 1) заимствования из чужого языка подвергаются в данном языке полному уподоблению; 2) заимствования не вполне ассимилируются, сохраняя отпечаток чужого происхождения; 3) два языковых элемента взаимно почти уравновешиваются, складываясь при этом в цельную однородную систему представлений; 4) смешанный язык является сочетанием обоих языков, входящих в его состав. К этой последней категории принадлежат, например, языки, происходящие из смешения китайского языка с языками европейскими: русско-китайский (кяхтинский, маймачинский), португальско-китайский, английско-китайский и т. д. Заимствование чужих языковых элементов и смешение языков вообще совершается или путем устного, непосредственного общения (напри-

мер, взаимное влияние языков польского и литовского, русского и литовского, русского и латышского, русского и немецкого, польского и немецкого, немецкого и французского, языков финно-угорских и славянских и т. д.), или путем влияния современной письменности (например, влияния французской письменности на немецкую), или путем влияния письменностей древних, изучаемых и более или менее усердно культивируемых (например, влияние арабской письменности на языки мусульманских народов, влияние письменностей греческой и римской на языки европейско-американских народов и т. д.), или, наконец, путем влияния космополитической общечеловеческой культуры и образованности (*телефон, телеграф, фонограф*, вообще техническая и научная терминология). Несомненно также влияние церкви, церковного языка, все равно, близко ли родственного данному языку или же нет (например, влияние церковнославянского языка на языки славянских народов, принадлежащих к восточной церкви, влияние того же церковнославянского языка на язык румынский, влияние церковной латыни на языки романских народов, влияние той же латыни на языки народов нероманских и т. п.). Подобное же влияние может иметь язык того же названия, т. е. как будто тот же язык, но только из прежней эпохи своего существования — язык, окостеневший в молитвах и других произведениях, носящих на себе религиозно-церковный отпечаток (например, отражение древнепольского языка в нынешних польских молитвах). Некоторые выражения перешли из молитв в обыкновенный, обиходный язык. Нельзя также отрицать влияния иноязычной школы, чужого официального или приказного языка, военной службы в армиях, состоящих из чужезычных элементов и с командой чужезычной. В истории языков наблюдается постепенное уменьшение разнообразия языков, исчезновение некоторых языков в борьбе за существование. Фактором, решающим в этой борьбе, бывает обыкновенно или большее число говорящих на известном языке и вследствие этого ассимилирующих себе племя не столь многочисленное, или же какие-либо особые преимущества побеждающего языка. При относительной одинаковости статистических и общественных условий в процессе исчезновения одного языка в пользу другого имеют более шансов удержаться и все более распространиться языки более легкие, требующие при их усваивании меньшего напряжения умственных способностей и органов произношения. Так, например, при столкновении румынский язык берет перевес над языками славянскими. Этот перевес языков более легких проявляется не только при исчезновении языков, но и при их смешении. При этом процессе пропадают тонкости и мелкие различия языка более трудного, недоступные для представителей другого племени. Морфологически подвижной акцент, свойственный языку одного из племен, смешивающихся в языковом отношении, исчезает и уступает место однообразию акцента именно под влиянием другого языка, которому раньше

была чужда подобная подвижность. Подвергшись влиянию языков без морфологически подвижного ударения, потеряли его в большей или меньшей степени языки латинский, английский, северозападные славянские языки (чешский, словацкий, польский), латышский, армянский и т. д. Подобным образом исчезает или, по крайней мере, слабеет чутье родовых различий, если одному из смешивающихся языков грамматические роды были свойственны, другому — чужды. Так, например, армянский язык, причисляемый к ариоевропейским, не имеет вовсе родов, очевидно под влиянием какого-то другого языка, вошедшего в его состав как его главный составной элемент. Неопределенного характера флексия, основанная на ассоциации различных падежных, личных, временных и т. п. представлений с представлениями известных изменений в окончаниях и внутри слова, свойственная одному из смешивающихся лингвистически племен, может быть совершенно непонятна другому племени, а это ускоряет разложение слов, появление и развитие языковой децентрализации (например, замену латинской флексии «агглютинативным» строем романских языков). Вообще можно сказать, что при смешении языков язык вновь образующийся является сложною равнодействующею, своими составными частями наклоняющеюся в сторону более легких особенностей обоих языков. Заимствование из одного языка в другой может быть заимствованием: 1) знаменательных слов; 2) синтаксических оборотов; 3) известных морфологических компонентов или морфем (например, живые русские суффиксы *-ист* и *-енция*, заимствованные из латинского и присоединяемые ко всякого рода основам, даже чисто «славянского» происхождения; *стрекулист*, *бабенция*); 4) известных частиц, партикул (русские *псевдо-*, *квази-*); 5) даже звуков или фонем. Это последнее может состоять или в введении в язык новых, прежде ему чуждых звуков и звуковых сочетаний (например, в русских говорах, имеющих вообще сжатое и взрывное *г*, *g*, появление спирантного *г*, *h* слов *благо*, *господь*, *бога* из юго-западнорусского церковного произношения), или же в чуждом, иноплеменном способе произношения звуков, раньше уже существовавших (в русской языковой области сюда, по всей вероятности, следует отнести известные видоизменения в произношении *ч*, *ш*, *ж*). Язык существует и изменяется не произвольно, не благодаря какому-то капризу, но по постоянным законам — не по «звуковым законам», ибо таковых в языке не существует и не может существовать, но по законам психическим и социологическим, причем социологию мы отождествляем с так называемою психологией народов (*Völkerpsychologie*). К выводу о постоянных «законах» языка мы приходим, с одной стороны, а priori, на основании общего научного мышления, не допускающего произвола, с другой — путем тщательных наблюдений над жизнью языка у отдельных индивидов и у разных человеческих обществ. Популярный термин «языковой обычай» (*Sprachgebrauch, usus*), как привычка всех или многих, в прак-

тической грамматике равносильна с предписанием, с правилом, в грамматике же строго научной — с языковым «законом». В практике языка, и притом во всех отделах языковой жизни, замечаются ассимиляционные и аккомодационные влияния в различных направлениях: 1) влияние того, что мы только намереваемся сказать, или же того, что только что было сказано (ассоциации по смежности или по временной последовательности); 2) влияние групп представлений, побуждаемых одновременно к обнаружению или ко «всплытию на поверхность сознания» в психически-языковом центре (ассоциации по сходству); 3) влияние слышанного от других лиц или даже того, что, по нашим соображениям, ожидается в речи этих других лиц. Как в индивидуальном, так и в племенном языке существуют различные хронологические наслоения, т. е. запоминаемые или путем предания передаваемые последствия сложного действия условий, свойственные следующим одна за другою эпохам жизни языка, но затем исчезающих и переставших действовать. Строй языка постепенно изменяется. «Агглютинация» переходит во «флексию», «флексия» перерождается в «агглютинацию» другого рода, та опять в другую «флексию», и так далее, без конца. При потере чутья делимости слов известные слова, воспринимаемые некогда сложными (*composita*), срastaются в одно неделимое целое, а это благоприятствует впоследствии различным фонетическим сокращениям и перерождениям (примеры: французские неделимые *droit*, *avoüe*, *aujourd'hui*, являющиеся историческим продолжением латинских делимых *di-re-c-t-um*, *ad-voc-a-t-us*, *ad ill-u-m di-ur-n-u-m de h-o-di-e*, русские теперь неделимые *человек*, *медведь*, *прост*, разлагавшиеся в языковом мышлении лингвистических предков нынешних русских на *чел-о-век-*, *медв-ед-* или *мед-о-ед*, *про-ст-...*). Рассматривая языки на протяжении многих тысячелетий, мы констатируем постоянные, хотя и медленные, колебания строя слов (морфологические осцилляции). В жизни языка замечается постоянный труд над устранением хаоса, разлада, нестройности и нескладицы, над введением в него порядка и единообразия. Это стремление сказывается в различных направлениях: 1) в индивидуально-языковой жизни — разнообразие детского языка (разные языки детей, принадлежащих к той же семье) исчезает, и язык детей уподобляется языку окружающих; 2) в жизни племенно-языковой — разнообразие языков все уменьшается, хотя с другой стороны происходит тоже диалектическое распадение, т. е. деление некогда одинакового языкового состояния на несколько новых разновидностей; 3) в самом языке уменьшается богатство форм обособленных, друг с другом не связанных, и его место занимает подведение под известные типы. Рядом с этим мы имеем, при известных условиях, распадение прежних единообразий на многообразие. Таково, например, в исторической фонетике распадение прежнего единообразия согласного *к* на разнообразие *к/с/ц* (*к/ч/ц*); впоследствии это новое многообразие устраняется

отчасти усилием психического труда. Мы видим здесь борьбу разнообразия природы и жизни с приводящим в порядок человеческим духом. Языковое знание, т. е. воспринимание и познание мира в языковых формах, стремится к упорядочению по известным психическим типам. Обыкновенно формы «правильные», т. е. типичные, считаются более древними и более первичными, нежели «исключения» из правил; предполагается, что исключения и неправильности развились позже, как «уклонение от правил». Между тем, по новейшему и несомненно единственному рациональному взгляду, развиваемому между прочим Вундтом, языковые «исключения» и «неправильности» представляют более древнее явление, правильности же являются следствием более позднего уподобления и выравнивания, совершенно так же, как неограниченное множество языков уменьшалось постепенно под влиянием взаимного общения племен. В развитии и истории языка и языков как речи человеческой во всем ее разнообразии и всеобщности заметно все большее удаление друг от друга двух полюсов языкового общения: 1) в самих говорящих индивидах произношение все более выходит наружу, а с другой стороны, все более одуховляется внутренняя, знаменательная сторона языка; 2) во взаимном общении жителей земного шара благодаря изобретениям вроде телеграфа, телефона и т. д. пути обмена мыслей все более удлиняются.

ФОНЕМА

Фонема (греч. φωνή, φωνήσις, «голос»), лингвистический термин: психически живая фонетическая единица. Пока мы имеем дело с преходящим говорением и слушанием, нам достаточно термина звук, обозначающего простейшую фонационную, или произносительную, единицу, вызывающую единое акустическо-фонетическое впечатление. Но если мы встанем на почву действительного языка, существующего в своей непрерывности только психически, только как мир представлений, нам уже не будет достаточно понятия звука, и мы будем искать другого термина, могущего обозначать психический эквивалент звука. Именно таким термином и является термин фонема. Произнося, напр., польское слово *poła*, мы произносим четыре звука, образующие два слога. Но произношение это оканчивается, оставляя в душе акустическо-фонетический след; оно может быть вновь воспроизведено при возбуждении и приведении в движение соответствующих ассоциаций внеязыковых представлений с представлениями языковыми. Такими языковыми представлениями являются и фонетические представления, проявления которых, физиологически и акустически завершенными, но преходящими, являются именно эти звуки и их сочетания. Представление звука *n*, произносимого с помощью переднеязыкового смычка, от-

крывания полостей носа, акустического колебания голосовых связок, без приближения средней части языка к нёбу и т.д., — представление это и есть фонема п. «Звуки», как преходящие физиологическо-акустические явления, не годятся ни для психо-фоизетических, ни для исторических сопоставлений. Так, напр., представление уменьшительности связывается не со звуками *z*, *n*, *b* произносящегося слова *pozka*, но с живущими психически представлениями этих звуков, т. е. с соответствующими фонемами. В слове *nog* — та же самая фонема *g*, что и в словах *noga*, *noga_*, *nogamī*, и разница между ними — это разница произносящихся звуков, разница не психическая, а физиологическая, зависящая от условий произношения: одной фонеме *g* соответствуют здесь два звука, *g* и ослабленный *k*. Следовательно, фонема — это единый, неделимый в языковом отношении антропофонический образ, возникший из целого ряда одинаковых и единых впечатлений, ассоциированных с акустическими и фонационными (произносительными) представлениями. Иначе говоря: фонема — это единое фонетическое представление, возникшее в душе путем психического слияния впечатлений, полученных от произнесения одного и того же звука. С единым представлением фонемы связывается сумма отдельных антропофонических представлений, являющихся как представлениями осуществленных или могущих быть осуществленными физиологических функций, так и представлениями слышанных или могущих быть слышанными результатов этих физиологических функций. Короче: фонемы — это единые, непреходящие представления звуков языка.

Печатается по изданию: *Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т. — М., 1963. — Т. 2. — С. 67-95.*

Вопросы

1. Как обосновывает И. А. Бодуэн де Куртенэ связь мышления и языка? Какими фактами из истории языка, какими фактами речи он доказывает психическую природу языка?
2. Как видит И. А. Бодуэн де Куртенэ целостность системы мысле-речевых языковых действий? Каким механизмом организован человеческий язык, речь как явление человеческой психики?
3. Почему язык, как пишет И. А. Бодуэн де Куртенэ, может воздействовать на мышление или ускоряюще, или замедляюще?
4. Какими фактами показывает И. А. Бодуэн де Куртенэ существование собственно языкового знания о мире?
5. Что является, по мысли И. А. Бодуэна де Куртенэ, «руководителем» речи человеческой?
6. Какие два параллельных процесса выделяет И. А. Бодуэн де Куртенэ в онтогенезе и филогенезе?
7. Какие три гипотезы о способе возникновения языка приводит И. А. Бодуэн де Куртенэ? Оцените их с позиции современной синергетики.

8. Как относится И. А. Бодуэн де Куртенэ к идее моногенезиса языка? Поясните решение этого вопроса с позиции синергетики.

9. О какой внешней и внутренней истории языка говорит И. А. Бодуэн де Куртенэ?

10. Какие пять групп элементов, составляющих первобытный язык, выделил И. А. Бодуэн де Куртенэ?

11. Что подлежит, по И. А. Бодуэну де Куртенэ, генетической передаче в феномене мысле-рече-языковой деятельности?

12. В какой очередности, по И. А. Бодуэну де Куртенэ, формируются в онтогенезе и филогенезе языковые формы (звуки, слова, грамматические формы)?

13. Какие социальные группы языковых состояний выделяет И. А. Бодуэн де Куртенэ?

14. Какие смешанные языковые состояния выделяет И. А. Бодуэн де Куртенэ?

15. Какие тенденции в процессе смешения языков подмечает И. А. Бодуэн де Куртенэ?

16. По каким законам происходят языковые изменения? Каких законов, по мнению И.А.Бодуэна де Куртенэ, не может быть в языке?

17. Какие влияния в практике языка и притом во «всех отделах языковой жизни» замечает И. А. Бодуэн де Куртенэ?

18. Какие факты приводит И. А. Бодуэн де Куртенэ в доказательство того, что «в жизни языка замечается постоянный труд над устранением хаоса»?

19. В каком направлении, по И. А. Бодуэну де Куртенэ, происходят изменения в языке?

20. Что такое фонема?



6. Ф.Ф.ФОРТУНАТОВ О ЯЗЫКЕ В ПРОЦЕССЕ МЫШЛЕНИЯ И В ПРОЦЕССЕ РЕЧИ

...Мы имеем право говорить об одном человеческом языке, имея в виду единство человеческой природы, т.е. общие физические и духовные явления.

Ф. Ф. Fortunatov

Филипп Федорович Fortunatov (1848 — 1914) — выдающийся русский языковед, профессор Московского университета, член Академии наук по отделению русского языка (1902), действительный член Сербской Королевской Академии (1907), доктор философии университета в Христиании (г. Осло, Норвегия, 1911), член многих зарубежных русских обществ.

Он родился в Вологде, учился в Петрозаводске и Москве, окончил Московский университет. Вся преподавательская и почти вся научная деятельность Ф.Ф.Фортунатова связана с Московским университетом. Он читал большое количество разнообразных курсов: общее языкознание, курсы по сравнительной фонетике и морфологии индоевропейских языков, старославянского языка, литовского языка, готского языка, древнеиндийского языка. Его труды по фонетике, лексикологии, этимологии, морфологии, синтаксису индоевропейских языков, общему языкознанию, синтаксису, морфологии русского языка, теории правописания — это целая эпоха в истории русского и мирового языкознания. Он создал московскую лингвистическую школу 80—90-х годов XIX века, признанную за рубежом.

В своих трудах по языкознанию Ф. Ф. Фортунатов излагал проблемы общего характера: отношения языка к процессу мышления и к процессу речи, происхождения языка, истории языка и истории общества, языка как социального явления — и специальные проблемы языковедения: ударения, образования звука, изменения форм. Анализ фактического материала он вел, исходя из продуманных положений и идей своей наработанной общей методологии, при этом важным с позиции психолингвистики являются:

установление связей языка, мышления и речи, характерных для *сложных систем*, при одновременном *различении* феноменов мышления, речи и языка: «Не трудно, конечно, сознавать важность языка для нашего мышления, но для того, чтобы вполне сознать это, надо понять, что звуки речи в словах являются для нашего мышления знаками того, что непосредственно вовсе не может быть представлено в мышлении» [1, с. 118];

выявление нелинейности процесса *взаимодействия* мышления и языковой системы: «...не только язык зависит от мышления, но и мышление, в свою очередь, зависит от языка; при посредстве слов мы думаем и о том, что без тех или других слов не могло бы быть представлено в нашем мышлении, и точно так же при посредстве слов мы получаем возможность думать так, как не могли бы думать при отсутствии знаков для мышления, по отношению именно к обобщению и отвлечению предметов мысли» [1, с. 120];

внимание к человеческой природе феномена языка: «Язык как совокупность знаков для мышления и для выражения мысли и чувствований может быть не только языком слов, материалом для которого служат звуки речи, но он может быть также и языком жестов и мимики, и такой язык существует в человечестве рядом с языком слов» [1, с. 125];

обращение к речевому акту: «...значения звуковой стороны языка в речи состоят для говорящего в способности представлений произносимых звуков речи (с их видоизменениями в процессе речи) являться представлениями выразителей наших духовных явлений для другого лица, следовательно, представлениями знаков наших духовных явлений для другого лица...» [1, с. 123].

Научное наследие Ф. Ф. Фортунатова представляет ценность для лингвистики и, в значительной степени, для психолингвистики в силу цельности его исходных позиций, глубины проведенных исследований и полученных результатов. О точности извлечения им фактического материала из первоисточников пишет профессор М.Н.Петерсон [1, с. 6, 7], вспоминает профессор В.Поржезинский: «...общими свойствами всех курсов Фортунатова, равно как и вообще всего его научного творчества, были: поразительная точность в определении самих фактов, служивших материалом для исследования, необычайная глубина анализа и острота мыслей,

позволявшие проникать глубоко в самую суть явлений и не пропускавшие мельчайших деталей, ускользавших от внимания других исследователей...» [2].

Достижения Ф. Ф. Фортунатова в области выявления механизма языковой системы («Наука не довольствуется определением... обобщением фактов, наука стремится узнать причину и связь явлений» [3]) важны для психолингвистики, потому что языковая система организует работу мозга, а механизм языка наработан адекватно структуре мозга. Для теории и практики речевой деятельности (как и специально для лингвистики) ценно разработанное Ф. Ф. Фортунатовым учение о **форме слова**, которая может иметь, а может и не иметь звукового выражения (например, *дом—домЩЩ*), может быть формой **словоизменения**, которая «по самому своему значению... предполагает присутствие другой формы» (как, например, формы лица, наклонения, времени у глагола, падежа у существительных и прилагательных), или формой **словообразования** (как формы числа у существительных, формы уменьшения у существительных и прилагательных). Принципиальным для психолингвистики является и различие совершенного и несовершенного вида соответственно как *определенного* и *неопределенного*; различие формы словосложения и формы словосочетания; разработка учения о словосочетании; различие грамматического анализа и логического анализа суждения. Также важны наблюдения Ф. Ф. Фортунатова над изменениями звуков, движением звуков в слове и открытый им (независимо от Ф. де Соссюра) закон движения ударений в слове от начала к концу слова в славянских и балтийских языках под воздействием акутовой интонации: *ворон-ворона; гйка—рука* (в форме/туку сохранилось начальное ударение). Существенно для анализа явлений языка в психолингвистическом плане проведенное Ф. Ф. Фортунатовым различие собственно фонетических изменений звуков и звуковых изменений по аналогии в формах слов (морфологической аналогии); собственных изменений значений и изменений под влиянием другого языка. Важно и сделанное им различие внешней и внутренней истории языка: если внешняя история связана с формами общественной жизни людей, то внутренняя, по Ф. Ф. Фортунатову, зависит от каждого отдельного индивидуума.

Цельность научных исканий Ф. Ф. Фортунатова в области языка как одной из сторон мысле-рече-языкового единства дала возможность еще более углубиться в изучение разных сторон этой сложной системы действия человека.

Литература

1. Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды: В 2 т. — М., 1956. — Т. 1.
2. Поржезинский В. Филипп Федорович Фортунатов. — М., 1914. — С. 17-18.

ЗНАЧЕНИЕ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ В ЯЗЫКЕ

(Извлечения)

... Указав на природу звуковой стороны языка, я перейду теперь к определению природы значений звуковой стороны в языке.

Язык, как мы знаем, существует главным образом в процессе мышления и в нашей речи, как в выражении мысли, а кроме того, наша речь включает в себе также и выражение чувствований. Язык представляет поэтому совокупность знаков главным образом для мысли и для выражений мысли в речи, а кроме того, в языке существуют также и знаки для выражения чувствований. Рассматривая природу значений в языке, я остановлюсь сперва на знаках языка в процессе мышления, а ведь ясно, что слова для нашего мышления являются известными знаками, так как, представляя себе в процессе мысли те или другие слова, следовательно, те или другие отдельные звуки речи или звуковые комплексы, являющиеся в данном языке словами, мы думаем при этом не о данных звуках речи, но о другом, при помощи представлений звуков речи, как представлений знаков для мысли.

Наше мышление состоит из духовных явлений, называемых представлениями, в их различных сочетаниях, и из чувства соотношения этих представлений. Представлением, как известным духовным явлением, называют тот след ощущения, который сохраняется некоторое время после того, как не действует уже причина, вызвавшая ощущение, и который впоследствии может воспроизводиться по действию закона психической ассоциации. Все наши духовные явления (как первичные, называемые ощущениями, так и различные сложные чувствования, а равно и самые представления) способны воспроизводиться по действию этого закона, а именно: духовные явления смежные, т. е. получаемые в опыте вместе или в непосредственной преемственности, способны впоследствии воспроизводить одно другое, и точно так же духовные явления, сходные между собою, способны воспроизводить впоследствии одно другое. Т. е. как скоро, например, получены были в опыте два духовные явления А и Б в непосредственной преемственности, то впоследствии, когда, например, опять получится духовное явление А, оригинальное или воспроизведенное, оно способно будет воспроизвести при себе и духовное явление Б. Точно так же, как скоро были получены в опыте духовные явления А и Б, хотя не в непосредственной преемственности, но сходные, то впоследствии, например, духовное явление А, оригинальное или воспроизведенное, способно будет вызвать при себе и духовное явление Б. Я вижу, например, снег и слышу звуко-

вой комплекс *снег*, который для меня, положим, еще не является словом. Впоследствии, когда я увижу опять снег или когда у меня явится представление снега, то вместе с тем способно будет воспроизвестись и ощущение звукового комплекса *снег*, полученное прежде вместе с зрительным ощущением снега. Точно так же, когда я услышу впоследствии такой звуковой комплекс или получу представление этого звукового комплекса, то способно будет явиться и представление снега. Или, например, когда я вижу или представляю себе снег, я могу получить при этом, по действию психической ассоциации, также и представление другого предмета (т. е. воспроизведение ощущений другого предмета), сходного со снегом, равно как и наоборот, ощущение или представление другого предмета, сходного со снегом, способно вызвать за собою представление снега.

Итак, духовные явления связываются между собою, ассоциируются по смежности или по сходству, т. е. два духовные явления, полученные в опыте или как смежные, или как сходные, способны впоследствии воспроизводить одно другое. Что же значит: «способны воспроизводить»? Это выражение имеет тот смысл, что духовные явления, связанные между собой смежностью или сходством, воспроизводят в действительности одно другое, как скоро в данный момент не препятствуют какие-нибудь другие условия. Какие же условия могут здесь препятствовать? Это, во-первых, могут быть условия психические, духовные, заключающиеся в действии того же закона психической ассоциации, т. е. одно действие этого закона может уничтожаться другим действием того же закона. Например, несмотря на то, что в предшествующем опыте духовные явления А и Б связаны были между собой, положим, непосредственной преемственностью, т. е. смежностью, тем не менее впоследствии, когда возникает духовное явление А (как оригинальное или как воспроизводное), оно может воспроизвести при себе не духовное явление Б, а какое-нибудь третье духовное явление Д, которое в прежнем опыте также было дано в сочетании с духовным явлением А, хотя и не с Б. Таким образом, одно действие психической ассоциации уничтожает собою другое действие психической ассоциации: духовное явление Д в нашем примере получит большую силу или потому, что в прежнем опыте духовное явление Д чаще, чем Б, давалось в сочетании с духовным явлением А, или потому, что оно было сильнее. Таким образом, по отношению к психическим условиям действия закона ассоциации духовных явлений мы можем дополнить теперь этот закон так: чем чаще сочетаются в опыте известные духовные явления или чем сильнее они в этом сочетании, тем больше они способны воспроизводить впоследствии одно другое, и наоборот, чем реже они сочетаются в опыте или чем слабее духовные явления в этом сочетании, тем менее способны они воспроизводить впоследствии одно другое.

Я говорил до сих пор об условиях психических, духовных, препятствующих действительному воспроизведению в данный момент

известного духовного явления, по закону психической ассоциации; но условия, препятствующие проявлению действия этого закона, могут быть также и физические. Явления духовные не должны быть смешиваемы с явлениями физическими, но вместе с тем нельзя упускать из виду того, что для существования духовных явлений требуются известные физические условия. Всякое ощущение предполагает физическое изменение в нервной системе, в свою очередь, связанное с другими физическими условиями жизни; следовательно, и при воспроизведении духовных явлений по закону психической ассоциации требуются известные физические условия существования духовных явлений, хотя бы физические условия для воспроизведения духовных явлений не совпадали с физическими условиями оригинальных духовных явлений. Закон психической ассоциации, следовательно, получает тот смысл, что духовные явления, смежные или сходные, действительно воспроизводят одно другое, насколько это допускают в данный момент физические условия воспроизведения духовных явлений.

Как бы то ни было, не все наши ощущения одинаково легко воспроизводятся, быть может, по физическим условиям, а к ощущениям, легко воспроизводимым, принадлежат именно ощущения з р и т е л ь н ы е, с л у х о в ы е и различные м у с к у л ь н ы е. Представления, существующие в нашем мышлении, заключают в себе поэтому главным образом различные сочетания воспроизводимых зрительных, слуховых и мускульных ощущений. Звуки речи, являющиеся в словах, по их образованию представляют собой известные движения наших органов, именно органов речи, управляемые нашей волей, и образование их вызывает в нас известные мускульные ощущения, именно ощущения движений этих органов. Когда я произношу, например, *и*, я получаю известное мускульное ощущение. Точно так же, когда я произношу, например, звуковое сочетание *на*, я получаю известные мускульные ощущения. Как скоро звуки речи образуются мною с достаточной силой, результат производимых мною движений органов речи, т. е. то, что мы называем собственно звуками речи, вызывает во мне слуховые ощущения звуков речи, точно так же, как я получаю слуховые ощущения звуков речи, производимых не мною, но другим лицом. И мускульные и слуховые ощущения принадлежат, как я говорил, к числу ощущений, легко воспроизводимых, т. е. слуховые ощущения звуков речи и ощущения движений органов речи легко воспроизводятся, а воспроизведение этих ощущений составляет то, что мы называем представлениями звуковой стороны слов; а так как по психическим условиям воспроизведения всяких ощущений являются тем легче, чем чаще такие ощущения воспроизводятся, то потому по отношению к нам, уже владеющим языком, понятно то, что представления слов в их звуковой стороне должны занимать выдающееся место среди наших представлений, хотя отсюда еще не видно, почему такие представления явля-

ются у нас представлениями знаков для мысли. Вместе с представлениями звуковой стороны слов способны возникать и самые движения органов речи, образующие данные звуки. Действительно, каждый знает по собственному опыту, что когда мы представляем себе звуковую сторону слов, мы при этом нередко невольно образуем и самые движения органов речи, хотя бы и очень слабые, которые, однако, могут становиться и настолько сильными, что мы невольно произносим слова вслух. Самая связь известного представления звуковой стороны слов с известными движениями органов речи не зависит от нашей воли, а участие нашей воли по отношению к этим движениям проявляется в том, что мы можем задерживать эти движения или давать им ту силу, какая требуется для образования звуков речи, произносимых вслух, хотя, как я заметил уже, звуки слов, произносимые вслух, могут образоваться и помимо нашей воли. Почему же с представлениями звуковой стороны слов соединяются у нас и соответственные движения органов речи? Мы видели, что в состав представлений звуковой стороны слов входят воспроизведения ощущений движений органов речи, а ощущения движений органов речи (и потому и воспроизведения этих ощущений) по самой природе связаны, понятно, с движениями органов речи. Кроме того, по закону психической ассоциации образуется связь и между слуховыми ощущениями звуков речи и теми движениями, которые производят эти звуки, так как закон психической ассоциации распространяется и на сочетание наших духовных явлений и наших движений, т. е. как скоро в опыте соединяются по смежности известное духовное явление и известное наше движение, впоследствии одно из них способно воспроизвести при себе другое по действию психической ассоциации. А так как в то время, когда мы произносим слова вслух, с движениями органов речи соединяются для нас в опыте и слуховые ощущения данных звуков, то потому и при воспроизведении этих слуховых ощущений способны воспроизводиться и те движения органов речи, которые образуют данные звуки. Итак, представления звуковой стороны слов состоят в воспроизведении мускульных и слуховых ощущений звуков речи, причем способны воспроизводиться и те движения органов речи, которые образуют эти звуки.

Что же делает эти представления представлениями слов, т. е. представлениями звуков речи как знаков для мысли? Процесс мышления состоит в образовании чувства соотношения между представлениями как частями одной цельной мысли. Как ощущение есть ощущение того или другого предмета ощущения, как представление есть представление того или другого предмета мысли, так чувство соотношения между частями мысли есть чувство соотношения предметов данной мысли. Вместе с известными представлениями, как частями данной мысли, могут являться другие представления, как такие спутники их, которые связаны с ними действием психической ассоциации. Когда я думаю, например, о белизне снега, вместе с пред-

ставлениями снега и белого цвета в различных предметах, как частями этой мысли, я могу получить, например, представления звуковых комплексов *белый*, *снег*, связавшиеся в прежнем опыте (по закону психической ассоциации) с представлениями снега и белого цвета в предметах. Здесь представления звуковых комплексов *белый*, *снег* могут быть еще не представлениями слов, т. е. не представлениями знаков для мысли, а простыми спутниками непосредственных представлений предметов данной мысли. Как скоро, однако, в процессе данной мысли представления самих предметов этой мысли не воспроизводятся, а являются воспроизводимыми лишь представления, сопутствующие им, эти сопутствующие представления, как части данной мысли, являются заместителями, представителями остающихся невоспроизведенными представлений самих предметов этой мысли. Например, в моей мысли могут связываться представления звуковых комплексов *белый* и *снег* так, что при этом частями данной мысли являются лишь эти представления, между тем как связь их между собою в этой мысли принадлежит им не самим по себе, но как спутникам остающихся невоспроизведенными представлений предметов этой мысли. Итак, представления являются в мышлении заместителями других представлений, т. е. представлениями знаков для мышления, как скоро связь их между собой, как частей данной мысли, принадлежит им не самим по себе, но как спутникам остающихся невоспроизведенными других представлений. Значения звуковой стороны слов для мышления состоит, следовательно, в способности представлений звуковой стороны слов сочетаться между собой в процессе мышления в качестве заместителей, представителей других представлений в мысли, а поскольку представления звуков слов являются заместителями других представлений в мысли, постольку представляемые звуки слов являются знаками для мысли, именно знаками как того, что дается для мышления (т. е. знаками предметов мысли), так и того, что вносится мышлением (т. е. знаками тех отношений, которые открываются в мышлении между частями ли мысли или между целыми мыслями).

Из того, что сказано мною о происхождении представлений знаков для мысли, т. е. как заместителей других представлений в мысли, вы видите, что для такого существования представлений вовсе не требуется непосредственная по происхождению связь между представляемыми знаками и тем, что ими обозначается. Действительно, значения слов в любом языке по большей части таковы, что между данными звуками слова и тем, что ими обозначается, не существует непосредственной связи; всякий звук речи или всякий комплекс их сам по себе одинаково способен иметь в языке всякие значения. Например, нет, понятно, ничего общего между ощущениями сладкого и горького вкуса и звуками слов *сладкий*, *горький*. Правда, что связь представлений слов с ощущениями и с представлениями обозначаемых словами предметов мысли столь тесная (вследствие ука-

занных мною причин), что в том или другом случае может казаться, будто между данными звуками слова и тем, что ими обозначается, существует непосредственная по происхождению связь: например, иному может представляться, будто между звуками слова *сладкий* и ощущением сладкого вкуса существует какое-то сходство. Понятно, что в особенности тот, кто знает только свой родной язык, способен получить такие обманчивые впечатления; для такого лица, например, и звуки слова *снег* являются как бы естественным обозначением снега. В действительности же лишь очень немногие слова в языке, и притом не играющие в нем значительной роли, имеют непосредственную по происхождению связь их звуков с обозначаемыми предметами мысли, или, иначе говоря, с ощущениями или представлениями предметов мысли; таковы именно те слова, которые называются звукоподражательными и которые в произносимых звуках речи обозначают звуки, сходные с ними. Подобно тому как по отношению к существующим языкам мы видим, что слова звукоподражательные (и притом именно действительно звукоподражательные по происхождению, а не те, которые могут казаться нам такими) составляют лишь незначительное меньшинство в языке и не играют в нем видной роли, точно так же и по отношению к эпохе первого образования человеческого языка мы не имеем никакого основания думать, будто первые слова в языке были именно слова звукоподражательные. Для первого появления языка требовалась известная степень развития способности произносить различавшиеся между собою членораздельные звуки речи (как бы число этих звуков ни было незначительно) в соединении с известным развитием духовных способностей.

Не трудно, конечно сознавать важность языка для нашего мышления, но для того чтобы вполне сознать это, надо понять, что звуки речи в словах являются для нашего мышления знаками того, что непосредственно вовсе не может быть представляемо в мышлении. Предметы мысли, обозначаемые словами, частью даются в наших ощущениях, частью образуются в мысли путем отвлечения и комбинирования между собою принадлежностей, данных в известных уже нам предметах мысли, и т. д. Понятно, что об отвлеченных предметах мысли мы не можем думать иначе, как при посредстве тех или других знаков, вследствие невозможности иметь непосредственные представления таких предметов; но если мы остановимся и на таких словах, которые обозначают ощущения и их предметы, то увидим, что и эти слова обозначают или то, что при этом не представляется непосредственно в нашем мышлении, или то, что не может быть представляемо в мышлении таким, каким обозначается в слове.

Я говорил, что все наши представления по происхождению являются воспроизведениями ощущений, хотя не все ощущения одинаково легко воспроизводятся в представлениях; поэтому даже и в числе слов, обозначающих наши ощущения и их предметы, существуют

слова, обозначающие то, что мы обыкновенно при быстроте мысли не представляем непосредственно рядом с представлением такого слова, или то, что даже и не могли бы при данных условиях непосредственно представить в мышлении. Например, слово *холод* обозначает такой предмет мысли, который, по крайней мере при известных физических условиях, не может быть, я думаю, непосредственно представляем в нашем мышлении, а между тем думать о холоде мы можем всегда, и именно потому, что самое это слово *холод* является в представлении знаком этого предмета мысли, или, иначе сказать, представление этого слова (известного комплекса звуков) есть для нас заместитель непосредственного представления данного предмета мысли. Вместе с тем и по отношению к словам, обозначающим предметы мысли такого рода, что они могут быть легко представляемы непосредственно в нашем мышлении, например по отношению к словам, обозначающим предметы зрительных ощущений, мы не можем не заметить, что эти предметы не могли бы быть представляемы непосредственно в нашем мышлении, какими по большей части они обозначаются словами (отсюда исключаются те слова, которые принадлежат к собственным именам). Все наши ощущения, а потому и представления, индивидуальны; я могу иметь, например, зрительные ощущения той или другой индивидуальной березы (в соединении с известными мускульными ощущениями движения органов зрения), могу иметь и непосредственные представления той или другой индивидуальной березы, не подобно тому, как я не вижу какой-то общей березы (в одних лишь общих свойствах различных берез), точно так же я не могу иметь и представления такой общей березы, а между тем представление комплекса звуков *береза* является в моем мышлении представлением знака, общего для всех индивидуальных берез, или, иначе сказать, предмет мысли, обозначаемый данным словом *береза*, есть какая бы то ни было индивидуальная береза в тех ее свойствах, какие являются у нее общими с другими березами. Или, например, я не могу получить зрительных ощущений каких-либо видимых признаков, свойств, существующих в предметах, вещах, не получая в то же время зрительных ощущений этих вещей, имеющих данное свойство, и точно так же поэтому я не могу иметь и зрительных представлений видимых признаков, свойств вещей отдельно от зрительных представлений тех вещей, которым принадлежат эти признаки, свойства. Например, я не могу ни видеть, ни представить в уме (следовательно, не имею ни зрительных ощущений, ни зрительных представлений) белый цвет, не видя в то же время или не представляя себе тех или других предметов, которые имеют белый цвет, а между тем представление звукового комплекса *белый* (или представления звуковых комплексов *белая*, *белое*) является в моем мышлении представлением знака, отдельного от знаков тех или других предметов, которые имеют белый цвет, иначе сказать, предмет мысли, обозначаемый этим словом *белый*, есть от-

дельное свойство белого цвета, существующее у каких бы то ни было предметов, имеющих белый цвет.

Из данных мною примеров, я думаю, не трудно уяснить себе, что не только язык зависит от мышления, но что и мышление, в свою очередь, зависит от языка; при посредстве слов мы думаем и о том, что без тех или других знаков не могло бы быть представлено в нашем мышлении, и точно так же при посредстве слов мы получаем возможность думать так, как не могли бы думать при отсутствии знаков для мышления, по отношению именно к обобщению и отвлечению предмета мысли. Знаки языка для мысли становятся в процессе речи знаками для выражения мысли или ее части, именно — непосредственно знаками для выражения той мысли или ее части, в состав которой входят представления произносимых слов. Мы знаем, что с представлениями звуковой стороны слов в нашем мышлении соединяются независимо от нашей воли (см. выше) движения органов речи, образующие представляемые нами звуки слов и являющиеся, как скоро они образуются с достаточной силой, выражениями, обнаружениями наших мыслей. В процессе речи как намеренного выражения мыслей говорящие сознают, чувствуют связь мыслей, в состав которых входят представления слов, с движениями органов речи, образующими звуки представляемых слов, и дают этим движениям по воле надлежащую силу, под влиянием побуждения, обнаружить, обозначить мысль для другого лица, причем, следовательно, представления произносимых звуков речи (существующих в данных словах) являются для говорящего представлениями выразителей его мысли или части мысли для другого лица, т. е. представлениями звуков, способных вызвать в другом лице духовные явления, желаемые лицом, говорящим свою мысль.

Так как знаки языка для мысли являются вместе с тем знаками для выражения мысли в речи, то потому и в мышлении эти знаки могут быть, между прочим, знаками для мысли, выражаемой в речи, причем заключают в себе, следовательно, и обозначение тех различий, какие существуют в речи, как в выражении мысли, а эти различия образуются различиями в чувствованиях, соединяющихся с процессом речи (например, речь может быть вопросительною). В таких случаях, значит, предметами мысли, обозначаемыми знаками языка, являются предметы речи, как выражения мысли.

Знаки языка в процессе речи являются главным образом знаками для выражения мысли или ее части, но вместе с такими знаками существуют в речи также и знаки языка для выражения чувствований; к этим знакам принадлежат слова-междометия (например, *ах!* *ай!* вопросительное *а?*, а также, например, *боже!* и др.). Существование в языке известных звуков речи или звуковых комплексов как знаков для выражения чувствований предполагает собою употребление тех же звуков речи или звуковых комплексов как невольных выражений тех же чувствований. Мы знаем, что наши чувствования

соединяются с движениями, образуемыми нами, и что связь наших чувствований и движений частью основывается на условиях организма, частью создается действием психической ассоциации; как скоро, например, в опыте наше ощущение А соединяется с таким нашим движением, которое по его происхождению не зависит от данного ощущения, то впоследствии, когда явится опять ощущение А или воспроизведение этого ощущения, при нем способно будет возникнуть (если не будут препятствовать другие условия) то же движение, хотя бы в слабой степени. Наши движения, как спутники чувствований, представляют собою по отношению к чувствованиям выражения, обнаружения этих чувствований. К таким выражениям чувствований в движениях принадлежат, между прочим, и движения органов речи, но пока эти движения являются невольными, те звуки речи или звуковые комплексы, какие образуются ими, не служат, понятно, какими-либо знаками языка, не принадлежат языку; но они становятся знаками языка, именно знаками для выражения чувствований, как скоро мы сознаем в таких случаях связь известного чувствования с известными движениями органов речи и как скоро мы даем этим движениям, по нашей воле, достаточную силу, под влиянием стремления выразить, обозначить чувствования для другого лица, причем, следовательно, представления произносимых нами звуков речи являются для нас представлениями выразителей наших чувствований для другого лица, т. е. представлениями звуков, способных вызвать в другом лице желаемые нами духовные явления.

Знаки языка в речи как в выражении мысли и чувствований могут заключать в себе такие видоизменения в произнесении их (например, видоизменения так называемого тона речи, см. ниже), которые сами служат знаками для выражения различий в чувствованиях, соединяющихся с знаками языка в речи; например, известные видоизменения в тоне речи при произношении одного и того же слова могут быть знаками для выражения различия между речью вопросительною и не вопросительною, или, например, известное видоизменение в тоне речи может служить знаком для выражения чувства гнева и т. д. Эти знаки, образующие видоизменения знаков языка в речи, представляют собою, следовательно, сами знаки речи, как произнесения знаков языка. Существование знаков речи в знаках языка предполагает собою существование тех же видоизменений речи, как невольных выражений различных чувствований, соединяющихся с знаками языка в речи, но эти невольные выражения чувствований не образуют, понятно, каких-либо знаков для говорящих и становятся знаками тогда, когда говорящие сознают связь известного чувствования, соединяющегося с знаками языка в речи, с известным видоизменением речи, как с выражением этого чувствования, и когда они по воле образуют это видоизменение речи под влиянием стремления выразить, обозначить для другого лица известное чувствование, причем, следовательно, получают представление известного видоизме-

нения речи, как выразителя известного чувствования, соединяющегося с знаками языка в речи.

Так как выражения наших чувствований в знаках языка и в знаках речи сами могут входить в состав предметов мысли, т. е. так как предметами мысли могут быть предметы речи, то потому такие знаки могут являться в нашей речи, между прочим, и для выражения чувствований, представляемых говорящим, не испытываемых им в данное время, т. е., например, известное видоизменение речи, выражающее чувство гнева, может служить, между прочим, знаком и для выражения представляемого говорящим чувства гнева.

Итак, значения звуковой стороны языка в речи состоят для говорящего в способности представлений произносимых звуков речи (с их видоизменениями в процессе речи) являться представлениями выразителей наших духовных явлений для другого лица, следовательно, представлениями знаков наших духовных явлений для другого лица, а мы видели, какие именно условия требуются для существования таких представлений.

Представления знаков языка могут вступать в такие отношения между собою, при которых известная принадлежность звуковой стороны, общая различным знакам, однородным по значению в известном отношении, может сознаваться как изменяющая известным образом значения тех знаков, с которыми соединяется, т. е. как образующая данные знаки из других знаков (не имеющих этой принадлежности звуковой стороны) с известным видоизменением их значения. Например, в представлениях русских слов *несчастье*, *неправда* и т. п. звуковой комплекс *не* может сознаваться нами как изменяющий известным образом значения слов *счастье*, *правда* и т. п. (именно как обращающий данное значение в противоположное) и, следовательно, как образующий данные слова из слов *счастье*, *правда* и т. п., с известным видоизменением их значения. Или, например, в представлениях русских слов *руку*, *ногу*, *воду* и т. п. звук *у* в конце может сознаваться как изменяющий известным образом значения, данные в словах *рука*, *нога*, *вода* и т. п., а также, например, в словах *руке*, *ноге*, *воде* и т. п., и, следовательно, как образующий слова *руку*, *ногу*, *воду* из слов *рука*, *нога*, *вода*, а также, например, *руке*, *ноге*, *воде*, с известным видоизменением значения и вместе с тем, в этих случаях, и с известным видоизменением самих слов (см. далее). Такие принадлежности звуковой стороны знаков языка, которые сознаются (в представлениях знаков языка) как изменяющие значения тех знаков, с которыми соединяются, и потому как образующие данные знаки из других знаков, являются, следовательно, сами известного рода знаками в языке, именно знаками с так называемыми формальными значениями; неформальные значения знаков языка в их отношении к формальным значениям языка называют значениями материальными (т. е. дающими материал для изменений, образуемых знаками языка с формальными значениями), или также

реальными. Итак, формальные значения в языке состоят в способности представлений части звуковой стороны знаков языка быть выделяемыми в качестве представлений таких принадлежностей знаков языка, которые образуют денные знаки из других знаков, изменяя значения последних. Из тех примеров, какие я дал для формальных значений в языке, вы можете видеть, что делимость знаков языка по составу, по образованию на принадлежности с формальным и с неформальным значением может быть двоякого рода. Во-первых, та принадлежность, та часть такого знака, которая имеет неформальное (материальное) значение, может существовать в языке сама по себе как отдельный знак: например, отдельное слово *правда* по отношению к *правда* в *неправда*. Во-вторых, принадлежность знака, имеющая неформальное (материальное) значение, может быть такою, которая дана в языке в другом знаке или в других знаках, т. е. не как отдельный знак, но в качестве лишь принадлежности знака или знаков, имеющей неформальное значение, т. е. в соединении с другою принадлежностью, представляющею формальное значение, или в соединении с другими принадлежностями, представляющими формальные значения: например, *рук-*, *ног-* в *руку*, *ногу* по отношению слов *руку*, *ногу* к словам *рука*, *нога* или, например, *руке*, *ноге*. В случаях последнего рода знаки языка заключают в себе так называемые формы, т. е., например, слова *руку*, *ногу* заключают в себе известную форму, по делимости на части *рук-*, *ног-*, с неформальным (материальным) значением, и на общую им часть *-у*, с формальным значением.

Язык, как совокупность знаков для мышления и для выражения мысли и чувствований, может быть не только языком слов, т. е. языком, материалом для которого служат звуки речи, но он может быть также и языком жестов и мимики, и такой язык существует в человечестве рядом с языком слов. Предметом изучения в языковедении служит именно язык слов, который по самой природе звуков речи способен достигать гораздо большего совершенства сравнительно с языком жестов и мимики, но чтобы понять физические и духовные условия, делающие возможным появление языка, необходимо принимать во внимание и другие выражения мыслей и чувствований в наших движениях.

Печатается по изданию: *Фортунатов Ф. Ф.*
Избранные труды: В 2 т. — М., 1956. — Т. 1.

Вопросы

1. На основании чего Ф.Ф.Фортунатов рассматривает процесс мышления неразрывно с процессом речи? Можно ли отсюда сделать вывод о единстве мысли, речи и языка?
2. Какие языковые реалии выделяет Ф. Ф. Фортунатов при рассмотрении участия языка в процессе мышления?

3. Какой феномен, важный для выполнения мысле-рече-языкового действия, в интерпретации Ф.Ф.Фортунатова, представлен как **чувствование**, в отличие от мышления!

4. Как описывает Ф.Ф.Фортунатов явление функциональной само-согласованности мысле-рече-языкового действия?

5. Как объясняет Ф.Ф.Фортунатов целесообразность изменения звуковых форм языковых знаков?



7. ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР О РАЗЛИЧИИ ЯЗЫКА И РЕЧИ

(К проблематике соотношения мысли,
речи и языка)

...Отдельный человек сам по себе не способен
создать вообще ни одной значимости...

Ф. де Соссюр

Фердинанд де Соссюр (1857—1913) — знаменитый швейцарский языковед, профессор университетов в Париже и Женеве, предтеча структурализма в языкознании, автор работы «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» [1, с. 287 — 562], положившей начало сравнительно-историческим исследованиям, основанным на систематическом анализе совокупности имеющихся фактов [1, с. 289], — свои взгляды сформулировал в лекциях, прочитанных в Женеве в течение 1906—1911 гг. и изданных уже без авторской коррекции его учениками Ш. Балли, А. Соше и А. Ридингером как «Курс общей лингвистики» в 1916 г. [см. 1, с. 9-29].

Ценность идей, высказанных в цикле лекций по общему языкознанию Ф. де Соссюра, состоит в установлении *противоположений*, организующих исследование языкового материала, дихотомий: языка/речи, синхронии/диахронии, означающего/означаемого (при рассмотрении языкового знака) — в самом требовании *систематики*. При рассмотрении речевого акта он также противопоставляет активную часть (говорение) «пассивной» части

говорения (слушанию); по Ф.де Соссюру, «наконец, внутри локализуемой в мозгу психической части можно называть экзекутивным все то, что активно (П -> О), и рецептивным все то, что пассивно (О -> П)» [1, с. 52].

Для психолингвистики среди этих противоположений наиболее существенно различие языка и речи: «Язык не деятельность (fonction) говорящего. Язык — это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим; он никогда не предполагает преднамеренности, и сознательно в нем проводится лишь классифицирующая деятельность...

Наоборот, речь есть индивидуальный акт воли и разума; в этом акте надлежит различать: 1) комбинации, в которых говорящий использует код (code) языка с целью выражения своей мысли; 2) психофизический механизм, позволяющий ему объективировать эти комбинации» [1, с. 52].

Противопоставленные у Ф.де Соссюра в определенном отношении явления языка и речи, данные нам непосредственно в речи, находятся в сложном соотношении. Термины **язык**, **речь** по отношению к внеязыковым явлениям (по Ф.де Соссюру, *предметам, вещам*) применяются не жестко и в различных языках не имеют точного соответствия [см. 1, с. 52], так что справедливо сетование Ф.де Соссюра в «Курсе общей лингвистики»: «...плохо, когда при определении вещей исходят из слов» [1, с. 52].

Наиболее конструктивно в лингвистике Ф.де Соссюра понимание языка как социального явления: «...способность к ассоциации и координации, которая обнаруживается, как только мы переходим к рассмотрению знаков в условиях взаимосвязи; именно эта способность играет важнейшую роль в организации языка как системы (свойство самосогласованности сложных саморегулирующихся систем на материале языка. — В. К.)... чтобы верно понять эту роль, надо отойти от речевого акта как явления единичного, которое представляет собою всего лишь зародыш речевой деятельности, и перейти к языку как явлению социальному» [1, с. 51]. На этом пути развивается целое научное направление, близкое психолингвистике, — **лингвистическая семиология** — «наука, изучающая жизнь знаков в рамках жизни общества», — «психолингвистика», идущая не от человека, порождающего речь и языковую продукцию, но от языка как продукта общественной деятельности человеческого рода. Ф.де Соссюр стремился определить содержательную, предметную область использования языкового знака в качестве объекта научного исследования, направленного на выявление специфических особенностей функционирования языковой системы, отделив ее от речи как частного явления.

Научно-педагогическая деятельность Ф.де Соссюра оказала сильное воздействие на лингвистические искания XX века [см. 2], может быть, потому, что необходимость в оформлении психо-

лингвистики как самостоятельного научного направления уже в его время осознавалась особенно остро¹.

Литература

1. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. — М., 1977. — С. 7-286.
2. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. — М., 1997. — С. 28.

Ф.де СОССЮР

КУРС ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКИ

(Извлечения)

Глава IV

ЯЗЫКОВАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

§ 1. Язык как мысль, организованная в звучащей материи

Для того чтобы убедиться в том, что язык есть не что иное, как система чистых значимостей, достаточно рассмотреть оба взаимодействующих в нем элемента: понятия и звуки.

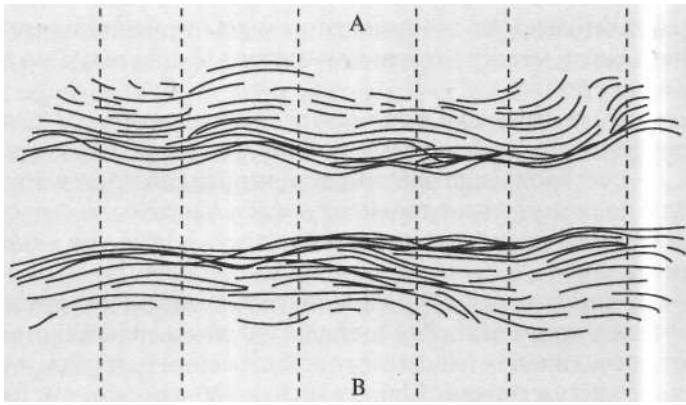
В психологическом отношении наше мышление, если отвлечься от выражения его словами, представляет собою аморфную, нерасчлененную массу. Философы и лингвисты всегда сходились в том, что без помощи знаков мы не могли бы с достаточной ясностью и постоянством отличать одно понятие от другого. Взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто четко не разграничено. Пред-установленных понятий нет, равным образом как нет никаких различий до появления языка.

¹ Неслучайно на его научное творчество лингвисты-исследователи отозвались шуточной песенкой:

Фердинанд де Соссюр был большой бедокур,
Отделил он язык от субстанции.
И затеял он спор, этот спор до сих пор
Мы ведем меж собой без устанции.

Через сему, сему — раз,
И фонему-нему — два,
И лексему — три, четыре
Без устанции!

И. М. Распопов



Но быть может, в отличие от этой расплывчатой области мысли расчлененными с самого начала сущностями являются звуки как таковые? Ничуть не бывало! Звуковая субстанция не является ни более определенной, ни более устоявшейся, нежели мышление. Это — не готовая форма, в которую послушно отливается мысль, но пластичная масса, которая сама делится на отдельные части, способные служить необходимыми для мысли означающими. Поэтому мы можем изобразить язык во всей его совокупности в виде ряда следующих друг за другом сегментаций, произведенных одновременно как в неопределенном плане смутных понятий (А), так и в столь же неопределенном плане звучаний (В). Все это можно весьма приблизительно представить себе в виде схемы [см. рис.].

Специфическая роль языка в отношении мысли заключается не в создании материальных звуковых средств для выражения понятий, а в том, чтобы служить посредствующим звеном между мыслью и звуком, и притом таким образом, что их объединение неизбежно приводит к обоюдному разграничению единиц. Мысль, хаотичная по природе, по необходимости уточняется, расчленяясь на части.

Язык можно называть областью членораздельности... Каждый языковый элемент представляет собою *artifculus* — вычлененный сегмент, в котором понятие закрепляется определенными звуками, а звуки становятся знаком понятия.

Язык можно также сравнить с листом бумаги. Мысль — его лицевая сторона, а звук — оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав и оборотную. Так и в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли; этого можно достигнуть лишь путем абстракции, что неизбежно приведет либо к чистой психологии, либо к чистой фонологии.

Лингвист, следовательно, работает в пограничной области, где сочетаются элементы обоего рода; *это сочетание создает форму, а не субстанцию.* <...>

В действительности значимости целиком относительны, вследствие чего связь между понятием и звуком произвольна по самому своему существу.

Произвольность знака в свою очередь позволяет нам лучше понять, почему языковую систему может создать только социальная жизнь. Для установления значимостей необходим коллектив; существование их оправдывает только обычай и общее согласие; отдельный человек сам по себе не способен создать вообще ни одной значимости.

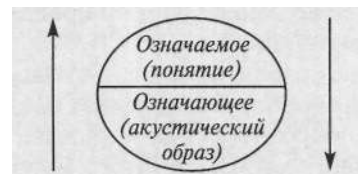
Определенное таким образом понятие языковой значимости показывает нам, кроме того, что взгляд на член языковой системы как на простое соединение некоего звучания с неким понятием является серьезным заблуждением. Определять подобным образом член системы — значит изолировать его от системы, в состав которой он входит; это ведет к ложной мысли, будто возможно начинать с членов системы и, складывая их, строить систему, тогда как на самом деле надо, отправляясь от совокупного целого, путем анализа доходить до составляющих его элементов. <...>

§ 2. Языковая значимость с концептуальной стороны

Когда говорят о значимости слова, обыкновенно и прежде всего думают о его свойстве репрезентировать понятие — это действительно один из аспектов языковой значимости. Но если это так, то чем же значимость отличается от того, что мы называем *значением*? Являются ли эти два слова синонимами? Мы этого не думаем, хотя смешать их легко, тем более что этому способствует не столько сходство терминов, сколько тонкость обозначаемых ими различий.

Значимость, взятая в своем концептуальном аспекте, есть, конечно, элемент значения, и весьма трудно выяснить, чем это последнее отличается от значимости, находясь вместе с тем в зависимости от нее. Между тем этот вопрос разяснить необходимо, иначе мы рискуем низвести язык до уровня простой номенклатуры.

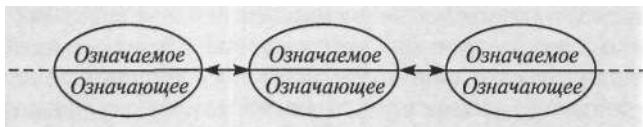
Возьмем прежде всего значение, как его обычно понимают и как мы его представили выше.



Как показывают стрелки на схеме, значением является то, что находится в отношении соответствия (*contre-partie*) с акустическим образом. Все происходит между акустическим образом и понятием в пределах слова, рассматриваемого как нечто самодовлеющее и замкнутое в себе.

Но вот в чем парадоксальность вопроса: с одной стороны, понятие представляется нам как то, что находится в отношении соответствия с акустическим образом внутри знака, а с другой стороны, сам этот знак, то есть связывающее оба его компонента отношение, также и в той же степени находится в свою очередь в отношении соответствия с другими знаками языка.

Раз язык есть система, все элементы которой образуют целое, а значимость одного элемента проистекает только от одновременного наличия прочих, согласно нижеследующей схеме, то спрашивается, как определенная таким образом значимость может быть спутана со значением, то есть с тем, что находится в соответствии с акустическим образом?



Представляется невозможным приравнивать отношения, изображенные здесь горизонтальными стрелками, к тем, которые выше, на предыдущей схеме, изображены стрелками вертикальными. Иначе говоря, повторяя сравнение с разрезаемым листом бумаги, мы не видим, почему отношение, устанавливаемое между отдельными листами А, В, С, D и т. д., не отличается от отношения, существующего между лицевой и оборотной сторонами одного и того же листа, а именно А: А', В: В' и т. д.

Для ответа на этот вопрос прежде всего констатируем, что и за пределами языка всякая значимость [именуемая в этом случае ценностью] всегда регулируется таким же парадоксальным принципом. В самом деле, для того чтобы было возможно говорить о ценности, необходимо:

- 1) наличие какой-либо *непохожей* вещи, которую можно *обменивать* на то, ценность чего подлежит определению;
- 2) наличие каких-то *сходных* вещей, которые можно *сравнивать* с тем, о ценности чего идет речь.

Оба эти фактора необходимы для существования ценности. Так, для того чтобы определить, какова ценность монеты в 5 франков, нужно знать: 1) что ее можно обменять на определенное количество чего-то другого, например хлеба, и 2) что ее можно сравнить с подобной ей монетой той же системы, например с монетой в один франк, или же с монетой другой системы, например с фунтом стерлингов и т. д. Подобным образом и слову может быть поставлено в соответствие нечто не похожее на него, например понятие, а с другой стороны, оно может быть сопоставлено с чем-то ему однородным, а именно с другими словами. Таким образом, для определения значимости слова недостаточно констатировать, что оно может быть сопоставлено с тем или иным понятием, то есть что оно имеет то или иное значение; его надо, кроме того, сравнить с подобными ему значимо-

стями, то есть с другими словами, которые можно ему противопоставить. Его содержание определяется как следует лишь при поддержке того, что существует вне его. Входя в состав системы, слово облечено не только значением, но еще главным образом значимостью, а это нечто совсем другое.

Для подтверждения этого достаточно немногих примеров. Французское слово *mouton* «баран», «баранина» может совпадать по значению с английским словом *sheep* «баран», не имея с ним одинаковой значимости, и это по многим основаниям, в частности потому, что говоря о приготовленном и поданном на стол куске мяса, англичанин скажет *mutton*, а не *sheep*. Различие в значимости между англ. *sheep* и франц. *mouton* связано с тем, что в английском наряду с *sheep* есть другое слово, чего нет во французском.

Внутри одного языка слова, выражающие близкие понятия, ограничивают друг друга: синонимы, например *redouter* «опасаться», *craindre* «бояться», *avoir peur* «испытывать страх», обладают значимостью лишь в меру взаимного противопоставления; если бы не существовало *redouter*, то все его содержание перешло бы к его конкурентам. И наоборот, бывают слова, обогащающиеся от контакта с другими словами: например, новый элемент, приводящий в значимость *decrepit* (*un vieillard decrepit* «дряхлый старик»), появляется в силу наличия рядом с этим словом другого слова — *decrepi* (*un mur decrepi* «облупившаяся стена»). Итак, значимость любого слова определяется всем тем, что с ним связано; даже у слова со значением «солнце» вряд ли возможно установить непосредственно его значимость, если не принять в соображение все то, что связано с этим словом; есть языки, в которых немислимо, например, выражение «сидеть на *солнце*».

Сказанное выше о словах имеет отношение к любым явлениям языка, например к грамматическим категориям. Так, например, значимость французского множественного числа не покрывает значимости множественного числа в санскрите, хотя их значение чаще всего совпадает: дело в том, что санскрит обладает не двумя, а тремя числами («мои глаза», «мои уши», «мои руки», «мои ноги» имели бы в санскрите форму двойственного числа); было бы неточно приписывать одинаковую значимость множественному числу в санскритском и французском языках, так как в санскритском языке множественное число употребляется не во всех тех случаях, где оно употребляется во французском; следовательно, значимость множественного числа зависит от того, что находится вне и вокруг него [в системе].

Если бы слова служили для выражения заранее данных понятий, то каждое из них находило бы точные смысловые соответствия в любом языке; но в действительности это не так. По-французски говорят *louer* (*une maison*) как в смысле «снять (дом)», так и в смысле «сдать (дом)», тогда как в немецком языке употребляются для этого два слова — *mieten* «снять» и *vermieten* «сдать», — так что точ-

ного соответствия значимостей не получается. Немецкие глаголы *schatzen* «ценить» и *urteilen* «судить» представляют совокупность значений, соответствующих в общем и целом значениям французских слов *estimer* «ценить» и *juger* «судить»; однако во многих случаях точность этого соответствия нарушается.

Словоизменение представляет в этом отношении особо поразительные примеры. Столь привычное нам различие времен чуждо некоторым языкам: в древнееврейском языке нет даже самого основного различия прошедшего, настоящего и будущего. В прагерманском языке не было особой формы для будущего времени; когда говорят, что в нем будущее передается через настоящее время, то выражаются неправильно, так как значимость настоящего времени в прагерманском языке не равна значимости его в тех языках, где наряду с настоящим временем имеется будущее время. Славянские языки последовательно различают в глаголе два вида: совершенный вид представляет действие в его завершенности, как некую точку, вне всякого становления; несовершенный вид — действие в процессе совершения и на линии времени. Эти категории затрудняют французца, потому что в его языке их нет; если бы они были предустановлены [вне зависимости от языка], таких затруднений бы не было. Во всех этих случаях мы, следовательно, находим вместо заранее данных *понятий значимости*, вытекающие из самой системы языка. Говоря, что они соответствуют понятиям, следует подразумевать, что они в этом случае чисто дифференциальны, то есть определяются не положительно — своим содержанием, но отрицательно — своими отношениями к прочим членам системы. Их наиболее точная характеристика сводится к следующему: быть тем, чем не являются другие.

Отсюда становится ясным реальное истолкование схемы знака.

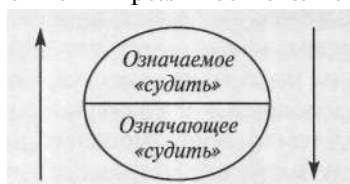


Схема означает, что понятие «судить» связано с акустическим образом *судить*, — одним словом, схема иллюстрирует значение. Само собой разумеется, что в понятии «судить» нет ничего изначального, что оно является лишь значимостью, определяемой своими отношениями к другим значимостям того же порядка, и что без них значение не существовало бы. Когда я ради простоты говорю, что данное слово что-то означает, когда я исхожу из ассоциации акустического образа с понятием, то я этим утверждаю то, что может быть верным лишь до некоторой степени и что может дать лишь частичное представление о действительности; но я тем самым ни в коем случае не выражаю языкового факта во всей его сути и во всей его полноте.

§ 3. Языковая значимость с материальной стороны

Подобно концептуальной стороне, и материальная сторона значимости образуется исключительно из отношений и различий с прочими элементами языка. В слове важен не звук сам по себе, а те звуковые различия, которые позволяют отличать это слово от всех прочих, так как они-то и являются носителем значения.

Подобное утверждение способно породить недоумение, а между тем иначе в действительности и быть не может. Поскольку нет звукового образа, отвечающего лучше других тому, что он должен выразить, постольку очевидно уже а priori, что любой сегмент языка может в конечном счете основываться лишь на своем несовпадении со всем остальным. *Произвольность* и *дифференциальность* суть два коррелятивных свойства.

Изменяемость языковых знаков является хорошим свидетельством этой коррелятивности. Каждый из членов отношения *a: B* сохраняет свободу изменяться согласно законам, независимым от его знаковой функции именно потому, что *a* и *B* по самой своей сути не способны проникнуть как таковые в сферу сознания, которое всегда замечает лишь различие *a: B*. Русский родительный падеж множественного числа *рук* не отмечен никаким положительным признаком, а между тем пара форм *рука: рук* функционирует столь же исправно, как и предшествовавшая ей исторически пара *рука: рукъ*, и это потому, что в языке важно лишь отличие одного знака от другого: форма *рука* имеет значимость только потому, что она отличается от другой формы.

Другой пример еще лучше показывает, сколь важна системность в этом функционировании звуковых различий. В греческом языке *erhen* — имперфект, а *esten* — аорист, хотя обе формы образованы тождественным образом; объясняется это тем, что первая из них принадлежит к системе настоящего времени изъявительного наклонения глагола *phemi* «говорю», тогда как настоящего времени **stemi* не существует; между тем именно отношение *phemi: erhen* и отвечает отношению между настоящим временем и имперфектом (ср. *deiknumi* «показываю» : *edeiknun* «я показывал»). Указанные знаки функционируют, следовательно, не в силу своей внутренней значимости, а в силу своего положения относительно других членов системы.

К тому же звук, элемент материальный, не может сам по себе принадлежать языку. Для языка он нечто вторичное, лишь используемый языком материал. Вообще, все условные значимости характеризуются именно этим свойством не смешиваться с чувственно воспринимаемым элементом, который служит им лишь опорой. Так, ценность монеты определяет отнюдь не металл: серебряное эцю номинальной ценой в пять франков содержит в себе серебра лишь на половину обозначенной суммы; она будет стоить несколько больше

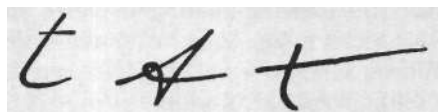
или несколько меньше в зависимости от вычеканенного на ней изображения, в зависимости от тех политических границ, внутри которых она имеет хождение. В еще большей степени это можно сказать об означающем в языке, которое по своей сущности отнюдь не является чем-то звучащим; означающее в языке бестелесно, и его создает не материальная субстанция, а исключительно те различия, которые отграничивают его акустический образ от всех прочих акустических образов.

Этот принцип имеет столь существенное значение, что он действует в отношении всех материальных элементов языка, включая фонемы. Каждый язык образует слова на базе своей системы звуковых элементов, каждый из которых является четко отграниченной единицей и число которых точно определено. И каждый из них характеризуется не свойственным ему положительным качеством, как можно было бы думать, а исключительно тем, что он не смешивается с другими. Фонемы — это прежде всего оппозитивные, относительные и отрицательные сущности.

Доказывается это той свободой, которой пользуется говорящий при произнесении того или иного звука при условии соблюдения границ, которыми данный звук отделяется от других. Так, например, по-французски почти всеобщее обыкновение произносить картавое г не препятствует отдельным лицам произносить его раскатисто; язык от этого ничуть не страдает; он требует только различения, а отнюдь не того, как можно было бы думать, чтобы у каждого звука всегда было неизменное качество. Я даже могу произносить французское г как немецкое ch в словах *Vach, doch* и т. п., но по-немецки я не могу произнести ch вместо г, так как в этом языке имеются оба элемента, которые и должны различаться. Так и по-русски не может быть свободы в произношении t наподобие t' (смягченного t), потому что в результате получилось бы смешение двух различаемых в языке звуков (ср. говорить и говорит), но может быть допущено отклонение в сторону th (придыхательного t), так как th отсутствует в системе фонем русского языка.

Поскольку такое же положение вещей наблюдается в иной системе знаков, каковой является письменность, мы можем привлечь ее для сравнения в целях лучшего уяснения этой проблемы. В самом деле:

- 1) знаки письма произвольны; нет никакой связи между написанием, например, буквы t и звуком, ею изображаемым;
- 2) значимость букв чисто отрицательная и дифференциальная: одно и то же лицо может писать t по-разному, например:



соблюдая единственное условие: написание знака t не должно смешиваться с написанием l, d и прочих букв;

3) значимости в письме имеют силу лишь в меру взаимного противопоставления в рамках определенной системы, состоящей из ограниченного количества букв. Это свойство, не совпадая с тем, которое сформулировано в п. 2, тесно с ним связано, так как оба они зависят от первого. Поскольку графический знак произволен, его форма малосущественна или, лучше сказать, существенна лишь в пределах, обусловленных системой;

4) средство, используемое для написания знака, совершенно для него безразлично, так как оно не затрагивает системы (это вытекает уже из первого свойства): я могу писать буквы любыми чернилами, пером или резцом и т. д. — все это никак не сказывается на значении графических знаков.

§ 4. Рассмотрение знака в целом

Все сказанное выше приводит нас к выводу, что *в языке нет ничего, кроме различий*. Вообще говоря, различие предполагает наличие положительных членов отношения, между которыми оно устанавливается. Однако в языке имеются только различия *без положительных членов системы*. Какую бы сторону знака мы ни взяли, означающее или означаемое, всюду наблюдается одна и та же картина: в языке нет ни понятий, ни звуков, которые существовали бы независимо от языковой системы, а есть только смысловые различия и звуковые различия, проистекающие из этой системы. И понятие и звуковой материал, заключенные в знаке, имеют меньше значения, нежели то, что есть вокруг него в других знаках. Доказывается это тем, что значимость члена системы может изменяться без изменения как его смысла, так и его звуков исключительно вследствие того обстоятельства, что какой-либо другой смежный член системы претерпел изменение.

Однако утверждать, что в языке все отрицательно, верно лишь в отношении означаемого и означающего, взятых в отдельности; как только мы начинаем рассматривать знак в целом, мы оказываемся перед чем-то в своем роде положительным. Языковая система есть ряд различий в звуках, связанных с рядом различий в понятиях, но такое сопоставление некоего количества акустических знаков с равным числом отрезков, выделяемых в массе мыслимого, порождает систему значимостей; и эта-то система значимостей создает действительную связь между звуковыми и психическими элементами внутри каждого знака. Хотя означаемое и означающее, взятые в отдельности, — величины чисто дифференциальные и отрицательные, их сочетание есть факт положительный. Это даже единственный вид фактов, которые имеются в языке, потому что основным свойством языкового устройства является как раз сохранение параллелизма между этими двумя рядами различий.

Некоторые диахронические факты весьма характерны в этом отношении: это все те бесчисленные случаи, когда изменение означа-

ющего приводит к изменению понятия и когда обнаруживается, что в основном сумма различаемых понятий соответствует сумме различающих знаков. Когда в результате фонетических изменений два элемента смешиваются (например, франц. *decrepit* при лат. *decrepitus* и франц. *descrepi* при лат. *crispus*), то и понятие проявляет тенденцию к смешению, если только этому благоприятствуют данные. А если слово дифференцируется, как, например, франц. *chaise* «стул» и *chaire* «кафедра»? В таком случае возникшее различие неминуемо проявляет тенденцию стать значимым, что, впрочем, удастся далеко не всегда и не сразу. И наоборот, всякое концептуальное различие, усмотренное мыслью, стремится выразить себя в различных означающих, а два понятия, более неразличаемые в мысли, стремятся слиться в одном означающем.

Если сравнивать между собой знаки, положительные члены системы, то говорить в данном случае о различии уже больше нельзя. Это выражение здесь не вполне подходит, так как оно может применяться лишь в случае сравнения двух акустических образов, например *отец* и *мать*, или сравнения двух понятий, например понятия «отец» и понятия «мать». Два знака, каждый из которых содержит в себе означаемое и означающее, не различны (*different*), а лишь различимы (*distinct*). Между ними есть лишь *противопоставление*. Весь механизм языка, о чем речь будет ниже, покоится на такого рода противопоставлениях и на вытекающих из них звуковых и смысловых различиях.

То, что верно относительно значимости, верно и относительно единицы. Последняя есть сегмент в речевом потоке, соответствующий определенному понятию, причем как сегмент, так и понятие по своей природе чисто дифференциальны.

В применении к единице принцип дифференциации может быть сформулирован так: *отличительные свойства единицы сливаются с самой единицей*. В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу.

Из того же принципа вытекает еще одно несколько парадоксальное следствие: то, что обычно называют «грамматическим фактом», в конечном счете соответствует определению единицы, так как он всегда выражает противопоставление членов системы; просто в данном случае противопоставление оказывается особо значимым. Возьмем, например, образование множественного числа типа *Nacht*: *Nachte* в немецком языке. Каждый из членов этого грамматического противопоставления (ед. ч. без умлаута и без конечного *e*, противопоставленное мн. ч. с умлаутом и с *e*) сам образован целым рядом взаимодействующих противопоставлений внутри системы; взятые в отдельности, ни *Nacht*, ни *Nachte* ничего не значат; следовательно, все дело в противопоставлении. Иначе говоря, отношение *Nacht*:

Nachte можно выразить алгебраической формулой $a: B$, где a и b являются результатом совокупного ряда отношений, а не простыми членами данного отношения. Язык — это, так сказать, такая алгебра, где имеются лишь сложные члены системы. Среди имеющихся в нем противопоставлений одни более значимы, чем другие; но «единица» и «грамматический факт» — лишь различные названия для обозначения разных аспектов одного и того же явления: действия языковых противопоставлений. Это до такой степени верно, что к проблеме единицы можно было бы подходить со стороны фактов грамматики. При этом нужно было бы, установив противопоставление *Nacht: Nachte*, спросить себя, какие единицы участвуют в этом противопоставлении: только ли данные два слова, или же весь ряд подобных слов, или же a и a , или же все формы обоих чисел и т.д.?

Единица и грамматический факт не покрывали бы друг друга, если бы языковые знаки состояли из чего-либо другого, кроме различий. Но поскольку язык именно таков, то с какой бы стороны к нему ни подходить, в нем не найти ничего простого: всюду и всегда он предстает перед нами как сложное равновесие обуславливающих друг друга членов системы. Иначе говоря, *язык есть форма, а не субстанция*. Необходимо как можно глубже проникнуться этой истиной, ибо все ошибки терминологии, все наши неточные характеристики явлений языка коренятся в том невольном предположении, что в языке есть какая-то субстанциальность.

Печатается по изданию: *Де Соссюр Ф.*
Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. — М., 1977. - С. 7 — 286.

Вопросы

1. Какую роль отводит Ф.де Соссюр языку по отношению к мысли?
2. Какие свойства языка как формы, организующей мысль, отмечает Ф.де Соссюр?
3. Какое функциональное свойство языковых форм обнаруживается при различении Ф.де Соссюром значимости и значения, регламентированного системой языка?
4. Какие важные для системных лингвистических исследований противоположения (дихотомии) установил Ф.де Соссюр?



8. Л.В.ЩЕРБА О СИСТЕМЕ ЯЗЫКА И РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Идеалом была для меня всегда замена схоластики, механического разбора — живой мыслью, наблюдением за живыми фактами языка, думаньем над ними... То, что я вам сейчас скажу, не только не должно являться для вас последним словом... но оно и для меня не является последним словом... Я иду вперед, и для меня ясно, что то, что я сейчас думаю, не окончательная стадия.

Л.В.Щерба

Лев Владимирович Щерба (1880—1944) — выдающийся российский лингвист, ученик И.А.Бодуэна де Куртенэ, один из основоположников теории фонемы, член-корреспондент АН СССР (1924 г.) и академик АН СССР (1943 г.), академик АПН РСФСР (1944 г.), профессор Бестужевских женских курсов (с 1912 г.), профессор Ленинградского университета (с 1916 г.).

В своей автобиографии Л. В. Щерба так очертил круг своих лингвистических интересов: «Интересы мои: теория языка вообще. Занимался особенно много фонетикой и отчасти синтаксисом» [1, с. 31]. Л.В.Щерба во всем, что бы он ни писал, всегда оставался общим языковедом. В любом, казалось бы, самом незначительном факте он умел видеть отражение свойств, характерных для языка вообще, что, однако, не означало пренебрежения к своеобразию каждого языка. Как пишет В.В.Виноградов, «...интенсивное, тончайшее исследование отдельных языковых структур

казалось Л. В. Щербе самым надежным и верным путем для решения большей части общелингвистических проблем» [2, с. 163]. Л. В. Щерба шел к общей теории, опираясь на факты.

Своеобразие научной позиции Л. В. Щербы состоит в том, что исследование всякой языковой структуры было связано с погружением личного сознания в духовный мир носителей данной языковой системы. Л. В. Щерба назвал такой метод *субъективным*. Основное «требование субъективного метода, являющегося лингвистическим по преимуществу, — регистрировать факты сознания говорящего на данном языке индивида» [3, с. 137]. Такая индивидуально-психологическая концепция позволяла ученому (считал Л. В. Щерба) через языковое сознание носителей языка лучше познать сущность языка и раскрыть его структуру. Ранние работы Л. В. Щербы, по общему признанию, характеризуются психологизмом в подходе к анализу языковых фактов. В диссертации «Русские гласные в качественном и количественном отношении» Л. В. Щерба говорит о «психологическом анализе понятия фонемы [3, с. ПО]; в предисловии к докторской диссертации «Восточно-лужицкое наречие» пишет, что его книга «является попыткой всестороннего, по возможности исчерпывающего, психологического описания говора. Хорошее психологическое описание данного языка в данный момент времени само по себе дает понятие о ближайшем его прошлом и возможном будущем» [4, с. 19].

Именно в сознании человека Л. В. Щерба находил инвариантные единицы, которые реализуются в речи в виде множества вариантов. Психологическую природу этих инвариантных единиц (представлений) ученый противопоставлял физической природе их реализаций в речи. Только изучая языковые процессы, протекающие в сознании человека, можно, как считал Л. В. Щерба, дать адекватное описание синхронного состояния языка и избежать привнесения в такое описание чуждых ему категорий: «Вообще я старался схватить язык в его движении: выдвинуть на первый план твердые нормы языкового сознания, а затем показать, с одной стороны, умирающие и, с другой стороны, нарождающиеся нормы, находящиеся в бессознательном состоянии и лишь воспроизводимые или творимые в отдельных случаях. В этом для меня главный смысл книги, так как именно эти вопросы меня лично и больше всего интересуют» [4, с. 9].

В 1920-х годах Л. В. Щерба обращается к переосмыслению роли субъективного метода в языкознании, к переосмыслению своих общелингвистических позиций, что нашло свое отражение в таких его работах, как «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» (1931), «Очередные проблемы языковедения» (1945), «О частях речи в русском языке» (1928).

Л. В. Щерба продолжает считать объектом языковедения прежде всего живой язык, а не письменные тексты, говоря о заслуге

И.А.Бодуэна де Куртенэ, который всегда подчеркивал принципиальную, теоретическую важность изучения живых языков.

Важнейшим положением, выдвигаемым Л.В.Щербой в статье «О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» [3], было различение речевой деятельности, языковой системы и языкового материала. Отправной точкой для его рассуждений становится обращение к единственно данному в непосредственном опыте объекту (когда речь идет о живом языке) — к процессам говорения и понимания, которые он обозначил термином **речевая деятельность** (первый аспект языковых явлений). Л.В.Щерба подчеркивал, что в речевой деятельности говорящий выступает как творец: «Несомненно, что при говорении мы часто употребляем формы, которых никогда не слышали, от данных слов, производим слова, не предусмотренные никакими словарями, и, что главное и в чем, я думаю, никто не сомневается, сочетаем слова хотя и по определенным законам их сочетания, но зачастую самым неожиданным образом и во всяком случае не только употребляем слышанные сочетания, но и постоянно делаем новые» [3, с. 24]. Не менее активен и процесс понимания, так как мы понимаем и то, чего раньше никогда не слышали.

Данная способность говорящего определяется его психофизиологической речевой организацией, а последняя обусловлена переработкой речевого опыта всех индивидов, принадлежащих к данной общественной группе. Такая переработка, представленная в виде *словаря* и *грамматики*, образует второй аспект языковых явлений — **языковую систему**.

От говорения неотделимо говоримое, как и понимаемое от понимания. Говоримое и понимаемое — это *тексты*, составляющие третий аспект языковых явлений, названный Л.В.Щербой **языковым материалом**. При этом он имел в виду «совокупность всего говоримого и понимаемого в конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы» [3, с. 26].

Важно подчеркнуть, что Л. В. Щерба рассматривает все три аспекта языковых явлений в тесной взаимосвязи: «Само собой разумеется, что все это — несколько искусственные разграничения, так как очевидно, что языковая система и языковой материал — это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности, и так как не менее очевидно, что языковой материал вне процессов понимания будет мертвым, само же понимание вне как-то организованного языкового материала (т. е. языковой системы) невозможно» [3, с. 26].

Методологически важно предлагаемое Л. В. Щербой разграничение индивидуального и социального в языковых явлениях: психофизиологическая речевая организация индивида является лишь проявлением языковой системы, которая представляет собой «не-

кую социальную ценность», нечто обязательное для всех членов данной общественной группы.

В отличие от Ф. де Соссюра, для которого язык есть социальное явление, а речь индивидуальное, Л. В. Щерба говорил о социальной природе языка **в целом во всех его аспектах**: «...хотя единичные процессы говорения и понимания сами по себе являются чисто биологическими (в какой-то мере и психологическими), однако они становятся языком лишь в условиях общественной жизни их носителей, а потому язык в целом следует считать социальным явлением» [5, с. 69].

Из такой трактовки языковых явлений, в которой находят свое место и человек как член общества, и его языковое сознание, выводится метод лингвистического анализа, названный Л. В. Щербой *методом эксперимента*. Интересно следующее замечание ученого: «В сущности то, что я называл раньше "психологическим методом" (или — еще неудачнее — "субъективным"), и было у меня всегда методом эксперимента, только недостаточно осознанного» [3, с. 33]. Сущность метода заключается в том, что исследователь для проверки правильности своих построений обращается к «языковому сознанию» носителей данного языка. И далее Л. В. Щерба добавляет: «Впрочем, надо признать, что психологический элемент метода несомненен и заключается в **оценочном чувстве правильности или неправильности** того или иного речевого высказывания, его возможности или абсолютной невозможности» (выделено мною. — Т.П.) [3, с. 34].

Следует еще раз подчеркнуть, что обращение к сознанию говорящих было у Л. В. Щербы методическим приемом, средством проникновения в структуру языковой системы.

Л. В. Щерба — диалектик в своем понимании языковых явлений. Существует строгая зависимость всех аспектов и последовательность в их проявлении: они переходят один в другой, образуют вечное движение языка. **Язык создает возможности появления речи**, в результате которой образуется, накапливаясь от поколения к поколению, языковой материал, и уже на основе этого материала мы создаем грамматики и словари, познавая язык. Язык иногда позволяет речи некоторые отклонения, которые, повторяясь, дают нам материал для фиксации новых норм в словарях и грамматиках. Это бесконечное движение языка и есть диалектика его развития. И изучать язык нужно в движении.

Таким образом, Л. В. Щерба главной задачей общего языковедения (по словам В. В. Виноградова) считал проникновение в законы образования, развития и существования языковой структуры, в законы взаимодействия и взаимообусловленности всех ее элементов. Он создает свое учение о тройном аспекте языковых явлений, ставшее основой для развития современных психолингвистических исследований речевой деятельности, проблем усвое-

ния языка, проблем понимания. А. А. Леонтьев в «Основах психолингвистики» пишет [6, с. 29]: «Именно взгляды Л. В. Щербы оказали наиболее сильное воздействие при возникновении отечественного направления психолингвистики».

Литература

1. Памяти академика Л. В. Щербы. — Л., 1951.
2. *Виноградов В. В.* История русских лингвистических учений. — М., 1978.
3. *Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность. — Л., 1974.
4. *Щерба Л. В.* Восточно-лужицкое наречие // Историко-филологический факультет Имп. Петрогр. ун-та. — Пг., 1915.
5. *Щерба Л. В.* Преподавание иностранных языков в средней школе: Общие вопросы методики. — М., 1947.
6. *Леонтьев А. А.* Основы психолингвистики. — М., 1997.

Л. В. ЩЕРБА

О ТРОЯКОМ АСПЕКТЕ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ И ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

(Извлечения)

...Я буду называть процессы говорения и понимания «речевой деятельностью» (первый аспект языковых явлений), всячески подчеркивая при этом, что процессы понимания, интерпретации знаков языка являются не менее активными и не менее важными в совокупности того явления, которое мы называем «языком», и что они обуславливаются тем же, чем обуславливается возможность и процессов говорения.

... Поскольку мы знаем из опыта, что говорящий совершенно не различает форм слов и сочетаний слов, никогда не слышанных им и употребляемых им впервые, от форм слов и сочетаний слов, им много раз употреблявшихся¹, постольку мы имеем полное право сказать, что вообще все формы слов и все сочетания слов нормально создаются нами в процессе речи, в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека в условиях конкретной обстановки данного момента. Из этого с полной очевидностью следует, что этот механизм, эта речевая организация человека никак не может равняться сумме речевого опыта (подразумеваю под этим и

Случаи сознательного «выдумывания» слов довольно редки вообще, сознательное группирование слов свойственно лишь письменной речи, которая все же в целом строится тоже автоматически. Сознательность обыденной разговорной (диалогической) речи в общем стремится к нулю.

говoreние и понимание) данного индивида, а должна быть какой-то своеобразной переработкой этого опыта. Эта речевая организация человека может быть только физиологической или, лучше сказать, психофизиологической, чтобы этим термином указать на то, что при этом имеются в виду такие процессы, которые частично (и только частично) могут себя обнаруживать при психологическом самонаблюдении. Но само собой разумеется, что сама эта психофизиологическая речевая организация индивида вместе с обусловленной ею речевой деятельностью является социальным продуктом. ... Об этой организации мы можем умозаключать лишь на основании речевой деятельности данного индивида.

Человечество в области языкознания искони и занималось подобными умозаключениями, делаемыми, однако, не на основании актов говорения и понимания какого-либо одного индивида, а на основании всех (в теории) актов говорения и понимания, имевших место в определенной эпоху жизни той или иной общественной группы. В результате подобных умозаключений создавались словари и грамматики языков, которые могли бы называться просто «языками», но которые мы будем называть «языковыми системами» (второй аспект языковых явлений), оставляя за словом «язык» его общее значение.

...Словарь и грамматика, т.е. языковая система данного языка, обыкновенно отождествлялись с психофизиологической организацией человека, которая рассматривалась как система потенциальных языковых представлений. В силу этого язык считался психофизиологическим явлением, подлежащим ведению психологии и физиологии.

Однако при этом прежде всего забывали то, что все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном опыте (ни в психологическом, ни в физиологическом) нам вовсе не даны, а могут выводиться нами лишь из процессов говорения и понимания, которые я называю в такой их функции «языковым материалом» (третий аспект языковых явлений). Под этим последним я понимаю, следовательно, не деятельность отдельных индивидов, а совокупность всего говорящего и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы. На языке лингвистов это «тексты». <...>

Само собой разумеется, что все это — несколько искусственные разграничения, так как очевидно, что языковая система и языковой материал — это лишь разные аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности, и так как не менее очевидно, что языковой материал вне процессов понимания будет мертвым, само же понимание вне как-то организованного языкового материала (т.е. языковой системы) невозможно. <...>

... Система языковых представлений, хотя бы и общих, с которой обыкновенно отождествляют языковую систему, уже по самому определению своему является чем-то индивидуальным, тогда как в язы-

ковой системе мы, очевидно, имеем что-то иное, некую социальную ценность, нечто единое и общеобязательное для всех членов данной общественной группы, объективно данное в условиях жизни этой группы. <...>

... Возникает вопрос, в каком отношении находится «психофизиологическая речевая организация», владеющая данным языком индивида, к этой выводимой лингвистами из языкового материала языковой системе. Очевидно, что она является ее индивидуальным проявлением. В идеале она может совпадать с ней, но на практике организации отдельных индивидов могут чем-либо да отличаться от нее и друг друга. Их, пожалуй, можно было бы действительно называть «индивидуальными языками», если бы в подобном названии не крылось глубокого внутреннего противоречия, ибо под языком мы разумеем нечто, имеющее прежде всего социальную ценность. И действительно, если индивидуальные отличия речевой организации того или иного индивида оказываются слишком большими, то уж этим самым данный индивид выводится из общества, как например мы это и видим у сильно косноязычных, некоторых умалишенных и т. п. Терминологически, может быть, лучше всего было бы говорить поэтому об «индивидуальных речевых системах».

Что же такое сама языковая система? По-моему, это есть то, что объективно заложено в данном языковом материале и что проявляется в индивидуальных речевых системах, возникающих под влиянием этого языкового материала. Следовательно, в языковом материале и надо искать источник единства языка внутри данной общественной группы.

Может ли языковой материал быть фактически единым внутри той или иной группы? Поскольку данная группа сама представляет из себя полное единство, т. е. поскольку условия существования и деятельности всех ее членов будут одинаковыми и поскольку все они будут находиться в постоянном взаимном общении друг с другом, постольку для всех них языковой материал будет фактически един: ведь каждая фраза каждого члена группы при таких обстоятельствах осуществляется одновременно для всех ее членов. Для единства грамматики достаточно частичного фактического единства языкового материала. Поэтому грамматически мы имеем единый язык в довольно широких группировках; в области же словаря для единства языка должно быть более полное единство материала, а потому мы видим, что с точки зрения словаря язык дробится на очень маленькие ячейки вплоть до семьи (единство так называемого «общего языка» в высококультурной среде поддерживается в значительной степени единством читаемого литературного материала). При оценке сказанного надо иметь в виду, что языки, с которыми мы в большинстве случаев имеем дело, не являются языками какой-либо элементарной общественной ячейки, а языками весьма сложной структуры, соответственно сложной структуре общества, функцией которого они являются.

Каким образом происходят изменения языка, и чем объясняется их единство внутри данной социальной группы? Очевидно, прежде всего, что языковые изменения обнаруживаются в речевой деятельности. Каковы же факторы этой последней? С одной стороны, единая языковая система, социально обоснованная в прошлом, объективно заложенная в языковом материале данной социальной группы и реализованная в индивидуальных речевых системах; с другой — содержание жизни данной социальной группы. Единство языковой системы обеспечивает единство реакций на его содержание. ... Единство содержания обеспечивает в этих условиях единство языка, и поскольку это содержание внутри группы остается тем же, язык может не изменяться (чего, конечно, никогда не бывает: практически можно говорить о замедлениях и ускорениях процесса).

Но малейшее изменение в содержании, т. е. в условиях существования данной социальной группы, как то: иные формы труда, переселения, а следовательно и иное окружение и т. п., немедленно отражается на изменении речевой деятельности данной группы и притом одинаковым образом, поскольку новые условия касаются всех членов данной группы. Речевая деятельность, являясь в то же время и языковым материалом, несет в себе и изменение языковой системы. Обыкновенно говорят, что изменение языковой системы происходит при смене поколений. Это отчасти так; но опыт нашей революции показал, что резкое изменение языкового материала неминуемо влечет изменение речевых норм даже у пожилых людей: масса слов и оборотов, несколько лет тому назад казавшихся дикими и неприемлемыми, теперь вошла в повседневное употребление. Поэтому правильнее будет сказать, что языковая система находится все время в непрерывном изменении.

Наконец, всякая социальная дифференциация внутри группы, вызывая дифференциацию речевой деятельности, а следовательно, и языкового материала, приводит к распаду единого языка. <... >

... Поскольку речевая деятельность, протекая не иначе как в социальных условиях, имеет своею целью сообщение и, следовательно, понимание, постольку говорящие вынуждены заботиться о том, чтобы у слушающих не было недоразумений, происходящих от смешения знаков речи, и этим объясняются, например, многие диссимилиации, особенно (вплоть до устранения) омонимов. ... Поскольку возможность смешения объективно заложена в определенных местах самой языковой системы, постольку эти тенденции к устранению омонимности будут общи всем членам данной языковой группы и будут реализоваться одинаковым образом.

В языковой системе данной группы объективно заложены в определенных местах ее и те или другие возможности ассимиляции (в фонетике, морфологии, синтаксисе, словаре). Поэтому, в силу присущей (в пределах исторического опыта) людям тенденции к экономии труда (не касаюсь здесь генезиса этой тенденции, так как это

завело бы меня слишком далеко), эти возможности реализуются одинаковым образом у всех членов группы или, по крайней мере, могут так реализоваться, а потому во всяком случае ни у кого не вызывает протеста. <...>

Можно сказать, что интересы понимания и говорения прямо противоположны, и историю языка можно представить как постоянное возникновение этих противоречий и их преодоление.

...Капитальнейшим фактором языковых изменений являются столкновения двух общественных групп, а следовательно и двух языковых систем, иначе — смешение языков. Процесс сводится в данном случае к тому, что люди начинают говорить на языке, который они еще не знают. Языковой материал, которому они стремятся подражать, един; языковая система, которая определяет их речевую деятельность, едина. Поэтому они одинаковым образом искажают в своей речевой деятельности то, чему подражают. Если со стороны другой группы по тем или иным социальным причинам нет достаточного сопротивления, то результаты одинаковым образом «искаженной» речевой деятельности, являясь в то же время и языковым материалом, обуславливают резкое изменение языковой системы.

Так как процессы смешения происходят не только между разными языками, но и между разными групповыми языками внутри одного языка, то можно сказать, что эти процессы являются кардинальными и постоянными в жизни языков. <...>

... В реальной действительности вся картина сильно усложняется и затемняется тем, что некоторые группы населения могут входить в несколько социальных группировок и иметь, таким образом, отношение к нескольким языковым системам. От степени изолированности разных групп друг от друга зависит способ сосуществования этих систем и влияния их друг на друга. ... Некоторые из этих сосуществующих систем могут считаться для их носителей иностранными языками. Таковым, между прочим, для большинства групп является так называемый «общий язык», «langue commune». Этот последний, конечно, не надо смешивать с «литературным языком», который, хотя и находится с «общим» в определенных функциональных отношениях, имеет, однако, свою собственную сложную структуру. Общий язык всегда и изучается как иностранный, с большим или меньшим успехом в зависимости от разных условий. Таких общих языков может быть несколько в каждом данном обществе, соответственно его структуре, и они могут иметь разную степень развитости. Само собой разумеется, что субъективно общий «иностраный» язык зачастую квалифицируется как родной, а родной — как групповой. Это, впрочем, и отвечает структуре развитых языков, где все групповые языки, в них входящие, считаются «жаргонами» по отношению к некоторой норме — «общему языку», который, целиком отражая, конечно, социальный уклад данной эпохи, исторически сам восходит через процессы смешения к какому-либо групповому языку.

Таким образом, лингвисты совершенно правы, когда выводят языковую систему, т. е. словарь и грамматику данного языка, из соответственных «текстов», т. е. из соответственного языкового материала. Между прочим, совершенно очевидно, что никакого иного метода не существует и не может существовать в применении к мертвым языкам.

Дело обстоит несколько иначе по отношению к живым языкам, и здесь и лежит заслуга Бодуэна, всегда подчеркивавшего принципиальную, теоретическую важность их изучения. Большинство лингвистов обыкновенно и к живым языкам подходит, однако, так же, как к мертвым, т. е. накопляет языковой материал, иначе говоря — записывает тексты, а потом их обрабатывает по принципам мертвых языков. Я утверждаю, что при этом получают мертвые словари и грамматики. Исследователь живых языков должен поступать иначе. Конечно, он тоже должен исходить из так или иначе понятого языкового материала. Но, построив из фактов этого материала некую отвлеченную систему, необходимо проверять ее на новых фактах, т. е. смотреть, отвечают ли выводимые из нее факты действительности. Таким образом, в языкознании вводится принцип эксперимента. <... >

В возможности применения эксперимента и кроется громадное преимущество — с теоретической точки зрения — изучения живых языков. Только с его помощью мы можем действительно надеяться подойти в будущем к созданию вполне адекватных действительности грамматики и словаря. Ведь надо иметь в виду, что в «текстах» лингвистов обыкновенно отсутствуют неудачные высказывания, между тем как весьма важную составную часть языкового материала образуют именно неудачные высказывания с отметкой «так не говорят», которые я буду называть «отрицательным языковым материалом». Роль этого отрицательного материала громадна и совершенно еще не оценена в языкознании, насколько мне известно.

В сущности то, что я называл раньше «психологическим методом» (или — еще неудачнее — «субъективным»), и было у меня всегда методом эксперимента, только недостаточно осознанного. ... Впрочем, надо признать, что психологический элемент метода несомненен и заключается в оценочном чувстве правильности или неправильности того или иного речевого высказывания, его возможности или абсолютной невозможности.

Однако чувство это у нормального члена общества социально обосновано, являясь функцией языковой системы (величина социальная), а потому и может служить для исследования этой последней. И именно оно-то и обуславливает преимущество живых языков над мертвыми с исследовательской точки зрения. <... >

С весьма распространенной боязнью, что при таком методе будут исследоваться «индивидуальная речевая система», а не языковая система, надо покончить раз навсегда. Ведь индивидуальная речевая система является лишь конкретным проявлением языковой

системы, а потому исследование первой для познания второй вполне закономерно и требует лишь поправки в виде сравнительного исследования ряда таких «индивидуальных языковых систем».

<...> То, что часто считается индивидуальными отличиями, на самом деле является групповыми отличиями, т.е. тоже социально обусловленными (семейными, профессиональными, местными и т. п.), и кажется индивидуальными отличиями лишь на фоне «общих языков». Языковые же системы общих языков могут быть весьма различными по своей развитости и полноте, от немного более нуля и до немного менее единицы (считая нуль за отсутствие общего языка, а единицу — за никогда не осуществляемое его полное единство), и дают более или менее широкий простор групповым отличиям.

Строго говоря, мы лишь постулируем индивидуальные отличия индивидуальных речевых систем внутри примарной социальной группы, ибо такие отличия, как ведущие к взаимопониманию, должны неминуемо исчезать в порядке социального общения, а потому никто на них никогда не обращал внимания, даже если они и встречались. Этим-то и объясняется всегда практиковавшееся отождествление таких теоретических несоизмеримых понятий, как «индивидуальная речевая система» (психофизиологическая речевая организация индивида) и «языковая система»...

Печатается по изданию: *Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность // Общие вопросы языкознания. — Л., 1974. — Гл. I. — С. 24-38.*

Вопросы

1. Какие аспекты рассмотрения языковых явлений выделяет Л. В. Щерба?
2. Как представляет Л. В. Щерба механизм языкового действия с точки зрения образования в нем слов и грамматических форм?
3. Как определял Л. В. Щерба значение процесса понимания для существования языка? Какое отношение имеет история языка к процессам говорения и понимания?
4. Как решает Л. В. Щерба проблему соотношения языка и речи?
5. Существует ли, по мнению Л. В. Щербы, индивидуальный язык и индивидуальная речь?
6. Как, по мнению Л. В. Щербы, влияет речь отдельного человека на общий язык?
7. Какой общий процесс, определяющий смешение языков, выделяет Л. В. Щерба?
8. К чему, по мнению Л. В. Щербы, ведет социальная дифференциация внутри языковой группы?
9. Какие психические процессы вызывают фонетические изменения слов и при том, как полагает Л. В. Щерба, одинаковые для всех членов данной языковой группы?
10. Что такое, по Л. В. Щербе, эксперимент в языкознании? Что такое «отрицательный материал» в эксперименте? Какое он имеет значение?



9. А.М.ПЕШКОВСКИЙ ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ И НОРМАТИВНОЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ НА ЯЗЫК И ПРИЗНАКАХ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ

...Для **литературного наречия** наивный нормативизм интеллигентного обывателя при всех его курьезах и крайностях есть **единственно-жизненное** отношение, а... выведенный из объективной точки зрения квиетизм¹ был бы смертным приговором литературному наречию.

Уже и в детском уме объективная и нормативная точки зрения должны прийти в должное равновесие и взаимодействие.

А. М. Пешковский

Александр Матвеевич Пешковский (1878 — 1933) — видный языковед, профессор Московского университета (1921 — 1924), профессор Высшего литературно-художественного института (1921 — 1924), профессор 2-го Московского государственного университета (МГПИ им. В. И.Ленина) (1926 — 1932), автор известного труда «Русский синтаксис в научном освещении» [1], выдержавшего более семи изданий. Даже если бы у А. М. Пешковского больше не было никаких других работ, он все равно бы вошел в историю лингвистики благодаря этому ценному в теоретическом и практическом отношении труду. Но есть более 60 работ ученого, имею-

¹ *Квиетизм* — пассивное отношение к окружающей действительности.

ших принципиальное научное и методическое значение, в целом направленных на сближение научной и школьной грамматики: «...мост между наукой и школой, давно созданный для других наук веками практики, для языковедения как науки исключительно молодой **только что начал строиться**. Вложить камень в эту постройку и было одной из целей автора» [1, с. 4]. Среди его работ особенно важными представляются статьи «Вопрос о вопросах», «Интонация и грамматика» и «Объективная и нормативная точка зрения на язык» [2].

Для нас, собственно, ценно все наследие А. М. Пешковского: его методические работы открывают знание о языке, а языковедческие труды выполнены настолько изящно и в то же время основательно, что в методическом и методологическом отношении остаются актуальными и поныне.

В своих трудах по грамматике он творчески развивает идеи своих учителей Ф. Ф. Фортунатова и В. К. Поржезинского. В работе «Русский синтаксис в научном освещении» А. М. Пешковский методически организованно — популярно и научно достоверно, а потому эффективно — раскрывает сущность формы слова как «особого **свойства** его, в силу которого оно **распадается по звукам и по значению на основу и формальную часть**» [1, с. 47]. Мелким шрифтом («Для облегчения чтения книги... с тем расчетом, чтобы при желании можно было ограничиться им» (основным текстом. — *В.Р.*) [1, с. 4].) в этой работе высказаны весьма важные и даже методологически актуальные замечания. Выделив в основном тексте так называемые бесформенные слова (*домой, вчера, завтра, когда*) [1, с. 45], в тексте, набранном мелким шрифтом, автор пишет: «Собственно говоря, между полным обладанием формой и полной бесформенностью существует *огромное количество переходных ступеней*. Язык вообще "не делает скачков"» [1, с. 46]. В этом последнем замечании прослеживается основное свойство сложных саморегулирующихся систем, способность языковых форм гибко реагировать на меняющиеся условия контекста. Одна и та же форма в одном и том же отношении может проявлять свои признаки оформленности и не обладать ими вовсе. Например, у слова *пальто* нет окончания: оно не изменяется, но при образовании от него других слов: *пальтишко, пальтецо* — конечное **о** ведет себя как окончание, выявляя оставшуюся часть слова как основу, вещественную часть слова.

Статья «Вопрос о вопросах» [2, с. 33 — 49], посвященная методической проблеме распознавания грамматических форм по вопросам, в которой вопрос трактуется как «один из видов грамматического экспериментирования, в частности, один из видов подстановки в словосочетания одних слов на место других» [2, с. 35—36], представляет интерес не только для учителей русского языка, но и для всех психолингвистов. Проблема понимания того,

какая мыслительная операция производится при постановке вопроса, — это проблема психолингвистическая: «Применение "вопросов" создает иллюзию, что ученик о чем-то *думает*, какую-то задачу *решает*. Между тем, если всмотреться непредубежденным взглядом в тот *способ*, который избирается для решения, то он представляется поистине изумительным... Кратко говоря, между тем, что нужно узнать (как ни туманно это обычно представляется ученику), и самым способом узнавания нет *ни малейшей разумной связи*, и в этом отношении "вопросы" наносят огромный вред общему развитию исследовательских способностей ребенка» [2, с. 35].

В статье «Интонация и грамматика» [2, с. 177—191] просматриваются явления разного квантования (смыслоразличения) лексических и грамматических форм на фоне разного интонирования, которое также получает оформление путем повышения/понижения тона, ударения, пауз. Различение того, что относится к языку как к смыслоразличительной системе, а что к эмоциональной окраске языковых форм и далее — что индивидуально, — все это непростые актуальные психолингвистические проблемы, возникающие при изучении сложного феномена мысле-рече-языкового образования. Например, выщеление «пригласительного» 1-го лица множественного числа глагола: *Пойдем! Станем учиться! Поговорим! Напишем! Будем друзьями!* [2, с. 189] как особой грамматической формы сложно, неоднозначно: «Реальная интонация всякой фразы есть всегда *химическое соединение* фактов того и другого порядка, и мы можем получать одни, только отвлекаясь от других» [2, с. 179].

Особенно важной для нас является хрестоматийная работа А. М. Пешковского лингвофилософского характера «Объективная и нормативная точка зрения на язык» [2, с. 50 — 62]. Занимаясь конкретными вопросами преподавания русского языка, глубоко проникая в фактуру языкового материала, А. М. Пешковский продумывал практическую сторону своей деятельности: чему учить, как учить и где учить (правильному языку и правильной речи) — и одновременно сам искал и находил ответы на вопросы: что значит правильный язык, нормированный литературный язык. Вопрос о *норме* вообще и *языковой норме* в частности — это принципиальный вопрос для науки в целом и деятельности человека в любой области. А. М. Пешковский определяет, что значит объективная точка зрения на язык и как нужно подходить к языковым фактам. Но не менее важно его представление о том, из чего складывается норма, или, как пишет автор, «языковой идеал». В работе мы находим философски цельную систему характеристик языковой нормы в качественно-количественном и пространственно-временном отношениях, построенную по критерию функциональной целесообразности и представленную в пяти признаках.

1. Главным признаком языковой нормы, критерием нормированной речи, является функционально целесообразная **ясность, понятность**. «Самая правильность даже оценивается нами так высоко в сущности, как необходимое условие ясности» [2, с. 57]. Проблема понимания речи — это центральная проблема психолингвистики: «Мы как слепцы ищем с протянутыми руками друг друга в воздухе... Чем непонятнее культурные люди вынуждены говорить... тем понятнее они **хотят** говорить» [2, с. 57].

2. А. М. Пешковский находит пространственные и временные признаки языкового идеала. «Первой и самой замечательной чертой является его поразительный **консерватизм**, равного которому мы не встречаем ни в какой области духа... Нормой признается то, что было, и отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет» [2, с. 54-55].

3. Пространственные ориентиры складывающейся нормы А. М. Пешковский выделяет в качестве второго ее признака: «Второй особенностью литературно-языкового идеала является то, что этот идеал всегда — **местный**... Если языковой консерватизм объединяет народ **во времени**, то равнение на языковой центр (Москва, Париж и т.д.) объединяет народ **территориально**» [2, с. 55 — 56].

4. Количественная мера как признак языковых форм, являющихся в речи, не ускользает от внимания исследователя: «Язык по природе **экономен** в средствах... Можно даже сказать, что точность и легкость понимания растут по мере уменьшения словесного состава фразы и увеличения ее бессловесной подпочвы... трудность языкового общения растет прямо пропорционально числу общающихся...» [2, с. 58 — 59].

5. Требование красоты — функциональной целесообразности — к языковым формам прослеживается у А. М. Пешковского в том, что о языковой норме он говорит как о «языковом идеале». Эстетический критерий, понимаемый как правильность, является изначальным признаком нормы: «**После правильности** ясность (выделено мною. — В. Р.) следует считать наиболее общепризнанной, наиболее интенсивно создаваемой чертой нашего литературно-языкового идеала» [2, с. 57].

Научно-педагогическое творчество А. М. Пешковского, посвященное изучению «величественной стихии языка», сродни творчеству художественному: оно передается внутренними свойствами личности ученого — «его беспокойной страстностью, направленностью пытливого мысли к новому, самоотверженной честностью в исполнении своего долга» [2, с. 6].

Литература

1. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. — М., 1938.
2. Пешковский А. М. Избранные труды. — М., 1959.

ОБЪЕКТИВНАЯ И НОРМАТИВНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА ЯЗЫК

Объективной точкой зрения на предмет следует считать такую точку зрения, при которой эмоциональное и волевое отношение к предмету совершенно отсутствует, а присутствует только одно отношение — познавательное. Ни чувство, ни воля, конечно, не исчезают при этом, но они как бы переливаются целиком в познание. Человек не хочет ничего от изучаемого предмета ни для себя, ни для других, а он хочет только его познать. Он не испытывает от него самого ни удовольствия, ни неудовольствия, а испытывает только величайшее удовольствие от его познания. Так как эмоционально-волевое отношение тесно связано с оценкой предмета, то отсутствие оценки — первый признак объективного рассмотрения предмета. Такова точка зрения наук математических и естественных. Понятия прогресса и совершенства абсолютно невозможны в математических науках. В естественных науках они, правда, уже имеют применение, но в чисто эволюционном смысле. Когда говорят, что цветковые растения совершеннее папоротников, папоротники совершеннее листовых мхов и т. д., то имеют в виду только то, что первые сложнее вторых, что в них части (органы и клетки) более дифференцированы, а никак не то, что первые в каком-либо отношении лучше вторых.

Если подходить к науке о языке с этим различием субъективного и объективного, то языковедение окажется наукой не гуманитарной, а естественной. Понятие языкового прогресса в нем целиком заменяется понятием языковой эволюции. Если в начальном периоде нашей науки и были оживленные споры о преимуществах тех или иных языков или групп языков друг перед другом (например, синтетических перед аналитическими), то в настоящее время эти споры приумолкли. Совершенно так же, как зоолог и ботаник в конце концов вынуждены признать каждое животное и растение совершенством в своем роде, в смысле идеального приспособления к окружающей среде, так же и современный лингвист признает каждый язык совершенным применительно к тому национальному духу, который в нем выразился. И не только к целым языкам, но и к отдельным языковым фактам лингвист как таковой может относиться в настоящее время только объективно-познавательно. Для него нет в процессе изучения (заранее подчеркиваю это условие ввиду всего последующего) ни «правильного» и «неправильного» в языке, ни «красивого» и «некрасивого», ни «удачного» и «неудачного» и т. д., и т. д. В мире слов и звуков для него нет правых и виноватых. Как пушкинский «дьяк, в приказах поседельй», он

Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева...

с той лишь разницей, что и в конечном итоге он ни одного факта не осудит, а лишь и зуч и т. Эта точка зрения, для современного лингвиста сама собою подразумеваемая, столь чужда широкой публике, что я считаю нелишним иллюстрировать это объективное отношение на отдельных конкретных примерах, чтобы читатель видел, что оно возможно по отношению ко всякому языковому факту, хотя бы даже вызывающему глубокое негодование или гомерический смех у каждого интеллигента, в том числе и у лингвиста вне его исследовательских задач.

Прежде всего по отношению ко всему народному языку (т.е., например, для русиста ко всему русскому языку, кроме его литературного наречия) у лингвиста, конечно, не может быть той наивной точки зрения неспециалиста, по которой все особенности народной речи объясняются пороки литературного языка. Ведь такое понимание приводит к взгляду, что народные наречия образуются из литературных, а этого в настоящее время не допустил бы в сущности и ни один профан, если бы он хоть на одну минуту задержался мыслью на предмете, по которому принято скользить. Слишком уж очевидно, что и до возникновения литератур существовали народы, что эти народы на каких-то языках говорили и что литературы при своем зарождении могли воспользоваться только этими языками и ничем другим. Таким образом, современные, например, русские наречия и говоры есть для лингвиста только потомки более древних наречий и говоров русских, эти последние — потомки еще более древних и т.д., и т.д. вплоть до самого момента распада русского языка на наречия и говоры, а литературное наречие есть лишь одно из этих областных наречий, обособившееся в своей истории, испытавшее, благодаря своей «литературности», более сложную эволюцию, вобравшее в себя целый ряд чужеродных элементов и зажившее своей особой, в значительной мере неестественной ^ точки зрения общих законов развития языка, жизнью. Понятно, что народные наречия и говоры не только не могут игнорироваться при таких условиях лингвистом, а, напротив, они для него и составляют главный и наиболее захватывающий, наиболее раскрывающий тайны языковой жизни объект исследования, подобно тому как ботаник всегда предпочтет изучение луга изучению оранжереи. Таким образом, какое-нибудь «вчера» будет для него не испорченным «вчера», а образованием чрезвычайно древнего типа, аналогичным древнецерковнославянскому «днесь» («дньсь»), древнерусскому и современному «здесь» («сьдсь»), современным народным: «летось», «лонись», «ономнясь» и др., составившимся из родительного падежа слова «вечер» с особой формой основы («вьче-

ра») и указательного местоимения *съ* (равняется современному *сей*, ср. аналогичные французские образования *sesi* и *cela*); какое-нибудь «купалси», «напилси» не будет испорченным «купался», «напилился», а будет остатком чрезвычайно древнего (общеславянского *и*, м. б., даже балтийско-славянского) образования возвратной формы с дательным падежом возвратного местоимения (древнерусское и древнецерковнославянское *си* — *себе*); какие-нибудь «пекёт», «текёт», «бегит», «сидю», «видю», «пустю» не вызовут в нем улыбки, а наведут его на глубокие размышления о влиянии 1-го лица ед. числа на остальные лица всех чисел и об обратных влияниях последних на 1-е, об удельном весе того и других в процессе языковых ассоциаций и т. д. Есть, конечно, в народных говорах и не самородные факты, а заимствованные из литературного наречия, которое в силу своих культурных преимуществ всегда оказывает крупное влияние на народные говоры. Сюда относятся такие факты, как «сумлеваюсь», «антиресный», «дилехтор», «я человек увлекающий», «выдающие новости» и т. д. На первый взгляд, уж эти-то факты как будто должны определиться как «искажения» литературной речи. Но и тут наука подходит к делу с объективной меркой и определяет их, как факт смешения языков и наречий (в данном случае местного с литературным), находя в каждом отдельном факте смешения свои закономерные черты («сумлеваюсь» — народная этимология, «дилехтор» — диссимиляция плавных и т. д.) и рассматривая само смешение как один из наиболее общих и основных процессов языковой жизни. Когда при мне переврали раз название нашей науки, окрестив ее «языконоведением», я тотчас занес этот факт в свою записную книжку, как яркий и интересный пример так называемой контаминации, т. е. слияния двух языковых образов (языковедение — языконоведение) в один смешанный. Всевозможные индивидуальные дефекты речи, картавленье, шепелявленье и т. д. проливают иногда глубокий свет на нормальные фонетические процессы и привлекают к себе не меньший интерес лингвиста, чем эти последние. Совершенно случайные обмолвки открывают иной раз глубокие просветы в области физиологии и психологии речи. Даже чисто искусственные факты постановки человеком неверного ударения на слове, которое он узнает только из книг (*роман, портфель*), дают интересный материал для суждения о языковых ассоциациях данного индивида. Когда меня спросили на юге, как надо говорить: «верноподданнический» или «верноподданнический», я отметил у себя оба факта для последующего размышления о них.

Такова объективная точка зрения на язык. Как видит читатель, она диаметрально противоположна обычной, житейско-школьной точке зрения, в силу которой мы над каждым языковым фактом творим или, по крайней мере, стремимся творить суд, суд «скорый» и зачастую «неправый» и «немилостивый». Мы или признаем за фактом «право гражданства», или присуждаем его сурово к вечному

изгнанию из языковой сферы. Суд этот обычно бывает пристрастнейшим из всех судов на земле, так как судья руководится прежде всего собственными привычками и вкусами, а затем смутным воспоминанием о каких-то усвоенных на школьной скамье законах — «правилах». Но, во всяком случае, он убежден, что для каждого языкового случая такие правила существуют, что все, чего он не доучил в школе, имеется в полных списках, хранящихся в недоступных для профана местах, у жрецов грамматической науки, и что последние только составлением этих списков «живота и смерти» и занимаются. Так как это убеждение в существовании объективной, общеобязательной «нормы» для каждого языкового явления и необходимости этой нормы для самого существования языка составляет самую характерную черту этого обычного житейско-интеллигентского понимания языка, то мы и назовем эту точку зрения **нормативной**. И нашей ближайшей задачей будет исследовать происхождение этой точки зрения как вообще в гражданской жизни, так и в частности и по преимуществу в школе.

Когда человеку, относившемуся к языку исключительно нормативно, случается столкнуться с подлинной наукой о языке и с ее объективной точкой зрения, когда он узнает, что объективных критериев для суждения о том, что «правильно» и что «неправильно», нет, что в языке «все течет», так что то, что вчера было «правильным», сегодня может оказаться «неправильным» и наоборот; когда он вообще начинает постигать язык, как самодовлеющую, живущую по своим законам, величественную стихию, — тогда у него легко может зародиться отрицательное и даже ироническое отношение к своему прежнему «нормативизму» и к задачам нормирования языка. И чем наивнее была его прежняя вера в существование норм, тем бурнее может оказаться, как у всякого новообращенного, его новое отрицание их. От такого поверхностно-революционного отношения к нормативной точке зрения я решительнейшим образом должен предостеречь читателя. Ближайший анализ покажет, что для литературного наречия наивный нормативизм интеллигента-обывателя, при всех его курьезах и крайностях, есть единственно-жизненное отношение, а что выведенный из объективной точки зрения квиетизм был бы смертным приговором литературному наречию.

Прежде всего, при ближайшем рассмотрении оказывается, что среди многих отличий литературного наречия от естественных, народных наречий и языков как раз самым существенным, прямо можно сказать, конститутивным является именно это стремление говорящего так или иначе **нормировать** свою речь, говорить не просто, а **как-то**. В естественном состоянии языка говорящий не может задуматься над тем, **как** он говорит, потому что самой мысли о возможности различного говорения у него нет. Не поймут его — он перескажет, и даже обычно другими словами, но все это совер-

шенно «биологически», без всякой задержки мысли на языковых фактах. Крестьянину, не бывшему в школе и избежавшему влияния школы, даже и в голову не может прийти, что речь его может быть «правильна» или «неправильна». Он говорит, как птица поет. Со всем другим делом человек, прикоснувшийся хоть на миг к изучению литературного наречия. Он моментально узнаёт, что есть речь «правильная» и «неправильная», «образцовая» и отступающая от «образца». И это связано с самым существованием и с самым зарождением у народа литературного, т.е. образцового, наречия. И зарождается-то оно, как «лучшее», как язык преобладающего в каком-либо отношении (не всегда литературном, а и политическом, религиозном, коммерческом и т.д.) племени и преобладающих в тех же отношениях классов, как язык, который надо для успеха на жизненном поприще усвоить, заменив им свой, доморощенный, житейский язык, т.е. как некая норма. Существование языкового идеала у говорящих — вот главная отличительная черта литературного наречия с самого первого момента его возникновения, черта, в значительной мере создающая самое это наречие и поддерживающая его во все время его существования. С точки зрения естественного процесса речи, с точки зрения, так сказать, физиологии и биологии языка, эта черта совершенно неестественна. Если сравнить речь с другими привычными процессами нашего организма, например с ходьбой или дыханием, то «говорение» интеллигента будет так же отличаться от говорения крестьянина, как ходьба по канату от естественной ходьбы или как дыхание факира от обычного дыхания. Но эта-то неестественность и оказывается как раз условием существования литературного наречия.

Присмотримся поближе к основным чертам этого литературно-языкового идеала. Первой и самой замечательной чертой является его поразительный контраст, равного которому мы не встречаем ни в какой другой области духа. Из всех идеалов это единственный, который лежит целиком позади. «Правильной» всегда представляется речь старших поколений, предшествовавших литературных школ. Ссылка на традицию, на прецеденты, на «отцов» есть первый аргумент при попытке оправдать какую-либо шероховатость. Нормой признается то, что было, и отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет. Сама по себе нормативность не связана с неподвижностью норм. В области права мы имеем пример норм, еще более принудительных и в то же время как раз подвижных, произвольно и планомерно изменяемых. Не то в языке. Здесь норма есть идеал, раз навсегда уже достигнутый, как бы отлитый на веки вечные. Это сообщает литературным наречиям особый характер постоянства по сравнению с естественными наречиями, мешает им эволюционировать в сколько-нибудь заметных размерах. Современный образованный итальянец легко читает Данте,

современный же итальянский крестьянин вряд ли бы разобрался в языке родной деревни XIII века. Если в языке «все течет», то в литературном наречии это течение заграждено плотиной нормативного консерватизма до такой степени, что языковая река чуть ли не превращена в искусственное озеро. Не трудно видеть, что этот консерватизм не случаен, что он тесно связан опять-таки с самым существованием литературного наречия и литературы. Разговорный язык может меняться в каком угодно темпе, и беды не произойдет, потому что мы говорим с отцами нашими и дедами, но не далее. Читая Пушкина, мы уже говорим с прадедом, а для англичанина, читающего Шекспира, и для итальянца, читающего Данте, это «пра» удесятерится. Если бы литературное наречие изменялось быстро, то каждое поколение могло бы пользоваться лишь литературой своей да предшествовавшего поколения, много двух. Но при таких условиях не было бы и самой литературы, так как литература всякого поколения создается все́й предшествующей литературой. Если бы Чехов уже не понимал Пушкина, то, вероятно, не было бы и Чехова. Слишком тонкий слой почвы давал бы слишком слабое питание литературным росткам. Консерватизм литературного наречия, объединяя века и поколения, создает возможность единой мощной многовековой национальной литературы.

Второй особенностью литературно-языкового идеала является то, что этот идеал всегда — местный. Мы все стараемся говорить не только, как говорили наши отцы, но и как говорят в Москве, в частности на сцене Малого и Художественного театров. Взоры и слух всех французов обращены на небольшую площадку сцены Comedie Francaise. Эта особенность, опять-таки связанная с самой сущностью и происхождением литературного наречия (наречие обладавшего племенем, занимавшего определенную территорию), оказывается в культурно-историческом отношении не менее важной. Если языковой консерватизм объединяет народ во времени, то равнение на языковой центр (Москва, Париж и т.д.) объединяет народ территориально. Основным свойством языковой эволюции признается в современном языкознании дифференциация языков, в силу которой всякий говор стремится обособиться от других говоров, распасться в свою очередь на говоры и сделаться наречием, всякое наречие стремится сделаться языком, всякий язык — целой языковой группой родственных языков и т.д. Словом, здесь эволюция совершенно аналогична эволюции животного и растительного мира и протекает целиком по дарвиновской схеме, по принципу «расхождения признаков»: разновидности делаются видами, виды родами и т.д. Так в естественном состоянии, но опять-таки не так при существовании литературного наречия. Литературное наречие не только объединяет различные части народа, говорящие на разных наречиях, как междурайонное, понятное всюду, оно и непосредственно воздействует на местные наречия и говоры, нивелируя их своим

влиянием и задерживая процесс дифференциации. А на такое непосредственное воздействие одна литературная, книжная традиция без живого, звучащего в национальном центре образца вряд ли оказалась бы способной. Говоря популярно, если бы рязанцы, туляки, калужане и т. д. не прислушивались бы к Москве, у них на месте нынешних наречий и говоров образовались бы вскорости свои рязанский, тульский, калужский и т. д. языки и национальности, и с русской национальностью было бы покончено.

Все, о чем я говорил до сих пор, касается той стороны литературно-языкового идеала, которая определяется понятиями «правильного» и «неправильного». Но ведь кроме правильности мы требуем от речи и много другого. Из этого другого я коснусь здесь только того, чего мы все требуем от себя и от других, всегда и везде, требуем так же неумолимо, как правильности, именно — ясности речи. Наш собеседник может говорить плоско, худосочно, неизобразительно, растянуто, неточно даже — мы со всем этим будем мириться. Но если он будет говорить непонятно, мы просто прекратим разговор. Мне могут возразить, что понятность требуется и в естественной речи, что она есть необходимое условие всякой речи как процесса социального и что в этом отношении известного рода «норма» рисуется в уме даже дикаря: говорящий непонятно представится ему именно ненормальным. Все это так, и нормативность, в известном смысле, действительно входит в природу всякого говорения (см. ниже о социальной обусловленности речевого процесса). Но дело в том, что в естественном состоянии языка на нормативности этой никогда не приходится настаивать и даже не случается о ней подумать. В естественном состоянии все, кроме сумасшедших и сумасшедствующих (колдуны, шаманы, заклинатели), говорят нормально, т. е. понятно. Даже в нашей деревне говорят непонятно только придурковатые да те, которые хотят «свою образованность показать» (т. е. задеть уже литературным наречием). В литературном наречии, напротив, все всегда и везде говорят в той или иной степени непонятно. Это может показаться парадоксом, но я прошу вспомнить любое собрание, любой доклад, любой спор. Разве не обращаются всегда к докладчику с просьбой разъяснить то или иное положение (причем вопросы обличают зачастую полное непонимание вопрошателей), разве не занимаемся мы в наших спорах преимущественно выяснением того, что мы «хотим сказать» или «хотели сказать», и разве не расходимся в результате всех этих выяснений часто глубоко непонятыми и непонимающими? Я прошу вспомнить, сколько времени тратится в наших спорах на действительное выяснение истины и сколько на устранение словесных недоразумений, на уговор о значении слов (это все в лучшем случае, когда спорящие не просто твердят каждый свое, а стараются понять друг друга); прошу вспомнить, сколько времени тратится юристами на выяснение смысла того или иного свиде-

тельского показания, того или иного закона; прошу вспомнить, сколько людей в науке, в поэзии, в философии, в религии заняты исключительно толкованием чужих мыслей, выраженных подчас самими творцами как будто бы классически ясно и просто, но тем не менее всегда создающих целый ряд толков, сект, течений, направлений и т.д.; прошу все это вспомнить — и читатель согласится со мной, что затрудненное понимание есть необходимый спутник литературно-культурного говорения. Дикари просто «говорят», а мы все время что-то «хотим» сказать. Мы, как слепцы, ищем с протянутыми руками друг друга в воздухе. Каждый вполне понимает только свою собственную речь. Это создает усиленный спрос на ясность в литературном наречии. Чем непонятнее культурные люди вынуждены говорить (почему — об этом ниже), тем понятнее они хотят говорить. ... Естественная речь (конечно, и разговорно-литературная, поскольку она одной стороной своей примыкает к естественной) по природе своей эллиптическая, что мы всегда не договариваем своих мыслей, опуская из речи все, что дано обстановкой или предыдущим опытом разговаривающих. Так, за столом мы спрашиваем: «Вы кофе или чай?»; встретив знакомого, спрашиваем: «Ты куда?»; услышав надоевшую музыку, говорим: «Опять!»; предлагая воду, скажем: «Кипяченая, не беспокойтесь!»; видя, что перо у собеседника не пишет, скажем: «А вы карандашом!» и т.д. Такие случаи, когда подающий воду говорит: «Это кипяченая вода», или следящий за письмом говорит: «А вы пишете карандашом» — принадлежат несомненно к более редким. Язык по природе экономен в средствах. Не трудно видеть, что эта экономия возможна только при двух, уже указанных выше, условиях: 1) общности обстановки (обеденный стол, вода, писанье) и 2) общности предыдущего опыта (музыка). Каждая из вышеприведенных фраз сама по себе совершенно непонятна и может иметь огромное количество значений в зависимости от этих двух факторов... и наиболее недоговоренное из предыдущих примеров восклицанье «Опять!», могущее иметь уже поистине бесконечное количество значений, на практике всегда будет понято наиболее точным образом. Можно даже сказать, что точность и легкость понимания растут по мере уменьшения словесного состава фразы и увеличения ее бессловесной подпочвы. Чем меньше слов, тем меньше поводов для недоразумений. Это прямо приводит нас к причинам «непонятности» литературной речи. Чем литературнее речь, тем меньшую роль играет в ней общая обстановка и общий предыдущий опыт говорящих. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить два полюса этой стороны речи: разговор крестьянина с женой об их хозяйстве и речь оратора на столичном митинге. Первые говорят только о том, что или перед их глазами, или переживается ими сообща в течение всей жизни ежедневно; второй говорит обо всем,

кроме этого. Обстановка в его речи совершенно отсутствует, а предыдущий опыт распадается на индивидуальные опыты тысячи съехавшихся со всего света лиц, объединенных только общностью человеческой природы. Во сколько же раз ему труднее быть понятным, и во сколько раз больше он поэтому должен стараться говорить понятно! Всякий, кому случалось составлять уличное или газетное объявление о продаже пианино, прекрасно помнит, как он именно составлял его, а не просто писал, как он обдумывал каждое слово, и как нередко он рвал черновики. Почему это? Потому, что трудность языкового общения растет прямо пропорционально числу общающихся, и там, где одна из общающихся сторон является неопределенным множеством, эта трудность достигает максимума. А во всякой печатной (т. е. собственно литературной) речи это именно так и есть: книги печатаются для неопределенного множества лиц. Понятно, что в противовес этой неизбежной затрудненности общения в культурном обществе должен был чисто биологически возникнуть культ слова, культ умения говорить, что для естественных условий звучит абсурдно. И если бы даже ни правописание наше, ни грамматика нашего литературного наречия сама по себе, ни словарь его не представляли никаких трудностей (предположение, конечно, фантастическое), мы все равно учились бы и учили бы родному языку в школе, потому что каждый из нас, как только он выйдет из пределов домашнего обихода, как только он заговорит о том, чего нет и не было ранее перед глазами его собеседника, должен уметь говорить, чтобы быть понятным.

Основная и наибольшая часть этого умения говорить дается в школе. Жизнь сравнительно мало прибавляет к приобретенному в школе. Отсюда понятна колоссальная государственно-культурная роль постановки родного языка в школе именно как предмета нормативного. Там, где дети усиленно учатся говорить, там взрослые не теряют бесконечного количества времени на отыскивание в словесном потоке собеседника основной мысли и не изливают сами таких потоков вокруг своих мыслей, там люди не оскорбляют друг друга на каждом шагу, потому что лучше понимают друг друга, там люди меньше судятся, потому что составляют более ясные контракты и т. д., и т. д. Умение говорить, это то смазочное масло, которое необходимо для всякой культурно-государственной машины и без которого она просто остановилась бы. Если для общения людей вообще необходим язык, то для культурного общения необходим как бы язык в квадрате, язык, культивируемый как особое искусство, язык нормируемый.

<...> Мы должны признать, что противоречие факта и идеала, сущего и должного, свойственно вообще нашей мысли во всех областях ее. И наука с жизнью давным давно уже поделили между собой эти вещи: наука взяла себе «сущее», а жизнь — «должное»; там же,

где «должное» с очевидностью основывается на «сущем», создались специальные, промежуточные между жизнью и наукой, сферы — прикладные, нормативные науки. ...Раздвоенные наблюдения и действия во всех других областях, кроме языковой, так элементарно, что не требует даже размышлений. Напротив, в языке все так привыкло к действию и так далеки от наблюдения и изучения, что, внезапно распознав язык как предмет наблюдения и изучения, готовы забыть, что они непрестанные творцы того же самого процесса, который наблюдают; и что эти две свои роли — роль наблюдателя и роль творца — каждый сам в себе должен разделить и в первой быть объективным, а во второй субъективным (насколько вообще допускает это такая объективная сфера, как язык). <...> Лингвист как таковой не знает оценки языковых фактов, .. для лингвиста в процессе изучения все факты хороши. Лингвист не как лингвист, а как участник языкового процесса, как член данной языковой общины, конечно, расценивает языковые факты наравне со всеми прочими образованными людьми, с той лишь разницей, что у него для этой расценки гораздо больше специальных знаний. И не только расценивает, но сплошь и рядом активной проповедью вмешивается в процесс языковой эволюции (хотя опять-таки подчеркиваю, что стихийность языковых явлений плохо мирится с индивидуальным вмешательством и придает ему всегда вид донкихотства). Точно так же и обыватель, поскольку он наблюдает язык и интересуется им (случай не частый, конечно), является частично лингвистом, а поскольку морщится от каких-нибудь «местов» или «делов» — языковым политиком, человеком, участвующим в нормировании речи.

Есть одна область общественных отношений, где это совмещение наблюдения и действия сказывается особенно ярко. Это — рынок. На рынке, как известно, каждый принаровляется к так называемой рыночной цене, стараясь купить не дороже, а продать не дешевле этой цены. Цену эту он воспринимает как нечто объективно данное: «сегодня пуд картофеля *стоит* столько-то». Но в то же время известно, что это *стоит* слагается из соотношения спроса и предложения, в которых участвует каждый посетитель рынка. Принаравливаясь к объективной «стоимости», он в то же время всяким актом купли-продажи и даже простым подходом к этому акту субъективно создает (пропорционально своей доле участия в общем обороте рынка) эту самую «стоимость». Совершенно то же и в языке. Все мы, чтобы нас понимали, должны равняться в нашей языковой деятельности по окружающим, должны говорить, как все. Непосредственное воздействие говорящей среды на каждого индивидуума ведет к тому же: каждый невольно подражает всем окружающим его. Но, с другой стороны, как создастся это «как все»? Если каждый подражает каждому, то почему же в конце концов получается не нечто абсолютно однообразное, а, напротив, такое разнообразие, при котором нет 2 людей, абсолютно одинаково говоря-

щих? Все дело в том, что это «как все» создается сложением миллионов индивидуальных языков, в том числе и моим. Всякий говорящий одновременно и подражает и вызывает подражание, и говорит «как все» и создает это «как все». Как нет на рынке ни одного покупателя (даже из приценивающихся или осведомляющихся только) и ни одного продавца, которые бы не участвовали в создании рыночной цены, так нет в языке ни одного говорящего, который бы не участвовал в создании самого языка. Разница между обывателем и литератором здесь только количественная, как между крупными покупателями-продавцами и мелкими, но не качественная. И стремление всякого говорящего повлиять на язык, по сути дела, было бы настолько же естественно и законно, как стремление купить на рынке дешевле, а продать дороже.

В школе эти две стороны должны войти в теснейшее соприкосновение уже по одним методическим причинам. Изучение одних сухих «норм» высшей «литературности» без объяснения, откуда они взялись, насколько совпадают с разговорной действительностью и насколько отличаются от нее, было бы нестерпимо скучным. Это равнялось бы зубрению языкового «свода законов» без всякого юридического освещения, что, как известно, ни в одной юридической школе не практикуется. С другой стороны, одно наблюдение над языком без всякого практического применения этого наблюдения было бы, по крайней мере для школьника первой ступени, безусловно не по плечу. Теоретический интерес должен поддерживаться практическим, практический — теоретическим. Ребенок должен отчетливо понимать, что он учится хорошо говорить, но что для того, чтобы этому научиться, надо прислушаться к тому и подумать над тем, как люди говорят. Уже и в детском уме объективная и нормативная точки зрения должны прийти в должное равновесие и взаимодействие. Но для этого прежде всего надо, чтобы последнее твердо и стройно установилось в уме учителя, чему я и хотел поспособствовать настоящей статьей.

Печатается по изданию: *Пешковский А. М.*
Избранные труды. — М., 1959. — С. 50 — 62.

Вопросы

1. Какую точку зрения на язык А. М. Пешковский определяет как объективную?
2. Почему носитель языка, как заметил А. М. Пешковский, «убежден, что для каждого языкового случая существуют правила»?
3. Почему так называемая нормативная точка зрения, по мнению А. М. Пешковского, «есть единственно-жизненное отношение к языку»?
4. На основании чего формируется у человека представление о языковом идеале (по А. М. Пешковскому)?
5. В силу какого выделенного А. М. Пешковским свойства языка, проявляющегося во времени, устанавливается языковая норма?

6. На основании каких пространственных ориентиров, по А. М. Пешковскому, складывается языковая норма?
7. Какое требование, предъявляемое к языку и речи, А. М. Пешковский признавал основным?
8. На какие причины непонимания речи указывает А. М. Пешковский?
9. Почему *затрудненное понимание* является, по мнению А. М. Пешковского, «необходимым спутником литературно-культурного говорения»?
10. Какие условия, по А. М. Пешковскому, способствуют реализации принципа экономии речи?
11. Какие пять основных признаков языковой нормы выделяет А. М. Пешковский?
12. С какой точки зрения следует подходить к языку в средней и высшей школе и вне школы?



10. Ж. ПИАЖЕ ОБ ИНТЕЛЛЕКТЕ, РЕЧИ И ЯЗЫКЕ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Гибкое и одновременно устойчивое структурное равновесие поведения — вот что такое интеллект, являющийся по своему существу системой наиболее жизненных и активных операций...

Ж. Пиаже

Жан Пиаже (1896—1980) — виднейший швейцарский психолог, организатор Международного центра генетической эпистемологии (Женева, 1955) — внес весьма ощутимый вклад в развитие общей и экспериментальной психологии, особенно детской; написал около 30 крупных монографий и много статей (в их числе переведенные на русский язык «Речь и мышление ребенка» (1923) [1] и «Избранные психологические труды» [2] с монографией «Психология интеллекта» (1946) [2, с. 54 — 231]).

Ж. Пиаже, начав путь в науке как биолог, увлекся психологией в ходе работы в «Доме малюток» Института Жан-Жака Руссо в Париже (1919—1921 гг.) и затем в Женеве (с 1921 г.), став одним из ярких представителей синтетического подхода к изучению психики человека и прежде всего ребенка. На основе материалов этого раннего периода научного пути он пишет первые работы по детской психологии [1; 2, с. 13], в которых излагает основы своей когнитивной концепции развития ребенка. Затем в 1930-х годах Ж. Пиаже делает упор на развитие операциональной концепции интеллекта, получившей в период с 1929 по 1939 г. ту форму, которая стала известной современной психологической науке.

Предметом исследований Ж. Пиаже было «чрезвычайно сложное структурное образование, включающее в себя элементы как психологии и логики, так и гносеологии и социологии» [2, с. 53], в основу изучения которого им были положены обширные и методически обеспеченные экспериментальные наблюдения (в том числе и над своими детьми). И непреложным при этом для Ж. Пиаже оставался идущий еще от биологии **принцип развития** сложных систем, понимаемый им как **адаптация**, то есть «как равновесие между ассимиляцией и аккомодацией или, что, по существу, одно и то же, как равновесие во взаимодействиях субъекта и объекта» [2, с. 67].

Закономерно, что Ж. Пиаже уже в самом раннем периоде своих психологических исследований строит концепцию детского мышления на основе логики и биологии: «Двойственная природа интеллекта, одновременно логическая и биологическая, — вот из чего нам следует исходить» [2, с. 61]. Принимая необходимость врожденных психобиологических и внешних природных факторов, он учитывал и преимущественную роль социальных факторов: «Человеческое существо с самого своего рождения погружено в социальную среду... Более того... общество не просто воздействует на индивида, но непрерывно трансформирует его структуру» [2, с. 210]. Однако стремясь сохранить специфику психологического подхода в онтогенетических исследованиях, Ж. Пиаже не выходил за пределы психологии индивида с ее четко выраженной при этом биологической направленностью, но настойчиво сосредоточивал при этом все внимание на выявлении природы интеллекта и соотношения логики и психологии, выступая ярким последователем функционально-структурного и синтетического подходов к изучению интеллекта. И богатейшие россыпи на этом пути познания предоставляла психология ребенка.

Психическое развитие ребенка Ж. Пиаже видел в тесной связи с развитием интеллекта. Сам же интеллект он определял в контексте поведения. **Поведение** как специфическая категория психологии понимается как «особый случай обмена (взаимодействия) между внешним миром и субъектом», который «предполагает существование двух важнейших и теснейшим образом связанных аспектов: аффективного и когнитивного» [2, с. 62], причем первый дает описание интенсивности («энергетики») поведения, а второй — описание его структурирования, структурной организации.

На основе экспериментальных исследований Ж. Пиаже показал, что развитие когнитивного поведения ребенка идет по стадиям сообразно этапам (уровням) умственного развития путем адаптации ребенка к окружению. Интеллект выступает как стержень развития психики, поскольку *понимание {создание схемы окружения}* обеспечивает адаптацию к окружению: «Будучи самой со-

вершенной из психических адаптации, интеллект служит... наиболее необходимым и совершенным орудием во взаимодействиях с окружающим миром... чтобы достичь заранее установленных и устойчивых отношений» [2, с. 65]. Он постоянно подчеркивает специфику интеллекта ребенка, указывая, что «...рождающийся интеллект является лишь формой подвижного равновесия, к которому стремятся механизмы, свойственные восприятию и навыку, но которого они достигают лишь после выхода за пределы соответствующих начальных сфер применения... Мысль должна пройти все этапы развития, от появления языка до конца детства, чтобы завершённые и даже скоординированные в форме эмпирических групп сенсо-моторные структуры развились в операции в собственном смысле слова — операции, посредством которых эти группировки и группы смогут строиться и преобразовываться в плане представления и рефлексивного рассуждения» [2, с. 172]. «Основная проблема психологии мышления, — как отмечает Ж.Пиаже в этой связи, — состоит в том, чтобы выявлять законы равновесия этих систем (организованных целостностей. — А. К.)... центральная проблема логики... состоит... в том, чтобы формулировать законы этих целостностей как таковых» [2, с. 95].

Все этапы развития мысли (в сущности, мысле-рече-языкового поведения) имеют собственные черты или характеристики. Пытаясь раскрыть их, Ж. Пиаже сначала на основе метода свободной беседы сосредоточил свое внимание на детских высказываниях, служащих как бы своеобразным «окошком» в скрытый мир рождения мыслей: «Только на базе овладения языком, т.е. с наступлением символического и интуитивного периодов, появляются новые социальные отношения, которые обогащают и трансформируют мышление индивида» [2, с. 212]. Результаты этих наблюдений, понимаемые им как предварительные, были изложены в публикациях начала 1920-х годов [1]. О них именно писал в свое время Л. С. Выготский: «Исследования Пиаже составили целую эпоху в развитии учения о речи и мышлении ребенка, о его логике и мировоззрении... В центр внимания было поставлено *то, что есть у ребенка*» [3, с. 56 — 57]. А это — «то, что есть у ребенка» в действительности, — Ж. Пиаже определил как *эгоцентризм речи* (речи для себя вне связи с общением с другими индивидами), *синкретизм* детского мышления (его нерасчлененность), *артифициализм* (искусственность, воображаемость), *анимизм* и *магизм, нечувствительность к противоречиям*. Он выявил и три существенных момента в становлении мышления, языка и речи в онтогенезе.

Во-первых, система коллективных знаков «не является достаточным средством выражения мышления маленького ребенка: ...ему нужно играть в то, что он думает, выражать свои мысли

символически, при помощи жестов или объектов, представлять вещи посредством подражания, рисования и конструирования» [2, с. 215]; эта особенность мысле-рече-языковой деятельности ребенка и есть существо феномена «эгоцентрической речи» ребенка в раннем детстве.

Во-вторых, «...язык передает индивиду вполне готовую, сформировавшуюся систему понятий, классификаций, отношений», но «ребенок заимствует только то, что ему подходит, гордо проходя мимо того, что превышает его уровень мышления» [2, с. 213], когда ребенок ассимилирует интеллектуальные влияния окружения по-своему, сводит все к своей собственной точке зрения, деформируя эти влияния, сам того не замечая и не отделяя собственную точку зрения от точки зрения другого, причем «...дети нечувствительны к противоречиям, и это происходит потому, что, переходя от одной точки зрения к другой, они каждый раз забывают предыдущую» [1, с. 79].

В-третьих, «остаются отношения, в которые индивид вступает со своим окружением» [2, с. 213]; при этом такие синхронные по своей сути отношения вступают в противоречия с диахронными процессами, отражаемыми в языке при овладении им ребенком, причем «надо помнить, что во время обучения языку ребенок является постоянной жертвой смещения своей собственной точки зрения с точкой зрения другого» [1, с. 19].

Зрелость мышления, по Ж.Пиаже, определяется становлением логического мышления как высшей формы *операциональности* мышления посредством *интериоризации*, когда внешние сенсомоторные операции переходят во внутренний план, превращаясь в логические, т. е. собственно мыслительные, операции. На этом пути Ж. Пиаже открывает *обратимость* интериоризованных операций и *необратимость* внешних — *экстериоризованных* — операций: «...операции представляют собой не что иное, как систему трансформаций, скоординированных и ставших обратимыми вне зависимости от их конкретных комбинаций» [2, с. 228].

Ж. Пиаже делает вывод, что концепция операциональных группировок мышления «позволяет понять глубокое функциональное единство психической эволюции, не затушевывая при этом различий в природе разных структур, свойственных последовательным этапам этой эволюции. Как только достигнута полная обратимость (т.е. достигнут предел непрерывного процесса, где... свойства данного состояния весьма отличны от свойств предшествующих фаз, ибо только на этом этапе наступает равновесие), ранее негибкие элементы приобретают способность к мобильной композиции, которая как раз и обеспечивает их стабильность... Ритм, регуляция и "группировки" образуют ...три фазы эволюционирующего механизма, связывающего интеллект с морфологическими свойствами самой жизни и дающего ему возможность осуще-

ствлять специфические адаптации, одновременно безграничные и уравновешенные между собой, которые в органическом плане были бы невозможными» [2, с. 229].

В заключение отметим, что развитые Ж. Пиаже идеи об операциональных целостностях интеллекта, функционально-структурный подход к описанию механизмов мысле-рече-языкового действия, взгляд на мышление как генетически обусловленную форму регуляции отношений между живой системой и средой — все это хорошо вписывается в концепции квантовой парадигмы развития отношений в сложных системах.

Следует также признать, что в современной психологии не существует другой такой экспериментально и теоретически обоснованной схемы стадионального формирования умственных действий от младенчества до юности, как созданной Ж. Пиаже. Ценность ее признается научной мыслью благодаря продуктивности с позиций концепции предвосхищающего развития (антиципации) не только применительно к детям, но и к взрослым в отношениях человека с миром.

Литература

1. *Пиаже Ж.* Речь и мышление ребенка. — СПб., 1997.
2. *Пиаже Ж.* Избранные психологические труды: Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. — М., 1969.
3. *Выготский Л. С.* Избранные психологические исследования. — М., 1956.-С. 56-57.

Ж. ПИАЖЕ

РЕЧЬ И МЫШЛЕНИЕ РЕБЕНКА

{Извлечения}

Глава I

ФУНКЦИИ РЕЧИ ДВУХ ДЕТЕЙ ШЕСТИ ЛЕТ

Мы попытаемся разрешить здесь следующий вопрос: какие потребности стремится удовлетворить ребенок, когда он говорит? Данная проблема не является ни чисто лингвистической, ни чисто логической — это проблема функциональной психологии. Но именно с нее-то и надо начинать всякое изучение логики ребенка.

Поставленный нами вопрос на первый взгляд представляется странным; кажется, что у ребенка, как и у нас, речь служит для передачи мысли. Но на самом деле это совсем не так просто. Прежде всего, взрослый при помощи слова пытается передать различные

оттенки своей мысли. Речь служит ему для констатации мысли: слова объективно выражают размышление, дают информацию и остаются связанными со знанием («погода портится», «тела падают» и т.д.). Иной раз, напротив, речь выражает приказание или желание, служит для критики, угроз, короче — для пробуждения чувств и вызывания действий («пойдем», «какой ужас!» и т.д.). Если хотя бы приблизительно можно было установить для каждого индивидуума отношение между этими двумя категориями передачи, были бы получены интересные психологические данные.

Но это еще не все. Можно ли наверное утверждать, что даже у взрослого речь всегда служит для передачи, для сообщения мысли? Не говоря уже о внутренней речи, очень многие — из народа или рассеянных интеллектуалов — имеют привычку наедине произносить вслух монологи. Может быть, в этом можно усмотреть приготовление к общественной речи: человек, говорящий вслух наедине, сваливает иногда вину на фиктивных собеседников, как дети — на объекты своей игры. Возможно, в этом явлении есть «отраженное влияние социальных привычек», как на это указал Дж. Болдуэн: индивидуум повторяет применительно к себе способ действий, первоначально усвоенный им лишь по отношению к другим. В этом случае он разговаривает с собой как бы для того, чтобы заставить себя работать, разговаривает потому, что у него уже образовалась привычка обращаться с речью к другим, чтобы воздействовать на них. Но примем ли мы то или другое объяснение, ясно, что здесь функция речи отклоняется от своего назначения: индивидуум, говорящий сам для себя, испытывает от этого удовольствие и возбуждение, которое как раз очень отвлекает его от потребности сообщать свои мысли другим. Наконец, если бы функция речи состояла исключительно в информировании, то трудно было бы объяснить явление вербализма. Каким образом слова, предназначенные по своему употреблению для точных обозначений, только и существующие для того, чтобы быть понятыми, могли бы приводить к затуманиванию мысли, даже к созданию неясности, умножая лишь словесно существующие объекты, короче, именно затрудняя во многих случаях возможность сделать мысль передаваемой? Не желая возобновлять здесь дискуссий о взаимоотношении речи и мышления, отметим только, что самое наличие этих дискуссий доказывает сложность функций речи и несводимость их к единой функции — сообщению мысли.

Итак, функциональная проблема речи может ставиться даже по отношению к нормальному взрослому. Тем более, она может быть поставлена по отношению к больному, к первобытному человеку или к ребенку. Жане, Фрейд, Ференци, Джонс, Шпильрейн предлагали различные теории, касающиеся речи первобытных людей, больных и малолетних детей, — теории, имеющие большое значение, для мысли ребенка 6 лет и старше...

Жане, например, полагает, что первые слова происходят от криков, которые у животных и у первобытного человека сопровождают действие: крики гнева, угрозы в борьбе и т. д. Например, крик, которым командир сопровождает военную атаку, становится сигналом к этой атаке. Отсюда первые слова — приказание. Следовательно, слово сначала связано с действием, одним элементом которого оно является и которого затем достаточно, чтобы вызвать это действие. Психоналитики исходили из аналогичных идей для объяснения магии слова. Так как слово по своему происхождению является частью действия, то его достаточно, чтобы вызвать все связанные с ним душевные движения и все конкретное содержание.

Например, к самым примитивным словам безусловно относятся любовные крики, служащие предисловием к половому акту: как следствие, такие слова, а также все слова, намекающие на этот акт, наделены непосредственной возбуждающей силой. Данные факты объясняют общую тенденцию примитивного мышления рассматривать названия вещей и лиц и обозначения событий как самое их существо. Отсюда и вера в то, что возможно воздействие на эти вещи и события путем простого произнесения слов; значит слово — нечто гораздо большее, чем этика; оно — сама внушающая страх действительность, которая составляет часть названного предмета. Шпильрейн занялась отысканием подобных явлений на самых первых ступенях речи ребенка. Она пыталась доказать, что слоги, служащие младенцу для обозначения матери во многих языках («мама») состоят из губных согласных, что свидетельствует о простом продолжении акта сосания.

«Мама»... как бы является сначала криком желания, а потом, по существу, приказанием, которое одно лишь может удовлетворить это желание. Но уже один только крик «мама» приносит некоторое успокоение и — поскольку он есть продолжение акта сосания — некоторое обманчивое удовлетворение. Приказание и непосредственное удовлетворение здесь почти смешались, и невозможно узнать, когда слово служит настоящим приказанием и когда оно играет свою магическую роль, настолько переплелись здесь эти два момента.

...Мейман и Штерн показали, что первые имена существительные в речи ребенка вовсе не обозначают понятий, а выражают приказания и желания, и есть основание полагать, что примитивная речь ребенка значительно сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Однако, даже если отнестись ко всем деталям этих теорий с осторожностью, все-таки становится очевидным, что многие выражения, осмысляемые нами просто как понятия, у маленького ребенка долгое время имеют смысл не только аффективный, но еще и магический, где все связано с особыми способами действий, которые стоит изучить сами по себе, какие они есть, а не какими они кажутся взрослым. <...>

II. Вопросы, не облеченные в форму «почему»

§ 8. Вопросы причинного объяснения

...Если данные объяснения причинны, то эта причинность, скажем мы, более динамического, чем механического, порядка (через неопределенную связь).

Такой динамизм поразительно ярко выступает в вопросе о шаре: «Он знает, что вы там?» Гипотеза-минимум, так сказать, что это вопрос, вызванный склонностью ребенка к выдумыванию, к фантазированию (фабуляции). Дэль¹ одушевил шар ради игры, как в игре он одушевил бы камешек, кусочек дерева. Но словом «фабуляция» далеко не все сказано: ибо ребенок мог бы ведь сделать что-либо другое, а не выдумывать. Отсюда гипотеза-максимум: не приписывает ли Дэль шару силу живого существа? Любопытный вопрос Дэля о мертвых листьях нам сейчас покажет, что жизнь и произвольное движение для Дэля еще смешаны. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что такая проблема ставится и по отношению к шару, «причины» движения которого Дэль не понимает. Даже если бы он выдумал все то, что касается шара, самый факт постановки вопроса в этой форме и с серьезным видом является признаком отсутствия интереса к механической причинности и того, что ребенок не удовлетворяется механической причинностью. Подобный факт обнаруживает самые корни предпричинного объяснения: двигающая причина и мотив смешаны ребенком, потому что явления одушевлены жизнью или динамизмом, который идет от жизни.

Другие вопросы приписывают людям и богам умение делать источники, дождь и т.п. при помощи тех же способов, которыми пользуются люди. Представляет ли эта искусственность... по своему происхождению явление более раннее или более позднее по отношению к предыдущему типу предпричинности? Мы не намерены здесь решать этот вопрос, он вне нашей темы. Достаточно отметить, что Дэль вообще не старается точно определить, кто *создатель* того или иного явления окружающего мира. Следовательно, надо истолковывать большинство вопросов «почему» как отыскивающих намерения в явлениях, причем эти намерения не приписываются определенному существу. Отсюда и предпричинное объяснение, смешивающее мотив и механическую причину. С этой точки зрения частое одухотворение (анимизм) предшествует искусственности как у ребенка, так и у рода.

Дэль — ребенок, участвующий в эксперименте.

Короче, эти вопросы о предметах неживой природы (из которых лишь очень немногие могут быть истолкованы как собственно причинные) дополняют и подтверждают нашу гипотезу о предпричинности и роднят это понятие с хорошо известным анимизмом маленьких детей. Несомненно, скажут, что мы слишком быстро проходим мимо этих связей и мимо различных типов детских объяснений и что эти связи и типы требуют более глубокого анализа и сравнения с материалами других источников; но, повторяем, нашей целью здесь является не анализ причинности у ребенка, а изучение детской логики; а в этом аспекте нам достаточно знать, что логическое включение и физическая причинность здесь еще не отличаются от простой мотивировки, откуда и происходит понятие о «предпричинности».

Детская концепция, согласно которойдвигающиеся предметы наделены собственной активностью, делает особенно важными вопросы Дэля о жизни и смерти. Вспомним результат, к которому нас привело изучение «почему» Дэля, относящихся к животным и растениям. Поскольку для ребенка случайности не существует и все явления кажутся установленными согласно известному порядку, то жизнь ему представляется нормальным явлением, и в ней нет ничего удивительного до тех пор, пока ребенок не осознает разницы между жизнью и смертью. С этого момента смерть вызывает особое любопытство ребенка именно потому, что если за каждым явлением скрывается мотив, то смерть требует особого объяснения. <...>

§ 14. Заключение. «Категории», или логические функции мысли ребенка семи лет

Вопрос, говорит Клапаред, —¹ «это осознание проблемы или трудности, подлежащей разрешению, иначе говоря, того направления, в котором надо искать ответ. Для того чтобы поиски увенчались успехом, надо знать, чего ищешь, то есть нужно поставить себе вопрос. Самая природа этого вопроса определит направление поисков. Следовательно, функция вопроса ясна: это вызов умственной деятельности в известном направлении».

Логики старались каталогизировать различные виды вопросов или, скорее, виды суждений, которые являются соответственными ответами; эти же ученые дали название *категорий* различным классам этих суждений-ответов. Перечисление видов вопросов не представляет большого интереса для психологов; вопросы, которые можно задавать себе, бесконечны; их так же много, как и различных затруднений, возникающих при желании на них ответить; и вопрос о том, могут ли они быть сгруппированы по известным рубрикам, представляет лишь второстепенный интерес.

Интереснее спросить себя: каково биологическое происхождение этих различных категорий вопросов? Как индивид пришел к тому, что спрашивает о причине, цели, месте и т. д.? Эта проблема проис-

хождения сводится к тому, чтобы узнать, как мало-помалу индивид стал интересоваться причиной, целью, местом и т. д. Мы вправе думать, что интерес к этим категориям возник только тогда, когда оказалось невозможным осуществить действие в отношении одной из них. *Потребность создает сознание*, а сознание причины (или цели, места и т. д.) блеснет в уме лишь тогда, когда человек испытает потребность приспособиться в отношении причины (или цели и т. д.).

Когда приспособление происходит чисто инстинктивно, ум не отдает себе отчета в категориях, даже если действие инстинкта имеет такой характер, какой он имел бы, если бы эти категории принимались во внимание; вследствие автоматичности акта его исполнение не задает нашему уму никакой задачи, нет затруднения в применении — значит, нет потребности, а следовательно, и нет осознания ни этой потребности, ни способа ее удовлетворения.

...Отметим мимоходом, насколько наша концепция «категорий» отличается от концепции философов. Для психологии способностей категории являлись бы результатом некоторого рода примитивной интуиции, но наблюдение нам показывает, что эти категории возникают лишь вследствие затруднений в приспособлении. Для ассоциационизма категории являлись бы результатом повторных ассоциаций, ставших неразрывными, но опять-таки наблюдение показывает, что когда ассоциация достигает максимума автоматизма (инстинкт, привычка), индивид не дает себе отчета в категориях, потому что, не испытывая затруднения в приспособлении, он не ставит себе и вопроса».

Мы процитировали это замечательное место потому, что в результате нашей работы мы можем лишь подписаться под ним. В одном отношении мы даже пошли еще дальше по пути функциональной психологии, полагая, что факт осознания категории преобразовывает ее в самой ее природе. Так мы приняли формулу: ребенок сам становится причиной гораздо раньше, чем он получает понятие о причине; при этом напоминаем только о следующем: одно лишь удобство выражения (которое, если мы не будем остерегаться, увлечет нас целиком к реалистической теории познания, то есть за пределы психологии) может позволить нам говорить о причинности как об отношении, совершенно независимом от его осознания. В реальной жизни существует столько видов причинности, сколько видов или ступеней осознания. Когда ребенок «есть причина» или действует, как если бы он знал, что одно явление есть причина другого, то несмотря на то, что он не дает себе отчета в причинности, это все же первый вид причинного отношения и, если угодно, функциональный эквивалент причинности. Затем, когда тот же ребенок начинает относиться к вопросу сознательно, это осознание, уже благодаря тому, что оно зависит от потребностей и интересов момента, может принимать различный характер.

Печатается по изданию: *Пиаже Ж.* Речь и мышление ребенка. — СПб., 1997.

ПСИХОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

(Извлечения)

Часть первая

ПРИРОДА ИНТЕЛЛЕКТА

Глава I. Интеллект и биологическая адаптация

...**Место интеллекта в психической организации.** Всякое поведение, идет ли речь о действии, развертывающемся во вне, или об интериоризованном действии в мышлении, выступает как адаптация, или, лучше сказать, как реадaptация. Индивид действует только в том случае, если он испытывает потребность в действии, т. е. если на короткое время произошло нарушение равновесия между средой и организмом, и тогда действие направлено на то, чтобы вновь установить это равновесие, или, точнее, на то, чтобы реадaptировать организм (Клапаред). Таким образом, «поведение» есть особый случай обмена (взаимодействия) между внешним миром и субъектом. Но в противоположность физиологическим обменам, носящим материальный характер и предполагающим внутреннее изменение тел, «поведения», изучаемые психологией, носят функциональный характер и реализуются на больших расстояниях • — в пространстве (восприятие и т. д.) и во времени (память и т. д.), а также по весьма сложным траекториям (с изгибами, отклонениями и т. д.). Поведение, понимаемое в смысле функциональных обменов, в свою очередь, предполагает существование двух важнейших и теснейшим образом связанных аспектов: аффективного и когнитивного.

Вопрос об отношениях между аффективной сферой и знанием был предметом многочисленных дискуссий. Согласно П. Жане, следует различать «первичное действие», или отношение между субъектом и объектом (интеллект и т. д.), и «вторичное действие», или реакцию субъекта на свое собственное действие: эта реакция, образующая элементарные чувства, состоит в регуляции первичных действий и обеспечивает выход избыточной внутренней энергии. Однако нам кажется, что наряду с регуляциями такого рода, которые, по существу, определяют энергетический баланс или внутреннюю экономику поведения, должно существовать место и для таких регуляций, которые обуславливали бы финальность поведения, устанавливали бы его ценности. И именно такими ценностями должен характеризоваться энергетический или экономический обмен субъекта с внешней средой. По Клапареду, чувства предписывают поведению цель, в то время как интеллект ограничивается тем, что снабжает поведение средствами («техникой»). Но существует и такое понимание, при котором цели рассматриваются как средства и при котором финальность действия непрерывно меняется. Поскольку чувство в

какой-то мере направляет поведение, приписывая ценность его целям, психологу следует ограничиться констатацией того факта, что именно чувство дает действию необходимую энергию, в то время как знание налагает на поведение определенную структуру. Отсюда возникает решение, предложенное так называемой «психологией формы»: поведение представляет собой «целостное поле», охватывающее и субъект и объект; динамику этого поля образуют чувства (Левин), в то время как его структуризация обеспечивается восприятием, моторной функцией и интеллектом. Мы готовы согласиться с такой формулировкой при одном уточнении: и чувства, и когнитивные формы зависят не только от существующего в данный момент «поля», но также от всей предшествующей истории действующего субъекта. И в связи с этим мы бы просто сказали, что всякое поведение предполагает как аспект энергетический, или аффективный, так и структурный, или когнитивный, что, на наш взгляд, действительно объединяет изложенные выше точки зрения. <...>

...Сама воля может пониматься как своего рода игра аффективных и, следовательно, энергетических операций, направленных на создание высших ценностей и на то, чтобы сделать эти ценности обратимыми и сохраняемыми (моральные чувства и т.д.); эти операции существуют параллельно системе логических операций, с помощью которых создаются понятия.

Но если во всяком без исключения поведении заложена «энергетика»..., представляющая его аффективный аспект, то вызываемые этой «энергетикой» обмена со средой необходимо предполагают существование некой формы или структуры, определяющей те возможные пути, по которым проходит связь субъекта с объектом. Именно в таком структурировании поведения и состоит его когнитивный аспект. Восприятие, сенсо-моторное научение (навык и т.д.), акт понимания, рассуждение и т.д. — все это сводится к тому, чтобы тем или иным образом, в той или иной степени структурировать отношения между средой и организмом. Именно на этом основании все они объединяются в когнитивной сфере поведения и противостоят явлениям аффективной сферы. Мы будем говорить об этом в связи с когнитивными функциями, понимаемыми в самом широком смысле (включая сюда и сенсо-моторные адаптации организма).

Аффективная и когнитивная жизнь являются, таким образом, неразделимыми, оставаясь в то же время различными. Они неразделимы, поскольку всякий взаимообмен со средой предполагает одновременно и наложение структуры, и создание ценностей (структуризацию и валоризацию); но от этого они не становятся менее различными между собой, поскольку эти два аспекта поведения никак не могут быть сведены друг к другу. Вот почему даже в области чистой математики невозможно рассуждать, не испытывая никаких чувств, и, наоборот, невозможно существование каких бы то ни было чувств без известного минимума понимания или различения. Акт

интеллекта предполагает сам по себе известную энергетическую регуляцию, как внутреннюю (интерес, усилие, легкость и т. д.), так и внешнюю (ценность изыскиваемых решений и объектов, на которые направлен поиск), которые обе по своей природе аффективны и сопоставимы со всеми другими регуляциями подобного рода. И наоборот, никакая из интеллектуальных или перцептивных реакций не представляет такого интереса для когнитивной жизни человека, как те моменты восприятия или интеллекта, которые обнаруживаются во всех проявлениях эмоциональной жизни. То, что в жизни здравый смысл зовет «чувством» и «умом», рассматривая их как две «способности», противостоящие одна другой, суть две разновидности поведения, одна из которых направлена на людей, а другая — на идеи или вещи. При этом каждая из этих разновидностей, в свою очередь, обнаруживает и когнитивный, и аффективный аспекты действия, аспекты, всегда объединенные в действительной жизни и ни в какой степени не являющиеся самостоятельными способностями.

Более того, сам интеллект невозможно оторвать от других когнитивных процессов. Он, строго говоря, не является одной из структур, стоящей наряду с другими структурами. Интеллект — это определенная форма равновесия, к которой тяготеют все структуры, образующиеся на базе восприятия, навыка и элементарных сенсомоторных механизмов. Ведь в самом деле, нужно понять, что если интеллект не является способностью, то это отрицание влечет за собой необходимость некоей непрерывной функциональной связи между высшими формами мышления и всей совокупностью низших разновидностей когнитивных и моторных адаптации. И тогда интеллект будет пониматься как именно та форма равновесия, к которой тяготеют все эти адаптации. Это, естественно, не означает ни того, что рассуждение состоит в согласовании перцептивных структур, ни того, что восприятие может быть сведено к бессознательному рассуждению (хотя оба эти положения могли бы найти известное обоснование), так как непрерывный функциональный ряд не исключает ни различия, ни даже гетерогенности входящих в него структур. Каждую структуру следует понимать как особую форму равновесия, более или менее постоянную для своего узкого поля и становящуюся непостоянной за его пределами. Эти структуры, расположенные последовательно, одна над другой, следует рассматривать как ряд, строящийся по законам эволюции таким образом, что каждая структура обеспечивает более устойчивое и более широко распространяющееся равновесие тех процессов, которые возникли еще в недрах предшествующей структуры. Интеллект — это не более чем родовое имя, обозначающее высшие формы организации или равновесия когнитивных структурирований.

Этот способ рассуждения приводит нас к убеждению, что интеллект играет главную роль не только в психике человека, но и вообще в его жизни. Гибкое и одновременно устойчивое структурное равновесие поведения — вот что такое интеллект, являющийся по своему

существо системой наиболее жизненных и активных операций. Будучи самой совершенной из психических адаптации, интеллект служит, так сказать, наиболее необходимым и эффективным орудием во взаимодействиях субъекта с окружающим миром, взаимодействиях, которые реализуются сложнейшими путями и выходят далеко за пределы непосредственных и одномоментных контактов, для того чтобы достичь заранее установленных и устойчивых отношений. Однако, с другой стороны, этот же способ рассуждения запрещает нам ограничить интеллект его исходной точкой: интеллект для нас есть определенный конечный пункт, а в своих истоках он неотделим от сенсо-моторной адаптации в целом, так же как за ее пределами — от самых низших форм биологической адаптации.

Адаптивная природа интеллекта. Если интеллект является адаптацией, то нам, прежде всего, следует дать определение последней. Чтобы избежать чисто терминологических трудностей финалистского языка, мы бы охарактеризовали адаптацию как то, что обеспечивает равновесие между воздействием организма на среду и обратным воздействием среды. Действие организма на окружающие его объекты можно назвать ассимиляцией (употребляя этот термин в самом широком смысле), поскольку это действие зависит от предшествующего поведения, направленного на те же самые или на аналогичные объекты. В самом деле, ведь любая связь живого существа со средой обладает той характерной особенностью, что это существо, вместо того чтобы пассивно подчиняться среде, само активно ее преобразует, налагая на нее свою определенную структуру. Физиологически это означает, что организм, поглощая из среды вещества, перерабатывает их в соответствии со своей структурой. Психологически же происходит, по существу, то же самое, только в этом случае вместо изменения субстанциального порядка происходят изменения исключительно функционального порядка, обусловленные моторной деятельностью, восприятием и взаимовлиянием реальных или потенциальных действий (концептуальные операции и т.д.). Таким образом, психическая ассимиляция есть включение объектов в схемы поведения, которые сами являются не чем иным, как канвой действий, обладающих способностью активно воспроизводиться.

С другой стороны, и среда оказывает на организм обратное действие, которое, следуя биологической терминологии, можно обозначить словом «аккомодация». Этот термин имеет в виду, что живое существо никогда не испытывает обратного действия как такового со стороны окружающих его тел, но что это действие просто изменяет ассимилятивный цикл, аккомодируя его в отношении к этим телам. В психологии обнаруживается аналогичный процесс: воздействие вещей на психику всегда завершается не пассивным подчинением, а представляет собой простую модификацию действия, направленного на эти вещи. Имея в виду все вышесказанное, можно было бы определить адаптацию как равновесие между ассимиляцией и

аккомодацией, или, что, по существу, одно и то же, как равновесие во взаимодействиях субъекта и объектов. <...>

Определение интеллекта. Чтобы определить интеллект, достаточно указать на степень сложности тех дистантных взаимодействий, начиная с которых мы будем употреблять термин «интеллектуальный». .. Имеется... возможность определить интеллект тем направлением, на которое ориентировано его развитие, и не настаивать при этом на решении вопроса о границах интеллекта; последние при таком подходе предстают как определяемые последовательными стадиями или формами равновесия. Тогда можно одновременно исходить из точек зрения как функциональной ситуации, так и структурного механизма. Исходя из первой, можно сказать, что поведение тем более «интеллектуально», чем сложнее и многообразнее становятся траектории, по которым проходят воздействия субъекта на объекты, и к чем более прогрессирующим композициям они ведут. Кривые, по которым осуществляется восприятие, очень просты, даже при большой удаленности воспринимаемого объекта. Навык представляется чем-то более сложным, но его пространственно-временные звенья сочленены в единое целое, части которого не могут ни существовать самостоятельно, ни образовывать друг с другом особые сочетания. В отличие них, интеллектуальный акт — состоит ли он в том, чтобы отыскать спрятанный предмет или найти скрытый смысл образа, — предполагает определенное число путей (в пространстве и времени), одновременно самостоятельных и способных к сочетанию друг с другом (т.е. к композиции). С точки зрения структурного механизма простейшие сенсо- моторные адаптации неподвижны и одноплановы, тогда как интеллект развивается в направлении обратной мобильности. Именно в этом, как мы увидим далее, и состоит существенная черта операций, характеризующих живую логику в действии. Но одновременно мы видим, что обратимость — это не что иное, как сам критерий равновесия (как этому нас учат физики). Определить интеллект как прогрессирующую обратимость мобильных психических структур — это то же самое, что в несколько иной формулировке сказать, что интеллект является состоянием равновесия, к которому тяготеют все последовательно расположенные адаптации сенсо-моторного и когнитивного порядка, так же как и все ассимилятивные и аккомодирующие взаимодействия организма со средой. <...>

Часть вторая

ИНТЕЛЛЕКТ И СЕНСО-МОТОРНЫЕ ФУНКЦИИ

Глава IV. Навык и сенсо-моторный интеллект

Сенсо-моторная ассимиляция и возникновение интеллекта у ребенка. Выяснить, каким образом из ассимилирующей деятельно-

сти, которая до этого порождала навыки, рождается интеллект — это значит показать, каким образом, начиная с того момента, когда умственная жизнь отчленяется от органической, сенсо-моторная ассимиляция воплощается во все более подвижных структурах, имеющих все более широкое применение.

Это значит, что начиная уже с наследственных установок, мы можем проследить, наряду с внутренней и физиологической организацией рефлексов, также и кумулятивные эффекты упражнения и первые истоки поиска, связанные с необходимостью действовать на расстоянии в пространстве и во времени; эти факторы мы использовали в определении «поведения». Новорожденный, которого уже начали кормить с ложки, после этого будет испытывать некоторое затруднение, беря грудь. Когда он сосет грудь, ловкость его все время возрастает; если его поместить в стороне от груди, он найдет удобную позицию и будет находить ее все быстрее и быстрее. Он может сосать все, что подвернется, однако при этом быстро отказывается от пальца, но не выпускает грудь. В промежутках между кормлениями он будет сосать впустую и т. д. Эти тривиальные наблюдения показывают, что уже внутри замкнутого поля наследственно регулируемых механизмов (первый уровень развития) появляются истоки воспроизводящей ассимиляции функционального порядка (упражнение), обобщающей или транспозитивной ассимиляции (расширение рефлекторной схемы на новые объекты) и рекогнитивной ассимиляции (опознавание ситуаций).

Именно в этом контексте, т. е. в контексте деятельности, и появляются на основе опыта первые продукты развития (рефлекторное упражнение еще не дает такого реального продукта, а лишь ведет к простой консолидации). Идет ли речь о такой внешне пассивной координации, как обусловленность (например, сигнал, своим содержанием предвосхищающий сосание), или о спонтанном расширении поля применения рефлексов (например, систематическое сосание пальца на основе координирования движений руки с движениями рта), элементарные формы навыка в любом случае развиваются из ассимиляции новых элементов предыдущими схемами, в данном случае рефлекторными. Однако важно понять, что само по себе расширение рефлекторной схемы путем включения нового элемента ведет к образованию схемы более высокого порядка (навыка как такового), которая, следовательно, уходит своими корнями в схему более низкого порядка (рефлекс). С этой точки зрения ассимиляция нового элемента предыдущей схемой выступает как включение нового элемента в более высокую схему.

Но на уровне этих первых навыков еще нельзя говорить об интеллекте. По сравнению с рефлексами навык характеризуется значительно более широким полем применения как в пространстве, так и во времени. Однако даже в расширенном виде эти первые схемы еще не являются целостными образованиями; в них еще нет внут-

ренной подвижности и взаимной скоординированности. Обобщения, возможные на их основе, представляют пока еще только моторные переносы, которые можно сравнить с самыми простыми перцептивными перестановками, и несмотря на их функциональную преемственность по отношению к следующим этапам, в них еще нет ничего, что позволило бы сравнить их по структуре с интеллектом.

Новые формы поведения, образующие переходную ступень между простым навыком и интеллектом, возникают на третьем уровне, который начинается вместе с координацией зрения и хватания (между тремя и шестью, но обычно к четырем — шести месяцам). Обратимся к младенцу, лежащему в своей колыбельке. Верх колыбели поднят и на нем висит ряд погремушек и свободный шнур. Ребенок хватается за этот шнур и с его помощью раскачивает все устройство, не разбираясь, естественно, в деталях пространственных или причинных отношений. Удивленный результатом, он вновь отыскивает шнур и повторяет все сначала, и так несколько раз. Это активное воспроизведение результата, первый раз достигнутого случайно, Дж. Болдуин назвал «круговой реакцией». Такая реакция является типичным примером воспроизводящей ассимиляции. Первое произведенное движение вместе с сопровождающим его результатом образует целостное действие, которое создает новую потребность, как только объекты, к которым оно относится, возвращаются в свое первоначальное состояние: объекты оказываются теперь ассимилированными предыдущим действием (возведенным тем самым в ранг схемы), что вызывает его воспроизведение, и т. д. Мы видим, что описанный механизм тождествен тому, который обнаруживается уже в исходной точке образования элементарных навыков, с той разницей, что там круговая реакция относится к собственному телу (поэтому реакцию предыдущего уровня, построенную по схеме сосания пальца, можно назвать первичной круговой реакцией), тогда как с этого момента она, благодаря тому что ребенок научился хватать, начинает относиться к внешним объектам (эти формы поведения, относящиеся к объектам, можно назвать вторичной круговой реакцией, постоянно памятуя, однако, о том, что они еще отнюдь не выступают для ребенка как субстанциальные).

Таким образом, в своем отправном пункте вторичная круговая реакция входит еще в структуры, свойственные простым навыкам. И действительно, в целостном поведении, которое полностью повторяется без предварительно поставленной цели и в котором используются попутные случайные факторы, нет ничего от полного акта интеллекта. Поэтому нужно остерегаться приписывать уму ребенка те различия между исходным средством (тянуть шнур) и конечной целью (встряхивать верх колыбели), которые сделали бы мы сами на его месте, равно как и считать его владеющим понятиями объекта и пространства, связанными для нас с такой ситуацией, ибо для ребенка она является глобальной и неподдающейся анализу. Тем

не менее, как только поведение воспроизведено несколько раз, в нем без труда замечается двоякая тенденция: с одной стороны, к внутреннему расчленению и повторному сочленению этих элементов, а с другой — к обобщениям или активным перестановкам их перед лицом новых данных, не имеющих непосредственной связи с предыдущими. Учитывая первую тенденцию, мы можем констатировать, что после того, как события прослежены в порядке: шнурок — колебание — погремушки, в поведении появляется способность к какому-то началу анализа: вид неподвижных погремушек или открытие наверху колыбели нового объекта, только что вызвавшего удивление, стимулирует поиск шнура. Конечно, здесь еще нет подлинной обратимости, но ясно, что можно говорить о прогрессе мобильности и что применительно к средствам (реконструированным постфактум) и цели (поставленной постфактум) поведение является уже почти сочлененным. С другой стороны, если ребенок поставлен перед совершенно новой ситуацией (например, видит какое-то движение в 2 — 3 м от себя или слышит какой-либо звук в комнате), он начинает искать и тянуть тот же самый шнур как бы для того, чтобы продолжить на расстоянии прерванное зрелище. Отсюда с очевидностью следует, что это новое поведение (полностью подтверждающее отсутствие пространственных контактов и понимания причинности) уже образует начало обобщения в собственном смысле слова. Таким образом, как внутреннее сочленение, так и эта внешняя перестановка круговой схемы предвещают близкое появление интеллекта.

На четвертом уровне происходит уточнение. Начиная с 8 — 10 месяцев схемы, построенные в ходе предыдущей стадии, благодаря вторичным реакциям приобретают способность координироваться между собой; при этом одни из них используются в качестве средств, а другие определяют цель действия. Так, например, чтобы схватить намеченный предмет, расположенный за щитом, который закрывает его полностью или частично, ребенок сначала отодвинет этот щит (применяя схемы схватывания или отталкивания и т. д.), а затем достигает цели. Отныне, следовательно, сначала ставится цель, а затем уже определяются средства, ибо у субъекта сначала возникает намерение схватить цель, и лишь затем он стремится сдвинуть препятствие. Это предполагает подвижное сочленение элементарных схем, объединяемых в целостную схему. В свою очередь, новая целостная схема создает возможности для значительно более широких обобщений, чем это имело место раньше.

Эта мобильность, сочетающаяся с одновременным прогрессом в построении обобщений, проявляется, в частности, в том факте, что при появлении нового объекта ребенок последовательно испытывает последние из приобретенных им схем (схватывать, ударять, встряхивать, тереть и т. д.), причем эти схемы применяются, если можно так сказать, в качестве сенсо-моторных понятий, когда субъект стремится как бы понять новый объект через его употребление (по об-

разцу «определений через употребление», которые мы значительно позднее обнаружим в вербальном плане).

Поведение, относящееся к этому четвертому уровню, свидетельствует о двояком прогрессе — в направлении мобильности и в направлении расширения поля применения схем. Пути, проходимые действием от субъекта к объектам, а также предвосхищениями и сенсо-моторными восстановлениями в памяти, теперь уже не являются, как на предшествующих стадиях, прямыми и простыми — прямолинейными, как в восприятии, или стереотипными и однонаправленными, как в круговых реакциях. Маршруты начинают варьироваться, а использование предыдущих схем — проходить все более значительные расстояния во времени. Это как раз то, что характеризует соединение средств и целей, которые отныне являются дифференцированными, и именно поэтому можно уже говорить о подлинном интеллекте. Но наряду с преемственностью, которая соединяет этот рождающийся интеллект с предыдущими формами поведения, надо указать и на его ограниченность: ему не доступны ни изобретения, ни открытие новых средств, он способен лишь на простое применение уже известных средств к непредвиденным ситуациям.

Следующий уровень отмечен двумя новыми приобретениями, и оба они относятся к использованию опыта. Схемы ассимиляции, о которых говорилось до сих пор, естественно и непрерывно приспосабливаются к внешним данным. Но эта аккомодация, если ее можно так назвать, скорее пассивная, чем активная: субъект действует в соответствии со своими потребностями, и это действие или согласуется с реальностью, или встречает сопротивление, которое стремится преодолеть. Случайно возникающие новшества либо игнорируются, либо ассимилируются предыдущими схемами и воспроизводятся через посредство круговой реакции. Однако наступает момент, когда новшество становится интересным само по себе. Это, конечно, предполагает определенный уровень оснащения схем, делающий возможными сравнения. При этом новый факт должен быть достаточно сходным с ранее известным, чтобы пробудить интерес, и вместе с тем достаточно отличным от него, чтобы не вызвать пресыщения. Круговые реакции состоят в таких случаях в воспроизведении нового факта, но воспроизведении с вариациями и активным экспериментированием, целью которого является как раз выделение из этого факта новых возможностей. Так, открыв траекторию падения объекта, ребенок будет стремиться бросить его различными способами или из разных исходных точек.

Такого рода воспроизводящая ассимиляция с дифференцированной и преднамеренной аккомодацией может быть названа «третичной круговой реакцией».

Следовательно, когда схемы начинают координироваться между собой, выступая в качестве средств и целей, ребенок уже не ограничивается простым применением известных схем к новым ситуациям:

он дифференцирует те из схем, которые играют роль средств, при помощи своего рода третичной круговой реакции и таким образом приходит в конечном счете к открытию новых средств. Именно так и вырабатывается целый ряд форм поведения, интеллектуальный характер которых уже ни у кого не вызывает сомнения: притянуть к себе цель, используя подставку, на которой она расположена, или бечевку, составляющую ее продолжение, или даже палку, применяемую в качестве независимого вспомогательного средства. И как бы ни было сложно такое поведение, нужно ясно отдавать себе отчет в том, что обычно оно не возникает *ex abrupto*, а, наоборот, подготавливается целым рядом отношений и значений, обязанных своим происхождением функционированию предшествующих схем, таких, как отношение средства к цели, понимание того, что один предмет может привести в движение другой, и т. п. ...Поиск вслепую, таким образом, никогда не бывает чистым, а образует лишь периферию активной аккомодации, совместимой с ассимилирующими координациями, которые составляют сущность интеллекта.

Наконец, шестой уровень, частично охватывающий и второй год жизни ребенка, знаменуется завершением образования сенсо-моторного интеллекта: если на предыдущем уровне новые средства открываются исключительно в процессе активного экспериментирования, то теперь открытие неизвестных субъекту способов может совершаться посредством быстрой внутренней координации. Именно к этому последнему типу и относятся факты резкого переструктурирования, описанные Кёлером на примере шимпанзе, чувство внезапного понимания, проанализированное К. Бюлером. Например, у детей, которым до полутора лет не приходилось экспериментировать с палками, можно наблюдать случаи, когда при первом же соприкосновении с палкой сразу возникает понимание ее возможных отношений с предметом, к которому ребенок тянется как к цели, и такое понимание достигается практически без поиска вслепую.

Если это так, то важно понять механизм этих внутренних координаций, которые предполагают одновременно открытие без поиска вслепую и умственное предвосхищение, близкое к представлению. Мы уже видели, что теория формы объясняет дело простым перцептивным переструктурированием, не обращаясь к приобретенному опыту. Однако в поведении ребенка на этой, шестой, стадии нельзя не видеть завершения всего развития, сделанного на пяти предыдущих этапах. Действительно, если ребенок уже привык однажды к третичным круговым реакциям и интеллектуальному поиску вслепую, составляющим подлинное активное экспериментирование, то ясно, что рано или поздно он должен стать способным к интериоризации этих форм поведения. Иногда, оставляя в стороне данные стоящей перед ним задачи, ребенок кажется погруженным в размышления. Например, один из наблюдаемых нами детей после безуспешного поиска вслепую прерывает свои попытки увеличить отверстие в

спичечной коробке, внимательно смотрит на щель, а затем открывает и закрывает свой собственный рот. Это, как нам кажется, указывает на то, что он продолжает поиск, но путем внутренних проб или интериоризованных действий (подражательные движения рта в приведенном примере являются весьма четким показателем такого моторного размышления). Что же тогда происходит и как объяснить открытие, которое составляет суть внезапного решения? Сенсо-моторные схемы, ставшие вполне мобильными и координируемыми друг с другом, дают место взаимным ассимиляциям, достаточно спонтанным, чтобы не нуждаться более в двигательном поиске вслепую, и достаточно быстрым, чтобы создать впечатление немедленных переструктурирований. Внутреннюю координацию схем можно было бы при таком подходе рассматривать по отношению к внешней координации предыдущих уровней так же, как мы рассматриваем внутренний язык — этот интериоризованный и быстрый, простой эскиз действенного слова — по отношению к внешнему языку.

Но достаточны ли эта спонтанность и эта более высокая скорость ассимилирующей координации схем для того, чтобы объяснить интериоризацию форм поведения, или же на этом уровне уже возникают истоки представления и тем самым появляется провозвестник перехода от сенсо-моторного интеллекта к мышлению в собственном смысле слова? Независимо от появления языка, которым ребенок начинает овладевать к этому возрасту (но который отсутствует у шимпанзе, способных тем не менее к поразительно умным изобретениям), имеются два ряда фактов, свидетельствующих о первых зачатках представления на этой, шестой, стадии, хотя эти зачатки почти не превышают весьма рудиментарного уровня представления, свойственного шимпанзе. С одной стороны, ребенок становится способным к отсроченной имитации, т. е. у него впервые начинает возникать копия после исчезновения модели из поля восприятия. <...>

С другой стороны, в этом же возрасте ребенок приходит к наиболее элементарным формам символической игры, состоящей в том, что используя собственное тело, он осуществляет действие, чуждое актуальному контексту (например, для развлечения притворяется спящим, совершенно не будучи при этом сонным). <...>

Часть третья

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ

Глава V. Формирование мышления, интуиция (наглядность) и операции

...Этапы построения операций. Чтобы схватить механизм... развития, форму конечного равновесия которого образуют... операциональные группировки, мы выделим... четыре основных периода,

идуших непосредственно вслед за тем периодом, который характеризуется образованием сенсо-моторного интеллекта.

С появлением языка или, точнее, символической функции, делающей возможным его усвоение (от 1,5 до 2 лет), начинается период, который тянется до 4 лет и характеризуется развитием символического и допонятийного мышления. В период от 4 до 7 — 8 лет образуется, основываясь непосредственно на предшествующем, интуитивное (наглядное) мышление, прогрессивные сочленения которого вплотную подводят к операциям. С 7 — 8 до 11 — 12 лет формируются конкретные операции, т.е. операциональные группировки мышления, относящиеся к объектам, которыми можно манипулировать или которые можно схватывать в интуиции. Наконец, с 11 — 12 лет и в течение всего юношеского периода вырабатывается формальное мышление, группировки которого характеризуют зрелый рефлексивный интеллект. <...>

Глава VI. Социальные факторы интеллектуального развития

Человеческое существо с самого своего рождения погружено в социальную среду, которая воздействует на него в той же мере, как и среда физическая. Более того, подобно тому как это делает физическая среда, общество не просто воздействует на индивида, но непрерывно трансформирует самую его структуру, ибо оно не только принуждает его к принятию фактов, но и представляет ему вполне установившиеся системы знаков, изменяющие мышление индивида, предлагает ему новые ценности и возлагает на него бесконечный ряд обязанностей. Это позволяет сделать очевидный вывод, что социальная жизнь трансформирует интеллект через воздействие трех посредников: языка (знаки), содержания взаимодействий субъекта с объектами (интеллектуальные ценности) и правил, предписанных мышлению (коллективные логические или дологические нормы).

Конечно, общество в социологии необходимо рассматривать как нечто целое, хотя это целое, весьма отличное от суммы индивидов, есть не что иное, как совокупность отношений или взаимодействий между индивидами. Каждое такое отношение между индивидами (включающее минимум двоих) существенно видоизменяет его участников и, таким образом, формирует некоторую целостность; при этом целостность, охватывающая все общество, является скорее системой отношений, чем субстратом, сущностью или причиной. <...>

Но когда речь идет о психологии, т. е. когда основной единицей анализа становится уже не совокупность... отношений как таковых, а индивид, измененный социальными отношениями, тогда слишком общие статистические термины оказываются явно недостаточными. ... Именно... типы взаимодействий и законы их преемственности психолог должен установить с особенной тщательностью, иначе он рискует упростить свою задачу настолько, что сведет ее к чистой

социологии. Но как только мы признаем значительность факта видоизменения структуры индивида в результате этих взаимодействий, тотчас исчезают какие бы то ни было основания для конфликта между социологией и психологией: обе эти дисциплины выигрывают, если они выходят за рамки одного лишь глобального анализа и встают на путь анализа указанных отношений.

Социализация индивидуального интеллекта. В зависимости от уровня развития индивида природа его взаимодействия с социальной средой может быть весьма различной и... может, соответственно, по-разному видоизменять индивидуальную психическую структуру.

Уже в сенсо-моторный период младенец является объектом многочисленных социальных воздействий: ему доставляют максимальные удовольствия, доступные его небольшому опыту, — от кормления до проявлений определенных чувств (его окружают заботой, ему улыбаются, его развлекают, успокаивают); ему внушают также навыки и регулятивы, связанные с сигналами и словами, взрослые запрещают ему определенные виды поведения и ворчат на него. Коротко говоря, если смотреть со стороны, грудной младенец находится в центре множества отношений, предвещающих знаки, ценности и правила последующей социальной жизни. Но с точки зрения самого субъекта социальная среда по существу еще не отделяется от среды физической... Знаки, употребляемые по отношению к ребенку в этом возрасте, являются для него лишь указателями или сигналами. Правила, которые ему предписывают, еще не составляют осознанных обязанностей и смешиваются с закономерностями, свойственными навыкам. Что касается лиц, то они выступают для него как определенные картины, аналогичные всем тем картинам, которые образуют реальность, только особенно активные, неожиданные и являющиеся источником более интенсивных чувств. <...>

Только на базе овладения языком, т. е. с наступлением символического и интуитивного периодов, появляются новые социальные отношения, которые обогащают и трансформируют мышление индивида. Но в этой проблеме следует различать три разные стороны.

Во-первых, надо иметь в виду, что система коллективных знаков сама по себе не порождает символической функции, а лишь естественно развивает ее в таком объеме, который для отдельно взятого индивида мог бы представляться излишним. <...>

Во-вторых, язык передает индивиду вполне готовую, сформировавшуюся систему понятий, классификаций, отношений — иными словами, неисчерпаемый потенциал идей, которые заново строятся каждым индивидом по модели, выработанной в течение многих веков предыдущими поколениями. Но само собой разумеется, что в этом наборе ребенок заимствует только то, что ему подходит, гордо проходя мимо того, что превышает его уровень мышления. <...>

Наконец, в-третьих, остаются сами отношения, в которые индивид вступает со своим окружением; это «синхронные» отношения,

противоположные тем «диахронным» процессам, со стороны которых ребенок испытывает влияние, овладевая языком и связанными с ним способами мышления. Эти синхронные отношения с самого начала занимают ведущее место: разговаривая со своими близкими, ребенок каждое мгновение наблюдает, как подтверждаются или опровергаются его мысли, и он постепенно открывает огромный мир внешних по отношению к нему мыслей, которые дают ему новые сведения или различным образом производят на него впечатление. <... >

Как бы ни был зависим маленький ребенок от окружающих интеллектуальных влияний, он ассимилирует их по-своему: все эти явления он сводит к своей собственной точке зрения и тем самым, сам того не замечая, деформирует их; своя собственная точка зрения еще не отчленилась для него от точки зрения других, поскольку у него нет координации или «группировки» самих точек зрения. Поэтому, из-за отсутствия сознания своей субъективности, он эгоцентричен как в социальном, так и в физическом плане. <... >

Но поскольку начальный эгоцентризм вытекает из простой недифференцированное™ между ego и alter, как раз в этот период субъект особенно подвержен любому влиянию и любому принуждению со стороны окружения; он приспосабливается к такому влиянию и принуждению без всякой критики из-за отсутствия своей собственной точки зрения (в подлинном смысле слова); так, маленькие дети часто не сознают, что они подражают, считая, что инициатива в создании образца принадлежит им, и, наоборот, нередко они приписывают другим свойственные им мысли. Именно поэтому в развитии ребенка апогей эгоцентризма совпадает с апогеем силы влияния примеров и мнений окружающих, а смесь ассимиляции в «я» и аккомодации к окружающим образцам может быть объяснена из тех же соображений, что и смесь эгоцентризма и феноменализма, свойственная начальному интуитивному пониманию физических отношений.

Однако надо оговориться, что сами по себе одни эти условия... недостаточны... чтобы принуждение со стороны окружения могло породить в уме ребенка логику, даже если истины, внушаемые посредством этого принуждения, рациональны по своему содержанию; ведь умение повторять правильные мысли, даже если субъект при этом думает, что они исходят от него самого, еще не ведет к умению правильно рассуждать. Напротив, если мы хотим научить субъекта рассуждать логично, то необходимо, чтобы между ним и нами были установлены те отношения одновременной дифференциации и реципрокности, которые характеризуют координацию точек зрения.

Иными словами, на дооперациональных уровнях, охватывающих период от появления языка приблизительно до 7 — 8 лет, структуры, свойственные формирующемуся мышлению, исключают возможность образования социальных отношений кооперации, которые одни только и могут привести к построению логики.

Ребенок, колеблющийся между деформирующим эгоцентризмом и пассивным принятием интеллектуальных принуждений, не может еще выступать как объект социализации, способной глубоко изменить механизм его интеллекта.

И напротив, на уровне построения «группировок» операций (сначала конкретных, затем — что особенно важно — формальных) вопрос о роли социального обмена и индивидуальных структур в развитии мышления ставится со всей остротой. Действительно, формирование подлинной логики, происходящее в течение этих двух периодов, сопровождается двумя видами специфически социальных явлений, относительно которых мы должны точно установить, вытекают ли они из появления группировок или же... являются их причиной.

С одной стороны, по мере того как интуиции сочленяются и в конечном итоге группируются в операции, ребенок становится все более и более способен к кооперации — социальному отношению, отличающемуся от принуждения тем, что оно предполагает наличие реципрокности между индивидами, умеющими различать точки зрения друг друга. В плане интеллекта кооперация является... объективно ведущейся дискуссией (из нее и на основе ее возникает позднее та интериоризованная дискуссия, какую представляет собой размышление, или рефлексия), сотрудничеством в работе, обменом мыслями, взаимным контролем (источником потребности в проверке и доказательстве) и т. д. С этой точки зрения становится ясным, что кооперация находится в исходной точке ряда поведений, имеющих важное значение для построения и развития логики.

С другой стороны, сама логика не является... только системой независимых операций: она воплощается в совокупности состояний сознания, интеллектуальных чувств и поведений с такими характеристиками, социальную природу которых трудно оспаривать, независимо от того, первична она или производна. Если рассматривать логику под этим углом зрения, то очевидно, что ее содержание составляют общие правила или нормы: она является моралью мысли, внушенной и санкционированной другими. В этом смысле, например, требование не впадать в противоречия есть не просто условная необходимость («гипотетический императив»), предписывающая подчинение правилам операционального функционирования, но также и моральный императив («категорический»), поскольку это требование выступает как норма интеллектуального обмена и кооперации. И действительно, ребенок стремится избежать противоречий прежде всего из чувства обязанности перед другими.

И объективность, потребность в проверке, необходимость сохранять смысл слов и высказываний и т. д. — все это в равной мере и условия операционального мышления, и социальные обязанности.

В этом пункте неизбежно встает вопрос: является ли «группировка» причиной или следствием кооперации? «Группировка» — это координация операций, т. е. действий, доступных индивиду. Ко-

операция — это координация точек зрения или... действий, исходящих от различных индивидов. <...>

Операциональные «группировки» и кооперация. На вопрос о соотношении «группировки» и кооперации... следует давать два различных, но взаимодополняющих ответа. С одной стороны, без интеллектуального обмена и кооперации с другими людьми индивид не сумел бы выработать способность группировать операции в связанное целое, и в этом смысле операциональная «группировка» предполагает... следовательно, в качестве своего условия социальную жизнь. Но, с другой стороны, сами процессы интеллектуального обмена подчиняются закону равновесия, представляющему собой, по сути дела, не что иное, как операциональную «группировку», ибо кооперация, помимо всего прочего, означает также и координацию операций.

Поэтому «группировка» выступает как форма равновесия не только индивидуальных, но и межличностных действий, и с этой точки зрения она является автономным фактором, коренящимся в недрах социальной жизни.

В самом деле, очень трудно понять, каким образом смог бы индивид без интеллектуального обмена точно сгруппировать операции и... трансформировать свои интуитивные представления в транзитивные, обратимые, идентичные и ассоциативные операции. <...>

Следовательно, группировка по самой своей природе есть координация точек зрения, что фактически означает координацию наблюдателей, т. е. координацию многих индивидов.

<...> Ведь, в сущности, именно постоянный обмен мыслями с другими людьми позволяет нам децентрировать себя и обеспечивает возможность внутренне координировать отношения, вытекающие из разных точек зрения. В частности, без кооперации было бы чрезвычайно трудно сохранять за понятиями постоянный смысл и четкость их определения. Поэтому сама обратимость мышления оказывается связанной с сохранением коллектива, вне которого индивидуальная мысль обладает значительно меньшей мобильностью.

Сказав это и тем самым признав, что логически правильно построенная мысль обязательно является социальной, нельзя упускать из виду и того, что законы «группировки» образуют общие формы равновесия, в равной мере выражающие как равновесие межличностных обменов, так и операций, которые способен осуществлять всякий социализированный индивид, когда он начинает строить рассуждение во внутреннем плане, опираясь при этом на глубоко личные и наиболее новые из своих мыслей. Следовательно, утверждение, что индивид овладевает логикой только благодаря кооперации, сводится просто к принятию тезиса, что сложившееся у него равновесие операций основывается на его бесконечной способности к взаимодействию с другими индивидами, т. е. на полной реципрокности. Однако этот тезис совершенно очевиден, поскольку сама по себе «группировка» есть система реципрокностей. <...>

Однако отсюда еще не следует, что законы группировки определяют одновременно как законы кооперации, так и законы индивидуальной мысли. Они составляют... всего лишь законы равновесия и выражают просто ту частную форму равновесия, которая реализуется при двух условиях: во-первых, когда общество уже не деформирует индивида своим принуждением, а воодушевляет и поддерживает свободное функционирование его психической деятельности; во-вторых, когда такое свободное функционирование мысли каждого индивида, в свою очередь, уже не деформирует ни мысли других индивидов, ни вещи, а базируется на реципрокности между различными деятельностями. В соответствии с этим определением, такая форма равновесия не может рассматриваться ни как результат одной лишь индивидуальной мыслительной деятельности, ни как исключительно социальный продукт: внутренняя операциональная деятельность и внешняя кооперация являются, в самом точном смысле слова, двумя дополняющими аспектами одного и того же целого, ибо равновесие одного зависит от равновесия другого...

Печатается по изданию: *Пиаже Ж.* Избранные психологические труды: Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. — М.: Просвещение, 1969.

Вопросы

1. К какой области человеческого познания относится, по мнению Ж.Пиаже, проблема порождения речи?
2. Сводится ли функция речи к функции сообщения мысли? Как раскрывает Ж. Пиаже решение этого вопроса?
3. Как в своих исследованиях наблюдал Ж.Пиаже речевую деятельность детей?
4. Какие особенности и сложности свойственны, по Ж. Пиаже, речевой деятельности ребенка младшего возраста?
5. Какие черты детского миропонимания и мироощущения отмечает Ж. Пиаже?
6. Каково место вопроса в процессе мыслительной деятельности ребенка? Какими примерами Ж. Пиаже иллюстрирует специфичность его положения?
7. Каково место причинности в детской психологии и когнитивной философии?
8. В чем состоит проблема психологического объяснения?
9. Что такое, по мысли Ж.Пиаже, поведение субъекта?
10. Как Ж.Пиаже представляет поведение в плане целостности?
11. В какой взаимосвязи, по Ж.Пиаже, выступают аффективный и когнитивный аспекты поведения субъекта?
12. Что такое, согласно Ж.Пиаже, интеллект? Каковы его фундаментальные свойства? Что есть интеллект с функционально-структурной точки зрения?

13. Что такое, согласно Ж.Пиаже, адаптация?
14. Как понимает Ж.Пиаже порождение интеллекта из принципа ассимилирующей деятельности?
15. О каких условиях интеллектуального развития ребенка говорит Ж. Пиаже?
16. В чем видел Ж.Пиаже более высокую степень интеллектуального развития ребенка на втором году его жизни?
17. Какие этапы построения операций умственной деятельности ребенка отмечены в концепции Ж. Пиаже?
18. Какие источники воздействия социальной среды на интеллект в онтогенезе видит Ж. Пиаже?
19. Каковы, по мнению Ж.Пиаже, различия психологического и социологического подходов к изучению человеческой деятельности?
20. В чем состоит, по Ж. Пиаже, специфика периода овладения ребенком речью?
21. Как понимает Ж. Пиаже интеллектуальный обмен между людьми?



11. Л.С.ВЫГОТСКИЙ О СООТНОШЕНИИ МЫСЛИ, РЕЧИ И ЯЗЫКА И О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИ

Речь по своему строению не представляет собой простого зеркального отражения строения мысли. Поэтому она не может надеваться на мысль, как готовое платье. Речь не служит выражением готовой мысли. Мысль, превращаясь в речь, перестраивается и видоизменяется. Мысль не выражается, но совершенствуется в слове... Кризисы — это не временное состояние, а путь внутренней жизни.

Л. С. Выготский

Лев Семенович Выготский (1896—1934) — выдающийся отечественный психолог; создатель концепции культурно-исторического развития высших психических функций. Л. С. Выготский занимался исследованием проблем развития понятий у детей и взаимосвязи обучения и умственного развития ребенка, он исследовал и проблемы психологии искусства.

Сторонник естественно-научной психологии, он выстраивал новую систему представлений о формировании человеческого поведения, опираясь на учение И. М. Сеченова и И. П. Павлова о рефлексах: «В опыте над разумным человеком *нет такого случая*, чтобы фактор заторможенных рефлексов, психики, не определял так или иначе поведение испытуемого и мог быть совершенно элими-

нирован из изучаемого явления и не учитываться вовсе» [1, с. 53]. Л. С. Выготский считал, что психология должна интегрироваться с рефлексологией в единую науку, что рефлексология не вправе игнорировать сознание, вынося его за пределы телесного механизма поведения, т. е. за пределы доступных анализу связей организма со средой: «Вопрос стоит так: может ли рефлексология скинуть со счетов и не учитывать вовсе психику как систему задержанных рефлексов и переплетений разных систем? Возможно ли научное объяснение поведения человека без психики?.. Биологически было бы нелепостью предположить, что психика совершенно не нужна в системе поведения...» [1, с. 55]. В статье «Сознание как проблема психологии поведения» (1925) [1, с. 78 — 98] он намечает план исследования психических функций, исходя из их роли в качестве неизменных регуляторов поведения, которое у человека включает в себя и речевые компоненты: «Надо изучать не рефлекс, а поведение, его механизм, состав, структуру...» [1, с. 82]; «Сознание есть проблема структуры поведения...» [1, с. 83]. Опираясь на важное замечание К. Маркса о различии инстинктов и сознания¹, Л. С. Выготский показывает специфику сознательного поведения человека: «Паук, который тклет паутину, и пчела, строящая ячейки из воска, делают это в силу инстинкта, машинообразно... Другое дело — ткач или архитектор. Как говорит Маркс, они раньше построили свое произведение в голове; результат, полученный в процессе труда, имелся перед началом этого труда идеально... Это совершенно бесспорное пояснение Маркса не означает ничего другого, кроме обязательного для человеческого труда удвоения опыта... Вот такого удвоенного опыта, позволяющего человеку развить формы активного приспособления, у животного нет. Назовем условно этот новый вид поведения удвоенным опытом» [1, с. 84—85].

Опираясь на социальный характер деятельности человека, Л. С. Выготский приходит к выводу о том, что «речь и есть система рефлексов социального контакта, с одной стороны, а с другой — система рефлексов сознания по преимуществу, т. е. для отражения влияния других систем»: «...мы сознаем себя, потому что мы сознаем других, и тем же самым способом, каким мы сознаем других...» [1, с. 52].

Понимая слово как действие (*речевой комплекс — речевая реакция*), Л. С. Выготский усматривал в нем статус особого социокультурного посредника между индивидом и миром. Он придавал особое значение его *знаковой* природе, благодаря чему качественно меняется структура душевной жизни человека; его психические функции (восприятие, память, внимание, мышление) из элемен-

¹ «...Начало это носит столь же животный характер, как и сама общественная жизнь на этой ступени; это — чисто стадное сознание, и человек отличается здесь от барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт, или же, — что его инстинкт осознан» [2].

тарных становятся высшими. Трактую язык как систему «*психологических орудий*», которые, в отличие от орудий труда, изменяют не физический мир, а сознание оперирующего им субъекта, Л. С. Выготский предложил экспериментальную программу исследований роли языковых структур в развитии *системы высших психических функций*.

Л. С. Выготский занимался проблемой культурного развития ребенка, протекающего как нормально, так и аномально, с отклонениями. Он создал в Москве Лабораторию психологии аномального детства (1925 — 1926), ставшую впоследствии составной частью Экспериментально-дефектологического института, и разработал качественно новую теорию развития аномального ребенка. Аномалии в восприятии мира, по Л.С.Выготскому, есть «перерождение общественных связей, смещение всех систем поведения», а природа, напротив, образно говоря, требует «вертикального положения человека»: «Что такое человек? — ...Для нас социальная личность, совокупность общественных отношений, воплощенная в индивидуе» (из рукописи).

Л.С.Выготский обобщил свои исследования о закономерностях развития психики в онтогенезе [3], представив модель формирования человеческой психики — модель использования языковых знаков как средств *регуляции психической деятельности* и в процессе непосредственного взаимодействия (в деятельности общения), и в процессе постепенного присвоения опыта речевой деятельности и *перехода* этого опыта *извне вовнутрь*. В результате такого процесса появляется возможность внутреннего программирования действий человека и внутренней регуляции его поведения: человек обретает способность управлять собственным поведением. Этот процесс и был назван **интериоризацией** (см. также главу «А. Н.Леонтьев об интериоризации психических функций»).

Л.С.Выготский, исследуя *значение знака* как сопряженное с ним преимущественно интеллектуальное содержание, разработал совместно с учениками экспериментально обоснованную теорию *умственного развития ребенка*, изложенную в его главном труде «Мышление и речь» (1934) [4]. В этой работе представлен анализ проблемы соотношения мышления и речи, развития *значений* в онтогенезе и *эгоцентрической речи*. Л. С. Выготский охватывает здесь широкий круг вопросов обучения и его воздействия на умственное развитие ребенка. Широко известным стало теоретическое положение о «*зоне ближайшего развития*», согласно которому обучение является эффективным, если «забегает» вперед развития, как бы «тянет» его за собой, выявляя возможности ребенка решать при участии педагога те задачи, с которыми он самостоятельно справиться не может.

В учении Л.С.Выготского о развитии психических функций большая роль отведена процессу усвоения индивидом ценностей

культуры, опосредованного общением. *Культурные знания*, прежде всего *знаки языка*, служат своего рода такими орудиями, оперируя которыми субъект воздействует на другого и формирует свой собственный внутренний мир, основными единицами которого являются *значения (обобщения, когнитивные компоненты сознания)* и *смыслы (аффективно-мотивационные компоненты)*. Психические функции, данные природой (*натуральные*), преобразуются в функции высшего уровня развития (*культурные*): механическая память становится логической, ассоциативное течение представлений — *целенаправленным мышлением* или *творческим воображением*, импульсное действие — *произвольным* и т. п. Зарождаясь в непосредственных *социальных контактах ребенка со взрослыми*, высшие функции затем **вращиваются** в его сознание.

Важная роль в развитии ребенка, по мысли Л.С.Выготского, принадлежит **кризисам**, которые ребенок испытывает при переходе от одной возрастной ступени к другой. «Никто из исследователей не может отрицать самого факта существования этих своеобразных периодов в детском развитии, и даже наиболее недиалектически настроенные авторы признают необходимость допустить, хотя бы в виде гипотезы, наличие кризисов в развитии ребенка, даже в самом раннем детстве» [5, с. 11].

В каждом из возрастных периодов развитие ребенка сопряжено с мотивационным (по терминологии Л.С.Выготского, — *аффективным*) компонентом, поэтому он утверждал принцип единства «аффекта и интеллекта».

Принцип *развития* в концепции Л. С. Выготского сочетался с принципом *системности*. Он разрабатывал понятие о «психологических системах», под которыми понимались целостные образования в виде различных форм межфункциональных связей (между мышлением и памятью, мышлением и речью). В построении систем главная роль придавалась первоначально *знаку*, затем *значению* как «клеточке», на которой разрастается ткань человеческой психики в отличие от психики животных. Так формировались современные представления о *системном* и *смысловом строении сознания*, о мозговой локализации высших психических функций, об особенностях детской психологии.

Концепция Л. С. Выготского имеет отношение не только к психологии, но и к другим наукам о человеке: дефектологии, психиатрии, языкознанию, этнографии, искусствоведению, социологии и др. Своими исследованиями Л. С. Выготский заложил основы научной системы представлений и в области психолингвистики.

Литература

1. *Выготский Л. С.* Собрание сочинений: В 6 т. — М., 1982— 1984.
2. *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения: В 45 т. — 2-е изд. — М.; Л., 1956. — Т. 3. - С. 30.

3. *Выготский Л. С.* Развитие высших психических функций. — М., 1931.
4. *Выготский Л. С.* Мышление и речь. — М., 1996.
5. *Выготский Л. С.* Вопросы детской психологии. — СПб., 1997.

А.А.Леонтьев

Л. С. ВЫГОТСКИЙ КАК ПСИХОЛИНГВИСТ И ВКЛАД ЕГО ШКОЛЫ В ПСИХОЛИНГВИСТИКУ

Лев Семенович Выготский — один из крупнейших психологов XX столетия, создатель мощной психологической школы, к которой принадлежали А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, П.Я.Гальперин, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, А. В. Запорожец и др. Научными «внуками» Л.С.Выготского являются... В.В.Давыдов, В.П.Зинченко и автор этих строк. Л. С. Выготский и его школа оказали огромное влияние не только на отечественную, но и на мировую психологию и педагогику: недаром его столетие (1996) отмечалось во всем мире.

Л. С. Выготский был в психологии убежденным материалистом, более того — марксистом¹. Он много занимался речью, и его психологический подход к речи был не просто своеобразным итогом и синтезом всех предшествующих исследований в этом направлении, но и... попыткой построить более или менее целостную психолингвистическую теорию (хотя... слова «психолингвистика» он не употреблял).

Начнем с известного различия «анализа по элементам» и «анализа по единицам». Вся... современная лингвистика имеет дело с анализом по элементам. Такова же психолингвистика первого и второго поколений, ставившая проблему «психологической реальности» языковых единиц. ...Даже Н.Хомский, кичащийся динамичностью своей модели, видит эту динамичность в наборе правил преобразования некоторого исходного состояния (текста или речевого механизма) в конечное состояние. Только у Л. С. Выготского и психологов, опирающихся на него, сами эти состояния вторичны по отношению к основной и подлинной единице — психологическому действию или операции, не только выступающей как единица в смысле Выготского, но и являющейся основой для построения иерархии таких единиц — в нашем случае психолингвистических единиц.

Однако главное, что делает Л. С. Выготского предтечей и основателем современной психолингвистики (во всяком случае, в ее российском варианте), — это его трактовка внутренней психоло-

¹ Мы не считаем, что это хоть в какой-то степени принижает Л. С. Выготского. Быть марксистом в психологии значит быть последовательным материалистом.

гической организации процесса порождения (производства) речи как последовательности взаимосвязанных фаз деятельности. Вот что он пишет в этой связи: «...Центральная идея может быть выражена в общей формуле: отношение мысли к слову есть прежде всего не вещь, а процесс, это отношение есть движение от мысли к слову и обратно — от слова к мысли... Это течение мысли совершается как внутреннее движение через целый ряд планов... Поэтому первой задачей анализа, желающего изучить отношение мысли к слову как движение от мысли к слову, является изучение тех фаз, из которых складывается это движение, различение ряда планов, через которые проходит мысль, воплощающаяся в слове...» В другом месте: «...Работа мысли есть переход от чувствования задачи — через построение значения — к развертыванию самой мысли... Путь от смутного желания к опосредованному выражению через значения...»

Первое звено порождения речи — это ее *мотивация*. Кстати, по Выготскому, не следует отождествлять собственно мотивы и «установки речи», т.е. фиксированные «отношения между мотивом и речью». Именно последние и есть «смутное желание», «чувствование задачи», «намерение». Вторая фаза — это *мысль*, примерно соответствующая сегодняшнему понятию речевой интенции. Третья фаза — *опосредование мысли во внутреннем слове*, что соответствует в нынешней психолингвистике внутреннему программированию речевого высказывания. Четвертая фаза — *опосредование мысли в значениях внешних слов*, или реализация внутренней программы. Наконец последняя, пятая фаза — *опосредование мысли в словах*, или акустико-артикуляционная реализация речи (включая процесс фонации). Все дальнейшие модели, разрабатывавшиеся в 1960—1970-х гг. в отечественной психолингвистике, представляют собой развертывание и дальнейшее обоснование схемы, предложенной Л.С.Выготским (см. работы *А.А.Леонтьева* (1969); *А.А.Леонтьева и Т.В.Рябовой* (1970); *Т.В.Ахутиной* (1975, 1989) и др.).<->

Вообще Л. С. Выготский, скончавшийся в 1934 году, сумел предугадать дальнейшее развитие психологии речи и психолингвистики на много десятилетий вперед. Поэтому нам еще много раз придется возвращаться к анализу его взглядов. Пока просто перечислим некоторые идеи, существенные для нас. У него есть на много лет забытая идея эвристичности процессов речепорождения и обусловленности их общепсихологическими, дифференциально-психологическими и социально-психологическими факторами; он по существу первым поставил вопрос о психолингвистике текста и одним из первых «развел» грамматическую и реальную (психоло-

¹ Сама идея фазного строения деятельности, по-видимому, принадлежит другому видному советскому психологу тех лет — Сергею Леонидовичу Рубинштейну.

гическую) предикативность; ему принадлежит представление о значении как общепсихологической категории и концепция предметного значения¹. Самый же основной вклад Л. С. Выготского в проблематику психолингвистики не получил дальнейшего развития в ней и остался недооцененным — мы имеем в виду психолингвистику рефлексии над речью и анализ разных уровней осознанности речи в их взаимоотношении.

Ученик и сотрудник Л.С.Выготского Александр Романович Лурия внес (в рамках психологии речи и психолингвистики) фундаментальный вклад в диагностику, исследование и восстановление различных видов афазии — речевых нарушений центрально-мозгового происхождения, связанных с разрушением (из-за ранения, травмы, опухоли коры больших полушарий) различных зон коры, отвечающих за различные психические функции. При этом А.Р.Лурия опирался на выдвинутую Л.С.Выготским концепцию системной локализации психических функций в коре, т. е. на идею, что речевая (и любая другая) деятельность физиологически обусловлена взаимодействием различных участков коры больших полушарий, и разрушение одного из этих участков может быть компенсировано за счет включения в единую систему других участков. Если до А. Р. Лурия исследователи афазии исходили в явной или скрытой форме из подхода к афазическим нарушениям с позиций психологической реальности языковых единиц и конструкций, то А. Р. Лурия впервые стал анализировать эти нарушения как нарушения речевых операций. Уже в своей книге «Травматическая афазия», вышедшей в 1947 г., он, опираясь на Л.С.Выготского (особенно в разделе «О строении речевой деятельности»), по существу строит психолингвистическую концепцию афазии — в частности, вводит представление о «внутренней схеме высказывания, которая после разворачивается во внешнюю речь» (цит. по перепечатке в книге «Афазия и восстановительное обучение», 1983, с. 57). ...А. Р. Лурия предложил для области знания на стыке лингвистики, патопсихологии и неврологии термин «нейролингвистика»: впервые на русском языке он был употреблен в 1968 г., после чего быстро распространился. Однако еще в 1964 г. термин «нейролингвистический» встречается в совместной работе группы французских афазиологов {*Dubois*, 1964}.

Другой ученик, Алексей Николаевич Леонтьев, развил психологическую концепцию Выготского в несколько ином направлении, введя (в... 1930-х гг.) развернутое теоретическое представление о структуре и единицах деятельности. В его и А. Р. Лурия публикациях 1940— 1950-х гг. неоднократно встречается термин «речевая деятельность» и... говорится о ее строении. Однако деталь-

¹ Вернее, одна из концепций. О предметном значении в те же годы писали С.Л.Рубинштейн и Д.Н.Узнадзе.

ный анализ речевой деятельности под углом зрения общепсихологической теории деятельности был осуществлен только в конце 1960-х гг. автором данной книги и группой его единомышленников (Т.В.Рябова—Ахутина и др.), объединившихся в Московскую психолингвистическую школу.

Реальное влияние на развитие психолингвистики, особенно в России, оказали не только Л. С. Выготский и его школа, но и ряд других виднейших психологов (С.Л.Рубинштейн, Д.Н.Узнадзе) и лингвистов (Л.В.Щерба, М.М.Бахтин и др.).

Печатается по изданию: *Леонтьев А. А.*
Основы психолингвистики. — М., 1997.

Л.С.ВЫГОТСКИЙ

МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ

(Извлечения)

Глава седьмая

МЫСЛЬ И СЛОВО

Я слово позабыл, что я хотел сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Мы начали наше исследование с попытки выяснить внутреннее отношение, существующее между мыслью и словом на самых крайних ступенях фило- и онтогенетического развития. Мы нашли, что начало развития мысли и слова, доисторический период в существовании мышления и речи, не обнаруживает никаких определенных отношений и зависимостей между генетическими корнями мысли и слова. Таким образом... искомые нами внутренние отношения между словом и мыслью не есть изначальная, наперед данная величина, которая является предпосылкой, основой и исходным пунктом всего дальнейшего развития, но сами возникают и складываются только в процессе исторического развития человеческого сознания, сами являются не предпосылкой, но продуктом становления человека.

Даже в высшем пункте животного развития — у антропоидов — вполне человекоподобная в фонетическом отношении речь оказывается никак не связанной с — тоже человекоподобным — интеллектом. И в начальной стадии детского развития мы могли с несомненностью констатировать наличие доинтеллектуальной стадии в процессе формирования речи и доречевой стадии в развитии мышления. Мысль и слово не связаны между собой изначальной связью. Эта

связь возникает, изменяется и разрастается в ходе самого развития мысли и слова. <...>

Мы пытались... анализ, пользующийся методом разложения на элементы, заменить анализом, расчленяющим сложное единство речевого мышления на единицы, понимая под этими последними такие продукты анализа, которые в отличие от элемента образуют первичные моменты не по отношению ко всему изучаемому явлению в целом, но только по отношению к отдельным конкретным его сторонам и свойствам, и которые, далее, также в отличие от элементов не утрачивают свойств, присущих целому и подлежащих объяснению, но содержат в себе в самом простом, первоначальном виде те свойства целого, ради которых предпринимается анализ. Единица, к которой мы приходим в анализе, содержит в себе в каком-то наипростейшем виде свойства, присущие речевому мышлению как единству.

Мы нашли эту единицу, отражающую в наипростейшем виде единство мышления и речи, в значении слова. Значение слова, как мы пытались выяснить выше, представляет собой такое далее неразложимое единство обоих процессов, о котором нельзя сказать, что оно представляет собой: феномен речи или феномен мышления. Слово, лишенное значения, не есть слово, оно есть звук пустой, следовательно, значение есть необходимый, конституирующий признак самого слова. Оно есть само слово, рассматриваемое с внутренней стороны. Таким образом, мы как будто вправе рассматривать его с достаточным основанием как феномен речи. Но значение слова с психологической стороны, как мы в этом неоднократно убеждались на всем протяжении исследования, есть не что иное, как обобщение, или понятие. Обобщение и значение слова суть синонимы. Всякое же обобщение, всякое образование понятия есть самый специфический, самый подлинный, самый несомненный акт мысли. Следовательно, мы вправе рассматривать значение слова как феномен мышления. <...>

...Значение слова неконстантно. Оно изменяется в ходе развития ребенка. Оно изменяется и при различных способах функционирования мысли. Оно представляет собой скорее динамическое, чем статическое, образование. Установление изменчивости значений делалось возможным только тогда, когда была определена правильно природа самого значения. Природа его раскрывается прежде всего в обобщении, которое содержится как основной и центральный момент во всяком слове, ибо всякое слово уже обобщает...

Для того, чтобы понять изменчивость и динамику отношений к мысли к слову, необходимо внести в развитую нами в основном исследовании генетическую схему изменения значений как бы поперечный разрез. Необходимо выяснить функциональную роль словесного значения в акте мышления. .. Для этого мы должны перейти из генетического плана в план функциональный и обрисовать не процесс развития значений и изменения их структуры, а процесс функционирования значений в живом ходе словесного мышления. Если мы

сумеет это сделать, мы тем самым сумеет показать, что на каждой ступени развития существует не только своя особенная структура словесного значения, но также определяемое этой структурой свое особое отношение между мышлением и речью. <...>

...Наперед предвосхищая результаты дальнейшего изложения, скажем относительно руководящей идеи, развитием и разъяснением которой должно служить все последующее исследование. Эта центральная идея может быть выражена в общей формуле: отношение мысли к слову есть прежде всего не вещь, а процесс, это отношение есть движение от мысли к слову и обратно — от слова к мысли. Это отношение представляется в свете психологического анализа как развивающийся процесс, который проходит через ряд фаз и стадий, претерпевая все те изменения, которые по своим самым существенным признакам могут быть названы развитием в собственном смысле этого слова. Разумеется, это не возрастное развитие, а функциональное, но движение самого процесса мышления от мысли к слову есть развитие. Мысль не выражается в слове, но совершается в слове. Можно было бы поэтому говорить о становлении (единстве бытия и небытия) мысли в слове. Всякая мысль стремится соединить что-то с чем-то, установить отношение между чем-то и чем-то. Всякая мысль имеет движение, течение, развертывание, одним словом, мысль выполняет какую-то функцию, какую-то работу, решает какую-то задачу. Это течение мысли совершается как внутреннее движение через целый ряд планов, как переход мысли в слово и слова в мысль. Поэтому первой задачей анализа, желающего изучить отношение мысли к слову как движение от мысли к слову, является изучение тех фаз, из которых складывается это движение, различные ряды планов, через которые проходит мысль, воплощающаяся в слове. Здесь перед исследователем раскрывается многое такое, «что и не снилось мудрецам».

В первую очередь наш анализ приводит нас к различению двух планов в самой речи. Исследование показывает, что внутренняя, смысловая, семантическая сторона речи и внешняя, звучащая, физическая сторона речи хотя и образуют подлинное единство, но имеют каждая свои особые законы движения. Единство речи есть сложное единство, а не гомогенное и однородное. Прежде всего наличие своего движения в семантической и в физической стороне речи обнаруживается из целого ряда фактов, относящихся к области речевого развития ребенка. Укажем только на два главнейших факта.

Известно, что внешняя сторона речи развивается у ребенка от слова к сцеплению двух или трех слов, затем к простой фразе и к сцеплению фраз, еще позже — к сложным предложениям и к связной, состоящей из развернутого ряда предложений речи. Ребенок... идет в овладении физической стороной речи от частей к целому. Но известно также, что по своему значению первое слово ребенка есть целая фраза — односложное предложение. В развитии семантической сто-

роны речи ребенок начинает с целого, с предложения, и только позже переходит к овладению частными смысловыми единицами, значениями отдельных слов, расчлняя свою слитную, выраженную в однословном предложении мысль на ряд отдельных, связанных между собой словесных значений. Таким образом, если охватить начальный и конечный момент в развитии семантической и физической сторон речи, можно легко убедиться, что это развитие идет в противоположных направлениях. Смысловая сторона речи развивается от целого к части, от предложения к слову, а внешняя сторона речи идет от части к целому, от слова к предложению.

Уже один этот факт сам по себе достаточен для того, чтобы убедить нас в необходимости различения движения смысловой и звучащей речи. Движения в том и другом плане не совпадают, сливаясь в одну линию, но могут совершаться, как показано в рассматриваемом нами случае, по противоположно направленным линиям. Это отнюдь не обозначает разрыва между обоими планами речи или автономности и независимости каждой из двух ее сторон. Напротив, различие обоих планов есть первый и необходимый шаг для установления внутреннего единства двух речевых планов. Единство их предполагает наличие своего движения у каждой из двух сторон речи и наличие сложных отношений между движением той и другой. Но изучать отношения, лежащие в основе единства речи, возможно только после того, как мы с помощью анализа различили те стороны ее, между которыми только и могут существовать эти сложные отношения. Если бы обе стороны речи представляли собой одно и то же, совпадали бы друг с другом и сливались бы в одну линию, нельзя было бы вообще говорить ни о каких отношениях во внутреннем строении речи, ибо невозможны никакие отношения вещи к самой себе. В нашем примере это внутреннее единство обеих сторон речи, имеющих противоположное направление в процессе детского развития, выступает с не меньшей ясностью, чем их несовпадение друг с другом. Мысль ребенка первоначально рождается как смутное и нерасчлененное целое, именно поэтому она должна найти свое выражение в речевой части в отдельном слове. Ребенок как бы выбирает для своей мысли речевое одеяние по мерке. В меру того, что мысль ребенка расчленяется и переходит к построению из отдельных частей, в меру этого ребенок в речи переходит от частей к расчлененному целому. И обратно — в меру того, в меру чего ребенок в речи переходит от частей к расчлененному целому в предложении, он может и в мысли от нерасчлененного целого перейти к частям. Таким образом, мысль и слово оказываются с самого начала вовсе не скроенными по одному образцу. В известном смысле можно сказать, что между ними существует скорее противоречие, чем согласованность. Речь по своему строению не представляет собой простого зеркального отражения строения мысли. Поэтому она не может надеваться на мысль, как готовое платье. Речь не служит выражением готовой

мысли. Мысль, превращаясь в речь, перестраивается и видоизменяется. Мысль не выражается, но совершается в слове. Поэтому противоположно направленные процессы развития смысловой и звуковой стороны речи образуют подлинное единство именно в силу своей противоположной направленности.

Другой, не менее капитальный факт относится к более поздней эпохе развития. Как... Пиаже установил... ребенок раньше овладевает сложной структурой придаточного предложения с союзами «потому что», «несмотря на», «так как», «хотя», чем смысловыми структурами, соответствующими этим синтаксическим формам. Грамматика в развитии ребенка идет впереди его логики. Ребенок, который совершенно правильно и адекватно употребляет союзы, выражающие причинно-следственные, временные, противительные, условные и другие зависимости, в своей спонтанной речи и в соответствующей ситуации, еще на всем протяжении школьного возраста не осознает смысловой стороны этих союзов и не умеет произвольно пользоваться ею. Это значит, что движения семантической и физической стороны слова в овладении сложными синтаксическими структурами не совпадают в развитии. Анализ слова мог бы показать, что это несовпадение грамматики и логики в развитии детской речи опять, как и в прежнем случае, не только не исключает их единства, но, напротив, только оно и делает возможным это внутреннее единство значения и слова, выражающего сложные логические отношения.

Менее непосредственно, но зато еще более рельефно выступает несовпадение семантической и физической стороны речи в функционировании развитой мысли. Для того чтобы обнаружить это, мы должны перевести свое рассмотрение из генетического плана в функциональный. Но прежде мы должны заметить, что уже факты, подчерпнутые нами из генезиса речи, позволяют сделать некоторые существенные выводы и в функциональном отношении. Если, как мы видели, развитие смысловой и звуковой стороны речи идет в противоположных направлениях на всем протяжении раннего детства, совершенно понятно, что в каждый данный момент, в какой бы точке мы ни стали рассматривать соотношения этих двух планов речи, между ними никогда не может оказаться полного совпадения. Но гораздо показательнее факты, непосредственно извлекаемые из функционального анализа речи. ... Из всего ряда относящихся сюда фактов на первом месте должно быть поставлено несовпадение грамматического и психологического подлежащего и сказуемого. <...>

.. Это несовпадение грамматического и психологического подлежащего и сказуемого может быть пояснено на следующем примере. Возьмем фразу «Часы упали», в которой «часы» — подлежащее, «упали» — сказуемое, и представим себе, что эта фраза произносится дважды в различной ситуации и выражает в одной и той же форме две разные мысли. Я обращаю внимание на то, что часы стоят, и спрашиваю, как это случилось. Мне отвечают: «Часы упали».

В этом случае в моем сознании раньше было представление о часах: часы есть в этом случае психологическое подлежащее, то, о чем говорится. Вторым возникло представление о том, что они упали. «Упали» есть в данном случае психологическое сказуемое, то, что говорится о подлежащем. В этом случае грамматическое и психологическое членение фразы совпадает, но оно может и не совпадать.

Работая за столом, я слышу шум от упавшего предмета и спрашиваю, что упало. Мне отвечают той же фразой «Часы упали». В этом случае в сознании раньше было представление об упавшем. «Упали» есть то, о чем говорится в этой фразе, т. е. психологическое подлежащее. То, что говорится об этом подлежащем, что вторым возникает в сознании, есть представление — часы, которое и будет в данном случае психологическим сказуемым. В сущности эту мысль можно было выразить так: «Упавшие есть часы». В этом случае психологическое и грамматическое сказуемое совпали бы, в нашем же случае они не совпадают. Анализ показывает, что в сложной фразе любой член предложения может стать психологическим сказуемым, тогда он несет на себе логическое ударение, семантическая функция которого и заключается как раз в выделении психологического сказуемого. <...>

Везде — в фонетике, в морфологии, в лексике и в семантике даже в ритмике, метрике и музыке — за грамматическими, или формальными категориями скрываются психологические. Если в однослучае они, по-видимому, покрывают друг друга, то в других от них расходятся. Можно говорить не только о психологических элементах формы и значениях, о психологических подлежащих и сказуемых, с тем же правом можно говорить и о психологическом числе, роде, падеже, местоимении, превосходной степени, будущем времени и т. д. Наряду с грамматическими и формальными понятиями подлежащего, сказуемого, рода пришлось допустить существование и? психологических двойников, или прообразов. То, что с точки зрения языка является ошибкой, может, если оно возникает из самобытной природы, иметь художественную ценность. Пушкинское:

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю —

имеет более глубокое значение, чем это обычно думают. Полное* устранение несоответствий в пользу общего и, безусловно, правильного выражения достигается лишь по ту сторону языка и его навыков — в математике. Первым, кто увидел в математике мышление происходящее из языка, но преодолевающее его, был, по-видимому, Декарт. Можно сказать только одно: наш обычный разговорный язык в силу присущих ему колебаний и несоответствий грамматического и психологического характера находится в состоянии подвижного равновесия между идеалами математической и фантаста

ческой гармонии и в непрестанном движении, которое мы называем эволюцией.

Если... эти примеры приведены нами для того, чтобы показать несовпадение фазической и семантической сторон речи, то вместе с тем они же показывают, что это несовпадение слова не только не исключает единства той и другой, но... с необходимостью предполагает это единство. Ведь это несоответствие не только не мешает осуществляться мысли в слове, но является необходимым условием для того, чтобы движение от мысли к слову могло реализоваться. <...>

... Если попытаться подвести итоги тому, что мы узнали из анализа двух планов речи, можно сказать, что несовпадение этих планов, наличие второго, внутреннего, плана речи, стоящего за словами, самостоятельность грамматики мысли, синтаксиса словесных значений заставляют нас в самом простом речевом высказывании видеть не раз навсегда данное, неподвижное и константное отношение между смысловой и звуковой сторонами речи, но движение, переход от синтаксиса значений к словесному синтаксису, превращение грамматики мысли в грамматику слов, видоизменение смысловой структуры при ее воплощении в словах.

Если же фазическая и семантическая стороны речи не совпадают, очевидно, что речевое высказывание не может возникнуть сразу во всей своей полноте, так как семантический синтаксис и словесный возникают, как мы видели, не одновременно и совместно, а предполагают переход и движение от одного к другому. Но этот сложный процесс перехода от значений к звукам развивается, образуя одну из основных линий в совершенствовании речевого мышления. Это расчленение речи на семантику и фонологию не дано сразу и с самого начала, а возникает только в ходе развития: ребенок должен дифференцировать обе стороны речи, осознать их различие и природу каждой из них для того, чтобы сделать возможным то нисхождение по ступеням, которое, естественно, предполагается в живом процессе осмысленной речи. Первоначально мы встречаем у ребенка неосознанность словесных форм и словесных значений и недифференцированность тех и других. Слово и его звуковое строение воспринимается ребенком как часть вещи или как свойство ее, неотделимое от других свойств. Это, по-видимому, явление, присущее всякому примитивному языковому сознанию. <...>

... Звуковая и смысловая сторона слова для ребенка представляет еще непосредственное единство, недифференцированное и неосознанное. Одна из важнейших линий речевого развития ребенка как раз и состоит в том, что это единство начинает дифференцироваться и осознаваться. Таким образом, в начале развития имеет место слияние обоих планов речи и постепенное их разделение, так что дистанция между ними растет вместе с возрастом и каждой ступени в развитии словесных значений и их осознанности соответствует свое

специфическое отношение семантической и фазической сторон речи и свой специфический путь перехода от значения к звуку.

.. Эта растущая с годами дифференциация двух речевых планов сопровождается и развитием того пути, который проделывает мысль при превращении синтаксиса значений в синтаксис слов. Мысль накладывает печать логического ударения на одно из слов фразы, выделяя тем психологическое сказуемое, без которого любая фраза становится непонятной. Говорение требует перехода из внутреннего плана во внешний, а понимание предполагает обратное движение — от внешнего плана речи к внутреннему.

Но мы должны сделать еще... шаг по намеченному... пути и проникнуть еще несколько глубже во внутреннюю сторону речи. Семантический план речи есть только начальный и первый из всех ее внутренних планов. За ним перед исследованием раскрывается план внутренней речи. Без правильного понимания психологической природы внутренней речи нет и не может быть никакой возможности выяснить отношения мысли к слову во всей их действительной сложности. Но эта проблема представляется едва ли не самой запутанной из всех вопросов, относящихся к учению о мышлении и речи. <... >

Путаница начинается с терминологической неясности. Термин «внутренняя речь», или «эндофазия», прилагается в литературе к самым различным явлениям. Отсюда возникает целый ряд недоразумений... По-видимому, первоначальным значением этого термина было понимание внутренней речи как вербальной памяти. Я могу прочесть наизусть заученное стихотворение, но я могу и воспроизвести его только в памяти. Слово может быть так же заменено представлением о нем или образом памяти, как и всякий другой предмет. В этом случае внутренняя речь отличается от внешней точно так же, как представление о предмете отличается от реального предмета. Именно в этом смысле понимали внутреннюю речь французские авторы, изучая, в каких образах памяти — акустических, оптических, моторных и синтетических — реализуется это воспоминание слов. Как мы увидим ниже, речевая память представляет один из моментов, определяющих природу внутренней речи. Но сама по себе она, конечно, не только не исчерпывает этого понятия, но и не совпадает с ним непосредственно. У старых авторов мы находим всегда знак равенства между воспроизведением слов по памяти и внутренней речью. На самом же деле это — два разных процесса, которые следует различать.

Второе значение внутренней речи связывается с сокращением обычного речевого акта. Внутренней речью называют в этом случае произносимую, незвучащую, немую речь, т. е. речь минус звук, по... определению Миллера. По представлению Уотсона, она представляет собой ту же внешнюю речь, но только не доведенную до конца. Бехтерев определял ее как выявленный в двигательной части речевой рефлекс, Сеченов — как рефлекс, оборванный на двух тре-

тях своего пути. И это понимание внутренней речи может входить в качестве одного из подчиненных моментов в научное понятие внутренней речи, но и оно, так же как первое, не только не исчерпывает всего этого понятия, но и не совпадает с ним вовсе. Беззвучно произносить какие-либо слова еще ни в какой мере не означает процессов внутренней речи. ... Шиллинг предложил терминологически разграничить внутреннюю речь и внутреннее говорение, обозначая этим последним термином содержание, которое вкладывали в понятие внутренней речи только что упомянутые авторы. От внутренней речи это понятие отличается количественно тем, что оно имеет в виду только активные, а не пассивные процессы речевой деятельности, и качественно тем, что оно имеет в виду начально моторную деятельность речевой функции. Внутреннее говорение с этой точки зрения есть частичная функция внутренней речи, речедвигательный акт инициального характера, импульсы которого не находят вовсе своего выражения в артикуляционных движениях или проявляются в неясно выраженных и беззвучных движениях, но которые сопровождают, подкрепляют или тормозят мыслительную функцию. <... >

Правильное понимание внутренней речи должно исходить из того положения, что внутренняя речь есть особое по своей психологической природе образование, особый вид речевой деятельности, имеющий свои совершенно специфические особенности и состоящий в сложном отношении к другим видам речевой деятельности. Для того чтобы изучить эти отношения внутренней речи, с одной стороны, к мысли и, с другой — к слову, необходимо прежде всего найти ее специфические отличия от того и другого и выяснить ее совершенно особую функцию. Небезразлично, думается нам, говорю ли я себе или другим. Внутренняя речь есть речь для себя. Внешняя речь есть речь для других. Нельзя допустить даже наперед, что это коренное и фундаментальное различие в функциях той и другой речи может остаться без последствий для структурной природы обеих речевых функций. Поэтому, думается нам, неправильно рассматривать, как это делают Джексон и Хэд, внутреннюю речь как отличающуюся от внешней по степени, а не по природе. Дело здесь не в вокализации. Само наличие или отсутствие вокализации есть не причина, объясняющая нам природу внутренней речи, а следствие, вытекающее из этой природы. В известном смысле можно сказать, что внутренняя речь не только не есть то, что предшествует внешней речи или воспроизводит ее в памяти, но противоположна внешней. Внешняя речь есть процесс превращения мысли в слова, ее материализация и объективация. Здесь — обратный по направлению процесс, идущий извне внутрь, процесс испарения речи в мысль. Отсюда и структура этой речи со всеми ее отличиями от структуры внешней речи.

Внутренняя речь представляет собой едва ли не самую трудную область исследования психологии. Именно поэтому мы находим в учении о внутренней речи огромное количество совершенно произ-

вольных конструкций и умозрительных построений и не располагаем почти никакими возможными фактическими данными. Эксперимент к этой проблеме прилагался лишь показательный. Исследователи пытались уловить наличие едва заметных, в лучшем случае третьестепенных по своему значению и во всяком случае лежащих вне центрального ядра внутренней речи, сопутствующих двигательных изменений в артикуляции и дыхании. Проблема эта оставалась почти недоступной для эксперимента до тех пор, пока к ней не удалось применить генетический метод. Развитие и здесь оказалось ключом к пониманию одной из сложнейших внутренних функций человеческого сознания. Поэтому нахождение адекватного метода исследования внутренней речи сдвинуло фактически всю проблему с мертвой точки. Мы остановимся поэтому прежде всего на методе.

Пиаже, по-видимому, первый обратил внимание на особую функцию эгоцентрической речи ребенка и сумел оценить ее в ее теоретическом значении. Заслуга его заключается в том, что он не прошел мимо этого повседневно повторяющегося, знакомого каждому, кто видел ребенка, факта, а попытался изучить его и теоретически осмыслить. Но и он остался совершенно слеп к самому важному, что включает в себе эгоцентрическая речь, именно к ее генетическому родству и связи с внутренней речью, и вследствие этого ложно истолковал ее собственную природу с функциональной, структурной и генетической стороны. Мы в наших исследованиях внутренней речи выдвинули в центр, отталкиваясь от Пиаже, именно проблему отношения эгоцентрической речи с внутренней речью. Это привело нас, думается нам, впервые к возможности изучить природу внутренней речи экспериментальным путем с небывалой полнотой.

Мы уже изложили выше все основные соображения, заставляющие нас прийти к выводу, что эгоцентрическая речь представляет собой ряд ступеней, предшествующих развитию внутренней речи. Напомним, что эти соображения были троякого характера: функционального (мы нашли, что эгоцентрическая речь выполняет интеллектуальные функции подобно внутренней), структурного (мы нашли, что эгоцентрическая речь по своему строению приближается к внутренней) и генетического (мы сопоставили установленный Пиаже факт отмирания эгоцентрической речи к моменту наступления школьного возраста с рядом фактов, заставляющих отнести к этому же моменту начало развития внутренней речи, и сделали отсюда заключение, что на пороге школьного возраста происходит не отмирание эгоцентрической речи, а ее переход и перерастание во внутреннюю речь). Эта новая рабочая гипотеза о структуре, функции и судьбе эгоцентрической речи дала нам возможность не только перестроить радикальным образом все учение об эгоцентрической речи, но и проникнуть в глубину вопроса о природе внутренней речи. Если наше предположение, что эгоцентрическая речь представляет собой

ранние формы внутренней речи, заслуживает доверия, то тем самым решается вопрос о методе исследования внутренней речи.

Эгоцентрическая речь является в этом случае ключом к исследованию внутренней речи. Первое удобство заключается в том, что она представляет собой еще вокализованную, звучащую речь, т. е. речь внешнюю по способу своего проявления и вместе с тем внутреннюю речь по своим функциям и структуре. При исследовании сложных внутренних процессов для того, чтобы экспериментировать, объективизировать наблюдаемый внутренний процесс, приходится экспериментально создавать его внешнюю сторону, связывая его с какой-либо внешней деятельностью, выносить его наружу, для того чтобы сделать возможным его объективно-функциональный анализ, основывающийся на наблюдениях внешней стороны внутреннего процесса. Но в случае эгоцентрической речи мы имеем дело как бы с естественным экспериментом, построенным по этому типу. Это есть доступная прямому наблюдению и экспериментированию внутренняя речь, т. е. внутренний по своей природе и внешний по проявлениям процесс. В этом и заключается главная причина того, почему изучение эгоцентрической речи и является в наших глазах основным методом исследования внутренней речи.

Второе преимущество этого метода состоит в том, что он позволяет изучить эгоцентрическую речь не статически, а динамически, в процессе ее развития, постепенного убывания одних ее особенностей и медленного нарастания других. Благодаря этому возникает возможность судить о тенденциях развития внутренней речи, анализировать то, что для нее несущественно и что отпадает в ходе развития, как и то, что для нее существенно и что в ходе развития усиливается и нарастает. И наконец, возникает возможность, изучая эти генетические тенденции внутренней речи, заключить с помощью методов интерполяции... что представляет собой движение от эгоцентрической речи к внутренней в пределе, т. е. какова природа внутренней речи.

Прежде чем перейти к изложению основных результатов... остановимся... на общем понимании природы эгоцентрической речи... чтобы окончательно уяснить себе теоретическую основу нашего метода. При изложении этого мы будем исходить из противопоставления двух теорий эгоцентрической речи — Пиаже и нашей. Согласно... Пиаже, эгоцентрическая речь ребенка представляет собой прямое выражение эгоцентризма детской мысли, который... является компромиссом между изначальным аутизмом детского мышления и постепенной его социализацией — компромиссом, особым для каждой возрастной ступени... динамическим компромиссом, в котором по мере развития ребенка убывают элементы аутизма и нарастают элементы социализованной мысли, благодаря чему эгоцентризм в мышлении, как и в речи, постепенно сходит на нет.

Из этого понимания природы эгоцентрической речи вытекает воззрение Пиаже на структуру, функцию и судьбу этого вида речи.

В эгоцентрической речи ребенок не должен приспособляться к мысли взрослого; его мысль остается максимально эгоцентрической, что находит свое выражение в непонятности эгоцентрической речи для другого, в ее сокращенности и других ее структурных особенностях. По функции эгоцентрическая речь... не может быть ни чем иным, как простым аккомпанементом, сопровождающим основную мелодию детской деятельности и ничего не меняющим в самой этой мелодии. Это скорее сопутствующее явление, чем явление, имеющее самостоятельное функциональное значение. Эта речь не выполняет никакой функции в поведении и мышлении ребенка. И... поскольку она является выражением детского эгоцентризма, а последний обречен на отмирание в ходе детского развития, естественно, что ее генетическая судьба есть тоже умирание, параллельное умиранию эгоцентризма в мысли ребенка. Поэтому развитие эгоцентрической речи идет по убывающей кривой, вершина которой расположена в начале развития и которая падает до нуля на пороге школьного возраста. Таким образом, об эгоцентрической речи можно сказать словами Листа о вундеркиндах, что все ее будущее в прошлом. Она не имеет будущего. Она не возникает и не развивается вместе с ребенком, а отмирает и замирает, представляя собой скорее инволюционный по своей природе, чем эволюционный процесс. Если таким образом развитие эгоцентрической речи совершается по непрерывно затухающей кривой, естественно, что эта речь на всяком данном этапе детского развития возникает из недостаточной социализации детской речи, изначально индивидуальной, и является прямым выражением степени этой недостаточности и неполноты социализации.

Согласно противоположной теории, эгоцентрическая речь ребенка представляет собой один из тех феноменов перехода от интерпсихических функций к интрапсихическим, т. е. от форм социальной, коллективной деятельности ребенка к его индивидуальным функциям. Этот переход является общим законом... для развития всех высших психических функций, которые возникают первоначально как формы деятельности в сотрудничестве и лишь затем переносятся ребенком в сферу своих психологических форм деятельности. Речь для себя возникает путем дифференциации изначально социальной функции речи для других. Не постепенная социализация, вносимая в ребенка извне, но постепенная индивидуализация, возникающая на основе внутренней социальности ребенка, является главным трактом детского развития. В зависимости от этого изменяются и наши воззрения на вопрос о структуре, функции и судьбе эгоцентрической речи. Структура ее, представляется нам, развивается параллельно обособлению ее функций и в соответствии с ее функциями. Иначе говоря, приобретая новое назначение, речь, естественно, перестраивается и в своей структуре сообразно с новыми функциями. Мы ниже подробно остановимся на этих структурных особенностях. Скажем только, что эти особенности не отмирают и не сглаживают -

ся, не сходят на нет и не инволюционируют, но усиливаются и нарастают, эволюционируют и развиваются вместе с возрастом ребенка, так что развитие их, как и всей, впрочем, эгоцентрической речи, идет не по затухающей, а по восходящей кривой.

Функция эгоцентрической речи представляется нам в свете наших экспериментов родственной функции внутренней речи: это менее всего аккомпанемент, это — самостоятельная мелодия, самостоятельная функция, служащая целям умственной ориентировки, осознания, преодоления затруднений и препятствий, соображения и мышления, это — речь для себя, обслуживающая самым интимным образом мышление ребенка. И наконец, — генетическая судьба эгоцентрической речи представляется нам менее всего похожей на ту, которую рисует Пиаже. Эгоцентрическая речь развивается не по затухающей, но по восходящей кривой. Ее развитие есть не инволюция, а истинная эволюция. Оно менее всего напоминает те хорошо известные в биологии и педиатрии инволюционные процессы, которые проявляются в отмирании, как процессы зарубцевания пупочной раны и отпадения пуповины или облитерация Боталлова протока и пупочной вены в период новорожденности. Гораздо больше она напоминает все процессы детского развития, направленные вперед и представляющие по своей природе конструктивные, созидательные, полные позитивного значения процессы развития. С точки зрения нашей гипотезы эгоцентрическая речь представляет собой речь внутреннюю по своей психологической функции и внешнюю по своей структуре. Ее судьба — перерастание во внутреннюю речь.

Эта гипотеза имеет ряд преимуществ в наших глазах по сравнению с гипотезой Пиаже. Она позволяет нам адекватнее и лучше объяснить с теоретической стороны структуру, функцию и судьбу эгоцентрической речи. Она лучше согласуется с найденными нами в эксперименте фактами возрастания коэффициента эгоцентрической речи при затруднениях в деятельности, требующих осознания и размышления, — фактами, которые являются необъяснимыми с точки зрения Пиаже. Но ее самое главное и решающее преимущество состоит в том, что она дает удовлетворительное объяснение парадоксальному и необъяснимому иначе положению вещей, описанному самим Пиаже. В самом деле, согласно теории Пиаже, эгоцентрическая речь отмирает с возрастом, уменьшаясь количественно по мере развития ребенка. И мы вправе были бы ожидать, что ее структурные особенности должны также убывать, а не возрастать вместе с ее отмиранием, ибо трудно себе представить, чтобы это отмирание охватывало только количественную сторону процесса и никак не отражалось на его внутреннем строении. При переходе от 3 к 7 годам, т.е. от высшей к низшей точке в развитии эгоцентрической речи, эгоцентризм детской мысли уменьшается в огромной степени. Если структурные особенности эгоцентрической речи коренятся именно в эгоцентризме, естественно ожидать, что эти структурные особенно-

сти, находящие суммарное выражение в непонятности этой речи для других, будут так же ступеньваться, постепенно сходя на нет, как и сами проявления этой речи. Короче говоря, следовало ожидать, что процесс отмирания эгоцентрической речи найдет свое выражение и в отмирании ее внутренних структурных особенностей, т. е. что эта речь и по внутреннему своему строению будет все более приближаться к социализованной речи и, следовательно, будет становиться все понятнее. Что же говорят факты на этот счет? Чья речь является более непонятной — трехлетки или семилетки? Одним из важнейших и самым решающим по значению фактическим результатом нашего исследования является установление того факта, что структурные особенности эгоцентрической речи, выражающие ее отклонения от социальной речи и обуславливающие ее непонятность для других, не убывают, а вырастают вместе с возрастом, что они минимальны в 3 года и максимальны в 7 лет, что они, следовательно, не отмирают, а эволюционируют, что они обнаруживают обратные закономерности развития по отношению к коэффициенту эгоцентрической речи. В то время как последний непрерывно падает в ходе развития, сходя на нет и равняясь нулю на пороге школьного возраста, эти структурные особенности претерпевают развитие в противоположном направлении, поднимаясь почти от нулевой площади в 3 года до почти стопроцентной по своеобразному строению совокупности структурных отличий.

Этот факт не только является необъяснимым с точки зрения Пиаже, так как совершенно непонятно, каким образом процессы отмирания детского эгоцентризма и самой эгоцентрической речи и внутренне присущие ей особенности могут так бурно расти, но он одновременно позволяет нам осветить и тот единственный факт, на котором Пиаже строит, как на краеугольном камне, всю теорию эгоцентрической речи, т. е. факт убывания коэффициента эгоцентрической речи по мере роста ребенка.

Что означает в сущности факт падения коэффициента эгоцентрической речи? Структурные особенности внутренней речи и ее функциональная дифференциация с внешней речью растут вместе с возрастом. Что же убывает? Падение эгоцентрической речи не говорит ничего больше, кроме того, что убывает исключительно и только одна-единственная особенность этой речи — именно ее вокализация, ее звучание. Можно ли отсюда сделать вывод, что отмирание вокализации и звучания равносильно отмиранию всей эгоцентрической речи в целом? Это кажется нам недопустимым, потому что в этом случае становится совершенно необъяснимым факт развития ее структурных и функциональных особенностей. Наоборот, в свете этого факта становится совершенно осмысленным и понятным само убывание коэффициента эгоцентрической речи. Противоречие между стремительным убыванием одного симптома эгоцентрической речи (вокализации) и столь же стремительным возрастанием других симп-

томов (структурной и функциональной дифференциации) оказывается только кажущимся, видимым, иллюзорным противоречием.

Будем рассуждать, исходя из несомненного, экспериментально установленного нами факта. Структурные и функциональные особенности эгоцентрической речи нарастают вместе с развитием ребенка. В 3 года отличие этой речи от коммуникативной речи ребенка почти равно нулю. В 7 лет перед нами речь, которая почти по всем своим функциональным и структурным особенностям отличается от социальной речи трехлетки. В этом факте находит свое выражение прогрессирующая с возрастом дифференциация двух речевых функций и обособление речи для себя и речи для других из общей, нерасчлененной речевой функции, выполняющей в раннем возрасте оба эти назначения почти совершенно одинаковым способом. Это — несомненно. Это — факт, а с фактами, как известно, трудно спорить.

Но если это так, все остальное становится понятным само собой. Если структурные и функциональные особенности эгоцентрической речи, т. е. ее внутреннее строение и способ ее деятельности, все больше и больше развиваются и обособляют ее от внешней речи, то совершенно в меру того, как возрастают эти специфические особенности эгоцентрической речи, ее внешняя, звучащая сторона должна отмирать, ее вокализация должна ступенькаться и сходить на нет, ее внешние проявления должны падать до нуля, что и находит свое выражение в убывании коэффициента эгоцентрической речи в период от 3 до 7 лет. По мере обособления функции эгоцентрической речи, этой речи для себя, ее вокализация становится в той же мере функционально ненужной и бессмысленной (мы знаем свою задуманную фразу раньше, чем мы ее произнесли), а в меру нарастания структурных особенностей эгоцентрической речи вокализация ее совершенно в той же мере становится невозможной. Совершенно отличная по своему строению речь для себя никак не может найти своего выражения в совершенно чужеродной по природе структуре внешней речи; совершенно особая по своему строению форма речи, возникающая в этот период, необходимо должна иметь и свою особую форму выражения, так как фазическая сторона ее перестает совпадать с фазической стороной внешней речи. Нарастание функциональных особенностей эгоцентрической речи, ее обособление в качестве самостоятельной речевой функции, постепенное складывание и образование ее самобытной внутренней природы неизбежно приводят к тому, что эта речь становится беднее во внешних проявлениях, все больше отдаляется от внешней речи, все больше и больше теряет свою вокализацию. И в известный момент развития, тогда, когда это обособление эгоцентрической речи достигнет известного необходимого предела, когда речь для себя окончательно отделится от речи для других, она с необходимостью должна перестать быть звучащей речью и, следовательно, должна создать иллюзию своего исчезновения и полного отмирания.

Но это есть именно иллюзия. Считать падение коэффициента эгоцентрической речи до нуля за симптом умирания эгоцентрической речи совершенно то же самое, что считать отмиранием счета тот момент, когда ребенок перестает пользоваться пальцами при пересчете и от счета вслух переходит к счету в уме. В сущности, за этим симптомом отмирания, негативным, инволюционным симптомом, скрывается совершенно позитивное содержание. Падение коэффициента эгоцентрической речи, убывание ее вокализации, теснейшим образом связанные, как мы показали только что, с внутренним ростом и обособлением этого нового вида детской речи, являются только по видимости негативными, инволюционными симптомами. А по сути дела они являются эволюционными симптомами вперед идущего развития. За ними скрывается не отмирание, а зарождение новой формы речи.

На убывание внешних проявлений эгоцентрической речи следует смотреть как на проявление развивающейся абстракции от звуковой стороны речи, являющейся одним из основных конституирующих признаков внутренней речи, как на прогрессирующую дифференциацию эгоцентрической речи от коммуникативной, как на признак развивающейся способности ребенка мыслить слова, представлять их, вместо того чтобы произносить, оперировать образом слова — вместо самого слова. В этом состоит положительное значение симптома падения коэффициента эгоцентрической речи. Ведь это падение имеет определенный смысл: оно совершается в определенном направлении, причем в том же самом направлении, в котором совершается развитие функциональных и структурных особенностей эгоцентрической речи, именно в направлении к внутренней речи. Коренным отличием внутренней речи от внешней является отсутствие вокализации.

Внутренняя речь есть немая, молчаливая речь. Это — ее основное отличие. Но именно в этом направлении, в смысле постепенного нарастания этого отличия, и происходит эволюция эгоцентрической речи. Ее вокализация падает до нуля, она становится немой речью. Но так необходимо и должно быть, если она представляет собой генетически ранние этапы в развитии внутренней речи. Тот факт, что этот признак развивается постепенно, что эгоцентрическая речь раньше обособляется в функциональном и структурном отношении, чем в отношении вокализации, указывает только на то, что мы и положили в основу нашей гипотезы о развитии внутренней речи, — именно, что внутренняя речь развивается не путем внешнего ослабления своей звучащей стороны, переходя от речи к шепоту и от шепота к немой речи, а путем функционального и структурного обособления от внешней речи, перехода от нее к эгоцентрической и от эгоцентрической к внутренней речи.

Таким образом, противоречие между отмиранием внешних проявлений эгоцентрической речи и нарастанием ее внутренних особен-

ностей оказывается видимым противоречием. На деле за падением коэффициента эгоцентрической речи скрывается положительное развитие одной из центральных особенностей внутренней речи — абстракции от звуковой стороны речи и окончательная дифференциация внутренней и внешней речи. Таким образом, все три основные группы признаков — функциональные, структурные и генетические — все известные нам факты из области развития эгоцентрической речи (в том числе и факты Пиаже) согласно говорят об одном и том же: эгоцентрическая речь развивается в направлении к внутренней речи, и весь ход ее развития не может быть понят иначе, как ход постепенного прогрессивного нарастания всех основных отличительных свойств внутренней речи.

В этом мы видим неопровержимое подтверждение развиваемой нами гипотезы о происхождении и природе эгоцентрической речи и столь же бесспорное доказательство в пользу того, что изучение эгоцентрической речи является основным методом к познанию природы внутренней речи. Но для того чтобы наше гипотетическое предположение превратилось в теоретическую достоверность, должны быть найдены возможности для критического эксперимента, который мог бы с несомненностью решить, которое из двух противоположных пониманий процесса развития эгоцентрической речи является соответствующим действительности. Рассмотрим данные этого критического эксперимента.

Напомним теоретическую ситуацию, которую призван был разрешить наш эксперимент. Согласно мнению Пиаже, эгоцентрическая речь возникает из недостаточной социализации изначально индивидуальной речи. Согласно нашему мнению, она возникает из недостаточной индивидуальности изначально социальной речи, из ее недостаточного обособления и дифференциации, из ее невыделенности. В первом случае эгоцентрическая речь — пункт на падающей кривой, кульминация которой лежит позади. Эгоцентрическая речь отмирает. В этом и состоит ее развитие. У нее есть только прошлое. Во втором случае эгоцентрическая речь — пункт на восходящей кривой, кульминационная точка которой лежит впереди. Она развивается во внутреннюю речь. У нее есть будущее. В первом случае речь для себя, т. е. внутренняя речь, вносится извне вместе с социализацией — так, как белая вода вытесняет красную по упомянутому уже нами принципу. Во втором случае речь для себя возникает из эгоцентрической, т. е. развивается изнутри. <...>

Мы, таким образом, приходим к подтверждению выдвинутого нами положения, гласящего, что исследование эгоцентрической речи проявляющихся в ней динамических тенденций к нарастанию одних и ослаблению других ее особенностей, характеризующих ее функциональную и структурную природу, есть ключ к изучению психологической природы внутренней речи. Мы можем теперь перейти к изложению основных результатов наших исследований и к сжатой

характеристике третьего из намеченных нами планов движения от мысли к слову — плана внутренней речи.

Изучение психологической природы внутренней речи с помощью... метода, который мы пытались обосновать экспериментально, привело нас к убеждению... что внутреннюю речь следует рассматривать не как речь минус звук, а как совершенно особую и своеобразную по своему строению и способу функционирования речевую функцию, которая именно благодаря тому, что она организована совершенно иначе, чем внешняя речь, находится с этой последней в неразрывном динамическом единстве переходов из одного плана в другой. Первой и главной особенностью внутренней речи является ее совершенно особый синтаксис. Изучая синтаксис внутренней речи в эгоцентрической речи ребенка, мы подметили... существенную особенность, которая обнаруживает несомненную динамическую тенденцию нарастания по мере развития эгоцентрической речи. Эта особенность заключается в кажущейся отрывочности, фрагментарности, сокращенное™ внутренней речи по сравнению с внешней... Внутренняя речь, таким образом, даже если мы могли бы записать ее на фонографе, оказалась бы сокращенной, отрывочной, бессвязной, неузнаваемой по сравнению с внешней речью.

Совершенно аналогичное явление наблюдается в эгоцентрической речи ребенка с той только разницей, что оно растет у нас на глазах, переходя от возраста к возрасту, и, таким образом, по мере приближения эгоцентрической речи к внутренней на пороге школьного возраста достигает своего максимума. Изучение динамики его нарастания не оставляет никаких сомнений в том, что, если продолжить эту кривую дальше, она в пределе должна привести нас к совершенной непонятности, отрывочности и сокращенности внутренней речи. Но вся выгода изучения эгоцентрической речи в том и заключается, что мы можем проследить шаг за шагом, как возникают эти особенности внутренней речи от первой до последней ступени. Эгоцентрическая речь также оказывается, как заметил Пиаже, непонятной, если не знать той ситуации, в которой она возникает, отрывочной и сокращенной по сравнению с внешней речью.

Постепенное прослеживание нарастания этих особенностей эгоцентрической речи позволяет расчленивать и объяснить ее загадочные свойства. Генетическое исследование показывает прямо и непосредственно, как и из чего возникает эта сокращенность, на которой мы остановимся как на первом и самостоятельном феномене. В виде общего закона мы могли бы сказать, что эгоцентрическая речь по мере развития обнаруживает не простую тенденцию к сокращению и опусканию слов, не простой переход к телеграфному стилю, но совершенно своеобразную тенденцию к сокращению фразы и предложения в направлении сохранения сказуемого и относящихся к нему частей предложения за счет опускания подлежащего и относящихся к нему слов. Эта тенденция к предикативности синтаксиса внутрен-

ней речи проявлялась во всех наших опытах со строгой и почти не знающей исключений правильностью и закономерностью, так что в пределе мы, пользуясь методом интерполяции, должны предположить чистую и абсолютную предикативность как основную синтаксическую форму внутренней речи.

Чтобы уяснить себе эту особенность, первичную из всех, необходимо сравнить ее с аналогичной картиной, возникающей в определенных ситуациях во внешней речи. Чистая предикативность возникает во внешней речи в двух основных случаях... или в ситуации ответа, или в ситуации, где подлежащее высказываемого суждения наперед известно собеседникам. На вопрос, хотите ли вы стакан чаю, никто не станет отвечать развернутой фразой: «Нет, я не хочу стакана чаю». Ответ будет чисто предикативным: «Нет». Он будет заключать в себе только одно сказуемое. Очевидно, что такое предикативное предложение возможно только потому, что его подлежащее — то, о чем говорится в предложении, — подразумевается собеседниками. Так же точно на вопрос: «Прочитал ли ваш брат эту книгу?» никогда не последует ответ: «Да, мой брат прочитал эту книгу», а чисто предикативный ответ: «Да» или «Прочитал».

Совершенно аналогичное положение создается и во втором случае — в ситуации, где подлежащее высказываемого суждения наперед известно собеседникам. Представим, что несколько человек ожидают на трамвайной остановке трамвая «Б», для того чтобы поехать в определенном направлении. Никогда кто-либо из этих людей, заметив приближающийся трамвай, не скажет в развернутом виде: «Трамвай "Б", который мы ожидаем, для того чтобы поехать туда-то, идет», но всегда высказывание будет сокращено до одного сказуемого: «Идет» или «Б». Очевидно, что в этом случае чисто предикативное предложение возникло в живой речи только потому, что подлежащее и относящиеся к нему слова были непосредственно известны из ситуации, в которой находились собеседники. Часто подобные предикативные суждения дают повод для комических недоразумений и всяческого рода кви-про-кво, вследствие того что слушатель относит высказанное сказуемое не к тому подлежащему, которое имелось в виду говорящим, а к другому, содержащемуся в его мысли. В обоих случаях чистая предикативность возникает тогда, когда подлежащее высказываемого суждения содержится в мыслях собеседника. Если их мысли совпадают и оба имеют в виду одно и то же, тогда понимание осуществляется сполна при помощи одних только сказуемых. Если в их мыслях это сказуемое относится к разным подлежащим, возникает неизбежное непонимание.

Яркие примеры сокращений внешней речи и сведения ее к одним предикатам мы находим в романах Толстого, не раз возвращавшегося к психологии понимания. «Никто не расслышал того, что он (Николай Левин. — *Л. В.*) сказал, одна Кити поняла. Она понимала потому, что не переставая следила мыслью за тем, что ему нужно

было». Мы могли бы сказать, что в ее мыслях, следивших за мыслью умирающего, было то подежащее, к которому относилось никак не понятное его слово. Но пожалуй, самым замечательным примером является объяснение Кити и Левина посредством начальных букв слов. «Я давно хотел спросить у вас одну вещь». — «Пожалуйста, спросите». — «Вот, — сказал он и написал начальные буквы: К, В, М, О: Э, Н, М, Б, З, Л, Э, Н, И, Т». Буквы эти значили: «Когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это никогда или тогда?» Не было никакой вероятности, чтобы она могла понять эту сложную фразу. «Я поняла», — сказала она, покраснев. «Какое это слово?» — сказал он, указывая на «Н», которым означалось слово «никогда». «Это слово значит "никогда", — сказала она, — но это неправда». Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: «Т, Я, Н, М, И, О». Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «Тогда я не могла иначе ответить». Она писала начальные буквы: «Ч, В, М, З, И, П, Ч, Б». Это значило: «Чтобы вы могли забыть и простить, что было». Он схватил мел напряженными дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: «Мне нечего забывать и прощать. Я не переставал любить вас». — «Я поняла», — шепотом сказала она. Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, не спрашивая его, так ли, взяла мел и тотчас же ответила. Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастья. Он никак не мог подставить те слова, которые она разумела; но в прелестных, сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ: да. В разговоре их все было сказано; было сказано, что она любит его и что скажет отцу и матери, что завтра он придет утром».

Этот пример имеет совершенно исключительное психологическое значение потому, что он, как и весь эпизод объяснения в любви Левина и Кити, заимствован Толстым из своей биографии. Именно таким образом он сам объяснился в любви С. Л. Берс, своей будущей жене. Пример этот, как и предыдущий, имеет ближайшее отношение к интересующему нас явлению, центральному для всей внутренней речи: проблеме ее сокращенности. При одинаковости мыслей собеседников, при одинаковой направленности их сознания роль речевых раздражений сводится до минимума. Но между тем понимание происходит безошибочно. Толстой обращает внимание в другом произведении на то, что между людьми, живущими в очень большом психологическом контакте, понимание с помощью только сокращенной речи, с полуслова является скорее правилом, чем исключением. <...>

... Полной противоположностью подобного рода понимания при упрощенном синтаксисе являются те комические случаи непонима-

ния, которые мы упоминали выше и которые послужили образцом для известной пародии на разговор двух глухих, из которых каждый совершенно разобщен с другим в своих мыслях.

Глухой глухого звал на суд судьи глухого.
Глухой кричал: моя им сведена корова!
Помилуй, возопил глухой ему в ответ:
Сей пустошью владел еще покойный дед.
Судья решил; почто идти вам брат на брата,
Не тот и не другой, а девка виновата.

Если сопоставить эти два крайних случая — объяснение Кити с Левиным и суд глухих, — мы найдем оба полюса, между которыми вращается интересующий нас феномен сокращенности внешней речи. В случае наличия общего подлежащего в мыслях собеседников понимание осуществляется сполна с помощью максимально сокращенной речи с крайне упрощенным синтаксисом; в противоположном случае понимание совершенно не достигается даже при развернутой речи. Так... не удастся сговориться между собой не только двум глухим, но и просто... людям, вкладывающим разное содержание в одно и то же слово или стоящим на противоположных точках зрения. Как говорит Толстой, все люди, самобытно и уединенно думающие, туги к пониманию другой мысли и особенно пристрастны к своей. Наоборот, у людей, находящихся в контакте, возможно то понимание с полуслова, которое Толстой называет лаконическим и ясным, почти без слов, сообщением самых сложных мыслей.

Изучив на этих примерах феномен сокращенности во внешней речи, мы можем вернуться... к интересующему нас тому же феномену во внутренней речи. Здесь, как мы уже говорили неоднократно, этот феномен проявляется не только в исключительных ситуациях, но всегда, когда только имеет место функционирование внутренней речи. Значение этого феномена станет нам окончательно ясным, если мы обратимся к сравнению в этом отношении внешней речи с письменной речью, с одной стороны, и с внутренней речью, с другой. Поливанов говорит, что если бы все, что мы желаем высказать, заключалось в формальных значениях употребленных нами слов, нам нужно было бы употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо более слов, чем это делается в действительности. Но именно этот случай имеет место в письменной речи. Там в гораздо большей мере, чем в устной, высказываемая мысль выражается в формальных значениях употребленных нами слов. Письменная речь — речь в отсутствие собеседника. Поэтому она оказывается максимально развернутой речью, в ней синтаксическая расчлененность достигает своего максимума. В ней благодаря разделенности собеседников редко становится возможным понимание с полуслова и предикативные суждения. Собеседники при письменной речи находятся в разных ситуациях, что исключает возможность наличия в

их мыслях общего подлежащего. Поэтому письменная речь представляет в этом отношении по сравнению с устной максимально развернутую и сложную по синтаксису форму речи, в которой нам нужно употреблять для высказывания каждой отдельной мысли гораздо более слов, чем это делается в устной. Как говорит Томпсон, в письменном изложении употребляются обыкновенные слова, выражения и конструкции, которые казались бы неестественными в устной речи. Грибоедовское «и говорит, как пишет» имеет в виду этот комизм перенесения многословного и синтаксически сложно построенного и расчлененного языка письменной речи в устную.

В последнее время в языкознании выдвинулась... проблема функционального многообразия речи. Язык оказывается, даже с точки зрения лингвиста, не единой формой речевой деятельности, а совокупностью многообразных речевых функций. Рассмотрение языка с функциональной точки зрения, с точки зрения условий и цели речевого высказывания, стало в центре внимания исследователей. Уже Гумбольдт осознавал ясно функциональное многообразие речи применительно к языку поэзии и прозы, которые в своем направлении и средствах отличны друг от друга и, собственно, никогда не могут слиться, потому что поэзия неразлучна с музыкой, а проза представлена исключительно языку. Проза, по Гумбольдту, отличается тем, что здесь язык пользуется в речи своими собственными преимуществами, но подчиняя их законодательно господствующей здесь цели; посредством подчинения и сочетания предложений в прозе совершенно особым образом развивается соответствующая развитию мысли логическая эвритмия, в которой прозаическая речь настраивается своей собственной целью. В том и другом виде речи язык имеет свои особенности в выборе выражений, в употреблении грамматических форм и синтаксических способов совокупления слов в речь. Таким образом, мысль Гумбольдта заключается в том, что: различные по своему функциональному назначению формы речи имеют каждая свою особую лексику, свою грамматику и свой синтаксис. Это есть мысль величайшей важности. Хотя ни сам Гумбольдт, ни перенявший и развивший его мысль Потебня не оценили этого положения во всем его принципиальном значении и не пошли дальше различения поэзии и прозы, а внутри прозы — дальше различения образованного и обильного мыслями разговора и повседневной или условной болтовни, которая служит только сообщением о делах без возбуждения идей и ощущений, — тем не менее их мысль, основательно забытая лингвистами и воскрешаемая только в самое последнее время, имеет огромное значение не только для лингвистики, но и для психологии языка. Как говорит Якубинский, самая постановка вопросов в такой плоскости чужда языкознанию и сочинения по общему языковедению этого вопроса не касаются. Психология речи, так же как и лингвистика, идя своим самостоятельным путем, приводит нас к той же задаче различения функцио-

нального многообразия речи. В частности, для психологии речи, так же как и для лингвистики, первостепенное значение приобретает фундаментальное различие диалогической и монологической формы речи. Письменная и внутренняя речь, с которыми мы сравниваем в данном случае устную речь, являются монологическими формами речи. Устная же речь в большинстве случаев является диалогической.

Диалог всегда предполагает то знание собеседниками сути дела, которое... позволяет целый ряд сокращений в устной речи и создает в определенных ситуациях чисто предикативные суждения. Диалог предполагает всегда зрительное восприятие собеседника, его мимики и жестов и акустическое восприятие всей интонационной стороны речи. То и другое, взятое вместе, допускает то понимание с полуслова, то общение с помощью намеков, примеры которого мы приводили выше. Только в устной речи возможен такой разговор, который... является лишь дополнением к бросаемым друг на друга взглядам. Так как мы уже говорили выше относительно тенденции устной речи к сокращению, мы остановимся только на акустической стороне речи и приведем классический пример из записей Достоевского, который показывает, насколько интонация облегчает тонко дифференцированное понимание значения слов.

Достоевский рассказывает о языке пьяных, который состоит просто-напросто из родного нелексиконного существительного. <...>

...«Не говоря ни единого другого слова, они (шестеро пьяных мастеровых) повторили это одно только излюбленное ими словечко шесть раз кряду один за другим и поняли друг друга вполне. Это — факт, которому я был свидетелем».

Здесь мы видим в классической форме еще один источник, из которого берет начало тенденция к сокращенности устной речи. Первый источник мы нашли во взаимном понимании собеседников, условившихся наперед относительно подлежащего или темы всего разговора. В данном примере речь идет о другом. Можно... выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие размышления одним словом. Это оказывается возможным тогда, когда интонация передает внутренний психологический контекст говорящего, внутри которого только и может быть понят смысл данного слова. ...Совершенно понятно, что оба эти момента, которые облегчают сокращение устной речи, — знание подлежащего и непосредственная передача мысли через интонацию — совершенно исключены письменной речью. Именно поэтому в письменной речи мы вынуждены использовать для выражения одной и той же мысли гораздо больше слов, чем в устной. Поэтому письменная речь есть самая многословная, точная и развернутая форма речи. В ней приходится передавать словами то, что в устной речи передается с помощью интонации и непосредственного восприятия ситуации. <...>

...Если в устной речи тенденция к предикативности возникает иногда (в известных случаях довольно часто и закономерно), если в

письменной речи она не возникает никогда, то во внутренней речи она возникает всегда. Предикативность — основная и единственная форма внутренней речи, которая вся состоит с психологической точки зрения из одних сказуемых, и притом здесь мы встречаемся не с относительным сохранением сказуемого за счет сокращения подлежащего, а с абсолютной предикативностью. Для письменной речи состоять из развернутых подлежащих и сказуемых есть закон, но такой же закон для внутренней речи — всегда опускать подлежащие и состоять из одних сказуемых.

На чем же основана эта полная и абсолютная, постоянно наблюдающаяся, как правило, чистая предикативность внутренней речи? <...>

...Все дело заключается в том, что те же самые обстоятельства, которые создают в устной речи иногда возможность чисто предикативных суждений и которые совершенно отсутствуют в письменной речи, являются постоянными и неизменными спутниками внутренней речи, неотделимыми от нее. Поэтому та же самая тенденция к предикативности неизбежно должна возникнуть и, как показывает опыт, неизбежно возникает во внутренней речи как постоянное явление, и притом в своей самой чистой и абсолютной форме. Поэтому если письменная речь является полярной противоположностью устной в смысле максимальной развернутости и полного отсутствия тех обстоятельств, которые вызывают опускание подлежащего в устной речи, внутренняя речь является также полярной противоположностью устной, но только в обратном отношении, так как в ней господствует абсолютная и постоянная предикативность. Устная речь, таким образом, занимает среднее место между речью письменной, с одной стороны, и внутренней речью, с другой. Просмотрим ближе эти обстоятельства, способствующие сокращению, применительно к внутренней речи. Напомним еще раз, что в устной речи возникают элизии и сокращения тогда, когда подлежащее высказываемого суждения наперед известно обоим собеседникам. Но такое положение является абсолютным и постоянным законом для внутренней речи. Мы всегда знаем, о чем идет речь в нашей внутренней речи. Мы всегда в курсе нашей внутренней ситуации. Тема нашего внутреннего диалога всегда известна нам. Мы знаем, о чем мы думаем. Подлежащее нашего внутреннего суждения всегда наличествует в наших мыслях. Оно всегда подразумевается. Пиаже как-то замечает, что себе самим мы легко верим на слово и что поэтому потребность в доказательствах и умение обосновывать свою мысль рождаются только в процессе столкновения наших мыслей с чужими мыслями. С таким же правом мы могли бы сказать, что самих себя мы особенно легко понимаем с полуслова, с намека. В речи, которая протекает наедине с собой, мы всегда находимся в такой ситуации, которая время от времени скорее как исключение, чем как правило, возникает в устном диалоге и примеры которой мы приво-

дили выше. Если вернуться к этим примерам, можно сказать, что внутренняя речь всегда, именно как правило, протекает в такой ситуации, когда говорящий высказывает целые суждения на трамвайной остановке одним коротким сказуемым: «Б». Ведь мы всегда находимся в курсе наших ожиданий и намерений. Наедине с собой нам никогда нет надобности прибегать к развернутым формулировкам: «Трамвай "Б", которого мы ожидаем, чтобы поехать туда-то, идет». Здесь всегда оказывается необходимым и достаточным одно только сказуемое. Подлежащее всегда остается в уме, подобно тому как школьник оставляет в уме при сложении переходящие за десяток остатки.

Больше того, во внутренней речи мы, как Левин в разговоре с женой, всегда смело говорим свою мысль, не давая себе труда облекать ее в точные слова. Психическая близость собеседников, как показано было выше, создает у говорящих общность апперцепции, что, в свою очередь, является определяющим моментом для понимания с намека, для сокращенности речи. Но эта общность апперцепции при общении с собой во внутренней речи является полной, всецелой и абсолютной, поэтому во внутренней речи является законом то лаконичное и ясное, почти без слов сообщение самых сложных мыслей, о котором говорит Толстой как о редком исключении в устной речи, возможном только тогда, когда между говорящими существует глубоко интимная внутренняя близость. Во внутренней речи нам никогда нет надобности называть то, о чем идет речь, т. е. подлежащее. Мы всегда ограничиваемся только тем, что говорится об этом подлежащем, т. е. сказуемым. Но это и приводит к господству чистой предикативности во внутренней речи.

Анализ аналогичной тенденции в устной речи привел нас к двум основным выводам. Он показал, во-первых, что тенденция к предикативности возникает в устной речи тогда, когда подлежащее суждения является наперед известным собеседникам, и тогда, когда имеется налицо в той или иной мере общность апперцепции у говорящих. Но то и другое, доведенное до своего предела в совершенно полной и абсолютной форме, имеет всегда место во внутренней речи. Уже одно это позволяет нам понять, почему во внутренней речи должно наблюдаться абсолютное господство чистой предикативности. Как мы видели, эти обстоятельства приводят в устной речи к упрощению синтаксиса, к минимуму синтаксической расчлененности, вообще к своеобразному синтаксическому строю. Но то, что намечается в устной речи в этих случаях как более или менее смутная тенденция, проявляется во внутренней речи в абсолютной форме, доведенной до предела как максимальная синтаксическая упрощенность, как абсолютное сгущение мысли, как совершенно новый синтаксический строй, который, строго говоря, означает не что иное, как полное упразднение синтаксиса устной речи и чисто предикативное строение предложений.

Наш анализ приводит нас к другому выводу: он показывает, во-вторых, что функциональное изменение речи необходимо приводит и к изменению ее структуры. Опять то, что намечается в устной речи лишь как более или менее слабо выраженная тенденция к структурным изменениям под влиянием функциональных особенностей речи, во внутренней речи наблюдается в абсолютной форме и доведенным до предела. Функция внутренней речи, как мы могли это установить в генетическом и экспериментальном исследовании, неуклонно и систематически ведет к тому, что эгоцентрическая речь, вначале отличающаяся от социальной речи только в функциональном отношении, постепенно, по мере нарастания этой функциональной дифференциации, изменяется и в своей структуре, доходя в пределе до полного упразднения синтаксиса устной речи.

Если мы от этого сопоставления внутренней речи с устной обратимся к прямому исследованию структурных особенностей внутренней речи, мы сумеем проследить шаг за шагом нарастание предикативности. В самом начале эгоцентрическая речь в структурном отношении еще совершенно сливается с социальной речью. Но по мере своего развития и функционального выделения в качестве самостоятельной и автономной формы речи она обнаруживает все более и более тенденцию к сокращению, ослаблению синтаксической расчлененности, к сгущению. К моменту своего замирания и перехода во внутреннюю речь она уже производит впечатление отрывочной речи, так как она уже почти целиком подчинена чисто предикативному синтаксису. Наблюдение во время экспериментов показывает всякий раз, каким образом и из какого источника возникает этот новый синтаксис внутренней речи. Ребенок говорит по поводу того, чем он занят в эту минуту... что он сейчас делает, по поводу того, что находится у него перед глазами. Поэтому он все больше и больше опускает, сокращает, сгущает подлежащее и относящиеся к нему слова. И все больше редуцирует свою речь до одного сказуемого. Замечательная закономерность, которую мы могли установить в результате этих опытов, состоит в следующем: чем больше эгоцентрическая речь выражена как таковая в своем функциональном значении, тем ярче проступают особенности ее синтаксиса в смысле упрощенности его и предикативности. Если сравнить в наших опытах эгоцентрическую речь ребенка в тех случаях, когда она выступала в специфической роли внутренней речи как средство осмысления при помехах и затруднениях, вызываемых экспериментально, с теми случаями, когда она проявлялась вне этой функции, можно с несомненностью установить: чем сильнее выражена специфическая, интеллектуальная функция внутренней речи как таковой, тем отчетливее выступают и особенности ее синтаксического строя.

Но эта предикативность внутренней речи еще не исчерпывает собой всего того комплекса явлений, который находит свое внешнее суммарное выражение в сокращенности внутренней речи по сравне-

нию с устной. Когда мы пытаемся проанализировать это сложное явление, мы узнаем, что за ним скрывается целый ряд структурных особенностей внутренней речи, из которых мы остановимся только на главнейших. В первую очередь здесь следует назвать редуцирование фонетических моментов речи, с которыми мы столкнулись уже и в некоторых случаях сокращенности устной речи. Объяснение Кити и Левина, длинный разговор, который велся посредством начальных букв слов, и угадывание целых фраз уже позволили нам заключить, что при одинаковой направленности сознания роль речевых раздражений сводится до минимума (начальные буквы), а понимание происходит безошибочно. Но это сведение к минимуму роли речевых раздражений опять-таки доводится до предела и наблюдается почти в абсолютной форме во внутренней речи, ибо одинаковая направленность сознания здесь достигает своей полноты. В сущности во внутренней речи всегда существует та ситуация, которая в устной речи является редкостным и удивительным исключением... Во внутренней речи нам никогда нет надобности произносить слова до конца. Мы понимаем уже по самому намерению, какое слово мы должны произнести. <... >

Далее, за суммарной сокращенностью внутренней речи сравнительно с устной раскрывается еще один феномен, имеющий также центральное значение для понимания психологической природы всего этого явления в целом. Мы называли до сих пор предикативность и редуцирование фазической стороны речи как два источника, откуда происходит сокращенность внутренней речи. Но уже оба эти феномена указывают на то, что во внутренней речи мы вообще встречаемся с совершенно иным, чем в устной, отношением семантической и фазической сторон речи. Фазическая сторона речи, ее синтаксис и ее фонетика сводятся до минимума, максимально упрощаются и сгущаются. На первый план выступает значение слова. Внутренняя речь оперирует преимущественно семантикой, но не фонетикой речи. Эта относительная независимость значения слова от его звуковой стороны проступает во внутренней речи чрезвычайно выпукло. Для выяснения этого мы должны рассмотреть ближе третий источник интересующей нас сокращенности, которая, как уже сказано, является суммарным выражением многих связанных друг с другом, но самостоятельных и не сливающихся непосредственно феноменов. Этот третий источник мы находим в совершенно своеобразном семантическом строе внутренней речи. Как показывает исследование, синтаксис значений и весь строй смысловой стороны речи не менее своеобразен, чем синтаксис слов и ее звуковой строй. В чем же заключаются основные особенности семантики внутренней речи?

Мы могли... установить три такие основные особенности, внутренне связанные между собой и образующие своеобразие смысловой стороны внутренней речи. Первая из них заключается в преобладании смысла слова над его значением во внутренней речи. Полан

оказал большую услугу психологическому анализу речи тем, что ввел различие между смыслом слова и его значением. Смысл слова, как показал Полан, представляет собой совокупность всех психологических фактов, возникающих в нашем сознании благодаря слову. Смысл слова, таким образом, оказывается всегда динамическим, текучим, сложным образованием, которое имеет несколько зон различной устойчивости. Значение есть только одна из зон того смысла, который приобретает слово в контексте какой-либо речи, и притом зона наиболее устойчивая, унифицированная и точная. Как известно, слово в различном контексте легко изменяет свой смысл. Значение, напротив, есть тот неподвижный и неизменный пункт, который остается устойчивым при всех изменениях смысла слова в различном контексте. Это изменение смысла слова мы могли установить как основной фактор при семантическом анализе речи. Реальное значение слова неконстантно. В одной операции слово выступает с одним значением, в другой оно приобретает другое значение. Эта динамичность значения и приводит нас к проблеме Полана, к вопросу о соотношении значения и смысла. Слово, взятое в отдельности в лексиконе, имеет только одно значение. Но это значение есть не более как потенция, реализующаяся в живой речи, в которой это значение является только камнем в здании смысла.

Мы поясним это различие между значением и смыслом слова на примере крыловской басни «Стрекоза и Муравей». Слово «попляши», которым заканчивается эта басня, имеет совершенно определенное, постоянное значение, одинаковое для любого контекста, в котором оно встречается. Но в контексте басни оно приобретает гораздо более широкий интеллектуальный и аффективный смысл. Оно уже означает в этом контексте одновременно: «веселись» и «погибни». Вот это обогащение слова смыслом, который оно вбирает в себя из всего контекста, и составляет основной закон динамики значений. Слово вбирает в себя, впитывает из всего контекста, в который оно вплетено, интеллектуальные и аффективные содержания и начинает значить больше и меньше, чем содержится в его значении, когда мы его рассматриваем изолированно и вне контекста: больше — потому что круг его значений расширяется, приобретая еще целый ряд зон, наполненных новым содержанием; меньше — потому что абстрактное значение слова ограничивается и сужается тем, что слово означает только в данном контексте. Смысл слова, говорит Полан, есть явление сложное, подвижное, постоянно изменяющееся в известной мере сообразно отдельным сознаниям и для одного и того же сознания в соответствии с обстоятельствами. В этом отношении смысл слова неисчерпаем. Слово приобретает свой смысл только во фразе, но сама фраза приобретает смысл только в контексте абзаца, абзац — в контексте книги, книга — в тексте всего творчества автора. Действительный смысл каждого слова определяется в конечном счете всем богатством существующих в сознании

моментов, относящихся к тому, что выражено данным словом. ... Слово есть неисчерпаемый источник новых проблем. Смысл слова никогда не является полным. В конечном счете он упирается в понимание мира и во внутреннее строение личности в целом.

Но главная заслуга Полана заключается в том, что он подверг анализу отношение смысла и слова и сумел показать, что между смыслом и словом существуют гораздо более независимые отношения, чем между значением и словом. Слова могут диссоциироваться с выраженным в них смыслом. Давно известно, что слова могут менять свой смысл. Сравнительно недавно было замечено, что следует изучить также, как смыслы меняют слова, или, вернее сказать, как понятия меняют свои имена. <... >

Мы снова воспользуемся анализом Полана, для того чтобы обнаружить в устной речи явление, родственное тому, которое мы могли установить экспериментально во внутренней речи. В устной речи, как правило, мы идем от наиболее устойчивого и постоянного элемента смысла, от его наиболее константной зоны, т. е. от значения слова к его более текучим зонам, к его смыслу в целом. Во внутренней речи, напротив, то преобладание смысла над значением, которое мы наблюдаем в устной речи в отдельных случаях как более или менее слабо выраженную тенденцию, доведено до своего математического предела и представлено в абсолютной форме. Здесь прева- лирование смысла над значением, фразы над словом, всего контекста над фразой является не исключением, но постоянным правилом.

Из этого обстоятельства вытекают две другие особенности семантики внутренней речи. Обе касаются процесса объединения слов, их сочетания и слияния. Первая особенность может быть сближена с агглютинацией, которая наблюдается в некоторых языках как основной феномен, а в других — как более или менее редко встречаемый способ объединения слов. В немецком языке, например, единое существительное часто образуется из целой фразы или из нескольких отдельных слов, которые выступают в этом случае в функциональном значении единого слова. В других языках такое слияние слов наблюдается как постоянно действующий механизм. Эти сложные слова, говорит В. Вундт, суть не случайные агрегаты слов, но образуются по определенному закону. Все эти языки соединяют большое число слов, означающих простые понятия, в одно слово, которым не только выражают весьма сложные понятия, но обозначают и все частные представления, содержащиеся в понятии. В этой механической связи, или агглютинации, элементов языка, наибольший акцент всегда придается главному корню, или главному понятию, в чем и состоит главная причина легкой понятности языка. Так например, в делаварском языке есть сложное слово, образовавшееся из слов «доставать», «лодка» и «нас» и буквально означающее: «доставать на лодке нас», «переплыть к нам на лодке». Это слово, обычно употребляемое как вызов неприятелю переплыть реку, спря-

гается по всем многочисленным наклонениям и временам делаварских глаголов. Замечательным в этом являются два момента: во-первых, входящие в состав сложного слова отдельные слова часто претерпевают сокращения с звуковой стороны, так что из них в сложное слово входит часть слова; во-вторых, то, что возникающее таким образом сложное слово, выражающее весьма сложное понятие, выступает с функциональной и структурной стороны как единое слово, а не как объединение самостоятельных слов. В американских языках, говорит Вундт, сложное слово рассматривается совершенно так же, как и простое, и точно так же склоняется и спрягается.

Нечто аналогичное наблюдали мы и в эгоцентрической речи ребенка. По мере приближения этой... речи к внутренней речи агглютинация как способ образования единых сложных слов для выражения сложных понятий выступала все чаще и чаще, все отчетливее и отчетливее. Ребенок в своих эгоцентрических высказываниях все чаще обнаруживает параллельно падению коэффициента эгоцентрической речи эту тенденцию к асинтаксическому слипанию слов.

Третья и последняя из особенностей семантики внутренней речи снова может быть легче всего уяснена путем сопоставления с аналогичным явлением в устной речи. Сущность ее заключается в том, что смыслы слов, более динамические и широкие, чем их значения, обнаруживают иные законы объединения и слияния друг с другом, чем те, которые могут наблюдаться при объединении и слиянии словесных значений. Мы назвали тот своеобразный способ объединения слов, который мы наблюдали в эгоцентрической речи, влиянием смысла, понимая это слово одновременно в его первоначальном буквальном значении (вливание) и в его переносном, ставшем сейчас общепринятым, значении. Смыслы как бы вливаются друг в друга и как бы влияют друг на друга, так что предшествующие как бы содержатся в последующем или его модифицируют. Что касается внешней речи, то мы наблюдаем аналогичные явления особенно часто в художественной речи. Слово, проходя сквозь какое-либо художественное произведение, вбирает в себя все многообразие заключенных в нем смысловых единиц и становится по своему смыслу как бы эквивалентным всему произведению в целом. <...>

.. Все эти особенности смысловой стороны внутренней речи приводят к тому, что всеми наблюдателями отмечалось как непонятность эгоцентрической или внутренней речи. Понять эгоцентрическое высказывание ребенка невозможно, если не знать, к чему относится составляющее его сказуемое, если не видеть того, что делает ребенок и что находится у него перед глазами. Уотсон говорит о внутренней речи, что, если бы удалось ее записать на пластинке фонографа, она осталась бы для нас совершенно непонятной. Эта непонятность внутренней речи, как и ее сокращенность, является фактом, отмечаемым всеми исследователями, но еще ни разу не подвергавшимся

анализу. Между тем анализ показывает, что непонятность внутренней речи, как и ее сокращенность, является производным очень многих факторов, суммарным выражением самых различных феноменов. Уже все, отмеченное выше, как своеобразный синтаксис внутренней речи, редуцирование ее фонетической стороны, ее особый семантический строй в достаточной мере объясняет и раскрывает психологическую природу этой непонятности. Но мы хотели бы остановиться еще на... моментах, которые более или менее непосредственно обуславливают эту непонятность и скрываются за ней. Из них первый представляется как бы интегральным следствием всех перечисленных выше моментов и непосредственно вытекает из функционального своеобразия внутренней речи. По самой своей функции эта речь не предназначена для сообщения, это речь для себя, речь, протекающая совершенно в иных внутренних условиях, чем внешняя, и выполняющая совершенно иные функции. Поэтому следовало бы удивляться не тому, что эта речь является непонятной, а тому, что можно ожидать понятности внутренней речи. <...>

.. После всего сказанного о природе внутренней речи, о ее структуре и функции не остается никаких сомнений в том, что переход от внутренней речи к внешней представляет собой не прямой перевод с одного языка на другой, не простое присоединение звуковой стороны к молчаливой речи, не простую вокализацию внутренней речи, а переструктурирование речи, превращение совершенно самобытного и своеобразного синтаксиса, смыслового и звукового строя внутренней речи в другие структурные формы, присущие внешней речи. Точно так же, как внутренняя речь не есть речь минус звук, внешняя речь не есть внутренняя речь плюс звук. Переход от внутренней к внешней речи есть сложная динамическая трансформация — превращение предикативной и идиоматической речи в синтаксически расчлененную и понятную для других речь.

Мы можем... вернуться к тому определению внутренней речи и ее противопоставлению внешней, которые мы предпослали всему нашему анализу. Мы говорили, что внутренняя речь есть совершенно особая функция, что в известном смысле она противоположна внешней. Мы не соглашались с теми, кто рассматривает внутреннюю речь как то, что предшествует внешней, как ее внутреннюю сторону. Если внешняя речь есть процесс превращения мысли в слова, материализация и объективация мысли, то здесь мы наблюдаем обратный по направлению процесс, процесс, как бы идущий извне внутрь, процесс испарения речи в мысль. Но речь вовсе не исчезает и в своей внутренней форме. Сознание не испаряется вовсе и не растворяется в чистом духе. Внутренняя речь есть все же речь, т. е. мысль, связанная со словом. Но если мысль воплощается в слове во внешней речи, то слово умирает во внутренней речи, рождая мысль. Внутренняя речь есть в значительной мере мышление чистыми значениями, но, как говорит поэт, мы «в небе скоро устаем». Внутрен-

няя речь оказывается динамическим, неустойчивым, текучим моментом, мелькающим между более оформленными и стойкими крайними полюсами изучаемого нами речевого мышления: между словом и мыслью. Поэтому истинное ее значение и место могут быть выяснены только тогда, когда мы сделаем еще один шаг по направлению внутрь в наш анализ и сумеем составить себе хотя бы самое общее представление о следующем и твердом плане речевого мышления.

Этот новый план речевого мышления есть сама мысль. Первой задачей нашего анализа является выделение этого плана, вычленение его из того единства, в котором он всегда встречается. .. Всякая мысль стремится соединить что-то с чем-то, имеет движение, сечение, развертывание, устанавливает отношение между чем-то и чем-то, одним словом, выполняет какую-то функцию, работу, решает какую-то задачу. Это течение и движение мысли не совпадают прямо и непосредственно с развертыванием речи. Единицы мысли и единицы речи не совпадают. Один и другой процессы обнаруживают единство, но не тождество. Они связаны друг с другом сложными переходами, сложными превращениями, но не покрывают друг друга, как наложенные друг на друга прямые линии. Легче всего убедиться в этом в тех случаях, когда работа мысли оканчивается неудачно, когда оказывается, что мысль не пошла в слова, как говорит Достоевский. Мы снова воспользуемся для ясности литературным примером, сценой наблюдений одного героя Глеба Успенского. Сцена, где несчастный ходок, не находя слов для выражения огромной мысли, владеющей им, бессильно терзается и уходит молиться угоднику, чтобы бог дал понятие, оставляет невыразимо тягостное ощущение. И однако, по существу то, что переживает этот бедный пришибленный ум, ничем не разнится от такой же муки слова в поэте или мыслителе. Он и говорит почти теми же словами: «Я бы тебе, друг ты мой, сказал вот как, эстолького вот не утаил бы, да языка-то нет у нашего брата... вот что я скажу, будто как по мыслям и выходит, а с языка-то не слезает. То-то и горе наше дурацкое». <...>

В этом случае отчетливо видна грань, отделяющая мысль от слова, непереходимый для говорящего рубикон, отделяющий мышление от речи. Если бы мысль непосредственно совпадала в своем строении и течении со строением и течением речи, такой случай, который описан Успенским, был бы невозможен. Но на деле мысль имеет свое особое строение и течение, переход от которого к строению и течению речи представляет большие трудности не для одного только героя рассказанной выше сцены. С этой проблемой мысли, скрывающейся за словом, столкнулись, пожалуй, раньше психологов художники сцены. <...>

...Мы приходим... к выводу, что мысль не совпадает непосредственно с речевым выражением. Мысль не состоит из отдельных слов — так, как речь. Если я хочу передать мысль, что я видел сегод-

ня, как мальчик в синей блузе и босиком бежал по улице, я не вижу отдельно мальчика, отдельно блузы, отдельно то, что она синяя, отдельно то, что он без башмаков, отдельно то, что он бежит. Я вяжу все это вместе в едином акте мысли, но я расчленяю это в речи на отдельные слова. Мысль всегда представляет собой нечто целое, значительно большее по своему протяжению и объему, чем отдельное слово. Оратор часто в течение нескольких минут развивает одну и ту же мысль. Эта мысль содержится в его уме как целое, а отнюдь не возникает постепенно, отдельными единицами, как развивается его речь. То, что в мысли содержится симультанно, то в речи развертывается сукцессивно. Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождем слов. Поэтому процесс перехода от мысли к речи представляет собой чрезвычайно сложный процесс расчленения мысли и ее воссоздания в словах. Именно потому, что мысль не совпадает не только со словом, но и со значениями слов, в которых она выражается, путь от мысли к слову лежит через значение. В нашей речи всегда есть задняя мысль, скрытый подтекст. Так как прямой переход от мысли к слову невозможен, а всегда требует прокладывания сложного пути, возникают жалобы на несовершенство слова и ламентации по поводу невыразимости мысли...

Для преодоления этих жалоб возникают попытки плавить слова, создавая новые пути от мысли к слову через новые значения слов. Хлебников сравнивал эту работу с прокладыванием пути из одной долины в другую, говорил о прямом пути из Москвы в Киев не через Нью-Йорк, называл сам себя путейцем языка.

Опыты учат, что, как мы говорили выше, мысль не выражается в слове, но совершается в нем. Но иногда мысль не совершается в слове, как у героя Успенского. Знал ли он, что хочет подумать? Знал, как знают, что хотят запомнить, хотя запоминание не удается. Начал ли он думать? Начал, как начинают запоминать. Но удалась ли ему мысль как процесс? На этот вопрос надо ответить отрицательно. Мысль не только внешне опосредуется знаками, но и внутренне опосредуется значениями. Все дело в том, что непосредственное общение сознаний невозможно не только физически, но и психологически. Это может быть достигнуто только косвенным, опосредствованным путем. Этот путь заключается во внутреннем опосредствовании мысли сперва значениями, а затем словами. Поэтому мысль никогда не равна прямому значению слов. Значение опосредствует мысль на ее пути к словесному выражению, т. е. путь от мысли к слову есть не прямой, внутренне опосредствованный путь.

Нам остается, наконец, сделать последний, заключительный шаг в нашем анализе внутренних планов речевого мышления. Мысль — это еще не последняя инстанция во всем этом процессе. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши

интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать ответ на последнее «почему» в анализе мышления. Если мы сравнили выше мысль с нависшим облаком, проливающимся дождем слов, то мотивацию мысли мы должны были бы, если продолжить это образное сравнение, уподобить ветру, приводящему в движение облака. Действительное и полное понимание чужой мысли становится возможным только тогда, когда мы вскрываем ее действительную, аффективно-волевою подоплеку. Это раскрытие мотивов, приводящих к возникновению мысли и управляющих ее течением, можно проиллюстрировать на... примере раскрытия подтекста при сценической интерпретации какой-либо роли. За каждой репликой героя драмы стоит хотение, как учит Станиславский, направленное к выполнению определенных волевых задач. То, что в данном случае приходится воссоздавать методом сценической интерпретации, в живой речи всегда является начальным моментом всякого акта словесного мышления. За каждым высказыванием стоит волевая задача. <...>

i При понимании чужой речи всегда оказывается недостаточным понимание только одних слов, но не мысли собеседника. Но и понимание мысли собеседника без понимания его мотива, того, ради чего высказывается мысль, есть неполное понимание. Точно так же в психологическом анализе любого высказывания мы доходим до конца только тогда, когда раскрываем этот последний и самый таинственный внутренний план речевого мышления: его мотивацию. <...>

Мы шли в исследовании несколько необычным путем. В проблеме мышления и речи мы пытались изучить ее внутреннюю сторону, скрытую от непосредственного наблюдения. Мы пытались подвергнуть анализу значение слова, которое для психологии всегда было другой стороной Луны, неизученной и неизвестной. Смысловая и вся внутренняя сторона речи, которой речь обращена не вовне, а внутри, к личности, оставалась до самого последнего времени для психологии неведомой и неисследованной землей. Изучали преимущественно фазическую сторону речи, которой она обращена к нам. Поэтому отношения между мыслью и словом понимались при самом различном истолковании как константные, прочные, раз навсегда закрепленные отношения вещей, а не внутренние, динамические, подвижные отношения процессов. Основной итог нашего исследования мы могли бы поэтому выразить в положении, что процессы, которые полагались связанными неподвижно и единообразно, на деле оказываются подвижно связанными. То, что почиталось прежде простым построением, оказалось, в свете исследования, сложным. В нашем стремлении разграничить внешнюю и смысловую стороны речи, слово и мысль не заключено ничего, кроме стремления представить в более сложном виде и в более тонкой связи то единство, которое на самом деле представляет собой речевое мышление. Сложное строение этого единства, сложные подвижные связи и переходы между отдель-

ными планами речевого мышления возникают, как показывает исследование, только в развитии. Отделения значения от звука, слова от вещи, мысли от слова являются необходимыми ступенями в истории развития понятий.

Мы не имели никакого намерения исчерпать всю сложность структуры и динамики речевого мышления. Мы только хотели дать первоначальное представление о грандиозной сложности этой динамической структуры, и притом представление, основанное на экспериментально добытых и разработанных фактах, их теоретическом анализе и обобщении. Нам остается только резюмировать в немногих словах то общее понимание отношений между мыслью и словом, которое возникает у нас в результате всего исследования.

Ассоциативная психология представляла себе отношение между мыслью и словом как внешнюю, образующуюся путем повторения связь двух явлений, в принципе совершенно аналогичную возникающей при парном заучивании ассоциативной связи между двумя бессмысленными словами. Структурная психология заменила это представление представлением о структурной связи между мыслью и словом, но оставила неизменным постулат о неспецифичности этой связи, поместив ее в один ряд с любой другой структурной связью, возникающей между двумя предметами, например между палкой и бананом в опытах с шимпанзе. Теории, которые пытались иначе решить этот вопрос, поляризовались вокруг двух противоположных учений. Один полюс образует чисто бихевиористское понимание мышления и речи, нашедшее свое выражение в формуле: мысль есть речь минус звук. Другой полюс представляет крайне идеалистическое учение, развитое представителями вюрцбургской школы и А. Бергсоном о полной независимости мысли от слова, об искажении, которое вносит слово в мысль. «Мысль изреченная есть ложь», — этот тютчевский стих может служить формулой, выражающей самую суть этих учений. Отсюда возникает стремление психологов отделить сознание от действительности и... разорвав рамку языка, схватить наши понятия в их естественном состоянии, в том виде, в каком их воспринимает сознание, — свободными от власти пространства. Все эти учения вместе взятые обнаруживают одну общую точку, присущую всем почти теориям мышления и речи: глубочайший и принципиальный антиисторизм. Все они колеблются между полюсами чистого натурализма и чистого спиритуализма. Все они одинаково рассматривают мышление и речь вне истории мышления и речи.

Между тем только историческая психология, только историческая теория внутренней речи способна привести нас к правильному пониманию этой сложнейшей и грандиознейшей проблемы. Мы пытались идти именно этим путем в нашем исследовании. То, к чему мы пришли, может быть выражено в самых немногих словах. Мы видели, что отношение мысли к слову есть живой процесс рождения

мысли в слове. Слово, лишенное мысли, есть прежде всего мертвое слово. Как говорит поэт:

И как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Но и мысль, не воплотившаяся в слове, остается стигийской тенью, «туманом, звоном и зиянием», как говорит другой поэт. Гегель рассматривал слово как бытие, оживленное мыслью. Это бытие абсолютно необходимо для наших мыслей.

Связь мысли со словом не есть изначальная, раз навсегда данная связь. Она возникает в развитии и сама развивается. «Вначале было слово». На эти евангельские слова Гёте ответил устами Фауста: «Вначале было дело», желая тем обесценить слово. Но, замечает Гуцман, если даже вместе с Гёте не оценивать слишком высоко слово как таковое, т. е. звучащее слово, и вместе с ним переводить библейский стих «Вначале было дело», то можно все же прочесть его с другим ударением, если взглянуть на него с точки зрения истории развития: *в н а ч а л е* было дело. Гуцман хочет этим сказать, что слово представляется ему высшей ступенью развития человека по сравнению с самым высшим выражением действия. Конечно, он прав. Слово не было вначале. Вначале было дело. Слово образует скорее конец, чем начало развития. Слово есть конец, который венчает дело.

...Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле вод. Слово относится к сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу. Оно и есть малый мир сознания. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания.

Печатается по изданию: *Выготский Л. С.* Мышление и речь. — М., 1996.

Вопросы

1. Какими свойствами, по мнению Л. С. Выготского, должна обладать единица анализа, вскрывающего отношения между мыслью и словом?
2. Как определяет отношение мысли к слову Л. С. Выготский?
3. В чем, по мнению Л. С. Выготского, состоит принципиальное различие в течении процесса мысли и процесса речи?
4. Какие факты функционирования языка в речемыслительном процессе, отмеченные Л. С. Выготским, показывают нелинейность организации мысле-рече-языковой деятельности?
5. Чем, по мысли Л. С. Выготского, отличается понимание слова ребенком от понимания слова взрослым?
6. В чем видит Л. С. Выготский принципиальное отличие внутренней речи от внешней?
7. Как соотносятся, по Л. С. Выготскому, эгоцентрическая и внутренняя речь? Какой основной метод по изучению внутренней речи он применяет?

8. Какой ведущий процесс развития психики проявляется, как считает Л. С. Выготский, в «отмирании» эгоцентрической речи?

9. Как соотносятся, по Л. С. Выготскому, письменная и устная речь?

10. В чем видит Л. С. Выготский отличие поэтической речи от прозаической?

11. Как сопоставление соотношения письменной и устной речи с монологической и диалогической помогает Л. С. Выготскому разрешить вопрос о сущности внутренней речи?

12. На какие источники, ведущие к «сокращению устной речи», указывает Л. С. Выготский?

13. В чем видит Л. С. Выготский диалогичность внутренней речи?

14. На каком основании Л. С. Выготский различает значение и смысл слова? Что, по его мнению, составляет основной закон динамики значений слова?

15. Какой аналог слова во внутренней речи находит Л.С.Выготский во внешней речи? На основании чего это происходит?

16. Как осуществляется, в понимании Л.С.Выготского, переход от внутренней речи к внешней?

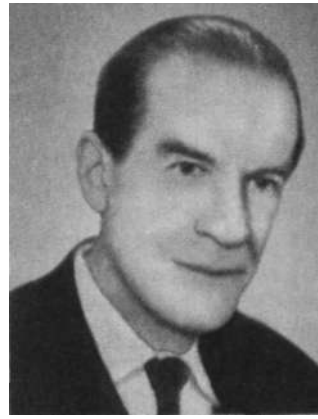
17. Если, по Л. С. Выготскому, внешняя речь есть «превращение мысли в слово», то что в таком случае представляет собой внутренняя речь?

18. Как представляет Л. С. Выготский собственно мыслительный процесс?

19. Как происходит, по мысли Л.С.Выготского, взаимопонимание, «общение сознаний»?

20. В чем видит Л. С. Выготский существенное отличие своего подхода от других сложившихся путей изучения соотношения мысли и слова (мышления и речи)? Почему он с ними не согласен?

21. Почему Л.С.Выготский называет слово «микрокосмом человеческого сознания»?



12. А.Н.ЛЕОНТЬЕВ ОБ ИНТЕРИОРИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Можно сказать, что каждый отдельный человек учится быть человеком. <...>

Если бы нашу планету постигла катастрофа, в результате которой остались бы в живых только маленькие дети, то хотя человеческий род и не прекратился бы, однако история человечества неизбежно была бы прервана.

А. Н. Леонтьев

Алексей Николаевич Леонтьев (1903—1979) — выдающийся психолог, доктор педагогических наук по психологии, профессор (1932), профессор МГУ (1941); действительный член АПН РСФСР (1950), вице-президент АПН РСФСР (1959-1961).

Область его научных интересов: формирование высших психических функций (механизмов восприятия, произвольного внимания, памяти), механизм интериоризации внешних форм действия во внутренние психические процессы, развитие психики, ее генезис, биоэволюция и общественно-историческое развитие, психика ребенка, инженерная психология; его труды по проблемам развития психики [1] получили мировое признание.

Для формирования психолингвистики необходимо прежде всего становление психологии как самостоятельной науки, потому что именно в психологии были сформулированы и рассматриваются проблемы, составляющие основы становления и развития психолингвистики как научного направления.

Что такое *сознательное* действие человека? А ведь речь, речевое действие — это сознательное действие человека.

Что такое *мышление* и как протекает мыслительное действие? Что такое *общение* на вербальной основе? Как соотносятся между собой *мышление* и *речь*? Что собой представляют *механизмы речи*!

И вот уже собственно психолингвистические вопросы: как происходит *порождение речи*! как происходит *понимание речи, восприятие речи*! какую роль в этом сложном механизме выполняет *язык*! — ведь речь осуществляется с помощью языка, и при рассмотрении этих вопросов должна приниматься во внимание вся триада *мысль-речь-языкового образования*.

А как человек научается *говорить*! Как *овладевает языком*! — на эти последние, практически насущные вопросы дает ответ уже наука, специально изучающая процессы порождения и восприятия речи, — *психолингвистика*, уходящая своими корнями в психологию и питаемая ею.

В психологии мы находим важное для психолингвистики определение сознательного действия. Речь, речевое действие — это *сознательное*, т.е. *целенаправленное* действие человека. Формирование *цели* организует *деятельностное* состояние человека. Цель действия, в том числе и речевого, делает ясной сформировавшаяся *потребность* его произвести. Для осуществления речевого действия у человека должно возникнуть соответствующее так называемое «потребностное состояние» [1], и реализации его должны способствовать *средства и условия*, адекватные поставленной цели. При этом всегда есть *альтернатива* в средствах и способах достижения цели. «Всякий акт речи представляет собой как бы решение своеобразной психологической задачи, которая в зависимости от формы и вида речи и от конкретных обстоятельств и цели общения требует разного ее построения и применения разных речевых средств. То же относится и к пониманию речи» [2, с. 264].

Наиболее глубокое и тонкое понимание соотношения мышления и речи мы находим в психологии. Исторически речь формируется как выражение возникновения сознания и развития мышления: «*На различных этапах развития мышления и речи их взаимоотношение выступает в различных формах*» [2, с. 271]. И в плане порождения речи процессы мышления и речи находятся в сложном взаимодействии: «То, что кажется нам лишь "муками слова", это, в действительности, также и *муки мысли*, оформляющейся в сознании» [2, с. 272]. Сложность мыслительного процесса состоит в том, что речь есть еще и способ понять других и самого себя: «Трудность, которую мы переживаем во внешней речи, вовсе не есть трудность только самой речи. Эта трудность есть также трудность оформить данную мысль в словах так, чтобы сделать ее понятной для другого, а это большей частью значит также сделать ее вполне ясной для самого себя» [2, с. 272].

В главном труде А.Н.Леонтьева «Проблемы развития психики» [1] процессы становления высшей психической функции — речи — исследуются в филогенезе и онтогенезе, в норме и патологии. Чтобы понять механизм порождения и образования речи, важно проникнуть в процесс *интериоризации* — процесс «преобразования внешних действий в действия внутренние, умственные» [1, с. 382 — 383]. Именно этот процесс автоматизирует умение пользоваться звучащей речью: уходит вглубь сознания уже осмысленной внешняя речь, мозг освобождается для более сложной мыслительной деятельности и дальнейшего речепроизводства.

Онтогенетическая картина развития речи, представленная также и в учебном пособии «Психология» для высшей школы в разделах «Развитие психики» [3] и «Речь» [2], актуальна для проблематики психолингвистики развития и по сей день. А. Н.Леонтьев говорит о существенном отличии развития речи у ребенка от ее исторического развития: ребенок учится уже сложившемуся языку в условиях общения со взрослыми. Это положение согласуется с позицией И. А. Бодуэна де Куртенэ: «Ребенок не повторяет вовсе в сокращении языкового развития целого племени, но, напротив того, ребенок захватывает и будущее... и только впоследствии пятится, так сказать, назад, все более и более приравниваясь к нормальному языку окружающих» [4]. Процесс развития психики ребенка представляется как *стадиальный* [3, с. 47], протекающий *скачкообразно* [3, с. 47]: «Стадии развития психики ребенка совпадают с определенными возрастными периодами, однако это совпадение не является абсолютно точным; в отдельных случаях возможны значительные сдвиги возрастных границ в ту или другую сторону. Особенно это относится к старшим возрастам, так как чем выше стадия развития психики, тем больший промежуток времени она длится и тем изменчивее ее возрастные границы. Напротив, стадии развития, которые приходятся на более ранний возраст, гораздо короче и имеют более определенные возрастные границы» [3, с. 52; о том же 1, с. 507]. Каждая стадия становления и развития речи «характеризуется определенным, ведущим на данном этапе отношением ребенка к действительности, определенным, ведущим типом его деятельности» [1, с. 505], т.е. на каждом таком этапе проявляется определенный, характерный для него способ, в нашей терминологии, самосогласования механизма мысле-рече-языкового действия. Например, в жизни ребенка до года «число прикосновений к предметам при зрительной фиксации их особенно резко возрастает на пятом-шестом месяцах...» [3, с. 54]; на этапе от одного до трех лет «...ребенок познает свойства предметов через подражание действиям взрослых с ними, т.е. познает их именно как человеческие предметы с *общественно-фиксированными* за ними функциями. На этой основе ребенок овладевает и словами *языка*, которые тоже сознаются им прежде

всего как обозначающие предмет со стороны его *функции*» [3, с. 57, о том же 1, с. 389].

В освещении проблем онтогенеза мы видим выявление свойств *сложных саморегулирующихся* систем: развивающийся характер устойчивой системы «человек», стремящейся в каждом моменте меняющихся условий к самосогласованию и потому переживающей катастрофы развития — по А. Н. Леонтьеву — *скачки*.

Эти последние он отличает от «кризисов — кризисов трех, семи лет, кризиса подросткового возраста, кризиса юности — всегда связанных со сменой стадий... В действительности кризисы отнюдь не являются неизбежными спутниками психического развития. Неизбежны не кризисы, а переломы, качественные сдвиги в развитии (то, что здесь называется катастрофами, — см. Введение. — В. Р.). Наоборот, кризис — это свидетельство не совершившегося своевременно перелома, сдвига» [1, с. 509].

Литература

1. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М., 1972.
2. Леонтьев А. Н. Речь / Психология. — М., 1948. — Гл. IX.
3. Леонтьев А. Н. Развитие психики / Психология. — М., 1948. — Гл. П. — С. 17-68.
4. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2 т. - М., 1963. - Т. II. - С. 349-350.

А.Н.ЛЕОНТЬЕВ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ

(Извлечения)

8. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Уже первоначальные, описанные выше процессы усвоения ребенком специфически человеческих действий отчетливо обнаруживают свою главную особенность — то, что они происходят в общении. Но на самых первых ранних ступенях развития общение имеет форму практического общения, что ограничивает его возможности и его функцию. Эта его ограниченность обусловлена тем, что исторически сформировавшееся содержание человеческого опыта является обобщенным и закрепленным в словесной форме; поэтому овладение им требует его передачи и усвоения в системе словесных значений и, следовательно, предполагает участие речевых, второсигналь-

ных механизмов. Их формирование у ребенка и составляет необходимую предпосылку обучения в тесном смысле, т. е. такого процесса, который имеет в качестве своего продукта усвоение общественно накопленных знаний в форме сознательного их отражения.

На первых этапах овладения речью слово является для ребенка лишь сигналом, направляющим его ориентировочную деятельность по отношению к чувственно воспринимаемым им объектам так, что в результате происходит их сближение, приравнивание друг к другу в определенном отношении и одновременно отличие их от других, внешне сходных с ними объектов. Иначе говоря, происходит их обобщение и анализ, но уже на новом уровне — в их преломлении через опыт общественной практики, который закреплен в значении соответствующего слова.

На более высоких стадиях речевого развития, когда у ребенка возникает способность понимать и пользоваться *связной* речью, процессы обучения не только приобретают более развернутую форму, но происходит усложнение и как бы «повышение» их функции. Овладение знаниями становится процессом, который вместе с тем приводит к формированию у ребенка внутренних познавательных действий — действий и операций умственных. А это в свою очередь служит предпосылкой для овладения понятиями в их связях, в их движении.

Исследование этого чрезвычайно сложного процесса позволяет обнаружить его специфический механизм — механизм *интериоризации* внешних действий.

...Явление интериоризации описывалось очень многими психологами. Его принципиальное значение в развитии особенно подчеркивалось А. С. Выготским; ...среди зарубежных работ следует выделить многочисленные исследования Пиаже и его сотрудников.

Не излагая сейчас содержания этих исследований и не касаясь тех различий, которые существуют в теоретическом понимании процесса интериоризации, я остановлюсь только на вопросе о его необходимости.

Интериоризация действий, т. е. постепенное преобразование внешних действий в действия внутренние, умственные, есть процесс, который необходимо совершается в онтогенетическом развитии человека. Его необходимость определяется тем, что центральным содержанием развития ребенка является присвоение им достижений исторического развития человечества, в том числе достижений человеческой мысли, человеческого познания. Эти достижения выступают перед ним в форме внешних явлений — предметов, словесных понятий, знаний. Воздействие их вызывает у ребенка те или иные реакции, и у него возникает отражение этих явлений; однако первичные реакции ребенка на воздействие этих явлений отвечают лишь непосредственно вещественной стороне их, а не их специфическим качествам; соответственно и их отражение в голове ребенка остается пер-

восигнальным, не преломленным в значении, т. е. не преломленным через призму обобщенного опыта общественной практики. Чтобы эти явления были отражены ребенком в их специфическом качестве, в их значении, он должен осуществить по отношению к ним деятельность, адекватную той человеческой деятельности, которая в них «опредмечена», воплощена. По отношению к явлениям духовным, например по отношению к тому или иному понятию, с которым впервые встречается ребенок, он должен осуществить соответствующую умственную, мыслительную деятельность. Как же первоначально складывается у него эта форма деятельности?

Отбросим прежде всего как очевидно несостоятельное, то наивное, свойственное старой идеалистической психологии убеждение, что ребенок по самой природе своей обладает способностью к внутренним мыслительным процессам и что воздействующие на него явления лишь вызывают их к жизни и обогащают их все более и более сложным содержанием, что к этому сводится их развитие.

Другое возможное решение вопроса о развитии внутренней мыслительной деятельности ребенка правильно исходит из того, что она не является прирожденной. Вместе с тем допускается, что мыслительные, логические процессы формируются у ребенка в качестве продукта его личного, индивидуального опыта, т. е. принципиально так же, как формируются у животных, скажем, процессы отпирания проблемных ящиков или прохождения по кратчайшему пути сложных лабиринтов. Отличие состоит здесь лишь в том, что у ребенка его мыслительные процессы формируются в связи с воздействием на него явлений общественно-исторических по своей природе, в том числе явлений языковых по форме. В процессе обучения ребенок ставится перед этими явлениями, которые систематически подбираются и представляются в надлежащих связях; в результате в силу повторения и подкрепления этих связей у него постепенно формируются такие ассоциации и объединения их в сложные, перекрещивающиеся цепи, актуализация которых и представляет собой не что иное, как протекание соответствующего мыслительного процесса.

Это представление о ходе развития мышления ребенка, импонирующее своей простотой, наталкивается, однако, на серьезные затруднения. Оно вступает в противоречие с реальным темпом овладения ребенком умственными действиями. Ведь формирование мыслительных процессов путем постепенного накапливания связей, возникающих под влиянием воздействия учебного материала, по самой природе своей может быть только очень медленным, опирающимся на огромный количественный материал. В действительности же он идет очень быстро и на относительно ограниченном материале, во много раз более узком, чем минимально необходимый для самостоятельного образования у ребенка соответствующих связей, их дифференцирования и обобщения. Достаточно указать, например, на... факт, что даже дошкольник может практически «с места» и бук-

важно на единичных образцах научиться правильно анализировать и обобщать геометрические фигуры, если активно построить у него процесс ориентировки в их формах посредством признаков, которые экспериментатор как бы дает ребенку прямо в руки.

Гораздо более важное, принципиальное затруднение, на которое наталкивается рассматриваемое представление о развитии мыслительных процессов, состоит в том, что сам по себе процесс актуализации ассоциаций отнюдь не тождествен процессу умственной деятельности, а является лишь одним из условий и механизмов ее реализации. Это легко увидеть на самых простых, хорошо известных фактах. Нет, например, ничего проще, чем образовать у ребенка прочные ассоциативные связи типа $2 + 3 = 5$; $3 + 4 = 7$; $4 + 5 = 9$ и т. д. Но, несмотря на то, что эти связи могут легко у него актуализоваться, *складывать* соответствующие величины он все же может не уметь независимо от того, ассоциированы ли у ребенка элементы этих связей с соответствующими наглядными дискретными количествами. Арифметическое действие сложения создается не этими связями, оно *предшествует* их образованию. Поэтому-то обучение счету и не начинается никогда с разучивания таблицы сложения. До того как дать ребенку таблицу, его обязательно прежде учат выполнять само действие сложения с реальными предметами и затем постепенно преобразуют у ребенка это действие, доводя его до той краткой, редуцированной формы, в которой оно и зафиксировано в арифметических выражениях типа $2 + 3 = 5$ и т. д. Только в результате этого ребенок и приобретает возможность пользоваться при счете таблицей сложения, т. е. ассоциации указанного выше типа становятся обслуживающими у него процесс сложения «в уме».

Практическая и теоретическая несостоятельность наивно-ассоцианистических концепций обучения является результатом того, что упускают главное звено и главное условие процессов усвоения: формирование тех действий, которые образуют его действительную основу и которые всегда должны активно строиться у ребенка окружающими, так как самостоятельно ребенок выработать их не может.

Мы уже видели это по отношению к простейшим внешним предметным действиям. Вначале они *всегда* осуществляются ребенком либо при непосредственной помощи взрослого... либо в других случаях они осуществляются по показу взрослого, т. е. как «действия по образцу»; либо, наконец, — по указанию, по словесной инструкции. Потом по мере своего повторения они отрабатываются у ребенка и приобретают свойство приспосабливаться к широкому изменению конкретных условий. Этот дальнейший процесс их приспособления происходит уже по общим механизмам формирования индивидуального опыта, но только теперь эти механизмы обеспечивают приспособление к изменчивости конкретных условий исторически выработанных действий, усвоенных ребенком, а не видового наследственного поведения, как это имеет место у животных.

В случае когда речь идет о формировании внутренних умственных действий — • действий, соответствующих идеальным явлениям, — этот процесс является более сложным. Как и воздействие самих человеческих предметов, воздействие понятий, знаний само по себе не способно вызвать у ребенка соответствующих адекватных действий: ведь он еще только должен ими овладеть. Для этого они тоже должны быть активно построены у него другим человеком, но в отличие от внешнего действия внутреннее действие *непосредственно* не может быть построено извне. Строя внешнее действие, его можно показать ребенку, можно наконец механически вмешаться в его исполнение, например задержать руку ребенка в требуемом положении, поправить траекторию ее движения и т. д. Другое дело — действие внутреннее, действие «в уме». Его нельзя ни показать, ни увидеть; в процесс его выполнения ребенком нельзя непосредственно вмешаться. Поэтому для того, чтобы построить у ребенка новое умственное действие, например то же действие сложения, его нужно предварительно дать ребенку как действие внешнее, т. е. *экстериоризовать* его. В этой экстериоризованной форме, в форме развернутого внешнего действия, оно первоначально и формируется. Лишь затем, в результате процесса постепенного его преобразования — обобщения, специфического сокращения его звеньев и изменения уровня, на котором оно выполняется, происходит его интериоризация, т. е. превращение его во внутреннее действие, теперь уже полностью протекающее в уме ребенка.

Таким образом, овладение мыслительными действиями, лежащими в основе присвоения, «наследования» индивидом выработанных человечеством знаний, понятий, необходимо требует перехода субъекта от развернутых вовне действий к действиям в вербальном плане и, наконец, постепенный интериоризации последних, в результате чего они приобретают характер свернутых умственных операций, умственных актов.

Конечно, не всегда этот процесс должен проходить через все ступени и охватывать все звенья вновь усваиваемого умственного действия. Само собой разумеется, что прежде сформировавшиеся умственные операции выступают при овладении новым действием в качестве уже готовых мыслительных способностей, которые просто «пускаются в ход». Это обстоятельство, кстати сказать, и создает иногда иллюзию, что интериоризация внешних действий представляет собой лишь совершенно частный случай, наблюдающийся главным образом на ранних этапах умственного развития.

В действительности же это процесс, *необходимо* осуществляющийся в онтогенетическом развитии человека. Он имеет принципиальное, ключевое значение для понимания формирования человеческой психики, так как ее главная особенность... в том, что она развивается не в порядке проявления врожденных способностей, не в порядке приспособления наследственного видового поведения к из-

менчивым элементам среды, а представляет собой продукт передачи и присвоения индивидами достижений общественно-исторического развития, опыта предшествующих поколений людей. В дальнейшем всякое творческое продвижение мысли, которое человек делает самостоятельно, возможно лишь на основе овладения этим опытом.

Поэтому теория умственного развития, как и психология обучения, не может игнорировать глубокое своеобразие этого процесса и ограничиваться лишь представлениями об общих механизмах формирования индивидуального опыта, которые хотя и лежат в его основе, но не могут раскрыть его специфических особенностей.

Печатается по изданию: *Леонтьев А. Н.* Проблемы развития психики. — М., 1972.

Вопросы

1. Что составляет, по выражению А. Н. Леонтьева, «необходимую предпосылку» «усвоения ребенком специфических человеческих действий»?

2. В чем состоит отличие, как пишет А. Н. Леонтьев, функции слова в механизме речевого действия на первых этапах овладения речью от функции слова на более высоких стадиях речевого развития?

3. В результате какого психического процесса, по А. Н. Леонтьеву, изменяется функция слова в механизме речевого действия в онтогенетическом развитии?

4. При каких условиях, по мысли А. Н. Леонтьева, необходимо происходит интериоризация речевого действия?

5. Какое свойство мыслительного действия отражает упомянутый А. Н. Леонтьевым факт, что «арифметическое действие сложения... предшествует» образованию «прочных ассоциативных связей типа $2 + 3 = 5$ »?

6. Какую роль, по А. Н. Леонтьеву, играют в процессе формирования и выполнения речевого действия так называемые действия «в уме», умственные действия?

7. Что значит, по мнению А. Н. Леонтьева, *экстериоризовать* умственные действия? Покажите экстериоризацию внутренней речи на примере передачи опыта овладения языком.



13. Н.И.ЖИНКИН О МЕХАНИЗМАХ РЕЧИ

(О кодовых переходах во внутренней речи
и универсальном предметном коде)

Один из основных путей изучения членения мысли, ее хода и движения состоит в исследовании членения речи, именно речи, так как в языке содержатся лишь нормативные правила, по которым строится речевое общение.

Н. И. Жинкин

Николай Иванович Жинкин (1893—1979) — отечественный психолог, представитель Московской психолингвистической школы, получивший мировое признание; доктор педагогических наук; преподаватель ВГИК (1929—1947), МГУ (1932); действительный член Государственной Академии художественных наук (1923), председатель психологической секции Научного совета по кибернетике Академии наук. «Автор интереснейших работ по эстетике и теории живописи, один из основоположников отечественной учебной и научно-популярной кинематографии, первопроходец в изучении кино как искусства и процессов восприятия кинокартины, исследователь коммуникации животных и общих проблем семиотики, крупнейший авторитет в области детской речи и методики обучения языкам — все это один и тот же человек, Николай Иванович Жинкин» [1, с. 5]. Он работал над проблемами соотношения речи, языка и мышления, речевой деятельности и зарождения речевой реакции у ребенка. Среди его многочисленных трудов выделяются имеющие первостепенную значимость работы: «Механизмы

речи» (1958) [2], «О кодовых переходах во внутренней речи» (1964) [1, с. 146—162], «Речь как проводник информации»¹ (1982) [3].

* * *

Н.И.Жинкин, имея широкую философскую и лингвистическую подготовку, опираясь на «содружество разных путей и смежных дисциплин» [1, с. 53], рассматривал речь в диалектическом соотношении и взаимодействии с языком и мышлением. Для него было «несомненно, что в особенностях речевого процесса содержится громадная информация для построения теории языка» [1, с. 53]. Под языком он понимал «совокупность средств, необходимых для того, чтобы **перерабатывать и передавать** информацию» [1, с. 12], так как «**язык** связал **интеллект** с восприятием», а «смысловой аспект восприятия особенно бросается в глаза при приеме **речи**» (везде выделено мною. — Н. С.) [1, с. 77]. Н. И.Жинкин подчеркивает, что «у человека интеллект и язык усиливают друг друга. Это комплементарные звенья одного механизма. Без интеллекта нет языка, но и без языка нет интеллекта» [1, с. 78]. Язык как самостоятельная система, обладающая собственной структурой, является средством реализации речевого процесса. Язык и речь тесно связаны, речь — это сфера функционирования языка, без языка нет речи. Поэтому фонетика, морфология, синтаксис, семантика должны рассматриваться как целостное образование, функционирующее в неразрывном единстве и взаимодействии. «Язык и речь выполняют функции оптимизации деятельности и всего поведения человека... Организм реализует генетическую информацию, а язык — историческую. Организм не может забыть того, что сложилось в эволюции, а человеческий язык ищет информацию для своего усовершенствования... Человек ищет новых лучших ситуаций» [3, с. 153].

Язык реализуется через речь, которая рассматривалась им как **действие**, совершаемое одним из партнеров с целью передачи мысли и смыслового воздействия по отношению к другому партнеру — через механизм *порождения и понимания сообщений*: кодирования и декодирования информации. Потребности коммуникации выработали специальные механизмы кодирования (фиксирования сообщений), декодирования (понимания сообщений) и перекодирования (переработки сообщений на язык внутренней речи и предметных отношений). Н.И.Жинкин выделяет взаимодействующие коды: **дискретный** (буквенный), **непрерывный** (звуковой) и **смешанный** (во внутренней речи). Эти коды сложились в единую систему: язык — звуковая речь — внутренняя речь — интеллект — со свойственными каждому коду функциями. «Непре-

¹ Первоначально рукопись называлась «Речь как проводник информации, оптимизирующей работу интеллекта» [3, с. 11].

рывный звуковой код является каналом непосредственной связи между партнерами по коммуникации. Дискретный, буквенный код позволяет расширить коммуникацию в пространстве и во времени. Смешанный код внутренней речи является посредником между первым и вторым кодом, а также между национальными языками. Кроме того... универсальный предметный код, который входит в состав внутренней речи и является смешанным... дает основания для перехода разных ступеней от непрерывности к дискретности» [3, с. 26]. В процессе обработки речи, при кодировании и декодировании, происходит строго регулированная нервная перестройка: при декодировании в направлении от непрерывного кода к дискретному, а при кодировании от дискретного кода к непрерывному. «Предметный код — это стык речи и интеллекта. Здесь совершается перевод мысли на язык человека. Это значит, что национальные языки имеют общую генетическую структуру и различаются между собой только некоторыми способами интеграции того же предметного кода...» [3, с. 54].

Исследования переходов с одного кода на другой вывели Н.И.Жинкина на «последний, фундаментальный код — текстовый (денотатный). Этот код является усилителем устойчивого равновесия речевой динамики» [3, с. 110—111].

«Речевая динамика, как и сама речь, безгранична. Она **интегрируется** в разнообразных конфигурациях разноуровневых отношений, образуя, так сказать, семантическое пространство» [3, с. 36]. Иерархическая интеграция уровней речи происходит по правилам языка: а) на приеме слова определяется константная последовательность фонем, где фонемы выполняют не только различительную, но и «знаковую функцию регламентирования знакового состава слов, так как этот состав константен и становится нулевой линией отсчета для всей знаковой системы речи» [3, с. 41]; б) иерархия морфов (главных и служебных, различающихся по функциональной значимости) «облегчает узнавание малых словоформ» [3, с. 41]; в) способ *соединения слов* приводит к образованию информации о действительности, к образованию предметного **значения**. Освоение грамматики помогает понять содержание речи. «Грамматика — это трамплин, от которого следует оттолкнуться, чтобы попасть в сферу мысли» [3, с. 45].

Н. И. Жинкин приходит к выводу о том, что «механизм человеческого мышления реализуется в двух противостоящих динамических звеньях: предметно-изобразительном коде (внутренняя речь) и речедвигательном коде (экспрессивная речь). В первом звене мысль задается, во втором она передается и снова задается для первого звена» [1, с. 159]. Он раскрывает открытый характер системы речевого действия: «Бесконечность отражаемого мышлением мира обеспечивает безграничные возможности возрождающегося во внутренней речи натурального языка» [1, с. 160]. Откры-

тость системы речевого действия представляет ее сущностную характеристику: «Мысли вырабатываются в совместной деятельности людей. Понимание — это перевод с натурального языка на внутренний. Обратный перевод — высказывание» [1, с. 161]. Универсальный предметный код, по Н. И. Жинкину, передается в процессе коммуникации, так что «практическое усвоение языка как речевого навыка... происходит по типу **самонаучения**» [3, с. 55].

Получивший мировое признание труд «Механизмы речи» [2] включил в себя обширный фактический материал по психологии и психофизиологии речи, широкие обобщения закономерностей речевой деятельности и теорию механизмов этой деятельности, заложил основы исследования смысловой стороны речи.

В связи с переводом книги на английский язык сам Н. И. Жинкин дает в «Предисловии» к переводу оценку проделанной работе: «Кульминационная мысль книги и ее фактический результат могут быть сформулированы в очень простом и сжатом высказывании: следует различать артикуляцию и слогаобразование, или: существуют два устройства — одно из них производит единицы дискретного ряда, образующие членораздельные структуры, другое — выделяет слоги — единицы непрерывности... Нормальный механизм состоит в том, чтобы совместить дискретность и непрерывность» [1, с. 80 — 81].

Опираясь на эксперимент, Н. И. Жинкин формулирует концепцию глоточного образования слова как произносительной единицы и выделяет три системы, обеспечивающие акустический эффект произносимой речи (генераторную, резонаторную и энергетическую — дыхательную). Сущность механизмов речи он видит в аналитико-синтетической работе мозга, состоящей в необходимых процессах кодирования и декодирования: «наличие двойного анализа и синтеза выделяет **речевой процесс** среди других видов человеческой деятельности» [2, с. 125]. Глубина подхода Н. И. Жинкина к речевой деятельности человека определяется тем, что он принимает во внимание динамику исследуемого объекта. «Эта аналитико-синтетическая работа должна быть произведена так, чтобы любой другой, владеющий системой данного языка, через слова и их связь восстановил тот первоначальный образ и то понимание реального явления, которое было у говорящего или пишущего» [1, с. 185]. Для того чтобы оба эти звена (анализа/синтеза говорящего и слушающего) находились в соответствии, необходимо удерживать сказанное и упреждать последующее.

Момент прогностического упреждения, предвосхищения в процессе порождения речи Н. И. Жинкин подчеркивает постоянно: «Механизм произнесения речи подчиняется закону упреждающего синтеза — текущее, реализуемое речевое звено адаптируется к структуре звена, подготовленного к реализации. Границы оперативной памяти функционально определяются не только удержи-

нием уже произнесенных элементов для согласования с ними элементов последующих, но и адаптации этих уже произносимых с задуманными. По-видимому, именно этот участок времени в оперативной памяти, соединяющий прошедшее и будущее, люди и называют "настоящим"» [1, с. 81].

Работая над проблемой порождения речи, Н.И.Жинкин выдвинул важную идею об отборе элементов текста и ограничениях, накладываемых при этом интеллектом, как об универсальном процессе. Отбор элементов проводится говорящим через всю систему механизмов речи: *от речевого звука до мысли*.

Слова, по Н.И.Жинкину, хранятся в памяти не в их полной форме, а в виде структурных элементов: «решетки фонем» и «решетки морфем», с которых во время отбора при построении сообщения «снимается» нужная форма [1, с. 136—137].

Под действием систем произвольного и непроизвольного управления происходит составление слов из звуков — это первый уровень отбора; составление сообщения из слов с использованием правил семантической сочетаемости — это второй уровень отбора: «...звуки речи в первой ступени непроизвольного управления распределяются по градациям звуковой мощности, вследствие чего они могут квантоваться в слогах каждый по своей шкале. Во второй ступени звуки речи, входя в слог как элемент слова, квантуются по слоговой силе и образуют устойчивый нормативный стереотип, или узнаваемый образ слова. В третьей, наивысшей ступени, речевые звуки квантуются в системе фразы, приобретая при этом новые значения в зависимости от ситуации» [2, с. 131]. Связь значений конкретных слов предполагает понимание темы, т.е. гипотезу о развитии смысла, представление о будущем тексте и т.д. — до бесконечности.

Слово влияет и на отбор синтаксических конструкций, в которых раскрывается соотношение значения и смысла. Да и сами слова можно понять только в тексте. При порождении текста важное место принадлежит замыслу, прогнозирующему начало и конец будущего текста, иерархию не только предикатов, но и тем и подтем: «текст расчленяется на иерархическую сеть тем, подтем, субподтем и микротем» [3, с. 168]. Эти интеллектуальные образования и есть основные средствами ограничения при отборе элементов текста, так как очерчивают предметно-тематическую область сообщения и область поиска необходимых языковых средств.

Отбор средств также определяется ориентацией на реального или предполагаемого партнера по коммуникации. Ориентируясь на наличие у партнера комплекса необходимых знаний о предмете речи, автор текста может допускать (и обычно допускает) «смысловые скважины», понимание которых возможно только при актуализации необходимых, общих для партнеров коммуникации, знаний о реальной действительности.

Введенное Н. И. Жинкиным понятие *интеграции* как универсального закона, имеющего место при восприятии и порождении речевых образований любого уровня (фонематическая интеграция, лексическая интеграция, интеграция языковых единиц на уровне текста), не может не учитываться в психолингвистических исследованиях, при изучении детской речи, практической работе с ребенком и в условиях нарушения речевой деятельности.

* * *

Н. И. Жинкин как психолингвист в центре своих исследований ставил вопросы, связанные с порождением, восприятием и пониманием речи. В известной работе «Речь как проводник информации» проблемы соотношения языка-речи-интеллекта решаются с выходом на говорящего. А это означает выход на коммуникативные и психологические условия общения. Выявляя природу внешних и внутренних составляющих феномена языка-речи-интеллекта, Н. И. Жинкин развивает свою концепцию об **универсальном предметном коде**, отражающую «устройство» и механизм его действия. Этот код имеет двойную природу. С одной стороны, он представляет собой знаковую систему обозначений (фонемы, морфемы, словоформы, предложения, текст), с другой стороны — это система «материальных сигналов, в которых реализуется язык». Первая сторона кода охватывает все уровни языковой системы и показывает, каким образом каждая составляющая отдельного уровня работает на кодирование и декодирование информации.

Первостепенное значение здесь отводится фонеме, которая, выступая в качестве основного связующего материала, обладает «предикативностью», т. е. способностью выполнять знаковую функцию: «...бинарное противопоставление фонем является семантической операцией» [3, с. 27]. Важно при этом, что «...собственно фонема существует в языке, а ее реализация в речи обнаруживается в трех видах кода — непрерывном, дискретном и смешанном» [3, с. 28]. Под непрерывным, первичным, кодом подразумевается звуковой код как последовательность знаков, реализующихся на уровне слога и являющихся «каналом непосредственной связи между партнерами по коммуникации» [3, с. 26]. Под дискретным, вторичным, кодом понимается буквенный код, позволяющий «расширить коммуникацию в пространстве и времени» [3, с. 26]. Посредником между непрерывным и дискретным кодом выступает *смешанный код*, т. е. *универсальный предметный код*. Фонемы, интегрируясь, участвуют в создании словоформ и в соединении слов, которые могут вступать в знаковые отношения, что, в свою очередь, ведет к приобретению ими семантической значимости, т. е. способности отражать «предметные отношения». Таким образом, отдельная словоформа не может обладать семантикой, пока эта словоформа не станет «участницей» процесса рас-

кодирования информации. Тогда в работу вступает «грамматическое пространство» (словоизменительные аффиксы, служебные слова, глагол-связка «*быть*»), в котором определенный набор словоформ одного слова обуславливает функционирование словоформы другого слова. В результате образуется распределение информации в виде «сетки», выявляющей механизм восприятия речи. Действие данного механизма, по Н.И.Жинкину, связано с работой универсального предметного кода: «...в работе этого динамического механизма в любом человеческом языке происходит семиотическое преобразование сенсорных сигналов в предметную структуру, т.е. денотативное отражение действительности. Формальное единство этого механизма обеспечивает потенциальную возможность взаимопонимания партнеров и свидетельствует о наследственных особенностях человеческого мозга» [3, с. 16]. Универсальный предметный код постепенно приобретает человеком (в онтогенезе и филогенезе). Как универсальный, он объединяет людей разных социальных групп и национальностей, обеспечивая взаимопонимание, как предметный — отражает мир людей (предмет речи, мотивы, цели обсуждения предмета речи), выступая главным средством перевода мысли на язык людей.

Таким образом, универсальный предметный код отражает внешние составляющие коммуникативных и психологических условий общения (содержание, мотивы, цели общения и т.д.). Внутренним составляющим общения является, по Н.И.Жинкину, так называемый «субъективный язык» — **внутренняя речь** (схемы, представления, отдельные слова и т. п.), при этом универсальный предметный код входит во внутреннюю речь.

Соотношение универсального предметного кода и внутренней речи определяет взаимообусловленность текста и грамматики. Н.И.Жинкин здесь выходит на решение проблемы о смысле сообщения, указав на связь лингвистических значений и их психологической интерпретации в конкретных ситуациях общения: «Современная ЭВМ работает в дискретном коде, т.е. расчленяет целое на определенные заданные части» [3, с. 124] и не может решать творческие задачи. В основном характер речевого образования оценивается Н.И.Жинкиным как творческий: «...человеческий язык универсален, он проводит информацию как о действительности, так и о себе. Это значит, что в результате правильной коммуникации можно перестраивать действительность» [3, с. 128].

Литература

1. *Жинкин Н.И.* Язык — речь — творчество. — М., 1998.
2. *Жинкин Н.И.* Механизмы речи. — М., 1958.
3. *Жинкин Н. И.* Речь как проводник информации. — М., 1982.

РЕЧЬ КАК ПРОВОДНИК ИНФОРМАЦИИ

(Извлечения)

1. ФОНЕМА В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ

Звуки речи воспринимаются человеком в непрерывном — ико-
ническом коде. Это значит, что сенсорный, звуковой состав речево-
го потока все время меняется и именно в результате этого все время
накапливается информация, передаваемая партнеру. Никакое изме-
нение нельзя заметить, если нет чего-то такого, что остается посто-
янным или изменяющимся в другом порядке времени. Так как в речи
звуковой поток действительно непрерывен, фонема не может быть
достаточно точно выделена из этой сплошности. Иначе говоря, она
не может быть услышана как особая, отдельная. И все же повсе-
дневный опыт свидетельствует о том, что звуки различимы в соста-
ве слов. Без этого вообще нельзя было бы ничего понять в речи.
Скоро пришли к выводу о том, что всякая вещь, в том числе и фоне-
ма, распознается по п р и з н а к а м . <...>

На более подробный вопрос о том, что же именно должен по за-
конам устройства слуха и по правилам обработки информации услы-
шать человек при восприятии хотя бы двух звуков, наиболее точный
ответ нам даст ребенок примерно двухлетнего возраста. <...>

На основании элементарных наблюдений за фонацией ребенка в
определенный период усвоения языка можно без всяких инструмен-
тов установить, что ребенок слышит, именно слышит дифференци-
альный признак фонемы. Взрослый, конечно, тоже слышит эти при-
знаки, но не может дать себе отчет в этом. Взрослый слышит всю
фонему, как компонент слога и слова, тогда как ребенок не понимает
ни слов, ни их сочетаний, но он произносит слоги и иногда реагирует
на произносимые слова. На основании всего этого можно безуслов-
но утверждать, что ребенок слышит дифференциальный признак
фонемы как инвариант. Обычно инвариант находится на основе об-
работки вариантов в опыте восприятия. В разбираемом случае у ре-
бенка вначале нет никакого опыта и никаких вариантов. На основе
самонаучения он сам создает себе опыт для сближения разных воз-
никающих вариантов. Сложившийся инвариант, приспособившийся
к остальным компонентам фонемы, является результатом обработки
информации при формировании языкового знака, еще не получив-
шего значения. Это явление следует рассматривать как универса-
лию человеческого языка. У детей, родители которых говорят на раз-
ных языках, происходят те же явления. В результате образуется язык,
переводимый на другие языки.

Таким образом, тривиальные, общеизвестные факты приводят к выводу о том, что дифференциальные признаки фонем являются психологической реальностью и что они, как это утверждается в фонологии, образуют некоторое множество дискретных компонентов, которые при восприятии и произнесении сливаются в непрерывный звуковой поток, впадающий в фонему. Наличие дискретности связано с тем, что при обработке непрерывной информации она должна расчлениваться на составляющие, которые на выходе ответного звука снова будут сливаться в непрерывный инвариант. Поэтому следует говорить не об одном дифференциальном признаке, а об их наборе. Больше того, фонема не может быть реально выделена из слога, но когда она обработана и заменена буквой, она будет сливаться с другими фонемами в зависимости от ее места в слоге и слове. Все это свидетельствует о том, что при обсуждении проблемы фонем и их дифференциальных признаков необходимо учитывать не только их слышимость, видимость и двигательную ощутимость, но и сам процесс кодирования и перекодирования, который происходит при переходе сигнала от периферии нервной системы к центру и, возможно, во время этих переходов по-разному перекодировается. Все это помогает понять сложный иерархический процесс преобразования сенсорных сигналов (знаков) в знаки, несущие семантическую информацию.

Однако эти осложнения не могут отменить результатов, достигнутых на начальных ступенях преобразования сигналов. С этой точки зрения представляет интерес преобразование звукового процесса в видимый код так, чтобы его снова преобразовать в слуховой. Это представляет большой практический интерес при обучении глухих детей устной речи. <... >

Глухой человек не слышит слов, подлежащих произнесению, но у него есть видимый код для зрительной расшифровки произнесенного и усвоения действий произнесения — через динамику губ. Вступление в работу части артикуляторного аппарата вследствие системности вызывает включение других частей того же аппарата, которые могут корректироваться со стороны учителя. Таким окольным путем слышимая фонема, преобразованная в видимую, дополняется видимой артикуляцией губ и соответственно всего проговаривания звука.

В связи с только что изложенным можно сделать некоторые добавления к тому, что было раньше сказано о видах речевого кода. Непрерывный звуковой код является каналом непосредственной связи между партнерами по коммуникации. Дискретный, буквенный код позволяет расширить коммуникацию в пространстве и во времени. Смешанный код внутренней речи является посредником между первым и вторым кодом, а также между национальными языками. Кроме того, мы обращали внимание на универсальный предметный код, который входит в состав внутренней речи и является смешанным,

что дает основания для перехода разных ступеней от непрерывности к дискретности.

Надо думать, что в процессе обработки речи при кодировании и декодировании происходит строго регулируемая нервная перестройка при декодировании в направлении от непрерывного кода к дискретному, а при кодировании — от дискретного кода к непрерывному. Это видно хотя бы потому, что слово, произнесенное в звуках, в конечной стадии обработки на приеме обозначает то же самое, что и записанное в буквах. Это значит, что звуковая оболочка слова уже сыграла свою роль, и на уровне интеллекта слово будет обрабатываться также как состоящее из букв. Понятно, почему в некоторых случаях машинистка на вопрос, какой она звук слышит в слове *Москва*, после *м*, отвечает: *о*, хотя он звучит как *а*.

Особенности непрерывного и дискретного кодов могут быть показаны на следующем простом примере. Попробуйте произнести слово *стол*, читая не слева направо, а справа налево. Это потребует от вас, конечно, значительно больше времени, чем при обычном чтении. Вы получите сочетание *лоте*. Но это не слово, его нет в словаре русского языка. Кроме того, как бы вы ни тренировались над произношением такого «нового» слова, оно все равно не усвоит информационных свойств речевой единицы, так как не имеет значения. Как отмечалось выше, это только ускоряющее средство на речевом приеме. Все слова всегда произносятся слева направо, поэтому вырабатывается скоростной стереотип произнесения. Но этот способ «словообразования», хотя и вносит значительную оптимизацию в структуру речи, не является специфичным для слова как единицы языка.

Слово как единица языка состоит из всегда определенных фонем и узнается в результате постоянства своего фонемного состава. Это явление в лингвистике выражается в том, что звуки в составе слова являются фонемами и изучаются в специальном разделе науки — фонологии. <...>

...Следует различать фонему и речевой звук. В первом случае имеется в виду та слышимая звуковая оболочка, которая соответствует дискретному компоненту слова и определяется пучком дифференциальных признаков. При этом считается, что если человек различает слова по значению, то он слышит фонемы. Во втором случае имеются в виду всяческие звуковые явления, происходящие в процессе реализации языка в речи, наблюдаемые слухом и регистрируемые специальной акустической аппаратурой.

Из этих определений вытекает, что собственно фонема существует в языке, а ее реализация в речи обнаруживается в трех видах — непрерывном, дискретном и смешанном. <...>

...Фонемы... относятся к области языка и непосредственно как языковое явление не могут быть фиксированы инструментально. Изучение системы фонем данного языка ограничено в специальной дисциплине — фонологии. Но так как фонемы так или иначе влия-

ются в непрерывный слоговый код, то их звуковая перестройка в слогах будет, конечно, в восприятии замечена и будет интерпретирована как признак изменения фонемы в словоформе, т. е. как грамматический факт. Если же в слогах происходит такое слияние звуков, которое не соответствует усвоенным фонемам, оно не замечается в восприятии. <...>

...Слова состоят из фонем как знаков. Обычно считается, что фонемы выполняют только различительную функцию, а не знаковую. Если же признать, что существуют специальные различительные признаки фонем, то сами фонемы будут выполнять знаковую функцию регламентирования знакового состава слов, так как этот состав константен и становится нулевой линией отсчета для всей знаковой системы речи.

Отбор материала для интеграции словоформ происходит чрезвычайно искусно. Здесь соблюдается одновременно экономия и обеспечивается легкость узнавания слов. Если бы в отборе компонентов слова не было системности и соответственно повторимости, для именованного предметов и их отношений потребовалось бы такое число фонемных сочетаний, которое не могло бы усвоиться памятью. Морфы, интегрируемые на фонемах, делятся на два класса — корневые и аффиксальные, а аффиксальные — на префиксальные, суффиксальные, интерфиксальные, постфиксальные и флексийные. Такая система повторяющихся подмножеств облегчает узнавание малых словоформ.

Дистинктивный признак является средством для интеграции фонемы, а фонема — средством для интеграции суффикса, имеющего уже смысловую направленность. Однако дистинктивный признак сам по себе не имеет никакого значения. Это речевой материал, образующийся в определенных условиях генерации звука. Как было замечено выше, у фонемы много разных признаков, и тот признак, по которому может быть узнана фонема, должен быть выделен из множества других (признаки голосов, состояний говорящего и т.д.). Механизм такого выделения должен содержаться в языковой системе до того, как вступит в силу коммуникация в процессе речи, так как иначе фонема не сможет войти в интегративную целостность слова. Все это свидетельствует о том, что язык и речь есть чисто человеческое свойство, находящееся в процессе становления, развития и продолжающее совершенствоваться.

Фонематическое интегрирование порождает слова как значимые средства. Одно слово ровно ничего не значит, и их накопление, расположенное в строчку, не будет содержать информации, так как не образует интегративной системы. Такой системой является способ соединения слов. Первой фазой семантической интеграции было создание словоформ, второй фазой — способ соединения слов. Но прежде чем перейти к рассмотрению второй фазы, целесообразно выяснить, каким образом сочетание знаков внутри или вне

слова приводит к образованию предметного значения, пусть расплывчатого (диффузного), но все-таки явно содержащего какую-то информацию о действительности.

Суффиксы не только характеризуют форму слова, значительно облегчая его узнавание, но и указывают на определенные предметные отношения: *в пальчик, садик*. Суффикс *-ик-* фиксирует наше внимание на величине предмета речи. Этот же суффикс может применяться и как ласкательный, чему помогает интонация и жестикация. В аспекте разбираемых здесь проблем интересно обратить внимание на то, что уменьшительные и ласкательные суффиксы могут применять и одомашненные животные, в частности птицы. Тот материал, который будет сейчас кратко изложен, сообщен З. П. Березенской — сотрудницей одной из газет. У нее имелся волнистый попугай. Ему было 40 дней, когда его приобрела З. П. Через два месяца после обучающей коммуникации он стал говорить самостоятельно. Надо заметить, что волнистые попугаи довольно скоро научаются произносить звуки, подобные слоговым артикулемам человеческого языка, с достаточной степенью разборчивости. Его называли Петя. Потом обращались к нему — Петруша, Петро, Петечка, Петюша. Самое существенное, что мы хотим отметить в этих наблюдениях, состоит в том, что вскоре при обучении он стал сам сочинять себе имена — Петелька, Петюлюсенький, Петровичка, Петичкатка, Люблю, Люблюсенький, Петилюсенький, Попозойчик (попа — от попугай, Зоя — имя хозяйки). Вот запись одного из опытов. На столе стоит зеркало. З. П. говорит: «Здравствуй, Петечка, иди сюда». Он подходит. В зеркале видит птичку и обстановку в комнате, говорит: «Менявский попугайчик, я меня любит. Зоя, Зочечка, малочка моя, семита самая сладкая, сладочка, говористочка». Ему сказали: «любимая птичка». Он ответил — любичка, мальченька птиченкий, мальчинский, птиченский. В одной фразе он услышал «да здравствует» и стал перестраивать эти слова то как прилагательное — даздрасский попугайчик, то как существительное — даздраска.

Этот материал показывает, что в словоформе уже содержится творческое начало к переходу на вторую фазу интеграции речевой структуры. Попугайчик стремится микрослова с уменьшительным суффиксом преобразовать в прилагательное, глагол и добавить их к первому слову — споемчик, споем споемчик, Петечка пьеркает, мальченька птиченкий, мальченский птиченский. Возникает потребность одно слово дополнить другим в другой форме. Это источник образования частей речи. Однако приложенные усилия не достигают цели, не получается такого разбиения на суффиксы, которое образовало бы целостное интегрированное слово. Такое слово невозможно без другого, в языке нет одиноких слов. У попугайчика приобрели значение только ласкательные суффиксы и уменьшительные в значении ласкательных. Бросается в глаза увлеченность, с ко-

торой попугай общается со своей хозяйкой. Эмоция — это не то, о чем говорится в речи, а состояние, в котором находится говорящий. Это то, что приводит партнеров к дружественной общительности или, в случае отрицательного отношения партнеров, к вспльчивому антагонизму.

Но так как суффиксы в составе словоформы вступают в знаковые отношения, они начинают приобретать семантическую значимость, т. е. отражать предметные отношения. Но это может произойти только в том случае, когда данная группировка знаков будет реально применима как сигнал, имеющий определенное значение. Обычно признается, что в морфологической структуре слова уже содержится значение. Такое утверждение правильно, если морфемы рассматривать в составе предложения. Тогда после того, как это предложение было хотя бы раз принято в произнесении, можно изъять словоформу и указать назначение того или другого суффикса. Но отдельная словоформа не может быть произвольно переведена на функцию слова.

Это положение подтверждается приведенными выше фактами на опыте с попугайчиком. Он старался переделать суффиксы на манер ласкательных, что соответствовало его состоянию, но не было предметом сообщения. На основании всего этого нельзя считать, что семантика содержится уже в словоформах. Словоформа включается в семантическую структуру, как только она начнет разворачиваться в процессе второй фазы интеграции речевых единиц. Так начинается декодирование.

2. ГРАММАТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

...Основным материалом для стягивания слов в грамматическом пространстве являются флексии, словоизменительные суффиксы и постфиксы, а также формы вспомогательного глагола *быть*. Определенный набор этих компонент предрешает словоформу другого слова, например:

Хожу... я по улице.
Ходит... Вася...
Ходят... Они...
Ходит... Можно
Приходит... Ты...
Ходит/буду... Я

В этом примере показан способ, при помощи которого одно слово сцепляется с другим. В этом и состоит модель двух слов. Каждое слово в этой второй фазе интеграции связывается с другим или несколькими другими и образует такое целое, в котором возникает закономерная динамика словоизменения. Подобно тому как фонемы различаются бинарно по дифференциальным признакам и би-

нарно противопоставляются в словах, так и бинарно различные словоформы в словах бинарно интегрируются в грамматическом пространстве. <...>

...Бинарные словоформы составляют систему. Такой набор форм называют парадигмой, которую нельзя представить как последовательность форм, так как при этом получился бы просто хаотический список фонем. Систему парадигм обычно представляют в сетке как таблицу, в которой указано, какие сочетания форм допустимы при развертывании речи в строчный ряд слов в зависимости от смежных слов. Самый факт сеточной обработки информации, содержащейся в словоформах, свидетельствует о своеобразии второй фазы интеграции речевого процесса. Сеточное распределение информации в грамматическом пространстве имеет фундаментальное значение для выяснения механизма восприятия и понимания речи. <...>

Восприятие и иконическая речевая память

...Человек старается объединить в восприятии даже случайно разбросанные дискретные точки. Издавна человек, рассматривая звездное небо, находил образы Большой Медведицы, Кассиопеи и т. п. То, что выражено в интонации (вопрос, приказ, мольба, просьба и т. п.), может быть преобразовано в зрительный образ путем мимики и пантомимики. Вообще всякая знаковая система при ее реализации нуждается в том или ином виде сенсорики. И тогда возникает иконическое кодирование в виде образов. <...>

Собственно человеческая операция — формирование образа — появится в дальнейшем. Ошибки прежних исследователей восприятия речи заключались в том, что они исходили из предположения о возможности опознавания компонентов знаковой системы непосредственно в самом восприятии, минуя работу долговременной памяти, в которой заложен опыт опознания и автоматическое устройство подачи опознанного материала.

Исследователи говорят о распознавании образов машиной. Но ведь образ — это не предмет распознавания, а способ восприятия. Образ Кассиопеи создан в восприятии и памяти, а на небесном своде имеются лишь дискретные звезды. С детства человек научился опознавать разные вещи и в интеграле признаков, принадлежащих вещам и образующих разные конфигурации, находить образ. Существует специальная образная память. Она формируется, накапливается и будет «врываться» на поле восприятия для встречи объекта, несущего новую информацию. Восприятие — это «форпост» жизненного, познающего опыта человека, хранимого в памяти. Действительность всегда разнообразна и нова. Но для того, чтобы выделить это новое, нужна память на старое, на фоне узнавания которого новое привлекает внимание.

Отличие человека от машины, конечно, очень велико, если их рассматривать как инструменты познания действительности. Но если к этой проблеме подойти в аспекте исследования ступеней учета информации, найдется больше общего, чем первоначально ожидаешь. Для того, чтобы машина составила буквозапись, необходимо решить, что признать буквой. Можно взять кубики, палочки, кружочки и т. п., но лучше всего азбуку Морзе, указав длительность точки, тире и интервала, как отмечено было выше. Как известно, телеграфист, работая по такой азбуке, будет делать про себя (во внутренней речи) перевод точек, тире и интервалов на буквы, слова и словосочетания. Он сразу читает «морзянку» как обычный буквенный текст. Такой перевод — не что иное, как переход с одного кода на другой. Иначе говоря, чтобы перейти к тому коду, который понятен, человек должен усвоить предшествующие, подготовительные коды, доступные ему как организму, как нейрофизиологической единице. Нельзя сразу слушать речь и научиться ее воспринимать и тем более понимать. Все то, что говорилось выше о фазах интеграции речевых единиц, формировании словоформ, о внутренних, суффиксальных связях этих форм, было не чем иным, как формированием предварительной информационной ступени в переходе к коду, способному транспортировать мысль и понимать ее. Это достигается через чисто человеческое образование — образ. У человека, услышавшего или прочитавшего определенное сочетание слов, сейчас же всплывает образ действительности. Это концепт, отражение действительности. Если бы было возможно точно такой же ряд составить только из словоформ, они не вызвали бы образа. Но вот на словоформе возникает лексема, и тогда происходит чудо — слова пропадают и вместо них возникает образ той действительности, которая отображается в содержании этих слов. По этому поводу Потебня сравнил речь с прозрачным стеклом, за которым виден окружающий нас мир. Словоформ конечное число, а лексем — бесконечное. Такое устройство открывает путь для безграничного совершенствования обработки потоков информации, перерабатываемых человеком. Скоростная работа грамматического автомата обеспечивает тождественность в работе системы, а постоянная перестройка лексических встреч, требующих понимания, обеспечивает поиск все новой и новой информации. Лексемы обладают совокупностью значений и образуют область семантики, распространяющуюся в речевом пространстве, куда входят и знаковые сочетания морфем.

Из сказанного можно сделать вывод, что человек понимает сообщаемое ему по мере развития его способности самому создавать сообщение на том же уровне интеграции. Он должен как бы одновременно декодировать и кодировать. Для того, чтобы понять, надо что-то (многое) сделать, но и для того, чтобы это сделать, он должен понять, как сделать. Код, на котором человек кодирует и декодирует, один и тот же. Это универсальный предметный код.

Он (УПК. — *Ред.*) является универсальным потому, что свойствен человеческому мозгу и обладает общностью для разных человеческих языков. Это значит, что возможны предметные (денотатные) переводы с одного человеческого языка на другой несмотря на своеобразие динамических интеграции в каждом из них.

На этом коде работает внутренняя речь, обладающая способностью перейти от внутреннего контроля к внешнему, опираясь не только на звуковые и буквенные сигналы, но и на всю сенсорную палитру через наглядные представления. За словами всегда можно увидеть не только то, о чем говорится, но и то, что замалчивается, и то, что ожидается.

В общей форме универсальный предметный код (УПК) построен так, чтобы управлять речью говорящего и чтобы партнерам было понятно, что именно говорится, о каком предмете (вещи, явлении, событии), зачем и для кого это нужно и какой вывод может быть сделан из сказанного. Предметный код — это стык речи и интеллекта. Здесь совершается перевод мысли на язык человека. Это значит, что национальные языки имеют общую генетическую структуру и различаются между собой только некоторыми способами интеграции того же предметного кода, который имеет общую структуру для обработки не только вербальной информации, но и информации о действительности, поступающей через разные органы чувств. Следует допустить, что в процессе обработки речи участвуют разные поля коры головного мозга.

Универсальный предметный код сложился в опыте поколений. Это значит, что опыт применения этого кода имеется у человека, уже овладевшего языком, и передается ребенку в процессе коммуникации. Нельзя говорить, не овладев этим кодом: так требуют условия жизни человека, существующего в обществе. Но ребенок не умеет подражать взрослому, да и взрослый не знает, как нужно обращаться с ребенком, чтобы он подражал и заговорил. Практическое усвоение языка как речевого навыка, необходимого для коммуникации, происходит по типу *с а м о н а у ч е н и я*. Птица научается летать не потому, что ее учили аэронавтике, а потому, что сама пробует свои крылья для полета. Так же поступает и ребенок, пробуя говорить.

Реакция на звуковые раздражители появляется уже в первые дни после рождения и регистрируется в виде изменения пульса и дыхания. Речь совершенно не привлекает внимание ребенка. Получается впечатление, что он просто ее не слышит. Зато смена зрительных раздражителей замечается. На третьем месяце жизни у ребенка можно выработать условный рефлекс на звук. В том же месяце появляются гуление и лепет. Лепет отличается от других звуков, издаваемых ребенком, таких как бульканье, фырчание, шелкание, которые возникают стихийно и повторяются как особые сочетания. Лепет,

наоборот, самоподражательное, эхολалическое повторение — *ды-ДЫ'ДЫ, та-та-та, ма-ма-ма*. Это первые звуки, которые ребенок начинает отождествлять по обратной связи, вырабатывающейся в это время в УПК. Они произносятся как отдельная серия одинаковых слогов. У человека артикуляционный аппарат устроен так, что слог образуется как бы сам собой, хотя это устройство достаточно сложно. В него входят дыхательные и собственно артикуляционные мышцы. Как птица поет песнь своего вида без выучки, так и ребенок в этом возрасте подражает только самому себе, что доставляет ему, вероятно, большое удовольствие. Слог — это произносительная единица речи.

Речь — это последовательность слогов, образующих иконический код. Ребенок не только произносит слоги, но и может слышать в одном слитном слогом два звука. Но различает ли он звуки? Вот главный вопрос, который необходимо решить для того, чтобы понять, как же строится информационная иерархия речи.

Вначале мы обратим внимание на общую картину стремительного освоения языка, которую можно охарактеризовать следующей статистикой, приводимой Е.А.Аркиным. К годовалому возрасту ребенок усваивает 9 слов, к полутора — 39 слов, к двум годам — 300 и к четырем годам — 2000. Такое быстрое овладение языком можно назвать чудом. К четырем годам ребенок усваивает всю грамматику и говорит в основном правильно. Напомним, что при этом действует не подражание, а настойчивая потребность в речевой коммуникации и пробудившийся интерес к окружающей действительности.

Самое же поразительное состоит в том, что уже в лепете ребенок упражняется на повторении слогов. Повторить слоги *па-ба, па-ба, па-ба* — это значит узнать две фонемы в слогом, отличить слог *па* от слога *ба*, запомнить эти слоги и воспроизвести в дальнейшем. Ребенок в лепете не просто произносит, а играет слогами, повторяя то одни, то другие. Можно подумать, что он забавляется, слушая самого себя и воспроизводя то же самое.

И все же на вопрос о том, слышит ли ребенок два звука в слогом в период лепета, следует ответить отрицательно. Когда попугай, скворец или канарейка произносят по подражанию слова человеческого языка, можно сказать, что у них образовалась обратная слухо-двигательная связь. Этого нельзя сказать про ребенка. Попугай затвердил заученные слова навсегда. Он будет повторять постоянную последовательность звуков в том или другом случае. Ребенок же по-разному меняет последовательность слогов и состав звуков в них. Он забавляется тем, что они различны, но у него еще не образовалось никакой обратной связи. Он явно произносит слоги для себя, а иногда и про себя. Это не коммуникация. <...>

...В лепете происходит слоговая гимнастика, ребенок упражняется в произнесении слогов независимо от их знакового состава, [па] и [п'а] различны не только по мягкости [п], но и по редукции [а],

поэтому различительная функция в лепете не осуществляется. Однако звукодвигательная обратная связь образовалась. Это необходимо отметить особо, так как языковая обратная связь — не просто связь звучания с артикуляционным движением, а идентификация слышимого и произносимого.

Человек, слушая самого себя, контролирует — говорит ли он то, что задумал, и как получается и действует на партнера его высказывание. Языковая обратная связь — не стандартный рефлекс, как бывает при имитации попугаем или скворцом человеческой речи.

У человека обратная связь возникает из самой сущности коммуникации и является источником для формирования универсального предметного кода. Акт коммуникации приводит к взаимному пониманию и идентификации предметных значений. Такая связь должна сформироваться на всех уровнях языковой иерархии. Это обнаруживается в опытах при оставленной обратной связи. Если человек читает текст вслух и одновременно слушает себя через наушники, то при задержке обратной связи на 0,2 — 0,4 сек у него наступает тяжелое состояние.

Он значительно усиливает голос, начинает заикаться, повторяет ранее прочитанные места текста. Зная начало предложения, он, согласно бинарной связи слов, ожидает определенного продолжения, но опять поступает начало того же предложения. У него теряется прогноз на поступление нового предложения и тормозится способность к интеграции элементов языка.

Таким образом, вывод, к которому мы приходим, состоит в том, что ни отдельный знак, ни отдельное значение не могут появиться раздельно. <...>

...Ребенок услышит крик, мелодию напева и движение основного тона в просодии. Это все то, что не требует внутренней интеграции, она уже реализована в структуре раздражителя, поступившего в ухо, а чтобы понять речь, надо интегрировать единицы, содержащиеся в ней. Кроме того, существенно заметить, что звуковысотное движение основного тона в результате дисимметрии в работе коры головного мозга принимается не левым полушарием, а правым. В настоящее время большинство нейрофизиологов приходит к выводу о том, что при приеме и обработке информации в зависимости от сенсорного материала обнаруживается доминантность то правого, то левого полушария коры головного мозга человека. Это, конечно, не исключает того, что субдоминантное полушарие входит определенным образом в общую систему обработки. При обработке речи доминантным остается левое полушарие, но есть все основания думать, что речевая просодическая интонация входит в ведение правого субдоминантного полушария.

Но самое главное состоит в том, что фонема — не знак, а значение. Фонема имеет значение «быть компонентом слова». Это значение, как мы показали в предшествующем изложении, является константным как нулевой уровень отсчета для приема лексем, тот же

уровень является динамическим как показатель словоформ. Фонема должна быть выработана в определенном национальном языке, в другом языке будут другие фонемы. Никакой язык не создается навсегда, он изменяется только в другом времени, чем его компоненты. Язык — это система вещественных составляющих, структура которых может составить механизм. Конечно, фонема имеет грамматическое формальное, а не предметное, лексическое значение. Но без фонемы невозможно построить предметное значение. Можно сказать так: для построения механизма языка фонемы необходимы как знаковые средства, формирующие «мост» между интеллектом субъекта и мыслями, одинаковыми у лиц, вступивших в коммуникацию. Таким «мостом» является универсальный предметный код, потому что в нем осуществляется преобразование непосредственно мыслимого содержания о действительности в знаки речи, и наоборот. Этот перевод мысли в знаки совершается во внутренней речи, без которой внешняя речь не может состояться. Если мне говорят: «Вон бежит собака», — я совершенно не думаю о словах, о глаголах, существительных, местоимениях, я сразу оглядываюсь кругом и смотрю — где же эта собака и что мне делать.

Универсальный предметный код вырабатывается в процессе усвоения языка, на котором я буду говорить. Для этого нужно, чтобы я с самого начала кое-что понял из сказанного мне и ответил так, чтобы поняли немного и меня. Кое-что знать о том, как меня поняли, так же важно, как понять другого. По мере формирования предметного кода внутренняя речь становится механизмом управления интеграцией субъективных единиц языка. Это процесс налаживания уровневой обратной связи. <... >

.. Формирование структуры речи обусловлено произношением и произнесением слов как центральной языковой единицы речи. Оно определяется нормализацией связей в знаковой системе, в результате чего возникает общность процесса семиозиса у партнеров по коммуникации. Это достигается согласованием в работах речевых устройств — слуха и речедвижений, памяти и восприятия, интеллекта и сенсорики, мотива и действия. Речевые знаки по требованию значений, вырабатываемых в процессе коммуникации, перестраиваются в эквивалентные для партнеров формы, в которых должно происходить быстрое узнавание и разборчивая реализация языковых единиц. Интеграция этих единиц образует предметный смысл денотата и тем самым — возможность выразить его содержание в разные слова, в чем и состоит акт понимания. <... >

Следует обратить внимание на некоторые характерные нейрологические особенности, которые происходят в процессе формирования уровней речи. <... >

... На первом, признаковом, уровне фонема, вначале диффузная, становится все более определенной как при узнавании, так и при реп-

родукции. На уровне формирования словоформ задача звукового нервного центра меняется и теперь состоит в том, чтобы найти различие между фонемой и аллофоном с учетом условий окружения. На суффиксальном уровне происходит учет чередования фонем, а на еще более высоких уровнях (синтаксическом), когда применяется конкретное, лексическое слово, управление звуковым составом слов значительно тормозится. Слово узнается независимо от звучания его фонем, так как управляющий центр приобрел память на языковой правариант с константным набором фонем. Слова в однородном составе фонем и букв семантически однозначны. Потеря фонемами звучания (чтение про себя), вероятно, отразится на регистрируемой фигуре нервного импульса.

Однако уход фонем из восприятия в память не приводит к беззвучности произносимой речи. Лексемы в составе предложения приобретут интонацию, которая формируется под управлением не левого, а правого полушария. Это управление будет сосредоточено не столько на речевых формах фонем, сколько на модуляциях основного тона, его интенсивности, длительности пауз и в последовательности слогов. Таким образом, происходит весьма сложное взаимодействие разных корковых областей. Что касается вообще интонации речи, то этот вопрос будет более подробно рассмотрен в дальнейшем, а сейчас следует обратить внимание на согласования в регулировании работы речевой коры в процессе формирования нервного механизма речи.

Главная задача этого регулирования состоит в том, чтобы информационный опыт, накопленный в результате воздействия окружающей действительности, согласовать с той информацией, которая освоена внутренними механизмами. Для речи наиболее существенными являются три группы механизмов — слуховые, зрительные и двигательные (артикуляторные и общедвигательные). На начальных нижних уровнях речи особое значение имеют звуковые и артикуляторные. На верхних уровнях, в особенности при усвоении лексики, возрастает роль зрительных представлений. Слышимая речь может быть представлена в виде наглядных образов, что способствует семиозису.

3. ЯЗЫК, РЕЧЬ И ТЕКСТ

Теперь рассмотрим, как будет идентифицироваться единица наивысшего уровня языка — речи. <... >

...Речь должна быть не только воспринята, но и понята, что достигается обработкой предложений. Новое предложение со своей собственной синтаксической структурой, поступившее в поле восприятия, стирает в непосредственной памяти следы от предшествующего предложения. Обработанный результат поступает в долговременную память.

Но дальше возникает парадоксальное положение — из долговременной памяти нельзя воспроизвести в том же виде те несколько предложений, которые в нее были только что направлены для хранения. Можно путем ряда повторений заучить эти предложения, и тогда память сможет их репродуцировать. Однако в такой операции мало смысла. Если наш партнер воспроизведет буквально принятую последовательность предложений, мы не будем знать, понял ли он сказанное. Механическое воспроизведение речи не является осмысленным. Вот почему неизбежно возникают скважины между предложениями. Воспроизведение случайно набранных предложений возможно лишь после многократных повторений. Это явление давно установлено в психологии.

Но если невозможно буквальное воспроизведение группы только что воспринятых предложений, то вполне удастся воссоздание их по смыслу. В этом, собственно, и заключается сущность коммуникации в процессе речи. Смысл — это особенность конкретной лексемы. При помощи названия выделяется некоторый предмет (под предметом подразумевается все, о чем можно что-то сказать) в его отношении к другому предмету. Это отношение называют лексическим значением. Предполагается, что при усвоении языка усваиваются и лексические значения. Однако узнать, в какой мере они усвоены, нельзя путем репродукции их по отдельности, необходимо применить ансамбль значений для того, чтобы обнаружить то значение, которое применимо в данном случае. Но так как в процессе коммуникации передается новая информация, значение каждой лексемы, входящей в ансамбль, в какой-то мере изменяется. Лексическая полисемия путем отбора слов открывает широкие возможности для включения в ансамбль смысловых сдвигов, которые приближают их значения с некоторым порогом к замыслу говорящего.

.. Лексический запас в памяти каждого человека неодинаков. Есть какая-то общая часть, а незнакомая лексика может быть переведена на эту общую. А если говорить о внутренней речи, на которую всегда переводится принимаемый текст, то лексические различия начинают играть еще большую роль. Вот почему идентификация денотата, необходимая для понимания текста, происходит через перевод на внутреннюю речь, где субъективные сигналы и отметки преобразуются в общую для людей лексику — общую, но не одинаковую. Этому помогает полисемия языка, метафория и языковая общность говорящих, а также, конечно, смысловая уместность применения этих лексических замен в данном виде и отрезке текста.

... Несомненно, что осмысленность высказывания будет только тогда, когда в нем будет содержаться какая-то мысль. Мысль — это результат работы интеллекта. Замечательная особенность языка состоит в том, что его устройство обеспечивает возможность передачи мысли от одного человека к другому. То, что мы говорили об универсальном предметном коде, следует повторить, так как это было

лишь допущение. Оно было необходимо для того, чтобы показать процесс развития и связи уровней языка. Уже на первых шагах саморазвития языка появляются сигналы совершенно диффузного характера — странные знаки без всякого значения — это фонемы и их признаки — словоформы. Дальше эти знаки накапливаются, сочетаются, образуют динамику правилосообразных дифференций, которая контролируется по обратной связи. И вот только теперь, когда иерархия уровней увенчалась предложением, произошли существенные изменения. Становится очевидным, что слово может обладать не только особым значением в данном предложении, но, встречаясь с другим словом в другом предложении, изменить это значение. При этом, хотя говорящему дана большая свобода произвольного отбора слов и автоматическая подача грамматически правильных сочетаний, он должен приложить посильный труд для того, чтобы отобрать слова для подготавливаемого предложения. Представьте себе, что ваш партнер говорит: *Сорви арбуз у основания собачки и положи его на муравьиное колечко*. Это предложение грамматически правильно, составлено из конкретных слов русского языка и имеет два предиката — *сорви* и *положи*. Это правильное предложение не будет санкционировано универсальным предметным кодом для обработки, хотя общая схема предметных отношений указана: надо сорвать арбуз и положить его на определенное место. Но в действительности нет указанных мест, и предлагаемую операцию произвести нельзя.

Смысл возникает не только в лексемах. Он начинает формироваться до языка и речи. Надо видеть вещи, двигаться среди них, слушать, осязать — словом, накапливать в памяти всю сенсорную информацию, которая поступает в анализаторы. Только в этих условиях принимаемая слухом речь с самого начала обрабатывается как знаковая система и интегрируется в акте семиозиса. Уже «язык нянек» вещественно понятен ребенку и принимается УПК.

Образование смысла в речи, надо думать, происходит в особом механизме коммуникации. Коммуникация не состоится, если передаваемая от одного партнера к другому мысль не будет идентифицирована. Говорящий обладает замыслом речи. Он знает, о чем будет говорить, логическое ударение подчеркивает предикат, т. е. то, о чем пойдет речь. Таким образом, есть не только некоторое высказывание, но перспектива развития мысли. Это значит, что указана предметная область высказывания.

Между репликами партнеров всегда должен быть мост — внутренняя речь, в которой лексические значения интегрируются и формируется текстовый смысл. Пусть один из партнеров сказал несколько предложений. На приеме при восприятии другим партнером эти предложения семантически сжимаются в субъективном предметно-наглядном и схематическом коде. Каждое из этих предложений закончено и между ними, как выше говорилось, образовались грамматические скважины. Как же возникает смысл? Разберем это на примере.

1. Черные, живые глаза пристально смотрели с полотна.
2. Казалось, сейчас разомкнутся губы, и с них слетит веселая шутка, уже играющая на открытом и приветливом лице.
3. Кто автор этой замечательной картины?
4. Прикрепленная к позолоченной раме табличка свидетельствовала, что портрет Чингиннато Баруцци написан К. Брюлловым.

В этом тексте между первыми тремя предложениями настолько глубокие скважины, что не так легко связать их по смыслу. И только в четвертом предложении указано все необходимое для того, чтобы связать вместе все четыре предложения. Но и четвертое предложение, отдельно взятое, тоже малопонятно.

Во внутренней речи этот текст сжимается в концепт (представление), содержащий смысловую густоту всего текстового отрезка. Концепт хранится в долговременной памяти и может быть восстановлен в словах, не совпадающих буквально с воспринятыми, но таких, в которых интегрирован тот же смысл, который содержался в лексическом интеграле полученного высказывания.

Теперь можно более точно определить, что такое текстовый смысл. Текстовый смысл — это интеграция лексических значений двух смежных предложений текста. Если интеграция не возникает, берется следующее смежное предложение, и так до того момента, когда возникнет смысловая связь этих предложений.

Вывод о том, что для понимания текста необходима интеграция двух или более смежных предложений, имеет большое значение для выяснения всей иерархической структуры языка — речи. Предложение — это высший уровень иерархии. Единицы всех нижележащих уровней так или иначе верифицируются в предложении, так как именно оно содержит смысл. Абсурдно представить речь, лишенную предложения. <...>

..Смысл — это интеграция конкретных значений, или, иначе говоря, интегративная (смысловая) связь двух речений. Грамматическая связь работает внутри предложения в виде управления, согласования и примыкания словоформ. Смысловая связь работает между предложениями, связывая их по смыслу.

При этом по-разному осуществляется и идентификация языковых единиц. Следует учесть два вида обязательной идентификации — индивидуальную и коммуникативную. Индивидуальная идентификация происходит при узнавании в восприятии единиц нижележащего уровня в уровне вышестоящем, что свидетельствует о том, что память сохранила словоформу и теперь (при узнавании) она воспроизводится. Этот акт осуществляется во внутренней речи. Такое отождествление происходит на всех уровнях языка, кроме уровня предложения и текста.

...Наличие в языке лексического устройства и смысловой зависимости группировки конкретных лексем в предложении от смысла текста, который может быть найден минимально в двух смежных

предложениях, позволяет признать, что отождествление на уровне предложения совершается также во внутренней речи, но не в акте узнавания, а понимания. Это коммуникативное понимание. Партнер на приеме улавливает замысел говорящего и в семантически сжатом виде держит его в памяти с тем, чтобы следить за развитием мысли говорящего. Понимание не означает согласия. Смысловая ценность коммуникации связана с мерой этого согласия.

Язык статичен, а речь динамична, но командует и управляет этой динамикой язык. В языке есть кроме двух указанных выше отделов третий отдел — система управления языком и речью. Управление языком — это самонаучение и самоуправление. Управление речью — это смысловое развертывание и сжатие смысла предложений.

Самонаучение есть не что иное, как формирование языка в естественных условиях речевой коммуникации, вызываемой насущными потребностями ребенка. Самоуправление языка — это языковые операции, сложившиеся навыки как автоматические, динамические стереотипы. Самонаучение может быть организовано и применительно ко взрослым при усвоении иностранного языка, если усовершенствовать специальную методику коммуникации.

Говоря о смысле, мы попадаем в компетенцию интеллекта. Однако интеллект, образно выражаясь, не понимает речи. Он вырабатывает понятия, суждения, делает умозаключения и выводы с тем, чтобы отобразить действительность и указать мотивы человеческой деятельности. Все эти операции не зависят от того, на каком языке говорит человек. Вот почему интеллект сохраняет за собой только самую общую, но универсальную функцию управления — это кодирование в виде универсального предметного кода (УПК).

Есть основания думать, что лобные доли коры головного мозга человека выполняют эти функции общего осмысления действий при ориентировке в действительности. Сам же процесс перехода речи на уровень интеллекта и наоборот («мост») происходит во внутренней речи, связанной с самыми различными областями коры. <...>

... Понимать надо не речь, а действительность, именно поэтому в процессе коммуникации происходит все время преодоление устаревшей информации и переустройство памяти на новую, более совершенную. Это достигается тем, что наличная информация, принятая при участии аналоговой сенсорикой (непосредственно недоступной интеллекту), преобразуется в сети интеллекта на множество дискретных единиц соответственно накопленной ранее системе предметных отношений (знаний). Обработка интеллекта состоит в том, что возникает гипотеза о более оптимальном распределении дискретных элементов с учетом новой информации, и этот «замысел» поступает на речевой выход. Однако это не значит, что уже реализуется ответная речь.

Вступает в действие очень важный механизм речемыслительной деятельности — внутренняя речь. Внутренняя речь не обладает на-

бором стандартных грамматических правил и даже алфавитом лексики. Она не является ни строго дискретной, ни целиком аналоговой. В ней могут появиться а priori возникшие пространственные схемы, наглядные представления, отголоски интонации, отдельные слова и т. п. Это субъективный язык, который не осознается говорящим. Это язык-посредник, при участии которого замысел переводится на общедоступный язык каждого партнера.

Возникает вопрос, почему интеллект не принимает непосредственно той речи, которой он управляет. На этот вопрос может быть дан предварительный, но достаточно убедительный и простой ответ. Действительность как предмет знания едина, а у людей много языков, и перед этими языками стоит общая задача — однозначно отобразить действительность. Это возможно лишь в том случае, когда языки взаимно переводимы. Тот факт, что существует внутренняя речь, которой пользуется каждый говорящий, показывает, что переводимость эффективно применима даже при помощи этого субъективного языка. Внутренняя речь является необходимым транслятором для взаимного понимания при говорении на родном языке. Особую значимость она приобретает при обмене информацией людей, говорящих на языках, построенных на разных грамматиках. Тогда следует ожидать, что помимо грамматических правил должны быть правила, применимые ко всем человеческим языкам. И действительно, такие правила существуют. Это логические правила, на основе которых возникают смысловые связи. Нельзя говорить о действительности, не учитывая, где истина, а где ложь. <...>

.. Такие правила были названы «универсальным предметным кодом» (УПК). Эти правила определяют требования к содержательной структуре речи — о чем говорить (предмет), что именно говорить о нем (содержание), зачем говорить (мотив), кому говорить, какой вывод вытекает из сказанного. На этой смысловой основе происходит взаимопонимание партнеров. А при взаимопонимании у человека появляется возможность совершать согласованные действия. Через речь можно управлять своими действиями и действиями других людей. Требования УПК содержат обобщения, применяемые во всяком языке... Всякое возникшее в окружающей действительности явление или событие может стать предметом речи и объяснения.

Тогда особенно настойчиво возникает вопрос, как же сочетаются эти две разнокачественные знаковые системы — конечный автомат (грамматика) и бесконечный текст, обладающий смыслом. Кроме того, разве в отдельном предложении действительно нет никакого смысла? Пожалуй, более точно было бы сказать, что в отдельном предложении нет точного смысла, но какой-то смысл все же есть. Для того чтобы получился явный смысл, надо найти предикат, а в отдельном предложении его нет, так как неизвестно, на каком именно слове следует ставить логическое ударение. Грамматика не ука-

зывает в своих правилах, какими грамматическими признаками обладает предикат. Следовательно, предикат — это не грамматическое явление, хотя, конечно, входит в состав знаковой системы: где-то в предложении все-таки предикат есть. Он есть в тексте, в который войдет данное предложение. Такой текст может быть предполагаем одним из партнеров, а если его поймет другой, то это текстовое дополнение станет обоюдным. Таким образом, в тексте не только содержится то, что сказано в данный момент, но и должно учитываться то, что было сказано раньше, и предполагается то, о чем следует сказать в дальнейшем. Это и есть операция УПК, которая не применима к отдельно взятому предложению, а ведет к раскрытию текста вперед и назад до бесконечности.

Таким образом, можно сказать, что две знаковые системы — одна конечная, другая бесконечная — образуют общую структуру, в которой взаимно оптимизируют общий речевой процесс.

...Как... ребенок с его мозгом, едва приступившим к усвоению информации, принимаемой сенсорикой, так быстро усвоит язык, требующий применения сложного смыслового кода (УПК), знакового и системного, генерирующего текст? Кроме того, можно ли думать, что грамматика — это действительно автоматический механизм, не участвующий в выработке текстовой осмысленности? Роль человеческой речи в самонаучении ребенка делается более ясной. Как указывалось в соответствующем разделе нашей работы, формирование внутренней структуры языка начинается с обоих концов: с верхнего уровня — просодии и с нижнего — фонемного. Но так как языкоречь — целостная структура, она формируется системно. Это значит, что компоненты системы вычлняются из ведущего центрального звена — слова. Один поток спускается вниз, дифференцируясь на слоги и фонемы. Другой поток поднимается вверх, интегрируясь в динамике произвольного управления в словоформы, категории, синтагмы и предложения. Так произвольно формируется вся система грамматики. Но если бы на этом и закончилось самообучение, генерируемая речь была бы бессмысленной, так как в ней не было бы ни одного имени. Словоформы и их любая совокупность — не имена. Вместе с тем ребенок еще до появления интереса к речи реагирует на имена. Он поворачивает голову и глаза при произнесении его имени. Он начинает замечать зов, обращенный к нему, и производит звуки, которые могут быть поняты как требования или желание дотронуться до игрушки, качающейся у постели. Произвольность образования имени делает ребенка его хозяином. Он начинает различать, где «я» и где «ты», где *ма* (мама) и где *моко* (молоко). Вещи, которые видит ребенок, начинают приобретать имена. Чтобы желание превратить в действие, например, дотянуться до игрушки, надо отличить игрушку от фона. Этому желанию способствует коммуникация, так как партнер, назвав имя, помогает ребенку требовать желаемого действия.

Таким образом, ребенок еще до сформировавшейся структуры языка — речи пользуется речью, что и является самонаучением. Этот парадокс объясняется тем, что словоформа не обладает конкретным лексическим значением, а имя без словоформы не может сочетаться с другим именем и соответственно образовать компонент смысловой связи. Отсюда следует, во-первых, то, что самонаучение идет сразу по всей вертикали структуры речи и, во-вторых, то, что предложение (грамматика) и текст комплементарны. Без грамматики не может получиться текста, а без текста не возникнет намерения строить предложения, из которых он состоит.

...Ребенок не может сразу овладеть текстом. Проходит достаточно большое время, прежде чем результат достигнет ступени относительно устойчивого равновесия. Эти затруднения выражаются прежде всего в том, что в дошкольном возрасте и в начальной школе ребенок затрудняется в пересказах довольно простых текстов — сказок, басен, рассказов и т. п. Затруднения продолжаются и дальше, в средней школе и в высшей, когда обучающийся переходит к более сложным и специальным текстам. Эти явления отмечены в разных наблюдениях и экспериментах. Только тот человек, который умеет усваивать денотатную структуру новой речевой информации, сам становится автором текста. Он делается активным участником процесса оптимизации интеллекта.

... Речь все время переходит с одного кода на другой — устный, внутренней речи, буквенный код. В конце концов образуется последний, фундаментальный код — текстовый (денотатный). Этот код является усилителем устойчивого равновесия речевой динамики. Прежде всего всякий текст предполагает наличие определенного запаса информации у обоих партнеров. Это исходная ситуация для коммуникации. В результате при устном общении можно широко применять эллипсисы, т. е. опускать некоторые части речи, некоторые лексемы и обоюдоизвестные допущения: можно исправлять «на ходу» свои решения. Все это способствует улучшению устойчивого равновесия. Но когда в ситуацию вводится задание усилить информационную содержательность речи, продолжая применение устного (звукового) кода, но без встречных реплик, например, при докладе или лекции для аудитории, устойчивость равновесия требует предварительной подготовки при помощи письменного кода. Дело не в том, чтобы запомнить некоторые положения, а в том, чтобы сформировать структуру текста, найти оптимальный ход развития денотатного дерева, которое может быть изображено при помощи специального графа. Но на этом все же не кончается индивидуальная работа «строителя» текста. Последней ступенью создания текста являются, как говорят, «муки слова». Написанный текст в большинстве случаев переделывается с разных сторон и точек зрения. Автор ищет подходящие слова для передачи задуманного. Известно, что Пушкин, Л. Толстой и другие писатели многократно перестраивали свои

тексты. Текст становится памятью человеческого общества, снабжая ее информацией, оптимизирует интеллект. Конечно, этот текст из памяти снова входит в круговорот индивидуальных кодов. В результате высказывания человека приобретают предметно-реальную силу и становятся средством изменения ситуаций, переделки вещей, формирования новых вещей и событий. Это значит, что язык — речь выполняет творческие функции.

Печатается по изданию: *Жинкин Н.И.* Речь как проводник информации. — М., 1982.

Вопросы

1. Какие свойства фонемы отмечены Н. И.Жинкиным? Благодаря каким свойствам речи различаются звуки речи?
2. Какие виды кода в человеческой речи выделяются Н.И.Жинкиным? В каких видах кода обнаруживается фонема?
3. Какой факт, отмеченный Н.И.Жинкиным, свидетельствует о том, что у ребенка сложился фонематический слух?
4. Когда, по Н. И.Жинкину, отклонения при реализации фонем обычно не замечаются в восприятии?
5. Как, в понимании Н.И.Жинкина, строится информационная иерархия речи?
6. Благодаря чему механизмы кодовых переходов создают возможность, по выражению Н.И.Жинкина, «безграничного совершенствования обработки потоков информации»?
7. Как объясняет Н. И. Жинкин возможность перевода с одного языка на другой?
8. Как через рассмотренный Н.И.Жинкиным универсальный предельный код выявляется единство мысли, речи и языка?
9. Как следует понимать положение Н.И.Жинкина о том, что «практическое усвоение языка происходит по типу *самонаучения*!» Как оно происходит?
10. Какова, по Н.И.Жинкину, роль обратной связи в процессе передачи информации?
11. Чем отличается, по мнению Н.И.Жинкина, восприятие мелодии от восприятия речи с точки зрения информативной ценности?
12. Как понимать высказывание Н.И.Жинкина «фонема не знак, а значение»?
13. Чем обусловлено определение языка, данное Н.И.Жинкиным: «Язык — это система вещественных составляющих, структура которых может составить механизм»?
14. Какова роль, по Н.И.Жинкину, механизма управления интеграцией языковых единиц (субъединиц) во внутренней речи?
15. Что с позиции интеграционных процессов в речи создает, по представлению Н.И.Жинкина, взаимопонимание (семиозис)?
16. Почему, как пишет Н.И.Жинкин, «уход фонем из восприятия в память не приводит к беззвучности произносимой речи»?

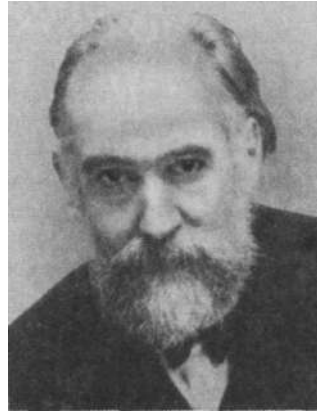
17. В чем состоит, по Н.И.Жинкину, главная задача «согласования и регулирования работы» речевого механизма в процессе приема информации?

18. Почему Н. И. Жинкин назвал речь наивысшим уровнем языка?

19. Почему причину различий в приеме информации разными людьми при прочих равных условиях Н. И. Жинкин видит в том, что «идентификация денотата происходит через перевод на внутреннюю речь»?

20. Что говорит Н. И. Жинкин о значении сенсорной информации в формировании смысла?

21. Обязательно ли присутствие в речи так называемых «скважин» (по Н.И.Жинкину)?



14. ПСИХОСИСТЕМАТИКА ЯЗЫКА ГЮСТАВА ГИЙОМА

Благодаря языку мышление знает, в каком месте своего круговорота оно находится, в какой мере его потенциал позволяет сделать перехват в себе своей собственной потенции. <...>

Хорошо думать — это значит подавить беспорядочный поток мысли.

Г. Гийом

Гюстав Гийом (1883 — 1960) — талантливый сын Франции, лингвист — уловил в науке о языке дух времени и открыл новое направление, названное им психосистематикой языка. Изданный на русском языке сборник «Принципы теоретической лингвистики» [1] и подготовленное к нему профессором Л. М. Скрединой «Послесловие» [2] позволяют ознакомиться с его научным творчеством.

Подход Г.Гийома, как это видно из его работ, нацелен был исключительно на раскрытие тайны осуществления речевой деятельности с особым вниманием к ее психической стороне, устремлен на выявление механизмов порождения речи и восприятия речевой продукции. Так что же это тогда, как не психолингвистика? И его психосистематика языка — это, по сути дела, психолингвистика европейской школы, заявившая о себе почти за четверть века до того, как окреп голос американской школы, породившей удачный термин «психолингвистика» [3]. А Г. Гийом уже в 20-е годы нашего ушедшего XX века вводит и активно использует

термины, которые позже стали на слуху в информатике, теории высказывания и даже в быту. Это *алгоритм, программа, операция, целевая установка*, или *целевое устремление, пресуппозиция, актуализация, языковая и прагматическая компетенция* и др. Механизм перевода мысли в слово (и, обратно, слова в мысль) он описывает с помощью **оперативных схем**, придавая им силу и метода исследования, и объекта описания: «Одной из особенностей психосистематики является невозможность продвижения вперед без опоры на схемы и рисунки» [1, с. 21]. Методологии Г. Гийома присуща культура диадных противопоставлений («...мы можем мыслить только посредством контрастов» [1, с. 12]) и триадных построений (образований) как способа операционального видения движения на любом уровне отношений при любой оформленности категории времени: «начало, середина, конец», «прошедшее, настоящее, будущее», «сужение, остановка, расширение» и др., при этом время оформляется последовательностью позиций.

Школа Гийома, «интересующаяся совершенно особым объектом, не имеющим аналогов в мире» [1, с. 17] (т.е. феноменом мысле-рече-языкового образования), отличается глубоким вниманием ко всем сторонам, свойствам и нюансам этого объекта, представляющего собой, с позиций современного видения, эталон сложной самоорганизующейся системы. В атмосферу самосогласованности, упорядоченности, **когерентности** погружено все мироощущение его школы: «Дорога, которой он (язык. — А. К.) следует, — это путь когерентности, где случаются дорожные происшествия, ошибки на уровне мысли, речи и письма» [1, с. 19]. *Иерархичность* строения объекта внимания само собой разумеется: «...язык — это система систем» [1, с. 12]. В одной из лекций Г. Гийом показывает всю палитру **нелинейных** отношений, которые раскрывает «блестящее замечание философа Делакруа, что "мысль, созданная языком, создает язык"» [1, с. 148]. Здесь же вскрывается и источник всего плана **альтернатив** принятия решений и **эвристичности** их реализации: «Язык дает мысли возможность сохранить достигнутую потенцию **созданного состояния** и увеличить ее. В основе этой операции и ее особенностей лежит человеческое ясновидение как предсознание, свойственное человеческому виду» [1, с. 148].

Особого внимания заслуживает замечательная догадка Г. Гийома, закономерно вытекающая из его исследований времени и глагола и состоящая в признании способности человеческого мышления к самослежению, самоконтролю или, в его терминологии, перехвату самого себя: «То, что внимательный наблюдатель открывает в самом языке, в собственно языковом плане, — это и есть механизмы перехвата, остановки, которые действуют в мышлении. Эти перехваты принадлежат систематике, исследование которой представляет собой новую область лингвистики и кото-

рую мы назвали *психосистематикой языка*. Психосистематика исследует не отношение языка и мышления, а определенные и готовые механизмы, которым язык дает точное отображение. Ясно, что самая первая необходимость акта выражения заключается в том, чтобы мышление имело возможность самоперехвата. Без перехвата мышлением самого себя невозможно выражение» [1, с. 54]. Реализованный перехват мышлением самого себя, по мысли Г. Гийома, и есть представление об области действия языка. В плане развития своих поисков он продолжает: «И то, перед чем мы находимся, — это *психомеханизмы*, конструктивный принцип которых заключается в поисках удобства перехвата, а также в поиске высшей экономии, обеспечивающей удобство в системе с установившимся, сформировавшимся перехватом» [1, с. 54]. По Г. Гийому, назначение языка состоит в том, чтобы контролировать мыслительную деятельность человека, т. е. давать мышлению способность знать о его собственном состоянии в круговороте шумов и, в свою очередь, вооружать человека той конструктивной силой, что выражена словами: «Хорошо думать — это значит подавить беспорядочный поток мыслей» [1, с. 146].

Наконец, обратим наше внимание на поразительное сходство идей, высказанных Г. Гийомом по проблемам психомеханизмов в речевой деятельности, с проблемами новейшего направления в информатике — *квантового компьютеринга*, для которого проблемы декогерентизации — подавления шумов — и обеспечения самоконтроля в процессе осуществления обработки и переноса информации стали принципиальными вопросами реализации [4].

Литература

1. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики — М., 1992.
2. Скрелина Л. М. Послесловие // Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. - М., 1992. — С. 167-200.
3. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики — М., 1997. — С. 33 — 34.
4. Валиев К. А., Кокин А. А. Квантовый компьютеринг: Теория, методы, проблемы и решения. — М., 2000.

ГЮСТАВ ГИЙОМ

ПРИНЦИПЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ

(Извлечения)

ПСИХОСИСТЕМАТИКА...

Вопрос, которым безуспешно занимались философы, — это вопрос тесной связи, существующей между языком и мышлением. <... >

Язык абсолютно независим от самого мышления, но он стремится к отождествлению себя с возможностью, которую имеет мышление в самослежении, т. е. перехвате своей собственной деятельности, какой бы она ни была. Мышление свободно, совершенно свободно и безгранично в своем движении к активной свободе, но средства, которыми оно пользуется для своего собственного перехвата, это средства систематизации и организации, ограниченные по своему количеству, и в своей структуре язык дает их верное отображение. То, что внимательный наблюдатель открывает в самом языке, в собственно языковом плане, — это и есть механизмы перехвата... остановки, которые действуют в мышлении. Эти механизмы принадлежат систематике, исследование которой представляет новую область лингвистики и которую мы назвали *психосистематикой языка*. <...>

Под таким углом зрения язык представлен совокупностью средств, которые мышление систематизировало и сформировало для того, чтобы обеспечить себе постоянную способность проведения быстрого и ясного, по возможности мгновенного, перехвата того, что в нем разворачивается, каким бы ни было это разворачивание и его суть. Изучение языка в его формальном аспекте психосистематики не приведет нас, как можно было бы предположить, к познанию мышления и его процессов, но приведет к познанию тех средств, которые мышление в течение веков изобрело для обеспечения почти мгновенного перехвата того, что в нем происходит. <...>

ПСИХОСИСТЕМАТИКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОД

Различие языка и речи, постоянно проводимое здесь, позволяет гораздо лучше увидеть лингвистические явления, чем это делается в традиционной грамматике.

Язык представляет собой такое образование внутри нас, на основе которого и средствами которого мы общаемся. Речь, когда начинается и даже когда еще готовится, использует язык, существующий в мышлении в уже построенном виде. В своей совокупности язык представляет собой великое творение, построенное по общему закону, закону когеренции (связности...) частей внутри целого. И это когерентное, построенное, великое творение, которое в силу своей когерентности представляет собой систему, делится, как показывает опыт, на множество частных, внутренне когерентных образований, составляющих в общей интегрирующей системе интегрируемые системы. Эти частные интегрируемые системы, которые в остальном, как и любые системы, являются интегрирующими в отношении своих составных частей, обладают собственной целостностью, образующей из каждой системы некое целое, которое может быть подвергнуто определенному анализу. <...>

Очень конкретная задача лингвиста, занимающегося проблемами языка, состоит в воспроизведении крупных систем языка в том виде, в каком они существуют в глубине мышления, прежде чем мы обратимся специально к одной из форм, вместилищем которых они служат как общая построенная система. Опыт показывает, что язык — это система систем.

Это воссоздание систем, из которых состоит язык, представляет особое и новое направление в науке о языке, которое мы называем *психосистематикой*, и оно располагает собственной, все время совершенствующейся методикой, которой дано название *позиционной лингвистики*. Сущность этой методики заключается в представлении каждого языкового явления в первую очередь с точки зрения его развертывания по горизонтали (продольное развертывание) и в проведении его анализа в том виде, в каком это делает само мышление, т.е. с помощью поперечных сечений продольного развертывания.

Каким бы ни был рассматриваемый вопрос, методика остается неизменной. Языковое явление представляется в виде векторной линии, обозначающей его развертывание по горизонтали, а анализ этого развертывания производится нанесением на векторную линию, представляющую явление в целом, поперечных разделяющих, или, если хотите, прерывающих, сечений.

ЛОГИКА И ЛИНГВИСТИКА

...Остается установить разницу между логикой и когерентностью, как я ее понимаю. <...>

Логика—это вымышленное движение вещей, в котором не учитываются дорожные происшествия и те помехи, которые вещи приносят вместе с собой, поскольку они являются вещами, а не просто идеями. В связи с этим процитирую по памяти Лейбница: «Вещи мешают друг другу, а идеи вовсе не мешают друг другу». То, что вещи мешают друг другу, не препятствует тем не менее их упорядоченному движению, т.е. когерентности, если учитывать правильно помехи. То, что идеи не мешают друг другу, помогает их упорядоченному движению — воображаемому и исключаящему дорожные происшествия, где все совершается от начала и до конца по принципу наибольшей экономии. Чтобы избежать многословия... скажу, что логика — это идеально прямая линия, это изображение прямой линии. Если нет происшествий на пути из Парижа в Рим, нет поворотов, объездов, преодоления препятствий, то это будет путешествие по прямой, не отвлекающее от цели. Логика — это воображаемая простота. Не знаю, каким был бы язык, построенный по этой воображаемой линии. Не могу этого знать, такого языка не существует. Знаю только то, что наблюдаемый язык не следует такой прямой дорогой. Дорога, которой он следует, — это путь когерент-

ности, где случаются дорожные происшествия, ошибки на уровне мысли, речи и письма. Когерентность передвигается шаг за шагом, обращая внимание на местность и на действия, которые надо совершать для продвижения вперед. Извилистый путь, который ведет на вершину горы, обладает когерентностью; он не *логичен*, хотя имеет свою логику. Логический путь не был бы извилистым. Этот путь в своей прямолинейности при наличии вещей является воображаемым. И он существует в таком качестве в воображении, а извилистый путь в конечном счете представляет собой то, что было бы с первым, если бы он существовал. <... >

ЯЗЫК САМ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕОРИЕЙ

.. Здесь будут изложены различные попытки и сомнения в правильности избранного направления, направления в поисках истины, скрытой за видимостью языковых фактов.

Эта истина состоит в том, что в языке царит порядок; различные данные, полученные на материале разных языков, это доказывают. В языке существует порядок, поскольку язык сам по себе является теорией, чем-то таким, что поддается теоретизации. Может быть, недостаточно хорошо известно, что такое теория. Теория — это всегда не что иное, как знание отношения подчинения, существующего между большим количеством конкретных фактов, и малым числом... господствующих общих фактов.

Но язык именно таков: все частные, единичные, неожиданные факты, порожденные случаем, которому они, вероятно, обязаны своим существованием, остаются зависимыми (хотя это и незаметно на первый взгляд) от небольшого числа общих фактов высшего уровня, которые, хотя и менее заметны, чем частные, все же являются основными структурными фактами и, следовательно, теми, которые было бы интереснее всего узнать в первую очередь; однако именно они-то и остаются дольше всего неизвестными, поскольку они малозаметны а priori. В работах по исторической и сравнительной грамматике объединение и группировка конкретных фактов были бы совсем иными, если бы имелось ясное представление о небольшом числе фактов высшего уровня, которые управляют всеми остальными.

Было бы правильнее сказать, несмотря на некоторую, может быть, странность формулировки, что именно за счет самого теоретизирования, путем какого-то природного теоретизирования мысль обеспечила себя языком. Теория, которую мысль создала из самой себя, отражается только косвенно в речи, она записана в самой глубине мысли, в языке. Факты высшего уровня, которые подчиняют себе множество частных фактов и с помощью которых язык сам себя создал, немногочисленны. Из поколения в поколение они передаются, это одни и те же факты для одной и той же языковой области.

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МОЛЧАЛИВОЕ МЫШЛЕНИЕ

...Завершая изложение своих идей, я хотел бы обратить внимание на то, что в языке записаны не только потребности мышления в непосредственный момент выражения, но, кроме того, и те, которые можно было бы назвать потребностями молчаливого мышления, занятого вне акта речетворчества самосозерцанием и определением лучших способов перехвата того, что в нем происходит. Ошибкой было слишком тесно соотносить построение языка с тем, что происходит во время акта речевой деятельности; на мой взгляд (и это принцип моего учения), правда заключаема в том, что язык создается, конечно, в нас, в ходе его использования, но также частично и вне использования, в течение того непрерывного глубокого раздумья, в которое всегда погружены мыслящие люди, а к ним могут быть отнесены все люди или по крайней мере подавляющее их большинство. Думаю, что самая глубинная часть языка в гораздо большей мере зависит от постоянного глубокого раздумья человеческого мышления, чем от непосредственного упражнения в речи, которое приводит в действие во множестве случаев вещи, открытые мышлением вне речи, когда мышление сосредоточено на самом себе. Метафизическая часть языков, так заметная в нашем исследовании крупных языковых систем, в большей мере является выражением постоянной работы мысли, которая простирается далеко за пределы относительно коротких моментов, когда на практике реализуется та способность говорить, которой мы наделены.

ЯЗЫК КАК СИСТЕМА СИСТЕМ

Любой язык представляет в своей совокупности обширную, строго когерентную систему, состоящую из множества систем, связанных между собой отношениями системной зависимости, которые их объединяют в единое целое. Поскольку это касается любого языка, то трудность психосистематической лингвистики, занимающейся исследованием только абстрактных сущностей языка, сущностей чистых отношений, формирующих системы, заключается в идентификации различных систем, входящих в состав языка в рамках формирующей его обширной системы и представляющей собой не что иное, как соотносительную систематизацию частных систем, сумевших в ней индивидуализироваться.

Язык представляет собой системное целое, охватывающее всю протяженность мыслимого и состоящее из систем, каждая из которых относится только к одной конкретной части мыслимого. Эти частные системы имеют естественную тенденцию к индивидуализации и к созданию целого, выступающего составной частью общего и

более широкого целого, каковым и является язык. Их определение как целого в рамках целого, часть которого они составляют, является более или менее строгим, и теоретик языкознания никогда не должен упускать из виду, что если различные системы в составе языка стремятся к индивидуализации в нем, то они также стремятся к сохранению между собой связи постоянного характера, которая позволяет почти незаметно переходить от одной к другой. Антиномия языкового построения состоит в том, что язык предполагает подчинение противоположным целям. Например, чтобы фраза получила смысл, надо, чтобы различались слова и в то же время чтобы на какой-то короткий момент их различимость стиралась.

В своей внутренней структуре все языки стремятся к распределению интегрирующей системы, которую они представляют, между многочисленными интегрируемыми системами, каждая из которых образует некоторое целое; но в то же время в своем построении они подчиняются противоположной движущей силе, состоящей в возможно меньшем разделении интегрируемых систем. Эти две противоречивые тенденции — тенденция к разделению систем и их идентификации как целого и противоположная тенденция к сохранению тесной и почти непрерывной связи между ними — находятся в постоянном поиске приемлемого равновесия, которое обычно достигается в развитых языках, особенно тех, которые принадлежат высоко развитым цивилизациям.

СИСТЕМА И НЕ-СИСТЕМА В ЯЗЫКЕ

Важной характеристикой языков, каждый из которых *in toto* состоит из устоявшегося, является установление в них параллельно и не в ущерб друг другу свободы и закона, не-системы и системы. То, что установление осуществляется по двум направлениям — в сторону открытой цепи образования понятий и в сторону замкнутой цепи, — в некотором роде уже представляет систему.

Устоявшееся, каковым является язык, *в целом* представляет собой систему, но его систематизация включает в себя установление свободного (системного и определяемого в открытой цепи) и несвободного (несистемного и определяемого в замкнутой цепи). Несистемное свободное подчиняется системному несвободному. Системное несвободное раскрывает перед нами достигнутую систематизацию, несистемное свободное — не достигнутую систематизацию. Морфология языка представляет установление в нем замкнутых цепей образования понятий. Если везде пользоваться открытой цепью, язык не будет иметь морфологии. Чтобы лучше понять, предположим, что французский язык содержит только частные понятия, свободно заменяющие друг друга, это был бы язык без какой бы то ни было морфологии.

Но дело обстоит иначе, и структура языка определяет замкнутые цепи образования понятий, содержащие взаимозаменяемые понятия

и удовлетворяющие одному общему условию переноса. Эти цепи образуют в языке системы. Обычные грамматики их представляют в виде парадигм.

Может быть, лучше было бы сказать, что под несвободным, системным и обусловленным образованием понятий язык устанавливает свободное образование понятий, условия для которого остаются не определенными, не достигнутыми, системно не детерминированными. Несвободное системное образование понятий происходит в замкнутой цепи, т. е. в цепи форм одного языкового поля.

Свободное, несистемное образование понятий происходит в открытой цепи и представляет собой свободную деятельность мышления при отрицательной системности, закон которой принадлежит не самой этой деятельности, а второй деятельности мышления, которая состоит в перехвате самого процесса деятельности. Таким образом, с одной стороны — бессистемная деятельность по производству свободных понятий, а с другой стороны — системная деятельность, направленная на понимание того, что она производит. Следовательно, в структуре языка мы должны различать две вещи, происходящие в мышлении: его деятельность в процессе работы и его деятельность, направленную на понимание своей деятельности. Систематизация находится не в активном мышлении (это его свободная деятельность), а там, где происходит перехват мысли самой собой. Нельзя терять из виду, что мышление существует само по себе только в том случае, если оно способно контролировать (перехватить) себя и тем самым различать в себе отдельные моменты деятельности. Эти перехваты отождествляются с представлением; это то, что является представлением.

УСТОЯВШЕЕСЯ И НЕУСТОЯВШЕЕСЯ В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принцип, на котором основывается механизм психосистематики речевой деятельности, заключается в том, что мышление не имеет другого способа самопознания, кроме срезов в процессе собственной деятельности.

Принцип подходит для всего, что составляет *формальную структуру* языка, т. е. для всех форм, которые посредством чередования, не выходящего за рамки замкнутой системы, подходят к различным идеям. Таковы, например, формы спряжения: они составляют замкнутую систему, и говорящий, охватывая мысленно всю систему, выбирает среди конечного числа содержащихся в ней форм ту, которая лучше всего соответствует целям речи, т. е. тому, что он хочет выразить. Выбор осуществляется среди конечного и всегда не слишком большого числа форм, так что, если использовать эти формы одну за

другой, вскоре придет момент, когда потребуются вернуться к уже использованной форме. Можно сказать, что чередование происходит в замкнутой цепи.

Много раз в лингвистических дискуссиях обсуждался вопрос, является ли язык *системой* или нет. Этот вопрос решен и закрыт, если согласиться, что система существует там, где формы чередуются в замкнутой цепи, и система не существует там, где в устоявшемся (а устоявшееся — это и есть язык) формы чередуются в разомкнутой, открытой цепи. Так, в наших языках есть система числа, представленная в виде двух чисел: единственного и множественного. Есть система рода, представленная во французском языке двумя родами: мужским и женским. Система существует потому, что чередование форм, которых только две, происходит в замкнутой цепи. Латинское склонение образует систему, поскольку чередование происходит в замкнутой цепи.

Напротив, там, где понятия заменяют друг друга в открытой, разомкнутой цепи, системы нет.

Это касается конкретных идей, составляющих содержание частей речи. Они могут заменять друг друга без окончательного замыкания цепи подстановок. Я могу записать в форме существительных очень большое количество понятий и при необходимости свободно увеличить это количество, не встречая ограничений *in intellectu*. Другое дело — части речи. Их небольшое количество ограничено, а чередование их происходит в замкнутой цепи. *Существует система*. Споры на эту тему, вспыхивающие вновь и вновь, исчерпываются, на наш взгляд, этим объяснением, которое показывает в устоявшемся, каковым является язык, систему и не-систему, свободное и не-свободное.

Применение методики поперечных срезов привело нас к разделению отношения мышление => речевая деятельность, составляющего объект науки о речевой деятельности, на две части: *устоявшееся* (*l'institue*), каковым является язык, и *неустоявшееся* (*le pop-institue*), каковым является речь. Сразу же заметим, что система существует только в устоявшемся; и пусть не возражают, что *фраза*, которая принадлежит речи, составляет тем не менее *систему*. Система фразы представляет собой составную часть языка. Фразу делает не система, а использование системы и свободный и мгновенный выбор идей, которые будут выражены во фразе. Этот свободный выбор не является обусловленным системно, и если системные условия, составляющие систему фразы, имеют конечный характер (количественно ограниченный), то использование системы предоставляет многочисленные возможности комбинаций, намного превышающие по количеству системные условия. Речи принадлежит использование системы настолько, насколько она свободна. Шекотливое определение. Система руководит своим использованием, а использование ее устанавливает. <...>

ПРИРОДА АКТА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Акт речевой деятельности начинается не с произнесения слов, предназначенных для выражения мысли, а с более ранней, лежащей в его основании операции, представляющей собой сигнал, с которым мысль в момент своего выражения обращается к языку, находящемуся в постоянном распоряжении мышления. Такое постоянное распоряжение (а именно в этом главная функция любого языка) освобождает его от необходимости придумывать средства выражения в тот момент, когда это требуется. Механизм этого сигнала и немедленной на него реакции, характеризующейся такой скоростью, которая не может не удивить любого, кто дал бы себе труд поразмыслить на эту тему, представляет собой такое явление, в тайну которого нам очень трудно и даже, по правде говоря, невозможно проникнуть до конца. Если бы мы могли ясно видеть то, что в нас происходит в мгновения, непосредственно предшествующие акту речевой деятельности и являющиеся в некотором роде подготовительной фазой... за которой следуют... момент приведения в действие и фаза импульса, — если бы наш мозг мог различить, что происходит в самых его глубинах, мы бы имели лингвистические знания огромной важности, недоступные для нас в настоящее время, и целый комплекс нерешенных или серьезно противоречащих друг другу проблем стал бы для нас ясным, причем ясным настолько, насколько легко для нас акт перехода от мысли к ее выражению посредством речи.

У нас нет доступа, по крайней мере прямого, к мыслительным операциям, которые в нас предшествуют началу акта речевой деятельности, и поэтому главная часть этого акта скрыта от нашего взора. Акт речевой деятельности характеризуется тем, что мы можем наблюдать только его самые последние мгновения: первые мгновения, когда устанавливается контакт между мыслью в момент выражения и языком, находящимся в постоянном распоряжении мышления, оказываются мгновениями, недоступными непосредственному наблюдению, и мы можем о них узнать только то, что позволяет понять аналитическая интерпретация их следования друг за другом, — интерпретация, основанная, с одной стороны, на изучении того, что происходит в речи, и, с другой стороны, того, что зафиксировано в языке в форме семантем, морфем и систем.

Семантемы и морфемы — это те сущности языка, которые традиционная лингвистика наблюдать умеет; и причина здесь в том, что эти сущности являются в некотором роде вещественными, представленными в языке через означающее, роль которого состоит в их передаче в речь, когда в этом возникает необходимость. Акт речевой деятельности в наших развитых языках, освободивших его от множества вещей и сделавших тем самым его легким и быстрым актом, большей частью состоит в передаче из языка в речь семантем и морфем, к которым прибегает мысль для самовыражения. Эта передача

требует того, чтобы семантемы и морфемы располагали в языке означающим, т. е. фрагментом речи, привязанным к тому, что они обозначают, т. е. к означаемому, которое они образуют в мысли.

Основная функция морфем заключается в распределении по категориям посредством распространения целых, более или менее протяженных рядов семантем. Традиционная лингвистика не обращала внимания на то, что морфемы составляют неотъемлемую часть системы и что прежде, чем суметь со знанием дела использовать морфему, нужно, чтобы мышление в момент выражения выделило ее в составе системы, частью которой она является и где в силу своей позиции принимает свое значение. Так, использование только одной глагольной формы предполагает быстрое восстановление в памяти всей системы спряжения глагола. После быстрого воспроизводства в представлении (эта операция настолько быстра и глубинна, что мы ее совершенно не осознаем) системы спряжения эта система в равной мере представляет все формы, которые она содержит и объединяет, т. е. совокупность, существующую в силу акта определения, которому она обязана своим существованием в мышлении. Именно среди этих форм, представленных вместе в системе и в некотором роде рядом друг с другом, а также друг под другом, если система трехмерна, мысль делает выбор в момент выражения по тем мгновенным мотивам, которые одну из этих форм выделяют как лучше других соответствующую точному и тонкому выражению того, что хотят выразить. Выбор одной формы из тех, что система представляет во всей совокупности, позволяет тем самым окинуть всю ее одним взглядом, этот выбор является собой операцией, которая, как и все операции в речевой деятельности, требует времени, времени конкретного, прожитого, очень короткого, но реального, и это время сильно уменьшается качеством системы, в состав которой входят эти формы. В самом общем виде можно установить, что скорость, с которой осуществляется выбор формы, лучше всего соответствующей речевому заданию, зависит от состояния конструкции всей системы и от позиций, занимаемых в ней различными формами и определяющих основное значение каждой формы. Система с изящно расположенными и хорошо наблюдаемыми в акте построения позициями облегчает нахождение формы, требуемой актом выражения речи. Она делает это нахождение более быстрым и более верным. <...>

В системе... контекстное значение формы находится на нулевом уровне, поскольку это значение будет определено только в речи и нигде больше. В то же время всю полноту имеет системное значение... существующее до контекстного и являющееся результатом того, что каждая форма представляет в системе оригинальный момент своего психического построения, которое представлено этим построением. Так, во временной системе каждая составляющая ее форма, наклонение или время, является частично представляющей однородный акт — архитектурное построение образа времени, в

котором она означает определенный момент, более или менее отстоящий от других в последовательности построения системы.

Особо следует подчеркнуть, что значение формы в системе полностью достигнуто в языке, тогда как контекстное значение там остается целиком недостижимым. Роль языка состоит в представлении для речи на основе имеющихся в системе форм большего или меньшего выбора контекстных значений. Значение одной системной формы предполагает определенный диапазон контекстных значений в речи. <...>

ЯЗЫК КАК СПОСОБ УПОРЯДОЧЕНИЯ ПОТОКА МЫСЛИ

Человеческий язык существует только с того момента, когда пережитый опыт преобразуется в *представление*...

Язык животных	Язык человека
Пережитый опыт и соответствующая мысль	Представление и соответствующая мысль

В каждой мысли — размышление. Размышление и турбулентность. В представлении мы видим отказ от турбулентности. Хорошо думать — это значит подавить беспорядочность потока мысли. Регулировка этого, ее способы заключаются в психомеханизмах.

Однако убрать турбулентность при размышлении — это скорее факт письма, чем речи. Кстати, попутно о реформе орфографии: сложная орфография со всем тем, что в ней есть немотивированного, сохраняет образовательное значение как способ снятия ментальной турбулентности (упорядочения потока мысли).

В принципе именно путем необходимого исходного снятия ментальной турбулентности создается человеческий язык, а также — и сверх того — потенция человеческого мышления. Но торможение турбулентности происходит инстинктивно. <...>

ЯЗЫК, ЧЕЛОВЕК И ВСЕЛЕННАЯ (УНИВЕРСУМ)

...Целиком опираясь на антиномию пространства и времени, язык (другими словами, область представления или высказывания на до-речевом уровне) создает в мыслящем человеке идеальный универсум, находящийся в постоянном расширении, которому человек, единственный среди мыслящих существ, может дать в себе определение, меняющееся из поколения в поколение. В глубинном аспекте это изменение представляет прогресс цивилизации. Цивилизация эпохи — это мир мысли, идеальный универсум, который люди данной эпохи смогли определить и установить в глубине самих себя. Идеальный

универсум, существующий в них безотносительно к моменту и в каждое мгновение жизни сознания, и есть язык.

Будучи языком мыслящего человека, идеальный универсум построен по образу и подобию самого человека, который одновременно и зритель и наблюдатель — глазами тела и глазами разума — действительного универсума, реального мира. Идеальный универсум представляет собою наблюдающий универсум, состоящий из понятий, которые создаются равновесием конкретизирующего интенционала и обобщающего экстенционала. Взятые в языке (или иначе: в представлении и до выражения в речи), слово как единица потенции составляет устойчивое равновесие, инвариант движений интенционала в сторону сужения и экстенционала в сторону расширения. <... > Отношение сужения и расширения инвариантно для каждого слова, к какой бы части речи оно ни принадлежало. Эта инвариантность относится к фактам языка. Выходя за пределы языка, отношение это осложняется вариативностью другого порядка — вариативностью расширенности, или, лучше, растянутости, возможность которой содержится в потенции в каждом слове еще на доречевом уровне. <... >

Несомненно, одна из задач структурной лингвистики и двух ее вспомогательных дисциплин — психосистематики и психосемиологии — состоит в как можно более глубоком постижении актов представления... образующих язык. Но наряду с этой задачей у структурной лингвистики есть еще одна, другого рода, которую тоже необходимо выполнить. Она состоит в обосновании существования у мыслящего человека расширяющегося идеального универсума, неизбежно растущего в количественном и качественном отношении; это внутренний универсум, который среди мыслящих существ может создать в себе только человек. Этот идеальный универсум, который человеческий разум содержит в себе в свернутом виде, и представляет собой язык. Животные, которым природа отказала в способности производить в себе такое определение идеального универсума, не имеют языка; они обладают только речевой деятельностью, и их речь, лишенная посредничества представления, связана непосредственно с переживаемым опытом.

В этой разнице, делающей человека исключением среди мыслящих существ, следует видеть результат только ему присущей измеримого™ отношений независимости, существующих между мыслящим человеком и окружающим миром, в котором он живет и в котором он себя осознает, пока мыслит. <... >

Это измерение, которое представляет собой постоянно меняющуюся меру самостоятельности человеческой личности по отношению к универсуму, силам которого она противостоит только собственными силами, является крупным явлением духовного уровня, которому мыслящий человек обязан тем, что он собой представляет и чем становится во вселенной, в месте своего существования. В этом универсуме он выделяет и приобретает идеальный универсум наблю-

дения, составляющий его язык, идеальный универсум, местом существования которого он становится. Базовый контраст состоит в инверсии противопоставления физического универсума, места существования человека, своему антагонисту — психическому, нефизическому универсуму, существующему в человеке.

Следствием этого непрерывного и неосознанного контраста (он не порождается сознанием, наоборот, сознание порождается им) являются следующие основные особенности психомеханизма.

Отношение человека и универсума — это отношение принадлежности, крайними теоретическими формами которой могут быть:

а) полная принадлежность человека универсуму и, соответственно, нулевая принадлежность универсума человеку... полное подчинение человека мировым силам, игрушкой которых он становится;

б) полная принадлежность универсума человеку и, соответственно, нулевая принадлежность человека универсуму... полное подчинение мировых сил силам человека, т. е. бесконечному, абсолютному знанию человека.

Именно между этими... крайними, чисто теоретическими формами устанавливается действительная форма отношения человека и универсума. Она состоит в следующем: какая угодно, но не абсолютная принадлежность человека универсуму в самом начале, от которой постепенно, на протяжении веков, человек, *умеющий ее измерять* (это его привилегия), освобождается. Это освобождение дает людям данного пространственно-временного ареала бесповоротную самостоятельность относительно универсума, отождествляемую с цивилизацией, которая изучается в связи с тем, какими максимальными возможностями и глубиной она обладает в данном ареале.

Человеческий ум напоминает объемную картину, где самый близкий горизонт несет то, что рассмотрено самой мыслью, а самый дальний — то, что, будучи еще невидимым, является наблюдаемым. К горизонту рассмотренного относятся речь, составляющие ее фразы и слова в этих фразах. К горизонту наблюдаемого принадлежат слова, из которых состоит язык и условие существования которых заключается в ожидании их обработки для перевода с горизонта наблюдения, где они постоянно находятся, на горизонт рассмотренного, куда они могут быть призваны. <...>

Язык — это общественное явление. ...Какое средство помогло бы людям лучше, чем язык, избежать индивидуального одиночества и укрепить... их... связь, протянув ее от материального к духовному? Язык... позволяет людям сообщать друг другу мысли и чувства самого разного свойства. Но в своей человеческой форме, т. е. в форме речи, соединенной с языком, является ли речевая деятельность следствием единственно только этой цели? Если в языке видеть только некоторый оптимальный способ взаимоотношений между людьми, не значит ли это принижение и недооценку его сущности? Разве в этом дискретном взаимоотношении создается и формируется язык?

На первый взгляд такой вопрос может показаться парадоксальным. Тем не менее он нужен, пока существует риск принять видимое за действительное.

Язык, при условии, что он содержит общую для людей понятийную и структурную базу, выступает посредником между людьми, желающими друг другу сказать какие-то вещи, не обязательно связанные с их отношениями в обществе, к которому они принадлежат, а связанные с отношениями совсем другого рода, отношениями всех и каждого к миру (универсуму), к месту их существования. Именно благодаря этим отношениям, основе всех других, включая непосредственные социальные отношения, люди могут общаться друг с другом. Они не могут выйти за их пределы.

В истоках языка человека — и прозорливые философы это понимали — лежит не маленькое противостояние *Человек/Человек*, но великое противостояние *Универсум/Человек*. Здесь его истоки, и структура языка содержит в себе неопровержимые доказательства. .. которые тем более видимы, чем выше от видения к пониманию поднялся язык, где они наблюдаются. <...>

...Ставшее общим местом положение о том, что язык и речевая деятельность относятся к общественным явлениям, представляет собой один из упрощенческих и недостаточно продуманных взглядов, которые больше всего повредили прогрессу структурной лингвистики, сосредоточивая внимание исследователей на отношении *Человек/Человек*, оказавшем небольшое влияние на структуру языка, и отвлекая его от отношения *Универсум/Человек*, которому она обязана если не всем, то почти всем, поскольку то, чем она обязана отношению человек/человек, в конечном счете входит в состав отношения универсум/человек, за пределы которого язык как идеальный универсум наблюдения, согласно определению, не выходит. <...>

ЯЗЫК И ОБЩАЯ МЫСЛЬ

...И этот круговорот позволяет ему (человеческому разуму. — А. К.) проявить возможности, или потенциал своей мысли. Именно в условиях устранения *немыслимости* и в условиях создания *мыслимости*, т.е. при условии:

— для немыслимого: полное внутреннее содержание (все)

и

нулевое внешнее выражение (ничего);

— для мыслимого: неполное и ненулевое внутреннее содержание

и

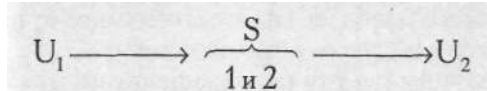
ненулевое и неполное внешнее выражение,

он начинает и построение потенциальной мысли и построение языка. Оба построения идут рука об руку.

Операцией, фундаментальной для построения потенциальной мысли, является перехват мышлением самого себя. Без этой оста-

новки мышление не существует относительно себя самого... Благодаря языку мышление знает, в каком месте своего более или менее замедлившегося круговорота оно находится, в какой мере его потенциал позволяет сделать перехват в себе своей собственной потенции.

Язык человека обладает антропогенным аспектом. Он говорит человеческому мышлению, в каком пункте своего естественного развития оно находится в себе, в мышлении, которое для того, чтобы быть действенным, накладывает на идею бесконечного, лишённого внешнего выражения, идею конечного, обладающего внешним выражением. Это обеспечивается механизмом, состоящим везде в осознании бесконечного как потенции мысленного построения, находящей в себе центр инверсии, в обе стороны от которого, направо и налево, она представляет собой выход во внешнее выражение. Вся механика построения языка заключается в движении мысли — внутреннего содержания движения мысли, находящей в себе центр инверсии. Схематически это можно представить примерно так:



Посмотрим внимательно. Универсализирующее (обобщающее) движение типа $U_1 \longrightarrow U_2$, означающее только внутреннее содержание без внешнего выражения, немислимо. Тогда происходит восстановление внешнего выражения введением внутреннего содержания, и с этого момента создается контраст внутреннего содержания по бесконечности содержимого и содержания. Отсюда, после того как мысль начинает свой круговорот, два изображения:

— *линии* (незаконченной) как изображения бесконечного содержания,

— *точки* как изображения бесконечного содержимого.

Другими словами: мышление для сохранения своей потенции уничтожает в себе (оно нашло такой механизм) условие немислимости, состоящее в $U_1 \longrightarrow U_2$, и это уничтожение приводит к $U_1 \xrightarrow{\cdot} U_2$, где S — минимальное внутреннее содержание,

а US - SU — максимальные внешние выражения S, т. е. это две формы внешнего выражения, каждая из которых представляет внешние выражения центра инверсии.

Отметим, что чрезвычайная простота этих операций делала их обязательными для общей человеческой мысли. Операции общей мысли оказываются весьма учеными, не заключая в себе тем не менее ничего научного. Я считаю их *неизбежными* в человеческом мышлении, в моем человеческом мышлении, где есть немислимое ($U_1 \longrightarrow U_2$), которое должно это немислимое преобразовать в мыслимое ($U_1 \xrightarrow{S} U_2$) и преобразовать только теми средствами, которые у него для этого есть.

Обычно в психомеханике используется такое символическое изображение:

$$U_1 \xrightarrow{\substack{\text{Движение} \\ \text{(тензор) I}}} S \xrightarrow{\substack{\text{Движение} \\ \text{(тензор) II}}} U_2$$

Его ценность вполне очевидна. Оно удобно для лингвистики. Однако можно было бы изобразить это и так:

$$\infty \longrightarrow 8 \longrightarrow \infty$$

Это тоже неплохо, поскольку такое изображение включает в себя интуитивное изображение продольного среза:



и поперечного среза:



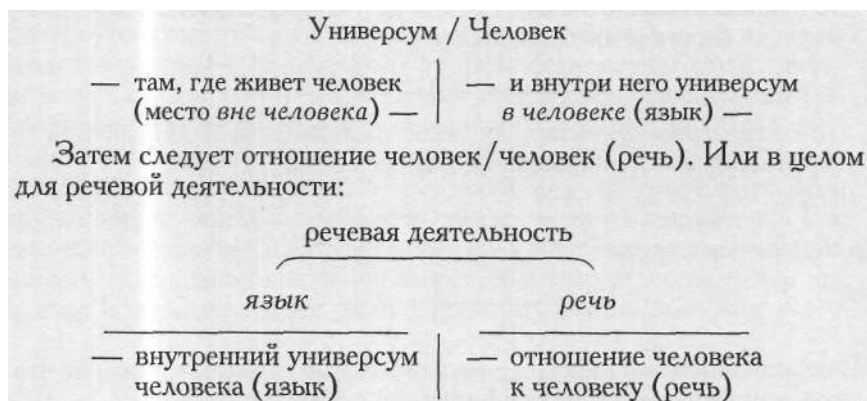
В отношении продольного среза необходимо сказать, что это не что иное, как использование канонической формулы:

$$\infty \longrightarrow 8 \longrightarrow \infty,$$

применяемой при решении трудных задач, которые мышление встречает на пути сохранения своей потенции при построении языка как средства сохранения этой потенции. Отсюда в результате многократного применения канонической формулы к самым разным случаям видение на уровне понимания открывает в языке многочисленные аналогии. Язык придает форму этим аналогиям, и получившаяся в результате конфигурация составляет грамматику языка и еще кое-что большее. В этом многообразном диахроническом изображении все время встречается отношение всеобщее/единичное, и все время этот механизм сводится к элементарному поиску точного местоположения, где всеобщее представляет собой место, больше которого ничего быть не может, а в глубине всеобщего единичное представляет собой место, меньше которого ничего быть не может...

...Здесь заметим: в основе лежит отношение универсум/человек. *Человек* — наименьшее местонахождение специфической мысли, мысли человека, отличающейся от мысли животного; а *универсум* — местонахождение мысли, которая, если человек должен ее понять, должна в очень большом масштабе быть формальным эквивалентом мысли человека в том очень малом, каким она является. Разница здесь в размере, но не в форме. В глубинах человеческого разума, всех его умозаключений происходит ассимиляция универсальной мысли с мыслью человеческой. Тема эта широка. Сокращение ее широты применительно к лингвистике показывает нам отношение универсализации и сингуляризации...

... В речевой деятельности наблюдается большая свобода конфигурации все того же отношения: U/S/U. Интуитивная механика представляет собой тонкую вариантность этой инвариантности, вариантность изнутри. В своей основе каноническая формула U/S/U конкретна и имеет форму:



Речь строится на основе языка.

Рассматривать речевую деятельность подобным образом — значит быть реалистом. Почему? Потому что, если рассматривать ее в целом, она составляет законченное сооружение, построенное для сохранения потенции мышления и, кроме этого, для того, чтобы дать возможность общаться человеку с человеком, используя такое средство, как язык. Но это вторично, это применение вещи, а не строительство ее, которое составляет действительный предмет науки о языке. Строительство и построенное состояние: к счастью, одно строительство обнаруживается в другом (в построенном состоянии). Строительство само по себе убыстряется или замедляется, и в силу замедления становится способным преломлять свое предшествующее быстрое развитие. Именно это преломление в самом строительстве и образует построенное состояние языка. Таким образом, в построенном состоянии мы имеем, к счастью, образ процесса построения. Мы должны быть благодарны богам за это, поскольку, если бы дело обстояло иначе, не было бы людей, говорящих на человеческом языке, и не было бы лингвистов. <...>

Большая ясность царит в результатах наблюдений и анализа, которые не были бы достигнуты, если бы я был философом, логиком, психологом или традиционным лингвистом. Для достижения этой простой ясности мне надо было стать *неважно кем* с обычным человеческим мышлением. Затронутые проблемы неизбежны для человеческого мышления. Избежать их можно при условии опуститься ниже человеческого мышления. Но для *homo loquens* они неизбежны с того момента, как он появился в истории в таком качестве. Это объясняется тем, что ему необходимо их знать, решать, а для того,

чтобы их решить, надо получить для себя образ их решения. Этот образ и есть язык.

Печатается по изданию: *Гийом Г.* Принципы теоретической лингвистики. — М., 1992.

Вопросы

1. Как представлял себе Г. Гийом «истинное положение вещей» в отношении языка и мышления?
2. Почему, как говорит Г. Гийом, «без перехвата мышлением самого себя» невозможно осуществление мыслительного, языкового, речевого действия? Почему эту операцию «перехвата» он определяет как фундаментальную для порождения феномена мысли (как мы бы теперь сказали, феномена мысле-рече-языкового образования)?
3. Как определил Г. Гийом задачи научного направления, названного им психосистематикой языка?
4. Как проинтерпретировал Г. Гийом основной механизм языкового (и мыслительного) действия?
5. Как понимать высказывание Г. Гийома о языке как «когерентном, построенном, великом творении...»?
6. Почему Г. Гийом не удовлетворяется понятиями логики по отношению к языковым реалиям?
7. Как разъясняет Г. Гийом свой тезис: «Язык сам является теорией»?
8. Что такое «молчаливое мышление», по Г. Гийому?
9. Как объясняет Г. Гийом сохранение системности языка при действии в нем противоположных тенденций? Какое важное свойство языковой системы здесь выделяется?
10. В чем состоит, по Г. Гийому, принципиальная трудность изучения мыслительных операций?
11. Какими качествами должна обладать, по Г. Гийому, морфемная система языка для успешного выполнения речевого действия?
12. Каким образом Г. Гийом различает значение формы в языке и его контекстное значение?
13. В чем, по мнению Г. Гийома, состоит основное отличие языка человека от языка животных?
14. Что значит, по Г. Гийому, хорошо думать?
15. Как показывает Г. Гийом, что человек творит язык «по образу и подобию самого человека»?
16. Как понимает Г. Гийом факт, что человек «измерил» мир словом? Почему умение человека производить *измерения* Г. Гийом называет «его привилегией»?
17. Как на основе формулы представляется в психосистематике Г. Гийома феномен мысле-рече-языкового единства?
18. Г. Гийом пишет: «...проблемы строительства... языка, которым он (человек. — А. К.) пользуется для подтверждения своей самостоятельности в мире "вне-меня"... и применения этого мира "во-мне"... ему необходимо их знать, решать, а для того, чтобы их решить, надо получить для себя образ их решения. Этот образ и есть язык». Какое научное направление может разъяснить это положение?



15. В.ДОРОШЕВСКИЙ О ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

Мозг является своеобразным микрокосмом, правильное функционирование которого является условием познания и овладения космосом, теперь раскрытым перед человеком.

В. Дорошевский

Витольд Ян Дорошевский (1899—1976) — языковед, специалист в области семиотики, профессор Варшавского университета (с 1928 г.), редактор журнала «Pogadnik jezykowy» (с 1932 г.), главный редактор «Słownika języka polskiego» (1969), член Polskiej Akademii Umiejętności (главной научной организации в Польше) (1928), член Польской Академии наук (1952); награжден медалью международного значения «За заслуги перед человечеством».

Библиография его научных работ включает более 500 наименований. Научная деятельность В.Дорошевского охватывает широкий спектр областей языкознания: словообразование, фонетику, диалектологию, историю языка, лексикографию и лексикологию, общее языкознание и методологию языкознания (философию языка, связь языка и мышления, явление предикации), проблемы культуры языка и восприятия речи.

В.Дорошевский разработал концепцию словообразовательной структуры слова, позволяющую проводить сопоставительный анализ словообразовательных фактов неродственных языков, что значимо для психолингвистики, поскольку такой анализ представляет факты языка в их неразрывном единстве как феномена мысли-

рече-языкового образования. «Существительное *rola* в современном виде не поддается такой аналитической интерпретации, но крестьянин, определивший *rolq* "пашню" как "то, что пашут", руководясь при этом не ощущением строения слова, а здравым смыслом и своим житейским опытом, знанием того, что связано с десигнатом слова, сумел выразить все это в словах, которые хорошо определяют и десигнат как объект, на который направлено действие говорящего, и знак этого десигната со стороны взаимоотношений между образующими его компонентами (*rola* — в терминах метаязыка — пассивный субъект деятельности пашущего). Оба эти момента — онтологический и морфологический (структурный и словообразовательный) — нужно всегда иметь в виду в процессе словообразовательного анализа и семантической интерпретации слов. ***С такой точки зрения можно сравнивать слова независимо от их этимологических связей***» (выделено мною. — В. Р.) [1].

Методологически В. Дорошевский исходит из того, что языковая реальность есть продукт мыслительной работы, она информирует о работе мозга, об осознании впечатления, которое получил человек при взаимодействии с миром. «Ограничиться в изучении языка анализом слов как элементов второй сигнальной системы и сопоставлением этих элементов в их взаимных корреляциях — значит закрывать себе путь к пониманию механизма этой системы и игнорировать причинные факторы ее функционирования» [1, с. 24].

Научное творчество В. Дорошевского развивает семиотический, а фактически психолингвистический, аспект рассмотрения языковых явлений. Ученый сам пишет, что ему тесно в рамках языкового знака как просто знака: «...единицы, которые должны образовывать систему, уже с самого начала не уместаются в рамках ее целого, так как сущность каждого знака — вызвать рефлекс, направленный за пределы системы, рефлекс, состоящий в **практическом** понимании функций языка» (выделено мною. — В. Р.) [2, с. 104].

Психолингвистика нуждается в выявлении роли языкового знака в осуществлении человеком мыслительной деятельности. В Дорошевский развивает идею познавательной функции языка, а точнее познавательно-ориентирующей, он обнаруживает ложно-ориентирующую функцию слова: «...в словах не только заключается знание, накопленное в опыте многих поколений, — в них есть и опасность фетишизма, парализующего мысль, деформирующего картину мира в глазах людей, пользующихся словами и склонных гипостазировать их содержание» [2, с. 117].

В. Дорошевский выявляет также способ реализации языковым знаком своего значения — предикацию, которая согласованно входит в механизм мысле-рече-языкового действия: «Способность к предикации составляет основную функцию человеческого мозга, который фильтрует впечатления, образующиеся в результате реакции анализаторов на внешние раздражители таким образом,

что окружающий нас мир предстает перед нами не как хаос, а как непрекращающееся движение элементов, взаимовлияющих, взаимосвязанных, подчиняющихся упорядочению в категориях подлежащих и отношений» [2, с. 183]. В своей работе [см. 2] В.Дорошевский говорит о предидирующей функции слова и о том, что «собственно говоря, в языке нет элементов, никак не связанных с понятием предикации; это понятие сводится к рассмотрению одних элементов в их отношениях к другим: каждая мысль о каком-то элементе является формой его локализации в пространстве и времени, его соотносением с некоторой ситуационной структурой, а это соотношение и есть предикация» [2, с. 145].

О языке как о сложном образовании, вступающем в самосогласовательные отношения в системе познавательного-ориентирующего действия, называемой «человек», может говорить только психолингвист — специалист, имеющий дело с природой языкового действия, поскольку «взаимозависимости элементов двух сигнальных систем выходят за пределы компетенции грамматиста и зачастую чужды его интересам» [2, с. 145].

В. Дорошевский говорит о языке как явлении био-психо-социальном [см. 3], а это значит, что психолингвистика предметом своего изучения имеет мысле-рече-языковую деятельность и язык как феномен мысле-рече-языкового образования.

Литература

1. *Doroszewski W.* O funkcji poznawczo-społecznej języka. — Warszawa, 1973.
2. *Дорошевский В.* Элементы лексикологии и семиотики. — М., 1973.
3. *Doroszewski W.* Język, myślenie, działanie. — Warszawa, 1982.

В. ДОРОШЕВСКИЙ

ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕКСИКОЛОГИИ И СЕМИОТИКИ

(Извлечения)

VII. МЫШЛЕНИЕ КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ЯЗЫКОВОЕ МИФОТВОРЧЕСТВО. ПОНЯТИЕ ПРЕДМЕТА МЫСЛИ. ПОНЯТИЕ ЗАКОНА. ДВЕ СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

My she («мыслить») — значит «осознавать отношения зависимости между вещами», это означает, что мы должны стремиться к тому, чтобы наша мысль определялась не факторами, заключенными

ми в монаде нашего «я», а факторами, внешними по отношению к нашему сознанию. «Осознавать отношения зависимости между вещами» — значит идти по пути, ведущему к открытию законов, управляющих разными областями действительности. Обнаружение этих законов — конечная цель познания¹.

Без непрерывных контактов со средой организм не смог бы существовать. Без непрерывных контактов «я» с «не-я» были бы невозможны процессы мышления: понятие этих контактов входит в само семантическое содержание формы *cogito*. Если мы констатируем, что границы между восприятиями и понятиями весьма расплывчатые, это означает одновременно, что в содержании индивидуального сознания объективные и субъективные элементы внешнего и внутреннего происхождения (экзогенные и эндогенные) непрерывно переплетаются друг с другом. Как целостная система, организм отличен от среды; одновременно он сам является своей средой, которую составляют части тела, мускулы, кровообращение, нервная система с ее высшими центрами, т. е. мозгом. ... Ян Непомуцен Каменский был автором книги «О философском характере нашего языка» («О filozoficzności naszego JQzyka»), из которой можно было узнать, что слова *jesc* «есть (пищу)», *juz* «уже», *ja* «я», *jestem* «я есть» восходят к одному общему корню, что должно было, по мнению автора, помочь постигнуть ту истину, что «я» тогда приходит к самоосознанию, т. е. к осознанию того, что оно *есть*, когда поймет (*уже*), что *еда* не самая важная его функция.

Мицкевич написал целый трактат², в котором, стремясь охватить все компоненты речи единым синтезирующим взглядом, высказывал следующие соображения о гласных: «В гласных проявляется невидимый мир речи, в согласных — мир видимый... Общее значение: О — во всех славянских диалектах означает вселенную (*universum*), бесконечность, ограниченную миром, видимую. Е — поверхность мира. У — глубину. Y — высоту. Знак *h* или *ch* — не гласный и не согласный, это самый духовный знак, означающий явление духа. I — гласная человеческая, знак человеческого духа. А — в человеческой сфере то же, что О — в сфере мира. Согласные: В — взрыв духа в видимом мире..., Ch — свободный дух, к — дух в мире, называемом организмом, g — в неорганическом мире». Далее речь идет о том, что «J — все то, что не я (хотя польское *ja* начинается как раз с *j* - . — В.Д.)... Есть сращения *j* с внешним миром, не организмом... греческое *p* (*po*) — самый человеческий знак, явление *j* в мире, как *ch* — явление духа, божества». После нескольких замечаний в том же духе синтезирующий вывод: «Из

Толковый словарь русского языка АН СССР (в 4 томах) определяет *мыслить* как «рассуждать, сопоставляя явления объективной действительности и делая выводы». — Прим. ред.

² Mickiewicz A. Uwagi o j^zyku (Pomysly etymologiczne) // Dzieła: Wydanie narodowe. — Т. VII. — С 237 — 258.

различного явления и влияния духовных и человеческих гласных (своеобразное противопоставление. — В. Д.) на согласные, а отсюда из различных их сочетаний возникает вся человеческая речь. Все корнесловы можно разложить на три знака». Как видим, приведенные рассуждения для Мицкевича не игра свободных впечатлений, это должны были быть кирпичики, из которых можно было бы построить целое здание речи. Латинское слово *Quirites* «квириты» Мицкевич объединял в этимологическом отношении с украинским *курень* (*kurites* — «воины одного куреня»), *plebs* — с польск. *plewu* «сорняки», *canis* «собака» — с *canere* «петь» («крикун, как *нетух* — от *неть*»); это объяснение совпадает с известной латинской поговоркой *canis a non canendo*, но с противоположной стороны подходит к этой ассоциации. Известны такие «этимологии»: *Nabuchodonozor* — «пе Boh jedno sag» (Мицкевич); *Rzepicha* — «ze русгц была», *Polska* — «na bol skata», *Rytygier* — «Ryzy Tygrys», *Boleslaw* — «boli go slawa», *Mieczyslaw* — «miecz i slawa» (Словацкий)¹.

В связи с рассуждениями такого рода напрашиваются два замечания. Во-первых, все эти рассуждения противоречат тому, что мы признали выше сутью процесса мышления, который состоит в общении с объективными, действительными элементами и в стремлении вскрывать связи между этими элементами. В самом понятии мысленной интерпретации содержится момент диахронии, хотя бы в том только значении, что мысленный акт интерпретации относится к чему-то, что происходило раньше этого акта, что является по отношению к этому акту уже чем-то совершившимся. Ближе всего к чистой синхроничности акт перцепции, как безусловный рефлекс, но и в этом случае не лишены значения предыдущие состояния сознания воспринимающего субъекта, или так называемая апперцепция. Руководствоваться близостью звучания при интерпретации взаимоотношений слов: *Quirites* — курень, *Boleslaw* — *boli slawa* — значит быть всецело во власти впечатлений (Теодор Томаш Еж написал как-то о Мицкевиче, что, как каждый художник, он «раб впечатлений»), которые относятся исключительно к индивидуальному сознанию, значит оставаться в замкнутом кругу субъективного «я». <...>

Во-вторых. В интроспективном размышлении об отношении «я» к «не-я» (например, в связи с согласным *j*, а также в других случаях) Мицкевич высказывает иногда суждения, которые имели бы вполне реальное содержание, если бы мы понимали их не согласно субъективным намерениям поэта, своеобразно сублимирующим значения слов, а в соответствии с первичным, социально закрепленным, этимологическим содержанием этих слов. Если поэт пишет, напри-

Навуходонор — «не бог, только царь», *Жепиха* (жена легендарного польского короля Пяста) — «что спесива была», *Польша* — «к боли скала», *Рытыгер* (легендарный германский вождь) — «Рыжий тигр», *Болеслав* — «больно ему от славы», *Мечислав* — «меч и слава». — Прим. перев.

мер, что согласный В — это «взрыв духа в видимом мире», то достаточно слово *дух* понять в его первичном значении дыхания, чтобы все суждение обрело смысл: согласный *В* является согласным взрывным, акустический эффект которого («в видимом мире») зависит от взрыва, прерывающего смычку губ под воздействием «дыхания» воздушной волны, идущей из легких. Этот случай очень показателен, возможность рационализации мистического замысла высказывания, скорее, случайна, но в принципе мы имеем здесь дело с тем же самым явлением, которое мы рассмотрели... Буйные взлеты индивидуальной мысли, лишенные всякой объективной обусловленности, можно корректировать путем обращения к тем элементам здравого смысла, которые составляют его социально скристаллизовавшийся осадок в семантических содержаниях некоторых слов. Это может относиться даже к высказываниям философов.

«Философам достаточно было бы свести свой язык к обыкновенному языку, от которого он абстрагирован, чтобы узнать в нем извращенный язык действительного мира и понять, что ни мысли, ни язык не образуют сами по себе особого царства, что они — только *проявления* действительной жизни»¹.

В задачи лексикографии входит не только исследование семантического содержания слов в связи с разработкой словарных статей, но также участие в языковом мышлении как общественном процессе, состоящем в поисках максимальной ясности и простоты как в разделении значений слов на рубрики, так и в способах интерпретации этих значений в определениях. Стремление к наиболее ясному и наиболее простому способам выражения мысленных содержаний неизбежно сочетается с работой над этим содержанием, над тем, чтобы «*odpowiednie das rzeczy stawo*» («найти слово, соответствующее вещи»). Ясность и простота — недостаточное, но необходимое условие высказывания истинного суждения. Кроме того, это условие, абсолютно необходимое для оценки того, содержит ли суждение истину или ложь. Круг проблем, при рассмотрении которых можно успешно пользоваться словами с ясным и продуманным содержанием, еще не сужеными до функции специальных терминов, значительно шире, чем обычно думают. Сократ не тратил время попусту, когда ходил по улицам и задавал людям вопросы, на которые хотел получить простые ответы. Расширение круга проблем, которые можно рассматривать в простых словах, относится к важным задачам лингвистики, понимаемой как наука не только общественно-историческая, но и общественно-педагогическая.

Механизм функционирования организма совершенно неизвестен среднему человеку; это общее незнание относится также и к механизму процессов речи; мы говорим, не осознавая, каким образом моз-

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.: В 48 т. — 2-е изд. — М., 1955. — Т. 3. — С. 449.

говые импульсы мобилизуют двигательные центры речи, так же как, поднимая руку, мы не знаем, при помощи каких мышц мы приводим ее в движение. Я могу, например, думать и говорить о своей правой руке и, подумав, понимаю, что это значит, что моя правая рука является предметом моей мысли, а именно, что это значит: физические изменения, происходящие в моей руке со времени самого раннего моего детства до этой минуты, не касаются отношения моего «я» к моей руке; это отношение неизменно; в этом же значении можно сказать, что как предмет моей мысли моя рука неизменна. Это условная формулировка; на самом деле неизменно отношение моей руки к моему «я». Предметом моей мысли я могу сделать не только любую часть своего тела, но и все свое тело, весь свой организм. Из того, что я могу думать о своем организме, не следует, что мое «я» — бестелесное и ввиду этой бестелесности внешнее по отношению к моему телу (подобное рассуждение приводило Декарта к выводу о существовании непространственной души, а Дюркгейма к выводу о внешнем характере «коллективных представлений» [representations collectives] по отношению к каждому индивидуальному мозгу). Каждый, кто убежден в бестелесности своего «я» (если только это убеждение действительно является мысленным убеждением, а не пассивным навыком, результатом закрепленных словесных ассоциаций), тем не менее убежден в том, что его «я» не находится где-то в ином месте, чем он сам: если моя особа, мое тело находится здесь, *hic et nunc*, это значит, что я в данную минуту нахожусь здесь, а не там, не за дверью, не на крыше и не за окном. Я могу «отсутствовать душой», могу быть в какой-то момент мыслями далеко от места, в котором находится мое тело, но все это только образные способы выражения: «в мыслях я у моря» означает — я оживляю в себе воспоминания картин, которые я видел когда-то во время пребывания у моря, я представляю себе, что я у моря, и под влиянием этих внутренних раздражителей я могу утратить контакт с окружающей средой, не реагировать на внешние раздражители¹. <...>

Принципиального различия между тем, что я могу подумать о своей руке, выделяя ее как предмет моей мысли, и тем, что я могу подумать о своем организме как целом, нет — и тем, и другим я обязан способности моего мозга конституировать предметы мысли, обозначаемые при помощи слов, т. е. становящиеся десигнатами слов. Эта способность мозга может быть направлена и на сам мозг и на управляемый им организм. В данном случае тесная, неразрывная связь между способностью мыслить и способностью пользоваться словами не подлежит сомнению. Нет материальной границы, кото-

¹ Мы не затрагиваем здесь явления телепатии, передачи мыслей на расстоянии, как слишком мало исследованных. Человеческий мозг можно, впрочем, рассматривать как радиостанцию малой мощности, которая способна передавать и принимать электромагнитные волны, служащие для передачи информации.

рая отделяла бы руку от всего тела. Не совсем определенная предметная отдельность руки находит разнообразное отражение в разных употреблениях слова *рука*, которое может обозначать или хватательную часть верхней конечности от запястья до кончиков пальцев, или всю верхнюю конечность от плечевого сустава до кончиков пальцев. Если бы не было слова *рука*, существовали бы только комплексы ощущений, которые не могли бы быть осознаны как некоторое целое. Существование слова я — условие и свидетельство осознания мною своего тела, своего организма как целого. Слово я как звучание или написание является своего рода предметом, внешним по отношению к моему сознанию, без этого слова у меня не могло бы быть соответствующего ему понятия. Слово я — внешнее по отношению к моему сознанию, совершенно так же как и по отношению к сознанию любого другого члена моей языковой среды. Слово я, как и всякое другое, — один из элементов общественной среды. Реальное содержание понятия «я» для каждого из членов общности — иное и своеобразное, так же, как своеобразна личность каждого индивида. Но тип мыслительной реакции каждого индивида на слово я как на знак определенного содержания у всех одинаков, поэтому каждый человек, встречаясь с употреблением местоимения я, соответствующим образом воспринимает его релятивно. Один советский лингвист хотел узнать во время обследования у своего собеседника-юкагира, как будет звучать на юкагирском языке предложение, соответствующее русскому «я режу». Информант, которому был задан этот вопрос, ответил предложением, которое по-юкагирски означало «ты режешь». Спрашивающий понимал местоимение я метаязыково, как общий предмет мысли, не соотношенный реально с определенным местом и временем, не определяемый ситуационно формой и содержанием сказуемого, т. е. не как знак реального подлежащего, определенного 1-м лицом единственного числа глагола; тот, кого спросили, отнес местоимение я к тому, кто произнес русское предложение, понял, что десигнатом местоимения является тот, кто в момент разговора соединяет с этим местоимением сказуемое *режу*, и воспринял содержание предложения со своей точки зрения, правильно рассудив: тот, кто говорит о себе «я», — для меня «ты». В уме каждого из собеседников существовало понятие, соответствующее местоимению я, и оба умели пользоваться этим понятием (предметом мысли), понимая его в различных имманентно-языковых и онтологических отношениях.

Когда мы говорим, что в сознании людей, обладающих способностью пользоваться словами, существует понятие «я» (языковые знаки для которого могут быть разные: ja, ego, je, I, ich и т. д.), мы высказываем, по сути дела, следующее содержание: каждый из говорящих обладает способностью сделать понятие своего «я», т. е. самого себя, предметом своей мысли, и именно эта способность каждого из говорящих пользоваться определенным понятием и делать его предметом своей мысли определяет то, что мы можем высказать суждение

о существовании данного понятия. Суждение «существуют понятия определенного содержания» означает: «существует мозг, способный функционировать определенным образом, конструировать определенные предметы мысли». Когда я применяю местоимение я к себе самому, то это точно такой же акт мышления, как и акт, на основе которого я понимаю, что местоимение я применяет к себе кто-то другой.

Каждое понятие — это чья-то мысль, функция чьих-то мозговых клеток; общее содержание мыслей является потенциальным предметом мысли тех, кто осознает это общее содержание, а не самостоятельной субстанцией, существующей вне всякого сознания; если я, например, понимаю, что значит местоимение я, — это значит, что я понимаю, что хочет сказать каждый, кто употребляет это местоимение. Сущность спора о существовании общих понятий та же самая, что и спора о существовании каких бы то ни было понятий, а также представлений или содержания восприятия. Каждый так называемый языковой факт является чьим-то поведением, чьим-то артикуляционным, слуховым, представленческим действием. То, что иногда называют моделями или образцами, определяющими поведение говорящих индивидов, — это типы речевых актов, а эти типы представляют собой предметы мысли тех, кто осознает, что есть общего в речевых действиях индивидов, и формулирует суждения о системных фактах языка. ...Идеальный предмет мы можем определить¹ как «то, что не может быть воспринято ни чувствами, ни с помощью приборов, увеличивающих способности чувственного восприятия, и что мыслится существующим как-то иначе, чем существование чьих-то мыслей», или, короче: то, что считалось бы существующим иначе, чем как потенциальный предмет чьего-то восприятия или чьей-то мысли. Так трактуемое понятие идеального предмета можно определить латинской формулировкой, образно выражающей некоторые мысленные оттенки: «*id quod поп percipitur sensibus neque instrumentis et quod praesumitur esse (existere) aliter (alio modo) quam cuiusvis cogitatio*». Все, что существует, существует или как *ens perceptibile* — объект перцепции, или как *ens inteltigibile* — предмет мысли, всегда чьей-то мысли. <...>

Врагом языкознания как науки в значительной мере является то, что составляет предмет его исследования, а именно слова; ибо в словах не только заключается знание, накопленное в опыте многих поколений, — в них есть и опасность фетишизма, парализующего мысль, деформирующего картину мира в глазах людей, пользующихся словами и склонных гипостазировать их содержание.

В этой связи возникает сложная проблема реальности геометрических фигур и их отношения к понятию идеального предмета. В категориях понятий, сформулированных в наших рассуждениях, эта

¹ Ср.: Doroszewski W. System j^zyka a procesy mowy // Sprawozd. z Prac Wydz. I PAN. — 1963. — Z. 1. — С. 1—16.

проблема представляется следующим образом. Геометрические фигуры существуют как потенциально осознаваемые идентичные мысленные (представленческие) содержания в умах (мозгу) тех, кто представляет себе эти предметы. Существует связь между понятием треугольника и восприятием предметов, имеющих форму треугольника, так же как между понятием круга и восприятием плоских круглых предметов. И в этом случае язык и мысль соединены неразрывной связью. Предмет треугольной формы, например треугольник как предупреждающий знак на перекрестке улиц, является предметом моей перцепции, раздражителем, который я определенным образом интерпретирую и который детерминирует определенную реакцию (уменьшение скорости машины). Слово *треугольник* является таким раздражителем, который вызывает у меня представление (воспоминание) виденных предметов треугольной формы, и в то же время это слово имеет определенное понятийное содержание, закрепленное в качестве социального факта в его структуре, или словообразовательном строении: слово *треугольник*, состоит из корня числительного *три* и корня существительного *угол*, соединенных таким образом, что целое означает фигуру, состоящую из трех углов, или же имеющую три угла. Слово *треугольник* своим семантическим содержанием и своей структурой сигнализирует отношение понятия угла и понятия числа 3. Слово как целое, означающее этот тип отношений, представляет собой кристаллизованный в языковых формах мысленный динамический стереотип, свидетельства которого в польском языке, кроме слова *trojkat* «треугольник», являются такие слова, как *trojzab* «трезубец, предмет, состоящий из трех зубьев», *trojmasto* «три города, слившиеся в один», *trojkskok* «тройной прыжок, прыжок, состоящий из трех последовательных (более коротких) прыжков». Понятийный объем названия не связан необходимым образом с его формальной структурой, это доказывает сопоставление польской формы *trojkat* с русской формой *треугольник*, идентичной по содержанию и отличающейся наличием форманта *-ник*. Довольно точное соответствие польск. *trojka*: — нем. *Dreieck*. Франц. *triangle* имеет генетически (лат. *triangulus*) такую же структуру, что и польск. *trojkat*, но первый элемент этой структуры *tri-* отличается фонетически от *trois*, названия числительного 3 (польск. *troj* — раньше означало «тройной», ср. у Шимоновича «*trojpot idzie z szoga*» — «три пота сойдет с лица» [букв.: «тройной пот стекает со лба»], по звучанию ассоциируется с живой в польском языке формой *troje*). В англ. *triangle* [ˈtraɪəŋɡl] первый слог еще больше, чем во французском названии, отличается по звучанию от *three*, названия числа 3.

Благодаря существованию слов, обозначающих в разных языках треугольную фигуру, мы можем констатировать, что в сознании (в мозгу) людей, говорящих на этих языках, существует мысленный стереотип, заключающий в своем содержании понятийные элементы числа 3 и угла. Этому содержанию, как показывают рассмотрен-

ные нами примеры, соподчинены формальные элементы названий треугольника в разных языках. Название треугольника, каким бы ни была его формальная структура, является условным раздражителем, способным разбудить в нас абстрактный мысленный стереотип, оно является знаком этого стереотипа; в то же время оно выступает как доказательство того, что этот стереотип представляет собой фрагмент мышления как общественного процесса, т. е. что предмет, состоящий из трех сторон и трех углов, выделен из общего фона действительности в качестве десигната названия с определенным понятийным содержанием. Как же мы должны, следовательно, ответить на вопрос: существует ли реально геометрическая фигура, называемая треугольником? К положительному ответу на этот вопрос нас склоняет факт, что, во-первых, существуют конкретные предметы треугольной формы, во-вторых, определенное соотношение сторон и углов в фигуре, называемой треугольником, является предметом мысли, соответствующим в качестве десигната названию треугольника. Иными словами: реальность существования обеспечивает треугольнику как геометрической фигуре то, что треугольники-предметы бывают объектами перцепции, треугольник-понятие является объектом мысли, одной из форм деятельности человеческого мозга. Слово *треугольник* мы понимаем и в плане представлений и в плане понятий; элементы представления могут еще содержаться в слове *пятиугольник*, но слово *тысячеугольник* мы уже понимаем только понятийно как знак фигуры, состоящей из тысячи сторон и тысячи углов. Мыслить такую фигуру нам позволяет язык: без языка мышление геометрическими и вообще математическими понятиями было бы невозможно (это может относиться и к понятиям числовых структур). Анализируя содержание понятия «треугольник», мы констатируем, что составными частями этого содержания являются понятия сторон и углов, а этим понятиям соответствуют элементы разных конкретных предметов, например угол, образуемый пересечением двух стен, сторона улицы, сторона монеты, сторона света. Общим признаком геометрических фигур есть то, что это фигуры, элементы которых находятся в определенных пространственных взаимоотношениях, и это гарантирует реальность понятий, соответствующих этим фигурам. О числах можно думать вне связи с конкретными предметами и оперировать ими в математических формулах, но с их помощью можно также считать предметы, соотносить их с предметами. Понятие «кентавр» состоит из некоторой комбинации пространственных элементов: существуют люди и существуют кони, но нет существа, которое было бы соединением человека и коня. Поэтому можно констатировать, что представление о кентавре существует постольку, поскольку кто-то представляет себе кентавра, но нет соответствующего этому представлению реального существа, поэтому это фиктивное представление. К классу понятийных гипостазисов, фиктивных субстанций, мыслей, у которых в простран-

ственной действительности нет соответствий, относится понятие языка как субстанции, отделенной от людей, являющейся чем-то иным, чем речевые действия людей, чем определенные формы их деятельности. Языковые действия людей можно классифицировать в категориях определенных типов деятельности, т. е. типов активных языковых реакций человека на любые действующие на него раздражители. Лингвистика — одна из наук, предметом которой является человек, и это объединяет ее с такими науками, как антропология, социология, история, неврология, физиология, биология, философия. Общий предмет изучения этих наук — человек, благу которого и должны служить эти науки. Роль и общественную значимость языкознания как науки определяет предмет его исследования — языковые действия человека, принадлежащие к высшим формам его деятельности, его связей с жизнью среды.

Эту главу мы начали с замечания, что суть научного мышления заключается в стремлении вскрывать законы, управляющие той областью действительности, которую исследует данная наука. В последующих рассуждениях мы пытались объяснить механизм мышления, или той функции мозга, которая объективизирует содержание мыслей благодаря существованию слов и констатирует их как предметы мышления.

Когда мы задумываемся над тем, в какой области действительности следует лингвистике искать свои законы, мы должны прежде всего начать с уточнения того, что мы хотим найти, т. е. с выяснения понятийного содержания слова *закон*. Закон обычно объясняется в словарях как принцип, управляющий процессами в природе и обществе; его можно определить также как основание, причину регулярности, которую можно наблюдать в появлении определенных явлений. Это приблизительные определения, но они могут быть обоснованы постольку, поскольку единственный путь, ведущий к открытию действия каких-либо законов, — это наблюдение явлений, подвергающихся этому воздействию, вызываемых этим воздействием. Общим физическим законом считается закон всемирного тяготения. .. Знать, что существует закон тяготения, означает знать, что, если тело будет лишено точки опоры, изменится его положение, оно упадет или наклонится, чтобы найти новую опору. Это происходит всегда и с любым материальным телом. Эту связь необходимой последовательности во времени между явлениями *A* и *B* мы называем причинной связью; чем более общий характер имеют эти явления, тем более всеобщим является закон, устанавливающий зависимость между ними. Связи этой зависимости всегда обнаруживаются в пространстве и во времени. Глагол *существовать* имеет статический характер и вследствие этого положение «существует закон тяготения» так трудно интерпретировать, т. е. трудно ответить на вопрос: что значит «существует закон»? Если натуралист хочет объяснить явление дождя, он изучает атмосферные явления, тучи, их образова-

ние при испарении воды, их высоту, формы, факторы, вызывающие их конденсацию, и возникающие вследствие действия всех этих факторов атмосферные осадки. Семантическое содержание слова *дождь* натуралиста не интересует. Но оно представляет интерес для лингвиста; предметом его исследования является отношение, которое образуется между дождем как атмосферным явлением и тем, как воспринимается это явление языковым мышлением говорящих людей, или, точнее говоря: предметом исследования лингвиста является то, как человеческий мозг, обладающий способностью преобразовывать нервную энергию, передаваемую анализаторами под влиянием внешних раздражителей, в энергию, возбуждающую речевые центры и образующую слова, реагирует на раздражители, связанные с дождем, испытывая их непосредственно или же при воспоминании об этих ощущениях, хранящихся в памяти и ассоциирующихся со словом *дождь*, оживающих под действием этого слова как раздражителя.

По словарному определению *дождь* — это «атмосферные осадки в виде капель воды, падающих из тучи». Определение должно обратить внимание на явление, которое сигнализируется словом *дождь*, т. е. на объективное явление, внешнее по отношению к говорящему, иначе говоря, на дождь как элемент первой сигнальной системы. Но отношение слова *дождь*, элемента второй сигнальной системы, к атмосферным осадкам, входящим в область первой сигнальной системы, совсем не просто, ибо, говоря об атмосферных осадках, мы строим предложение, в котором сказуемое *идет* относится не к реальным компонентам осадков, т. е. к каплям воды, падающим из туч, а к общему понятию, ассоциирующемуся со словом *дождь*. Точно так же выделил подлежащее *снег* в одном из своих стихотворений поэт Галчинский: «Snieg za sniezynka. sniezynke, | Sypie na kazda^ choink§» — «Снег за снежинкой снежинку | Сыплет на каждую елочку»; реально падающие снежинки сигнализируются как своеобразная эманация, результат действия подлежащего «снег». Мы воспринимаем это как метафору, хотя это выражение не более метафорично, чем предложение «Идет дождь». В отношении содержания этого понятия к отдельным дождевым каплям можно видеть определенную аналогию с отношением между понятием закона тяготения и отдельными телами, подвергающимися действию этого закона. Видя капли воды, ударяющие снаружи в оконные стекла, я могу подумать: вероятно, идет дождь, или: капли стучат в стекло потому, что идет дождь. Выделение понятия дождя из отдельных падающих капель не слишком отличается от выделения понятия закона из наблюдаемых отдельных падающих тел. В обоих случаях мы имеем дело с интерпретацией данных эмпирического опыта в категориях обобщающих понятий. Обязыченный человеческий мозг — это *admirabilis fabrica*

¹ Выражение Цицерона о живом существе: «*admirabilis fabrica membrorum animantium*».

удивительный механизм, при помощи которого человек расчленяет действительность и в непрерывных реакциях на раздражители среды формирует свое отношение к ней, а так как он обладает способностью ассоциировать со своими реакциями определенные слова, он может закреплять в памяти воспоминания о своих реакциях и воскрешать их в ней благодаря словам.

Элементы обеих сигнальных систем воздействуют друг на друга. Словом *дождь* мы можем реагировать на вид капель или потоков воды, падающих, струящихся из туч, с другой стороны, слово *дождь* действует на нас как раздражитель, возбуждающий в нас ощущения контакта с дождем, физическим явлением. В двусторонних реакциях возможно переплетение самых различных элементов восприятий и понятий. Сумма нашего опыта, приобретенного в любых формах контактов с дождем-осадками и с дождем-словом, составляет семантическое содержание этого слова, а это краткое выражение включает все потенциально содержащиеся в клетках нашей памяти рефлекторные реакции на это слово.

Натуралист, который говорит «существует закон тяготения», и тот, кто произносит обычное в разговорном языке предложение *дождь идет*, или несколько отличное от него предложение польски *deszcz pada*, или подобное польскому сербохорватское *kisa pada*, по сути дела, аналогично выражают мысленное содержание при помощи слов, из которых они строят предложения, состоящие из подлежащего и сказуемого. Поэтому вспоминаются слова Ренана: «Два пути, составляющие, собственно, один путь, ведут к непосредственному и прагматическому знанию: для материального мира это физические науки, для интеллектуального мира — филология». Оба эти мира находят свое отражение в языке, в котором материал всех ощущений, восприятий, мысленных содержаний в ходе работы мозга преобразуется в слова. Эти слова являются для нас источниками информации как о продуктах реактивной, афферентной, или мыслительной, эфферентной, работы мозга, так и о внешнем мире, на раздражители которого мозг реагирует своей работой. Ограничиваться в изучении языка анализом слов как элементов второй сигнальной системы и сопоставлением этих элементов в их взаимных корреляциях — значит закрывать себе путь к пониманию механизма этой системы и игнорировать причинные факторы ее функционирования. Если, как мы уже несколько раз подчеркивали, из самого определения живого организма, следовательно, *a fortiori* из определения мозга, нельзя исключить элементы внешней среды, то очевидно, что для того, чтобы продвигаться вперед в изучении языка, следует, помня о требовании «постепенности анализа», помнить одновременно о неразрывности связей первой и второй сигнальных систем, не позволяя мысли блуждать в поисках психических законов, исходными пунктами которых должны были бы быть спонтанные импульсы, заключенные в душах, понимаемых как монады Лейбница.

На первое место в современной лингвистике все больше выдвигается проблема познавательной функции языка. Изучать эту проблему не значит задумываться только над тем, как люди думают при помощи слов и форм слов, но это значит задумываться над тем, желать познать и понять, как, что и о чем люди думают, пользуясь словами и формами слов. Понятия «как, что и о чем» — это синтаксические по природе понятия: *как*, — это модальность, *что* и *о чем* — дополнения. Думать что-то о чем-то — это что-то о чем-то предицировать, т. е. присоединять к подлежащему сказуемое. Когда я говорю «дождь идет», я соединяю определенное сказуемое с определенным подлежащим: констатируя это, я констатирую отношения, возникающие между словами как элементами второй сигнальной системы. Достаточно сравнить русское предложение «дождь идет» с французским «il pleut», чтобы констатировать, что идентичности реального содержания этих предложений не соответствует идентичность структур, а это значит, что способ реакции говорящих на разных языках на одно и то же явление неодинаков. Сравнительный анализ предложений, сообщающих об одном и том же факте на разных языках, мы можем провести, только проецируя различие структур этих предложений на общий фон их семантического тождества, а это означает, что в анализе предложений, состоящих из подлежащего и сказуемого, мы должны рассматривать отношения элементов второй сигнальной системы в связи с элементами первой сигнальной системы. Это положение элементарно просто, но одновременно оно является прочной основой многих следующих из него методологических требований очень широкого охвата. Одно из этих следствий касается способа понимания синтаксиса как науки. В соответствии со сформулированным положением мы определяем синтаксис как науку о таких отношениях между элементами действительности, которые отражаются и закрепляются в словесных формах и конструкциях. В разных языках отношения между онтологическими элементами (субстанциями) и элементами языковыми проявляются по-разному. Именно это разнообразие отношений между элементами двух сигнальных систем является областью, которую изучает лингвист, стремясь открыть действующие в ней законы. Предметом его исследования и одновременно (что очень усложняет его задачу) источником его информации являются так называемые языковые факты; на материале этих фактов он основывает свои выводы. Для того чтобы эти выводы имели систематический характер, следует изучать собранный материал под углом определенных вопросов и продвигаться вперед последовательными этапами, следующими друг за другом и вытекающими один из другого. Вопрос, который встает перед нами после изложенных рассуждений (не только в этой главе, но и в предшествующих главах), состоит в следующем: каким образом внешняя действительность («то, что есть»), а также все мысленные содержания расчлняются в сознании говорящих

людей при помощи языковых элементов? Иначе говоря: какие отношения связывают первую и вторую сигнальные системы? Этот вопрос можно разбить на следующие более точные и относительно простые вопросы: каковы могут быть отношения сказуемого к подлежащему, в чем состоит и как может осуществляться предикация чего-то о чем-то, какого рода действия мы понимаем под предикацией?

Печатается по изданию: *Дорошевский В.*
Элементы лексикологии и семиотики. —
М., 1973.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА

Жизнь каждого человеческого организма управляется определенными законами. Какие это законы, каков механизм функционирования этого организма, обычно об этом человек ничего не знает, хотя практически в каждую минуту своей жизни он послушен законам природы. Аналогичная во многих отношениях ситуация складывается в сфере использования человеком языка: говорящие реализуют в своей речи определенные нормы и закономерности, но не осознают этого, не знают факторов, которые определяют их языковое поведение. Отношения между языковыми элементами, с точки зрения логики, часто так неясны, затенены, что их точная формулировка представляет теоретические трудности, хотя в практическом использовании форм трудности чаще всего не возникают. Исследование языка может стать источником знания как о системных связях его элементов, так и о том запасе представлений о мире, который накоплен каждым языком.

Небольшой участок суши, окруженный со всех сторон водой, в польском языке называется *wyspa* (древняя форма слова *wysep*); это определение предмета со стороны его генезиса как бы с точки зрения скорее суши, нежели моря: *wyspa, wysep* — 'to, co zostaro wysypane'; сравни примеры у С. Б. Линде: «*Wish czqstokrocdawne wysepki piaszczyste roznosi, a nowe wysypuje*». «*Rzeki za czasem przez wyspy przy usciach znacznie przyczyniajq Iqdu*» (выделено мною. — Ж. В.) (Со словом *wyspa* этимологически связано слово *ospa* — от высыпания на коже пятнышек; *wysypka*).

Другой подход к тому же предмету в названии его на сербохорватском языке: *otok* — 'то, что обтекается'; сравни греческое *peri piou* — 'то, что оплывает (кораблем)'. Задачей лингвистики является исследование того, каким образом в коллективном и языковом сознании людей отражается действительность, каким образом она дифференцируется и интерпретируется. В разных языках это происходит по-разному.

Каждый поляк может представить себе возвышенность, отвесно обрывающуюся со стороны моря, но в польском языке для такой приморской возвышенности нет особого названия; поэтому можно

сказать, что она не является выделенным в языке и закрепленным в общественном сознании предметом мысли. Зато в пространстве французского языка соответствующий предмет мысли существует, о чем свидетельствует его название *falaise*, которое не удастся перевести одним словом на польский язык. Недавно появилась в польском переводе книжка, название которой на французском — *banquise* — 'плавающее ледовое поле' (не 'ледовая гора'; соответствующего названия в польском языке нет, поэтому переводчики, не имея возможности использовать в названии описательные выражения, оставили в заглавии непереуведенным французское слово).

О том, каким образом отражается в языке действительность, могут свидетельствовать не только слова, но также и их строение. Элементы строения слова мы можем рассмотреть на самых простых примерах, помня о принципе, что чем обширнее, сложнее проблема, тем важнее добираться при анализе до самых простых элементов, опираться в рассуждениях на самые элементарные утверждения, не размытые многословием.

Рассмотрим компоненты содержания такого простого предложения: «*ten kon jest siwy*». Слова *kon* и *siwy*, первое из которых является определяемым словом, второе — определяющим, являются названиями предмета и признака, воспринимаемых зрительно: я вижу коня и вижу, что конь сивый. Указательное местоимение *ten* несет содержание, основанное не на восприятии, а на суждении: его функция заключается в обозначении отношения говорящего к тому, о чем он говорит, в указании на что-то. В двусловном соединении *ten kon*, относящемся к коню, которого я данный момент вижу, местоимение *ten* подчеркивает конкретность и единичность этого увиденного коня. То, что слова «*ten kon jest siwy*» являются предложением, показывает грамматическая связка (или *srojka*, *copula*) *jest*. Связка является элементом, с помощью которого обозначение определенного признака становится сказанным о предмете (о коне, что он сивый). Слово *jest* не соответствует ни конкретному чувственно воспринимаемому предмету, ни конкретному чувственно воспринимаемому признаку. Связка *jest* является инструментом сказывания, основным структурообразующим элементом предложения, с его помощью языковое сознание людей схватывает отношения между элементами действительности.

Такое же значение, как соединение существительного *kon* с прилагательным *siwy*, несет существительное *siwek* (ср. русск. *куб-ка*. — Ж.В.). Его основой является прилагательное *siwy*, элементом же, соответствующим существительному *kon*, является формант *-ek*, с помощью которого осуществляется преобразование прилагательного в существительное. Смысловые отношения, возникающие между существительным *kon* в словосочетании *siwy kon* и формантом *-ek* в отадъективном существительном *siwek*, ограничено немногочисленными примерами: формант *-ek* обозначает коня в слове *siwek* (ср. также *buianek*), но в других аналогичных словообразо-

вательных формах он обозначает нечто иное: *smiatek* — 'smialy czlowiek (смелый человек. — Ж.В.)', *mitek* (весенний или летний) — название цветка (русск. *gorиццет.* — Ж.В.). Общим признаком форманта *-ek* в существительных, образованных от прилагательных, является образование названий предметов, определяемых со стороны какого-либо признака, поскольку они являются носителями, субъектами определенных признаков. В этом пункте понятие части речи — существительного — скрещивается с понятием подлежащего. Речь идет об элементарно простых вещах, которые должны были бы представлять исходную точку науки словообразования и синтаксиса в школьных программах.

Butanka — это название буланой кобылы, *bielik* — название белого орла. Слова эти различаются и с точки зрения того, что они значат как целое, и с точки зрения конкретных элементов их строения, однако они принадлежат к одному и тому же структурному типу, а именно, к существительным, в которых формант (*-ka* в слове *butanka* и *-ik* в слове *bielik*) является показателем определяемого субъекта, основа — показателем определяющего этот субъект признака.

Слово *biyszczka* может обозначать металлическую имитацию рыбки, насаживаемую на удочку при ловле щук, а кроме того, это название мотылька с блестящими крыльями: название может относиться к разным предметам потому, что у форманта *-ka* нет конкретного значения, он является только общим показателем понятия субъекта: *biyszczka* может обозначать любую блестящую вещь.

От глагольной основы *chwyt* — могут быть образованы разные субъектные названия с помощью разных формантов. В биологии употребляется слово *chwytacz* как название инструмента, с помощью которого достают ил со дна. Инструмент, предохраняющий канатную дорогу от разрыва вытяжного троса, носит название *chwytadio*. В ткацкой технике *chwytarka* — инструмент для захвата нити, *chwytaki pływowe* — устройство, придерживающее края ткани от высыпания. *Chwytko* в спорте — название кожаного мяча для игры. В кинематографической технике *chwytak* — вид зажима, с помощью которого кинолента передвигается на один кадр. *Chwytnik* — пинцет для точных работ, зато в ботанике — это одна из капиллярных клеток, которая служит растению для того, чтобы обвиваться вокруг других растений.

Таким образом, в польском языке существует серия названий: *chwytacz, chwytadlo, chwytarka, chwytka, chwytak, chwytnik* (см. примеры в новом словаре польского языка под редакцией автора данной работы¹), каждое из которых является названием какого-либо конкретного предмета, а кроме того, принадлежит к общему для всех названий структурному типу, в котором формант — указатель

¹ Słownik języka polskiego / Redaktor naczelny W. Doroszewski. — Warszawa, 1958. - Т. 1,

субъекта, основа — указатель функции, выполняемой этим субъектом. Конкретные обозначаемые названия различны, логико-синтаксический тип, по которому они все созданы, один и тот же.

Благодаря познавательной функции языка мы понимаем его функцию, основывающуюся на понятийной организации и классификации впечатлений (наблюдений), к этому собственно сводятся все словообразовательные процессы, т. е. создание форм, в которых одни компоненты связаны с элементами восприятия, другие — с элементами обобщающих понятий.

История языка, рассматриваемая с точки зрения его познавательной функции, — это история дифференциации действительности с помощью элементов языкового механизма, история, кратко говоря, самых разнообразных детальных случаев сказывания чего-то о чем-то. *Сказывать* значит приписывать определенному субъекту определенный признак (в понятие признака включается также понятие функции). В предложениях: «*kon biegnie*», «*dom stoi*», «*rzeka plynie*», «*kwiat wie.dnie*», «*syrena huczy*» — с определенными подлежащими соединены определенные сказуемые: они использованы с учетом отношений этих субъектов к контексту ситуации, отношений, определяемых с помощью сказуемых. *Budzik* (будильник. — Ж. В.) — это прибор, который должен будить: с точки зрения словообразования это типичное название исполнителя действия: будильник выполняет именно то самое действие, которое выполняло бы лицо, звонящее для того, чтобы разбудить кого-то. Субъект названия является субъектом с точки зрения его отношений к другим элементам окружения, а не с точки зрения того, что, выполняя действия, он реализует свое намерение. Понятие субъекта следует понимать «снаружи», а не «изнутри». Мы не можем здесь развивать эту мысль, поэтому остановимся на нескольких замечаниях.

С глаголом *pisac* (писать. — Ж.В.) мы соединяем представление о действии, выполняемом кем-то сознательно и целенаправленно: *wierszopis* — 'ten, kto pisze wiersze' ('тот, кто пишет стихи, стихотворец', ср. *stuxonlem*. — Ж. В.). Это название лица, исполнителя действия, так же, как слово *pisarz* (ср. русск. *писатель*. — Ж. В.). С точки зрения словообразования, точно такое же название исполнителя (*nomen agentis*), как *wierszopis*, построено из греческих корней название *anemograf* — буквально «*wiatropis*» (по-русски букв, «ветрописец». — Ж.В.). Функционирование этого прибора не является реализацией сознательно намеренного действия: действия анемографа целиком определяются теми объективными факторами, на которые прибор должен реагировать, и на этом основывается собственно разница между работой прибора и работой живого организма, всегда подверженного субъективным нарушениям. *Sternik* — это название субъекта лица, но в предложении «*skrzydlym statkiem kieruje sternik-automat*» ('крылатым кораблем управляет автопилот'. — Ж. В.) речь идет не о лице.

Во всех случаях автоматического функционирования приборов и во всяких случаях обратной связи, используя термин кибернетики, стирается граница между названиями исполнителей действия — лица и неллица. Это устраняет в определенной мере трудности классификации словообразовательных форм, поскольку позволяет относить к одной категории названия исполнителей и приборов, а кроме того, и иллюстрирует кое-что о связи языковых фактов с фактами и процессами, которые сегодня так знаменательны для технического и культурного развития общества; наконец, открывает теоретические перспективы для работ с машинным переводом.

Перевод Ж. В. Васильевой

Doroszewski W. Język. Myślenie. Działanie. - Warszawa, 1982. - С 191-194.

Вопросы

1. В чем состоит суть научного мышления? Как понимает В. Дорошевский, что значит мыслить?

2. Какие ошибочные интерпретации языковых фактов приводит В. Дорошевский? Чем, по его мнению, вызываются такие ошибки?

3. Благодаря чему достигается, по В.Дорошевскому, ясность и простота речи и мысли? Как ценит он эти свойства речи и мышления?

4. Насколько, как считает В.Дорошевский, естественно для человека незнание механизмов речевой деятельности?

5. Какое явление в феномене мысле-рече-языковой деятельности показывает В.Дорошевский, интерпретируя предметы мысли как десигна-ты слов?

6. Почему, как пишет В. Дорошевский, слова могут стать «врагом языкознания как науки», могут нарушить познавательную деятельность человека (выполнить, как он писал позднее, «ложно ориентирующую функцию»)?

7. Существуют ли, по мнению В.Дорошевского, расхождения между реалией, ее пониманием и словом? Приведите и свои примеры фиктивных субстанций. Какова роль и общественная значимость языкознания как науки в связи с этими явлениями?

8. Что значит, по В.Дорошевскому, понимать содержание закона? Как применяется это понимание закона в языкознании?

9. Как связывает В. Дорошевский законы действия в языкознании и природе? Почему при этом он упоминает слова Ренана: «Два пути, составляющие собственно один путь, ведут к непосредственному и прагматическому знанию...»?

10. Почему нельзя, по В.Дорошевскому, «ограничиваться в изучении языка анализом слов как элементов второй сигнальной системы и сопоставлением этих элементов в их взаимных корреляциях»?

11. Как непосредственно на фактическом языковом материале В.Дорошевский раскрывает познавательную (ориентирующую) функцию языка? Покажите это на примерах.



16. А.Ф.ЛОСЕВ О СМЫСЛОРАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

...И если мы скажем, что язык есть квантованное осуществление мысли и что человеческая мысль есть квантованно осуществляемый язык, то этим самым мы только достигнем современного общенаучного уровня...

А. Ф. Лосев

Алексей Федорович Лосев (1893 — 1988) — философ и филолог, профессор Московской консерватории (20-е годы), профессор кафедры общего языкознания МГПИ им. В.И.Ленина (с 1942 г.); библиография его научных работ включает труды по философии, классической филологии, эстетике, искусствоведению, общему языкознанию и составляет около 370 наименований.

Те, кто слышал живое слово А.Ф.Лосева, знают, каким оно было активным и полемичным при глубоком и тонком профессионализме. Алексей Федорович умел говорить со слушателем, не видя его (вследствие значительной потери зрения), но понимая и настраиваясь на него, вовлекая в круг интересующих его проблем. Со свойственной ему убежденностью он отстаивал свои взгляды, свое понимание языковых проблем.

В 1985 г. А.Ф.Лосев выступал на Ленинских чтениях в МГПИ им. В.И.Ленина с докладом «О предикативности языковых единиц любого уровня: фонемы, морфемы, слова, предложения». Изложенные тогда взгляды по сути своей представляют лингво-

философскую концепцию системной интерпретации языковых явлений. Лингвофилософская концепция предикативности лежит в основе современных представлений о мысле-рече-языковой деятельности человека.

В лингвистике понятие предикативности связывается прежде всего с синтаксической теорией предложения, с выделяемым в нем сказуемым — предикативным членом предложения — и морфологическими категориями глагола, позволяющими ему выполнять функции сказывания, ориентированными на выполнение синтаксической функции сказуемого. Во всех случаях предикативности — определение субъекта ('S есть P' или 'это *есть это*') — реализуется в специальной языковой форме, в сказуемом, в предикативных формах глагола: наклонения, времени и лица, позволяющих охарактеризовать явление во времени и пространстве.

Лингвофилософская концепция А.Ф.Лосева вытекает из общей предикативной функции языкового знака — значения и обозначения. Этот подход позволяет вскрыть логико-синтаксическую формулу предикативности ('это *есть это*') и в слове, и в морфеме, и в фонеме. Слово суть сокращенное предложение. *Солнце* — суть номинация: 'это есть это'. Грамматическая форма путем оппозиции форм различает значения: *читаю* — форма указывает на то, что 'действие выполняет говорящий'; *читаешь* — 'действие выполняет собеседник'; *читает* — 'действие выполняет лицо, не участвующее в речи'. Фонема выполняет смысловозначительную функцию, различает значение языковых форм в пределах морфем: *дам* — не *дам* (*милых дам*), и не *дым*, и не *дум*.

Лингвофилософская концепция предикативности А.Ф.Лосева интегрировала имеющийся опыт в лингвистике (исследований И.А.Бодуэна де Куртенэ, Л.В.Щербы, В.Дорошевского), сам же он особенное внимание уделял наиболее сложному моменту выявления предикативной функции фонемы.

Эта концепция имеет методологическую ценность, поскольку выявляет **основное конститутивное** свойство языковых единиц любого уровня. Она позволяет увидеть изоморфизм многоярусной системы изнутри, в своей сути, позволяет выявить **квантовый** характер такого сложного явления человеческой деятельности, как язык. «И язык, и речь, и вся человеческая жизнь, — пишет проф. Лосев, — есть не что иное, как квантованная, то есть квантованно-осуществленная смысловозначительная функция. Язык не есть просто мысль, но практически квантованная мысль. И речь не есть просто язык, но практически квантованная мысль» [1, с. 21]. **Квантование** — это свойство любой динамической системы, которое состоит в способности формировать минимальные единицы, обладающие свойствами динамического подвижного целого. **Квантование** — это отличительное свойство любой сложной саморегулирующейся системы, какой является и языковая система. «Обычно

части целого понимаются как нечто неподвижное и изолированное, а целое вульгарно мыслится как механическая сумма частей. Но квант не есть неподвижная часть, потому что он есть часть энергии, и потому самая подвижная и самая энергичная. И вот почему речевой поток как энергичное целое делится не на мертвые и неподвижные, то есть взаимно изолированные части, но именно на *кванты*, то есть на такие единицы энергии, которые сами тоже энергичны» (выделено мною. — В. Р.) [1, с. 21]. Кванты в языке — это на фонетическом уровне — фонемы, на морфологическом уровне — морфемы, на лексическом уровне — лексемы.

Особенное внимание А. Ф. Лосев уделял точности понятий, разработке современного терминологического аппарата [1, 2]. Рассматривая проблему применения общенаучных понятий, он обращается к области так называемых точных наук: математике, физике, химии. В шуточной песенке ученых-лингвистов отражена методологическая ценность его исканий¹.

Показательно, что создатели современной физики (теории относительности, квантовой физики) также обращались к достижениям гуманитарных наук: психологии, лингвистики, культурологии. В частности, один из создателей квантовой физики Н. Бор поражался удивительному сходству квантового описания микромира и некоторых особенностей биологических, психических и социальных явлений. Там и здесь наблюдается, с одной стороны, достаточная соотносительность и системность элементов, а с другой, неоднозначность отклика, стохастичность, беспорядочность реакций при одинаковых положениях. «И, вообще, всякое человеческое слово в основе своей обладает смысловым зарядом, от которого часто неизвестно чего и ожидать. И это, конечно, не просто физический звук слова, но и не просто та мысль, которая в этих звуках выражается. Это — нечто настолько глубокое, что уже не сводится ни на какие отдельные функции слова, а наоборот, лежит в основе всех этих функций и является их жизненной силой, то малой, то большой, и часто совершенно неожиданной» [1, с. 15].

Исследование А. Ф. Лосевым свойств языка как свойств сложной саморегулирующейся системы значимо для психолингвисти-

¹ Доктор Лосев, как бог,
Разобраться помог,
Он увидел наук единение:
Взял у физиков квант,
Вскрыл везде предикат
И модель как основу явления.
 Через сему-сему — раз,
 И фонему-нему — два,
 И лексему — три, четыре
 Без устанции.

И. М. Распов

ки. Разрабатывая философские основы лингвистической методологии, он вскрывает природные свойства человеческого слова и механизм его действенности: «И поскольку заранее еще не известно, на что способно данное слово и какое событие оно вызовет в человеческой жизни, необходимо сказать только одно: в основе своей слово есть заряд, и не физический заряд, а коммуникативно-смысловой заряд, и физические размеры его возможных действий часто даже нельзя заранее предусмотреть» [1, с. 15].

Грамматические категории в трудах А. Ф. Лосева получают философски обоснованное толкование, благодаря которому грамматические явления органично вводятся в общий механизм мыслерече-языкового образования, что, собственно, и составляет область научных поисков психолингвистики. Языковые реалии у него находят фактически психолингвистическую интерпретацию: «*Хожение* и *ходить* отличаются между собой не предметно и не логически, потому что в смысле предмета в обоих случаях имеется в виду действие хождения, то есть отличаются они не логически, а исключительно только как **акты понимания** одного и того же явления (в данном случае действия), то есть различаются интерпретативно» [3, с. 204]; «Временные формы глагола тоже суть акты не просто предметного усмотрения, то есть усмотрения тех или иных явлений деятельности, но акты того или иного **понимания** соответствующего времени... Глагольное время — не логическое понятие, а — слово; и грамматика здесь, как и везде, является наукой не о самом бытии, а о формах выражения бытия; и язык — не абстрактное мышление, а — орудие общения» [3, с. 210 — 211].

А. Ф. Лосев рассматривал язык как живое явление («Язык есть сплошная подвижность и творческая текучесть»); будучи специалистом по древним языкам, он умел лучше других увидеть в них действующие закономерности функционирующей системы; он понимал язык как **«орудие разумно-жизненного общения людей»**: «Мы нисколько не ошибемся, если скажем, что язык со всеми своими грамматическими категориями, будучи орудием человеческого общения, всегда в той или иной мере и том или ином смысле, положительном или отрицательном, является и орудием **переделывания**, орудием перестройки, **переустройства** действительности, поскольку человеческое общение и человеческая борьба и развитие всегда чего-то достигают, к чему-то стремятся и всегда способствуют в той или иной мере назреванию нового и борьбе его со старым» [3, с. 203].

Литература

1. Лосев А. Ф. В поисках построения общего языкознания как диалектической системы // Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. — М., 1989. — С. 5 — 92.

2. *Лосев А. Ф.* Введение в общую теорию языковых моделей: Учеб. пособие / Под ред. проф. И. А. Василенко. — М., 1968.

3. *Лосев А. Ф.* О коммуникативном значении грамматических категорий // Статьи и исследования по языкознанию и классической филологии: Учен. записки МГПИ им. В.И.Ленина. — М., 1965. — С. 196 — 231.

А.Ф.ЛОСЕВ

В ПОИСКАХ ПОСТРОЕНИЯ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ КАК ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

(Извлечения)

...Мы исходим из того, что... единство противоположностей не только возможно, но и необходимо, и что для этого у нас имеется строго научный и вполне проверенный метод установления единства противоположностей, а именно, диалектика.

О том, что теория и история предмета предполагают друг друга, хорошо писал еще Н. Г. Чернышевский: «Без истории предмета нет теории предмета; но и без теории предмета нет даже мысли об его истории»¹. А то, что именно диалектика способна устранить все односторонности прошлого, сливая их в одно целостное единство, об этом прекрасно рассуждает В. И. Ленин². Это не значит, что мы не должны писать всю историю общего языкознания; однако это значит, что мы все же должны учесть главнейшие моменты этой истории. Такой учет главнейших исторических данных мы и приводим ниже.

Другое обстоятельство, которое необходимо иметь в виду при современном построении общего языкознания, — наличие общенаучных категорий решительно во всех современных науках. Дело в том, что в каждой науке уже давно пришли к выводу о необходимости выработки таких общих категорий, которые помогали бы осваивать все бесконечно разнообразные, случайные и часто противоречащие один другому факты и создать из них единую и цельную систему. Изучая эти обобщенные категории каждой науки, нетрудно заметить, что эти общие категории являются общими не только в смысле обобщения единичных фактов в каждой отдельной науке, но и в смысле обобщения отдельных наук между собою. Оказалось, что имеется огромная научная область, которую приходится так и называть, а именно, областью общенаучных категорий. Для обоб-

¹ *Чернышевский Н. Г.* Поли. собр. соч. — М., 1949. — Т. 2. — С. 265 — 266.

² *Ленин В.И.* Поли. собр. соч. — Т. 29. — С. 131.

шения, как выясняется, необходим один и тот же процесс мышления, который по своему содержанию везде разный, но который в своей логической структуре один и тот же. А это значит, что такие же общенаучные категории должны изучаться и в языкознании.

Нечего и говорить о том, что, хотя в настоящее время диалектика и стоит на первом плане как научный метод, тем не менее точная формулировка диалектических выводов в языкознании может претендовать только на предварительность. Получение окончательных выводов в этой области есть дело будущего, и притом не ближайшего¹.

О ПРИМЕНЕНИИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕНАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ

Вступительные замечания, а) Вопрос о роли общенаучных понятий является не только своевременным, но и в полном смысле слова острым, если не прямо сказать жгучим. Дело в том, что методы позитивизма, ползучего эмпиризма и вульгарного фактоклонничества уже давно ушли в безвозвратное прошлое. Сейчас всем стало ясно, что без специальной культуры общих понятий невозможна никакая обоснованная наука. Стало ясным, что самый подбор фактов уже требует для себя некоторого рода общего принципа.

Однако, с другой стороны, методы чисто идеальных общностей и метафизика такого рода абсолютизированных категорий в настоящее время для нас тоже ушли в безвозвратное прошлое. Всякая практика, лишенная подобающей теории, бессмысленна. Без установления общностей нет науки. Но эти общности должны строиться так, чтобы они не рассматривались в своей изоляции, но рассматривались как законы и методы получения всех частных и единичностей. Единичное явление для современной науки есть результат уточнения и дифференциации тех или других общностей, а всякая научная общность есть закон и метод для возникновения индивидуального. Общность есть не абстрактно-изолированная идея, но руководство к действию. Поэтому общенаучные категории естественно подвергаются в настоящее время самому тщательному и утонченному исследованию, и исследование это растет в настоящее время со дня на день.

Для тех, кому еще не пришлось столкнуться с такого рода проблематикой, мы рекомендовали бы ознакомиться с библиографией по этой тематике, приведенной у Э. П. Семенюка², из которой легко

¹ Ввиду огромного разнообразия и разноречивости в использовании диалектического метода мы укажем на две наши последние работы по диалектике, в которых и формируется проводимый нами в настоящей работе диалектический метод. См. *Лосев А. Ф.* *Философская энциклопедия.* — Т. 3. — С. 209 — 218. *Он же.* *Диалектика и здравый смысл // Студенческий меридиан.* — 1982. — № 2. — С. 31 — 65.

² *Семенюк Э. П.* *Общенаучные категории и подходы к познанию: Философский анализ.* — Львов, 1978. — С. 163 — 174.

понять, насколько интенсивно проблематика общенаучных категорий разрабатывается в настоящее время.

б) Чтобы конкретно убедиться в обширности этой проблематики общенаучных категорий, достаточно просмотреть хотя бы тот примерный список таких категорий, который мы находим в книге В.С.Готта и А.Д.Урсула¹. Этот список гласит: алгоритм, вероятность, знак, значение, инвариант, изоморфизм, интерпретация, информация, научная информация, модель, надежность, неопределенность, определенность, оптимальность, организация, прогноз, разнообразие, симметрия, асимметрия, система, сложность, состояние, структура, упорядоченность, управление, формализация, функция, элемент и т. д. Поскольку здесь после перечисленных терминов стоит указание «и т. д.», ясно, что и сами авторы этого списка не считают его окончательным. И действительно, подлинный и точный список таких понятий, которые можно было бы с полным правом назвать общенаучными, до последнего дня является весьма спорным и требует углубленного исследования.

Приведем, например, еще два списка предлагаемых общенаучных понятий.

Один такой список принадлежит В. И. Свидерскому и гласит следующее: «энергия, масса, протяженность, длительность, информация, надежность, норма и аномалия, определенность и неопределенность, организация, инвариантность, изоморфизм, элементы, структура, система, модель, состояние, оптимальность, вероятность, статистичность, симметрия и асимметрия, множество, сложное и простое, порядок и беспорядок, функция и др.»².

Другой список общенаучных категорий принадлежит В. Б. Бирюкову и гласит: «алгоритм, информация, обратная связь, динамическая система, управление, организация, надежность, исчисление, модель, интерпретация, изоморфизм, симметрия и др.»³...

Вполне стихийно и даже в больших размерах теория общенаучных понятий уже давно применяется в языкознании, так что имеются даже и в достаточной степени подробные разработки этой проблематики.

Уже существующие примеры, а) Мы бы указали, например, на такие категории, как *структура*, *система*, а значит, и *элемент*. В общей форме с применением этих категорий к языкознанию можно ознакомиться по изданию «Общее языкознание. Внутренняя структура языка»⁴. ...Из обобщающих работ по тео-

¹ Готт В. С., Урсул А. Д. Общенаучные понятия и их роль в познании. — М., 1975. — С. 24.

² Свидерский В. И. О критерии всеобщности философских положений // Философские науки. — 1974. — № 2. — С. 65.

³ Бирюков В.Б. Кибернетика и методология науки. — М., 1974. — С. 202.

⁴ Общее языкознание: Внутренняя структура языка / Под ред. Б.А.Серебряникова. — М., 1972.

рии структуры можно назвать работы Ю. Д. Апресяна и А. Ф. Лосева¹.

б) Большой разработке и уже давно подвергается у нас теория языковых *моделей*. Существует целая школа таких моделирующих исследований во главе с Ю. М. Лотманом. Эта богатая и весьма ценная теория языка как вторичной моделирующей системы локализуется в Тарту и привела к изданию множества работ по этой проблематике. Недостаточность этой теории рассматривается А. Ф. Лосевым². Общее понимание теории языковых моделей предложено тем же автором³.

в) Далее, серьезно разрабатывается у нас также и теория *поля*. И здесь мы в первую очередь указали бы на работы покойного Г. С. Щура, который явился в советском языкознании в буквальном смысле слова энтузиастом «поля». В его обобщающей работе — «Теория поля в лингвистике»⁴ — можно найти изложение и критику языковых полей. Понятие поля применяется и другими лингвистами, например А. А. Уфимцевой, Н. Д. Арутюновой⁵. В связи с теорией поля у нас возник и так называемый комплексный анализ, который с уровня лексики доведен в последнее время до синтаксиса⁶; а также многочисленные работы Ю. Д. Апресяна, главной из которых является книга «Лексическая семантика. Синонимические средства языка»⁷.

г) Что касается еще одного общенаучного термина, а именно, термина «валентность», то его значение было уже давно сформулировано в работе В. А. Звегинцева «Предложение и его отношение к языку и речи»⁸. Логическую же природу этого термина вскрывает А. Ф. Лосев в специальном исследовании — «О бесконечной смысловой валентности языкового знака», а также в работе «О поисках языковой валентности»⁹. Более широкую картину теории валентности мы находим у следующих авторов.

¹ Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. — М., 1966; Лосев А. Ф. Языковая структура. — М., 1983.

² Лосев А. Ф. Терминологическая многозначность в существующих теориях знака и символа // Языковая практика и теория языка. — М., 1978. — Вып. 2.

³ Лосев А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. — М., 1968.

⁴ Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. — М., 1974.

⁵ Уфимцева А. А. Опыт изучения лексики как системы. — М., 1962. — С. 20 — 73; Апресян Ю. Д. Экспериментальные исследования семантики русского глагола. — М., 1967. — С. 16; Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. — М., 1976. — С. 88 — 122.

⁶ Падучева Е. В. О семантике синтаксиса. — М., 1974. — С. 5 — 25.

⁷ Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. — М., 1974.

⁸ Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. — М., 1976. — С. 190 — 194.

⁹ Лосев А. Ф. О бесконечной языковой валентности языкового знака // Знак. Символ. Миф. — М., 1982. — С. 114 — 125; Он же. О поисках языковой валентности // Языковая структура. — М., 1983. — С. 131 — 144.

С. Д. Кацнельсон определяет валентность как «свойство слова определенным образом реализоваться в предложении и вступать в определенные комбинации с другими словами»¹.

Н. Д. Андреев, В. П. Бурков и Л. Н. Засорина определяют валентность как «потенциальную сочетаемость однородных элементов языка»². Б. М. Лейкина пишет: «Валентность — факт языка. В речи выступают не возможность связей, а самые связи — реализация валентности. Отношение валентностей к связям — это отношение потенции к реализации, возможности к действительности. Валентная информация какого-то языкового элемента представляет чаще всего информацию не о данном элементе, а о других членах потенциального сочетания, в которое данный элемент может входить. Валентный элемент, таким образом, характеризуется косвенно через другие элементы, с которыми он может сочетаться»³. Таким образом, принцип валентности имеет в языкознании универсальное значение.

д) Наконец, даже и в примерном обзоре общенаучных категорий языкознания совершенно необходимо указать на категорию *знака*. Этот термин давно получил всеобщее распространение, но именно ввиду своей большой популярности он часто теряет свою точную понятийную направленность и часто граничит с его вполне обывательским пониманием. Одним из исследователей, которые упорно работают над логическим уточнением этого общенаучного понятия в языке, является Ю. С. Степанов⁴. Знаковым системам посвящается и длинный ряд работ тартуской школы. Этот термин «знак» настолько популярен, что является как предметом излишнего увлечения, так и предметом критики. При этом совершенно очевидно, что в языке существуют также и другие, даже еще более значимые категории, чем знак; и в этом отношении критики абсолютной знаковости, конечно, совершенно правы⁵. В противоположность существующему терминологическому разнобою в этой области А. Ф. Лосев пытается установить необходимую и самоочевидную аксиоматику теории языкового знака в специальном исследовании на эту тему⁷. Весь этот приведенный нами список современных работ по общенаучным по-

¹ Кацнельсон С. Д. О грамматической категории // Вестник ЛГУ. — 1984. — № 2. — С. 132.

² Андреев Н. Д., Бурков В. П., Засорина Л. Н. Исчисление валентностей при переходе от входного языка к языку-посреднику // Тезисы совещания по математической лингвистике. 15 — 27 апреля 1959 г. — Л., 1959. — С. 72.

³ Лейкина Б. М. Некоторые аспекты характеристики валентностей // Доклады на конференции по обработке информации, машинному переводу и автоматическому чтению текста. — М., 1961. — Вып. 5. — С. 1 — 2.

⁴ Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. — М., 1975. — С. 7 — 14, 248 — 254, 264 — 266.

⁵ Труды по знаковым системам. — Тарту, 1965. — Вып. 2.

⁶ Будагов Р. А. Человек и его язык. — М., 1976. — С. 9 — 69.

⁷ Лосев А. Ф. О бесконечной смысловой валентности языкового знака // Знак. Символ. Миф. — М., 1982. — С. 28 — 92, 125 — 145.

нениям в языке при всей своей неполноте и только примерности очевиднейшим образом доказывает одну истину: общенаучные категории в науке о языке — это давнишняя, весьма обширная и в настоящее время очередная и неотложная область.

Условия допустимости общенаучных понятий в языкознании, а) Во-первых, языковед не должен бояться логических тонкостей, необходимых в процессе анализа этих понятий. Без них невозможна диалектика, а без диалектики невозможен и диалектический материализм.

б) Во-вторых, общенаучные понятия в каждой отдельной науке должны проводиться так, чтобы от этого не нарушалась специфика данной науки, не нарушалось ее конкретное лицо. Что такое, например, «система», «структура» или «модель», в этой области языковед должен обладать полной ясностью даже и без языка и до языка. Но если языковед этим и ограничится, это будет очень плохой языковед, и общенаучными понятиями ему не нужно было и заниматься. Только строжайшее соблюдение специфики языкознания и может обеспечить собою плодотворную работу в применении общенаучных понятий.

в) Что касается автора настоящей работы, то специфику языка, как это будет показано ниже, он находит в смысловозначительной коммуникации, т. е. в таких актах смысловозначения, сущностью которых является разумно-жизненное человеческое общение. Казалось бы, невозможно и представить себе язык не как орудие человеческого общения, а это человеческое общение не как осуществление смысловозначительной деятельности человека. И тем не менее горький опыт заставляет признать, что та обывательщина, которая не понимает смысловозначительной коммуникации, все еще не изгнана целиком из нашей науки и все еще заставляет ее критиковать, хотя, собственно говоря, она даже и не заслуживает никакой критики. Тот языковед, который считает для себя унижительным критиковать эту языковедческую обывательщину, очевидно, не имеет педагогического опыта и не сталкивался с необходимостью приводить массового учащегося от незнания к знанию.

Наше настоящее рассуждение как раз и вызвано, с одной стороны, стремлением окончательно избавиться от внешнего и чересчур чувственного понимания языка, когда в языке не находят ничего существенного, кроме физико-акустического звучания. Времена звукового фетишизма принципиально прошли в языкознании раз навсегда. И тем не менее во многих умах все еще продолжает царить обывательское превознесение в языке его звуковой области. С другой же стороны, там, где наряду со звуком высоко оценивается также и его смысловое значение, очень часто это смысловое значение понимается слишком неподвижно и мертво, на манер абстрактных понятий старой метафизики. Мы исходим из того, что язык есть орудие разумно-жизненного общения людей. А это общение не состоит ни

только из звуков, ни только из одних мыслей говорящего или слушающего. А кроме того, язык есть сплошная подвижность и творческая текучесть, в которой, конечно, имеются некоторые устойчивые элементы, но которая ни в коем случае к ним не сводится. Исходя из этих предпосылок, мы и хотели бы добиться полной ясности в вопросе о том, что такое, например, фонема или что такое грамматическое предложение.

Я з ы к о в о й э л е м е н т . Никакая наука не состоит только из одних доказательств. Всякая наука опирается на целый ряд понятий и суждений, которые являются очевидными и ни в каких доказательствах не нуждаются. Таким понятием в языкознании надо считать понятие элемента. Его существование в языке, его объединение с другими элементами и вообще его функционирование не нуждаются ни в каких доказательствах. Здесь можно только указывать или показывать, но никак не доказывать.

Что такое звук или комбинация звуков, это понятно каждому. Неделимое единство нескольких звуков, или морфема, а также неделимое единство морфем, или лексема, т. е. цельное слово, а также что такое разнообразные комбинации лексем, все это есть непосредственная очевидность элементов языка, не только не доказуемая, но и не требующая никаких доказательств.

Поэтому элемент языка есть то, что существует аксиоматически; и не его существование необходимо доказывать, но всякое утверждение языковедческой науки уже предполагает элемент языка как нечто известное и совершенно понятное без всяких доказательств.

Другое дело — *строение* языкового элемента и вообще *анализ* этого элемента. Логический анализ самоочевидного элемента сам по себе вовсе не так очевиден. Тут возможны и разные точки зрения, и разного рода споры.

С м ы с л о р а з л и ч и т е л ь н о - к о м м у н и к а т и в н а я ф у н к ц и я . Другое обстоятельство (после указания на самоочевидность элементов), тоже не требующее никаких доказательств, это — то, что язык есть *орудие разумно-жизненного* общения людей. Или, как логично было бы точнее сказать, язык есть смысловозначительная коммуникативная деятельность человека. Кто сомневается в том, что язык есть орудие общения, с таким человеком нам не о чем говорить. И притом язык есть не просто общение, поскольку общение может быть самое разнообразное, язык есть орудие именно разумно-жизненного, т. е. смысловозначительного, общения, а не общения какого бы то ни было. Поэтому и каждый элемент языка обязательно тоже несет на себе функцию этого разумно-жизненного общения. А иначе он вообще не есть язык и не относится к языку. Животные (собака, кошка, лягушка) и всякий комар тоже издают звуки. Но эти звуки не есть результат разумно-жизненного общения животных с другими животными, поскольку такой «язык» животного вовсе не является у них принадлежащей им смысловозначительной

тельной функцией. Это общение — физическое, физиологическое, биологическое и даже в известном отношении психологическое, но уже никак не смысловозначительное. И поэтому о языке животных можно говорить только в переносном, но не в буквальном смысле слова. Чтобы звук стал элементом языка, необходимо, чтобы он был не просто звуком, но в то же самое время нес на себе разумно-жизненную коммуникативную функцию. Необходимо, чтобы звук человеческой речи разумно говорил нечто о чем-нибудь и говорил это с той целью, чтобы другой человеческий индивидуум тоже мог понять его разумно-жизненный смысл.

Итак, ни существование языковых элементов, ни их разумно-жизненная смысловозначительная коммуникативная функция не требуют никакого доказательства для своего существования. Они вполне аксиоматичны и, наоборот, сами лежат в основе всякого языковедческого доказательства. Специфика языковой области, ярко отличающаяся от всех других наук, есть смысловозначительная коммуникативная функция человеческой деятельности. И если мы будем соблюдать эту специфику, то никакая общность общенаучных категорий не будет для нас страшна, а будет только строжайшей необходимостью.

Три основные области функционирования языкового элемента. Наконец, этот наш общий вступительный очерк был бы существенно неполон, если бы мы не указали на те основные области языка, в которых функционируют указанные нами специфически языковые элементы.

а) Специфически языковой элемент — это та или иная единица смысловозначительной коммуникации. Однако хотя фактически и невозможно разделять смысловозначительную и коммуникативную функцию, тем не менее анализ требует сначала рассматривать их в отдельности, а затем формулировать их в их нераздельном единстве и цельности.

Если мы, допуская такую чисто условную абстракцию, будем говорить только о смысловозначительной функции языка, то, очевидно, это будет то, что в настоящее время называется языком в узком смысле в отличие от речи. Когда язык противопоставляется речи, то под языком ничего иного и не понимается, как именно смысловозначительная функция. Ее можно и нужно рассматривать отдельно, и в ней необходимо находить свои специфические общенаучные функции.

б) Но язык не существует без речи, т. е. без своего материального воплощения в коммуникативной области. Коммуникация, очевидно; есть не просто смысловое различие, но уже становление этого смыслового различия, его наличие в речевой практике и его бесчисленные разнообразные модификации в связи с наложением каждого элемента в контексте речевой практики. Для речевого потока важен не просто сам языковой элемент, но его позиционная значимость в контексте материального общения людей, Язык в узком

смысле слова есть смысловоразличительная деятельность коммуникации, а речь есть поток позиционных модификаций смысловоразличительных актов языка. Если мы всерьез хотим говорить об общенаучных категориях в языке, то их необходимо находить не только в языке в узком смысле слова, но и в позиционно становящейся области коммуникации.

в) Наконец, противоположность языка и речи, очень ценная и максимально очевидная, уже давно преодолевается при помощи других категорий, в которых то и другое представлено совершенно равномерно и которые являются диалектическим синтезом того и другого. Здесь мы указали бы на такую категорию, как *текст*, причем не только письменный, но и устный. Текст уже отличается той свободой расположения общеязыковых элементов, которую несет с собой коммуникация как материально-речевой поток. В тексте, например, может иметься предложение без подлежащего (безличное предложение), без сказуемого (назывное предложение), даже и совсем без подлежащего и сказуемого, когда предложение в контексте речи только подразумевается («Свои люди — сочтемся» или «Я тебя породил — я тебя и убью»). Такая свобода словесного выражения с особенной силой, конечно, сказывается именно в речевом потоке. С другой стороны, однако, всякая свобода речевого высказывания все-таки должна отвечать своему коммуникативному назначению, а этого невозможно достигнуть без смысловоразличительных функций языка. Термин «текст» в этом смысле мало популярен, но он настолько реален, что уже давно вошел в лингвистические словари¹. Весьма четкую и ясную картину этой языковой категории можно найти в «Словаре терминов по информатике на русском и английском языках»², а также в статье Т. М. Николаевой³. Очевидно, общенаучные категории необходимо находить не только в смысловоразличительной или в коммуникативной, но также и в текстовой области языка. <... >

О СИСТЕМЕ ОБЩЕНАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ В ЯЗЫКОЗНАНИИ (Пробный опыт построения)

Вступительное замечание. О необходимости применения в языкознании общенаучных понятий мы трактуем в предыдущей главе этой работы. Вышеизложенные выводы обязательно должны быть приняты во внимание при чтении нашего теперешнего

¹ См., например: Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — М., 1966.

² Жданова Г. С., Колобродова Е. С., Полушкин В. А., Черный А. И. Словарь терминов по информатике на русском и английском языках. — М., 1971.

³ Николаева Т. М. Текст // Русский язык / Под ред. Ф. П. Филина. — М., 1979.

рассуждения о системе категорий. Мы исходим из общепринятого разделения языка и речи, но прибавляем к этому разделению также и синтез языка и речи, который мы находим в категории текста. Эти три области языкознания, во-первых, вполне разделены и даже противоположны, во-вторых, эту разделенность нужно понимать только условно, только ради анализа. На самом же деле и фактически они представляют собой диалектическое единство, т. е. единораздельную цельность. При условии сохранения этой диалектики в нетронутым виде ничто не мешает нам говорить о каждой из этих трех языковых областей также и раздельно. Следовательно, чтобы сохранить системность положения, необходимо сначала осветить общенаучное понятие в языке в узком смысле, в речевой области и в области текста.

Что касается первой из этих областей, а именно языка в узком смысле слова, т. е. в его противоположении с речью, то, очевидно, сущностью такого специфического понимания языка является не что иное, как смысловоразличительная деятельность. Когда же мы переходим от языка к речи, то речевой поток является уже не просто различением смысла, но становлением и живым потоком этой смысловоразличительной функции. Тут и осуществляется то, что мы в названной работе называли коммуникацией или коммуникативной функцией языка. И если язык и речь диалектически объединяются в тексте, то, очевидно, и в этой текстовой области тоже должны быть свои общенаучные понятия.

Начнем с первой области языка, т. е. с языка в узком смысле слова, с языка в его противоположности речевому потоку. Характерная для этой области смысловоразличительная функция, как мы сейчас увидим, выражается, во-первых, в исходной, еще деструктурной заряженности и заданности смысла, которая в дальнейшем превращается в то, что мы называем валентностью языка; а эта языковая валентность выражается в том, что мы назовем моделью и квантом. <...>

Коммуникативно-смысловой заряд, а) Одна из первых особенностей языкового элемента, требующих если не доказательства, то, во всяком случае, известного разъяснения, это — *смысловая заряженность* языкового элемента. ...Современное научное представление о мире не механистично, но жизненно-органично и не дискретно-неподвижно, но жизненно-динамично и творчески-напряженно.

.. Получается так, что вся действительность не только подвижна и текуча и не только динамична, но и в буквальном смысле слова взрывна. В основе всего лежат заряды, а не готовые мертвенно-неподвижные и очень маленькие кусочки материи. Все такого рода «кусочки» имеют под собой целую бездну разного рода зарядов, могущих повергнуть в крах любой такой «кусочек», как, правда, и создать их в любых размерах. <...>

Действительно, что такое человеческое слово? Ведь всякое же слово бесконечно разнообразно в своих значениях и смысловых от-

тенках. Всякое человеческое слово также бесконечно разнообразно в степени своего воздействия на воспринимающих это слово. Одним или двумя словами можно повергнуть человека в отчаяние или, по крайней мере, в то или иное смущение. Одним или двумя словами можно даже физически убить человека. Но одним или несколькими словами можно также оживить или, по крайней мере, обнадежить человека. Но есть великие имена, которые двигают целыми народными массами. И, вообще, всякое человеческое слово в основе своей обладает таким смысловым зарядом, от которого часто неизвестно чего и ожидать. И это, конечно, не просто физический звук слова, но и не просто та мысль, которая в этих звуках выражается. Это — нечто настолько глубокое, что уже не сводится ни на какие отдельные функции слова, а наоборот, лежит в основе всех этих функций и является их жизненной силой, то малой, то большой, и часто совершенно неожиданной. И поскольку заранее еще неизвестно, на что способно данное слово и какое событие оно вызовет в человеческой жизни, необходимо сказать только одно: в основе своей слово есть заряд, и не физический заряд, а коммуникативно-смысловой заряд; и физические размеры его возможных действий часто даже нельзя заранее предусмотреть.

Ввиду непопулярности представлений о заряде среди языковедов было бы не худо закрепить этот момент как-нибудь и терминологически.

б) Нам представляется, что для такого термина в первую очередь полезно привлечение греческого корня *ген*, или *γον*, указывающего как раз на происхождение, становление или порождение. Поэтому нам представлялось бы весьма удобным назвать изучаемый нами языковой и речевой момент *автогенным* принципом или *автогоническим*, *протогоническим* принципом. Нам представляется также, что здесь не худо звучал бы также такой термин, как «генератив». В этом смысле употреблялся также термин *интенция*, интенциональный акт, указывающий на тенденцию, намерение, на объективирующий акт. Термин «функция», который часто привлекается в языкознании, имеет слишком общее значение и легко сводим на математическое представление. Если же под функцией понимать первичное смысловое действие, лежащее в основе всякой структуры, то этот термин, пожалуй, тоже может здесь привлекаться.

Структура смысла различительной функции принципа, а) Сейчас мы должны перейти к тем новым категориям, без которых коммуникативно-смысловая функция становится лишней всякого смысла. Именно, всякий языковой элемент ни в коем случае не является только зарядом, т. е. только какой-то силой, действующей неизвестно как и неизвестно в каком направлении, и неизвестно в какой сфере. Признать такой смысловой заряд в его абсолютной данности и при этом не говорить ни о чем другом, это тоже значило бы оставаться в плену у старой абстрактной метафи-

зики и признавать языковые элементы как некоего рода вещи-в-себе и притом ни с какой стороны не познаваемые. Другими словами, чтобы быть реальной основой языкового элемента, лежащие в основе языка смысловые заряды тут же должны обладать определенного рода формой или, чтобы избежать этого многозначного термина «форма», они обязательно должны обладать той или иной структурой. Структура языкового элемента — это уже не просто его смысловой заряд, но и его единая цельность. В современной точной науке употребляется один термин, который тоже было бы весьма не худо применить и в языкознании. Правда, некоторыми деятелями языкознания этот термин уже не раз и весьма плодотворно использовался. Однако нам кажется, что этому термину в общем языкознании нужно отвести одно из первостепенных мест. Термин этот — *модель*.

б) .. Та живая модель, которая нам нужна для языкознания, есть именно нечто живое. А все живое есть всегда то или иное осуществление того или иного принципа жизни.

Валентность. Поскольку языковая модель входит в процесс жизни, она тем самым обязательно содержит в себе и нечто более общее, более внутреннее, более потенциальное, чем сама непосредственная жизнь. А с другой стороны, всякая живая языковая модель также является и осуществлением своей первопотенции, т.е. моделью в законченном смысле слова.

Тот коммуникативно-смысловой заряд, если он действительно порождает собою структуру раннего языкового элемента, но все еще является только потенцией этой структуры, такой заряд становится для нас уже не просто зарядом, но языковой *валентностью*. Валентность химического элемента, как это уже давным давно установлено, есть способность каждого элемента соединиться или не соединиться с другими элементами. Так, кислород легко объединяется с одними элементами и никак не объединяется с другими элементами. Валентность здесь еще не сама структура. Но она во всяком случае является здесь потенцией структуры. Если атом кислорода легко объединяется с двумя атомами водорода, то это и значит, что кислород обладает определенного рода структурой и притом не структурой вообще, а именно определенным образом оформленной потенциальной структурой воды.

Что же касается языка, то было бы настоящим безумием считать, что языковые элементы никак не связаны между собою и никак не предполагают один другого. Это вообще означало бы рассыпать живой язык на бесчисленное количество дискретных точек, т.е. никак не связанных между собою точек. Живой язык только и существует благодаря всемогущей роли языкового контекста. И даже самые подробные словари не в силах охватить всех языковых значений реальных слов, если эти слова понимать как орудие и продукт разумно-жизненного общения людей. Валентность языка, т.е. ва-

лентность каждого отдельного языкового элемента, в полном смысле бесконечна.

М о д е л ь. И только сейчас, т. е. только после уяснения понятия валентности, можно и нужно говорить о *модели* языкового элемента. Мы настаиваем на употреблении этого термина в языкознании потому, что он уже давно фигурирует и в математике, и в механике, и в физике, и в биологии, и в психологии, и в социологии. Научное значение этого термина легче всего показать при помощи элементарных математических соображений.

а) Действительно, всем известно, что значит в арифметике сложить или умножить. Но для того, чтобы сложить одно число с другим, мало ведь знать только сами эти числа, над этими числами еще надо произвести некоторого рода операцию, чтобы сложение состоялось и чтобы в результате мы получили именно сумму слагаемых чисел, а не остались бы в области только этих одних чисел. Этот процесс сложения можно назвать и приемом, и методом, и правилом. Но дело в том, чтобы такого рода схемы не заслоняли от нас *порождающего* характера данной арифметической схемы, или правила, или операции. А в таком случае лучше всего воспользоваться именно термином «модель», поскольку модель есть не просто схема или структура, но именно *порождающая* структура. И эта порожденность важна для нас именно потому, чтобы мы не забывали здесь динамически-подвижной стороны языка, т. е. не забывали того, что языковая модель всегда есть структурный результат доструктурного коммуникативно-смыслового заряда и той смысловой потенции, т. е. валентности, без которой тоже никакой языковой элемент не мыслим.

б) Математическое понятие модели безукоризненно по своей ясности и определенности. Если мы берем аргумент и функцию аргумента, то эта функция есть не что иное, как совокупность математических операций, производимых с аргументом. Функция поэтому, с одной стороны, есть результат целого ряда операций, т. е. результат некоего числового порождения. А с другой стороны, функция есть нечто точное, определенное и вполне устойчивое. Она — не просто порождение аргумента, но и законченная картина разнообразных порождений аргумента. Эта творческая схема и творчески порожденная числовая структура функции и есть та модель, о которой мы говорим.

Но надо сказать, что речь идет здесь вовсе не об абсолютных величинах, но только о методе их получения, об их порожденной структуре. А так как функцию можно применить и к реальным вещественным вычислениям, подставляя под неизвестные те или иные определенные количества, то функция, понимаемая точно математически, есть не только порожденная, но и *порождающая* структура. Однако и в том, и в другом случае модель есть совмещение доструктурной валентности с той или иной, но всегда определенной, т. е. всегда структурной числовой операцией.

в) Математики умеют очень ясно и просто понимать и излагать, что такое модель, в то время как многим лингвистам этот термин все еще продолжает казаться неясным и чересчур сложным. Так, например, в математике существует целая наука, которая вовсе не трактует ни о каких абсолютных и вещественных количествах, но только о соотношении этих количеств и об их структуре. Алгебра есть наука именно о таких числовых структурах, но не о числах и величинах в обывательском количественном смысле. Этой цели и служит в алгебре употребление не чисел, а только букв, которые в абсолютном смысле могут обозначать какие угодно количества. Составляется уравнение, которое определенным образом решается; но под этими буквами можно понимать какие угодно количества. Поэтому каждое алгебраическое уравнение есть только структура соотношения количеств, а не картина самих этих количеств.

г) Поэтому и в лингвистике именно и нужно говорить не только об абсолютном и вещественном значении отдельных языковых элементов, но и о структурном их построении, т. е. говорить об элементах как о некоего рода моделях. Каждое слово вовсе не имеет только какое-нибудь одно единственное значение. Это всегда масса всякого рода значений, которые, конечно, связаны между собою и, взятые в целом, образуют собою некоего рода структуру или модель. И поскольку отдельные моменты этой структуры не дискретны, но в своем фактическом существовании всегда незаметно переходят один в другой, то это уже не просто структура, а еще порожденная или порождающая структура, что мы и называем моделью. Алгебраизма здесь бояться не следует, поскольку модель языкового элемента вовсе еще не есть этот момент, взятый в целом. Это — один из уровней языкового элемента, весьма существенный, но отнюдь не единственный.

д) Весьма интересным и значительным примером математического понимания модели может послужить такое извлечение корней, которое невыразимо ни в каком конечном количестве числовых знаков. Если мы извлекаем квадратный корень, например, из 2, или из 3, или из 5, то, во-первых, сама эта операция, заданная с самого начала, имеет вполне определенный смысл и выразима в определенном словесном обозначении. Во-вторых, это не есть просто только задание, но и метод получения результатов этого задания... Но самое главное, в-третьих, это то, что сколько бы мы ни получали десятичных знаков при таком фактическом извлечении квадратного корня, мы совершенно нигде не можем остановиться, так как количество этих десятичных знаков равно целой бесконечности... На этом математическом примере весьма легко и понятно иллюстрируется математическое понятие модели. Модель есть определенная и точная структура, но эта структура требует бесконечного приближения при своей реализации, так что окончательного результата моделирования невозможно получить, а тем не менее и лежащая в основе та-

кой операции структура есть нечто вполне определенное и точное, а также и метод этого структурного порождения тоже вполне определенный и точный.

е) То, что сейчас в языкознании называется фонемой, не есть звук, но закон и метод разнообразных звучаний какого-нибудь определенного звука. Этот определенный звук, конечно, пока еще не есть реально произносимый звук, но только есть его общее понятие. И тем не менее это общее понятие в данном случае вовсе не остается в своей изоляции от реальных звучаний и потому вовсе не остается чем-то неподвижным. Фонема есть закон получения звуков определенного типа, но этих реальных звучаний в речи может быть сколько угодно. А это и значит, что фонема, не будучи звуком, является моделью для получения бесконечного ряда звучаний определенного типа. Точно так же грамматическое предложение в основе своей всегда есть то или иное предиктивное, поскольку оно состоит из приписывания чего-нибудь чему-нибудь. Таким образом, предложение есть определенного рода и весьма точная структура, а также и способ получения разных типов предложения. И этих типов, если брать реальную человеческую речь, тоже бесконечное количество. Одно дело «есть» как связка, — копулятивное значение предикации («Иван есть человек»). Другое дело «есть» как указание на существование, — экзистенциальное значение («Боги существуют»). Но кроме всего этого, существует необозримое количество соотношений субъекта и предиката в предложении. Можно сказать, что вообще любое отношение здесь допустимо. Если мы говорим «Отец любит сына», то здесь мыслится весьма сложная предикация, далеко выходящая за пределы простой связи или простой экзистенции. Так, в предложениях «Пианист играет сонату» или «Инженер составляет проект сооружения», или «Мы воюем за правду» мы имеем все новые и новые оттенки предикации, так что фактически исчислить их даже и невозможно. А это и значит, что грамматическое предложение мы понимаем не мертво и неподвижно, но и не только подвижно. Предиктивное предиката предложения относительно субъекта предложения есть модель, как мы ее изобразили выше, то есть бесконечно порождающая смысловая структура.

Напомним, кроме того, что всякая модель любого языкового элемента как, например, фонема в звукообразовании или предикация в грамматическом предложении, вовсе не есть весь еще языковой элемент, взятый в целом, будь то отдельный звук или будь то целое предложение, но только один из его уровней, правда, существенный.

К в а н т . В модели мы находим, с одной стороны, структуру, а с другой стороны, становление того, что осуществляет собою исходную структуру. Позволительно теперь спросить: а не существует ли такой предметности, в которой модельная структура и моделированное становление этой структуры оказались бы в чем-то единым и нераздельным? Если мы обратимся к точным наукам, то здесь мы в

настоящее время встречаемся с попытками как раз формулировать именно такое тождество модели и моделированного.

а) Именно, когда в физике говорят об энергии, то имеется в виду некая силовая и динамическая процессуальность, о расчлененности которой прямо-таки вопит реальное функционирование всякой энергии. В самой энергии пока еще не мыслится никакого расчленения. Она есть только некоторого рода непрерывный процесс. Но всякому же ясно, что так понимаемая энергия есть только результат нашего анализа, т. е. некоего рода абстракция, а в своем реальном проявлении всякая энергия обязательно расчленена, т. е. обязательно связана с той или другой структурой. Вот такая непрерывная энергия, которая, оставаясь цельной и непрерывной, в то же время структурно расчленена, и есть то, что в современной физике называется «квантом». Квантовать что-нибудь, например всякий сигнал, всякое время и пространство, всякую силовую направленность, — это и значит расчленить так, чтобы целое оказалось нетронутым.

б) Лучше всего это видно на современном учении о свете. Раньше свет мыслился просто как некоего рода излучение и не ставилось никакого вопроса о вещественном характере этого излучения и, следовательно, об его расчлененности или структуре. В противоположность этому физики думают теперь так, что свет есть атомное излучение, которое совершается определенного рода порциями (в зависимости от поведения электронов в атоме). Но это порционное представление о свете, конечно, вовсе не имеет в виду уничтожить свет как непосредственное и непрерывно-целостно данное излучение. Квант света — это та его мельчайшая частица, которая не подлежит дальнейшему раздроблению, но которая вместе с другими световыми частицами сливается в один целостный и непрерывный поток света. Поэтому свет — это непрерывно лучающаяся энергия, но в то же самое время составленная из бесконечного количества частиц с полным сохранением для себя значения именно непрерывной световой текучести.

Конкретно говоря, это есть не что иное, как учение о *волновой* природе света, поскольку каждая волна вполне отличается от другой по своему качеству и тем не менее все волны чисто количественно и непрерывно переходят одна в другую. Конечно, волновую теорию в этом смысле надо отличать от тех прежних теорий, когда волнообразность мыслилась вне квантовых представлений о природе света.

в) Нам хотелось бы обратить внимание лингвистов на то, что соединение качества и количества в одной цельности вовсе не есть только наше личное и субъективное воззрение. Язык, а значит и каждый отдельный языковой элемент, обязательно есть диалектическое слияние непрерывности и прерывности, цельности и дробности, нерасчлененности и членения. Когда мы беседуем друг с другом, то беседа эта в течение некоторого времени является своего рода непрерывным потоком. Но что бы это была за коммуникация, если бы

в этом непрерывном разговорном потоке не существовало бы прерывных и вполне отдельных слов, прерывных и вполне отдельных звуков, прерывных и вполне отдельных интонаций, прерывных и вполне отдельных мыслей и чувств? И если мы скажем, что язык есть квантованное осуществление мысли и что человеческая речь есть квантованно осуществляемый язык, то этим самым мы только достигнем современного общенаучного уровня и избежим таких давно отживших свой век принципов, как только качества или только количества. И язык, и речь, и вся человеческая жизнь есть не что иное, как квантованная, т. е. квантованно-осуществленная, смыслоразличительная функция. Язык не есть просто мысль, но практически квантованная мысль. И речь не есть просто язык, но практически квантованная мысль. Обычно части целого понимаются как нечто неподвижное и изолированное, а целое вульгарно мыслится как механическая сумма частей. Но квант не есть неподвижная часть, потому что он есть часть энергии, и потому самая подвижная и самая энергичная. И вот почему речевой поток как энергичное целое делится не на мертвые и неподвижные, т. е. взаимно изолированные части, но именно на кванты, т. е. на такие единицы энергии, которые сами тоже энергичны.

Здесь необходимо сказать, что в анализе понятия кванта мы уже приблизились к области речи в ее отличии от языка в узком смысле слова. Язык в узком смысле слова в своей диалектической разработке уже является такой смыслоразделительной моделью, которая предполагает свое становление, но еще не есть само это становление. Само это становление смыслоразделительной функции и есть не что иное, как речь, речевой поток. Но если теперь перейти специально к речевому потоку, то для его понятийного охвата уже мало будет только модели и только кванта. Здесь выступают новые общенаучные понятия, из которых в первую очередь требуют своего разъяснения понятия поля и алгоритма.

В заключение этого раздела о квантах мы бы обратили внимание читателя на две полезные работы. В одной такой работе, принадлежащей В. Гейзенбергу¹, можно найти широкую картину современных квантовых представлений и весьма полезный анализ значения квантовой физики для всей современной науки и даже для всей культуры. В другой работе, принадлежащей И.С.Алексееву, Н.Ф.Овчинникову и А.А.Печенкину², мы находим попытку обосновать современную квантовую теорию как естественный результат тысячелетнего развития физики и философии, начиная со времен античного пифагорейства и античного атомизма.

¹ Гейзенберг В. Физика и философия: Пер. И. А. Акчурина и Э. П. Андреева. — М., 1963.

² Алексеев И. С., Овчинников Н.Ф., Печенкин А. А. Методология обоснования квантовой теории. — М., 1984.

Что касается языкознания, то можно только пожалеть, что принцип кванта до сих пор не получил здесь никакого применения и развития. Однако мысль о кванте все же не чужда нашим языковедам. Мы указали бы на М.В.Панова, который употребляет термин «квант» и притом в правильном смысле слова. Поскольку одна волна отличается от другой волны чем-то устойчивым и определенным, ее можно рассматривать в системе парадигматики. Однако волны не только отличаются одна от другой, но и непрерывным образом переходят одна в другую. Приходится рассматривать эти волны уже в порядке становления, т. е. нарастания или спада. И вот М. В. Панов пишет: «Для парадигматики звуковые единицы • — "волны", для синтагматики — "кванты". Лишь вместе они полно описывают фонетическую систему языка»¹. Об этом же читаем у М. В. Панова: «синтагмо-фонология не может не быть в принципе фонологией дихотомических единиц, "или-или", поэтому в ней единицы имеют пороговый характер. Для парадигмо-фонологии звук (вариант парадигмо-фонемы) существует во всей своей типической конкретности, во всех своих многообразных качественных отличиях»².

«Звуковые цепи изображаются более или менее причудливыми кривыми. Синтагмо-фонология может найти в них свои варианты субфонем, разлагая эти кривые, преобразуя их в некие составляющие... для парадигмо-фонологии эта кривая в ее нерасчлененности, в ее индивидуальной целостности и "изображает" фонему. Рисунок, показывающий реализацию парадигмо-фонемы, в "то же время является и хорошим символическим портретом" ее»³.

Субфонема — «квант», парадигмо-фонема — «волна».

Это редчайший, если не единственный, случай употребления термина «квант» у языковедов, и употребление это вполне правильное.

Поле и континуум, а) Понятие поля имеет в науке уже полуторастолетнюю давность. В 30-х годах XIX в. Фарадей впервые заговорил об электромагнитном и гравитационном полях. В 60-е годы того же прошлого столетия Максвелл формулировал математическую теорию поля. В течение первых двух десятилетий XX в. Эйнштейн создал теорию относительности, а в дальнейшем развивал теорию поля в связи со своей теорией относительности. Эта же теория развивалась в XX в. в связи с квантовой механикой и в настоящее время является одним из фундаментальнейших понятий в физике⁴.

¹ Панов М.В. Русская фонетика. — М., 1967. — С. 292.

² Там же. — С. 250 — 251.

³ Там же.

⁴ В своих работах Эйнштейн дает весьма ясное и простое построение поля на основе критики прежних физических теорий, которые либо обходились без понятия поля, либо привлекали его недостаточно и непоследовательно (*Эйнштейн А. Физика и реальность*. Сб. ст. / Пер. под ред. Б. Г. Кузнецова. — М., 1965. •— С. 255 — 321).

б) Понятие это оказалось продуктивным и во всех других науках, не исключая, например, биологии. Что же касается языкознания, то и в этой области учение о поле тоже развивается уже несколько десятилетий. Основателем этой теории считается И. Трир, который в 30-х годах впервые употребил этот термин в применении к языку, но его теория в настоящее время ввиду ее интеллектуалистического примата имеет для нас только историческое значение. У этого исследователя нашлось много противников, из которых более известен В. Порциг.

в) С нашей точки зрения, эта ранняя история языковедческого поля страдает неспособностью достаточно ясно формулировать момент непрерывности, без которого поле превращается просто в единораздельную систему, не нуждающуюся ни в каком поле. В самом деле, поле всегда есть некоего рода протяжение, распространение или, вообще говоря, становление. Нам представляется, что поле всегда есть обязательно некоего рода *континуум*. Но этот континуум нельзя понимать слишком абстрактно, т. е. как просто полное отсутствие всякой раздельности. Континуум нельзя составить из отдельных точек, поскольку они мыслятся только в результате прерывности. Но это не значит, что таких точек совсем нет в континууме, который без них вообще не мог бы быть протяжением или распространением. Эти точки в нем есть. Но поскольку между двумя точками всегда можно поместить еще одну точку, а в каждом новом промежутке помещать еще все новые и новые точки, то, очевидно, этих точек существует бесконечное количество и расстояние между ними бесконечно стремится к нулю. Таким образом, континуум есть такая единораздельная цельность, в которой составляющие ее отдельные моменты имеют между собою расстояние, равное нулю. Континуум есть диалектическое слияние раздельной системы со сплошными и непрерывными переходами одного ее момента в другой.

О континууме в науке имеется огромная литература, причем особо тщательно этой проблемой всегда занимались математики. Правда, в этой проблеме континуума математики приходят к малоутешительным выводам о невозможности разрешения проблемы самого континуума. Эта невозможность естественным образом возникает у тех мыслителей, которые не умеют или не хотят применить диалектический метод. Непрерывность и прерывность являются для диалектики только такими двумя противоположностями, которые необходимым образом также и совпадают в некоем, уже неделимом единстве. С нашей точки зрения, это диалектическое единство прерывности и непрерывности есть не что иное, как структура, в которой все отдельные части, во-первых, раздельны и отличны одна от другой, а во-вторых, совпадают со своей цельностью, и цельность одинаково присутствует в каждой отдельной части, так что переходя от одной части к другой, мы в то же самое время и никуда не переходим. Здесь мы можем обратить внимание читателя на две полезные

работы, вышедшие на русском языке¹. Обе эти работы приводят ценные исторические материалы по теории прерывности и непрерывности и по применению этих категорий в отдельных науках.

У языковедов понятие континуума используется иной раз без соответствующего специального термина. Так, Л. Ельмслев² определяет текст как «синтагматику, цепи которой, продленные до бесконечности, манифестируются любым материалом». Так как под синтагматикой этот исследователь понимает «семиотический процесс» и так как данный процесс представлен как бесконечность, выступающая в прерывной форме, то ясно, что здесь мыслится нечто вроде синтеза непрерывности и прерывности.

г) Сущность поля потому поддается определению с большим трудом, что это поле немислимо без очень острой и напряженной диалектики, а такая диалектика далеко не всем приятна, и далеко не все умеют с нею справиться. Континуальное поле, конечно, есть некоторого рода раздельность, так как иначе по этому полю невозможно бы было продвигаться, потому что для передвижения необходим переход от какой-нибудь одной точки к другой. А с другой стороны, всякому ясно, что континуальное поле, конечно, есть сплошность и непрерывность, т. е. полное слияние всех его точек в один, единый и нераздельный, поток. Вот эта острейшая диалектика раздельности и нераздельности, расчлененности и нерасчлененности, или, выражаясь физически, корпускулярноеTM поля и его волнового характера, вот эта диалектика у многих и вызывает некоторого рода страх или озабоченность, почему момент континуума в поле обычно и формулируется либо весьма слабо, либо совсем не формулируется.

И тут еще весьма важно понимать диалектическую взаимосвязь таких категорий, как модель, квант и поле. Модель только еще предполагает свое становление, для которого она является образцом, в то время как квант уже вмещает в себя свое же собственное становление. Но если у модели приоритет принадлежит единораздельной цельности, а становление этой последней только еще предполагается, то в поле, наоборот, приоритет принадлежит именно становлению, именно континууму, а единораздельная цельность в нем самом отсутствует, но обязательно им предполагается. Поэтому абстрактно-системный и абстрактно-структурный подход к языку, самое большее, может говорить только о принципе модели, но еще никак о принципе поля, для которого на первом плане необходимо предполагать непрерывное становление, а уже потом структурно-раздельную системность. Это, конечно, несколько не исключает огромной роли структурно-системного последования, а, наоборот, его предполагает.

¹ *Налимов В. В.* Непрерывность против дискретности в языке и мышлении. — Тбилиси, 1978; Прерывное и непрерывное. — Киев, 1983.

² *Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. — М., 1960. — Вып. I. — С. 387.

д) Насколько трудным является понятие континуального поля для большинства современных лингвистов, видно даже по работам Г. С. Шура. Этот весьма вдумчивый языковед хорошо критикует разные применения понятия поля в лингвистике, но сам, можно сказать, даже избегает определять это понятие в его специфике.

То, что структура и система еще не есть поле и что поле не есть просто структура, — это Г. С. Шуру ясно. Но все-таки среди очережных и нерешенных языковедческих проблем он все же находит проблемы «установления соотношения между понятиями "система", "структура" и "поле" в лингвистике», а также «установление соотношения между понятием поля в лингвистике и в общей теории поля»¹. Сам Г. С. Шур в качестве своего основного подхода к этой проблеме называет такой подход, «в основе которого лежит гипотеза... о включенности любого элемента в одну из групп и о существовании в языке нескольких таких групп»². Согласно Г. С. Шуру, поле — это, собственно говоря, и есть не что иное, как группа элементов. «Общее, что характерно для многих концепций, — пишет Г. С. Шур, — это постулирование общих дифференциальных признаков группам элементов, рассматриваемым как поле»³.

Однако если всерьез принять такое рассуждение, то придется сказать, что поле — это у Г.С.Шура пустое пространство, заполняемое разными группировками элементов. Но тогда здесь необходимо находить то устаревшее для современных точных наук понимание, когда пространство толковалось как ничем не заполненная пустота, а оформлялось оно извне единораздельным веществом.

е) Этот дуализм пространства и вещества давно преодолен в точной науке. Пространство трактуется теперь не как мертвая пустота и не просто как внешний атрибут вещества, но как та форма материи, которая обладает живым становлением и порождает из себя и отдельные, т. е. вполне раздельные, вещи, и разного рода пространственные отношения между этими вещами. С этой точки зрения материя есть такой континуум, т.е. такая сплошная непрерывность, которая в то же самое время порождает из себя и все раздельные вещи. Континуум не есть структура, но сплошность; однако, в то же самое время, специфически он мыслим только в абстракции, и фактически постоянно порождает из себя всякую раздельность, так что он даже и не мыслим без этой раздельности, как и сама раздельность немислима без континуума. Континуум — не просто внешний атрибут вещей, но самая настоящая их субстанция, субстанция, постоянно порождающая из себя всякую вещественную раздельность. Таким образом, и континуум, и раздельное вещество, постоянно переходя одно в другое, в своей последней субстанции

¹ Шур Г. С. Теория поля в лингвистике. — М., 1978. — С. 119.

² Там же. — С. 11.

³ Там же. — С. 233.

есть проявление материи вообще как принципа всякой реальности вообще.

В заключение мы бы привели тот список языковых полей, который мы находим у Г. С. Щура. При этом необходимо будет сказать, что почти все приводимые здесь теории языкового поля страдают слишком преувеличенной структурностью и системностью, т.е. приматом принципа модальности с игнорированием огромной роли момента непрерывного смыслового становления в реально существующем языке и особенно — в речи. Такая преувеличенная оценка раздельности без учета существенной роли континуума грозит переходом к методам рационалистической метафизики и, в частности, к метафизическому материализму.

Каждый падеж в склонении, каждое глагольное время, наклонение или залог в реальном языке и в речи представлены, во-первых, в раздельном виде, как, например, в словарях для каждого слова перечисляются его раздельные значения. Но самое главное — это то, во-вторых, что все реальные и живые значимости в языке и речи обязательно скользят и постоянно переходят одна в другую. Все богатство языка и речи только тогда и можно будет учесть, если мы кроме раздельности, не будем забывать и о непрерывных переходах. Только при этом условии имеет смысл привести те виды языковых полей, которые перечисляет Г. С. Щур.

ж) Вот эти поля: функционально-семантические поля, морфемные поля, фонемные поля, словообразовательные поля, лексемные поля, семантические поля, микро- и макрополя, поле множественности, поле залоговоеTM, модальное поле, компаративное поле, поле одушевленности, поле неодушевленности, указательное поле, поле времени, микрополе предположения, макрополе числа, поле утверждения, поле отрицания, поле вопросительности, понятийное поле, микрополе единичности, микрополе прошедшего, микрополе настоящего, микрополе будущего, поле действительности, поле недействительности, поле фауны, поле побуждения, потенциально-ирреальное поле, поле лица, грамматико-лексические поля, трансформационные поля, реляционные поля, поле места, поле деятеля, поле вещи, поле отвлеченности, поле действия, поле состояния, подполе орудий действия, квазиполе, дисперсионное поле¹.

Другими словами, в качестве поля необходимым образом проявляют себя все основные категории и элементы фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса, стилистики и поэтики. Все эти поля потому являются полями, что здесь перед нами не просто неподвижные абстрактные категории, но — бесконечное множество проявлений этих категорий, причем проявления эти в живом языке настолько близко подходят одно к другому, что часто становится даже затруднительным формулировать их в отдельности и часто воспринимать

их приходится только на основании общего чувства языка. Без этого континуума значений, который мы называем полем, невозможно владение живым языком. И вот почему никакой словарь не может заставить понимать отдельные фразы в языке, если нет общего чувства языка, которое возникает только из пользования самим же языком в его континуальной данности. Можно прекрасно знать грамматику языка и в то же самое время не уметь понимать в нем ни одной фразы. И это потому, что грамматики и словари основаны на принципе разделения, а язык основан на принципе нераздельной текучести, т. е. на принципе континуума, которым порождается раздельность, но который сам по себе вовсе не есть раздельность, а непрерывная сплошность.

з) В заключение напомним еще раз, что для теории языка является большим искусством объединить в одно целое континуальные и дискретные стороны языка. Континуум и дискретность только для абстрактной метафизики являются чем-то несовместимым и взаимно исключаящим одно другое. В качестве примера того, как континуум и дискретность вполне ясно и определенно объединяются в речевом потоке, мы привели бы следующее рассуждение В. Я. Плоткина: «Непрерывное звуковое пространство членится на дискретные участки, соответствующие фонемам и получившие название их дисперсионных полей. Конфигурация дисперсионного поля фонемы определяется парадигматически — она зависит от всей структуры фонологической системы данного языка. В речевом потоке дисперсионное поле подвергается синтагматической деформации, в результате которой в каждой данной позиции оно представлено одним из своих аллофонических участков. Дискретность фонемы означает, что у ее дисперсионного поля есть четкие внешние границы. Но в пределах этих границ звуковое поле остается континуумом. Поэтому аллофонические участки дисперсионного поля фонемы дискретными единицами не являются, никакими границами друг от друга не отделены, и их число теоретически бесконечно, а практически оно растет с увеличением точности фонетического инструментария»¹.

Поэтому никак нельзя остановиться на том, что фонема в языке представляет собою нечто только дискретное.

А л г о р и т м . Итак, мы пришли к тому выводу относительно модели, что всякая модель требует такого своего окружения, которым сама она не является, но которое есть тот фон и тот материал, для чего она и трактуется как образец. Этот фон является не просто единораздельной цельностью, поскольку таковой является уже и сама модель; но он обязательно является противоположностью всякой единораздельной цельности, т. е. является континуумом. И только благодаря этому континууму модель может осуществить свою едино-

¹ Плоткин В.Я. Динамика английской фонологической системы. — Новосибирск, 1967. — С. 13 — 14.

раздельную цельность. Однако модель — это пока еще результат смысловозначительной функции мышления, но еще не есть язык в смысле реальной речевой деятельности.

а) Человеческая речь всегда есть тоже непрерывно осуществляемая энергия; и если в реальном речевом потоке и встречаются паузы, они тоже имеют здесь свой коммуникативный смысл. Так или иначе, но континуум речи есть свой собственный и вполне специфичный континуум, а именно, континуум артикуляционно-акустических звучаний. И если в нем необходимым образом присутствует своя раздельность (так как иначе человеческая речь превратилась бы в бессмысленное завывание), то, очевидно, отдельные элементы этого речевого континуума — вовсе не те, которые мы находим при расчленении смысловой модели речи. Модель речи есть ее смысл, ее значение, ее коммуникативное содержание. Но сама речь, сам поток речи не есть просто смысл речи, не есть просто только ее значение, но обязательно фактическое произношение. Вот почему, если для единиц энергично функционирующей модели мы должны были употребить особый термин, а именно «квант», то для обозначения структурных элементов энергично функционирующего континуума живой речи тоже необходимо подыскать соответствующий термин. Если элемент энергично звучащего потока речи не будет отличаться от элементов энергично действующих смысловозначительных моделей, это будет значить только то, что мы отказываемся различать речь и язык. А это совершенно невозможно на современном этапе лингвистической науки.

б) Нам представляется, что таким элементом как специфическая структура энергично функционирующего потока речи является то, что в других науках носит название «алгоритм». <•,.,>

Имеется несколько чисто математических определений алгоритма. Но входить в их анализ для нашей настоящей работы будет делом излишним. Для нас здесь важен только принцип самообоснованности алгоритма и его подчиненность только имманентным законам самой же мыслительно-числовой деятельности; а если правила для каждого типа алгоритма разнообразны и даже вполне специфичны, то это не только не мешает алгоритмической самообоснованности, а наоборот, на ней основывается и выполнением ее заданий только и руководствуется.

в) Но тут и выясняется вся полезность принципа алгоритма для современного языкознания. Только здесь, как и везде, необходимо исходить из специфики той области, в которой мы собираемся применять принцип алгоритма. Специфика эта — не числовая строгость исчисления, но коммуникативная энергия речевого потока. Если алгоритм требует, чтобы исчисление не руководствовалось никакими иными принципами, кроме имманентно-числовых, то и алгоритмически понимаемый речевой поток получает свою самостоятельность и свою несводимость ни на какие чисто мыслительные или общеповеденческие процессы.

Прежде всего, алгоритмический подход должен обеспечить для нас только чисто звуковое понимание речи, только переливы одних звуков в другие, без всякого учета какой бы то ни было сигнификации, без всякого учета какой бы то ни было семантики речи.

Точно так же, если бы мы захотели обеспечить подход осмысленно звуковой, т. е. такой подход к звукам речи, когда ставится вопрос и об их звуковой значимости, обосновать такой подход только и можно при помощи принципа алгоритмики.

Наконец, всякому ясно также и то, что в разговорной речи нас интересуют не просто звуки сами по себе, т. е. звуки без всякого смысла, но и смысл звуков, взятый сам по себе, поскольку он есть достояние не физически осуществляемой мысли, но чистой мысли, взятой самой по себе и до всякой коммуникации. В реальном потоке речи нас интересуют не звуки и не мысли, а сообщения, в которых звуки и мысли можно выделять только в порядке условной абстракции. А такое цельное представление о реальном потоке речи тоже требует для себя специфического принципа, который обеспечил бы не только возможность и необходимость человеческой коммуникации, но и несводимость ее ни на какие другие процессы человеческой жизни, мысли и поведения. Принцип алгоритмики представляется нам для этого вполне целесообразным. Ведь всякая энергия, как бы и где бы она ни признавалась, не может быть сплошной неразличимостью и континуумом; она должна иметь для себя свои собственные чисто энергийные элементы и свою единораздельную структуру, т. е. свою собственную логику, свое движение. Принцип алгоритмики как раз и обеспечивает для речевого континуума такую его раздельность, которая не нарушает ни энергийности, ни вообще его континуальности, а по качеству своему является с ним тождественной и не сводимой ни на что другое.

г) Итак, без принципа алгоритмики невозможно представить себе различие языка и речи, будем ли мы брать это различие в относительном и предварительном смысле или в абсолютном и окончательном смысле. Принцип алгоритмики впервые делает различие языка и речи научным (в смысле последовательно приводимой логической системы) и впервые дает возможность выйти в этой проблеме за пределы приблизительных и только условных описаний.

Язык основан на определенной системе смысловозначительных и смылосоединительных операций и не сводим ни на что другое. Это есть результат его самодовлеющей алгоритмической структуры. Речевой поток есть совокупность сообщений одного индивидуума другому индивидууму. И то, что такая речь обладает своими собственными имманентными законами и несводима ни на физические, ни на физиологические, ни на психологические, ни на какие-нибудь другие социологические факты, это есть результат именно алгоритмической структуры речевого потока. И, наконец, если мы отвлечемся от всей случайной обстановки речевого потока и поста-

вим себе вопрос о смысле и значении коммуникативной акции, не сводя это ни на что другое и рассматривая это только в отношении имманентно развиваемой здесь осмысленности, это мы можем делать только в результате обнаружения использования алгоритмической структуры сообщения. Таким образом, без категории алгоритма нет никакой возможности понять что-нибудь в языке и речи как имманентно данную структуру, т. е. понять язык и речь просто как нечто самостоятельное и специфическое.

Переход к последней языковой категории. Программа, а) Эта последняя языковая категория, она же была у нас и первой, является максимально конкретной и максимально реальной. Это, если говорить кратко, есть смысловоразличительная коммуникация. С нее мы и начали, и ею же сейчас мы должны и кончить. Но в самом начале мы говорили о смысловоразличительной коммуникации вообще, т. е. в ее первичном и еще не расчлененном виде, только в качестве смыслового заряда и пока еще не расчлененной потенции, пока еще в качестве общеязыкового субстрата и носителя всей докатегориальной выразительной силы. Но эта первичная докатегориальная сила и пока еще не расчлененный носитель всех языковых расчленений, конечно, тут же потребовал от нас перехода и к этим расчленениям, без которых тоже невозможна смысловоразличительная коммуникация. Расчленение это выступило у нас, вообще говоря, в виде смысловой структуры или, говоря несколько подробнее, в виде функционально квантованной энергии модели. Но всем этим мы все еще не характеризовали язык в его наибо́льшей форме, но характеризовали язык в узком смысле слова, т. е. как противоположность речи. И впервые только с использованием категории континуума мы перешли от языка к речи, понимая под континуумом не внутримодельную, но внешнюю стихию становления. И здесь мы впервые отошли от смысловоразличительной функции в ее чистом виде к тому ее внесмысловому становлению, которое само по себе еще не есть смысловоразличительная функция, но только ее более или менее совершенный носитель. Нам и предстоит формулировать те необходимые смысловые категории, носителем которых является внесмысловой речевой континуум.

б) Чтобы формулировать эти категории, необходимо твердо помнить, что поток реальной человеческой речи, в отличие от чистых и самостоятельных смысловоразличительных функций, носителем которых он является, есть уже нечто материальное, нечто вещественное, нечто внешне-технически оформленное. Но тогда должно стать ясным также и то, что все предыдущие категории структуры, оставаясь самими собой, должны приобрести теперь техническое и прикладное выражение. И в этом отношении большая заслуга принадлежит теперешнему прикладному языкознанию, которое настолько технически заострено (т. е. семантически ослаблено), что может строить машины для механического получения результатов, бывших ра-

нее доступными только благодаря огромному использованию тончайших мыслительных операций. Вот тут-то и возникает один термин, который уже давно потерял здесь свой обывательский смысл и приобрел точнейшее научно-техническое значение. Это — термин «программа».

Программа, с этой точки зрения, есть любая языковая или речевая алгоритмическая функциональная модель, получившая вещественно-материальное и формально-техническое состояние, которое при помощи формально-математического аппарата и соответствующих алгоритмов может быть закладываемо в машину для получения тех или иных практических результатов или по крайней мере для приближенного предела окончательного того или иного логически обоснованного вывода. <... >

в) Здесь мы доходим до высокой степени конкретизации языка и речи, но и эта конкретизация — не последняя. Ведь мы же исходим из языка и речи как из области смысловозначительной коммуникации. Принцип программы подвел нас к окончанию научного анализа смысловозначительной коммуникации. Но самый термин «программа» уже предполагает такую предметность, о программе которой идет речь. Ведь всякая программа всегда есть программа чего-нибудь. В чем же заключается та предметность в программе, о которой мы сейчас заговорили? Конечно, в основном это есть все та же смысловозначительная коммуникация. Но раньше эту коммуникацию мы давали либо в нерасчлененном виде, либо в расчлененном. Сейчас же мы должны формулировать такую предметность, которая является одновременно и нерасчлененным носителем всего речевого потока и принципом его смысловозначительного становления. Кроме того, и необходимое для языка и речи становление мы понимаем то как смысловое, то как внесмысловое и вещественно-материальное. Но окончательная и конкретнейшая языковая и речевая предметность, очевидно, должна быть выше этого разделения на смысловозначительность и на вещественную материальность. Такой последней и наиконкретнейшей языковой и речевой категорией и таким термином является то, что сейчас в прикладном языкознании называют «информацией».

Информация и диалектическое завершение общенаучных понятий языкознания, а) Термин «информация» уже давно потерял только тот свой единственный смысл сообщения чего-нибудь о чем-нибудь и кому-нибудь, который обычно имеется в виду в обывательской практике. Имеется специальный словарь по информатике, в котором перечисляется до 50 видов информации. Что же касается того словоупотребления, которым мы пользуемся в нашей настоящей работе, то под информацией мы понимаем все ту же смысловозначительную коммуникацию, но уже доведенную до степени индивидуальной определенности и характерную не вообще для всего речевого потока в целом, но для каких-

нибудь его точно определенных областей, имеющих свое начало, свою специфику и свой конец. Кроме того, всякая такая строго ограниченная область речевого потока обладает, конечно, и своей собственной, уже не только различительной, но и порождающей смысловой силой. Эта последняя здесь так же специфична, как и строгая определенность и ограниченность неопределенного и безграничного коммуникативного континуума.

Насколько можно судить, именно такого рода определение и дается в указанном у нас сейчас информативном словаре. Здесь пишется: «Информация — это содержание какого-либо сообщения; сведения о чем-либо, рассматриваемые в аспекте их передачи в пространстве и времени»¹.

Т. П. Ломтев писал: «Фонемы выделяются в языке как различительные единицы. Они служат для построения и различения единиц высшего уровня: морфем и форм слов. Фонемы не являются носителями содержательной информации, они представляют собой только материал для построения носителей содержательной информации, которыми являются морфемы и формы слов»². У того же Т. П. Ломтева читаем: «Предметной областью фонологии как науки являются только звуки человеческой речи, которые рассматриваются как материальные носители информации»³.

б) Таким образом, язык и речь как в самом начале трактовались нами в виде смыслоразличительной коммуникации, так трактуются они нами и в самом конце нашего исследования, где они выступают у нас в виде не только совмещения всех предыдущих категорий, но и в виде их творчески-жизненного направления и практически-утилитарного использования. Первоначальный доструктурный автогенный принцип выступил здесь снова, но уже как вместительница всевозможных уже структурных различительных и внеразличительных операций. И если диалектика есть учение о единстве противоположностей, то речевая информация и есть это последнее и наиболее конкретное единство всех языковых и речевых противоположностей, из которых состоит разумно-жизненное человеческое общение⁴.

Печатается по изданию: Лосев А. Ф. В поисках построения общего языкознания как диалектической системы // Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. — М., 1989. — С. 5 — 92.

¹ Жданова Г. С., Колобродова Е. С., Полушкин В. А., Черный А. И. Словарь терминов по информатике. — М., 1971.

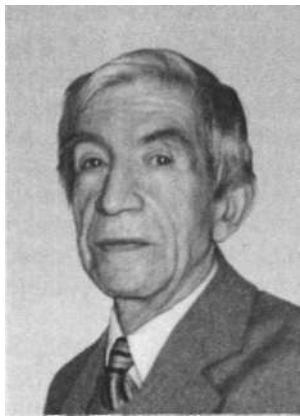
² Ломтев Т. П. Общее и русское языкознание. — М., 1976. — С. 113.

³ Ломтев Т. П. Фонология современного русского языка. — М., 1972. — С. 9.

⁴ Категория информации рассматривается Г. П. Мельниковым в его работах: Информатика, язык и речь // Теория и практика научно-технической информации. — М., 1974; Системология и языковые аспекты кибернетики. — М., 1978.

Вопросы

1. Почему А. Ф. Лосев считает, что возможна и даже необходима выработка общенаучных понятий?
2. На какие известные общие свойства языка, раскрываемые в общенаучных понятиях, указывает А. Ф. Лосев? В чем он видит специфику языка?
3. Что понимает А. Ф. Лосев под смысловой заряженностью языкового элемента?
4. Как понимает А. Ф. Лосев порождающую языковую модель (слова, фонемы, предложения)?
5. Что значит, по А. Ф. Лосеву, «квантовать» что-либо?
6. Как соотносит А. Ф. Лосев квант языка и языковую модель?
7. Как в свете квантовых представлений о языке А. Ф. Лосев видит единство мысли, речи и языка?
8. Как представляет А. Ф. Лосев реалию поля в языке? Как он соотносит языковую модель, языковой квант и поле в языке?
9. Почему никакой словарь «сам по себе», как пишет А. Ф. Лосев, «не может составить отдельные фразы в языке» и знание грамматики не обеспечивает понимание фразы?
10. Как различает и объединяет А. Ф. Лосев континуальные и дискретные стороны языка?
11. Как, в понимании А. Ф. Лосева, осуществляется различение языка и речи в действии механизмов, их организующих, — алгоритма и программы?



17. А.А.ЛЕОНТЬЕВ: ПСИХОЛИНГВИСТИКА XX ВЕКА

...Воспринимая текст по-разному, мы не строим разные миры: мы по-разному строим один и тот же мир. Этот мир мы можем видеть в разных ракурсах, с разной степенью ясности, можем видеть фрагмент вместо целой картины. Есть предел числу степеней свободы, и этот предел есть объективное содержание или объективный смысл текста.

А.А.Леонтьев

Алексей Алексеевич Леонтьев (1936 г.) — ведущий специалист в области психолингвистики, доктор филологических наук (1968), доктор психологических наук (1975), профессор (1976), профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова (1998), действительный член Российской академии образования (1992), генеральный секретарь Международной ассоциации коллективного содействия изучению языков (1990), почетный президент Психолингвистического общества им. Л.С.Выготского (1991), член Международной ассоциации прикладной психолингвистики, член Международной ассоциации межкультурной коммуникации; председатель Экспертного совета по языковой политике в учреждениях образования при Министерстве образования Российской Федерации; член ряда других советов, редколлегий международных и российских журналов.

Области его научных исследований: общая психология и психология речи, психология общения и речевого воздействия, психолингвистика, психология методики преподавания иностранных языков, общее языкознание, история языкознания, русский язык, папуасские языки, языковая политика в образовании, народы и языки России. Тема кандидатской диссертации — «Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртена»; тема докторской диссертации по филологии — «Теоретические проблемы моделирования речевой деятельности»; тема докторской диссертации по психологии — «Психология речевого общения». А. А. Леонтьев — автор более 500 печатных работ.

Основные труды А. А. Леонтьева в области психолингвистики (а фактически все его работы так или иначе относятся к этой области) приобрели хрестоматийную значимость: «Возникновение и первоначальное развитие языка» (1963) [1], «Слово в речевой деятельности» (1965) [2] (долгое время эта работа служила основным учебным пособием для высшей школы), «Психолингвистика» (1967) [3], «Язык, речь, речевая деятельность» (1968) [4], «Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания» (1969) [5], «Психология общения» (1974) [6] (фундаментальное учебное пособие, охватывающее наряду с общими вопросами общения проблематику лекционного общения, массовой коммуникации и психологии искусства, выдержавшее три издания), «Речь в криминалистике и судебной психологии» (в соавторстве — 1977) [7]; «Педагогическое общение» (1979) [8].

Важным событием в научно-педагогическом творчестве А. А. Леонтьева явилось создание им учебника по психолингвистике для высшей школы — «Основы психолингвистики» (1997) [9]. Этот первый отечественный учебник и сейчас имеет преимущество перед другими основными учебными пособиями по психолингвистике потому, что в нем представлена структура изучаемой учебной дисциплины, выделены ее основная и прикладная части, раскрыты методы изучения процессов порождения и восприятия речи, даны различные интерпретации этих процессов, история психолингвистики и актуальное понимание изучаемого ею предмета. Здесь представлена классическая организация учебной дисциплины в высшей школе, а не блочная (как это имеет место в большинстве пособий по психолингвистике), которая хотя и имеет свои методические достоинства, но страдает недостаточностью цельного видения сложного предмета. Автор сам читал для психологов в разных высших учебных заведениях курсы: «Психолингвистика», «Психология общения в больших системах». Своей научной, педагогической и общественной деятельностью А. А. Леонтьев оказал и оказывает непосредственное влияние на развитие и распространение научного знания в области психолингвистики, психологии и лингвистики в наше время.

Литература

1. Леонтьев А. А. Возникновение и первоначальное развитие языка. — М., 1963.
2. Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. — М., 1965.
3. Леонтьев А. А. Психолингвистика. — Л., 1967.
4. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. — М., 1969.
5. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. — М., 1969.
6. Леонтьев А. А. Психология общения. — М., 1974.
7. Леонтьев А. А., Шахнаровж А. М., Батов В. И. Речь в криминалистике и судебной психологии. — М., 1977.
8. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. — М., 1979.
9. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. — М., 1997.

А.А.ЛЕОНТЬЕВ

ОСНОВЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

(Извлечения)

Часть 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Глава 2. История психолингвистики

Возникновение психолингвистики. Психолингвистика первого поколения. Сам термин «психолингвистика», по-видимому, впервые прозвучал в статье американского психолога Н. Пронко (1946). Как отдельная наука она возникла в 1953 г. в результате междууниверситетского семинара, организованного в июне — августе Комитетом по лингвистике и психологии Исследовательского Совета по социальным наукам в Университете Индиана. Вдохновителями этого семинара были два психолога с мировым именем — Чарлз Осгуд и Джон Кэрролл — и литературовед, фольклорист, семиотик Томас Сибек. Его участниками были в основном лингвисты, причем самого высшего класса — все они к настоящему времени получили мировую известность, — и психологи, тоже отнюдь не рядовые¹. За девять летних недель они написали книгу, в которой сумми-

¹ Просто перечислим их здесь — имена говорят сами за себя. Это Дж. Гринберг, Ф.Лаунсбери, Э.Леннеберг, Э.Уленбек, Дж.Лотц, В.Леопольд, Л.Ньюмарк, С. Сапорта, Дж. Касагранде (лингвисты) и Дж. Дженкинс, Г. Фэрбенкс, С. Эрвин (Эрвин-Трипп), Д.Уокер, К. Вильсон (психологи).

ровали основные теоретические положения, принятые в ходе дискуссий всеми участниками, и основные направления экспериментальных исследований, базирующиеся на этих положениях (Psycholinguistics. 1954). ... В основе концепции, изложенной на ее страницах, лежат три основных источника.

Это, во-первых, математическая теория связи Шеннона — Уивера, иногда называемая также математической теорией коммуникации. Главная ее черта — представление процесса коммуникации как трансляции некоторой информации от одного изолированного индивида (говорящего) к другому (слушающему).

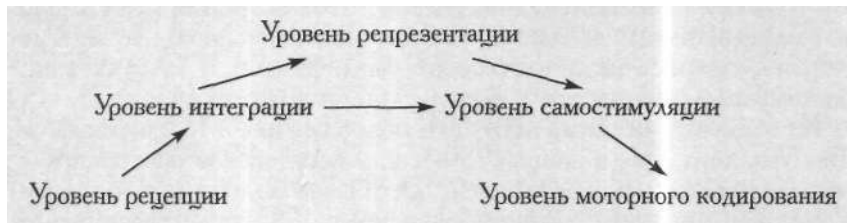
Во-вторых, американская дескриптивная лингвистика (соответствующая глава написана Джозефом Гринбергом).

В-третьих, необихевиористская психология в варианте Ч. Осгуда, как раз в 1953 г. издавшего свою известную монографию «Метод и теория в экспериментальной психологии», а годом раньше начавшего серию публикаций по психологическим вопросам семантики (по интересному совпадению, другой лидер семинара, Дж. Кэрролл, опубликовал свою основную книгу все в том же 1953 году...

Пожалуй, та известность, которую моментально получила книга «Психолингвистика», была связана не столько с ее теоретическим содержанием, сколько с самим фактом ее появления. Она сыграла роль скорее стимула, толчка к развертыванию многочисленных междисциплинарных лингвопсихологических исследований, чем единой теоретической базы таких исследований. Концепция в целом развивалась крайне вяло, серьезных монографических публикаций общего характера почти не было, а те, которые выходили, прямой связи с данной книгой не имели или даже, как «Речевое поведение» Б. Скиннера, создавались в полемике с ней. Но тем не менее и факт ее выхода, и нащупанное в ней единство позиций представителей разных наук, и, наконец, разработка отдельных проблем (вроде проблемы психолингвистических единиц) — все это оказало значительное влияние на судьбы и американской, и мировой науки. Существенным оказалось и то, что вокруг семинара и книги, ставшей ее результатом, объединились лучшие умы американской лингвистики, психологии и смежных с ними дисциплин (семиотики, как Т. Сибек, этнографии и теории культуры, как Лаунсбери, теории обучения языку, как Дж. Кэрролл). Поэтому вполне правомерно вслед за французскими психолингвистами Ж. Мелером и Ж. Нуазе ввести понятие психолингвистических «поколений» и говорить об осгудовской психолингвистике как о «психолингвистике первого поколения».

Суть психологической концепции Ч. Осгуда такова. Речь есть система непосредственных или опосредствованных (задержанных) реакций человека на речевые или неречевые стимулы. При этом речевые стимулы вызывают частично то же поведение, что соответствующие неречевые, благодаря возникновению ассоциаций между речевым и неречевым стимулами (поэтому Л. В. Сахарный не слу-

чайно называет психолингвистику первого поколения ассоцианистской). Речевое поведение опосредствовано системой фильтров, задерживающих и преобразующих речевой стимул (на входе) и (или) речевую реакцию (на выходе). Такая система фильтров, имеющая, по Осгуду, врожденный характер, и отождествляется им с речевым механизмом или языковой способностью человека: таким образом, «промежуточные переменные» имеют для Ч.Осгуда вполне определенный психофизиологический смысл. Вот как выглядит принципиальная схема речевого поведения человека по Осгуду:



На уровне рецепции речевые стимулы перекодируются в нервные импульсы. Затем эти импульсы образуют наиболее вероятное (на основании прошлых восприятий) перцептуальное единство, своего рода «гештальт» (на уровне интеграции). На уровне репрезентации этот гештальт ассоциируется с неречевыми стимулами и обретает что-то вроде значения. Затем процесс обращается «наружу», и на уровне самостимуляции на основе информации, поступившей с уровня интеграции и с уровня репрезентации, делается выбор между «альтернативными моторными целыми», и наконец эти интегрированные моторные схемы проходят моторное кодирование и превращаются в собственно факты поведения.

Главная особенность психолингвистики первого поколения, роднящая ее с другими ответвлениями бихевиоризма, — это ее *реактивный* характер. Она целиком укладывается в бихевиористскую схему «стимул — реакция», пусть в исправленном, модернизированном ее варианте. Ее ориентация — чисто психологическая, она базируется на определенной трактовке процессов поведения — в данном случае речевого поведения. При этом психолингвистика первого поколения — не теория речевых действий или поступков, а теория речевого приспособления к среде, теория речи как орудия установления равновесия — внутреннего равновесия человека или равновесия в системе «человек — среда».

Второй особенностью психолингвистики первого поколения является ее *атомизм*. Она имеет дело с отдельными словами, грамматическими связями или грамматическими формами. Особенно ясно этот атомизм сказывается в осгудовской теории усвоения языка ребенком: такое усвоение по существу сводится к овладению отдельными словами или формами и их дальнейшей генерализации (обобщению). В силу этого осгудовская психолингвистика, как быстро

выяснилось, не может интерпретировать многие факты, это теория, имеющая недостаточную объяснительную силу. В частности, как заметил Дж. Миллер, чтобы научиться языку «по Осгуду», ребенок должен заниматься этим 100 лет без перерывов на сон, еду и т. д.

Наконец, для психолингвистики первого поколения характерен *индивидуализм*: это теория речевого поведения индивида, вырванного не только из общества, но даже из реального процесса общения, который сведен здесь к простейшей схеме передачи информации от говорящего к слушающему. Но это недопустимое упрощение.

Поэтому совсем не удивительно, что, сохранив саму идею психолингвистики как единой теоретической дисциплины, многие ученые оказались неудовлетворенными подходом Ч. Осгуда и его единомышленников и стали искать альтернативные подходы.

Психолингвистика второго поколения: Н. Хомский и Дж. Миллер. Уже в конце 1950-х гг. у осгудовской психолингвистики появился сильный оппонент. Это был молодой лингвист Ноэм Хомский (Чамский)¹, дебютировавший в 1955 г. диссертацией о трансформационном анализе, а в 1957 г. выпустивший в гаагском международном издательстве «Mouton» свою первую большую книгу «Синтаксические структуры», вскоре переведенную и на русский язык. Но знаменитым его, так сказать, в одночасье сделала опубликованная в 1959 г. развернутая рецензия на книгу Б. Скиннера «Речевое поведение», где Н. Хомский впервые четко сформулировал свое психолингвистическое кредо. Еще больше укрепило позиции Н. Хомского и группы молодых лингвистов, объявивших себя адептами его теории, то, что в их ряды встал очень известный психолог, прославившийся к этому времени как автор классического компендиума «Язык и коммуникация» и безусловно являвшийся самым талантливым и компетентным специалистом Америки — Джордж Эрмитейдж Миллер².

Если Ч. Осгуд строил свою психолингвистическую модель, отталкиваясь от психологии или, в терминах необихевиористов, от «теории поведения» и конкретизируя ее на материале речи и ее восприятия, то Н. Хомский шел принципиально иным путем — от лингвистики. И, в частности, от им же разработанной *трансформационной модели*.

Почему-то считается, что Н. Хомскому и принадлежит идея трансформации. Это не так: трансформационный подход был впер-

¹ По-английски его фамилия произносится как «Чамский», однако в русскоязычной научной литературе укрепился вариант «Хомский». Поэтому мы тоже будем пользоваться этим вариантом.

² Я не случайно назвал Дж. Миллера адептом теории Н. Хомского. Уже с начала 1960-х гг. стали появляться их совместные работы, написанные характерным стилем Н. Хомского, в которых Дж. Миллер как бы «растворялся». Эти работы совершенно не похожи на те более ранние публикации Дж. Миллера, которые сделали его известным. Возникла своего рода ситуация обращения Савла в Павла — хотя Н. Хомского трудно сравнивать с Христом.

вые предложен его учителем — крупнейшим американским лингвистом Зелигом Харрисом. Заслуга же Н. Хомского в том, что он реализовал этот подход в виде целостной модели описания языка — *порождающей грамматики*. Причем «порождает» она всего лишь текст. В этой грамматике существуют особого рода правила или операции (трансформационные), прилагаемые к синтаксической конструкции предложения как единому целому. Так, Хомский выделяет группу простейших синтаксических структур, называемых им ядерными (типа: *Петр читает книгу*). Прилагая к такой ядерной структуре операцию пассивизации, получаем *Книга читается Петром*. Если приложить к ней операцию отрицания, получим *Петр не читает книгу*. Возможна и вопросительная трансформация: *Петр читает книгу?*¹ Можно использовать одновременно два, три, четыре вида трансформационных операций: *Книга не читается Петром?*

Это еще лингвистика. Кстати, первоначально Н. Хомский и не имел в виду переносить свою модель в психолингвистику: еще в 1961 г. он считал «ошибочным» убеждение, «что порождающая грамматика, как таковая, есть модель для говорящего или соотнесена с ней каким-то строго определенным образом». Первую попытку внедриться в психолингвистику он сделал в известной книге «Аспекты теории синтаксиса» (1965), где вводится понятие *глубинной структуры*, определяющей семантическую интерпретацию синтаксической конструкции предложения и соответствующей «ядерной конструкции» первого варианта его теории. По Хомскому, последовательность порождения предложения такова. «База (базовые грамматические отношения. — *Авт.*) порождает глубинные структуры. Глубинная структура подается в семантический компонент и получает семантическую интерпретацию; при помощи трансформационных правил она преобразуется в поверхностную структуру, которой далее дается фонетическая интерпретация при помощи правил фонологического компонента». Дальнейшая эволюция взглядов Н. Хомского на структуру его лингвистической (и психолингвистической: сейчас мы увидим, что это практически одно и то же) модели не была сколько-нибудь принципиальной, тем более что он почти двадцать лет не публиковал серьезных лингвистических или психолингвистических работ и вновь вернулся к этой области только в конце 1980-х гг., выдвинув идею «переключателей», связанную с его теорией врожденных структур, на которой мы остановимся ниже.

Пожалуй, стоит обратить внимание только на три момента в дальнейшем развитии взглядов Н. Хомского. Во-первых, он стал «встраивать» в структуру своей модели не только грамматические, семан-

¹ В английском языке утвердительное и вопросительное высказывания, как известно, различаются не только интонацией, как в нашем русском примере, но и грамматически.

тические и фонетические (фонологические), но и так называемые прагматические правила — правила употребления языка. Во-вторых, он развил идею, которую можно найти уже в ранних его работах — идею о принципиальном различии модели — *linguistic competence* («языковой способности») и модели *linguistic performance* («языковой активности»). Первая есть потенциальное знание языка, и оно-то, по Хомскому, как раз и описывается порождающей моделью. Вторая — это процессы, происходящие при применении языковой способности в реальной речевой деятельности. Первая — предмет лингвистики; вторая — предмет психологии. Первая определяет вторую и первична по отношению к ней. Ясно, что психолингвистическая концепция Хомского представляет собой как бы проекцию лингвистической модели в психику. В подавляющем большинстве исследований школы Хомского — Миллера речь идет не случайно именно об анализе и количественной оценке «психологической реальности» тех или иных компонентов языковой структуры или правил перехода от нее к каким-то иным структурам, обычно априорно объявляемым психологическими (или когнитивными).

В-третьих, Н.Хомский последовательно обосновывал и отстаивал (и продолжает это делать и сейчас) идею врожденности языковых структур.

Модель Н. Хомского импонировала и лингвистам, и психолингвистам своей бросающейся в глаза оригинальностью, кажущейся динамичностью, она как будто позволяла сделать в лингвистике принципиальный шаг вперед — от распределения языковых единиц по уровням и построения на каждом уровне своей языковой подсистемы (фонологической, грамматической и пр.) к представлению языка как целостной системы, организованной по единым правилам. В популярности идей Н. Хомского сыграла большую роль также характерная для конца 1950-х — начала 1960-х гг. тенденция к «машинизации» человеческого интеллекта. Действительно, модель, казалось бы, позволяет «автоматически» получать из заданного исходного материала любые грамматические конструкции, «заполнять» их лексикой и правильно фонетически оформлять.

На деле все эти достоинства модели Н. Хомского не были столь уж ошеломляющими. Основная идея — положить в основу модели операции трансформации — как уже сказано, принадлежит З. Харрису. Н. Хомский лишь последовательно провел ее и придал ей «товарный вид». Динамичность модели Н.Хомского весьма ограничена: операция в его представлении — это переход от одного статического состояния системы к другому статическому состоянию. А ее системность во многом фиктивна — во всяком случае, довольно успешно описывая английский язык и речь на этом языке, как лингвистическая, так и основанная на ней психолингвистическая модель Н. Хомского оказалась малоприемлемой для языков другой структуры, даже для русского.

Важнейшее отличие психолингвистики второго поколения по сравнению с осгудовской заключалось в том, что был преодолен атомизм этой последней. Особенно ясно это видно на примере трактовки усвоения языка: согласно школе Н.Хомского, это не овладение отдельными языковыми элементами (словами и т. д.), а усвоение системы правил формирования осмысленного высказывания. Но какой ценой это преодоление было достигнуто? Односторонне психологическая ориентация сменилась односторонне лингвистической. Единство психолингвистической модели Хомского — Миллера — это единство модели языка. Как тонко заметили Ж. Мелер и Ж. Нуазе: «Грамматика Хомского относительно нейтральна по отношению к процессам собственно психологическим». Более того — психолингвистика второго поколения принципиально антипсихологична: претендуя на роль психологической, а не только лингвистической теории, она в сущности сводит психологические процессы к реализации в речи языковых структур. Системность поведения или деятельности человека оказывается непосредственно выведенной из системности языка — психика в лучшем случае накладывает определенные ограничения на реализацию языковых структур (это касается, например, объема памяти). Претензии психолингвистики Хомского на глобальное объяснение речевого поведения не имеют под собой, однако, реального основания: известный англо-американский психолог Джером Брунер замечает по этому поводу, что на самом деле «...правила грамматики так относятся к закономерностям построения предложения, как принципы оптики к закономерностям зрительного восприятия».

Два других недостатка осгудовской психолингвистики остались непреодоленными. Изменилось представление о степени сложности речевых реакций, но осталась незыблемой сама идея реактивности. А индивидуализм осгудовской психолингвистики Н.Хомский и Дж. Миллер еще больше углубили — одним из важнейших положений психолингвистики второго поколения стала идея универсальных врожденных правил оперирования языком, сформулированная на основе тех бесспорных фактов, что, с одной стороны, эти правила не содержатся в эксплицитной форме в языковом материале, а с другой, что любой ребенок может одинаково свободно овладеть (как родным) языком любой структуры. Таким образом, процесс овладения языком свелся к взаимодействию этих врожденных правил или умений и усваиваемого языкового материала или, если угодно, к актуализации этих врожденных правил.

Психолингвистика Н. Хомского весьма уязвима и в других отношениях. Она ограничивается проблемами восприятия и порождения предложения — лингвистической единицы, определяемой через грамматику, семантику и сегментную фонетику и принципиально изолируемой от целостного осмысленного текста. Она рассматривает именно предложение (*sentence*), а не высказывание (*utterance*), т. е.

игнорируется реальное соотношение различных языковых уровней (и невербальных средств) в формировании и восприятии той или иной коммуникативной единицы. Априорно предполагается, что основой порождения и восприятия высказывания всегда является его морфосинтаксическая структура. Далее, предложение рассматривается вне реальной ситуации общения. Игнорируется место речи, а также ее восприятие в системе психической деятельности человека — речь и ее восприятие рассматриваются как автономные, самоценные процессы. Игнорируются индивидуальные, в частности личностно обусловленные, особенности восприятия и производства речи: сама идея индивидуальных стратегий оперирования с языком отвергается с порога.

Все эти недостатки модели Н. Хомского, в особенности ее «лингвистичность», вызвали критику со стороны тех психолингвистов, кто не попал под его влияние, причем интересно, что направления такой критики в основном совпали. Но особенно существенно, что среди последователей Н. Хомского и Дж. Миллера с самого начала возникла тенденция «подправить» психолингвистику второго поколения, сделать ее более психологической, привести в соответствие с концептуальной системой общей психологии. Эта тенденция особенно ярко проявилась в работах молодых (тогда!) психологов так называемой Гарвардской школы, прямых учеников и сотрудников Джорджа Миллера: Т. Бивера, М. Гарретт, Д. Слобина и др. Их позиция достаточно четко отразилась, например, в переведенной на русский язык книге Д. Слобина «Психолингвистика», в оригинале изданной в 1971 г.

Если в США Н. Хомский, особенно после упомянутой выше разгромной рецензии на книгу Б. Скиннера и ряда весьма агрессивных «антиосгудовских» публикаций, воспринимался как единственная альтернатива бихевиористским догмам (других альтернатив большинство американских психолингвистов либо не знало, либо не могло принять), то в Европе дело обстояло иначе — там распространение идей Н. Хомского натолкнулось на основательную психологическую традицию. И европейские психолингвисты приняли идеи Хомского — Миллера с самого начала *cum grano salis*, с большим скепсисом, поверяя их традиционной психологией и преобразуя в соответствии со своей психологической позицией. Так, например, совершенно особое направление в психолингвистике второго поколения составили англичане — П. Уосон, Дж. Джонсон-Аэйрд, Дж. Грин, Дж. Мортон, Дж. Маршалл. Они, в частности, вышли за пределы предложения — в текст, хотя сосредоточились либо на восприятии языковых средств связи предложений, либо на «психологической реальности» логических структур. В европейских ответвлениях психолингвистики второго поколения допускается иное функциональное соотношение грамматики и семантики в порождении и восприятии предложения, хотя и в рамках его языковой структуры, вводятся отдельные понятия теории высказывания, учитываются

некоторые «неклассические» ситуативные факторы (особенно в работах психолингвистов ФРГ), но роль этих факторов в психологической организации процессов общения, ее зависимость от типа и задачи общения остаются нераскрытыми. Европейские психолингвисты покушаются и на «святая святых» теории Н. Хомского — противопоставление языковой способности и языковой активности. Однако в силе остается подход к психолингвистике с позиций «психологической реальности» языковых единиц и структур, т. е. идея полного или частичного изоморфизма «когнитивных» или психолингвистических структур и структур языковых.

Поэтому на этом «диссидентском» направлении в психолингвистике ее развитие остановиться никак не могло.

Психолингвистика третьего поколения. Психолингвистика третьего поколения, или, как ее назвал видный американский психолог и психолингвист Дж. Верч, «новая психолингвистика», сформировалась в середине 1970-х гг. Она связана в США с именем Дж. Верча и психолога более старшего поколения — цитированного выше Джерома Брунера; во Франции — с именами Жака Мелера (бывшего одно время пламенным пропагандистом идей Н. Хомского и Дж. Миллера, но вскоре отошедшего от них), Жоржа Нуазе, Даниэль Дюбуа; в Норвегии — с именем талантливого психолингвиста Рагнара Румметфейта.

Печатается по изданию: *Леонтьев А. А.* Основы психолингвистики. — М., 1997.

Глава 3. Основы психолингвистической теории

Основные постулаты психолингвистической теории

Постулат первый. Единицей психолингвистического анализа является не «элемент» в смысле Л. С. Выготского, т. е. не статический коррелят той или иной языковой единицы в психике носителя языка (и поэтому бессмысленно говорить о психологической или психолингвистической «реальности» языковых единиц), а элементарное речевое действие и речевая операция (в предельном случае — акт речевой деятельности). Этим наш подход (подход Московской психолингвистической школы) принципиально отличается от позиции «психолингвистики второго поколения».

Постулат второй. Эта единица психолингвистического анализа трактуется нами в деятельностной парадигме, т. е. исходное речевое событие характеризуется деятельностным фреймом. Иначе говоря, эта единица, эта минимальная «клеточка» речевой деятельности, должна нести в себе все основные признаки деятельности. Такими признаками являются:

а) предметность деятельности [см. 9 и другие работы]; под предметностью деятельности мы понимаем то, что она, по крылатому выражению А. Н. Леонтьева, протекает «с глазу на глаз с окружаю-

щим миром» [8, с. 8]. Иначе говоря, «в деятельности происходит как бы размыкание круга внутренних психических процессов — на встречу, так сказать, объективному предметному миру, властно врывающемуся в этот круг, который, как мы видим, вовсе не замыкается» [8, с. 10];

б) ее целенаправленность, что резко отличает деятельностьную парадигму от бихевиоризма во всех его модификациях, включая «психолингвистику первого поколения». Другими словами, любой акт деятельности характеризуется конечной, а любое действие промежуточной целью, достижение которой, как правило, планируется субъектом заранее. Деятельность в понимании школы Выготского имеет не столько детерминистский («почему»), сколько телеологический («зачем») характер, это «почему» определяет лишь постановку целей, но не сами действия, направленные на ее достижение;

в) ее мотивированность. До сих пор мы говорили об изолированном мотиве, стимулирующем деятельность: в действительности акт любой деятельности всегда полимотивирован, т. е. побуждается одновременно несколькими мотивами, слитыми в одно целое;

г) иерархическая («вертикальная») организация деятельности, включая иерархическую организацию ее единиц или квазиединиц (поскольку единственной подлинной единицей в смысле А. С. Выготского, как мы говорили, является акт деятельности)¹. В работах психологов школы Л.С.Выготского представление об этой организации варьируется в довольно широких пределах, так как схема, предложенная в свое время А.Н.Леонтьевым, в свете дальнейших исследований потребовала коррекции. Так, В. П. Зинченко ввел в нее понятие функционального блока [см. 5], автор настоящей книги разделил понятия макроопераций и микроопераций и ввел понятие о трех видах системности деятельности — Л-системе, С-системе *я Д-системе*, А. Г. Асмолов ввел понятие об уровнях установок в деятельности [см. 1] и совместно с В. А. Петровским разработал идею «динамической парадигмы деятельности» [2, 1978] и т.д.;

д) фазная («горизонтальная») организация деятельности.

Постулат третий. Его можно охарактеризовать как «эвристический принцип» организации речевой деятельности. Остановимся на нем подробнее. «Психолингвистика второго поколения», как мы уже отмечали в главе 2 (хотя и не употребляя этого термина), принципиально алгоритмична². Согласно ей, стратегия речевого по-

¹ Именно поэтому наша статья, посвященная психологической организации деятельности, была названа не «Единицы и уровни деятельности», а «Единицы» и уровни деятельности».

² Напомним, что алгоритм — это «...точное предписание о выполнении в определенном порядке системы операций, позволяющее решать совокупность задач определенного класса. Алгоритм приводит от исходных данных к искомому результату через конечное число шагов (действий); при этом данные варьируются в известных границах» [11, с. 11].

ведения (детерминированный выбор класса решений) жестко задана анализом конкретной ситуации; варьируется лишь конкретная тактика (детерминированный выбор и исполнение определенного решения о поведении), причем лишь в звене реализации и лишь благодаря выявившемуся несовпадению достигнутого результата с желаемым. Однако экспериментальные данные и теоретические соображения¹ приводят нас к выводу, что психолингвистическая теория должна быть не алгоритмической, а эвристической, т. е.: а) предусматривать звено, в котором осуществлялся бы *выбор стратегии* речевого поведения; б) гибкой, т. е. допускать различные пути оперирования с высказыванием на отдельных этапах порождения (восприятия) речи; в) наконец, не противоречить экспериментальным результатам, полученным ранее на материале различных психолингвистических моделей, построенных на иной теоретической основе.

Если рассматривать психолингвистическую теорию как частный случай или приложение к конкретному материалу общепсихологической теории деятельности, т. е. рассматривать речевые процессы как *речевую деятельность или речевые действия* в строгом смысле этих терминов, то она в принципе не может не быть эвристической — эвристичность заложена уже в саму идею целенаправленной деятельности (см. главу 5). С другой стороны, и усвоение языка (как родного, так и неродного) бесспорно предполагает выбор и дифференцированное использование различных стратегий овладения речью и в этом смысле подчиняется тому же эвристическому принципу (см. главу 9).

Постулат четвертый. Чтобы сформулировать его, нам придется обратиться к философским основам современной психологии.

Большая часть психологических теорий XIX — XX вв. восходит к выдвинутому еще Рене Декартом принципу, согласно которому главное для психологии противопоставление — это противопоставление сознания и бытия, «внутричеловеческого» и «внечеловеческого» мира. Попытки выйти за рамки этого принципа можно найти у ряда ученых, в том числе Л. С. Выготского, М. М. Бахтина, о. Павла Флоренского, но они не сформулировали четкой альтернативной, во всяком случае психологической, позиции. Заслуга этого принадлежит А. Н. Леонтьеву, еще во второй половине 1930-х гг.² писавшему: «Действительная противоположность есть противоположность образа и процесса, безразлично внутреннего или внешнего, а вовсе не противоположность сознания, как внутреннего, предметному миру, как внешнему» [10, с. 43].

См. 6. Это сокращенный вариант большой статьи, полностью опубликованной на французском языке (1973).

² В рукописи при публикации названной «Мысли о сознании». Не случайно эта публикация стала возможной только в 1988 году.

Если, по определению того же А.Н.Леонтьева, «...психология имеет своим предметом деятельность субъекта по отношению к действительности, опосредствованную отображением этой действительности» [10, с. 163], то психологическая теория должна строиться вокруг взаимоотношений отображения (= образа) и деятельности (= процесса). В таком случае и психологическая теория речи или речевой деятельности, т. е. психолингвистика, должна исследовать прежде всего взаимоотношение опосредованного языком образа мира человека (см. об этом главу 17) и речевой деятельности как деятельности речевого общения. Язык для нее есть орудие диалога человека с миром и в то же время человека с человеком.

В структуре деятельности отображение выступает прежде всего в виде ориентировочного звена¹. Соответственно и в структуре речевой деятельности (деятельности речевого общения) предметом нашего особого внимания должны быть фаза (этап) ориентировки, результатом которого как раз и является выбор соответствующей стратегии порождения или восприятия речи, а также этап планирования, предполагающий использование образов (см. главу 5, а также известную концепцию Планов и Образов, принадлежащую Дж. Миллеру, К. Прибраму и Ю. Галантеру и изложенную в их неоднократно упоминавшейся нами книге [см. 12] и опору на предшествующий опыт субъекта, в том числе познавательный. Так как единство общения и обобщения осуществляется прежде всего в языковом знаке [см. 7, 1975], значение как содержательная сторона знака не может не быть одной из основных категорий не только психолингвистики, но и общей психологии в целом.

Итак, психолингвистическая теория призвана быть синтезом подхода деятельностного (процессуального) и подхода в плане образа (отображения).

Постулат пятый. Выбор того или иного способа деятельности представляет собой, по крайней мере частично, постулирование возможных исходов из наличной ситуации и последовательный перебор этих исходов под углом зрения определенных критериев выбора, т. е. «моделирование будущего». Оно, по словам Н. А. Бернштейна, «...возможно только путем экстраполирования того, что выбирается мозгом из информации о текущей ситуации, из «свежих следов» непосредственно предшествовавших восприятий, из всего прежнего опыта индивида, наконец, из тех активных проб и прощупываний, которые относятся к классу действий, до сих пор чрезвычайно сум-

¹ Парадоксально, но факт: в современной психологии, по крайней мере отечественной, проблема ориентировочных действий разрабатывается почти исключительно применительно к формированию, но не функционированию деятельности. Ср., например, исследования П. Я. Гальперина, в частности его монографию «Введение в психологию» [4]. Другая сторона того же феномена — интенсивная разработка в психологии учения вопроса о навыках и умениях при практическом отсутствии психологической теории знаний.

марно обозначаемых как «ориентировочные реакции»... В любой фазе экстраполирования мозг в состоянии лишь наметить для предстоящего момента своего рода таблицу вероятностей возможных исходов» [3, с. 290].

Такая «...преднастройка к действиям в предстоящей ситуации, опирающаяся на вероятностную структуру прошлого опыта, может быть названа вероятностным прогнозированием» [14, с. 127 — 128]. Несомненно важна роль вероятностного прогнозирования и в речевой деятельности.

Постулат шестой. Он — применительно к речевой деятельности — заключается в том, что в основе восприятия речи лежат процессы, по крайней мере частично воспроизводящие процессы ее порождения. В наиболее общей форме такое понимание изложил Дж. Миллер: «Слушатель начинает с предположения о сигнале на входе. На основе этого предположения он порождает внутренний сигнал, сравниваемый с воспринимаемым. Первая попытка, возможно, будет ошибочной; если так, то делается поправка и используется в качестве основы для следующих предположений, которые могут быть точнее. Этот цикл повторяется... до тех пор, пока слушатель не сделает выбора, отвечающего соответствующим требованиям» [12, с. 251]. Иначе говоря, этот постулат выступает в форме утверждения об активном характере процессов речевосприятия (в западной психолингвистике говорят о модели «анализ через синтез»).

Литература

1. *Асмолов А. Г.* Деятельность и уровни установок // Вестник МГУ. — Серия 14: Психология. — 1977. — № 1.
2. *Асмолов А. Г., Петровский В. А.* О динамическом подходе к психологическому анализу деятельности // Вопросы психологии. — 1978. — № 1.
3. *Бернштейн Н.А.* Очерки по физиологии движений и физиологии активности. — М., 1966.
4. *Гальперин П. Я.* Введение в психологию. — М., 1976.
5. *Зинченко В. П., Гордон Е. М.* Методологические проблемы психологического анализа деятельности // Системные исследования: Ежегодник. — М., 1976.
6. *Леонтьев А. А.* Эвристический принцип в восприятии, порождении и усвоении речи // Вопросы психологии. — 1974. — № 5.
7. *Леонтьев А. А.* Знак и деятельность // Вопросы философии. — 1975. — № 10.
8. *Леонтьев А.Н.* Общее понятие о деятельности // Основы теории речевой деятельности. — М., 1974.
9. *Леонтьев А. Н.* Деятельность. Сознание. Личность. — 2-е изд. — М., 1977.
10. *Леонтьев А.Н.* Философия психологии. — М., 1994.
11. *Мантуров О. В., Солнцев Ю. К., Соркин Ю. И., Федин Н. Г.* Толковый словарь математических терминов. — М., 1965.

12. Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К. Планы и структура поведения. — М., 1965.

13. Миллер Дж. Психоллингвисты // Теория речевой деятельности: (Проблемы психоллингвистики). — М., 1968.

14. Фейгенберг И. М. Вероятностное прогнозирование и преднастройка к действиям // Кибернетические аспекты интегральной деятельности мозга. — М., 1966.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИ Ч. ОСГУДА

Психоллингвисты, «родившиеся» в 1953 г., («настоящие психоллингвисты»), оказали влияние на последующие исследования в области изучения мысле-рече-языковой деятельности и практическое применение результатов этих исследований.

Психологическая модель порождения речи, разработанная Ч. Осгудом [1, с. 35 — 38], оказалась продуктивной, потому что она как раз выявляет важный и принципиальный для психоллингвистики факт, что в основании речевой деятельности лежит оценка, приводимая в действие, стимулируемая внешним воздействием (см. схему на с. 409 настоящего пособия): на уровнях *интеграции — репрезентации — самостимуляции*, собственно, и осуществляется в три этапа *оценки ситуации* в системе мысле-рече-языкового действия. Проведенный на основе этой теории ассоциативный эксперимент (см. «Словарь ассоциативных норм русского языка» / Под ред. А. А. Леонтьева. — М., 1977 [2]), который «заключается в том, что испытуемому дается слово-стимул и предлагается реагировать на это слово первым пришедшим в голову словом или словосочетанием» [2, Леонтьев А. А. Общие сведения об ассоциациях и ассоциативных нормах, с. 5], может иметь важную практическую ценность.

Задание 1

Ознакомившись с текстом, убедитесь в ценности ассоциативного эксперимента, проведя его в доступном для вас окружении. Предложите участникам эксперимента записать три слова, возникшие как реакция на данные вами слова, например: *друг, лето, начать, дорогой*. Можно расширить этот эксперимент, проведя его в нескольких различных по интересам группах, и увидеть при этом разницу результатов в зависимости от места и времени проведения эксперимента (на отдыхе и в учебной аудитории).

Задание 2

Ознакомьтесь с текстом. Проведите трансформационный анализ (установите деривационную историю) следующих предложений. Какие закономерности функционирования русского языка выявляются в полученных вами трансформациях?

**ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ СТРУКТУР
ПО Н.ХОМСКОМУ**

Сложнее доказать психолингвистическую ценность генеративной грамматики Н.Хомского, так как для полного ее признания нужно забыть, что собой представляет внутренняя речь, как ее понимал А. С. Выготский: внутренняя речь по своей природе не гомогенна, не однородна, но гетерогенна, разнородна. Это принципиальное свойство саморегулирующихся сложных систем. Следует согласиться с плюсами и минусами трансформационного метода исследования языковых структур в духе теории, разработанной Н.Хомским, отмеченными С. Д. Кацнельсоном [см. 3]: «...его (Н. Хомского. — *V.P.*) порождающая грамматика... выясняя общие теоретические предпосылки функционирования языка... способствует их лучшему пониманию. .. Каждое предложение имеет, по Н. Хомскому, свою внутреннюю историю, свою синтаксическую родословную. Лишь простейшие повествовательные предложения, как *Джон идет или Джон бьет Билла*, не имеют "деривационной истории" и могут рассматриваться как исходные, или "ядерные", структуры, образованные путем развертывания их компонентов по схеме дерева. В массе же предложения являются производными от одной или нескольких ядерных структур. Так, русское предложение "*При задержании браконьер оказал яростное сопротивление*" имеет в основе три ядерных предложения: "*Браконьера задержали. Он оказал сопротивление. Сопротивление было яростное*". Слияние этих ядерных предложений в одно происходит в результате ряда преобразований: прямой объект первого ядерного предложения преобразуется в субъект производного предложения, предикат первого ядерного предложения превращается в отглагольное имя, оформленное предложным падежом с предлогом *при*; второе ядерное предложение становится матричной структурой, в которую включаются результаты преобразования остальных ядерных предложений... Конечные образования, возникающие в результате процессов трансформации, Хомский называет "поверхностными"; предшествующие им в процессе "деривационной истории" структуры, начиная с начальной трансформационной схемы, он называет "глубинными"» [см. 3, с. 102 — 103]. Сугубо грамматические операции, производимые в трансформационной грамматике, только частично обнажают суть речевого действия, потому что языковые формы, сложившиеся однажды, являясь лишь одной из составляющих феномена мысле-рече-языкового образования, в каждом последующем действии уже претерпевают изменения: «...правила грамматики так относятся к закономерностям построения предложения, как принципы оптики к закономерностям зрительного восприятия» [4, с. 256]. Продуктивными в

области исследования истоков речи оказались изыскания Дж. Остина, построившего теорию речевых актов [см. 5] (см. также с. 409 настоящего пособия).

1. На праздничном концерте детского хора родители радовались удачному выступлению своих детей. 2. Предстоящий отъезд не мешал ему веселиться (*А. Гайдар*). 3. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус (*А. Грин*).

Задание 3

Ознакомьтесь с основными постулатами, сложившимися в современной психолингвистике. Соотнесите их со свойствами сложных систем, изучаемых в синергетике.

Литература к заданиям

1. *Леонтьев А. А.* Основы психолингвистики. — М., 1997.
2. Словарь ассоциативных норм русского языка / Под ред. А. А. Леонтьева. — М., 1977.
3. *Кацнельсон С. Д.* Типология языка и речевое мышление. — Л., 1972.
4. *Bruner J. S.* From communication to language // *Cognition*. — 1974 — 1975. — V. 33 (no [1, с 54]).
5. *Ostin J.* How do we make act by means of the words? — N.Y.; L., 1962.



18. А.Р.ЛУРИЯ О МОЗГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полноценное, бодрственное состояние мозговой коры является... одним из условий овладения сложной, избирательной системой семантических связей, стоящих за словом.

А. Р. Лурия

Александр Романович Лурия (1902—1977) — психолог, профессор (1944), доктор педагогических наук (1937), доктор медицинских наук (1943), действительный член АПН РСФСР (1947), действительный член АПН СССР (1967), почетный доктор ряда университетов Англии, Польши, Бельгии, Финляндии; автор более 500 научных трудов, многие из которых переведены на различные языки. Наиболее важными для психолингвистики являются: «Речь и интеллект в развитии ребенка» (1927) [1], «Основные проблемы нейролингвистики» (1976) [2], «Язык и сознание» (1979) [3].

А.Р.Лурия считал себя учеником Л.С.Выготского; «всю свою жизнь он делит на два периода, где встреча с Л.С.Выготским открывает второй, безусловно главный» [4].

Изучая на близнецах роль генетических и социальных факторов в развитии психических процессов, он показал значение речи в организациях психических функций у детей [1]. «А. Р. Лурия уже в молодости отличался хорошим пониманием сложных социальных ситуаций и свой интерес к внутриличностным психическим конфликтам сумел перевести в форму измерения некоторых поведенческих показателей. В качестве измеряемых показателей он выбрал

такие двигательные реакции, которые могли бы свидетельствовать о степени напряженности личностного конфликта» [4]. И докторская диссертация по педагогическим наукам была посвящена проблеме конфликтов.

Опираясь на выдвинутую Л. С. Выготским концепцию системной локализации психических функций в коре головного мозга и его компенсаторных способностей, ученый строит психолингвистическую концепцию афазии. На основании системных исследований мозговых конфликтов при осуществлении высших нервных функций ученый разработал методы нейропсихологической диагностики локальных поражений головного мозга и принципы восстановления нарушенных психических процессов.

Стремясь интегрировать современные достижения психологической и лингвистической мысли, он вводит представление о «внутренней схеме высказывания, которая далее развертывается во внешнюю речь» [5], с учетом работы, совершаемой мозгом по построению продукта своей речемыслительной деятельности: «...„глубина прочтения текста“, т.е. переход воспринимающего от поверхностного синтаксиса к глубинному синтаксису, а от него — к наиболее глубоким уровням семантической записи с дальнейшей переработкой последней, различает отдельных людей в неизмеримо большей степени, чем различия между ними в понимании лексики, синтаксических связей и внешнего содержания сообщения» [2, с. 30—31].

А. Р. Лурия вслед за Л. С. Выготским и А. Н. Леонтьевым различает понятия значения и смысла: «...во внутренней речи, свернутой по своей структуре и предикативной по своей функции, **смысл преобладает над значением**, и переход от мысли к внутренней речи, к развернутому речевому сообщению в значительной мере связан с процессом перехода от субъективных мотивов и смыслов к значениям — развернутым, объективным и доступным для передачи в качестве информации» [2, с. 27], причем в этой системе убедительно прорабатывается психологическая компонента, т. е. ученый показывает, что всегда смысл «ведет» значение.

Теоретическое осмысление многолетних исследований нарушений психических процессов при различных поражениях мозга в свете современного состояния психологии и лингвистики привело А. Р. Лурия к разработке нового научного направления — нейролингвистики: «Нейролингвистика... является новой отраслью науки, стоящей на границе психологии, неврологии и лингвистики. Она изучает мозговые механизмы речевой деятельности и те изменения в речевых процессах, которые возникают при локальных поражениях мозга» [2, с. 3].

В течение всей своей жизни А. Р. Лурия вел большую педагогическую работу: с 1945 г. преподавал в МГУ на философском факультете, с 1968 по 1977 г. заведовал кафедрой нейро- и патопси-

хологии. Кто же лучше него мог рассказать студентам о мозговой организации внутренней речи? Его научные труды вошли в золотой фонд учебной литературы для высшей школы.

Литература

1. Лурия А. Р. Речь и интеллект в развитии ребенка. — М., 1927.
2. Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. — М., 1975.
3. Лурия А. Р. Язык и сознание. — Ростов н/Д, 1998.
4. Фрумкина Р. М. Культурно-историческая психология Выготского — Лурия // Человек. — 1999. — № 3.
5. Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. — М., 1968.

А. Р. ЛУРИЯ

ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ

Лекция VII

ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ И ЕЕ МОЗГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Формирование и структура внутренней речи

...Остановимся на *строении внутренней речи*.

Внутренняя речь не является просто речью про себя, как думали психологи в течение нескольких поколений, считавшие, что внутренняя речь — это та же внешняя речь, но с усеченным концом, без речевой моторики, что она представляет собой «проговаривание про себя», строящееся по тем же законам лексики, синтаксиса и семантики, что и внешняя речь.

Думать так было бы величайшей ошибкой. Подобное представление ошибочно хотя бы потому, что такая «речь про себя» была бы дублированием внешней речи. В подобном случае внутренняя речь протекала бы с той же скоростью, что и внешняя. Однако известно, что интеллектуальный акт, принятие решения, выбор нужного пути происходит довольно быстро, иногда буквально в десятые доли секунды. В этот краткий период никак нельзя проговорить про себя целую развернутую фразу и тем более целое рассуждение. Следовательно, внутренняя речь, выполняющая регулирующую или планирующую роль, имеет иное, чем внешняя, сокращенное строение. Это строение можно проследить, изучая путь превращения внешней речи во внутреннюю.

Вспомним, как строится речь ребенка, возникающая при любом затруднении. Сначала его планирующая речь носит полностью раз-

вернутый характер («Бумажка-то скользит, как же мне сделать, чтобы она не скользила?»; «Где бы мне кнопку достать?»; «Может быть послушать бумажку?» и т. п.). Затем она сокращается, становится фрагментарной, и тогда во внешней шепотной речи проявляются только обрывки этой ранее развернутой речи («А вот бумажка-то... она скользит... а как же... вот бы кнопку...» или даже: «бумажка», «кнопка», «а как же»).

Если внимательно проследить структуру речи, переходящей из внешней во внутреннюю, можно констатировать, во-первых, то, что она переходит из громкой в шепотную, а затем и во внутреннюю речь, во-вторых, что она сокращается, превращаясь из развернутой в фрагментарную и свернутую. Все это дает возможность предполагать, что внутренняя речь имеет совершенно другое строение, чем внешняя.

Характерной чертой внутренней речи является то, что она начинает становиться чисто *предикативной* речью.

Что это значит? Каждый человек, который пытается включить свою внутреннюю речь в процесс решения задачи, твердо знает, о чем идет речь, какая задача стоит перед ним. Значит, номинативная функция речи, указание на то, что именно имеется в виду, или, пользуясь термином современной лингвистики, что есть «тема» сообщения (лингвисты условно обозначают ее знаком Т), уже включена во внутреннюю речь и не нуждается в специальном обозначении. Остается лишь вторая семантическая функция внутренней речи — обозначение того, что именно следует сказать о данной теме, что нового следует прибавить, какое именно действие следует выполнить и т. п. Эта сторона речи фигурирует в лингвистике под термином «рема» (условно обозначается знаком R). Таким образом, внутренняя речь по своей семантике никогда не обозначает предмет, никогда не носит строго номинативный характер, т. е. не содержит «подлежащего»; внутренняя речь указывает, что именно нужно выполнить, в какую сторону нужно направить действие. Иначе говоря, оставаясь свернутой и аморфной по своему строению, она всегда сохраняет свою *предикативную* функцию. Предикативный характер внутренней речи, обозначающий только план дальнейшего высказывания или план дальнейшего действия, по мере надобности может быть развернут, поскольку внутренняя речь произошла из развернутой внешней и данный процесс является обратимым. Если, например, я иду на лекцию с тем, чтобы рассказать о механизмах внутренней речи, то у меня имеется сокращенный план лекции в виде нескольких пунктов («внутренняя речь», «эгоцентризм», «предикативность» и т. д.), обозначающих, что именно я хочу сказать об этом предмете (иначе говоря, носящих предикативный характер). Этот краткий план и позволяет перейти к развернутому внешнему высказыванию. Исходя из внутренней речи, лектор может развернуть все дальнейшее содержание лекции.

Роль внутренней речи как существенного звена в порождении речевого высказывания была подробно освещена такими авторами, как С.Д.Кацнельсон (1970, 1972), А.А.Леонтьев (1974), А.Н.Соколов (1962), Т.В. Ахутина (1975) и др. Внутренняя речь тесно связана с внешней и при необходимости превращается во внешнюю развернутую.

Мозговая организация регулирующей функции речи

Каковы те мозговые механизмы, которые обеспечивают регулирующую роль сначала внешней, а затем внутренней речи? Каковы мозговые механизмы, лежащие в основе сознательного волевого акта человека?

Вряд ли психология когда-нибудь встречалась с более трудным вопросом. Естественно, что до окончательного решения этого вопроса далеко и что сейчас мы имеем лишь самые общие первоначальные данные относительно мозговой организации волевого акта человека, полученные при изучении больных с локальными поражениями мозга.

Факты показывают, что мозговые механизмы регулирующей функции речи не совпадают с теми мозговыми механизмами, которые обеспечивают звуковую или семантическую сторону речевых процессов.

Известно, что фонематический слух, позволяющий четко воспринимать звуковую структуру слова, противопоставляя одни фонемы другим, обеспечивается височными отделами левого полушария мозга. Эта зона, которую в свое время описал Вернике, дает возможность выделить из речевого потока смысловозначительные, фонематические звуковые признаки, являясь основным мозговым механизмом фонематического слуха, а через его посредство и основным механизмом звуковой организации речи. Известно, что эти функции верхних височных отделов левого полушария обеспечиваются тем, что эта зона связана теснейшими U-образными связями как с нижними отделами постцентральной (кинестетической), так и с нижними отделами премоторной (кинетической) зоны коры. Таким образом, она входит как основное звено в систему, необходимую для обеспечения звуковой организации речевого акта.

Поражение этой области коры приводит к тому, что человек перестает четко воспринимать и различать звуки речи, смешивая близкие фонемы.

Известно также, что в реализации фонематического строя речи существенную роль играют и процессы артикуляции, обеспечивающие правильное произношение фонем и участвующие в их восприятии. Мозговыми аппаратами, формирующими артикулемы, являются постцентральные зоны левого полушария, входящие в корковые отделы двигательного анализатора. Поражение этих отделов приводит к афферентной моторной афазии вследствие нарушения произношения артикулем (Лурия, 1947, 1969, 1973, 1975).

Однако все это не означает, что нарушенная в фонематическом или артикуляционном отношении речь теряет свои регулирующие функции. Опыты показали, что внутренняя речь таких больных остается относительно сохранной и даже при тяжелых формах нарушения фонематического слуха и восприятия речи больной продолжает активно регулировать свои действия в соответствии с возникшими у него мотивами или данной ему программой (если он понял и способен удержать ее) и не теряет сложной, произвольной организации волевого акта. То же можно сказать и по отношению к больному с афферентной моторной афазией. Следовательно, задневисочные или постцентральные отделы левого полушария, имеющие решающее значение для фонематической и кинестетической организации речи, не имеют такого значения для обеспечения предикативной функции внутренней речи, а следовательно, для регуляции волевого акта.

Известно, что понимание сложных, логико-грамматических конструкций обеспечивается иными отделами коры левого полушария, в частности его нижнетеменными и теменно-затылочными отделами (или зоной ТРО). Именно эти зоны коры, как показали многочисленные исследования, обеспечивают ориентировку в пространстве, превращение последовательной, сукцессивно поступающей информации в одновременные, симультанные схемы и служат основой для создания сложных, организованных по типу внутреннего пространства симультанных схем, которые лежат в основе операций логико-грамматическими отношениями.

Исследования, проведенные нами в течение многих лет... показали, что при поражении этих областей коры фонематический слух и понимание отдельных элементов звуковой речи остаются сохранными, однако возникает сужение значения смысла слов и их чувственной зрительной основы и, что особенно важно, нарушение понимания определенных логико-грамматических структур, таких, как «брат отца» или «отец брата», «крест под кругом» и «круг под крестом» и т.д.

Однако, как показали исследования, и в этих случаях больной не теряет регулирующих функций речи. Больные, страдающие такими поражениями, продолжают упорно работать над ликвидацией своего дефекта, и это возможно только потому, что внутренняя речь с ее предикативной, смыслообразующей функцией остается у них в значительной мере сохранной и, опираясь на нее, они могут превращать симультанные схемы в целую цепь последовательных сукцессивных актов, заменяя непосредственное восприятие логико-грамматических структур их сложным последовательным декодированием.

Таким образом, нижнетеменные отделы коры левого полушария, имеющие решающее значение для обеспечения понимания сложных логико-грамматических структур и сложных форм переработки информации, не играют существенной роли в обеспечении регулирующих функций внутренней речи.

Все это заставляет искать мозговые механизмы, лежащие в основе регулирующей функции речи (а следовательно, и в основе сложных форм волевого акта, который опирается на опосредствующую функцию внутренней речи), в других отделах коры.

Наблюдения показали, что такими отделами являются *передние отделы коры* головного мозга, в частности передние отделы коры левого полушария.

Эти отделы коры головного мозга имеют совсем иное морфологическое строение, чем задние отделы. Если задняя («гностическая») кора характеризуется поперечной исчерченностью и приспособлена для восприятия и переработки входящей до субъекта внешней информации, то передние отделы коры больших полушарий характеризуются вертикальной исчерченностью, характерной вообще для двигательной коры, и обеспечивают организацию протекающих во времени эфферентных двигательных актов.

Как известно, передние отделы мозга распадаются на две большие группы зон. Одна из них, непосредственно примыкающая к моторным зонам коры, носит название *премоторных* отделов коры. Она обеспечивает интеграцию отдельных движений в единые кинетические мелодии, и поражения этих зон коры не приводят к возникновению параличей или парезов, но вызывают нарушение плавного переключения с одного двигательного звена на другое, иначе говоря, нарушение кинетических (двигательных) мелодий. Это проявляется как в нарушении старых двигательных навыков, так и в нарушении вновь образуемых кинетических мелодий, которые требуют плавного переключения отдельных движений и превращения их в единую, автоматическую выполняемую двигательную программу. Так, движения письма теряют у таких больных свою плавность и распадаются на цепь отдельных изолированных двигательных актов; переход от одного элемента письма к другому становится предметом специального усилия. Часто нарушается и протекание речевого высказывания, грамматическая структура которого резко изменяется. Если грамматическая структура плавной развернутой внешней речи включает наряду с номинативными и предикативные элементы, то внешняя развернутая речь больного с поражениями нижних отделов премоторной области левого полушария часто становится обрывистой, теряет свой плавный характер, а в некоторых случаях в ней остаются одни лишь номинативные элементы (существительные), иногда приобретающие предикативное значение, в то время как специальные предикативные элементы (глаголы) совершенно исчезают из внешней речи. Такой больной, рассказывая о каком-либо событии своей жизни, пользуется только одними обозначениями. Так, например, рассказывая о своем ранении, он говорит: «...бой... обстрел... пуля... рана... боль...» и т.д. Важно отметить, что нарушение предикативной стороны внешней речи приводит к грубейшему нарушению внутренней речи, которая перестает обеспечивать

плавный характер высказывания. Поэтому есть все основания думать, что при поражении этих зон коры внутренняя речь с ее предикативной функцией страдает, по-видимому, значительно больше, чем при поражении других отделов мозга.

Второй большой областью передних отделов полушарий, надстроенной над премоторной корой, являются *префронтальные*, или собственно лобные, отделы коры. По своему строению они имеют гораздо более сложный характер, чем премоторные отделы; в них преобладают второй и третий слои, т. е. слои ассоциативных нейронов.

Поражение лобных отделов коры, особенно левого полушария, не приводит к каким-либо явным двигательным дефектам — параличам, парезам или даже деавтоматизации движений. Движения больного с поражением префронтальных отделов мозга остаются сохранными; сохранной остается и внешняя речь больного, которая не имеет тех признаков, которые мы только что описали, говоря о нарушениях развернутого речевого высказывания при моторной афферентной афазии и упоминая явления телеграфного стиля. Однако, что очень важно и что составляет наиболее типичное явление для этих случаев, поражение лобных долей мозга нарушает *внутреннюю динамику планомерного, организованного, произвольного акта* в целом и направленной речевой деятельности в частности. Больной с таким поражением может осуществить элементарные привычные движения и действия, например поздороваться с врачом, ответить на простые вопросы и т. д. Однако если поставить его действия или речь в такие условия, при которых бы они подчинялись не непосредственно данному образцу, а сложной программе, осуществление которой требует подлинного волевого акта с опорой на внутреннюю речь, можно сразу обнаружить массивную патологию, не встречающуюся у больных с другой локализацией поражения.

Нарушения произвольного поведения этих больных проявляются уже в том, что мотивы, соответственно которым строится поведение нормального человека, у них распадаются. Такие больные могут неподвижно лежать в постели, несмотря на голод или жажду. Они не обращаются к окружающим с теми или иными просьбами или требованиями. Регулирующая поведение функция речи (функция «-манд» (деманд), о которой говорил Скиннер, у них нарушается, в то время как функция общения (функция «-такт» (контакт)) остается в известной мере сохранной.

Можно привести много примеров нарушения произвольно организованного, программированного поведения больных с поражением лобных долей мозга. Для этих больных характерно то, что целенаправленная деятельность заменяется у них либо подражательными, либо персевераторными действиями.

Во всех случаях в основе нарушения поведения, возникающего при поражении лобных долей мозга, лежит *нарушение сложного, произвольно организованного, программированного акта*. Экспе-

риментальные исследования подобных больных показывают, что поражение лобных долей мозга приводит к нарушению именно той формы организованного с помощью собственной внешней или внутренней речи действия, которое, как говорилось выше, складывается у ребенка к 3 — 3,5 и 4 годам.

Этот факт можно проследить на ряде экспериментов. Первым из таких экспериментов является следующий. Больному с тяжелым поражением лобных долей мозга предлагается воспроизвести движения экспериментатора, например в ответ на показанный кулак показать кулак, а в ответ на показанный палец показать палец. Эту задачу больной выполняет без всякого труда. Однако если усложнить программу и предложить больному в ответ на показанный кулак показать палец, а в ответ на показанный палец — кулак, т. е. подчинить свое действие речевой инструкции, вступающей в конфликт с наглядным образцом, положение становится иным. Правильно повторяя речевую инструкцию, больной не в состоянии ей следовать; в ответ на показанный кулак он говорит: «Теперь надо показать палец», однако показывает тоже кулак, имитируя движение экспериментатора. Этот опыт прекрасно показывает, что поражение лобных долей мозга приводит к нарушению именно регулирующей функции речи, оставляя сохранной ее внешнюю физическую сторону.

Нарушение регулирующей функции речи можно видеть и в том случае, когда больному предлагается в ответ на громкий звук слабо нажать на баллон, а в ответ на тихий — сильно. Больной запоминает речевую инструкцию, однако вместо того чтобы выполнить требуемые движения, он уподобляет движения сигналу. Аналогичные факты наблюдались и тогда, когда больному предлагалось в ответ на два сигнала нажать один раз, а в ответ на один — два раза. Движения больного подчинялись не инструкции, а непосредственному образцу. Включение речевого сопровождения («сильно», «слабо», «два», «один») не компенсировало нарушений двигательных реакций (из опытов Е. Д. Хомской, 1958).

Включение в движения больного внешней речи для усиления ее регулирующей функции не оказывает никакого влияния на движения и в других экспериментальных ситуациях. Так, если больному предлагается в ответ на показанный ему кулак поднять палец и одновременно говорить («Кулак — значит надо поднять палец»), а в ответ на показанный палец поднять кулак («Палец — значит надо поднять кулак»), он удерживает и повторяет эту речевую инструкцию, но действие подчиняет не собственной громкой речи, а лишь непосредственному образцу. В наиболее тяжелых случаях удержание речевой инструкции оказывается недоступным и больной заменяет ее инертным речевым стереотипом.

Все это показывает, что лобные доли мозга имеют решающее значение для обеспечения регулирующей функции речи и тем самым для организации волевого акта.

Эти факты, а также многие другие были подробно описаны на в специальных публикациях.

* * *

...Центральное место в изучении проблемы мозговой организации речевых процессов принадлежит анализу того, как изменяется речевая деятельность при локальных поражениях мозга и к каким именно последствиям в речевой коммуникации ведут различно расположенные очаги мозговых поражений.

Таким образом, через патологию мы обращаемся к норме, поскольку «патологическое открывает нам, расчленивая и упрощая, то, что было скрыто от нас, цельное и нераздельное, в физиологической норме» (И. П. Павлов).

Печатается по изданию: *Лурия А.* Язык и сознание. — Ростов н/Д, 1998.



19. А. К. МИХАЛЬСКАЯ: ЛИНГВОПРАГМАТИКА И РИТОРИКА XX ВЕКА

Подчиняя речевое поведение вербально осознанной цели, а его правила (нормы) — идеалу, риторика выступает как *мировоззрение*... Цель риторической деятельности... не личный успех и не истина, как таковая, а общее благо, понятое как единство истины и справедливости.

А. К. Михальская

Анна Константиновна Михальская (1952 г.) — ведущий специалист в области современной риторики, доктор педагогических наук, профессор; окончила биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова (1974) и факультет русского языка и литературы МШИ имени В.И.Ленина (1979), аспирантуру по кафедре современного русского языка там же (кандидатская диссертация «Фразеологизмы со значением содействия/противодействия в современном русском языке: опыт системного анализа» — 1982); защитила первую в отечественной науке докторскую диссертацию по современной риторике — «Теоретические основы педагогической риторики» (1993 г.).

А. К. Михальская — автор полного российского учебного руководства по школьному курсу риторики «Основы риторики. Мысль и слово. 10—11 классы» [1]; учебных пособий «Русский Сократ. Лекции по сравнительно-исторической риторике» (1996) [2] и «Педагогическая риторика» (1998) [3]; лауреат Первой степени конкурса имени А.Ф.Лосева (1996).

А. К. Михальская разработала и апробировала в процессе преподавания в Высшей школе журналистики Международного университета (Москва) курсы «Убеждающая аргументация», «Риторические стратегия и тактика СМИ», «Межличностная коммуникация и речевое поведение» [4]. Исследования политического дискурса отражены статьями в «Независимой газете» (12.09.1998; 3.12.1999), имеются публикации в педагогических изданиях («Риторика в гуманизации школьного образования» — «Русский язык»: Приложение к газете «Первое сентября», 6.07.1999), статьи в журнале «Преподаватель».

Ученики профессора А. К. Михальской активно продолжают и развивают ее исследования частных риторик, речевого поведения учителя и методики преподавания риторики в школе; под ее руководством защищена кандидатская диссертация Т. Н. Мазур: «Профессионально-ориентированная риторическая подготовка студентов-юристов в вузе» (г. Якутск, 2000 г.).

А. К. Михальская — один из основателей современной общей отечественной риторики как теоретической и учебной дисциплины в школе и вузе, создатель двух частных (профессиональных) риторических дисциплин (педагогической риторики и сравнительно-исторической риторики) и методических основ их преподавания в вузе. Она активно исследует живые процессы в современной речи и разработала оригинальную методологию исследования публичного и, прежде всего, политического дискурса, а также научную методику анализа и описания речевого поведения политика [5]. А. К. Михальская ведет актуальные в настоящее время исследования в области речевого поведения человека: публикации «Риторика и этология» [6] и «Риторические примитивы. Атрактанты и репелленты» [7] касаются острых проблем прикладной психолингвистики. В этих трудах отчетливо высказана идея, которая освещает все научно-педагогическое творчество А. К. Михальской как гражданина, яркой личности и талантливому ученого: риторика должна «снабдить человека знаниями и умениями, необходимыми для превращения своего речевого поведения в речевую {риторическую} деятельность — там и тогда, когда это необходимо, то есть *дать ему возможность стать подлинно человеческим*» (последнее выделено мною. — В. Р.).

Литература

1. Михальская А. К. Основы риторики: Мысль и слово: 10—11 классы. — М., 1996; 2001.
2. Михальская А. К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической риторике. — М., 1996.
3. Михальская А. К. Педагогическая риторика. — М., 1998.
4. Михальская А. К. Программы курсов // Преподаватель: Информационно-аналитическое издание Совета по педобразованию РФ. — 2001. — № 1.

5. Михальская А. К. Полевая структура политического дискурса; Метод анализа и описания речевого поведения политика в политическом интервью // Журналистика в 1999 году: Тезисы научно-практической конференции. - М., 2000. - Ч. V.

6. Михальская А. К. Риторика и этиология // Предмет риторики и проблемы ее преподавания: Материалы I Всероссийской конференции по риторике. Москва, 1997, 28 — 30 января. — М., 1998.

7. Михальская А. К. Риторические примитивы, аттрактанты и репелленты // Материалы II Международной конференции по риторике «Риторика и речевая коммуникация: Теория — практика — преподавание». Москва, 1998, 15-17 января. - М., 1998.

А. К. МИХАЛЬСКАЯ

ОСНОВЫ РИТОРИКИ

{Извлечения}

Глава 3

РИТОРИКА И РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ

§ 22. В этой главе мы рассмотрим основные понятия и идеи, с помощью которых современные лингвисты описывают речевое поведение человека. Мы увидим, каким образом эти понятия используются новой риторикой наряду с традициями риторики классической, и сформулируем основные законы и принципы общей современной риторики. Риторическую теорию будем стараться применить практически. Нашей целью будет понять основы речевого поведения людей в процессе общения, научиться анализировать его, научиться контролировать собственное речевое поведение и узнать, как можно сделать его более эффективным.

§ 23. Представьте себе свой обычный день — один из многих. От чего зависит ваше настроение? Давайте вместе подумаем. Верно говорят, что у природы нет плохой погоды: если разобраться, станет очевидным, что то, насколько ярко светит для вас сегодня солнце, в основном зависит от общего результата множества мелких и, казалось бы, незначительных происшествий, в которых участвовали вы, ваша речь и окружающие, — назовем эти происшествия речевыми событиями. Складываются, накапливаются впечатления от разговоров (пусть кратких) с родителями, братьями или сестрами, с продавцом в булочной, с учителями и однокашниками — даже в метро, если вам наступили на ногу, может возникнуть речевое взаимодействие — например, такое «Извините!» (произнесенное: равнодушно, или холодно, или участливо, с сознанием вины),

на что и вы отвечаете (или не отвечаете) соответственно. Впечатления эти, приятные или неприятные, во многом и формируют для вас картину мира. То, насколько нас понимают, насколько к вам дружелюбны, насколько вас принимают, прежде всего определяется ходом и эмоциональным результатом таких речевых взаимодействий. Предваряя то, о чем пойдет речь в этой главе, скажем: ваша собственная речь, ваше речевое поведение нередко заставляют людей реагировать вовсе не так, как вы ожидаете. Многие ваши мотивы и намерения, многие совершенно очевидные для вас значения и смыслы, которые вы вкладываете в слова, обращенные к окружающим, так и остаются незамеченными, неразгаданными, непонятыми, а часто понимаются превратно — «с точностью до наоборот». От чего это зависит? Давайте посмотрим.

Речевое событие. Дискурс.

Речевая ситуация

§ 24. Речевое событие — это основная единица речевого общения (коммуникации). Легче всего привести пример стандартного речевого события. Вы входите в булочную. Пронаблюдайте, что говорится у кассы. Это легко предсказать (меняется, как правило, набор называемых продуктов да время от времени вспыхивает спор или ссора).

Продавец:] *Вам? {У вас?}*

Покупатель:] *У меня две белого и черный* («У меня вот» — показывает).

Продавец:] *Называется сумма.*

Покупатель:] *Спасибо.*

Речевое событие — это некое законченное целое со своей формой, структурой, границами. Школьный урок — тоже речевое событие — как и, например, родительское собрание или классный час, конференция или заседание Думы.

Из сказанного ясно, что речевое событие складывается из двух основных составляющих:

во-первых, то, что говорится, сообщается (словесная речь), и то, чем она сопровождается (мимика, жесты и прочее), — поток речевого поведения;

во-вторых, это условия, обстановка, в которой происходит речевое общение между его участниками (да и сами участники, от которых в речевом событии зависит очень многое).

§ 25. Рассмотрим подробнее важнейшие составляющие речевого события.

Первая составляющая речевого события — это поток речевого поведения — «то, что можно записать на видеомэгнитофон» (исследователи речевого поведения так и делают); он складывается из:

1) собственно слов — «того, что можно записать на бумаге» в виде диалога; это вербальное (словесное) поведение;

2) звучания речи (ее акустики): громкости, высоты тона голоса, размаха ее изменений (монотонная речь или, напротив, с заметными перепадами от высокого тона к низкому); быстроты (темпа) речи, длительности пауз; это акустическое поведение (1-е и 2-е можно записать на обычный магнитофон);

3) значимых движений лица и тела; это взгляд, мимика, жесты, поза; это жестово-мимическое поведение;

4) того, как партнеры, разговаривая друг с другом, используют пространство (насколько близко они стремятся находиться друг от друга); это пространственное поведение (3-е и 4-е можно фиксировать только с помощью видеомэгнитофона).

«То, что можно записать на магнитофон» — т. е. словесная речь и ее акустика (звучание) — в реальном, живом общении теснейшим образом связано с «тем, что записывается только на видео» — с жестами, мимикой, пространственным поведением. Вы знаете по своему опыту, что жест или выражение лица может придать противоположный смысл сказанному; и все-таки всегда при этом изменяется и акустика, звучание речи. Приведем примеры.

«Ну, молодец!» — говорите вы своему товарищу, совершившему или сказавшему какую-нибудь, с вашей точки зрения, незаурядную глупость. Попробуйте «сыграть» эту реплику, как вы произносите ее в такой ситуации (это ирония!). Сравните это с тем, как звучат те же слова в своем прямом значении (для похвалы и одобрения). Почувствуйте разницу! Изменились и интонация, и темп речи; кроме того, в первом случае (ирония) вы покачаете головой и, возможно, состроите соответствующую гримасу. Все это и придаст вашим словам нужный смысл. <...>

Звучащее слово — живую речь, произносимую в процессе развертывания речевого события, — в современной лингвистике (и риторике) называют дискурсом (*от лат. discuro, discursum* — рассказывать, излагать, но также — бегать туда и сюда; второе значение латинского слова тоже входит в значение современного лингвистического термина «дискурс», который обозначает не только повествовательную, но и диалогическую речь, речевое взаимодействие между партнерами, обмен репликами в диалоге). Исследователи речевого поведения, делая магнитофонные записи процесса речевого общения, фиксируют и изучают дискурс. Для более точных описаний речевого поведения используют и видеомэгнитофонные записи, которые схватывают и жесты, и мимику, и позу, и пространственные перемещения в процессе общения. Все это необходимо для современной риторики. Без таких исследований понять законы эффективного воздействия звучащего слова и составить рекомендации, пригодные для современного человека в реальной жизни, невозможно. Ведь многое из того, что советовали своим учени-

кам древнегреческие учителя красноречия или риторики прошлого столетия, уже устарело: меняется жизнь, меняется и речь.

Итак, первая важная составляющая речевого события — это дискурс, сопровождающийся жестово-мимическим (и пространственным) поведением.

§ 26. Вторая составляющая речевого события — условия и обстановка, в которой происходит речевое общение, и все те, кто в нем участвует. Это, так сказать, «сцена действия» и «действующие лица». Драматурги, разбирая текст пьесы на действия, сцены, явления и картины, делают примерно то же самое, что исследователи речевого поведения и специалисты по современной риторике, когда анализируют речевое событие. Текст пьесы — это, по сути дела, и есть дискурс, вернее, его словесная (вербальная) часть, а членение пьесы на крупные части (действия), иногда на еще более мелкие внутри них (сцены, картины) и совсем мелкие, из которых складываются сцены — явления, — это определение структуры дискурса драматического произведения. Единицы дискурса (действия, сцены, явления, картины) «вкладываются» друг в друга, как матрешки. Речевое событие сходно с «явлением» в классической пьесе: есть определенный набор участников — «действующих лиц», обстановка, в которой происходит «явление», и диалог (дискурс), протекающий в ней. Если состав участников меняется (появляются новые лица или уходят прежние) или происходит «перемена декораций» — наступает новое «явление» — новое речевое событие. Это можно продемонстрировать на примере фрагмента пьесы А. Н. Островского «Гроза».

Действие третье

Сцена I-я

Улица. Ворота дома Кабановых, перед воротами скамейка. Кабанова и Феклуша сидят на скамейке.

Явление первое

[Феклуша:] *Последние времена, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам последние {далее следует известный диалог-дискурс}.*

§ 28. Говоря об отношениях между говорящим и адресатом, мы прежде всего имеем в виду, конечно, не чувства, которые они друг к другу испытывают, не отношения в бытовом смысле слова. Интересующие нас отношения определяются в первую очередь социальной ролью участников общения. Представьте, что мать, только что беседовавшая со своим сыном за завтраком, выступает на уроке в классе в роли учительницы своего отпрыска. В первом случае отношения между ними определяются как отношения

«родитель — ребенок», во втором — «учитель — ученик». Соответственно, и речевые роли, и речевые ситуации, и речевые события будут совершенно разные, разнотипные. Или еще вспомните, как меняется любой человек (и вы сами), его речевое поведение, когда он, только что непринужденно и спокойно поболтав с приятелями или коллегами «в кулуарах», выходит к столу (или к доске), чтобы сделать доклад. Говорят, что Сократ, когда ему нужно было убедить собеседника в том, что нечего бояться выступать публично в роли оратора, употребил следующий довод. «Не побоишься же ты объяснить это дело соседу? — вопрошал философ. — Будешь ли бледнеть от ужаса, беседа об этом с кожевником? Как, и купцу ты не побоишься высказать свое мнение? Неужели?! Значит, и перед публичной нечего тебе бояться: ведь толпа, внимающая тебе, состоит из таких отдельных людей, каждого из которых не нужно страшиться». Однако Сократ тут лукавил. Речевые ситуации беседы наедине и публичной ораторской речи совершенно разные, и мудрец это прекрасно понимал. Если в такой беседе отношения между участниками равны (каждый в равной мере обладает «правом голоса», каждый воспринимает другого как равного приятеля, соседа, знакомого), то в ситуации публичной речи «расклад» другой: оратор имеет исключительное «право на речь», слушатели же по «условиям игры» должны молча внимать; отношения между ними в этом неравны. Вместе с тем оратор неизбежно подвергается оценке, его речь и он сам могут не понравиться, так что ситуация для него гораздо более напряженная, «опасная», чем для всех, кто в совокупности составляет аудиторию, а следовательно, наделен правом оценивать речь и оратора. Человек античности вообще хорошо знал, что

Из уст безвластных и вельможных уст
Одна и та же речь звучит различно.

(Так говорила Еврипидовская Гекуба, обращаясь к искусному оратору Одиссею.) Уже в эту эпоху люди умели верно оценивать различия речевых ситуаций, использовать их особенности и верно ориентироваться в их разнообразии. Если же человек не знает или не понимает своей социальной роли и не владеет соответствующей ей речевой ролью в речевых ситуациях, неминуемы проблемы, а иногда и трагедии. <...>

Итак, кто говорит, кому адресует речь, каковы отношения между участниками речевого события — это существенные элементы речевой ситуации.

Входит Дикой.

Явление второе

Те же и Дикой.

(А. Н. Островский. Гроза)

Как видно, и в жизни, и в драматургии появление нового персонажа — участника речевого общения (здесь — Дикого) — отмечает начало нового речевого события — «явления».

Совокупность элементов речевого события, включающая его участников, отношения между ними и обстоятельства, в которых происходит общение, называют речевой ситуацией.

Таким образом, речевое событие — это «дискурс плюс речевая ситуация».

**Структура речевой ситуации:
участники, отношения, цели, обстоятельства**

§ 27. Для риторики, древней и новой, теоретической и практической, понятие «речевая ситуация» особенно важно. Можно даже сказать, что правильное видение речевой ситуации и способность привести в соответствие с ней свои речевые действия (дискурс) — это и есть существо риторических знаний и умений, самое главное в риторике. Собственно говоря, риторика — это и есть наука описывать речевые ситуации, анализировать их и приспособлять к ним речь — дискурс и другие характерные проявления речевого поведения человека (жесты, мимику, прочее). Поскольку все это так важно, посмотрим, что же для риторики самое главное, актуальное в речевых ситуациях, какие элементы в них должны обязательно учитываться.

Основы описания речевой ситуации дал еще Аристотель в своей «Риторике». «Речь слагается из трех элементов, — писал он. — Из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается; он-то и есть конечная цель всего (я разумею слушателя)». Так и в наши дни, анализируя и описывая речевые ситуации, принято главных участников их называть говорящим и слушающим (адресатом). Для ситуаций ораторской речи это оправданно; для беседы, спора — условно: ведь в диалоге роли постоянно меняются, да к тому же адресат (человек, к которому в данный момент направлена, обращена речь) не просто пассивно воспринимает ее, — т. е. слушает в прямом значении этого слова — он мысленно отвечает говорящему, с помощью внутренней речи активно участвует в речевом событии. Внутренняя речь адресата (слушателя) нередко даже «перебивает» звучащую речь говорящего, так что слушатель перестает слышать, ибо он увлечен собственным «внутренним словом». Вспомните, что происходит с нами, когда вы вынуждены молча слушать то, с чем не согласны: вы возражаете, и возражаете про себя так «громко», что подлинного смысла речи говорящего, его намерений, его доказательств порой просто не замечаете. И тем не менее «говорящий» и «слушающий», или «адресат», остаются терминами современной риторики, обозначая глав-

ных участников речевого события и ситуации — лицо, производящее речь, и лицо, к которому она непосредственно обращена. Помимо говорящего и адресата в речевой ситуации часто участвуют и другие — те, кто является как бы свидетелем происходящего, смотрит, слушает и оценивает «со стороны». Так, во время урока в классе учитель может непосредственно обращать свою речь к тому или иному ученику; остальные в данный момент — «аудитория». Однако их присутствие заметно влияет на речь учителя. Наедине с учеником — непосредственным адресатом — учитель говорил бы по-другому.

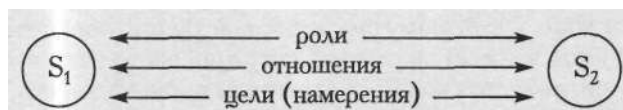
Характер речевой ситуации, а следовательно, и речевого события в целом определяется не только «действующими лицами» но и отношениями между ними и, главное, целями каждого главного участника общения.

§ 29. Наконец, еще один определяющий, важнейший ее элемент — это за чем говорится то, что произносится в данной ситуации речи. Каковы речевые цели (намерения) участников? Как они видят смысл происходящего речевого события? К чему, по их мнению, они должно привести, каков должен быть его результат?

Известный американский лингвист Чарльз Моррис... один из основателей современной лингвистической прагматики (а значит, современной риторики), который, кстати, даже термины «прагматика» и «риторика» считал тождественными, еще в 1936 г. писал: «От колыбели до могилы, от пробуждения до засыпания современный индивид подвержен воздействию сплошного "заградительного огня" знаков, с помощью которого другие лица стараются добиться своих целей... Ему внушается, во что он должен верить, что должен одобрять или порицать, что должен делать или не делать» <...>

Мы уже договорились, что главными элементами, составляющими структуру речевой ситуации и определяющими ее, будем считать ее участников и отношения между ними. Но получается, что партнеры по речевому общению (участники речевого события) интересуют риторику (и нас с вами сейчас) не столько как «физические лица», индивиды, но скорее как люди, выполняющие в данной речевой ситуации определенную роль (социальную и соответствующую ей речевую), находящиеся, следовательно, в определенных отношениях к речевым партнерам и выполняющие (реализующие) свои речевые цели (намерения). Значит, участник речевой ситуации как элемент ее структуры предстает перед нами в курсе риторики как носитель 1 — речевой роли; 2 — отношений к партнеру; 3 — речевых целей (намерений)¹.

¹ Буква S на схеме, обозначающая участников речевой ситуации, указывает, что они являются субъектами речевого общения (S-субъект), т.е. активными деятелями, осуществляющими речь (ср. политический термин «субъект федерации»).



К схеме сделаем пояснение. Содержание отношений между участниками речевой ситуации (на схеме S1 и S2) в основном, как мы договорились, зависит от их речевых ролей; но все-таки роли и отношения — это не одно и то же. Например, речевые роли супругов (мужа или жены) будут разыгрываться по-разному, если пара наслаждается семейным счастьем или находится на грани развода; конкретное «исполнение» речевых ролей родителей также зависит от того, насколько реален и тесен контакт с сыном или дочерью; здесь возможен самый широкий спектр — от демонстрации товарищества до жестко авторитарного речевого поведения. Поэтому на схеме мы и разделили «роли» и «отношения».

Вернемся к целям (речевым намерениям) участников речевого общения. Обратите внимание, насколько внимательно относится к этому элементу речевой (риторической!) ситуации Аристотель и насколько тесно в его «Риторике» связан этот элемент (намерение говорящего, цель речи) с другими составляющими речевой ситуации (особенностями адресата); посмотрим, как Аристотель говорит об этом: «Слушатель необходимо бывает или простым зрителем, или судьей, и притом судьей или того, что уже свершилось (член суда), или же того, что может свершиться (член народного собрания, государственный муж). Таким образом, естественно является три рода риторических речей: совещательные, судебные и эпидейктические». В этом фрагменте античный ритор выделяет три основных типа слушателей (адресатов речи) — «просто зритель»; судья, член суда; политик, *aner politikos* — государственный муж. Соответственно этим трем главным разновидностям слушателей Аристотель выделяет и три рода речей; для каждого из этих родов он указывает главную функцию — «дело».

Вот как он рассуждает: «просто зрителю», который «обращает внимание только на дарование оратора», предназначен тот род речей, дело которых «хвалить или порицать». Это речь эпидейктическая (*от греч. deiknumi* — показываю, делаю видным, известным, являю, приветствую) — торжественная. Эпидейктическая речь (торжественная речь «на случай») произносится в наши дни на юбилеях учреждений и лиц, на официальных торжествах, даже в компаниях друзей за праздничным столом.

Второму типу адресата — судье, члену суда, который должен вынести юридическое решение, предназначена речь «судебная», «дело» ее — «обвинять или оправдывать»...

Третий же тип адресата — политик, государственный муж; на народном собрании он принимает решения. Такой человек нуждается

ся в речи «совещательной» — политической (и сам произносит такие речи). «Дело» совещательной речи — «склонять или отклонять», «давать советы» относительно того, какое решение предпочесть или отринуть на благо государства и сограждан. В наши дни традиции античного совещательного красноречия продолжают и развиваются в современном политическом дискурсе — в речи политиков, государственных деятелей, в речи журналистов, в публицистике.

Произнося речь каждой из трех разновидностей (родов), оратор руководствуется, по Аристотелю, особой целью: «Для людей, произносящих хвалу или хулу (эпидейктическую речь), целью служит прекрасное и постыдное». — Цель говорящего в такой речи — показать слушателям, «что такое хорошо и что такое плохо», зажечь в их сердцах любовь к прекрасному и ненависть к постыдному.

«Для тяжущихся (произносящих речь в суде) целью служит справедливое и несправедливое»; один обвиняет, другой защищает или защищается. — Цель говорящего — доказать, что он прав, что его точка зрения справедлива.

«У человека, дающего совет (политического оратора), цель — польза и вред; один дает совет, побуждая к лучшему, другой отговаривает, отклоняя от худшего». (Все приведенные выше фрагменты взяты из «Риторики» Аристотеля. — Книга первая).

Итак, вот как Аристотель видит структуру речевой ситуации.



Обратите внимание, что античный ритор главным, отправным элементом речевой ситуации считает слушателя, а не оратора.

А теперь обратимся к современной риторике. Как мы видим на схеме речевой ситуации «по Аристотелю», он, собственно, называет «целью» оратора «предмет речи» — прекрасное и постыдное; справедливое и несправедливое; полезное и вредное. Современная же лингвопрагматика и риторика считают целью говорящего тот результат, который он, сознательно или неосознанно, хочет

получить от своей речи. Вот пример. Возьмем фразу *Сегодня хорошая погода*. Посмотрим, каковы могут быть ваши речевые намерения (ваша цель как говорящего) в различных речевых ситуациях:

1) молодой человек обращается к незнакомой хорошенькой девушке; цель — вступить в контакт (ситуация знакомства);

2) вы обращаетесь к приятелю; цель — приглашение на прогулку: «Сегодня хорошая погода...»;

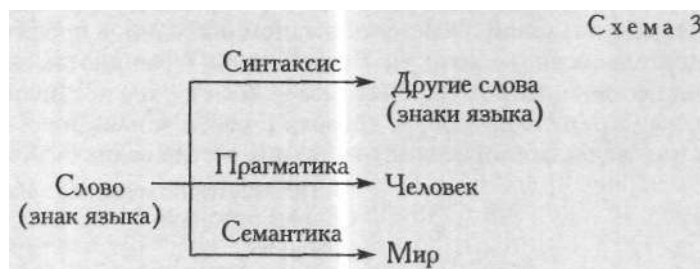
3) девушка отвечает на приглашение в кино; цель — отказ: «Сегодня хорошая погода» (поэтому в кино я не пойду).

Итак, речевые намерения (цели) участников общения — важный элемент структуры речевой ситуации.

§ 30. Завершим описание структуры речевой ситуации, рассмотрим ее условия и обстоятельства. Они определяют ее, но не имеют прямого отношения к «действующим лицам». Это то, что драматурги описывают в соответствующих ремарках: *«Ночь. Овраг, покрытый кустами; наверху забор сада Кабановых и калитка; сверху тропинка»* («Гроза») и т.п. Понятно, что «обстановку» любой речевой ситуации можно описывать бесконечно подробно, до мельчайших деталей. Однако излишняя детализация нам не нужна. Для того чтобы описать, представить речевую ситуацию (например, ситуацию будущей речи, когда вы к ней готовитесь) необходимы только те условия и обстоятельства, которые действительно важны для нее, существенны — на что-то просто повлияют, а что-то даже «продиктуют», определяют. В этом, надо сказать, весьма искусны хорошие драматурги. Вспомните Чехова: если на сцене ружье висит на стене, то оно должно обязательно выстрелить. Итак, нам понадобятся только отборные «декорации» и только самые важные «ремарки». Например, вовсе не все равно, в какое время состоится ваша речь — утром (когда?), днем или вечером (когда?). Суточный ритм активности человека влияет на его внимание и способность восприятия. (Эти проблемы подробнее рассмотрим в разделе, посвященном публичной речи.) Сейчас отметим только, что если часы вашего выступления придутся на период, когда любой слушатель склонен «клевать носом», то придется применить специальные средства для оживления внимания (и, главное, предусмотреть эту необходимость). Точно так же небезразлично, например, для результатов деловой беседы, удалось вам поймать «босса» или «шефа» в кабинете или в коридоре, успел он уже покурить или пообедать или нет и т. д.; думаем, все согласится, что сообщать родителям неприятную новость лучше не тогда, когда они как следует устали на работе и, волоча за собой сумки со слишком дорого стоившими продуктами, едва успели переступить порог собственного дома, который вы не только не успели привести в порядок, но еще и хорошенько разбросали вещи, а в кухне прибавили немытой посуды.

**Как совершать поступки с помощью слов:
речевое действие (речевой акт)**

§ 31. Рассматривая в предыдущем параграфе понятие цели (речевого намерения) говорящего, мы заметили, что человек, произносящий какое-нибудь высказывание, поступает так, желая получить некий результат. Это значит, что, говоря, мы действуем, совершаем поступок. Еще в древнерусском сборнике «Пчела», содержащем переводы античных и византийских изречений и анекдотов (XII — XIII вв.), читаем афоризм, приписываемый Солону: «Этот говорил, что слово — вид дела». Эта идея оказалась весьма важной и плодотворной для лингвопрагматики и неориторики. С помощью слов можно управлять поведением людей; отношение знака языка (слова) к человеку и изучает прагматика. Приведем схему, предложенную в 1930-е годы нашего века Чарльзом Моррисом, описывающую систему наук о языке:



Отношение языкового знака к внеязыковому миру изучает семантика (наука о языковых значениях), отношения между знаками внутри языка — синтаксис, а отношение знаков к использующему их человеку — прагматика. Название этого параграфа — «Как совершать поступки с помощью слов». — это название книги (1962) известнейшего лингвиста и философа языка — англичанина Джона Остина.

Главным постулатом лингвопрагматики, возникшей благодаря научной деятельности Дж. Остина, Дж. Сирла, Х. Грайса и других лингвистов в 60 — 70-е годы XX в., можно считать следующее утверждение Остина: «Слово есть дело». Теперь ясно, насколько тесно связаны классическая риторика и современная лингвопрагматика: обратитесь снова к афоризму Солона и сравните его с основным положением прагматики, приведенным выше. Итак, произнося высказывание, мы совершаем определенное действие (гр. — *pragma*, род. п. — *pragmatos*), направленное на адресата. Это действие, определяемое целью (намерением) говорящего, и называется в неориторике и прагматике «речевой акт», «речевой поступок», «речевое действие» (приведенные термины являются синонимами).

В нашем словаре есть такие слова и выражения, которые, будучи произнесенными в реальной речевой ситуации, сами по себе являются поступками. Этот класс языковых знаков называется словами и-п е р ф о р м а т и в а м и (от англ. *to perform* — осуществлять, действовать, исполнять). Таковы, например, глаголы *просить, обещать, благодарить, поздравлять* и подобные. Когда мы говорим *Благодарю вас*, мы самой этой фразой производим действие, совершаем поступок — выражаем благодарность. *Обещаю тебе принести книгу* — речевой акт «обещание»; *Поздравляю* — произносим мы и совершаем таким образом ритуал поздравления — тоже поступок, речевой акт. Но речевые поступки вовсе не всегда требуют определенных, специальных, «словарных» средств. Возьмем слова-предложения *да* и *нет*. Представим церемонию бракосочетания. Люди, произнесшие в этом речевом событии *да*, тоже совершают таким образом конкретное действие, поступок, который надолго определит их судьбу, — вступают в брак. Такова сила слова, в этой ситуации величайшая. Однако в громадном большинстве жизненных коллизий — в повседневном общении, в профессиональной деятельности — речь, не будучи столь очевидно действенной, все же всегда может быть понята как поступок. Именно так и учит понимать речь риторика, древняя и новая. Сила словесного воздействия может быть незаметна, но она всегда велика. <...>

Печатается по изданию: Михальская А. К. Основы риторики. — 2-е изд. — М., 2001. — С. 50-68.

20. А.А. ЛЕОНТЬЕВ: ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА

Различение того, что относится к теории психолингвистики, а что к области практического ее применения, весьма тонко. Психолингвистика как научное направление сложилась не только в силу любознательности, интереса человека к тому, как это он говорит, думает, понимает, но из настоятельной практической потребности говорить, думать и понимать как можно лучше. Тем не менее развитие теоретической психолингвистики и приложение ее в различных областях человеческой деятельности довольно точно указывают на такое различие, а дидактика необходимо и требует его, так что для каждого направления практической деятельности требуется направленное изложение теории. И нужно заметить, что в «первом базовом учебнике по психолингвистике, написанном основателем этой междисциплинарной области знания у нас в стране» {Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. — М., 1997), четко проводится такое различие. В прикладной психолингвистике выделяются: психолингвистика в овладении языком, психолингвистика восстановления речевых аномалий, психолингвистика социальной инженерии, психолингвистика в криминалистике, психолингвистика речевого воздействия, психолингвистика чрезвычайных ситуаций, а также, например, психолингвистика сценической речи.

А.А. ЛЕОНТЬЕВ

ОСНОВЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

(Извлечения)

Глава 16. ПСИХОЛИНГВИСТИКА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Что мы понимаем под «речевым воздействием»? В сущности, любое общение — это речевое воздействие. Однако если предметом и содержанием предметно ориентированного общения является

взаимодействие в процессе совместной деятельности, а предметом и содержанием личностно ориентированного общения — то или иное изменение в психологических отношениях людей, то третий его вид, социально ориентированное общение, предполагает изменение в социально-психологической или социальной структуре общества или стимуляцию прямых социальных действий через воздействие на психику членов данной социальной группы или общества в целом (*Леонтьев*, 1997). Такое социально ориентированное общение может быть прямым (митинг, вообще любое публичное выступление перед «живой» аудиторией), а может быть опосредствованным (радио, телевидение, пресса). При этом оно может быть сосредоточено во времени (одновременное или практически одновременное общение со всей аудиторией) или рассредоточено (каждый пешеход читает щитовую рекламу тогда, когда мимо нее проходит); аудитория также может быть сосредоточена в пространстве (опять-таки митинг) или рассредоточена (телевидение).

То, что мы называем здесь *речевым воздействием*, — это и есть различные формы *социально ориентированного общения*. Иными словами, это массовая коммуникация (радио, телевидение, пресса); формы пропаганды, не укладывающиеся в традиционный объем массовой коммуникации — такие, как расклеиваемые или распространяемые листовки, документальные кинофильмы, видеофильмы, компьютерные программы с задачей социального (социально-психологического) воздействия; наконец, различные формы рекламы — как коммерческой, так и политической. Кроме того, в социально ориентированное общение входят различные формы непосредственного социального воздействия вроде лекций, устных публичных выступлений и т. д. Наконец, к той же проблематике тяготеет то, что часто называется «психологической войной» — система социально и социально-психологически ориентированных действий, определяемая как «...планомерное ведение пропаганды, главная цель которой заключается в том, чтобы влиять на взгляды, настроения, ориентацию и поведение войск и населения противника, население нейтральных и союзных стран, с тем чтобы содействовать осуществлению государственных целей и задач...»¹.

Конечно, не вся проблематика, связанная с социально ориентированным общением, «подведомственна» психолингвистике. Этим видом общения занимается и социология, и социальная психология, и общая психология (особенно в аспекте мотивов и вообще психологии личности), и другие гуманитарные науки. Но психолингвистика интересуется процессами социально ориентированного общения под своим собственным углом зрения — с точки зрения влияния языко-

¹ Собственно, это определение взято из основного уставного документа для рот пропаганды армии США — специального наставления FM 33-5 «Ведение психологической войны».

вых и речевых особенностей текста на усвоение, запечатление и переработку информации, поскольку в большинстве из перечисленных форм общения оно имеет преимущественно, если не исключительно, речевой характер, причем как воздействующее начало выступает текст во всей полноте своих языковых и содержательных характеристик (как в художественной речи), психолингвистика речевого воздействия составляет основную или по крайней мере достаточно внушительную часть научной проблематики социально ориентированного общения.

Научное изучение речевого воздействия в России и СССР началось задолго до наших дней. Признанным классиком психологии речевого воздействия является Н.А. Рубакин, чья основная книга сравнительно недавно переиздана (1977). Из широко известных авторов 1920 — 1930-х гг. назовем Я. Шафира (1927), С. Л. Вальдгарда (1931). Специально психолингвистическими проблемами радиоречи (хотя, конечно, без использования термина «психолингвистика») в те годы занимался С. И. Бернштейн — эти его работы в настоящее время переизданы (1977). Интересны и публикации Л. П. Якубинского (например, 1926). С середины 1930-х гг. такого рода исследования по понятным причинам не проводились и не публиковались; они вновь возродились только в 1960 — 1980-е гг., в основном в рамках прикладной психолингвистики.

На Западе основная масса теоретических и экспериментальных исследований социально ориентированного речевого воздействия появилась в 1940 — 1960-х гг. Эти исследования... связаны с такими громкими именами, как Г. Ласуэлл, П. Лазарсфелд, Б. Берелсон, Д. Кац, Дж. Клэппер, Л. Ховлэнд, Дж. Олпорт, И. Кац и многие другие. <...>

Концептуальные основы психолингвистики речевого воздействия в России. Такими основами являются, с одной стороны, психология деятельности, восходящая к А.Н.Леонтьеву¹ и Л.С.Выготскому, а с другой — психология общения (сложившаяся в начале 1970-х гг. и наиболее полно представленная в нашей книге 1974 г. — *Леонтьев*, 1974, переизданной в 1997 г.). В семидесятые годы появилась наша работа (*Леонтьев*, 1972), выполненная вместе со студентами В. А. Вилюнасом и В. И. Гайдамаком и сразу же переведенная на английский и чешский языки; вышла основополагающая книга Ю. А. Шерковина (1973); появилась серия публикаций Т. М. Дридзе, завершившаяся ее книгами (1980; 1984). Основная мысль всех этих работ — в том, что речевое воздействие есть преднамеренная перестройка смысловой (в психологическом значении этого слова — ср. «личностный смысл» А. Н. Леонтьева) сферы лич-

¹ Ему принадлежит, кроме того, одна из первых, если не первая публикация по психологии речевого воздействия в нашей психологической литературе (А.Н.Леонтьев, 1968).

ности. При этом текст социально ориентированного общения решает три основных психологических задачи. Это, во-первых, привлечение внимания к тексту, во-вторых, оптимизация его восприятия, в-третьих, принятие его содержания реципиентом. Психолингвистические особенности текста могут и должны исследоваться дифференцированно в зависимости от их ориентированности на ту или иную задачу.

Разработка психолингвистики речевого воздействия... так или иначе была связана с методами изучения и оценки эффективности речевого воздействия — как с собственно методиками, так и с выделением в тексте таких опорных элементов, которые должны «представлять» текст в исследованиях его эффективности. Специфически психолингвистическими здесь являются методики семантического шкалирования и ассоциативные методики. Исследовались психолингвистические характеристики текстов, ориентированных на воздействие, психология речевых стереотипов, факторы селективности в восприятии текстов массовой коммуникации и другие. Особенно значимы были выводы Т. М. Дридзе о существовании так называемых семиотических групп, т. е. групп реципиентов массовой коммуникации, объединяемых по признаку одинакового уровня владения речевыми навыками и умениями, необходимыми для переработки информации, получаемой по каналам массовой коммуникации. <...>

Итоговой публикацией Московской психолингвистической школы по данной проблематике явилась коллективная монография «Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации)» (1976). Здесь отразилась практически вся теоретическая и экспериментальная проблематика психолингвистики речевого воздействия, разрабатывавшаяся к тому времени в СССР. <...>

Направления дальнейшей разработки психолингвистики речевого воздействия и ее современное состояние. <...>

«Перестройка» и «гласность» принесли с собой, между прочим, возможность для непрофессионалов практически бесконтрольно публиковать книги на «ходкие» околонучные и даже научные темы. Отсюда огромное число вышедших после 1986 г., а особенно после 1991 г., оригинальных и переводных книг по общению (прежде всего деловому), психотерапии, психоанализу и т. д. Гигантскими тиражами стали выходить, в частности, книги Д. Карнеги, — а это еще не самые худшие. Не избежали этого и вопросы речевого воздействия. Так, в последнее десятилетие было опубликовано множество книг по так называемому «нейролингвистическому программированию», одному из направлений психотерапии, переросшему в нечто вроде научной секты — типа сайентологии (см. об этом направлении, например, *Бэндлер и Гриндер*, 1995).

Совершенно новое для отечественной науки направление, расцветшее после 1991 г., — это политическая психология. Конечно, работы в этом направлении велись и раньше, но в открытую печать не проникали. Сейчас такие публикации нередки, хотя они основыва-

ются чаще всего на коррекции и адаптации к российскому обществу результатов, ранее полученных зарубежными исследователями. В качестве положительного примера приведем пособие «Политиками не рождаются», подготовленное Центром политического консультирования «Никколо М», где есть специальная глава «Власть языка и язык власти: власть, основанная на речевом сообщении» (*Абашкина и др.*, 1983). Однако, как и большинство аналогичных работ, эта книга совершенно не использует психолингвистические исследования речевого воздействия, накопленные в отечественной науке.

Методы психосемантики несколько лет после 1991 г. использовались в исследованиях политического сознания, осуществленных В. Ф. Петренко и его сотрудниками...

Еще в середине 1980-х гг. циклом работ Д.Л.Спивака... были начаты исследования в области суггестивной лингвистики в условиях измененных состояний сознания. В начале 1990-х гг. в Перми была создана лаборатория суггестивной лингвистики, где исследуются, в частности, смежные проблемы психолингвистики и психотерапии, в том числе гипноза. Эта лаборатория непосредственно занимается и проблемами социально ориентированного общения. Основная публикация по данной проблематике — *Черепанова*, 1996. Из других интересных исследований по «психолингвотерапии» см., например, *Коломийцева*, 1991.

Печатается по изданию: *Леонтьев А. А.*
Основы психолингвистики. — М., 1997.

ПОСЛЕСЛОВИЕ (Содержательная целостность психолингвистики как учебного курса)

Мысле-рече-языковая деятельность есть функционально скоординированная по предикционной позиции, иерархически организованная по принципу достаточности критерием понятности деятельность, осуществляемая человеком с познавательно-ориентирующей целью в процессе разумно-жизненного общения с помощью кодовой системы знаков, имеющей на входе и выходе внешнее выражение.

А. П. Кирьянов, В. К. Радзиховская

Психолингвистика, как и любая наука, любая область знания, требует соответственно отлаженной учебной дисциплины как эффективного способа накопления и передачи знаний, сохранения фундамента, на основе которого осуществляется преемственность поколений ученых и проверяется общечеловеческая значимость научных знаний.

Основным методологическим и методическим требованием к учебному курсу является его системность и концептуальная и содержательная целостность. Выполнение этого требования позволяет обеспечить полноту и точность определений во всей системе терминологического аппарата, последовательность и структурное построение всего курса в целом. Проблема состоит в том, чтобы содержание изучаемого предмета отражалось в учебном курсе адекватно его природе, действительности.

Однако при изложении учебного курса, который, естественно, представляется постепенно во времени, трудно сохранить организацию изложения в соответствии со структурой предмета, поскольку различные уровни его иерархической организации находятся в нелинейном взаимодействии, в нелинейных отношениях. Оставляя пока в стороне проблему коммуникативной системы обучения [1, с. 8—9]¹, определяемой компетенцией тех, кому пред-

Ссылки идут на список литературы, данный во Введении.

стоит изучать психолингвистику, но в заботе об оптимальном способе передачи знаний, обратим внимание на то, что здесь мы напрямую сталкиваемся с известной антиномией познавательного акта — «противоречием между невозможностью описания реальности объекта вне формально-логических средств и принципиальной неполнотой такого описания» [2].

Любая наука, изучающая реальные, а не формальные объекты, неизбежно сталкивается с таким противоречием при решении методических задач построения курса, подачи материала и проверки его освоения. Тем более осложняется решение проблемы системности и концептуальной цельности при изложении материала в пограничных науках, например в психолингвистике — науке, интегрирующей достижения психологии, лингвистики и речеведения в **интересах наиболее эффективного осуществления человеческой деятельности**. И «баланс» психологии, лингвистики, речеведения, полнота и глубина рассмотрения изучаемого предмета, которые должны быть адекватными задачам курса (разным для филолога и дефектолога, учителя средней школы и воспитателя детского сада и т.д.), становятся в значительной степени закономерной производной от концепции, положенной в основу курса психолингвистики.

Основанием психолингвистики как учебной дисциплины является понимание *речи* (а равно и всех сторон триады мысли, речи, языка) как *деятельности* [см. 3, 4]. Принципиально различие в этой деятельности речи как *процесса* и речи как *результата* [4]. Речь как результат речевого действия — это основная воспринимаемая нами составляющая сложного триединого комплекса деятельности человека — его *мысле-рече-языковой деятельности*. Это только видимая часть того, образно говоря, «айсберга», каким представляется мысле-рече-языковая деятельность. При таком подходе к предмету психолингвистики естественным образом интегрируются подходы и достижения специалистов всех направлений, имеющих так или иначе объектом своего изучения речь в ее ориентирующей и познавательной функции, речь как проводник информации — речь как процесс и как результат этого процесса.

Выйдя из лона философии, растекшись по психологии, лингвистике и риторике и окрепнув в этих реках знания благодаря трудам психологов и лингвистов, психолингвистика встала на свой самостоятельный путь в «Психосистематике» Г. Гийома и «Механизмах речи» Н.И.Жинкина, получив теперь могучее подкрепление в философии синергетического направления, объединяющего свойства живого и неживого мира на основе их квантовой природы. В синергетике, изучающей свойства сложных саморегулирующихся систем, находит свое основание психолингвистика.

Проникновение в механизмы¹ действия мысле-рече-языковой системы означает овладение объектом психолингвистики. Современное понимание процессов порождения и восприятия речи дает возможность практически использовать достижения психолингвистики для управления поведением человека в различных ситуациях. Таким образом, прагмапсихолингвистика пронизывает все сферы человеческой деятельности.

Содержательная целостность учебного курса психолингвистики может быть очерчена раскрытием сложившегося в ней терминологического аппарата, без которого невозможно ни научное изучение этой области знания, ни внедрение ее достижений в практику; причем должны быть введены не только собственно психолингвистические термины, такие, как: *интериоризация, эгоцентрическая речь, универсальный предметный код, трехчленность модели речевого действия: планирование, исполнение, контроль*, но и термины психологии и лингвистики, без которых невозможно понять процессы *порождения* и *восприятия речи*. Это термины, в которых раскрываются общие свойства процесса *восприятия: устойчивость восприятия, избирательность восприятия, предвосхищение результата восприятия (упреждающий синтез, явление антиципации)*; свойства памяти: *произвольное/непроизвольное запоминание, оперативная и долговременная память; модель сознательного действия человека, включающая в себя потребность, мотивы, цель*. Это и термины, в которых интерпретируются языковые реалии как входящие в феномен мысле-рече-языковой деятельности и ее результат: *фонема, предикат, словообразовательная структура слова*, или термины, интерпретирующие языковые процессы, включенные* в механизм мысле-рече-языкового образования: *опрошение* (описанное казанской лингвистической школой), *народная этимология*. Психолингвистические реалии осваиваются глубже и тоньше при наличии компетенции в области психологии (понимании сути психических процессов и закономерностей их протекания) и в области лингвистики (владении языковыми реалиями и закономерностями их функционирования).

Освоение терминологического аппарата, сложившегося в психолингвистике, наблюдение процессов речевой коммуникации в различных ситуациях и изучение основных трудов в этой области знания — вот составляющие образования по психолингвистике.

¹ «Под механизмом в широком смысле слова понимают связь и взаимодействие элементов в ходе какого-либо процесса» (Жинкин Н. И. Развитие письменной речи учащихся III—VII классов // Жинкин Н. И. Язык. Речь. Творчество: Избранные труды. - М., 1998. — С. 309).

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- А**
абerratивность 64, 163
абerratивный механизм восприятия (*см.* восприятие свойства)
абerratия 64
адаптация 223, 224, 226, 231, 232 — 236, 307, 451
акт речевой (мысле-рече-языковой) 295
актуализация 332
алгоритм 333
альтернативность (как свойство сложных систем) 8, 9, 11, 66, 333
антиномия 339, 344
антиципация 226, 241, 306, 307, 320, 328, 419
ассоциативное мышление (ассоциация как форма мыслительной деятельности) 27, 42, 100, 101, 145, 146, 155, 156, 163, 171
аффективная функция (*см. также* оценка) 18, 19, 223, 228, 253
- Б**
билингвизм 125, 126, 159
бессознательное 134, 196
- В**
взаимодействие (в феномене мысле-рече-языкового образования) 80, 220
взаимопонимание (*см. также* понимание) 69, 309, 320, 327
внешняя речь (*см. также* речь) 227, 255, 259, 305
внутренняя речь (*см.* речь) 8, 227, 255, 259, 264-272, 321, 324, 325, 326, 327, 424, 425
- воздействие 90, 123, 124, 304, 448, 449, 450
восприятие 74, 76, 79, 88, 94, 98 - 111, 121, 223, 316, 322, 332, 356, 357
— свойства 102, 103-106, 111, 117, 118
- Г**
говoreние 27, 197, 199, 203, 214
грамматика (в механизме мысле-рече-языкового действия) 12, 25, 127, 128, 197, 200, 305, 309, 317, 328, 410-412
- Д**
действие речевое
— мотивы (*см.* мотивы) 289, 290
декодирование (*см. также* кодирование) 305, 306, 312, 317
деятельность мысле-рече-языковая 62, 71, 72, 79, 80, 197, 200, 202, 333
— мыслительная 62, 63, 68, 73, 80, 81, 116, 117
— речевая 62, 68, 74, 197, 332, 338, 340-342, 346, 347, 350
— речемыслительная 63
— языковая 62, 68, 77, 118, 122, 135, 147, 150, 151
динамическая неоднородность (как свойство сложных систем) 6, 10, 27, 65, 66, 133, 143
долговременная память (*см.* память долговременная)
- Е**
единство мысли-речи-языка 63, 115, 124, 133, 139-141, 147,

- 148, 152, 168, 170, 185, 202, 258, 295, 304
- Ж**
жест 27, 58, 168, 180
- З**
знак 63, 67, 89, 97, 120, 123, 136, 174-180, 183, 305, 311, 313
значение 10, 89, 94, 120, 121, 186, 255, 258, 305
значимость 182, 184—192
- И**
идеал (языковой) 17, 214
идея (как форма мысли) 12, 37—42, 42-47, 86, 336
иерархичность (как свойство сложных систем) 6, 26, 133, 143, 307, 324, 333, 336, 346
— системы мысле-рече-языкового действия 108, 109, 325, 416
— языковой системы 305, 307
иерархия предикатов 307, 342, 343
измерение 28, 345, 351
инвариантность 345, 350
интегрирующие системы 335, 339
интеллект 80, 223, 224, 232—248, 312, 323
интериоризация 8, 13, ПО, 111, 115, 134, 138, 225, 252, 296, 298-302
информация 344
исполнения фаза речевого действия (см. модель речевого действия, трехчленность речевого действия)
- К**
катастрофа (как свойство сложных систем, способ развития сложных систем) 8, 11, 66, 83, 85, 153, 296, 297
квант 5, 10, 258, 333, 339, 374, 390-394, 395, 415
— мысле-рече-языкового действия 5, 254, 415
— феномена мысле-рече-языкового образования 5, 10, 208
- квантование 6, 9, 11, 26, 74, 75, 82, 208, 307, 334, 339
квантованность 9, 10, 64, 112, 133, 372, 373
когерентность (см. также функциональная скоординированность) 65, 333, 335-337, 351
код 311, 312, 317
— мыслительный 505
— речевой 304
— универсальный предметный 305, 317, 318, 319, 320, 321, 326, 327
кодирование (см. также декодирование) 305, 306, 312, 317
коммуникативная функция 385
контролирующая функция 24, 320-324
контроля фаза речевого действия (см. модель речевого действия)
контроль 340
концепт 325
кризис (как результат не совершившейся вовремя катастрофы) 253
- Л**
локализация психических функций 15, 256
- М**
магия слова 151, 152, 228
механизм 332, 334, 335, 345, 348, 351, 454
механизмы мозга 320, 326, 353, 363, 364, 365, 427-431
— мозговые психических функций (см. ассоциация)
— порождения речи 199, 304, 307, 332, 357, 358
— языка 353
модель речевого действия 7, 255, 259, 395, 398, 399, 415, 416
мотив деятельности 416
— речевого действия 255
мыслительное действие 85, 86, 359
мысль 13, 25, 26, 66, 95, 96, 113
— как процесс 113
— как результат 172—176, 323
мышление 94, 354—357, 363

Н

нейролингвистика 256, 424
нелинейность (как свойство сложных систем) 7, 10, 27, 64, 85, 133, 168, 333
норма языковая 28, 29, 196, 198, 203, 208, 209, 212, 218-220

О

образ 94, 99-101
обратная связь 102, 320, 321, 324
общение 142, 144, 218, 381, 395, 402, 403, 418, 448
онтогенез 13, 94, 96, 97, 102, 103, 105, 134, 142, 144, 152-158, 224, 225, 229-231, 257, 259, 260, 296, 297, 318, 319, 328
операция 224, 254, 326, 328, 333, 342, 343, 347, 348, 351
— ориентирующая функция (*см. также* адаптация) 24-26
открытость (как свойство сложных систем) 5, 10, 64, 76, 137
оценка (*см. также* аффективная функция) 5, 12, 16, 17, 19-21, 24, 28, 30, 47-59, 67, 76, 77, 198, 210-212, 420

П

память 28, 35, 322, 323
поведение 223, 224, 232, 360
подвижность (как свойство сложных систем — свойство психических функций и их результата) 12, 77, 262
— устойчивая (как свойство сложных систем) 12, 77
познавательная функция 13, 16, 24, 26, 119
понимание (*см. также* восприятие) 74, 78, 79, 93, 94, 102, 123, 124, 197, 199, 203, 223, 290, 321, 326, 375
понятие 86, ПО, 114, 115, 360
— как квант мыслительного образования 86, ПО, 360, 361
понятность 87, 209, 216-218, 295, 357
порог восприятия 217, 218, 225, 323

порождение речи 37-47, 74, 75, 255
— языка 78, 388-390
«потребностная ситуация» порождения речи 295
потребность речевого действия 84, 231 и др.
прагматика 29, 30, 67, 89, 90, 333
предвосхищение содержания речи (*см. упреждающий синтез, а также* антиципация)
предикат 101, 102, 105, 107, 327
предикативность 13, 14, 64, 163, 255, 256, 261, 262, 275-277 и др., 280-287, 308, 373
предикация 64, 353, 354, 367
предицирование 8, 366, 370, 390
предицирующая функция 354
представление 119, 170, 340, 343 — 345
причина 170 — 222, 231, 363
программа 333, 401, 402
программирование (*см. модель* порождения речи) 36, 37, 46, 47, 333
психофизическое поле общения 395

Р

речевое действие 7, 93
— творческий характер (*см. творческий характер речевого действия*)
речи порождение (*см. порождение речи*)
речь 4, 7, 13, 25, 62, 335, 341, 344
— как процесс 453
— как результат 34, 197, 453

С

самонаучение 306, 318, 326, 329
саморазвитие 8, 63, 76, 324
саморегулирование 8, 326, 333, 334
семиозис 321, 322, 324
синергетика 132, 146, 147
синтез упреждающий (*см. антиципация*)
слово как квант 5, 6, 86, 87, 103, 112, 113, 115, 120
— внутренняя форма 5, 6, 13, 67, 69, 94, 97, 98, 100, 101, 119

— фетишизация 151, 152, 353, 360
сложная система 5—9, 23, 132—
134, 138, 207, 232, 238
слух фонематический (*см.* фонема-
тический слух)
слушание и говорение 27
смысл 94, 283-286, 323, 324, 325,
326, 339, 374, 385, 424
смыслоразличительная функция
10, 381, 386, 387, 400, 401
согласованность (*см.* функциональ-
ная согласованность)
сознание 137, 141, 196, 198, 231, 292
способность речевая 27, 75, 79, 84,
95, 152
— языковая 75, 79, 87, 137, 158
— мыслительная 27, 79
стимул 408, 409

Т

творческий характер речевого дей-
ствия (*см.* альтернативность как
свойство сложных систем, эври-
стичность как свойство сложных
систем) 93, 100, 104, 197, 200,
309, 330
— оценки 23
— языка 80, 81, 82, 88, 126, 127
тема (как форма мыслительной де-
ятельности и ее результата) 12,
25, 43, 307
трехчленность речевого действия
(*см.* модель речевого действия)

У

умственные действия 297
универсальный предметный код 7,13
упреждающий синтез (*см.* антици-
пация)
устойчивость (как свойство слож-
ных систем — психических функ-
ций и их результата) 12, 77, 209,
214-216

Ф

филогенез 94, 96, 97, 102, 103, 134,
142, 143, 144, 152-158, 257
фонема 13, 131, 134, 164, 165, 196,
305, 310, 311, 312, 313, 320, 321

фонематический слух 310, 312, 322
функциональная скоординирован-
ность 7, 8, И, 16, 26, 80, 81,
134, 173, 183, 223, 224, 225, 226,
232-236 и др., 260, 261, 305,
306, 307, 327, 333
— согласованность (*см.* функцио-
нальная скоординированность)
— целесообразность 63,134, 135, 208

Ц

целесообразность функциональная
(*см.* функциональная целесооб-
разность)
цель речевого действия (*см. также*
модель речевого действия) 227,
295, 333

Э

эвристичность (как свойство слож-
ных систем) 9, 11, 255, 333
— речи 416, 417
эгоцентрическая речь 224, 225, 266,
272 и др.
экономии принцип 104, 143, 152,
157, 161, 162, 202, 209
эксперимент 198, 204, 223, 224
экстериоризация психических функ-
ций 225
эстетический критерий языковой
нормы 209, 214

Я

язык 333, 340, 343-351
язык как био-психо-социальное
явление 63, 78, 84, 145, 353
«язык как инструмент разумно-
жизненного общения» 4, 74,
375, 381
язык как система 7, 13, 25, 66, 150,
183, 197, 201
— познавательная функция 13, 26,
27, 66, 67, 88, 89, 95, 148, 353,
362, 366, 367-371
— ориентирующая функция 13, 26,
27, 323
форма 69 — 71
языковое знание 148, 152, 164, 367
языковой код (*см.* язык как система)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. (Психолингвистика: предмет, задачи, значение, история и принципы)	3
1. Б.Спиноза о «добре» и «зле» и сравнении как способе познания. (К оценке как инструменту в человеческой деятельности)	15
<i>Б. Спиноза. Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей. (Извлечения)</i>	18
2. Психолингвистические аспекты научного наследия М.В.Ломоносова	23
<i>М.В.Ломоносов. Суд российских писем перед Разумом и Обычаем от Грамматики представленных</i>	30
<i>Краткое руководство к красноречию. (Извлечения)</i>	34
3. Вильгельм фон Гумбольдт о речевой деятельности	60
<i>Вильгельм фон Гумбольдт. О различии строения человеческих языков и его влияния на духовное развитие человечества. (Извлечения)</i>	68
<i>О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития. (Извлечения)</i>	83
4. А.А.Потебня о соотношении языка и мышления	93
<i>А.А.Потебня. Психология поэтического и прозаического мышления. (Извлечения)</i>	96
• <i>Мысль и язык. (Извлечения)</i>	97
<i>Из записок по русской грамматике. Т. I, II. (Извлечения)</i>	119
<i>Из записок по теории словесности. (Извлечения)</i>	123
<i>Язык и народность</i>	125
<i>Основы поэтики (1910). (Влияние грамматики на мышление). (Извлечения)</i>	126
5. И. А. Бодуэн де Куртенэ о психических основах языковых явлений и языковом знании	130
<i>А.А.Леонтьев. И.А. Бодуэн де Куртенэ</i>	134
<i>И. А. Бодуэн де Куртенэ. О психических основах языковых явлений</i>	139
<i>Язык и языки. (Извлечения)</i>	147
<i>Фонема</i>	164
6. Ф.Ф.Фортунатов о языке в процессе мышления и в процессе речи	167
<i>Ф. Ф. Фортунатов. Значение звуковой стороны в языке. (Извлечения)</i>	170

7. Фердинанд де Соссюр о различении языка и речи. (К проблематике соотношения мысли, речи и языка)	182
<i>Ф.де Соссюр. Курс общей лингвистики. (Извлечения)</i>	184
8. Л.В.Щерба о системе языка и речевой деятельности	195
<i>Л. В. Щерба. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. (Извлечения)</i>	199
9. А. М. Пешковский об объективной и нормативной точке зрения на язык и признаках языковой нормы	206
<i>А. М. Пешковский. Объективная и нормативная точка зрения на язык</i>	210
10. Ж.Пиаже об интеллекте, речи и языке в онтогенезе	222
<i>Ж.Пиаже. Речь и мышление ребенка. (Извлечения)</i>	226
<i>Психология интеллекта. (Извлечения)</i>	232
11. Л.С.Выготский о соотношении мысли, речи и языка и о психологической организации порождения речи	250
<i>А.А.Леонтьев. Л.С.Выготский как психолингвист и вклад его школы в психолингвистику</i>	254
<i>Л. С. Выготский. Мышление и речь. (Извлечения)</i>	257
12. А.Н.Леонтьев об интериоризации психических функций	294
<i>А.Н.Леонтьев. Проблемы развития психики. (Извлечения)</i>	297
13. Н.И.Жинкин о механизмах речи. (О кодовых переходах во внутренней речи и универсальном предметном коде)	303
<i>Н.И.Жинкин. Речь как проводник информации. (Извлечения)</i>	310
14. Психосистематика языка Гюстава Гийома	332
<i>Гюстав Гийом. Принципы теоретической лингвистики. (Извлечения)</i>	334
15. В.Дорошевский о познавательной и ориентирующей функции языка	352
<i>В.Дорошевский. Элементы лексикологии и семиотики. (Извлечения)</i>	354
16. А.Ф.Лосев о смысловоразличительной коммуникативной функции человеческой деятельности	372
<i>А. Ф. Лосев. В по⁴ ках построения общего языкознания как диалектичес кой системы. (Извлечения)</i>	376
17. А.А.Леонтьев: Психолингвистика XX века	405
<i>А.А.Леонтьев. Основы психолингвистики. (Извлечения)</i>	407
<i>Психологическая модель порождения речи Ч.Осгуда</i>	420
<i>Трансформационный метод исследования языковых структур по Н.Хомскому</i>	421
18. А.Р.Лурия о мозговой организации речевой деятельности	423
<i>А.Р.Лурия. Язык и сознание</i>	425

19. А. К. Михальская: Лингвопрагматика и риторика XX века	433
<i>А.К.Михальская. Основы риторики. (Извлечения)</i>	435
20. А. А. Леонтьев: Прикладная психолингвистика	447
<i>А.А.Леонтьев. Основы психолингвистики. (Извлечения)</i>	447
Послесловие. (Содержательная целостность психолингвистики как учебного курса)	452
Предметный указатель	455

Учебное издание

**Психолингвистика в очерках и извлечениях
Хрестоматия**

Авторы-составители:

**Радзиховская Вера Казимировна,
Кирьянов Анатолий Павлович,
Пекишева Татьяна Александровна и др.**

Редактор *И. В. Подосинова*

Ответственный редактор *Г. Е. Конопля*

Технический редактор *Е. Ф. Коржуева*

Компьютерная верстка: *Л. А. Вишнякова*

Корректоры *Э. Г. Юрга, О. В. Куликова*

Изд. № А-463-1/1. Подписано в печать 14.05.2003. Формат 60 x 90/16.
Гарнитура «Тайме». Бумага тип. № 2. Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,0.
Тираж 20000 экз. (1-й завод 1 — 5100 экз.). Заказ № 2912.

Лицензия ИД № 02025 от 13.06.2000. Издательский центр «Академия».
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.953.Д.002682.05.01 от 18.05.2001.
117342, Москва, ул. Бутлерова, 17-Б, к. 223. Тел./факс: (095)330-1092, 334-8337.

Отпечатано в АПП "Джангар"
358000, г. Элиста, ул. Ленина, 245